

Стивен Коэн

Бухарин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БИОГРАФИЯ
1888-1938

Перевод с английского

Е. Четвергова, Ю. Четвергова, В. Козловского

Общая редакция и послесловие
доктора исторических наук

И. Е. Горелова



МОСКВА

”ПРОГРЕСС”

1988

ББК 66.61 (2)8
К 76

*Часть средств,
полученных от издания этой книги,
передается в фонд Мемориала
жертвам сталинских репрессий*

Редакция литературы по международным отношениям и истории

© 1980 by Stephen F. Cohen
© Послесловие и комментарии "Прогресс",
1988

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ

Моя книга о Николае Ивановиче Бухарине вышла в свет в Нью-Йорке в 1973 г., и хотя с тех пор она была переведена на девять иностранных языков, советское издание является для меня наиболее важным. Мне приятно, что мою первую и по-прежнему любимую работу будут открыто читать, обсуждать и — я искренне приветствую это — критиковать в стране, которую я в течение многих лет изучал и посещал.

Кроме того, книгу „Бухарин. Политическая биография. 1888 — 1938” можно считать одним из первых — если не самым первым — подобного рода трудов американского историка, публикуемых в Советском Союзе для широкого читателя. Я рассматриваю это как большую честь и надеюсь, что моя книга внесет определенный вклад в развитие нового, более цивилизованного диалога между двумя нашими странами. Хотелось бы также верить в то, что даже те советские читатели, которые, возможно, категорически не согласятся с моими оценками и выводами, будут иметь возможность убедиться: не все западные исследователи всего лишь ярые антисоветчики. Большинство из нас преданы науке в самом благородном смысле слова — мы стремимся в силу наших интеллектуальных способностей и в условиях ограниченного доступа к советским материалам понять исключительно сложный исторический период вашей страны, как писал поэт Б. Слуцкий, во всем его „величье и беде”. Конечно, иногда, а может быть, даже слишком часто, нам это не очень-то удается.

Существует и другая причина, по которой издание этой книги в Москве представляется мне особенно важным: его, безуслов-

но, можно считать одним из побочных — пусть и небольшим — результатов перестройки и гласности — исключительно смелого политического курса исторического значения, принятого советским руководством после того, как Михаил Сергеевич Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 г. Благодаря этому курсу политические и интеллектуальные дискуссии в Советском Союзе, как видно из радио- и телепередач, газет, журналов и различного рода выступлений общественности, стали — не побоюсь этого утверждения — несравненно богаче, интереснее и значительнее, чем в любой из ведущих стран современного мира.

Центральное место в дискуссиях, посвященных характеру и будущему перестройки, а также выбору пути, который необходимо сделать уже сегодня, занимает многогранный, нередко полный внутреннего драматизма и эмоциональных всплесков спор о прошлом Советского Союза и в особенности вопрос: являла ли собой новая экономическая политика, которую Ленин ввел в 1921 г., а Бухарин позднее развил и защищал, жизнеспособную альтернативу „великому перелому“, осуществленному Сталиным в 1929 г.? Поскольку и в моей книге этому вопросу отводится центральная роль, не исключено, что советское издание или комментарии к нему также внесут определенную лепту в дискуссии по истории вашей страны, проходящие в настоящее время, и таким образом книга обретет „вторую жизнь“, что доставит мне глубокое человеческое и интеллектуальное удовлетворение.

В Советском Союзе уже ведутся открытые дебаты об исторической роли Бухарина и о, как я назвал ее, „бухаринской альтернативе“ сталинизму. Они со всей прямотой и откровенностью зазвучали в 1987 г. и особенно в 1988 г. после политической и партийной реабилитации Бухарина, совпавшей с его столетием и пятидесятилетием со времени расстрела. Но даже за столь короткий промежуток времени личность Бухарина привлекла к себе пристальное внимание советских политических лидеров, комсомольских активистов в Набережных Челнах, создавших политклуб имени Бухарина, журналистов, поэтов, киносценаристов, драматургов, прозаиков, ученых и многих других [1]. Нестихающие дискуссии включают в себя некоторые темы, затрагиваемые и в данной книге, не говоря уже о том, что свою более позднюю работу „Переосмысливая советский опыт (политика и история с 1917 года)“ [2] я в основном посвятил именно таким противоречивым историческим и политическим вопросам. Поэтому вряд ли имеет смысл развивать здесь эту аргументацию — лучше я возьму на себя смелость сделать два предсказания о набирающем силу споре относительно исторической роли Бухарина, особенно в роковой период 1928–1929 гг., когда он вместе с А.И. Рыковым и М.П. Томским

возглавлял так называемую „правую оппозицию” политике Сталина.

С советской стороны, скорее всего, следует ожидать появления трех принципиально различных точек зрения или течений исторической мысли. Представители одной из них будут по-прежнему настаивать — хотя, несомненно, менее прямолинейно, чем в сталинском „Кратком курсе”, — что поражение Бухарина было объективно необходимо, ибо только сталинская политика коллективизации и индустриализации могла модернизировать Советский Союз, заложить основы социализма и подготовить страну к отпору гитлеровскому вторжению в 1941 г. Сторонники второй точки зрения делают прямо противоположные выводы: поражение Бухарина стало национальной трагедией, так как его политика нэпа, основанная на сочетании плановой и рыночной экономики, сбалансированном промышленном развитии, добровольной коллективизации, гражданском мире и небольшом бюрократическом аппарате, привела бы к созданию более мощной экономики и более совершенной социалистической системы, помогла бы избежать террора 30-х гг. и таким образом подготовиться к войне. Ну а поскольку любой серьезный спор неизбежно ведет к образованию и „центристской” позиции, третье направление исторической мысли будет доказывать предпочтительность некоего сочетания бухаринского и сталинского подходов. Каждая из этих точек зрения находит отражение в работах западных исследователей, и, конечно, все они присутствуют в советских дискуссиях начиная с 1987 г. [3].

Вместе с тем — и в этом состоит мое второе предсказание — при нормальном развитии гласности и плюрализма мнений в этом важнейшем споре о характере современной советской системы не будет окончательного или безусловного победителя. Да и как ему быть? Великие и трагические события всегда вызывают противоречивые суждения, вспыхивающие с новой силой по мере того, как каждое последующее поколение привносит в аргументацию свое особое видение и внутренние конфликты. По словам историка Питера Гейла — словам, которые по-своему подтвердили и Маркс, и Ленин, — история — это „спор без конца”. Террор и цензура могут „положить конец” такому спору, но, как нам известно, только на время и не затрагивая сути.

* * *

Советский читатель может спросить: что привело американца, родившегося в 1938 г., выросшего в провинциальном штате Кентукки и получившего образование в крупном государственном университете соседней Индианы, к написанию

книги о Бухарине? Впрочем, объяснение не представляет большого интереса. Не будучи коммунистами, социалистами или интеллектуалами и даже не проявляя особого интереса к политике, мои родители, однако, всемерно развивали стремление двух своих детей к получению широкого образования и самостоятельному мышлению, учили их не забывать народную мудрость, что „у каждой медали — две стороны”. Возможно, именно благодаря этому я, как мне кажется, не оказался во власти отвратительных предрассудков „холодной войны”, даже несмотря на то, что не испытывал в то время интереса к Советскому Союзу.

Этот интерес появился у меня почти случайно. В 1959 г. я проходил в Англии курс политики, истории и экономики и по предложению одного из своих друзей принял участие в поездке английской группы летом того же года по пяти советским городам. И хотя я тогда не знал русского языка, мне удалось увидеть поразившее меня общество, подобного которому я еще не встречал — страну, выходящую из изоляции, вставшую на путь перемен, и народ, проявляющий живой интерес к моей стране. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы пробудить во мне желание побольше узнать о Советском Союзе по возвращении в университет Индианы.

Я оказался очень везучим: моим первым наставником в изучении советской истории стал, на мой взгляд, самый выдающийся ученый-советолог того времени профессор Роберт С. Такер, преподававший в университете Индианы до своего перехода в Принстон. Глубокий знаток русской истории, культуры и политики, он весьма критически относился ко многим академическим догмам, пользовавшимся официальным признанием [4]. Такер приучил меня к такому же „ревизионистскому” мышлению, подвел к решению сделать советологию и преподавание советской истории своей будущей профессией и даже подсказал тему научного исследования — роль Бухарина в конце 20-х гг. К 1962 г., будучи аспирантом Колумбийского университета, я уже твердо знал: темой моей диссертации будет Николай Иванович Бухарин. Мне хотелось не только написать его политическую биографию, но и по-новому взглянуть на процесс формирования советской политической истории того периода. Диссертация была готова в 1968 г., и ее выводы и аргументация легли в основу, правда, в несколько ином виде, первых восьми глав моей книги, которую я завершил в 1972 г.

Пожалуй, более интересной мне представляется история самой книги. В мае 1975 г., семнадцать месяцев спустя после ее выхода в Нью-Йорке, я, к своему удивлению и удовольствию, получил письмо от сына Бухарина, Юрия Ларина, который, как оказалось, уже имел экземпляр книги. Он прислал мне также трогательную фотографию своего полуторогодовалого сына

Коли. Я знал, что вдова Бухарина Анна Михайловна Ларина и его сын остались живы, но о прямом контакте с ними, конечно, не мог и мечтать. Наша первая встреча состоялась в Москве в августе 1975 г., и с того самого дня мне выпало великое счастье быть другом этой замечательной семьи. (Наша дружба, естественно, не исключает определенных расхождений во взглядах на мою интерпретацию некоторых аспектов политической биографии Николая Ивановича.) Как видно из недавно опубликованных мемуаров А. Лариной [5], их автор — необыкновенная женщина, чей дух и преданность не сломали годы чудовищных испытаний. А Юрий Ларин — на редкость одаренный художник, работы которого привлекают все большее число поклонников и в Советском Союзе, и на Западе.

В Москве меня ожидал еще один приятный сюрприз: вместе с Евгением Александровичем Гнединым — советским журналистом и дипломатом, работавшим под началом Бухарина в „Известиях” в 30-е гг. — Юрий приступил к колоссальной работе по переводу моей книги на русский язык. Е. Гнедин, скончавшийся в 1983 г. в возрасте 84 лет, был одним из самых мудрых, сострадательных, порядочных и щедрых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. После своего ареста в 1939 г. он тоже провел долгие годы в сталинских лагерях и ссылке [6]. Когда почти через двадцать лет разлуки вдова и сын Бухарина наконец воссоединились и смогли вернуться в Москву, Гнедин отнесся к ним как к самым близким друзьям. В отличие от Юрия Евгений Александрович прекрасно знал английский язык, поэтому без его существенной помощи перевод вряд ли вообще был возможен. Поскольку переводчики работали над книгой по четвергам, они называли себя Е. и Ю. Четверговы. В конце 70-х гг. они передали мне семь законченных глав — остальные были переведены в Соединенных Штатах, — и в начале 80-х в небольшом издательстве „Стрэткона”, связанном с издательством „Ардис” в Мичигане, вышло первое издание книги на русском языке. Второе издание было выпущено „Ардисом” в 1986 г.

Экземпляры русского издания стали распространяться в Москве и даже в других городах Советского Союза, что, возможно, послужило главной причиной неожиданной для меня проблемы, на решение которой ушло целых три года: с 1982 до середины 1985 г., несмотря на мои неоднократные обращения, советские власти отказывали мне в разрешении посетить СССР. Как сказал мне в Нью-Йорке один из советских официальных представителей, „они охотятся за Вашей книгой в Москве. С чего это они должны давать Вам разрешение?” Я был очень расстроен — терялась живая связь с советскими друзьями и с предметом моих научных исследований, — но не удивлен. Сложилась по-своему интересная ситуация: некоторые советские историки в частных разговорах выражали восхищение моей

книгой, а в официальных публикациях в то же самое время отзывались о ней с презрением, если не сказать хуже, приводили ее в качестве примера „клеветнических опусов американских антикоммунистов” [7]. Более того, в 1979 г. на Московской международной книжной выставке-ярмарке был конфискован экземпляр этой книги, предназначенный для экспонирования. Поэтому когда сегодня американцы спрашивают меня, „изменилось ли что-нибудь” в Советском Союзе на деле с 1985 г., я иногда привожу им всего один небольшой пример — историю с моей книгой и выход данного русского издания таким большим тиражом, какого не знала ни одна страна.

* * *

Во время интервью со мной в газете „Московский комсомолец” один молодой советский журналист сказал: „Некоторые считают, что вы предсказали перестройку в СССР” [8]. Я бы не рискнул взять на себя такую ответственность. По моему убеждению, историки не должны пытаться предсказывать будущее; перед ними достаточно сложная задача — понять прошлое и настоящее страны. Вместе с тем верно и то, что для западных исследователей давно уже характерны два исторических подхода. По мнению подавляющего большинства из них (во всяком случае до 1985 г.), советская система в том виде, в каком она сформировалась при Сталине, никогда не сможет быть радикально изменена. Другое же направление, представленное явным меньшинством, к которому я принадлежу с самого начала своей исследовательской деятельности, считает, что Советский Союз подобно всем социально-экономическим системам не только претерпел значительные изменения в прошлом, но и с большой степенью вероятности будет изменяться в будущем. Лично я убежден в правоте такого подхода в силу своего понимания взаимосвязи между прошлым и настоящим, между историческим развитием и современной политикой. И хотя отдельные аспекты этой концепции проявляются и в данной работе, наиболее полно она отражена только в моей книге „Переосмысливая советский опыт”, которую я написал в период 1976 — 1983 гг. и которая заканчивается главой „Друзья и недруги перемен”.

Несмотря на явную взаимосвязь между альтернативами, стоящими перед Советским Союзом сегодня, и теми, которые существовали в 1928—1929 гг., мою книгу о Бухарине следует читать и оценивать как историческое исследование. Более того, я не рассматриваю ее как последнее слово на эту тему. В предисловии к первому американскому изданию написано: „Когда

советские историки получат возможность свободно изучить и описать историю создания Советского государства и деятельность его основоположников, материал этой книги, вероятно, дополнится, а некоторые ее положения потребуют пересмотра". Судя по всему, советские исследователи сейчас получают такую возможность. По мере того как они будут глубже и полнее отражать события 20-х и 30-х гг., по мере того, как будет расширяться возможность их доступа к необходимым архивным материалам, они, возможно, напишут о Бухарине и о его времени более глубоко и осмысленно, чем это удалось сделать мне. Когда такое произойдет, я не буду чувствовать себя разочарованным.

И наконец последнее разъяснение советскому читателю. Издательство „Прогресс" любезно согласилось опубликовать без каких-либо сокращений эту довольно большую книгу; с моей стороны в текст также не было внесено существенных изменений, кроме исправлений небольшого количества фактических неточностей. Я очень признателен своим советским друзьям, знакомым и даже авторам, с которыми я лично не знаком, за то, что они обратили мое внимание на эти неточности. В частности, большую помощь в этом оказала мне великолепный историк — дочь Бухарина, Светлана Николаевна Гурвич. Или, например, как мне стало известно из недавнего номера „Комсомольской правды", я неправильно назвал первого редактора этой газеты. Так что вся ответственность за оставшиеся неточности или ошибочные выводы лежит только на мне одном.

Стивен Козн

Нью-Йорк,
сентябрь 1988 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ
1973 г.

Эта книга посвящена большевистской революции и одному из ее самых значительных и крупных деятелей Николаю Ивановичу Бухарину.

Она представляет собой прежде всего политическую биографию Бухарина, и, поскольку он был человеком мысли, марксистом-теоретиком, она является также и историей его идейного развития. Необходимость всестороннего изучения этого политического деятеля очевидна, ибо в течение двух десятилетий Бухарин находился в центре бурных событий в истории большевистской партии и Советской России. И тем не менее, поскольку его роль как одного из основателей Советского государства искажена советской историографией, о нем подчас вспоминают лишь как об авторе ряда некогда известных коммунистических пособий и главном обвиняемом на показательных московских процессах в 30-х гг. и их жертве.

Чаще всего умалчивается, какое высокое положение занимал Бухарин — выдающийся деятель первого ленинского революционного руководства, член Политбюро ЦК партии до 1929 г., главный редактор „Правды” и в течение почти десятилетия официальный теоретик советского коммунизма, а также фактический руководитель Коммунистического Интернационала с 1926 по 1929 г.

Его роль особенно усилилась после смерти Ленина — он стал (наряду со Сталиным) одним из двух руководителей партии в период с 1925 по 1928 г., главным создателем ее умеренной внутренней политики, которая должна была привести к эволю-

ционному пути экономической модернизации и социализма; во время роковых событий 1928—1929 гг. он стал лидером анти-сталинской оппозиции и даже после поражения оставался символом большевистского сопротивления развитию сталинизма в 30-х гг.

Но Бухарин и бухаринизм не лишены значения и в современном коммунистическом мире, где идеи Бухарина о более гармоничном обществе и гуманном социализме находятся после смерти Сталина в стадии возрождения.

Другая цель этой книги — новое исследование большевистской революции и первых, решающих десятилетий советской истории посредством изучения такого явления, как Бухарин. Предпринимая эту попытку, я исходил из пользующейся всеобщим признанием предпосылки, что целое станет более ясным и понятным, если сосредоточить внимание на существенных его частях.

За исключением главы IV (в которой, отступив от хронологического изложения, я рассматриваю дискуссию по знаменитой работе Бухарина о марксистской идеологии „Теория исторического материализма”), я пытался изложить политику и идеи Бухарина на широком фоне политики партии большевиков и советской истории. Я надеюсь, что все недостатки такого подхода при использовании книги как биографии будут возмещены новыми подробностями, которые можно будет в ней почерпнуть.

Конечно, всестороннее изучение Бухарина, основанное на русских материалах [1], приводит к „ревизионизму” как в отношении отдельных проблем, так и более общих путей развития. К тому же Бухарин не только сам играл центральную историческую роль, но и был плодовитым (и часто официальным) комментатором событий своего времени. Как заметил один из историков, „фактически не может существовать ни одного аспекта первых двадцати лет советского эксперимента, который можно было бы исследовать, не обращаясь к взглядам Бухарина” [2]. Таким образом, новое изучение большевистской революции через призму взглядов Бухарина поможет расширить наши знания и одновременно пересмотреть понимание главных событий: формирование большевистского радикализма в канун революции, суть партийной политики и политических дискуссий в 20-е гг., темную историю 30-х гг., кульминационным пунктом которой была „великая сталинская чистка” и уничтожение старой большевистской партии.

Я не хочу быть неправильно понятым, но и не хочу затушевывать то, что необходимо подчеркнуть. Эта книга в большой степени основана, и без этого она не могла бы быть написана, на работах трех первоисследователей, чьи труды отражены на страницах книги и чьи имена приведены в примечаниях. По-

вествуя о Бухарине, я старался осветить широкий круг событий, о которых наши знания остаются неполными.

Кроме того, я рассматриваю эту книгу как вклад в исследования различных ученых, пересматривающих привычную трактовку большевистской истории после смерти Ленина, сводящуюся главным образом к соперничеству Сталина и Троцкого. Многие из написанного ниже убедит читателя, что Бухарин, каким он был в середине 20-х гг., и его союзники больше значили для большевистской партии и большевистской мысли, чем Троцкий и троцкизм. Короче говоря, я хочу показать, что взгляд на Троцкого как „на представителя досталинского и предвестника послесталинского коммунизма” является серьезной ошибкой [3].

Эта проблема тесно связана с изменением установившегося взгляда, что сталинизм был логическим, неизбежным результатом большевистской революции. В настоящее время все большее число советских и западных историков оспаривают этот взгляд. К ним принадлежу и я.

Биограф должен не поддаваться искушению преувеличить значение того, о ком он пишет. Если мне это и не удалось, то я надеюсь все же, что достаточно убедительно доказываю, что большевистская партия была гораздо более неоднородной по своему характеру, чем это обычно представляют, и поэтому результат революции был значительно менее предопределен. Убедить в этом широкого читателя, а исследователей побудить пересмотреть ставшие уже привычными представления кажется мне достаточно полезным.

Читатель должен также знать, что эта книга во многом неполна и в некоторых случаях имеет характер гипотезы как в подаче материала, так и в высказываемых суждениях. Если деятельность и мысль Бухарина вплоть до 1928—1929 гг. в основном отражены в опубликованных материалах, полностью доступных в библиотеках западных стран, то последние годы его жизни, как и все стороны трагической политической истории, одним из действующих лиц которой он был, все еще остаются по большей части неясными. После политического поражения Бухарина в 1929 г. мало достоверного появлялось о нем в советской прессе, а в течение двадцати лет после его ареста в 1937 г. он упоминался лишь как „враг народа”.

Хотя ослабление советской исторической цензуры после смерти Сталина в 1953 г. дало много ценной информации о досталинском периоде, тема Бухарина до сих пор остается официально запрещенной и искаженно трактуемой. Даже после того, как (цитирую из биографии Троцкого) „огромный груз клеветы и забвения” — результат двух десятилетий сталинской брани — был отброшен, значительная часть жизни Бухарина все еще остается в тумане; процесс ее реконструкции, как уже было

отмечено другими исследователями, иногда напоминает работу палеонтолога. Так, например, мы очень мало знаем о личной жизни и частных высказываниях Бухарина и других старых большевиков, отчасти из-за их обычной сдержанности, когда дело касалось подобных тем, отчасти потому, что их постигла при Сталине общая роковая судьба. Достаточно сказать, что из всех основоположников Советского государства, за исключением Ленина, только один Троцкий оставил подробную автобиографию и не тронутый цензурой личный архив.

Я полагаю, что в этой книге удалось собрать все те материалы о Бухарине, которые сейчас доступны. Тем не менее эта книга, безусловно, не может претендовать на то, чтобы быть последним словом. Когда советские историки получают возможность свободно изучить и описать историю создания Советского государства и деятельность его основоположников, материал этой книги, вероятно, дополнится, а некоторые ее положения потребуют пересмотра.

За всем хорошим, что есть в этой книге, лежит большая и сложная работа, затронувшая многие темы, и немислимая без великодушной помощи друзей и коллег.

Я хочу выразить глубокую благодарность и признательность всем тем, кто в течение семи лет помогал мне в моем исследовании. Если что-то в моей книге не так, то это не благодаря их помощи, а вопреки ей.

Больше всего я обязан Роберту С. Такеру, который свыше десяти лет был моим учителем, другом и коллегой. Он ознакомил меня с советской политикой и помог мне стать критически мыслящим исследователем; он неоднократно отрывался от собственных исследований, чтобы прокомментировать мою рукопись. Без его вдохновляющей и ободряющей поддержки книга не была бы написана.

Четверо других историков — Джордж Интин, Александр Эрлих, Лоурен Грэхем, Джон Н. Хазард — прочли всю рукопись или большую ее часть. Каждый из них консультировал и корректировал меня по многим вопросам, причем всякий раз терпел мое упрямство, когда речь шла о том, чтобы изменить или улучшить ту или иную мысль. Роберт Конквест, Зденек Дэвид, А. Г. Леви, Сидни Хайтман, покойный Б. И. Николаевский, Роберт М. Слассер регулярно отвечали на мои вопросы и великодушно делились со мной своими глубокими знаниями.

Я особо благодарю моего друга Уильяма Меркли, который замечательно воспроизвел из старых изданий некоторые фотографии, включенные в мою книгу, а также моих издателей Ангуса Кэмерна и Эда Виктора, которые руководили мною при составлении многочисленных приложений. Добавлю, что в

течение нескольких лет мне помогали собирать и обрабатывать материалы для моего труда Присцилла Буа, Мэрвин Деков, Лорна Гиз, Марго Гранитсац, Бриджит Ингемасон, Норман Московиц, Томас Робертсон, Энтони Тренга и Карл Уолтер.

Работая над книгой, я получал финансовую помощь от различных институтов. Исследовательский институт проблем коммунизма при Колумбийском университете дал мне возможность развить мою докторскую диссертацию в более широкое и полное исследование. Я приношу благодарность коллективу ученых и директору этого института Збигневу Бжезинскому за поддержку уже на ранней стадии работы. Я пользовался также дополнительными субсидиями от Американского совета научных обществ, Центра международных исследований Принстонского университета, Совета по международным и региональным исследованиям и Комитета по исследованиям в области гуманитарных наук. (Оба при Принстонском университете). Я хочу также поблагодарить Русский институт Колумбийского университета и его директора Маршалла Д. Шульмана, предоставившего мне возможность участвовать несколько лет в их научной жизни, а также Хаутонскую библиотеку Гарвардского университета за допуск к архивам Троцкого.

Отрывки из моей книги появились ранее в журналах „Совет стадис энд политикал сайенс куотерли” и в сборнике „Революция и политика в России; очерки памяти Б. И. Николаевского” (издано Александром и Жанет Рабинович; Блумингтон, Индиана, „Университи пресс”, 1972). Я признателен издателям за разрешение привести здесь эти материалы.

И наконец, я должен не только горячо поблагодарить Ленн, Эндрью и Александру, но и принести им сердечные извинения за то, что они так долго терпели меня с Бухариным и так долго оставались без меня.

С. Ф. К.

Нью-Йорк,
декабрь 1972 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОКСФОРДСКОМУ ИЗДАНИЮ

Бухарин и идея альтернативы сталинизму

Исторической неизбежности не бывает — альтернативы возможны всегда. И тем не менее, когда я начинал работать над этой книгой в середине 60-х гг., авторы научных трудов, посвященных советской истории, как на Западе, так и в СССР, исходили в большинстве своем из того, что реальной альтернативы сталинизму не было. Западные и советские историки придерживались тех или иных вариантов этого положения по разным причинам и с использованием разных приемов доказательств, но с одинаковой настойчивостью. Либо политика Сталина, начиная с насильственной коллективизации в 1929—1933 гг. и кончая двадцатилетней системой массового террора и лагерей, являлась неизбежным следствием характера большевистской партии и большевистской революции, либо все это было необходимо для модернизации отсталого крестьянского общества. Западные и советские ученые оказывались пленниками историографии без альтернатив даже несмотря на то, что альтернативы сталинизму имели долгую традицию в политике коммунистов. Традиция эта тянется от дискуссий среди большевиков в 20-х гг. к поискам иных путей к социализму коммунистическими партиями Восточной и Западной Европы после смерти Сталина в 1953 г.

Позицию представителей советской историографии объяснить легко. В течение долгого сталинского правления любые идеи о возможности других вариантов считались преступным заговором. Каковы бы ни были личные взгляды советских историков, они были вынуждены превозносить главный принцип ста-

линизма – утверждение, что Сталин с его политикой был единственным правомочным продолжателем большевистской революции и единственным воплощением коммунистической идеи. В начале 60-х гг. антисталинская кампания, проводившаяся Хрущевым, поколебала это навязанное единодушие взглядов; но даже тогда советские историки могли писать об исторических альтернативах только иносказательно. Жесткий режим, установившийся после Хрущева, положил конец даже этим ограниченным попыткам пересмотра прошлого – по крайней мере, в официальных публикациях. Критический анализ сталинизма перешел в конце 60-х гг. в сферу неподцензурных изданий, известных как самиздат, и только там смогла возникнуть откровенная дискуссия об исторических альтернативах между советскими исследователями [1].

Западный взгляд на сталинизм как на единственно возможное продолжение большевизма был сформирован не цензурой, он установился как бы по общему согласию. Некоторые ученые подчеркивали политический характер первоначального движения, другие – необходимость быстрой модернизации. Одни оказывались под влиянием, казалось бы, неумолимой логики в советской истории после 1917 г., поддавались назойливому нажиму сталинской идеологии, в то время как другие, в соответствии с духом „холодной войны”, с готовностью подтверждали, что сталинизм поистине был воплощением коммунизма. В результате западные специалисты, за редкими исключениями, тоже много лет интерпретировали советскую историю как продолжающееся, даже неизбежное развитие единой политической традиции, достигшей своей кульминации в сталинизме.

Этот тезис „преемственности”, как я называл его в других работах [2], начал утрачивать свою популярность среди западных и советских специалистов одновременно в 60-х гг. Идея несталинистской альтернативы советской истории начала постепенно возникать или, я бы сказал, возрождаться, и это способствовало благосклонному приему, который был оказан этой книге при ее издании в 1973 г. и затем при переводах на другие языки. Я старался написать книгу, которая была бы не только биографией Бухарина, но и историей рассматриваемого периода, и оба эти аспекта вызвали читательский интерес. В то же время в некоторых других кругах были высказаны решительные возражения против проводившейся мною мысли о том, что идеи и политика Бухарина в 20-х гг., отставившие более мирное, постепенное движение в направлении модернизации и социализма, были реальной альтернативой сталинизму.

Оставляя в стороне официальных советских историков, которые обязаны были отвергнуть книгу целиком [3], можно

сказать, что эти возражения отражают два различных течения среди ученых Запада. Одно — все то же центральное направление, считающее, что внутри большевизма альтернатив не было. Сталин продолжал ленинско-большевистскую традицию: „его преступления были в природе этого зверя“; его политика была „необходима... для осуществления тех задач, которые партия поставила себе, и в первую очередь задачи перехода страны деревянных плугов в век стали“; и его соперники по партии, такие, как Бухарин и Троцкий, были либо менее подходящими для этого, либо даже, наоборот, „пионерами сталинизма“ [4]. Другое течение более интересно, ибо в отличие от академического большинства его представители сочувственно относятся к большевистской революции и видят серьезные искажения, внесенные в ее ход сталинизмом. Это направление представлено двумя наиболее влиятельными исследователями советского опыта — Э. Г. Карром и покойным Исааком Дейчером.

На первый взгляд у Карра и Дейчера мало общего. Знаменитые биографии Сталина и Троцкого, написанные Дейчером, представляют собой литературные труды, полные драматизма и преклонения перед идеологической основой большевистской революции и подлинным коммунизмом. Многотомная „История Советской России“ Карра совсем иная — это сухой методичный труд британского эмпирика и убежденного адвоката внешнеидеологического подхода к истории. Тем не менее они дружили и весьма почитали друг друга, и постепенно в процессе многолетней работы Карр перенял основную часть дейчеровской идеологической интерпретации, заимствованной в значительной мере у Троцкого [5]. Они пришли к согласию по двум основным, хотя и не вполне согласующимся положениям: первое — сталинизм был хотя и трагическим, но неизбежным решением для преодоления русской исторической отсталости; и второе — если уже можно говорить о какой-то альтернативе или существенной спозиции сталинизму, то таковой был троцкизм.

Наиболее решительными критиками моей книги выступили последователи школы Дейчера—Карра, включая самого Карра и вдову Дейчера [6]. Хотя некоторые марксисты-историки с одобрением приняли мою интерпретацию [7], Карр и Дейчер изо всех сил старались повлиять на левых, особенно на тех, для кого Троцкий всегда был кумиром антисталинизма. Их рецензии на мою книгу были в основном доброжелательными, но в то же время, как мне кажется, слишком тенденциозными идеологически. Их возражения наиболее систематически были представлены бельгийским историком Марселем Либманом, поклонником Дейчера, который и сам является видным исследователем [8]. Отдавая должное „честности, основательности и серьезности“ моей книги, Либман в то же время без обиняков заявляет, что она представляет собой „вызов“ интерпретации советской

истории, данной Дейчером—Карром, которая „классически отличалась в форму выбора *между сталинизмом и троцкизмом*”. Согласно Либману, книга ставит „фундаментальный вопрос: не упускался ли до сих пор из виду выбор между сталинизмом и бухаринизмом?..”. Его отрицательный ответ на этот вопрос, характеристика, данная им мне как „антидейчеристу”, его горячая заинтересованность в том, чтобы „бухаринизм” не рассматривался „как социальная и политическая сила, стоявшая заметно выше троцкизма”, были на разные лады повторены другими рецензентами этого направления [9].

Хотя критика Либмана, по крайней мере на мой взгляд, представляется самой продуманной и интересной, наибольшее внимание привлекла серьезная рецензия Карра в „Таймс литерари саплмент”. Чтобы быть справедливым, я должен привести высказывания Карра против моей идеи „бухаринской альтернативы”:

Более фантастическое утверждение трудно придумать. Троцкого нередко подводил темперамент, и он допускал серьезные ошибки в суждениях. Его недостатки как политического лидера были так же существенны, как недостатки Бухарина, хотя они были совершенно другого рода. Но в одном его значение и роль не вызывают никаких сомнений. С того момента, когда Сталин начал восхождение к власти, и до того дня, когда Троцкий был убит в Мексике 15 лет спустя, одна тема, одна страсть преобладала во всем, что Троцкий делал или писал. Он был главнейшим противником Сталина и всего, что тот насаждал.

Возражения Карра, объясняемые преклонением перед дейчеровской концепцией сталинизма как фактически неизбежного „развертывания великого исторического сдвига”, сводятся к протесту против того, что он называет „легендой о великом, но проигравшем вожде — Бухарине” [10].

Но такой легенды нет, и никто не пытается ее создать. Идея бухаринской альтернативы основывается не на преувеличении личных качеств Бухарина-вождя, которые (как я старался показать в этой книге) не всегда отвечали требованиям момента, не на преуменьшении достоинств Троцкого, а также не на том факте, что Бухарин оставался в Москве, где и дождался юридически инсценированной казни, в то время как Троцкий встретил своего убийцу в изгнании. Ни при чем здесь и „одержимость” Троцкого Сталиным, которая, во всяком случае, была более сложной и многогранной, чем думает Карр. Суть вопроса состоит в том, представлял ли тот или другой вождь реальную *программную* альтернативу сталинизму в 20-е гг. Карр всегда с презрением относился к программе Бухарина, которая предполагала создание избытка сельскохозяйственной продукции для нужд дальнейшей индустриализации без сталинского наси-

лия по отношению к крестьянству; короткая глава о бухаринской оппозиции в „Истории” Карра названа довольно странно — в ней использован навешанный Сталиным ярлык без кавычек — правый уклон [11]. Здесь Карр также объявляет программу Бухарина „абсолютно невозможной в условиях нэпа”, что идет вразрез почти со всеми значительными новыми исследованиями, опубликованными за последнее время как западными, так и советскими учеными.

Рассматривая великие проблемы 20-х гг. и результат большевистской революции в плане соперничества между Троцким и Сталиным, школа Дейчера—Карра просто перепевает полемику пятидесятилетней давности, которая и в свое-то время была поверхностной и уводящей в сторону. Левые могут воспринимать эти древние ярлыки с сентиментальным чувством как нечто, по праву им принадлежащее, но работа историка именно в том и состоит, чтобы отдалить себя от событий и увидеть их в ясном свете. Миф о программной альтернативе Троцкого просуществовал многие годы в силу разных обстоятельств, таких, как героическая карьера Троцкого-революционера, его последующая судьба изгнанника, его литературные способности и умение приобретать энергичных сторонников за границей, демонический облик самого Сталина.

Но все это только помогает спутать незаурядную личность и яркие лозунги с реальной социальной и экономической программой. Троцкий достиг очень много как лидер и как революционер, но он так и не сумел разработать ясную последовательную политику индустриализации и построения социализма в Советской России. Его расплывчатые идеи и вспышки прозрения также не вызывали широкого отклика ни внутри партии, ни вне ее. Бухарин же, хотя и имел как политик много недостатков, стал основным выразителем определенных идей и политических мер — принципов и практики нэпа, — которые были одновременно и барьером против сталинизма, и альтернативой ему. Они находили широкий отклик в партии и стране, как до, так и после поражения Бухарина. И ничто не доказывает, что они были „абсолютной невозможностью”; они были насильственно подавлены и уничтожены вместе с нэпом.

Свидетельства, подтверждающие такую интерпретацию, можно найти как в прошлом, так и настоящем. Большинство исторических свидетельств представлено в этой книге; нет нужды снова повторять их. Но читателю следует знать, что они были поддержаны и в недавних исследованиях, в которых затронут вопрос несталинской альтернативы в двух планах. Во-первых, как западные, так и советские ученые разрушили легенду о необходимости и эффективности „сталинской модели” индустриализации. Первый пятилетний план действительно означал значительный скачок, в котором, однако, призывы заменяли рацио-

нальное планирование, недостижимые цели были достигнуты едва наполовину и то несоразмерно дорогой ценой, а крестьянское хозяйство было разрушено процессом коллективизации, что не только не способствовало индустриализации, но, вероятно, повредило ей. Очень мало ученых, включая и советских, когда они говорят с глазу на глаз, еще верят, что сталинский курс был необходим. Они видят широкий спектр различных сельскохозяйственных и промышленных возможностей, открывавшихся перед руководством в конце 20-х гг. и вполне совместимых с нэпом и теми альтернативами, которые Бухарин и его сторонники предлагали партии накануне своего поражения в 1928–1929 гг. [12]. В этом смысле можно сказать, что научный анализ этого поворотного момента в советской истории стал „бухаринистским”.

Другая линия научной оценки Троцкого. По мере того как он освобождается в конце концов от мифов и лозунгов „перманентной революции”, мы видим более глубокого, сложного, но в то же время менее решительного мыслителя. В нем не обнаруживается ни „предтечи-сталиниста”, каким он представлен во многих западных исследованиях, ни программного кумира антисталинизма, которому поклоняются левые. Его экономические идеи в 20-х гг. были переменчивы и не так уже далеки от бухаринских, как считали раньше; действительно, в 30-е гг., когда Троцкий наблюдал сталинскую перестройку издалека, его предложения „стали почти неотличимыми от линии Бухарина” [13]. Из этого вовсе не следует, что Бухарин был „великим проигравшим вождем”. Это означает лишь то, что он больше, чем какой-нибудь другой из большевистских руководителей после Ленина, был политическим представителем программных, хотя и „проигравших” идей.

Осуществление коммунистической политики после смерти Сталина подтверждает правдивость исторических свидетельств. Вот уже более четверти века антисталинисты во многих коммунистических партиях, включая и КПСС, ищут возможностей избавиться от сталинского наследия, анализируя прошлое в поисках того, что могло бы вдохновить, узаконить их позицию, открыть альтернативы. И повсюду, от Москвы и Белграда до столиц западного еврокоммунизма, а теперь, возможно, даже и в Китае, антисталинские реформаторы естественно тяготеют к чему-то вроде „второго выпуска нэпа”, то есть к идеям и политике в стиле Бухарина [14]. Возрождение программ, близких к мыслям Бухарина, в самом Советском Союзе проявилось наиболее явно в официальных кругах в 60-х гг. Так как его имя оставалось под запретом, его „изм” возродился среди советских деятелей анонимно. Но тенденция, по свидетельству одного западного ученого, проявилась очень наглядно: „Просто поражаешься, когда обнаруживаешь, как много

идей бухаринской антисталинской программы 1928—1929 гг. было выдвинуто нынешними реформаторами в качестве их собственных и в какой огромной мере их критика прошлого совпала с его обвинениями даже текстуально” [15].

Надежда на то, что подобные идеи получат официальное одобрение и историческая репутация Бухарина будет восстановлена, исчезла после введения советских войск в Чехословакию в 1968 г. Реформы Пражской весны были кульминацией антисталинских идей, циркулировавших в разных формах в СССР и в Восточной Европе с 50-х гг. Чешские реформаторы, в отличие от их идейных союзников в Москве, открыто говорили об идеях Бухарина как об оборванном направлении, которое, „так сказать, заговорило языком наших дней и было услышано” [16]. Советская пропаганда, с ее нараставшими неосталинистскими нотами, чернила замыслы реформистов и многократно указывала на их прямую связь с бухаринским „правым уклоном” [17]. Более того, в июне 1977 г. советские власти недвусмысленно выразили свое отношение, не только отвергнув многолетние ходатайства вдовы и сына Бухарина о его официальной реабилитации, но и заявив, вопреки всем постановлениям во времена Хрущева, что „обвинения, на основании которых он был осужден, остаются в силе” [18].

Но так же, как Москва не может больше подавить идею внутрикоммунистической альтернативы, она не может держать под контролем и репутацию Бухарина в мире или даже в самом Советском Союзе. В большом числе самиздатских работ, появившихся с конца 60-х гг., он уже реабилитирован. В добавление к тому, что он был благожелательно обрисован во многих неподцензурных мемуарах [19], его политика в 20-е гг. рассматривается с одобрением неконформистскими советскими историками. Один помещает его „первым после Ленина в революционных анналах XX века”. Другой находит, что его идеи „не утратили своей значимости и в наши дни”. И Рой Медведев, представляющий течение еврокоммунизма в движении советских диссидентов, написал впечатляющую книгу о последних годах жизни Бухарина, в которой определяет его казнь „как одно из самых страшных преступлений Сталина перед советским народом, партией и мировым коммунистическим движением” [20].

За пределами Советского Союза и сферы его влияния идея несталинской альтернативы также, естественно, пробудила новый интерес к Бухарину. В последние годы он был как бы открыт заново, что проявилось в настоящем взрыве исторических исследований, новых изданиях его работ, в появлении моды на него в левых кругах, даже в появлении в Англии пьесы, а в Италии фильма о его последних годах и суде над ним [21]. Более значительным фактором, однако, является международная кампания, объединившая еврокоммунистов и социалистов в

1978 г. — году 90-летия Бухарина и 40-й годовщины его гибели, — направленная на восстановление доброго имени и полную реабилитацию Бухарина в Советском Союзе.

Толчком для начала кампании, организованной Фондом мира Бертрана Рассела в Лондоне, послужило письмо сына Бухарина Юрия Ларина, живущего в Москве, в котором он обращался к Итальянской коммунистической партии с просьбой принять участие „в восстановлении справедливости по отношению к моему отцу”. Представитель ИКП — главной поборницы еврокоммунистической альтернативы сталинизму — немедленно объявил просьбу Ларина „моральной и политической необходимостью”. Реабилитация Бухарина сегодня, объяснял он, имела бы не только огромное историческое значение, но и была бы вполне оправданна с моральной, теоретической, воспитательной и политической точек зрения. В числе подписавших обращение были представители социалистических и коммунистических партий Европы и всего мира, в том числе и Австралии, а также много видных деятелей культуры [22].

Короче говоря, в наши дни Бухарин сделался символической фигурой для несталинской альтернативы как в Советском Союзе, так и в Европе. Как стало ясно из передовой статьи лондонской газеты „Таймс” в 1978 г., взгляд школы Дейчера—Карра на бухаринскую альтернативу как на „опасную иллюзию” разделяется, хотя и по совершенно другим причинам, консервативными противниками социализма. Нехотя присоединяясь к призыву о необходимости официальной реабилитации Бухарина советскими властями, „Таймс” предупреждала: „Но нельзя допустить, чтобы он [Бухарин] был использован для реабилитации самого коммунизма” [23].

Остается только определить истинное значение бухаринской альтернативы сегодня. Отклик, который она находит за пределами Советского Союза, даже среди самых антисталинских коммунистических партий, имеет характер скорее историко-символический. В развитии некоторых близких по сути идей Бухарина, таких, как роль крестьянских хозяйств, социальное потребление, рынок в плановой экономике, коммунистические реформаторы Восточной и Западной Европы пошли гораздо дальше. Более того, при всей своей оппозиции государству Левиафана и либерализме в вопросах культуры Бухарин не был демократом. Как и другие основатели Советского государства, он ответствен за убийства во времена сталинского режима, возникшего после 1929 г. Он никогда не подвергал сомнению, например, принцип однопартийной диктатуры или хотя бы запрещение фракций внутри партии. До тех пор, пока еврокоммунизм будет подразумевать соединение коммунистического общественного идеала с политической демократией, программа Бухарина не может быть осуществлена. Поскольку процесс деруссификации евро-

пейского коммунистического движения продолжается, поскольку эти коммунистические партии возвращаются к собственным национальным традициям, они будут находить в русском опыте все меньше того, что они могут оправдать, и будут все меньше нуждаться в каком бы то ни было символе из советского прошлого.

Реальный потенциал бухаринской альтернативы сегодня находится в самом Советском Союзе. Бухаринизм был более либеральным и гуманным вариантом русского коммунизма с его врожденными авторитарными традициями. Вдохновленный частично тем пересмотром взглядов, который осуществил Ленин в конце своей жизни, Бухарин искал пути развития Советского государства, которые позволили бы обойти наиболее жестокие аспекты этих традиций, а может быть, обойти и что-то похуже. Много изменилось в Советском Союзе с 20-х гг. Но до тех пор, пока сталинское прошлое продолжает сливаться с настоящим, идеи Бухарина остаются потенциальным источником антисталинской реформы — хотя и не обязательно перемен в сторону демократии — со стороны правящей партии.

Об этом же свидетельствует тот факт, что взгляды Бухарина стали центральным моментом в дискуссии, ведущейся наиболее открыто в неподцензурных русских изданиях на тему „Что следует сохранить из революции?“ [24]. Как мы видели, те советские диссиденты, которые еще верят в революцию и частично — в ленинское наследие, разделяют возрождающийся интерес к Бухарину. Те же, кто, подобно Солженицыну, считают, что ни в коммунистической идее, ни в советском опыте не осталось ничего непрогнившего, заслуживающего сохранения, заявляют, что Бухарин был всего лишь „Дон Кихотом большевизма“ или даже наоборот — был не лучше, чем Сталин [25]. Тем не менее утверждение одного русского противника коммунизма, что „Бухарин, вероятно, единственный большевик, кого хоть кто-то в России поминает добром“, раскрывает особую природу его исторической репутации в наши дни. И она будет расти, хотя бы благодаря тому, что он противостоял роковому моменту в советской истории, сталинской коллективизации в деревне, которую так много русских сейчас рассматривают как „величайшую национальную трагедию“, как катастрофу, которая, по словам Хрущева, „не принесла нам ничего, кроме несчастий и жестокости“ [26].

Но в то же время консерваторы, контролирующие советскую коммунистическую партию, настороженно относятся к растущей репутации Бухарина. Они понимают, что реабилитировать этого отца-основателя значило бы легализовать реформистские идеи внутри самой партии. А это в свою очередь означало бы пересмотр главных основ системы, начиная от непроемчивых колхозов и скрипящего планового хозяйства до давящей

цензуры. Цепляясь за прошлое, они остаются наследниками Сталина. И все же идея бухаринской альтернативы распространяется все шире — от Москвы до Западной Европы. Бухарин словно бы бросает в своих преследователей проклятие Дантона: „Вы наложили руки на всю мою жизнь. Да восстанет она и да бросит вам вызов!”

Нью-Йорк,
сентябрь 1979 г.

Мы вскоре обнаружим, как различны были характеры и прежняя жизнь людей, привлеченных и использованных революцией, из какого множества потомков она состояла и как невозможно выразить все ее аспекты или идеи ни в нескольких строках, ни одной дефиницией.

И. М. Томпсон.
Вожди Французской революции

История партии – история нашей жизни.

Старый большевик,
который выжил, 1965 г.

ГЛАВА

1

ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЬШЕВИКА ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ

Тот, кто ищет спасение душ, своей и других, не должен искать этого на путях политики; у нее совсем другие задачи, которые решаются только силой.

Макс Вебер

Я утверждаю, что всякий мыслящий человек не может стоять вне политики.

Н. Бухарин

Великие события порождают устойчивые мифы. В 1917 г., используя нерешительность, некомпетентность или бездействие соперников, большевики взялись за дело и с потрясающей легкостью встали во главе русской революции. Этот дерзкий акт, противопоставленный нерешительности других политиков, положил начало легенде о том, что большевистское руководство, в противоположность другим политическим партиям, было сплоченной, однородной, единомыслящей группой. Миф этот, хотя он и не верен, много лет оставался в силе среди исследователей революции[1]*.

Хотя само руководство, особенно в моменты бурных внутренних разногласий, не устает повторять, что партия некогда отличалась „единой психологией и единой идеологией”[2], неясно, почему эта легенда так долго существовала. История дооктябрьского большевизма, который сам есть продукт фракционности внутри русского марксизма, или социал-демократического движения, полна бесконечных препирательств по фундаментальным вопросам, особенно между Лениным и его соратниками по руководству. Даже решение взять власть может служить прекрасным примером партийной разобщенности: оно было встречено в штыки многими старейшими ленинскими соратниками, включая виднейших – Григория Зиновьева и Льва Каменева. События

* Звездочкой обозначены комментарии доктора исторических наук И.Е. Горелова, помещенные в конце книги.

после 1917 г. тоже не наводят на мысль о единодушии в основных вопросах. Начиная с усиления оппозиции ленинской внутренней и внешней политике в начале 1918 г. и затем в ходе острых, носивших программный характер споров в 20-е гг. разногласия между большевиками продолжаются и усиливаются, прерываясь только короткими периодами единства ради сохранения власти. Как заметил позже один советский историк, партийное руководство между 1917 и 1930 гг. тринадцать лет было во власти фракционной борьбы [3].

Двумя десятилетиями внутрипартийной войны и сталинской братоубийственной кровавой чистки 30-х гг. был развеян миф о монолитном большевистском руководстве; он уступил место другому, лишь отчасти более справедливому мифу, состоявшему в том, что движение изначально характеризовалось двойственностью — два противоположных течения сосуществовали внутри партии. С одной стороны — большевики-„западники”, партийные интеллигенты, жившие за границей до 1917 г. и впитавшие западные политические и культурные традиции. Они осуществляли связь большевизма с европейским социализмом и его интернационалистическим мировоззрением. С другой — партия большевиков-„почвенников”, которые оставались в России и руководили до революции подпольными организациями. Искушенные в организационных делах больше, чем в теории, прагматики, мало интересующиеся классическим достоянием социализма, „почвенники” рассматриваются как представители националистических тенденций большевизма и зачаток послеоктябрьской партии бюрократов-аппаратчиков.

Согласно этому мифу, вся большевистская политика после 1917 г. может рассматриваться в свете этой двойственности [4]. В первые годы Советской власти интеллектуальные „западники” доминировали в партийном руководстве, но были разгромлены и вытеснены в конце 20-х гг. „почвенниками”, партийными бюрократами, руководимыми и олицетворявшимися Сталиным. Концепция раздвоения коммунистического движения как единственного источника будущих партийных разногласий ближе к истине, чем первоначальный миф, потому что конфликт между националистами и интернационалистами действительно существовал. Однако и она неверна, ибо предполагает, что среди настроенных по-западному интеллигентов существовало прочное единство взглядов. Скорее наоборот. Накануне революции „западники” включали в себя много типов большевиков и почти так же много толкований большевизма. Именно эти разногласия и повлекли за собой политические расхождения первого послереволюционного десятилетия. Помимо того, что у них были разные характеры и разные интеллектуальные корни, они представляли собой разнородную группу, отражавшую, помимо всего прочего, многонациональный характер пред-

революционной Российской империи и противоречие между отцами и детьми, которое уже возникло внутри изначального большевистского движения. Эти и другие разобщающие факторы сыграли заметную роль в партийных диспутах после 1917 г.

Важнее всего то, что самые первые большевистские лидеры-интеллигенты не были, как часто полагают, согласны друг с другом во всем, что касалось марксизма [5]. Последователи Маркса вообще редко соглашались между собой относительно интерпретации или политического применения его идей, отчасти из-за количества и разнообразия последних. И большевики не были здесь исключением. Хотя до 1917 г. русский большевизм представлял собой лишь небольшую часть европейского марксизма, он сам состоял из различных, соперничавших между собой идейных школ и политических направлений. Одни большевики испытывали влияние разных школ европейского марксизма, другие — немарксистских идей, третьи — влияние русского родничества и анархизма. Разумеется, источником политических разногласий оказалась отчасти и непредвиденная победа в отсталой аграрной России марксистской партии, чья революционная доктрина относилась к зрелому индустриальному обществу*. Но даже и общепринятые марксистские положения, например необходимость экономического планирования, при воплощении в жизнь породили жестокие споры [6]. Короче говоря, в первые годы революции за фасадом политического и организационного единства, провозглашаемого под именем „демократического централизма“, большевики расходились во мнениях по поводу философии и политической идеологии. Скорее, „среди партийцев наблюдалось замечательное разнообразие взглядов, и расхождения между ними простирались от акцентировки до серьезных мировоззренческих конфликтов“ [7].

Таким образом, в противоположность легенде, большевизм пришел к власти и в течение ряда лет оставался разнородным движением; различные люди пришли к Октябрьской революции различными путями. Партия, как бы ни отрицали этого ее руководители, была не идеологическим или даже организационным монолитом, а лишь „федерацией договаривающихся между собой групп, группочек, фракций и течений“ [8]**. Такие „федерации“ вообще характерны для всех политических партий и, скорее всего, для руководства всех крупных эволюций.

Поэтому, принимаясь за дело, мы, подобно историку Французской революции, будем помнить, „насколько различны судьбы и дарования людей, которых привлекла к себе и использовала революция, какое множество течений мысли влилось в ее полноводье и насколько невозможно заключить все стороны и идеи в рамки какой-либо сентенции или дефиниции“ [9].

Николай Иванович Бухарин родился в Москве 27 сентября (9 октября по новому стилю) 1888 г.*; он был вторым сыном Ивана Гавриловича и Любови Ивановны Бухариных. Мы мало знаем о жизни его братьев Владимира и Петра. В истории революционной России они упоминаются только однажды, в полицейском досье, подготовленном на Николая. Немногим больше известно и о матери Бухарина, в девичестве Любови Измайловой. В 80-х гг. она так же, как и отец Бухарина, была учительницей начальной школы в Москве. В своей автобиографии, написанной в 1925 г., Бухарин вспоминает ее как „женщину очень неглупую, на редкость честную, трудолюбивую, не чаявшую в детях души и в высшей степени добродетельную”, которую иногда приводили в замешательство эксцентрические причуды среднего сына, хотя она и терпела их. Юный Николай, обнаружив, что он больше не разделяет православной веры семьи, начал спрашивать себя: „Не антихрист ли я?” А так как „мать антихриста должна быть блудницей, то я допрашивал свою мать... не блудница ли она...”, и она никак не могла понять, откуда у меня могли быть такие вопросы” [10].

Иван Гаврилович, по всей видимости, был типичным отцом русского революционера, традиционным в своих воззрениях, православным и консервативным (а возможно, когда это вошло в моду, и либеральным) в своих политических взглядах. Выпускник Московского университета и математик по специальности, он оставался учителем московской гимназии вплоть до 1893 г., когда получил место податного инспектора в далекой Бессарабии и перевез туда семью. (Четыре года, проведенные Бухариным в Бессарабии, были единственными, исключая его кратковременное пребывание в революционном Петрограде в 1918 г., когда он, живя в России, добровольно находился вне Москвы. Он был москвичом – факт, имевший позднее большое значение в его политической биографии.)

Положение семьи стало тяжелым. Иван Гаврилович оставил или потерял должность, и Бухарины вернулись в Москву. По следовали два года безработицы, в течение которых семья „терпела большую нужду”. В автобиографии Бухарин ничего больше не говорит о судьбе своего отца, но из других источников мы узнаем, что к 1911 г. Иван Гаврилович значительно улучшил свое положение, получив звание надворного советника [11] – чин седьмого класса в четырнадцатиклассной системе царско-гражданской службы, который давал личное дворянство. Мало вероятно, чтобы Бухарин стеснялся последующих успехов своего отца. Подобно Марксу и Энгельсу, большинство большевистских руководителей были не пролетарского происхождения

* Там, где это не оговорено особо, даты русской истории до 1918 приводятся по старому стилю. – *Прим. авт.*

У Бухарина тем более не было причин для смущения, ибо карьера его отца и отца Ленина была удивительно похожа: оба получили университетское образование (что не считалось заурядным явлением в России XIX века) и были математиками, оба начинали как школьные учителя и позднее поднялись по административной лестнице. В этом отношении отец Ленина был даже более удачлив, достигнув четвертого класса и, соответственно, получив право на потомственное дворянство [12].

Бухарин всегда с любовью и восхищением относился к своему отцу (который дожил до 1940 г.), несмотря на различие в их политических взглядах [13]. Истинно культурный человек, Иван Гаврилович сам занялся воспитанием мальчика, и в некоторой степени ему принадлежит заслуга в том, что тот стал самым интеллектуальным и широкообразованным большевистским руководителем. Бухарин писал, что родители воспитывали его „в обычном интеллигентском духе: четырех с половиной лет я уже умел читать и писать”. Кроме того, три пожизненных увлечения Бухарина сформировались под влиянием отца. Одним из них была естественная история, „страсть моего детства” [14]. Посещавшие позже Советскую Россию рассказывали, что ни один подарок не мог доставить Бухарину большего удовольствия, чем пополнение каким-нибудь редким экспонатом его великолепных коллекций птиц и бабочек. Его основательные знания чешуекрылых произвели впечатление на академика И. П. Павлова, тоже энтузиаста-коллекционера, а рассказы о его домашнем зверинце, который к 30-м гг. занимал целую дачу и даже часть территории Кремля, стали легендарными [15]. Отец также воспитал у него непреходящий интерес к искусству и мировой литературе, что позволило Бухарину сделаться выдающимся большевистским литературным критиком. Из первого увлечения выросла еще одна страсть, и прежде, чем он открыл, что „одна жизнь не может быть поделена между двумя такими требовательными богами, как искусство и революция”, Бухарин думал стать художником. После 1917 г. это стремление проявилось в карикатурах на политических деятелей — иностранные коммунисты хранили эти карикатуры среди своих самых ценных вещей [16].

Ранние годы „бессистемного” обучения и чтения „положительно всего” составляют существенную часть образования Бухарина. Многие большевистские руководители принадлежали к интеллигенции, но немногие были действительно интеллектуалами, искателями в мире идей. Большинство начинали революционную деятельность в раннем возрасте, недоучками, и даже поступившие в университеты вскоре были вовлечены в студенческое движение, что обычно наносило ущерб учебе (как случилось и с Бухариным). В результате, усвоив политическую риторику и идеологическую софистику, они не были способны

расширить свой горизонт и интересы за пределы господствующей социалистической доктрины. Когда Бухарин семнадцать лет вступил в партию, он уже обладал интеллектуальной любознательностью и той базой знаний, включая владение иностранными языками, которые, видимо, в дальнейшем помешали ему рассматривать большевизм, а отчасти и все марксистское учение, как закрытую систему. Он стал впоследствии самым разносторонним из большевистских теоретиков и в свои зрелые годы больше других политических вождей был знаком с современными немарксистскими идеями и больше других испытал их влияние.

Интеллектуальная самобытность Бухарина также, видимо, ведет свое начало с раннего периода его жизни. Если его утверждение, что он выработал „ироническое отношение к религии” на пятом году жизни, может быть воспринято с некоторым скептицизмом, то несомненно, что тяжелое положение семьи после возвращения в Москву, безусловно, глубоко поразило его. Он начал смотреть на современную городскую жизнь „не без некоторого презрения”. В годы учебы в начальной школе он испытал „духовный кризис” — обычное явление в жизни юного русского интеллигента — „и решительно разделался с религией”. Если это и огорчило его православных родителей, то они, вероятно, были утешены его академическими успехами. В 1900 или 1901 г. он окончил начальную школу с наивысшими оценками и поступил в лучшую московскую гимназию. Программа классической гимназии предусматривала подготовку учеников для университета, и требования поэтому были очень высоки. Он снова получил высшие баллы, „хотя и не прилагал никаких к этому усилий” [17].

В гимназические годы Бухарин, как и многие другие представители его поколения, впервые столкнулся с политическим радикализмом. Русская гимназия уделяла большое внимание классическим наукам и старалась привить почтение к традиционному обществу. В действительности же она оказывалась как бы первой станцией на пути в революционную политику, так как жесткая школьная дисциплина явно вызывала широкое неповиновение авторитетам. В младших классах ученическое вольнодумие приобретало невинные формы — курение украдкой, азартные игры, списывание и разрисовка стен уборных. Но во время учебы Бухарина в старших классах, в канун революции 1905 г., вольномыслие гимназистов стало более серьезным. Бухарин как член радикальной ученической группы организовывал дискуссионные кружки и распространял подпольную литературу. Первые политические увлечения его были совершенно невинны, он находился под влиянием Дмитрия Писарева, чей нигилизм и прославление элиты „критически мыслящих” долго были популярны среди молодежи России. К осени 1904 г., од-

нако, Бухарин и его товарищи-гимназисты, прошедшие „через стадию писаревщины“, подошли к идеям, больше отвечающим духу времени [18].

Пагубная для России война с Японией 1904–1905 гг. трагически обнажила всю глубину отсталости и жестокой несправедливости царизма. После 1900 г. общественное недовольство и открытый протест разрастались вглубь и вширь. Крестьянство (около 80% населения), возмущенное своими полуфеодальными повинностями, жаждающее земли, все чаще совершало отдельные акты нападения на помещичьи хозяйства; немногочисленный, но растущий промышленный пролетариат испытывал свои силы в нестихающих волнах забастовок, а в городских образованных слоях усиливался голос политической оппозиции всех оттенков. Силы надвигающейся революции ощущались и в гимназии, где русская оппозиционная идеология XIX века уступила место модернизированному народничеству партии социалистов-революционеров и марксизму социал-демократической рабочей партии, уже расколовшейся на два соперничающих крыла – радикальных большевиков, возглавляемых Лениным, и более умеренных меньшевиков. Симптоматичным для гимназических настроений являлось то, что конституционный либерализм, имевший немалый успех на широкой политической арене, нашел мало сторонников в гимназии. Бухарин и его друзья пригласили выступить в своем кружке известного профессора-марксиста Михаила Покровского, который произвел впечатление своим страстным антилиберализмом и „пролетарским якобинством“ [19].

В 1905 г. шестнадцатилетний Бухарин был уже руководящим членом нелегального студенческого движения, связанного с социал-демократами [20]. Характерно, что сначала в марксистском движении его привлекли не столько политические установки, сколько „необычайная логическая стройность“ марксистской общественной теории. Напротив, теории социалистов-революционеров „казались прямо какой-то размазней“ [21]. Однако бурные события 1905 г. бросили его в объятия политики.

Начиная с январского „кровавого воскресенья“, когда царские войска открыли огонь по безоружной толпе народа, несшего прошение царю, и вплоть до разгрома декабрьского московского восстания, по России прокатилась волна эпидемии политических протестов и волнений. Голос противников самодержавия, который глушился десятилетиями, в этом году слышен был непрерывно и повсеместно, и с каждым месяцем голос этот становился все более радикальным. Летом влияние либеральной оппозиции царю упало, и на авансцену вышли революционные партии, особенно социал-демократы в Москве [22]. „Рабочие и студенческая молодежь буквально кипели, – писал Бухарин трид-

цать лет спустя. — Митинги, демонстрации, стачки множились. Толпы ходили по улицам городов, и повсюду гремела „Рабочая Марсельеза”: „Вставай, подымайся, рабочий народ!” [23]. Царизм устоял во время этого пролога революции 1917 г. Но, потерпев поражение, русское марксистское движение вместе с тем укрепилось в вере и приобрело новые символы. Московские и петербургские Советы, московская всеобщая стачка и декабрьские баррикады, казалось, доказали, что европейский марксизм и западный образец восстания применимы к условиям крестьянской России.

Лихорадка волнений этого года вывела Бухарина и всю массу гимназистов. близких ему по образу мыслей, из стен гимназии на арену серьезной революционной деятельности. Их политическим центром стал Московский университет, революционный „зал для митингов” 1905 г., очаг „бурных событий”. В аудиториях, свободных от занятий из-за студенческих забастовок, учащиеся гимназий просиживали дни и ночи бок о бок со студентами, рабочими, профессиональными революционерами, следя за „выступлениями, принятием резолюций, решений”. Писатель Илья Эренбург, гимназический друг и товарищ Бухарина, вспоминал: „Мы пели Марсельезу... По рукам ходили огромные шапки с запиской: ”Жертвуйте на вооружение”. Они были не просто сочувствующими. Молодые студенты широко развернули социал-демократическую пропаганду [24].

Хотя Бухарин до следующего года формально не состоял в партии, события 1905 г. окончательно сформировали его как „революционного марксиста-большевика” [25]. Примкнув к социал-демократическому движению, он сразу был привлечен его боевой большевистской фракцией. Москва была одним из немногих городов, где большевики оказались сильнее своих меньшевистских соперников и где они контролировали большинство партийных комитетов*. В 1905 г. они имели значительный успех и влияние в массах. Намек на простое объяснение того факта, что гимназисты были привлечены большевиками, находим у Эренбурга: он „понимал, что меньшевики умеренны, ближе к ... отцу” [26]. Как бы то ни было, большевизм завоевал сверстников Бухарина. Последний был лишь самой известной фигурой из целого поколения будущих партийных лидеров, вовлеченных в большевизм во время революции 1905 г. (Из 171 делегата, ответившего на анкету, розданную на партийном съезде в июле—августе 1917 г., 58 вступили в большевистскую организацию между 1904 и 1906 гг., а 23 человека — самая высокая цифра за все годы — в 1905 г. Средний возраст делегатов съезда равнялся 29 годам — в 1905 г. это были семнадцатилетние школьники [27].) В лице Бухарина и его сверстников партия пополнилась вторым поколением руководителей, группой (особенно это относится к москвичам), отличавшейся сплочен-

ностью, преданностью и, как выяснилось в 1917–1918 гг., твердым сознанием политического единства и взаимного доверия.

Последние судороги неудавшейся революции затихли в 1906 г.* и в России установился короткий период псевдоконституционных уступок, сделанных скрепя сердце царем. Для Бухарина и его друзей это был год решительного политического самоопределения, как свидетельствует Эренбург: „Больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией” [28]. Будучи старше Эренбурга и уже закончив гимназию, Бухарин тоже вступил в большевистскую организацию во второй половине 1906 г. [29]. Таким образом, в семнадцать лет он стал одним из тех, кого Ленин называл профессиональными революционерами, и в течение следующих пяти лет, пользуясь в своей нелегальной деятельности партийной поддержкой, работал главным образом как большевистский организатор и пропагандист. Работа Бухарина в большевистском подполье, среди „почвенников”, доказывает, что последних нельзя четко отделить от партийных интеллигентов, виднейшим представителем которых был Бухарин, и что „почвенники” вовсе не всегда были такими мрачными, черствыми, лишенными юмора людьми, какими их обычно представляют. Эренбург позже писал: „Говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись... Как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость!” [30].

Первое партийное назначение Бухарина – пропагандист Замоскворецкого района Москвы. Его деятельность, сразу привлекавшая внимание царской охранки, состояла главным образом в организации студенческого движения, продуктом которого он сам являлся. Осенью 1906 г. он и Григорий Сокольников, другой юный москвич, впоследствии видный советский руководитель, объединили молодежные группы Москвы в одну общегородскую организацию, а в 1907 г. они созвали всероссийский съезд социал-демократических студенческих организаций. Съезд поддержал программу и тактику большевиков и учредил то, что должно было стать постоянной всероссийской молодежной организацией; однако на следующий год в связи с полицейскими репрессиями организация была распущена, а руководители ее были переведены на другую работу. (Созданный после 1917 г. комсомол стал как бы вторым рождением организации 1907 г., а Бухарин, занимавшийся в то время в Политбюро делами комсомола, олицетворял живую связь комсомола с его предреволюционным прошлым [31].) В 1907 г. Бухарин вел работу и среди рабочих, он и Эренбург руководили стачкой (или просто в ней участвовали – точно неизвестно) на крупной обойной фабрике [32].

Профессиональный революционер мог иметь и побочные за-

нения. Ведя подпольную деятельность, Бухарин в то же время готовился к вступительным экзаменам и поступил в Московский университет осенью 1907 г. Хотя он продолжал числиться в списках студентов экономического отделения юридического факультета вплоть до своей ссылки в 1911 г., он, очевидно, проводил мало времени в аудиториях и еще меньше времени уделял академической программе [33]. Обязанности партийного работника, требовавшие полного рабочего дня, он сочетал с эпизодическими занятиями в университете. Самодержавие, пересмотрев свои конституционные уступки, быстро вернулось к репрессиям, и Московский университет опять стал центром борьбы. Вскоре после вступления в него Бухарин и Н. Осинский (псевдоним Валериана Оболенского), другой юный большевик, созвали массовый студенческий митинг, первый после 1906 г. [34]. Основной целью Бухарина в университете были „теоретические налеты”, как он сам их называл. Вместе с другими студентами-большевиками Бухарин выступал с марксистской критикой на семинарах „какого-либо почтенного либерального профессора” [35].

Стремительное продвижение Бухарина в московской организации — свидетельство того, что он тратил гораздо больше времени и энергии на политику, чем на учебу. В 1908 г., через два года после вступления в партию, он кооптируется в Московский комитет — городской исполнительный орган — и назначается ответственным организатором крупного и важного Замоскворецкого района. Место в составе МК было закреплено за ним в ходе выборов, проведенных в начале 1909 г. Так двадцатилетний Бухарин стал одним из видных большевистских руководителей в крупнейшем городе России [36]. Очевидно было, что теперь полиция надолго не оставит его на свободе. 23 мая 1909 г., во время налета на МК, Бухарин был впервые арестован. В июле он освобожден, но заключение положило конец его беспрепятственной революционной деятельности; осенью его снова арестовали, затем снова выпустили под залог до решения суда [37].

Его арест был лишь маленьким эпизодом в общей картине упадка социал-демократического движения по всей России. Общее число членов РСДРП снизилось со 100 тыс. человек в 1907 г. до менее 10 тыс. за два года. Не более пяти-шести большевистских комитетов еще действовали в России, а московская организация в конце 1909 г. могла похвастаться лишь 150 членами [38]*. Вести нелегальную работу стало практически невозможно, и некоторые социал-демократы (их стали называть „ликвидаторами”) призывали к роспуску подпольного партийного аппарата. Бухарин резко выступил против „ликвидаторства”, однако, вторично выйдя из тюрьмы, тоже счел нужным перейти к легальным формам работы. Он работал в марксистских школах, политических клубах и в профсоюзной газете

вплоть до 1910 г., когда, вероятно, пытаюсь избежать повторного ареста в связи с готовившимся судом над московскими социал-демократами, ушел в подполье. Он скрывался от полиции до конца года, когда охранка с помощью своих осведомителей в партии схватила оставшихся московских лидеров, включая и Бухарина, и фактически уничтожила последние остатки городской организации [39].

Обстоятельства, приведшие к аресту Бухарина, позднее оказали влияние на его отношения с Лениным. Настоящим бедствием партии в течение нескольких лет были провокаторы — ситуация, достигшая нелепых пропорций в московской организации, где в 1910 г. не менее четырех ее руководителей были агентами охранки. Последний арест Бухарина, а также несколько более ранних инцидентов убедили его, что Роман Малиновский, один из руководящих московских большевиков, знавший приблизительное местонахождение Бухарина, — агент охранки [40]. Это подозрение, которое Ленин наотрез отказался принимать всерьез, стало постоянным источником трений между Бухариным и Лениным, начиная с их первой встречи в 1912 г. и вплоть до 1917 г., когда виновность Малиновского была неопровержимо доказана с помощью документов из полицейских архивов. Можно понять, почему Бухарин был раздосадован нежеланием Ленина верить его обвинениям. Предательство Малиновского прервало деятельность Бухарина в пределах России до 1917 г. Пробыв свыше шести месяцев в заключении в Бутырской и Сушевской тюрьмах Москвы, он в июне 1911 г. был выслан в Онегу, городок в отдаленной Архангельской губернии. Убежденный, что вскоре получит каторгу, 30 августа 1911 г. он скрывается из Онеги. Объявляется уже в Ганновере (Германия) и в Россию до 1917 г. не возвращается [41].

Когда двадцатитрехлетний Бухарин в 1911 г. покинул Россию и начал жизнь скитающегося эмигранта, он был уже ветераном подпольных партийных комитетов с пятилетним стажем, известным московским большевиком, чья преданность революции была испытана на фабриках, улицах и в тюрьмах. Простота и естественность облика и личности зрелого Бухарина уже тогда проявились в его непритязательном образе жизни. Он был невысокого роста, подвижный, рыжеволосый, с редкой бородкой на мальчишеском лице и серо-голубыми глазами под высоким лбом. Женщина, которая встречала его в 1913 г. в эмигрантских кружках в Вене, вспоминает, что „Бухарин выделялся... своими характерными чертами. Он имел внешность скорее святого, чем бунтаря и мыслителя. Его открытое лицо с громадным лбом и чистыми сияющими глазами было в своей совершенной искренности почти безвозрастным”.

Обаятельный с женщинами, непринужденный с детьми, доступный и для рабочего и для интеллигента, он был „симпатичной личностью” даже в глазах своих противников. Юношеский энтузиазм, общительность, задушевный юмор, которые впоследствии дали повод называть его „Вениамином большевистского руководства”, „любимцем партии”, уже тогда производили впечатление на знакомых. Они говорили о его доброте, благородстве, экспансивности и жизнелюбии [42].

Менее четко прослеживаются в отрывочных сведениях о ранней деятельности Бухарина предпосылки того, что он станет политически независимой личностью среди ближайших соратников Ленина (а стало быть, оппозиционером) и, по выражению Ленина, „крупнейшим теоретиком” большевизма. О своей партийной позиции до эмиграции Бухарин писал позднее: „...все время был ортодоксальным большевиком” (то есть не был ни „отзовистом”, ни „примиренцем”) [43]. В двух основных фракционных дискуссиях среди большевиков, проходивших в те годы между Лениным и левым крылом „отзовистов”, выступавших против участия большевиков в Думе, и между Лениным и правым крылом „примиренцев”, которые склонялись к примирению и воссоединению с меньшевиками, Бухарин поддерживал Ленина против обоих „уклонов”. Особенно показательно у Бухарина отсутствие симпатий к противникам участия в Думе — ведь последние имели большой вес в радикально настроенной московской организации. Во всяком случае, „ортодоксальность” Бухарина опровергает мнение, что он начинал свою партийную деятельность как член группы бескомпромиссных большевистских левых.

Но признаки того, что он может стать главным партийным теоретиком, были явно налицо. Уже тогда Бухарин занимался, хотя и „бессистемно”, основными темами своих зрелых теоретических работ — экономических, философских, социологических. Известно, что в период между 1906 и 1910 гг. он опубликовал по крайней мере одну статью, критическую рецензию на книгу меньшевистского экономиста, и подготовил набросок статьи об экономисте-ревизионисте Михаиле Туган-Барановском, опубликованную позднее, в 1913 г., в Германии. Ясно, что теоретическая экономика уже стала его специальностью [44]. Причем, если верить свидетельству его горячего последователя Дмитрия Марецкого, уже тогда проявилась характернейшая черта позднего Бухарина — его интерес к современным ему немарксистским общественным теориям. Европейская мысль послемарковского периода, как замечает Марецкий, была совершенно неизвестна „прежнему поколению революционных марксистов России” [45]. Постоянный интерес к ней Бухарина поставил его как мыслителя несколько в стороне от старых большевиков, включая Ленина*.

Уважение к новым течениям мысли, возможно, лежало в основе его единственного „уклона” в доэмиграционный период „известной еретической склонности к эмпириокритикам”, представленным в России философом-марксистом Александром Богдановым [46]. Богданов, один из видных большевистских руководителей, предпринял честолюбивую попытку создать философский синтез марксизма и эмпириокритицизма Маха и Авенариуса. В результате появился трехтомный трактат „Эмпириомонизм”, публиковавшийся в 1904–1908 гг. Хотя далеко идущая богдановская ревизия Маркса немедленно разожгла идеологическую полемику в марксистских кружках, Ленин более пяти лет стоял в стороне от этих споров, очевидно не желая ставить под удар свое политическое сотрудничество с философом. В 1908 г., однако, Богданов стал политическим руководителем левых большевиков (в том числе „отзовистов”), что вынудило раздраженного Ленина начать против него идеологическую кампанию. В следующем году Богданов и левые официально порвали отношения с ленинским политическим руководством, и Ленин опубликовал свою работу „Материализм и эмпириокритицизм”, беспощадно атаковав в ней богдановскую „реакционную философию” [47].

Бухарин следит из Москвы за жестокой философской битвой (Ленин и Богданов жили в эмиграции в Европе). Не удивительно, что Бухарин склонялся к Богданову. „Материализм и эмпириокритицизм”, несмотря на свое почетное положение в советской философии, не принадлежит к сильным работам Ленина*, тогда как произведения Богданова, хотя и сомнительные в смысле верности Марксу, содержат возбуждающие мысль положения, переработку марксистской теории. Как показывает поздняя работа Бухарина „Теория исторического материализма” (1921 г.), влияние Богданова на формирование его идей было устойчивым. Однако Бухарин не был последователем Богданова, как доказывали потом его партийные противники. Он не столько соглашался с философскими аргументами старшего теоретика, сколько восхищался его способностью к творческому новаторству в рамках марксистских идей. Их интеллектуальные темпераменты были похожи. Подобно зрелому Бухарину, Богданов был „ищущим марксистом”, он отказывался рассматривать марксизм как закрытую, незыблемую систему и всегда был чуток как к несовершенствам марксизма, так и к достижениям соперничающих с ним школ. Ленин, относившийся с недоверием к теоретическим новшествам Богданова, раздраженный его политической оппозицией, утверждал, что одно с другим связано, и клеймил его как человека во всех отношениях недостойного. Бухарин, с другой стороны, хотя и не разделял никоим образом политических взглядов Богданова, продолжал высоко ценить его как мыслителя. Когда в 1928 г. философ, уже почти двад-

цать лет находившийся вне партии, умер, Бухарин опубликовал трогательную статью, в которой отдал дань человеку, который „играл огромную роль и в развитии нашей партии, и в развитии общественной мысли в России” [48]. Противоположные оценки Богданова стали еще одним источником трений между Бухариным и Лениным.

Но больше всего повлияли на дальнейшую карьеру Бухарина не его ранние философские пристрастия, не его фракционная политическая деятельность, а тот факт, что он был московским большевиком и представителем яркого поколения будущих партийных руководителей, которые пришли к большевизму в результате событий 1905 г. Вся его политическая биография — выдвижение в руководящий орган большевиков в 1917 г., ведущая роль среди левых коммунистов в 1918 г. и среди правых большевиков в 20-х гг. — неразрывно связана с именами москвичей, с которыми он с юности начинал свою революционную деятельность (Н. Осинский, В. М. Смирнов, Г. И. Ломов, Г. Я. Сокольников, В. Н. Яковлева и ее младший брат Николай, Г. А. Усевич и Дм. Боголепов) [49], и со всей московской организацией в целом. Его друзья — москвичи „поколения 1905 г.” — стали его политическими союзниками во внутрипартийной борьбе 1917—1918 гг. Связи, которые объединили москвичей в особую группу внутри партии, были не только политическими, но и личными. Например, между 1906 и 1910 гг. в их круг вошел двоюродный брат Бухарина Николай Михайлович Лукин, молодой большевистский публицист и будущий советский историк. Бухарин вскоре женился на сестре Лукина Надежде Михайловне Лукиной [50].

Особенно большое значение имела дружба Бухарина в доэмиграционный период с двумя молодыми москвичами — Осинским и Смирновым. Подобно Бухарину, они вышли из средних слоев, окончили московскую гимназию и были вовлечены в революцию 1905 г., несколько позднее, в 1907 г. присоединились к большевикам, а затем поступили в Московский университет. В 1909 г. они познакомились с Бухариным, поскольку он был тогда большевистским организатором студенческих групп (с самого начала он занимал главенствующее политическое положение в этой тройке). Впервые их стали воспринимать как сплоченную группу в университете, где они были вожаками „теоретических налетов” и большевистскими идеологами. Бухарина, Осинского и Смирнова, так же как и многих других юных москвичей, свели вместе их молодость, совместный революционный опыт и общее увлечение марксистской теорией (все трое были экономистами). Вместе они выдвинулись в московской партийной организации, вместе изучали марксизм, защищали свои идеи в борьбе с другими партиями, а Бухарин и Осинский, оба в 1910 г., попали в тюрьму [51]. Они очень остро ощущали то, что были одного возраста среди других членов партии: срав-

нивая себя с „ветеранами” – тридцатилетними большевиками, – они вначале называли себя „мальчишками” [52]; впрочем, такое почтительное отношение длилось недолго. Эмиграция Бухарина временно разбила это трио. Оно вновь восстановилось в 1917 г., когда Бухарин, Осинский и Смирнов вместе появились в Москве, чтобы дать отпор тем партийным руководителям, которые не сочувствовали ленинскому радикальному курсу, а позже, в 1918 г., все трое оспорили самого Ленина.

Именно в эмиграции Бухарин стал одной из главных фигур в большевистской партии. В момент, когда он покинул Россию в 1911 г., он был известен Ленину и партийному руководству за границей главным образом как местный работник, ответственный за студенческое движение [53]. А через шесть лет Бухарин вернулся в Россию уже признанным партийным вождем, сложившимся теоретиком, внесшим большой вклад в развитие большевизма как особой и оригинальной разновидности европейского марксизма, одним из ближайших соратников Ленина. Кроме того, эмиграция сделала Бухарина одним из тех большевиков, которые по опыту работы и мировоззрению были интернационалистами. Шесть лет он жил и работал среди социал-демократов Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании и Америки. Он стал хорошо известен как западным социалистам, так и антисоциалистам: к его арестам в России добавились кратковременные тюремные заключения в Европе и Скандинавии (шведская полиция предъявила ему ложное обвинение в заговоре с целью подрыва мостов) [54].

В то же время начинается серьезная литературная деятельность Бухарина. Освободившись от суровой будничной подпольной работы в России, он незамедлительно занялся завершением своего образования. Он осваивал западные языки (к 1917 г. Бухарин читал по-немецки, по-французски и по-английски, а на первых двух языках свободно разговаривал), знакомился с новой теоретической литературой. В европейских, а позже американских библиотеках черпал он, по его словам, „основной капитал” для своих главных теоретических работ [55]. Хотя позже Бухарин рассматривал заграничный период как время несовершенных идей и политической наивности, он был поразительно плодотворным и определяющим в его карьере. Регулярно сотрудничая в марксистской периодике, Бухарин публикует несколько весьма ценных статей по теоретической экономике, заканчивает рукописи двух книг: „Политическая экономия рантье” и „Мировое хозяйство и империализм”, формулирует положения, которые становятся составной частью большевистской идеологии, и выявляет те проблемы, которые останутся в центре

его внимания до конца жизни [56]. К 1917 г. он считался вторым большевистским теоретиком после Ленина, а по мнению некоторых, не имел себе равных.

В эмиграции Бухарин впервые лично познакомился с Лениным, и эта встреча послужила началом одной из самых бурных, а временами и самых трогательных человеческих отношений в большевистской истории. С 1912 г. по 1917 г. Бухарин редко встречался с Лениным, и географически и политически он не часто приближался к тому небольшому эмигрантскому обществу, которое группировалось вокруг своего лидера. Их отношения были почти всегда натянутыми, что объясняется отчасти ленинской непримиримостью и подозрительностью ко всяким идеологическим новшествам, отчасти — независимостью Бухарина, чертой, которая проявилась хотя бы в его выборе маршрута после отъезда из России. Вместо того чтобы совершить обычное для русских политических эмигрантов паломничество к Ленину, жившему в Кракове, Бухарин направляется прямо в Ганновер. Германия, родина Маркса, страна, имевшая самую большую социал-демократическую партию в мире, притягивала многих мыслящих большевиков бухаринского поколения [57]. Он жил там почти год, в течение которого завязал контакты с заграничным ЦК большевиков. В сентябре 1912 г. Бухарин представляет партию на съезде германской социал-демократии в Хемнице, после чего, решив переехать в Вену, проездом останавливается в Кракове (под фамилией Орлов) и встречается с Лениным [58].

Эта первая встреча не могла пройти гладко. Они „обстоятельно потолковали”, и, несомненно, Малиновский был одной из главных тем их разговора. Полицейский агент к тому времени стал членом Центрального Комитета, возглавлял большевистскую фракцию в Думе и считался одним из руководящих деятелей партии в России. Многие большевики (так же, впрочем, как и меньшевики) неоднократно предупреждали Ленина, но чем больше накапливалось сообщений, тем больше гневался Ленин на людей, порочащих Малиновского. Выслушивая доказательства Бухарина, Ленин и на этот раз, как и прежде, не придал им значения. Его упорство, должно быть, подорвало веру Бухарина в правоту ленинских суждений и позднее, когда они разошлись по практическим и идейным вопросам, усилило его оппозиционность к Ленину [59]. Да и Ленин тоже нескоро простил Бухарину его готовность думать самое худшее относительно своего доверенного в России. В 1916 г., атакуя теоретические положения Бухарина, Ленин обвиняет его не только в уступках „полуанархическим идеям”, но и в „доверчивости к сплетням”, ясно намекая на дело Малиновского [60].

И все же их первую встречу нельзя назвать совсем неудачной. Бухарин приехал к Ленину, будучи его восторженным последо-

вателем, и уезжал, как он сам вспоминал тридцать лет спустя, с таким чувством, что „перспективы раздвинулись, миры новые открылись”.

Несмотря на „зачарованность” Ленина Малиновским, несмотря на идейные расхождения в период эмиграции, личная привязанность Бухарина к Ленину оставалась прочной [61]. Ленин в свою очередь был готов до поры до времени смотреть сквозь пальцы на доверчивость Бухарина „к слухам”. Новая волна царской реакции и отступничество богдановцев вызвали поредение рядов его сторонников, так что подающего надежды молодого сторонника надо было принять с распростертыми объятиями. Он предложил Бухарину писать для теоретического партийного журнала „Просвещение”, собирать средства и материалы для „Правды” и участвовать в подготовке речей и выработке стратегии для большевистской фракции в Думе. Бухарин соглашается и задерживается в Кракове еще на несколько недель, перед тем как окончательно поселиться в Вене в конце 1912 г. В следующие два года никакие серьезные разногласия не омрачают их отношений. Довольный статьями Бухарина и его энергичной работой для партии, Ленин в июне 1913 г. оказывает ему честь, посетив его в Вене [62].

В свете дальнейших событий ясно прослеживается причина такого редкого в их политических отношениях – двухлетнего – периода мира и согласия. Дело в том, что Бухарин в те годы занимался вопросом, наименее спорным во всей его теоретической деятельности. Он приехал в Вену, чтобы начать „систематическую критику теоретической экономии новейшей буржуазии”, то есть всех появившихся работ немарксистов и марксистов, которые за истекшие тридцать лет оспаривали основы экономической теории Маркса. Он намеревался, в частности, рассмотреть критику Маркса со стороны ученых и отстоять ортодоксальную марксистскую теорию, ибо „как убедительно... ни говорят... факты о правильности марксистской концепции, все же успех ее в среде официальных ученых не только не увеличивается, но быстро сводится на нет” [63].

Первой мишенью он выбирает самых видных критиков Маркса – представителей австрийской школы экономистов Бем-Баверка, Менгера и Визера. Критикуя теорию Маркса в самом уязвимом ее пункте – теории трудовой стоимости – и развивая свою собственную теорию предельной полезности, согласно которой стоимость продукта обуславливается не только количеством вложенного в него труда, но и полезностью этого продукта для отдельных покупателей, австрийцы выступили против основ марксистского анализа экономики капитализма. На теории трудовой стоимости жидется Марксово понимание капиталистической прибыли и накопления и, главное, его утверждение, что он, в отличие от ранних социалистов, вскрыл эксплуататорскую

сущность капитализма с научной, а не только с моральной точки зрения. Значительный успех австрийской школы в начале 1900-х гг., особенно работы Бем-Баверка „Карл Маркс и границы его системы” (1896 г.), побудил Бухарина, подобно святому мстителю, ходить в Венский университет на лекции Бем-Баверка и Визера [64]. Его теоретические труды 1912–1914 гг. – серия статей и книга – посвящены защите ортодоксальной марксистской теории от австрийской школы, а также от других западных и русских „буржуазных” критиков [65].

Первая книга Бухарина, „Политическая экономия рантье”, завершенная в 1914 г., содержит критику австрийского маргинализма. Широко используя аргументы предшествующих критиков этого течения, Бухарин вносит и свой вклад, сочетая известную уже „методологическую” критику с „социологической критикой”. Такие попытки уже предпринимались ранее; наиболее значительная из них принадлежит австрийскому марксисту Рудольфу Гильфердингу. Бухарин всего лишь повторил марксистские положения об изучении политической экономии в целом: „Объективизм – субъективизм, историческая – неисторическая, точка зрения производства – точка зрения потребления – таково методологическое различие между Карлом Марксом и Бем-Баверком”. К этому Бухарин добавляет и социологический анализ. Маргинализм, утверждает он, был „идеологией буржуа, уже выброшенного из производственного процесса”, – идеологией рантье. Слой рантье, возникший в момент перехода индустриального капитализма в монополистический, представляет собой паразитическую и бесполезную группу внутри буржуазии – „его представители часто даже не стригут купонов”, – решающие экономические интересы которой лежат в „сфере потребления”, а социальные интересы отразились в идеологии маргинализма с ее упором на интересы отдельного потребления [66].

Эта первая книга Бухарина, написанная им в Вене, в отличие от многих последующих его работ вполне согласуется с главным направлением ортодоксального европейского марксизма. Любой марксист, большевик, и вообще всякий, кто желал сохранить теорию трудовой стоимости, мог согласиться, что „Политическая экономия рантье” содержит „очень ценное расширение и углубление... прежней марксистской критики Бем-Баверка” [67]. Поскольку в ней удачно сочетались два подхода к доказательству того, что маргинализм был „пределной теорией пределной буржуазии”, эта книга после ее опубликования в 1919 г. стала популярным произведением марксистской литературы. Переведенная на многие языки, она смогла занять место в ряду трудов западных защитников ортодоксального марксизма и принесла большевистской критике редкий для нее успех. В Советской России эта книга неизбежно должна была стать официальным изложением идей австрийской школы, основным

пособием для учебных заведений, где, как говорили, нельзя было трактовать предмет „без повторения аргументов товарища Бухарина” [68].

Помимо того, что эта книга утвердила Бухарина как марксистского экономиста, она явилась еще первым этапом рассчитанной на всю жизнь программы, представлявшей ему позже в виде многотомного исследования с целью рассмотрения и отстаивания марксистского влияния на современную мысль. Хотя политическая деятельность препятствовала регулярной работе Бухарина над этим исследованием, отдельные его части, опубликованные в 20–30-х гг., свидетельствуют о том, что автор решил продолжать пристальное изучение новых течений западной мысли, особенно тех из них, которые прямо бросали вызов марксизму как социальной науке или революционной доктрине [69]. В конце XIX в. и позже многие влиятельные социологи так или иначе реагировали на солидное наследие Маркса. Бухарин считал, что на теории соперников следовало отвечать методом „логической критики”, а не бранью. Глубоко захваченный миром идей, он, естественно, должен был, хотя бы косвенно, испытать влияние этих мыслителей. Ибо, разделяя марксистское положение о том, что все теории отражают классовые интересы, Бухарин в то же время полагал, что буржуазная экономия „может делать и делает... общественно полезное дело” и что „при критическом отношении” можно извлечь из нее „богатый материал для обобщений” [70]. Следует полагать, что Бухарин, в отличие от многих других большевиков, испытал в значительной степени воздействие идей критиков Маркса. После 1917 г., например, он стал остро сознавать приложимость теории элиты Парето и Михельса и теории бюрократии Макса Вебера к нарождающемуся советскому строю. (Макса Вебера Бухарин считал выдающимся немарксистским теоретиком) [71].

В Вене Бухарин познакомился также с наиболее сложившейся школой европейского марксизма — австромарксизмом. Вена была родиной Отто Бауэра и Рудольфа Гильфердинга, чьи работы о монополистическом капитализме были в то время высшим достижением марксизма [72]. Австромарксизм, особенно труд Гильфердинга „Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма”, оказал длительное влияние на Бухарина. Дискуссия о монополистическом капитализме и империализме, с которой он соприкоснулся в Вене, прямо способствовала тому, что он решил перенести свои исследования из области критики буржуазной экономической теории (он собирался написать книгу об англо-американском маргинализме) на природу самого неокapитализма. Даже после 1917 г., когда большевики с презрением отшатнулись от австромарксистов как от „ревизионистов”, Бухарин продолжал испытывать невольное восхищение перед их теоретическими достижениями; эту интеллек-

туальную симпатию многие большевики, включая Ленина, не разделяли [73]. Пребывание Бухарина в Вене закончилось летом 1914 г., за это время еще не возникло разногласий между ним и Лениным (если не считать вновь обострившегося в мае спора о Малиновском). Ленин по-прежнему одобрял и печатал статьи Бухарина [74]. Даже национальный вопрос, проблема, вскоре резко разделившая их, пока еще не вызывал трений. Начиная с 1912 г. Ленин уделял этому вопросу все большее внимание и в 1914 г. выдвинул партийный лозунг права наций на самоопределение, очевидно разойдясь в этом пункте с интернационалистической позицией радикального марксизма*. Если в венский период у Бухарина и были сомнения по этому вопросу, то четко они еще не выявились. В январе 1913 г. в Вену приехал грузинский большевик Иосиф Сталин, чтобы, согласно инструкции Ленина, работать над программной статьей „Марксизм и национальный вопрос”. Бухарин помогал Сталину, который не знал европейских языков, и нет документов, свидетельствующих о разногласиях как между Бухариным и Сталиным, так и между ними и Лениным, который одобрил написанную статью. А в конце апреля 1914 г. Бухарин по поручению Ленина разработал план выступления по национальному вопросу для большевистской фракции IV Государственной думы [75]. Пребывание Бухарина в Вене оборвалось с началом первой мировой войны. В августе он был арестован вместе с другими иностранцами. Но через несколько дней, после вмешательства австрийских социал-демократов, был депортирован в Швейцарию и поселился в Лозанне [76].

Война оказала решающее влияние на историю большевизма. В конечном итоге она вызвала падение царского режима и подготовила почву для победы партии в 1917 г. Поначалу же она резко противопоставила выступавших против войны большевиков широкой ассоциации социал-демократических партий, известной как II Интернационал, подавляющее большинство членов которого проголосовали за поддержку своих правительств в надвигающейся войне. Когда эмоциональный пролетарский интернационализм, который давал социалистам ощущение единства, отступил перед национализмом воюющих стран, родилась идея III Интернационала, осуществленная четыре года спустя. Для большевиков, которые, подобно Бухарину, считали себя европейскими социал-демократами и последователями передового марксизма Австрии и Германии, „предательство” социал-демократов было „величайшей трагедией... жизни” [77].

После этого значительная часть большевиков западной ориентации, таких, как Бухарин, стала более сектантской в своих взглядах и менее склонной искать идеологические и политические образцы за пределами русского большевизма.

Война определила и целый этап в длительной истории разно-

гласий между Бухариным и Лениным. Большевики-эмигранты стали стягиваться в Швейцарию, чтобы выработать партийную позицию и тактику в отношении войны (из-за начавшихся военных действий связь между заграничными партийными секциями нарушилась). Ленин прибыл в Берн в сентябре и запланировал созвать конференцию в начале 1915 г. Тем временем Бухарин оставался в Лозанне и продолжал заниматься анализом трудов англо-американских экономистов, а также приступил к изучению империализма [78].

В конце 1914 г. он подружился с тремя молодыми большевиками, жившими недалеко от Лозанны, в деревне Божи: Николаем Крыленко, Еленой Розмирович и ее мужем Александром Трояновским. Трояновского он хорошо знал еще по Вене, но именно с первыми двумя сблизился во взглядах на различные политические проблемы. Втроем они решили издавать и редактировать новую партийную газету „Звезда”. Ленин узнал об их плане из другого источника и реагировал резко отрицательно [79].

Не вполне ясно, почему он так поступил. Его главное, открыто выраженное обвинение состояло в том, что нельзя тратить скудные партийные средства на новое издание, но он также обвинял божийскую группу (так вначале стали называть Бухарина, Крыленко и Розмирович) в намерении создать оппозиционный орган [80]. Обвинение было безосновательным, по крайней мере в отношении Бухарина, который не далее как в январе заявил „о полной принципиальной солидарности” с Лениным. Объясняя, что „Звезда” была задумана *не как оппозиция...* а как дополнение”, он спрашивал Ленина: „Что вы можете иметь против другой партийной газеты, которая в своей передовице утверждает, что стоит на точке зрения Центрального органа?” [81]. Если божийская тройка и была недовольна вождем, поводом к тому могло быть только дело Малиновского (Розмирович также была убеждена в виновности Малиновского и получила твердый отпор со стороны Ленина), нет доказательств, что у них были какие-то другие мотивы для оппозиции.

Пожалуй, Ленин среагировал в обычной своей манере, характерной для его отношений с Бухариным и еще более обострявшей подлинное разногласия между ними в следующие два года: Ленин вообще возражал против любых независимых начинаний — организационных, теоретических или политических — со стороны молодых большевиков, и особенно со стороны Бухарина [82].

Разногласия между Бухариным и Лениным, существенные, хотя и не непримиримые, впервые возникли на конференции в Берне, в феврале—марте, где Бухарин резко разошелся с четьрьмя ленинскими предложениями относительно войны и партийной программы. Во-первых, он не согласился с ленинским обращением к европейской мелкой буржуазии, доказывая, что

в революционной ситуации мелкий собственник выступит против пролетариата и неизбежно будет поддерживать капиталистический строй. Такое недоверие Бухарина к мелкой буржуазии, крестьянам как к самостоятельной революционной силе и потенциальным союзникам оставалось неизменным вплоть до 1917 г., когда он поставил вопрос об этих союзниках в центр своего понимания социалистической революции. Во-вторых, в представленных им на рассмотрение конференции тезисах он критиковал Ленина за то, что тот настаивал на минимальных демократических требованиях вместо сугубо социалистических. В-третьих, Бухарин, Крыленко и Розмирович, поддерживая ленинский призыв к превращению „империалистической войны в войну гражданскую”, возражали против исключения лозунгов о мире, апеллирующих к антивоенным чувствам широких масс; они были также против провозглашенного Лениным лозунга поражения России как „меньшего зла”, предпочитая обрушивать проклятия на все воюющие страны. И, наконец, поддерживая призыв Ленина создать новый социалистический интернационал, божийское трио доказывало, что надо включить в него всех антивоенно настроенных социал-демократов, в том числе и левых меньшевиков, группировавшихся вокруг Льва Троцкого, которого Ленин подверг остракизму. Бухарин и его друзья хотели, чтобы новая организация была как можно более широкой [83].

Вопреки поздним советским и западным версиям, бухаринская оппозиция Ленину не была всеобъемлющей или ультралевой [84]. По вопросу о мирных лозунгах (которые сам Ленин искусно использовал в 1917 г.) и о составе будущего интернационала Бухарин, Крыленко и Розмирович занимали позицию на самом деле менее крайнюю, чем Ленин. Что касается тезисов Бухарина, которых никто не поддержал (что его очень огорчило), то они не означали полного отрицания программы-минимум. Бухарин снабдил свою защиту социалистических требований следующей оговоркой: „Завершение социалистической революции более или менее долгий исторический процесс, пролетариат никоим образом не отказывается от борьбы за частичные реформы...” И позднее, когда Ленин защищал на конференции решающие пункты партийной программы-минимум от инакомыслящих, Бухарин поддержал его. Результаты конференции показали, что Бухарин и Ленин расходились в оттенках, а не в главном. Комиссия, состоявшая из Ленина, его ближайшего помощника Зиновьева и Бухарина, была создана для примирения различных точек зрения. Хотя, по воспоминаниям одного из участников конференции, потребовалось два дня „горячих дискуссий с товарищем Бухариным”, чтобы заключительная резолюция была принята единогласно [85].

Это, однако, не означало, что разногласия, существовавшие до

созыва конференции и во время ее работы, не будут иметь последствий. Независимое поведение Бухарина в случае со „Звездой” (до того, как божийская группа скрепя сердце согласилась отказаться от этого предприятия) [86] и на самой конференции, а также дело Малиновского предвещали жестокие споры, которые вскоре и последовали. Кроме того, в Берне Бухарин начал сотрудничать с Юрием Пятаковым, другим молодым большевиком, только что приехавшим из России и ставшим в эмиграции его ближайшим другом [87]. Пятаков был в национальном вопросе откровенным последователем Розы Люксембург, которая утверждала, что в эпоху современного империализма, когда мир трансформируется в единую экономическую общность, национальные границы и апелляция к национализму устарели — прогноз, прямо противоположный новым взглядам Ленина на самоопределение. Хотя этот вопрос, кажется, не поднимался в Берне, Бухарин, самостоятельно начавший изучение империализма, пришел к выводам, сходным со взглядами Пятакова. В конце 1915 г. Бухарин, Пятаков и Евгения Бош решительно разошлись с Лениным по этому вопросу.

После окончания конференции в марте Бухарин и Ленин, однако, расстались дружески. Они больше не встречались до середины 1917 г. Бухарин снова начал работать в швейцарских библиотеках, где продолжал изучение развития современного капитализма. Переписка между ними возобновилась, и мы не находим в ней ни обид, ни несовместимых точек зрения. Ленин был настроен примирительно. Как-то раз он даже просил Бухарина приехать в Берн помочь издать печатный центральный орган партии [88]. Весной 1915 г. Пятаков и Бош добыли средства на новый теоретический журнал „Коммунист”. С изданием этого журнала, в отличие от „Звезды”, Ленин был согласен. В редакционную коллегию, помимо Ленина, вошли Зиновьев, Пятаков, Бош и Бухарин [89]. Казалось, вновь воцарилось согласие, и Бухарин решил (с одобрения Ленина и, возможно, по его настоянию) поехать в Швецию, ключевое звено большевистской подпольной связи между Россией и Европой, и установить контакт с этой цитаделью радикальных скандинавских социал-демократов, чьи взгляды на войну были близки большевикам. В июле 1915 г. под совсем не подходившим ему именем Мойши Долголевского, вместе с Пятаковым и Бош, проехав через Францию и Англию (где он был арестован и задержан на некоторое время в Ньюкасле), Бухарин прибыл в Стокгольм [90]. Он поселился здесь, чтобы закончить свою книгу „Мировое хозяйство и империализм” (она была завершена осенью 1915 г., но полностью не опубликована до 1918 г.) и затем начать переосмысление марксистской теории государства. Этими двумя работами он сделал вклад в новую большевистскую идеологию, и они определяют его главные достижения в период эмиграции.

Работа „Мировое хозяйство и империализм” в гораздо большей степени, чем ранняя книга о маргинализме, может считаться первым и наиболее значительным изложением совокупности взаимосвязанных идей, которые, собственно говоря, можно назвать „бухаринизмом”. Впервые Бухарин выдвигает концепции и темы, которые в той или иной форме появятся в его размышлениях о внутренних и международных проблемах в последующие двадцать лет. Маленькая книжка содержит теоретические послышки, которые повлияют на его политическую линию лидера левых и правых большевиков. Книга явилась вехой и в другом смысле — это было первое систематизированное объяснение империализма большевиком. Эта работа на несколько месяцев предвосхитила более знаменитую ленинскую „Империализм, как высшая стадия капитализма”, причем Ленин многое почерпнул из нее [91].

Книга была оригинальна не столько отдельными своими положениями, сколько методом, который применил Бухарин, распространив существующий марксистский анализ на природу современного капитализма. Глубокие изменения капитализма после смерти Маркса, его громадный рост внутри стран и экспансионистская политика ведущих капиталистических держав за рубежом изучались и обсуждались марксистами более десяти лет. Большинство из них соглашались, что Маркс в лучшем случае только намекал на эти новые явления; теперь капитализм, к сожалению, стал абсолютно непохож на классическую систему свободного предпринимательства, которая анализировалась в „Капитале”. Многообразная литература, приложившая марксистские теории и прогнозы к развитию современного капитализма, существовала уже к 1915 г. Бухарин, как он охотно признавал, многое почерпнул из нее, но его отправной точкой и источником вдохновения послужила работа Гильфердинга „Финансовый капитал”, опубликованная в 1910 г. и сразу получившая признание как книга, оплодотворившая марксистскую мысль [92].

Достижения Гильфердинга состояли в том, что он рассмотрел возникновение империализма сквозь призму далеко идущих структурных изменений в национальных капиталистических системах, а именно трансформацию капитализма свободного предпринимательства в монополистический капитализм. Развивая анализ Маркса, посвященный концентрации и централизации капитала, он описал чрезвычайно быстрое увеличение форм собственности и управления, особенно трестов и картелей, которые привели к беспрецедентному пожиранию и вытеснению небольших предприятий. Гильфердинг уделил особое внимание новой роли банков в процессе монополизации, указывая, что концентрация капитала сопровождалась и стимулировалась концентрацией и централизацией банковской системы. Современный банк,

замечает он, становится владельцем крупной части капитала, вложенного в промышленность. Рассматривая это явление, Гильфердинг ввел новое аналитическое понятие — финансовый капитал: „...такой банковский капитал — следовательно, капитал в денежной форме, — который, таким образом, превращен в промышленный капитал, я называю финансовым капиталом” [93]. Зрелый капитализм становится, по Гильфердингу, финансовым капитализмом, единственной в своем роде системой; Гильфердинг показывает, приводя большое количество дополнительных примеров, что эта система отличается от системы свободного предпринимательства сильным стремлением к организации. Как только финансовый капитал стал широко распространяться в национальной экономике, и в ней стали преобладать крупные объединения, плановое регулирование постепенно ликвидировало экономическую анархию, исходившую прежде от конкурировавших между собой мелких предприятий. Национальный капитализм становится все в большей степени регулируемой экономической системой или, по терминологии Гильфердинга, „организованным капитализмом”.

Финансовый капитал, иными словами, имел отношение главным образом к национальной структуре неокapитализма. Теория империализма Гильфердинга была не более чем побочным продуктом его основного анализа [94]. Монополизировав отечественный рынок и воздвигнув высокие заградительные тарифы против иностранной конкуренции, монополистический капитализм в погоне за наибольшими прибылями приходит к экспансионистской политике: в колониях приобретаются сырье и прежде всего новые рынки сбыта. В анализе Гильфердинга империализм характеризовался как экономически логичная внешняя политика финансового капитализма. Гильфердинг сжато показал, как те же самые мотивы, какие однажды побуждали индивидуальных капиталистов бороться между собой за отечественный рынок, побуждают капитализм бороться за колониальные рынки; такое явление объясняло все большую милитаризацию современного капитализма и возрастающую напряженность в международных отношениях (книга была написана задолго до войны).

Бухарин воспользовался теорией империализма Гильфердинга, но с намерением ее обновить и придать ей значительно более радикальный характер [95]. Бухарин тоже определял империализм как политику финансового капитализма. В отличие от Гильфердинга, однако, он утверждал, что „финансовый капитал не может вести иной политики, кроме империалистической...”, и что поэтому „империализм есть система, не только теснейшим образом связанная с современным капитализмом, но и существеннейший элемент этого последнего”. Более решительно, чем Гильфердинг, Бухарин определяет империализм как

неизбежную „историческую категорию”, которая должна возникнуть на конкретной (последней) стадии капиталистического развития. Колонии как поставщики сырья и рынки сбыта излишков товара и капитала необходимы для существования монополистического капитализма: империализм „поддерживает структуру финансового капитализма”. Этими аргументами Бухарин оспаривал преобладавшие в социал-демократическом движении взгляды, что империалистическая политика хотя и подлежит осуждению, но все же не является абсолютно необходимой особенностью капитализма [96].

Определение империализма как органического, неизбежного проявления монополистического капитализма привело Бухарина, как и Гильфердинга, к анализу вопроса о войне. Но здесь он также отличался от Гильфердинга своей убежденностью, что в эпоху империализма войны неизбежны. Бухарин считал „фантазией” предположение, широко распространенное среди социал-демократов, что империалистические нации могут существовать без войн, что дальнейшей стадии капиталистического развития будет присуща мирная организация мировой экономики („ультраимпериализм” по Каутскому). В ранний период колонизации рост империализма сопровождается совсем небольшими конфликтами из-за „захвата свободных земель”. Однако районы, не захваченные колонизацией, исчезают; наступает необходимость „основательного передела мира”. Конкуренция среди империалистических государств достигает своей наиболее острой формы – вооруженной борьбы; приведенные в ярость погоней за новыми рынками, эти государства направляют друг против друга „огонь и меч”, слабые колонизируются сильными.

Суть аргументов Бухарина состояла в том, что первая мировая война никак не была исторической случайностью, единичной вспышкой – она была первой в эпохальной серии „неизбежных” империалистических войн. Но, заключает он, наряду с тем, что эпоха империализма приносит ужасы войны, она знаменует собой также последнее обострение смертельных капиталистических противоречий и, таким образом, „созревание объективных условий” для социалистической революции [97]. Глубинное отличие решающих аргументов Бухарина по своей сути состояло в том, что из наблюдений Гильфердинга он сделал выводы, приведшие к формуле последовательного и неизбежного исторического развития: монополистический капитализм – империализм – война – пролетарская революция.

Если эта схема хорошо известна, то потому, что она вновь появилась (с некоторыми важными отличиями) в ленинской работе „Империализм, как высшая стадия капитализма” и стала ортодоксальной большевистской интерпретацией современного империализма. Однако теория империализма (и в еще меньшей степени – колониализма) составляет только часть кни-

ги Бухарина. Так же, как и Гильфердинг, он глубоко интересовался (в отличие от Ленина) основой империализма — национальным капитализмом [98]. Осовременив и развив открытия Гильфердинга в этой области, Бухарин сформулировал свою теорию государственного капитализма — концепцию, которую ему и Ленину предстояло сделать темой дискуссий на долгие годы.

Бухарин считал, что уже после появления книги Гильфердинга процесс монополизации и образования трестов в капиталистической экономике стал чрезвычайно бурным. Уничтожение или поглощение слабых конкурентов и промежуточных форм собственности в сочетании с безжалостной организационной энергией финансового капитала „превращает все национальное хозяйство в единое комбинированное предприятие с организационной связью между всеми отраслями производства”. Иногда Бухарин предполагает, что это только тенденция, однако чаще он считает такой переход уже свершившимся фактом: „передовые страны современного капитализма приняли в значительной степени” форму „единого гигантского комбинированного треста”. Такого утверждения не было у Гильфердинга. Так как образование трестов в конце концов приводит к слиянию промышленного и банковского капитала с самой государственной властью, Бухарин называет это „государственным капиталистическим трестом”, а систему — „государственным капитализмом”. Отмечая, что растущее вмешательство государства в экономику было вызвано в основном военными целями, Бухарин тем не менее считает этот процесс постоянным: „Будущее принадлежит хозяйственным формам, близким к государственному капитализму” [99].

Самой поразительной особенностью современного капитализма является, по Бухарину, новая интервенционистская роль государства. Самый термин „государственный капитализм” подчеркивает тот факт, что государство перестает быть простым политическим инструментом правящего класса (или классов), беспристрастным арбитром свободной рыночной конкуренции между группами буржуазии. Оно стало в действительности, через посредство финансового капитала, прямым организатором и собственником в экономике, „крупнейшим пайщиком государственно-капиталистического треста”, его „высшей и всеобъемлющей организационной инстанцией”. „Исполинская, почти чудовищная мощь” [100] нового буржуазного государства произвела на Бухарина настолько сильное впечатление, что он, закончив книгу „Мировое хозяйство и империализм”, сразу же пишет большую статью, озаглавленную „К теории империалистического государства”. Завершенная в июле 1916 г., она была, по существу, продолжением его книги [101]. В ней он подробно разработал свою теорию империализма и государственного капитализ-

ма и изложил новое, революционное понимание марксистских взглядов на государство.

Он встал на защиту первоначальных представлений Маркса и Энгельса о государстве. Бухарин пояснял, что необходимо снова повторить эти „старые истины”, потому что социал-демократические ревизионисты сознательно замалчивали или обходили их, стремясь к сотрудничеству с буржуазным государством и переустройству его путем реформ. Они изменили неотъемлемому марксистскому положению „государство есть не что иное, как наиболее общая организация господствующих классов, основная функция которой заключается в охране и расширении эксплуатации классов угнетенных”. В противоположность реформистам Маркс считал государство „не вечным явлением”, но „исторической категорией”, присущей классовому обществу, продуктом классовой борьбы. Бесклассовое коммунистическое общество должно быть, по Марксу, обществом без государства. Между тем, продолжает Бухарин, структура и характер государства отражают изменяющуюся экономическую основу классового общества. Каждая эпоха имеет свою специфическую форму государства: капитализм свободного предпринимательства находит свое выражение в либеральном государстве, не вмешивающемся в экономические отношения; финансовый капитализм (или государственный капитализм) – в „империалистическом государстве” [102].

Современное государство отличается от предыдущих форм государства своей колоссальной экономической мощью. Повторяя свою теорию возникновения „государственного капиталистического треста”, Бухарин, опираясь на факты (Германия во время войны послужила ему главным примером), описывает такое развитие государства, в результате которого оно проникает во все сферы экономической жизни, регулируя и милитаризируя всю экономику. В итоге плюралистический капитализм эпохи *laissez-faire*, свободного предпринимательства, уступает место форме „коллективного капитализма”, где правящая „финансово-капиталистическая олигархия” осуществляет свои хищнические цели непосредственно через государство: „Государственная власть всасывает, таким образом, почти все отрасли производства; она не только охраняет общие условия эксплуатационного процесса; государство все более и более становится непосредственным эксплуататором, который организует и руководит производством как коллективный, собирательный капиталист”. Новая система решительно отличается от старой, особенно тем, что устраняет анархию „свободной игры экономических сил”. В виде кульминации „огосударствления” государственный капитализм как „законченная формулировка государственного капиталистического треста... устраняет постепенно анархию отдельных частей „народнохозяйственного” механизма, ставя всю

экономическую жизнь под железную пяту „*милитаристского государства*” [103].

Сосредоточив свое внимание на экономических аспектах „огосударствления”, и особенно на слиянии воедино в буржуазном обществе политических и экономических функций, Бухарин в то же время подчеркивает, что государство, как бы охваченное безудержной алчностью, протягивает свои организационные щупальца во все сферы общественной жизни. Разграничение между государством и обществом систематически сводится на нет; „можно даже с известным правом сказать, что нет ни одного уголка общественной жизни, который буржуазия оставила бы совершенно не организованным”. Все прочие общественные организации постепенно становятся только „частями гигантского государственного механизма”, куда не останется оно одно, всеядное и всемогущее. Он рисовал кошмарную картину:

Так вырастает законченный тип современного империалистического разбойничьего государства, железная организация, которая охватывает своими цепкими заgreбистыми лапами живое тело общества. Это – Новый Левиафан, перед которым фантазия Томаса Гоббса кажется детской игрушкой. И пока еще “*non est potestas super terram quae comparetur ei*” („нет еще силы на земле, которая бы сравнялась с ним”) [104].

Таким образом, эта концепция национального неокapитализма – государственного капитализма – составляла ядро теории Бухарина об империализме. Государственные капитализмы отдельных стран, эти Левиафаны, руководимые империалистической жадной большой прибылью, вынуждены бороться не на жизнь, а на смерть друг с другом уже на международной арене. Империализм, в понимании Бухарина, был не чем иным, как выражением „конкуренции государственно-капиталистических трестов”, „конкуренции гигантских, сплоченных и организованных экономических тел, обладающих колоссальной боевой способностью в мировом состязании наций” [105]. Отсюда глобальный размах и беспрецедентная жестокость первой (империалистической) мировой войны.

Взятая в целом, бухаринская модель государственного капитализма и империализма обладала немалой теоретической силой и внутренней последовательностью. Марксистам, жившим тремя десятилетиями позже Маркса и в обществе, заметно отличавшемся от того, которое он изучал, она предиагала убедительное объяснение того, почему капитализм не рухнул из-за присущих ему внутренних противоречий, но, напротив, продолжал самым поразительным образом усиливаться как в самих капиталистических странах, так и за их пределами. В то же время она радовала их тем, что сохраняла посылку о революционном катаклизме (неотъемлемый догмат радикального марксизма), обнару-

жив ростки грядущего крушения в модели империализма. Мировой капитализм раздирают теперь смертельные противоречия, он обречен на революционное уничтожение: войны стали и катализаторами, и провозвестниками его гибели. Но прочитанная буквально, бухаринская теория вызывала нежелательные вопросы, иные из которых должны были быть очевидны уже в то время, а другие — лишь по мере развития событий.

Его защитники доказывали позднее, что работы Бухарина о современном капитализме следует понимать как абстрактный анализ (наподобие анализа, предложенного Марксом в первом томе „Капитала”), как „химически чистую модель”, задуманную не для того, чтобы соответствовать каждому аспекту реальности, а чтобы вскрыть переходные тенденции в современном буржуазном обществе. Это была разумная оговорка, которую время от времени делал и сам Бухарин [106]. По большей части он, однако, несомненно, указывал, что его теорию следует понимать именно буквально, по крайней мере в общих ее чертах. Он подробно изложил свою позицию в знаменитой и спорной работе „Экономика переходного периода”, опубликованной в 1920 г., и затем, с кое-какими исправлениями, повторил в конце 20-х гг. В обоих случаях существенные элементы его первоначальной теории оставались в силе [107].

О том, что Бухарин относился к своей теории как к точному отражению существующей капиталистической действительности, можно судить по тому отвращению, которое он испытывал к новому милитаристскому государству. Его необыкновенно эмоциональные ссылки на „чудовище сегодняшнего дня, современного Левиафана”, были не формулами абстрактного анализа, но страстными утверждениями [108]. Наиболее поразительным было неоднократное обращение к образу „железной пяты” для описания милитаристского государства. Он заимствовал этот образ из повести Джека Лондона „Железная пята”, кошмарного предвидения будущего драконовского протофашистского порядка, при котором диктаторская „олигархия” безжалостно сокрушит всякое сопротивление, провозглашая: „Мы придавим вас, революционеров, под нашей пятой, и мы будем ходить по вашим лицам. Мир — наш и навсегда останется нашим”. Образ давящей пяты как метафоры государственной деспотической власти над гражданином и обществом просматривается в антиутопической литературе от Джека Лондона до Джорджа Оруэлла: „Сапог, наступивший на лицо человека. Навеки наступивший!” [109]. Бухарин тоже смотрел в будущее, и то, что он увидел (об этом говорит страстный тон его работы), испугало его: „Ближайшее развитие государственных организмов — поскольку не происходит социалистического переворота — возможно исключительно в виде *милитаристского государственного капитализма*. Централизация становится централизацией казармы:

неизбежно усиление среди верхов самой гнусной военщины, скотской муштровки пролетариата, кровавых репрессий” [110].

Описывая всемогущую, „единственную, всеобъемлющую организацию”, Бухарин, правда в других словах, предсказывал наступление того, что стало называться „тоталитарным государством” [111]. Он также предчувствовал, какой мучительный вопрос встанет перед марксизмом в случае такого развития событий. Допустимо ли теоретически, что „государствление” может распространиться так широко, экономическая база общества окажется подчинена контролю политической надстройки в такой мере, что стихийные экономические силы и кризисы исчезнут, а тем самым будет потеряна перспектива революции? Короче говоря, нельзя ли себе представить возможность третьего вида современного общества — не капиталистического и не социалистического? Несклонный к уверткам в неприятных теоретических проблемах, Бухарин между 1915 и 1928 гг. поднимал этот вопрос четыре раза. Каждый раз он отвечал на него утвердительно, но подчеркивал, что, хотя такое общество мыслимо в теории, в действительности оно невозможно. Два примера показывают направление его размышлений. Он первый думал о возможности несоциалистической нерыночной экономики в 1915 г.:

Если бы был уничтожен товарный способ производства... то у нас была бы совершенно особая экономическая форма; это был бы уже не капитализм, так как исчезло бы производство товаров; но еще менее это был бы *социализм*, так как сохранилось бы (и даже бы углубилось) господство одного класса над другим. Подобная экономическая структура напоминала бы более всего замкнутое рабовладельческое хозяйство, при отсутствии рынка рабов.

И снова в 1928г.:

Здесь существует плановое хозяйство, организованное распределение не только в отношении связи и взаимоотношений между различными отраслями производства, но и в отношении потребления. Раб в этом обществе получает свою часть продовольствия, предметов, составляющих продукт общего труда. Он может получить очень мало, но кризисов все-таки не будет [112].

Даже в теории такая возможность вызывала ужас. Ведь это означало, что историческое развитие не обязательно приведет к социализму, что послекапиталистическое общество может породить другую, еще более жестокую систему эксплуатации. Если это верно, то рушится убеждение в неизбежности возникновения нового, справедливого строя и в закономерности исторического развития, провозглашенного марксистской доктриной. Бухарин никогда не признавал, что такой исход возможен в действительности, но мысль о нем не покидала его до конца

жизни. После 1917 г., когда такую опасность уже нужно было иметь в виду, оценивая развитие возникшего советского строя, призрак государства Левиафана оставался фактором, влиявшим как на левокоммунистическую позицию Бухарина в 1918 г., так и на его умеренную политику в 20-х гг. И хотя сознание этой опасности иногда побуждало его выискивать самые бессовестные и лицемерные оправдания для происходящего при советской власти*, с годами оно стало либерализирующим элементом в его большевизме и частично вселяло в Бухарина, несмотря на его публичный оптимизм, тайный страх. Это еще раз доказывает, что не все большевики плясали под одну дудку.

Теория государственного капитализма Бухарина поднимала и другие, более насущные вопросы. Хотя Бухарин в 1915–1916 гг. преувеличивал размеры и развитие „огосударствления” и трестирования, он точно определил направление развития в XX веке. В последующие десятилетия наблюдалось окончательное исчезновение капитализма свободного предпринимательства (*laissez-faire*) и возникновение новых форм государства, с различной степенью активности вмешивающегося в экономическую жизнь: от управляемой капиталистической экономики и государства „всеобщего благоденствия” до крайне мобилизованной экономики Советской России и нацистской Германии военного времени.

Проницательные теоретические положения Бухарина были своевременными и своевременными: его работы 1915–1916 гг. в значительной мере предвосхитили более позднюю литературу (особенно социал-демократическую), анализировавшую государственное регулирование народного хозяйства, причем большая часть этой литературы также посвящена концепции государственного капитализма [113]. Но, описывая этот процесс, Бухарин был вынужден серьезно пересмотреть Марксово понимание наступления антикапиталистической революции. Подчеркивая организационные возможности „коллективного капитализма”, он фактически исключал внутренние противоречия системы, порождающие кризисы. Такая модель отводила незначительную роль домонополистической рыночной экономике (докапиталистическая не упоминалась в ней совсем) и, таким образом, той жестокой конкуренции, которую Маркс рассматривал в качестве источника крушения капитализма:

Отдельный капиталист исчезает. Он превращается в *Verbandkapitalist*'а, в члена организации; он уже не *конкурирует* со своими „земляками”, он *кооперирует*, ибо центр тяжести конкурентной борьбы переносится на мировой рынок, а внутри страны конкуренция замирает [114].

Как позднее обвиняла Бухарина партийная критика, такое толкование очень напоминало концепцию „организованного капитализма”, которая рассматривалась большевиками как идеологическая основа социал-демократического реформизма.

Чтобы сохранить в силе теорию крушения капитализма и перспективы социалистической революции, Бухарин перенес действие заложенного в капитализме механизма самоуничтожения на арену мирового капитализма, или империализма. Утверждая, что интернационализация капитала создала подлинно мировую капиталистическую систему, он воспроизвел в международном масштабе изображенную Марксом картину неорганизованного капитализма. „Мировое хозяйство нашего времени отличается глубоко анархической структурой”, которую „можно сравнить со структурой „национальных” хозяйств, которая была типична для последних вплоть до начала XX столетия...”. Кризисы теперь становились по своему характеру скорее мировыми, чем национальными. Война является наивысшим проявлением этой закономерности [115].

Определяя войну как наивысшую и конечную форму капиталистической конкуренции, Бухарин, однако, считал, что основной катализатор революции лежит вне национальной системы. Сначала могущественные государственно-капиталистические режимы использовали „сверхприбыли”, выкачанные из колоний для сдерживания классовой борьбы в своих странах, „повышая заработную плату рабочих за счет эксплуатации колониальных народов”. Так как „ужас и стыд” империализма давали себя знать в отдаленных землях, стали укрепляться „узы единения” между западным пролетариатом и империалистическим государством; показателем этого служило глубокое проникновение „в души рабочих” идей „социал-патриотизма” и „государственности”.

Но мировая война, раскрыв перед рабочим классом Европы „истинное лицо” империализма, „разбивает последнюю цепь, привязывавшую рабочих к хозяевам, — рабскую покорность империалистическому государству и мобилизует их на революционную войну против „диктатуры финансового капитала”. „Лишние пятачки, которые получали европейские рабочие... разве они могут идти в счет перед миллионами вырезанных рабочих, миллиардами, поглощенными войной, перед чудовишным прессом обнаглевшего милитаризма, перед вандалским расхищением производительных сил, перед голодом и дороговизной?” [116].

Для большевика, писавшего это во время первой мировой войны, не было сомнений в том, что война оказывает влияние на возникновение пролетарской революции в развитых индустриальных обществах. Главные намерения Бухарина состояли в переориентации революционных надежд и восстановлении антигосударственных воззрений Маркса в идеологии социал-демократических партий, которой „следовало подчеркнуть ее принципиальную враждебность к государственной власти”: непосредственная цель пролетариата состоит в „разрушении го-

сударственной организации буржуазии”, „взрыве ее изнутри” [117]. Но позднее, когда окончилась война, а большевистская революция оставалась единственной в капиталистическом мире, Бухарину пришлось согласиться с предложением, что будущие европейские революции будут маловероятны (или даже невозможны) без всеобщей войны. В середине 20-х гг. такое понимание находилось в мучительном конфликте с проводимой им эволюционной внутренней политикой, которая предполагала длительный мир в Европе; интересы укрепления все еще хрупкого советского режима в России вступали, таким образом, в противоречие с интересами мировой революции. В итоге Бухарин счел, что это противоречие отчасти теряет остроту, если принять в расчет национальные войны в колониальных районах — фактор, который он не подчеркивал в 1915—1916 гг. Но основной вопрос — возможна ли революция в зрелом капиталистическом обществе без всеобщей войны — преследовал его до конца; и в 1928—1929 гг. эта проблема стала одним из предметов полемики Бухарина со Сталиным по поводу политики Коминтерна.

В отличие от содержания ранних работ Бухарина его идеи об империализме и возникновении государственного капитализма представляли собой новую теоретическую концепцию (по крайней мере в большевистском толковании), ведущую к программным выводам и вызывающую серьезные разногласия с Лениным. Казалось, между теорией империализма Бухарина и той, которая была представлена через несколько месяцев в ленинской работе „Империализм, как высшая стадия капитализма”, существовали только небольшие различия. И тот и другой дали в основном аналогичные объяснения капиталистической экспансии и завершили свои работы сходными выводами о неизбежности войны и революции. Ленин прочел рукопись Бухарина „Мировое хозяйство и империализм” и использовал ее при подготовке своего собственного исследования; он не высказал серьезных возражений по поводу работы Бухарина и в декабре 1915 г., когда написал к ней предисловие, содержащее похвалы в адрес автора [118]. Бухарин не высказывал никаких сомнений в правильности основных положений ленинской работы. До политического поражения Бухарина в 1929 г. (когда были раскритикованы все его теоретические работы) это исследование, наряду с ленинским, считалось в Советской России классическим большевистским изложением теории империализма [119]. Однако работы Бухарина и Ленина существенно отличались в трактовке современного капитализма; два различия были особенно важны.

Во-первых, ленинская модель империализма основывалась на понимании национального капитализма, заметно отли-

чавшемся от бухаринского. Хотя Ленин также признавал процесс превращения капитализма свободного предпринимательства в монополистический капитализм, отмечая, что главное в этом процессе — „вытеснение... свободной конкуренции”, тем не менее он в значительно меньшей степени был склонен делать вывод, что конкуренция и анархия производства вовсе перестали играть роль в национальном капитализме. Скорее, он доказывал, что монополизация части экономики усиливает „анархию, свойственную капиталистическому производству в целом”. Он видел пеструю картину, „черты переходной эпохи” — „смену капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями” — и заключил, что „монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов”. По Ленину, мнение, что трестирование может уничтожить внутренние кризисы, есть „сказка буржуазных экономистов”. Он поэтому гораздо сильнее, чем Бухарин, подчеркивал разложение и дряхлость неокapитализма, то есть занял позицию, значительно отличавшуюся от предложенной Бухариным концепции государственного капитализма, который был для того синонимом национального капитализма [120]. Нежелание Ленина, как в конечном итоге стал считать Бухарин, понять сущность государственного капитализма послужило причиной долгих разногласий между ними, которые начались в 1917 г. и продолжались в 20-е гг.

Второе существенное отличие касалось роли национализма в эпоху империализма. Аргументация Бухарина в работе „Мировое хозяйство и империализм” не находилась в противоречии с последующим подъемом национально-освободительного движения в колониях, о чем свидетельствует тот факт, что он впоследствии стал принимать это движение в расчет. Но в 1915—1916 гг. он был убежден, что при империализме экономический и политический национализм превращается в анахронизм (отсюда его привычка слово „национальный” заключать в кавычки). Эпоха империалистических войн, по его определению, есть насильственная перекройка „политической карты”, ведущая к „краху самостоятельных маленьких государств”. В этом отношении позиция Бухарина была сходна с радикальным интернационализмом Розы Люксембург, хотя вообще их теории империализма различались [121].

То, что Бухарин не рассматривал антиимпериалистический национализм как революционную силу, было наиболее очевидной ошибкой в его первоначальной трактовке империализма: он не предугадал исторического развития в послевоенный период — мощной волны национально-освободительного движения. Ленин же, отчасти оттого, что он гораздо больше интересовался колониальными аспектами империализма, чем новой структу-

рой национального капитализма, сконцентрировал свое внимание на возможности восстаний колониальных народов. В широкой интернационализации капитала он увидел фактор, способствующий крушению империализма, и назвал его законом неравномерности экономического и политического развития капитализма; действием этого закона объяснялись как интенсивная борьба за овладение колониями, так и возрастающее сопротивление колониальных народов [122]. Как он проникательно написал через несколько месяцев после завершения работы „Империализм, как высшая стадия капитализма“:

Но то, что мы... называем „колониальными войнами“ — это часто национальные войны или национальные восстания этих угнетенных народов. Одно из самых основных свойств империализма заключается как раз в том, что он ускоряет развитие капитализма в самых отсталых странах и тем самым расширяет и обостряет борьбу против национального угнетения... И отсюда неизбежно следует, что империализм должен в нередких случаях порождать национальные войны [123].

Давнее восторженное отношение Ленина к возможной роли национализма в колониальных и неколониальных районах отразилось после 1914 г. в его горячей защите лозунга национального самоопределения. Это неизбежно повело к конфликту между ним и Бухариным и другими молодыми большевиками, которые, так же как большинство радикальных марксистов, отвергали апелляцию к национализму как неуместную и немарксистскую. Открытая дискуссия началась в конце 1915 г. и приняла форму борьбы за главенство в журнале „Коммунист“.

В первом (и единственном) номере журнала была помещена статья Карла Радека, восточноевропейского социал-демократа, близкого к большевистским эмигрантам. Воззрения Радека по национальному вопросу были подобны взглядам Розы Люксембург, Пятакова и, к тому времени, Бухарина. Ленин протестовал против точки зрения автора статьи и отказался сотрудничать в журнале, требуя его закрытия. Теоретические разногласия немедленно превратились во фракционность. В ноябре ленинский Центральный Комитет (в Швейцарии) лишил стокгольмскую группу — Бухарина, Пятакова и Бош — права автономной связи с Россией. В ответ на это стокгольмская тройка объявила о самороспуске как секция большевистской партии [124].

В конце ноября тройка послала Центральному Комитету ряд документов по вопросам самоопределения и подвергла Ленина резкой критике. Было прямо заявлено, что этот лозунг „прежде всего утопичен (он не мог быть реализован в рамках капитализма) и вреден, как сеющий иллюзии“. Империализм делает исторически возможным скорое наступление международной социалистической революции; подход к общественным пробле-

мам как к национальным, „государственный подход”, приводит к подрыву дела революции. Единственная правильная тактика — способствовать „революционному сознанию пролетариата”, „непрестанно выводя пролетариат на арену мировой борьбы, постоянно ставя перед ним вопросы мировой политики”. Хотя Бухарин и его друзья определенно исключили из своей аргументации „некапиталистические страны или страны с зачаточным развитием капитализма” (колонии, например), в целом они выразили резкое несогласие с тем, что Ленин провозгласил принцип национального самоопределения программным лозунгом [125].

Продолжавшиеся разногласия приобрели во всех отношениях наибольшую остроту к 1916 г. Молодые большевики были оскорблены резким ответом Ленина на свою критику. Они напомнили ему, что „все крайние левые, которые хорошо разбирались в теории”, выступали против лозунга самоопределения: „Неужели они все предатели?” Ленин, с другой стороны, считал их оппозицию в этом единственном спорном вопросе не только теоретическим вздором, но и проявлением политической нечестности. Их идеи, обвинял он, „ничего общего ни с марксизмом, ни с революционной социал-демократией не имеют”, а высказанная ими просьба открыть дискуссию отражает их антипартийную позицию [126]. Хотя Ленин считал Пятакова главным злодеем в споре о самоопределении [127], его критика Бухарина была в равной степени резкой и бескомпромиссной. Переписка между ними только углубляла пропасть, а усилия других большевиков, направленные на примирение, еще больше раздражали Ленина [128]. Прибегая к нескольким сомнительным доводам, он стал доказывать не только то, что отступничество Бухарина началось с Бернской конференции, но и что все более мелкие разногласия, которые возникали после 1912 г., включая дело Малиновского, были одного покроя: „Ник. Ив. занимающийся экономист, и в э т о м мы его всегда поддерживали. Но он (1) доверчив к сплетням и (2) в политике дьявольски неустойчив. Война толкнула его к идеям полуанархическим” [129].

Трудно понять, почему Ленин решался настолько ухудшить свои отношения с Бухариным, если учесть, что они были согласны по многим важным вопросам. Несомненно, играли определенную роль и неполитические факторы. Хорошо известная раздражительность Ленина была особенно заметной в 1916 г.; он был в „непримиримом настроении”. Большевики, непосредственно не вовлеченные в спор, упрекали его в „неуживчивости” и „нетактичности” в этом деле; вероятно, Бухарин выступал не только от своего имени, выражая надежду, что Ленин и Зиновьев не будут вести себя с западными товарищами так же грубо, как с русскими [130]. К тому же Ленин проявлял в все возрастающей степени обидчивость и подозрительность по отноше-

нию к своим молодым соратникам, сотрудничавшим с различными небольшевистскими группами. В Скандинавии, например, Бухарин стал активной и популярной фигурой в антивоенном социалистическом движении, которое состояло преимущественно из молодых левых социал-демократов. В дальнейшем, чем более он отдалялся от группировки, близкой к Ленину, тем в большей мере он стал причисляться (во всяком случае, Лениным) к европейским левым, а не к большевикам [131]. Трения между сорокашестилетним вождем и двадцативосьмилетним Бухариным почти всегда были на виду. Ленин в своей лучшей отеческой манере выражал надежду, что ошибки Бухарина и К^о объясняются их „молодостью”, „лет через 5 авось” они „выправятся”. Бухарин, со своей стороны, порицал Ленина за „старомодность”: «Как это? Для XX века „поучительны” 60-е годы прошлого века?.. По отношению к лозунгу самоопределения... вы стоите на точке зрения „прошлого века”» [132] .

Через некоторое время подтвердилось впечатление, что „чем ближе к Ленину были люди, тем ожесточеннее он с ними ссорился” [133]. Однако даже в период наихудшего развития их отношений существовали некоторые доказательства взаимных симпатий Бухарина и Ленина. Бухарин иногда пытался вызвать к этим чувствам. Он писал Ленину: „Положим, я печатаю статейку с положительным изложением своих взглядов. Тогда В. И., сочтя это за бунт, печатает против меня *такую* статью, после на которую я не могу уже отвечать смиренноумдро. Ergo –разрыв, или wenigstens – длительное охлаждение. Ни того, ни другого я не хотел и не хочу” [134]. Нельзя сказать, что Ленин был всегда неотзывчив. В апреле 1916 г. Бухарина арестовывают в Стокгольме за участие в антивоенном социалистическом конгрессе. Узнав о его беде, Ленин просит прийти к нему на помощь как можно быстрее; несколько позднее (в том же апреле), когда Бухарина высылают в Осло (в то время Христиания), Ленин в письме к другому большевику в Норвегию передает наилучшие пожелания Бухарину: „Желаю от души скорее ему отдохнуть и выправиться. Как его финансы?” Пожелания были краткие, но, учитывая обстоятельства, теплые, даже отеческие. Такое благосклонное отношение, однако, длилось очень недолго. В июле Ленин сообщает Зиновьеву: ”Я теперь и на Бухарина так зол, что не могу писать” [135] .

Каковы бы ни были приводящие факторы, обострившие конфликт, разногласия между Лениным и Бухариным по национальному вопросу были реальными, стойкими, они спорадически вспыхивали вплоть до 1919 г. Этого нельзя сказать об их более серьезном разногласии, которое теперь вышло на передний план. В начале 1916 г. Ленин решил опубликовать подборку программных статей под своей редакцией („Сборник „Социал-демократа”). Он надеялся получить от Бухарина работу

на „экономическую тему” [136]. Взамен этого Бухарин послал статью „К теории империалистического государства”, в которой изображался „новый Левиафан”. Раздел статьи, который разгневал Ленина, включал бухаринское изложение марксистской теории государства, призыв к „революционному разрушению” буржуазного государства и вызывающий вывод о том, что главное различие между марксистами и анархистами заключается в отношении к организации централизованного экономического производства, а „не в том, что первые — сторонники, а вторые — противники государства”, как многие утверждают [137]. Реабилитация первоначальных антигосударственных положений марксизма служила двум целям Бухарина. Она вытекала, во-первых, из его предвидения прихода кошмарного „нового Левиафана” и соответствовала его свободолюбивым наклонностям; во-вторых, она была его важнейшей попыткой революционизировать марксистскую идеологию, которую бернштейнианские реформаторы и ортодоксы из школы Каутского давно очистили от радикальных принципов. Нескольким марксистов левого направления — наиболее известные среди них Антон Паннекук и молодой шведский социал-демократ З. Хеглунд — возвращались к антигосударственным воззрениям еще раньше [138]. Но Бухарин был первым среди большевиков, поступившим так же, а этого одного было достаточно, чтобы вызвать недовольство Ленина.

Сначала Ленин хотел опубликовать статью Бухарина в качестве „дискуссионной”. Но, рассерженный еще другими их разногласиями, он вскоре изменил свое мнение и решил, что статья „безусловно не годна”. В течение двух месяцев он не информировал об этом Бухарина и не объяснял ему своих соображений. Наконец в сентябре 1916 г. он сообщил ему о том, что статья отвергнута („к сожалению”). Часть статьи, объяснял он, посвященная государственному капитализму, — „хороша и полезна, но на $\frac{9}{10}$ легальна” и может быть опубликована где-нибудь в другом месте „после *очень* небольшой переделки”. Теоретическая же трактовка Бухариным вопроса об отношении марксизма к государству, считал Ленин, „решительно неверна”. Ленин возражал против „социологического” анализа Бухариным государства; цитаты из Энгельса, обвинял он, вырваны из контекста, а вывод Бухарина о том, что марксисты и анархисты не расходятся в вопросе о государстве, что „социал-демократия должна усиленно подчеркивать свою принципиальную враждебность государственной власти”, по мнению Ленина, „либо архинеточен, либо неверен”. Идеям Бухарина Ленин советовал дать „дозреть” [139].

Бухарин, никак не думавший, что его статья может вновь вызвать недовольство Ленина, был крайне раздосадован и уязвлен отказом опубликовать ее. После почти годичной полемики

он не был склонен соглашаться с тем, что его мысли о государстве, составлявшие суть его марксизма, еще должны „дозреть”. Он защищал свои идеи в серии писем Ленину и Центральному Комитету. Письменные баталии продолжались в сентябре и октябре; как и прежде, каждое новое письмо обостряло и расширяло разногласия [140]. Ленин (вместе с Зиновьевым) обвинял Бухарина в очень большой ошибке: „полуанархизм” игнорирует необходимость послереволюционного государства, диктатуры пролетариата и „ошибочно приписывает социалистам” в качестве цели „взрыв” старого государства [141]. Новая кампания против Бухарина убедила последнего, что недовольство Ленина касается не только вопросов теории. „Ясно, — писал он Зиновьеву, — что вы просто-напросто не хотите иметь меня в числе сотрудников. Не беспокойтесь, назойливым я не буду”. Бросив вызов, он начал публично излагать свои взгляды на государство [142]. Окончательный раскол с Лениным и официальным большевистским руководством казался неизбежным.

Между тем в августе 1916 г. Бухарин переехал из Осло в Копенгаген, где снова занялся расследованием подозрений о наличии провокатора. Бухарин оставался здесь до завершения своего расследования (конец сентября), а затем уехал в Америку. Что побудило его к такому решению, не совсем ясно. Возможно, главной причиной отъезда явилось ухудшение его отношений с Лениным, хотя следует принять в расчет и другое: его скитальческий характер и желание вести партийную работу в цитадели современного капитализма. К этому времени их ссора сильно отразилась на большевистской работе в Скандинавии, где „преобладали печаль и подавленность” [143]. В начале октября Бухарин возвратился в Осло, чтобы на пароходе отплыть в Америку.

В этот момент Ленин забеспокоился, не оттолкнул ли он Бухарина безвозвратно. Озабоченный этим, он инструктирует Александра Шляпникова, главного большевистского организатора в Скандинавии: „Напишите *откровенно*, в каком настроении уезжает Бухарин? будет писать нам или нет? будет исполнять просьбы или нет?” [144]. Внезапное беспокойство Ленина совпало с получением им длинного письма от Бухарина. Это письмо, явившееся своего рода прощальным жестом, снова решительно отвергает ленинские обвинения. Бухарин возмущается извращением и преувеличением их разногласий и защищает свои взгляды на государство как „правильные и марксистские”. Затем в примечательном отрывке он показывает, как некоторые социалисты интерпретируют ленинскую кампанию против него: они заявляют, что меня в конце концов вышибут, потому что „ваш Ленин не может терпеть около себя ни одного человека с головой”. Бухарин называет такие спекулятивные заявления абсурдными, однако невольно он обнаруживает скрытый источник

трений между собой и Лениным, а также свое отношение к подбострастному окружению вождя. Однако он заканчивает письмо трогательной просьбой:

Как бы то ни было, об одном Вас прошу: если будете полемизировать, etc., сохраните такой тон, чтобы не доводить до разрыва. Мне очень было бы тяжело, сверх сил тяжело, если бы совместная работа, хотя бы и в будущем, стала невозможной. К Вам я питаю величайшее уважение, смотрю на Вас как на своего учителя революции и люблю Вас [145].

Это был убедительный призыв, и Ленин отозвался на него доброжелательно, хотя и в своей особой манере. Он немедленно написал Бухарину „мягкое” письмо, в котором, повторяя свои обвинения и указания на то, что разногласия полностью произошли из-за ошибок Бухарина, тем не менее хвалил его и добавлял: „...Вас мы все высоко ценили всегда...”, „От всей души буду рад, если полемика будет *только* с начавшим ее П. Киевским (Пятаковым) и если с Вами разногласия сгладятся”. Со стороны Ленина, по крайней мере в личных отношениях, это была большая уступка. Бухарин именно так и оценил ленинское письмо и перед отплытием послал ему примирительную записку, в которой вновь выражал абсолютную солидарность с Пятаковым, но и глубокое сожаление, что это приводит к конфликту с Лениным. „Будьте счастливы... обнимаю вас всех”, — пишет он [146].

Окончательного разрыва избежать удалось, но поразительная развязка их спора по вопросу о государстве была впереди. Ленин критиковал Бухарина по двум пунктам: он обвинял его в искажении взглядов Маркса и Энгельса с помощью выхваченных из контекста цитат и в том, что Бухарин не видел необходимости пролетарского государства. Последнее обвинение было особенно странным, так как Бухарин подчеркивал, что его „анархизм” относится к окончательному коммунистическому обществу, а не к переходному периоду между капитализмом и коммунизмом. В нескольких случаях он делал ударение на том, что в процессе революции „пролетариат разрушает государственную организацию буржуазии, использует ее материальный остов, создает свою временную государственную организацию...” [147]. Можно понять, почему Бухарин был сбит с толку ленинскими обвинениями. Среди скандинавских социалистов, подчеркивает он, „я считаюсь во главе антианархистской кампании, а Вы меня ругаете анархистом” [148]. Неправильное толкование Ленина было, казалось (сознавал он это или нет), плодом его исходной враждебности к новаторской попытке Бухарина сформулировать радикальный контратезис социал-демократической идеологии путем переосмысления марксистской теории государства. Ленин не думал над этим вопросом до того, как его поднял Бухарин; в декабре 1916 г. он обещал

„вернуться” „к этому крайне важному вопросу... в особой статье” [149]. Результатом стал крутой поворот в его представлениях.

17 февраля 1917 г. Ленин неожиданно написал одному большевику: „Я готовлю... статью по вопросу об отношении марксизма к государству. Пришел к выводам еще резче против Каутского, чем против Бухарина... Бухарин гораздо лучше Каутского...” Ленин делает еще оговорку: „Ошибки Бухарина могут погубить это „правое дело” в борьбе с каутскианством”. Но двумя днями позднее он снова сообщает, что, несмотря на „маленькие ошибки”, Бухарин „ближе к истине, чем Каутский”, предлагая сейчас опубликовать статью Бухарина [150]. Его еще сохранившиеся сомнения вскоре рассеиваются. По возвращении Бухарина в Москву в мае 1917 г. Крупская передала просьбу вождя — „ее первыми словами были: В. И. просил Вам передать, что в вопросе о государстве у него теперь нет разногласий с Вами” [151].

Полнейшее доказательство совершенного Лениным резкого поворота пришло в 1917 г. позднее, когда он завершил свою ставшую знаменитой работу „Государство и революция”; ее аргументы и выводы были бухаринскими*. Ленин решил, что „главный, основополагающий пункт марксистского учения о государстве” состоял в том, что „рабочий класс должен разбить, сломать... государственную машину”. Временно было необходимо новое, революционное государство, но оно „учреждалось, чтобы вскоре исчезнуть”. Поэтому „мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели”. Он заключает без смущения: „Этого сходства марксизма с анархизмом (и с Прудоном и с Бакуниным) ни оппортунисты, ни каутскианцы не хотят видеть, ибо они отошли от „марксизма в этом пункте” [152].

Ленинская работа „Государство и революция” сделала антигосударственность органической частью ортодоксальной большевистской идеологии, хотя она и оставалась несбывшимся обещанием после 1917 г. Ни Бухарин, который мало говорил о диктатуре пролетариата, ни Ленин, который широко ее комментировал, не знали заранее, какое государство вырастет из большевистской революции. Бухарин представлял себе революционное государство не более как „аппаратом обуздания свергнутой своры классов”; Ленин — „небюрократическим” государством-коммуной, сразу же начинавшим отмирать. Обе концепции были призрачными, далекими от послеоктябрьских представлений, когда Советское государство стало инструментом модернизации, „основным рычагом для переустройства общества” [153]. Тем не менее антигосударственные воззрения сыграли важную роль в 1917 г., когда они помогли революционизировать партию и создать общественное мнение, нацеливающее на восстание

против Временного правительства, которое пришло к власти после падения царизма. Ленинский авторитет узаконивал антигосударственные воззрения, но инициатива в этом принадлежала Бухарину [154]. Здесь, как и в работах о современном капитализме и империализме, Бухарин внес свой вклад (не меньший, чем другие) в формирование большевистской идеологии, сложившейся накануне Октябрьской революции.

Последние месяцы Бухарина в эмиграции прошли в Америке. Он жил в Нью-Йорке с начала октября 1916 г., где, как и в других местах, вел революционную работу и занимался в библиотеках [155]. Его политическая деятельность сосредоточивается в „Новом мире“, ежедневной газете социалистических эмигрантов в Нью-Йорке, выходящей на русском языке. В январе 1917 г. он стал ее фактическим редактором, что помогло ему приобрести опыт для своего будущего руководства „Правдой“ (после Октябрьской революции). Как впоследствии в „Правде“, он использовал газету для популяризации своих любимых идей. Его статьи по вопросам неокapитализма, отношения марксизма к государству и национальному вопросу стали появляться в ней регулярно и, как можно было ожидать, возбуждали дебаты [156]. Главной целью его партийной деятельности была организация поддержки антивоенной позиции большевиков-циммервальдцев среди американских левых, для чего он предпринял ряд лекционных турне по стране. Всегда вызывавший симпатии у людей, обладавший способностью легко общаться с небольшими группами, Бухарин достиг успеха в приобщении американских социалистов к большевистским взглядам и особенно в усилении антивоенной позиции „Нового мира“ [157].

Несмотря на неизменное уважение, проявляемое Бухариным к американским научным и техническим достижениям, кратковременное пребывание в Америке имело, по-видимому, небольшое влияние на его воззрения. Но оно могло усилить его убеждение, что современный капитализм — это крепкий строй, чью уязвимость могут реально увеличить только трудности, вызванные войной [158]. Однако одно нью-йоркское знакомство имело серьезные последствия. В январе 1917 г. в Нью-Йорк прибыл Троцкий, вошедший в редакционную коллегия „Нового мира“. Печальная история отношений между этими двумя людьми, один из которых в 20-х гг. возглавил левых, а другой — правых большевиков, стала центральной в происшедшей впоследствии коллективной трагедии старых большевиков. Взаимная симпатия этих наиболее интеллектуально одаренных советских руководителей не могла сохраниться из-за их позднейших политических разногласий, которые разделили и в конце концов уничтожили их.

Бухарин немного знал Троцкого по Вене, но их близкие отношения начались в Нью-Йорке [159]. Сразу же после знакомства они разошлись во мнениях по главному текущему политическому вопросу. Троцкий, который не вступал в большевистскую партию до июля 1917 г., утверждал, что левое крыло американских социалистов должно оставаться в американской социалистической партии для того, чтобы изнутри революционизировать ее. Бухарин (как и Ленин, который следил за спорами из Европы) призывал к организационному расколу и образованию новой партии. Дискуссия, которая перенесла старые русские разногласия на зарождавшееся американское коммунистическое движение, была достаточно острой и разделила нью-йоркских эмигрантов на две соперничавшие группы, одна из которых возглавлялась Бухариным, а другая Троцким. Политические разногласия между ними особенно обострились (как публично, так и в частных беседах) в январе и феврале, но они, наверное, не были такими напряженными, как в последующие годы партийной истории [160]. Для Бухарина было характерно то, что он никогда не переносил политические разногласия на личные отношения; это качество делало его привлекательным, но немало вредило ему как политику. Несмотря на разногласия, он и Троцкий завязали теплые дружеские отношения и политическое сотрудничество в „Новом мире”.

Серьезность этих разногласий была неожиданно резко уменьшена февральскими новостями о том, что голодный бунт в Петербурге перерос в политическую революцию. После отречения царя от престола была провозглашена республика и образовано Временное правительство. Долгие годы изгнания подошли к концу. В отличие от многих большевиков, чей радикализм был направлен на свержение царского режима, Бухарин еще с 1915—1916 гг. доказывал „неизбежность социалистической революции в России”. Поэтому он сразу рассматривал новый политический режим только как переходную стадию в продолжающемся революционном процессе; он предсказывал в марте 1917 г., что власть должна будет скоро перейти от слабой русской буржуазии к поднимающемуся пролетариату; и это будет „только первый шаг мирового пролетариата” [161].

Организовать морское путешествие в военное время было нелегко, а задержка могла расстроить все планы. Троцкий уехал в марте, Бухарин — в начале апреля. Его эмиграция заканчивалась так же, как и начиналась: Бухарин был арестован в Японии и содержался некоторое время под стражей, а прибыв в Россию, был арестован снова в Челябинске „за интернационалистическую агитацию среди солдат”. В начале мая он наконец появился в Москве, где его ожидали гораздо более серьезные дебаты [162].

ГЛАВА

2

ТРИУМФ РАДИКАЛИЗМА В 1917 Г.

Когда старый режим начинает разваливаться, многих крикунов, которые дотоле молились о пришествии этого дня, охватывает паника.

Эрик Хоффер. Истинноверующий

Между падением царизма в феврале 1917 г. и большевистским захватом власти в Петрограде в октябре Россия пережила социальную революцию снизу, не имевшую себе равных в современной истории. Накопившие в нескольких поколениях ненависть к привилегированным слоям, к эксплуатации и репрессиям, революционизированные тремя годами войны и воспламененные внезапным падением царизма массы — рабочие, солдаты и крестьяне — захватывали помещичьи усадьбы, гарнизоны, крупные имения. Утомленные войной, жаждавшие земли и социального равноправия, они стихийно совершали народный переворот против самодержавия без контроля со стороны каких-либо политических партий. К лету 1917 г. все традиционные формы политической и экономической иерархической власти и привилегий разваливались под натиском, принимавшим все более насильственные формы. На местах возникли новые народные децентрализованные институты — местные Советы, выбиравшие по всей стране представителей, и высшие Советы, рабочие комитеты на предприятиях, солдатские комитеты в армии, крестьянские комитеты в деревнях, принявшие делить помещичьи владения.

В то время как настроение народа с каждым месяцем становилось все более радикальным и бурным, новое, Временное правительство в Петрограде проводило политику умеренности и законности. Правительству, возникшему как коалиция консервативных и либеральных политиков, противостоял слева в качестве социалистической, но лояльной оппозиции Петроградский Совет, руководимый социалистами-революционерами и меньше-

виками. Весной под давлением происходивших в стране событий Временное правительство было преобразовано в коалицию либеральных демократов и умеренных социалистов из Советов и стало возглавляться социалистом-революционером Александром Керенским. Однако, несмотря на новый состав, правительство продолжало требовать порядка и дисциплины, осуждало революционные волнения, настаивало на продолжении войны с Германией — либо до победного конца, либо до мира, достигнутого путем переговоров, — и оттягивало решение важнейших социальных проблем, в особенности вопроса о земле, до созыва Учредительного собрания, который намечался на конец года.

В разгар революции снизу режим умеренности, либеральный, социалистический или какой-нибудь иной, не имел шансов удержаться. Теснимое теми же социальными и военными проблемами, которые опрокинули самодержавие, и находясь в течение девяти месяцев во власти кризисов, Временное правительство стало наконец их жертвой. Перед своим падением в 1917 г. оно не пользовалось никакой поддержкой народа, не располагало достаточными войсками для поддержания порядка в городах, не было способно остановить захват земель, руководить военными действиями и хотя бы как-то сопротивляться большевистскому перевороту 25 октября, осуществленному небольшими силами*. Это же острое несоответствие между умеренностью властей и народным радикализмом привело к банкротству тех социалистов, которые поддерживали правительство; они превратились в защитников закона и порядка и этим изолировали себя от собственных бушующих избирателей.

К сентябрю эсеровское и меньшевистское влияние в важнейших Советах обеих столиц было заменено большевистским.

Мы не будем здесь останавливаться на периоде головокружительного успеха большевизма в 1917 г., когда партия, еще в феврале насчитывающая 24 тыс. членов и обладавшая небольшим влиянием, в октябре стала массовой организацией, в которую входили 350 тыс. человек. Подчеркнем лишь, что утверждение, будто партия была в 1917 г. непредставительным узурпатором власти, есть заблуждение. Большевикам помогли, конечно, нерешительность и некомпетентность соперников, ленинская решимость и способность сплотить свою партию на боевых позициях и просто удача. Но также верно и то, что партия была единственно весомой политической силой, систематически в течение всего 1917 г. поддерживавшей все радикальные настроения масс и явившейся их выразителем. Будучи до конца в меньшинстве (на выборах в Учредительное собрание в ноябре они получили лишь около 25% голосов), большевики не могли подталкивать революцию снизу или управлять ею, но они одни поняли ее направление и потому выстояли [1].

Роль Бухарина в этих событиях, его вклад в успех партии

заслуживают особого внимания по двум причинам. Благодаря этому Бухарин сумел подняться над старшими по возрасту и занимавшими более высокое положение большевиками – претендентами на руководящую роль в партии; в то же время это предопределило его лидерство в оппозиции левых большевиков ленинской политике всего через три месяца после прихода партии к власти. И то и другое проистекает из того факта, что Ленин и левые большевики со своим наиболее выдающимся представителем Бухариным находились в принципиальном согласии по всем основным проблемам, стоявшим перед партией в 1917 г. Это единодушие привело Бухарина накануне его двадцатидевятилетия в возглавляемую Лениным руководящую верхушку большевиков, которая стала правительством Советской России. В феврале 1918 г., когда Ленин отошел от своего бескомпромиссного радикализма 1917 г., Бухарин и левые стали в оппозицию*.

Спорные вопросы, по которым Бухарин и Ленин резко расходились в эмиграции, к 1917 г. были либо разрешены, либо потеряли свою актуальность (в значительной степени потому, что вождь изменил свое отношение к ним). Знаменательно разрешение и мелких споров между Бухариным и Лениным. Например, в 1917 г. для привлечения народных масс к большевикам Ленин умело сочетал лозунг поражения своего правительства с антивоенными мирными лозунгами, подобными тем, которые Бухарин и божийская группа выдвигали на Бернской конференции. К тому же Ленин, отойдя от своей прежней позиции, серией примирительных жестов дал возможность Троцкому и его последователям вступить в большевистскую партию. Призыв Бухарина к единению всех активных марксистов, выступавших против войны, призыв, брошенный им в 1915 г., наконец стал осуществляться, во всяком случае на этот раз. Поэтому именно ему было поручено приветствовать троцкистов на VI съезде партии в июле 1917 г. „В этом зале, – заверял он собравшихся, – нет ни одного человека, который не чувствовал бы необходимости объединить все жизненные силы социал-демократии” [2]. Но главной причиной возрождения солидарности было принятие Лениным максималистского направления, воплощенного в бухаринском призыве к революционному разрушению буржуазного государства. В своих знаменитых Апрельских тезисах, провозглашенных в 1917 г. после возвращения в Россию, Ленин, к изумлению партийных руководителей, включил антигосударственные воззрения в политическую программу.

До возвращения Ленина партийные руководители в России, возглавляемые Каменевым и Сталиным, считали, что возникающая после падения царизма „буржуазная” республика просуществует

долго и что большевики будут в ней лояльной оппозицией. Ответственным образом они сформулировали партийную политику. Ленинские Апрельские тезисы выдвигали совсем другую ориентацию. Настаивая на том, что русская революция уже движется от своей буржуазной фазы „ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства”, Ленин требует: „Никакой поддержки Временному правительству”, ни его военным усилиям, ни его внутренней политике, какова бы она ни была. Он призывает к разрушению существующего государства, „устранению полиции, армии, чиновничества”, созданию „революционного правительства” Советов, „государства-коммуны”, которое одно могло вести „революционную войну” против всех империалистических держав. Социал-демократам, которые относились к его предложениям как к разнузданному анархизму или „безумству сумасшедшего”, советовалось (так же, как раньше Бухарин советовал Ленину) прочесть „ что говорили Маркс и Энгельс о *типе* государства, необходимого пролетариату”. Апрельские тезисы сжато и ярко предвосхитили работу Ленина „Государство и революция”, написанную в августе и сентябре, и провозгласили его политическую программу 1917 г.: „Долой Временное правительство! Вся власть Советам!” [3].

Выводы Ленина провозгласили необходимость восстания и социалистической революции и, хотя он лишь вскользь затрагивал вопрос о сроках их проведения, ввергли большинство большевистских руководителей „в состояние расстройства и замешательства”. Как вспоминал Бухарин через семь лет: „Часть нашей собственной партии, и притом немалая часть нашей собственной партии. увидела в этом чуть ли не измену обычной марксистской идеологии!” [4]. Неуверенность, робость, молчаливое принятие парламентской демократии после многих лет борьбы с самодержавием и буквальное прочтение марксизма, который внушал, что социальные условия в крестьянской России не созрели для пролетарской или социалистической революции, были причиной того, что многие старые большевистские руководители без энтузиазма и даже открыто враждебно отнеслись к ленинскому призыву к восстанию. Их сопротивление включало как публичную оппозицию ближайших соратников, в том числе Зиновьева, Каменева, Рыкова и Ногина, так и широко распространенные и постоянные „колебания... верхушки нашей партии, страшившейся борьбы за власть”. Для подготовки социалистической революции Ленин должен был сначала революционизировать свою собственную партию; тяжелой борьбой за это он был занят, начиная с апреля до заключительного момента в октябре [5].

В конце концов он смог достичь этого, используя не только свою огромную способность к убеждению, но и содействие и помощь тех, кто ранее был в стороне от высшего партийного ру-

ководства. Две группы были решающими в этом отношении: троцкисты, занявшие высокое положение в партии сразу после вступления в нее и игравшие главную роль в Петрограде; и юное левое крыло большевиков, пользовавшееся наибольшим влиянием в Москве. Среди последних Бухарин был самым выдающимся. Подобно большинству молодых большевиков, Бухарин не испытывал симпатий к умеренности и либеральным увещаниям нового „буржуазно-демократического” правительства и предвидел вторую революцию. Это настолько сильно объединило его с Лениным, что даже отдельные стычки по поводу теоретического раздела партийной программы, происшедшие летом, не смогли серьезно разъединить их.

Апрельские тезисы Ленина, подтвержденные его личным, переданным через Крупскую заверением, узаконили радикальную позицию Бухарина по вопросу о государстве, „основному и принципиальному вопросу практики революционного класса”. Вооруженные этой перспективой, и Ленин, и Бухарин стояли „все время на левом фланге” партии в 1917 г. [6]. В результате Бухарин перестал быть полуизгоем и на VI партийном съезде в июле стал полноправным членом Центрального Комитета, „генерального штаба большевизма” 1917 г. В отсутствие Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого он (как и Сталин) выступал на съезде с основным докладом, что означало его принадлежность к высшему партийному руководству [7]. И именно Бухарин написал манифест революции, главный документ съезда.

Ареной деятельности Бухарина, где он в 1917 г. выдвинулся в качестве представителя высшего партийного руководства и внес свой вклад в радикализацию партии, была Москва. Постоянно игнорируемый историей революции, которая ориентируется на Петроград, этот город принес партии некоторые из ее самых ранних и наиболее важных успехов. Первоначально, однако, в среде московских большевиков, как и в большинстве партийных организаций, произошел глубокий раскол между защитниками умеренности и сторонниками радикализма. Правые большевики обладали особым влиянием в степенной древней столице, находившейся в сердце крестьянской России, и это укрепляло их осторожные воззрения. „Здесь, в самом центре буржуазной Москвы,— размышлял один из них,— мы действительно кажемся себе пигмеями, задумавшими своротить гору” [8]. Правые силы концентрировались в городской партийной организации, Московском комитете, чье руководство включало многих защитников умеренности, в том числе Ногина и Рыкова [9].

Однако на другом крыле партийцев-москвичей была сильная и влиятельная группа воинствующих молодых большевиков, обосновавшихся в Московском областном бюро. Ответственное за все партийные организации в тринадцати центральных про-

винциях вокруг Москвы, где жило 37% населения страны, а к октябрю сосредоточилось 20% общего количества членов партии, Бюро было оплотом левых большевиков [10]. По прибытии в Москву в начале мая Бухарин снова вошел в состав Московского городского комитета. В равной мере важно и то, что он вошел в состав узкого руководства Московского областного бюро*, где он заново объединился со своими доэмигрантскими друзьями; Бюро стало исходным пунктом его деятельности и его влияния в 1917 и 1918 гг. [11].

Деятельность большевиков в Москве в 1917 г. разворачивалась в борьбе за преобладающие позиции между склонявшимся к осторожности Московским комитетом и радикальным, настроенным на восстание Бюро [12]. Два обстоятельства усиливали это соперничество. Во-первых, Бюро формально имело власть над Московским комитетом, который считался просто „одной из областных организаций” — ситуация обидная и оспариваемая более старым и почтенным городским комитетом [13]. Во-вторых, отношения между ними регулярно обострялись конфликтом поколений. К началу лета Бюро было во власти большевиков поколения Бухарина. Штаб Бюро находился в Москве, и его главными руководителями были Бухарин, Осинский, Владимир Смирнов, Ломов, Яковлева, Кизельштейн и Иван Стуков. Исключая Яковлеву, которой исполнилось 33 года, остальным не было тридцати, то есть это поколение было на десять-двадцать лет моложе руководителей Московского комитета (хотя потом в Комитет вошло несколько молодых руководителей) [14].

Хотя большинство Московского комитета в конечном итоге поддержало восстание, его реакция на радикальный курс, провозглашенный Лениным и левыми, была замедленной и нерешительной во всех отношениях. Большинство его старших по возрасту членов полагали, как утверждал один из них, что „нет ни сил, ни объективных условий для этого” [15].

Руководителей Бюро, постоянно подталкивавших старших партийцев из городского комитета, очень волновало во время Октября и то, что „миролюбивые” взгляды и „значительные колебания” в МК могут стать роковыми „в решающий момент” [16]. Поэтому, несмотря на решительную поддержку со стороны некоторых старых московских большевиков, молодые москвичи склонны были рассматривать окончательную победу революции в Москве как свое личное достижение, *four de force* [проявление большой силы] своего поколения. Как позднее высказался по этому поводу Осинский, они вели борьбу за власть „при значительном сопротивлении большей части старшего поколения московских работников” [17].

Это ощущение принадлежности к одному поколению, чувство самоуважения, укоренившееся в них во время общих испытаний в 1906—1910 гг., сделали молодых москвичей особой груп-

пой в партии в 1917 г. и позднее. Как и прежде, Бухарин играл среди них видную роль, сохраняя политические и личные связи со всеми остальными. Осинский, Смирнов, Ломов, Яковлева и ее столь же известный среди большевиков брат Николай были его ближайшими друзьями до эмиграции. Ломов, например, был „горячим последователем” более яркого Бухарина, о котором он говорил „с любовью и благоговением” [18]. Меньше известно о Кизильштейне* и Стукове, которые появились в Москве только в 1917 г., но стали верными и пылкими сторонниками местного Бюро в последующих партийных спорах [19].

В то время как нерешительность и осторожность подтачивали авторитет старых московских партийных руководителей, сила и влияние молодых москвичей возрастали. Это выразилось в том, что в начале мая Бухарин, Ломов и Сокольников (еще один их молодой товарищ 1906–1910 гг.) были включены в большевистскую делегацию в Московском Совете, чтобы противостоять правым его членам [20].

Однако, чтобы влиять на формирование взглядов московских большевиков, необходимо было иметь в своих руках официальные партийные издания. В начале лета старое трио 1909–1910 гг. — Бухарин, Осинский и Смирнов — снова воссоединилось, сумев получить (или взять) руководство органами печати. Возглавляемые Бухариным, они основали „рабочую тройку” внутри редколлегии „Социал-демократа”, ежедневной партийной газеты. Их назначение было, по-видимому, настоящим переворотом в редколлегии, направленным против четырех редакторов, которые руководили газетой со времени ее создания в марте и теперь были лишены решающих голосов [21]. То же самое произошло в „Спартаке”, партийном теоретическом журнале: Бухарин стал главным его редактором, Осинский и Смирнов — его заместителями, а старые редакторы были переведены на второстепенные роли „сотрудников” [22].

В результате в руках левых оказались московские партийные издания, что дало возможность тройке формировать взгляды и политику большевиков в течение критических месяцев правления Керенского. Возрастание политической роли левых в старой столице отразилось на их представительстве в Центральном Комитете партии, избранном в июле. Помимо Бухарина, еще два других молодых москвича, Андрей Бубнов и Сокольников, стали полноправными членами ЦК, а Яковлева и Ломов — кандидатами в члены ЦК. Завоеванное ими равенство с умеренными было официально признано: четверке — Бухарину, Ломову, Рыкову и Ногину — поручалось наблюдать за партийными делами в московской зоне [23].

В то же время возвышение молодых левых отразилось на усилении личного влияния Бухарина среди московских большевиков. В Москве ни один партийный руководитель не играл такой

преобладающей роли в революционной политике, как Троцкий в Петрограде. Но Бухарин по своему значению не уступал никому. Как член Исполнительного Комитета Московского Совета, Городской думы и злополучного Государственного совещания, он обладал решающим голосом среди радикальных большевиков бывшей столицы. Неутомимый и вездесущий в бурных политических событиях 1917 г., он разоблачал лживость Временного правительства и проповедовал в Советах, профсоюзах, учебных заведениях, на промышленных предприятиях Москвы и провинции необходимость социалистической революции [24]. Небольшой рост и мальчишеские манеры не мешали проявлению его выдающейся ораторской силы, по поводу чего свидетели тех лет писали:

Он был быстр и вынослив... и очень прочно стоял на ногах... Вы никогда не смогли бы успеть подготовиться к ответу на сверкающий поток его остроумных аргументов... Он свободно ходил взад и вперед, в блузе с расстегнутым воротом, держа в руках бумаги, всем существом своим выражая то, что говорил.

Один очевидец с восхищением рассказывал о том, как Бухарин высмеивал либералов „со злой и тонкой иронией”, другой — как он обрушился на правое крыло большевиков на рабочем митинге: „На трибуну поднялся взбешенный, неумолимо логичный Бухарин, чей голос извергал удар за ударом. Собравшиеся слушали его с горящими глазами” [25].

Как и позднее, его репутация в 1917 г. упрочилась благодаря его литературным работам — потоку статей, передовиц, прокламаций и манифестов (включая и некоторые из наиболее известных партийных деклараций), регулярно публиковавшихся в „Социал-демократе” и „Спартаке” [26]. С неослабевающим напряжением продолжалась и его теоретическая работа. Марксисты, пояснял он, „никогда не обязывались приостанавливать теоретическую работу даже среди самых жестоких классовых битв” [27]. (Можно вспомнить, что и Ленин так же работал над „Государством и революцией”.) Следуя этому, Бухарин, несмотря на бурные события лета и осени, публикует статьи, в которых излагает российским читателям свои идеи об империализме и современном капитализме. Он пишет единственную среди своих работ историческую брошюру — яркий, популярный отчет о текущих событиях, озаглавленный „Классовая борьба и революция в России”. Эта книга, написанная по примеру знаменитых статей Маркса о французской политике, была опубликована в июле 1917 г. и получила широкое распространение среди читателей; позднее один из большевиков с восхищением писал, что она является „лучшим очерком революции 1917 г.” [28].

В дальнейшем 1917 год рассматривался как пробный камень политической карьеры всякого большевика, как время, когда

его поведение навсегда повышало или понижало его авторитет в партии. В этом смысле 1917 год решительно утвердил Бухарина как одного из вождей партии. К октябрю только горстка большевиков любого поколения могла сравниться с ним по своей роли в партии: ветеран революции 1905 г., подпольщик, интернационалист, теоретик, редактор, публицист и революционный трибун.

Личный вклад Бухарина не может, однако, приуменьшить той существенной, очень важной роли, которую сыграли остальные молодые москвичи в победе большевиков в 1917 г. Молодые москвичи, каждый в отдельности и коллективно, в качестве руководителей Московского областного бюро и благодаря своей радикальной позиции добились для партии выдающегося успеха на выборах в Московский Совет и Городскую думу и помогли Ленину в его попытках убедить колеблющихся большевиков поддержать вооруженное восстание в Петрограде 25 октября [29]. За ним последовало Московское восстание, в котором руководящую роль играли лидеры Бюро и их сверстники.

Более длительное и кровопролитное, чем в Петрограде, Московское восстание встретило ожесточенное сопротивление и продолжалось до 2 ноября [30]. Бухарин составлял, вносил и отстаивал революционные декреты Московского Совета, от имени которого проводилось восстание, и Военно-революционного комитета, чей бюллетень он редактировал. Смирнов, который руководил военными операциями, Ломов и два других молодых москвича — Н. Муралов и Г. Усевич — были руководящими членами Комитета (Осинского в это время не было в городе) [31]. Подавив сопротивление и одержав победу, московские большевики выбрали двух представителей для официального сообщения новому революционному правительству в Петрограде. Были выбраны двое — Бухарин и Стуков, символизировавшие триумф Бюро и поколения 1905 г. [32].

Роль Бухарина и его друзей в радикализации большевизма имела политические последствия и после Октября. Их праведная ответственность, пренебрежение к предостерегающим голосам и периодически проявлявшаяся солидарность вызывали раздражение более старых руководителей, которые, в добавление ко всему, чувствовали, что их оттесняют в сторону молодые [33]. Хотя и ослабленная временно победой революции, эта затянувшаяся обида дала себя знать позднее, когда молодые левые уже не выражали ленинского мировоззрения [34]. В то же время успехи молодых москвичей в 1917 г. подкрепили их веру в свое собственное политическое благоразумие и в действенность бескомпромиссного радикализма. В отличие от Ленина (который сам принадлежал к старшему поколению) они не спешили отказаться от максималистского духа 1917 г. или хотя бы умерить его, когда это могло показаться полезным. Отчасти в

результате этого они выступили в начале 1918 г. инициаторами первой внутрипартийной оппозиции в Советской России – „левых коммунистов“. В этом качестве они настаивали на том, что радикализм, который привел большевиков к власти, уместен и в политике уже правящей партии. В 1917 г. о таких вопросах практически не задумывались.

Основу мифа о сплоченной, единомыслящей партии составляло мнение, что большевики будто бы пришли к власти, имея продуманную, хорошо разработанную программу преобразования российского общества. Ожесточенные дискуссии внутри партии в течение последующих двенадцати лет отчасти явились следствием того, что положение было как раз обратным. На самом деле они захватили власть без продуманной (и тем более единодушно одобряемой) программы того, что они считали своей существенной задачей и предпосылкой социализма – индустриализации, модернизации отсталой крестьянской России. Как социалисты и марксисты, большевики хотели преобразовать общество, построить социализм. Однако это были желания и надежды, а не реальные планы или экономическая программа.

Все программные дискуссии в партии между Февралем и Октябрем касались почти исключительно политических вопросов. Ленин прокладывал путь. Во внутренней политике он обещал создание государства-коммуны, республики Советов и социалистического правительства, получающего поддержку пролетариата и беднейшего крестьянства и действующего в их интересах. Однако лишь позднее эти слова были истолкованы в том смысле, что они означают большевистскую монополию власти. Во внешней политике он обещал выход России из европейской войны, дипломатическую враждебность к воюющим империалистическим державам и объявление им революционной войны, а также поддержку антикапиталистических революций. Между тем ленинские замечания, касающиеся экономической политики, были эскизными, редкими и случайными и сводились к трем основным положениям: национализации банков и синдикатов, национализации земли и рабочему контролю на предприятиях [35]. Изложенные сжато и различно интерпретируемые даже большевиками [36], все три положения предусматривали контроль над экономикой и ее регулирование, а не преобразование или расширение экономики страны. Такое „поверхностное внимание“ большевиков к экономическим вопросам вызвало изумление одного меньшевика: „На экономическую программу не было даже никакой ссылки... /Как/ эта отсталая, мелкобуржуазная, крестьянская структура, максимально истощенная и хаотичная, может быть согласована с социалистической реорганизацией...

ни слова об этом не было сказано". Большевистское руководство, убежден он, „просто почти забыло об этом". Вместо экономической программы в октябре, жаловался один большевик, только что вступивший в партию, был „почти вакуум" [37].

Существует несколько причин, почему большевизм — движение, опиравшееся на теорию, — пришел к власти без логически последовательной программы экономической и социальной революции. Перед 1917 г. партия сосредоточилась почти исключительно на политической борьбе против царизма, а не на казавшихся отдаленными проблемах социалистического устройства. Февральское восстание оказалось неожиданным для партийных руководителей, которые затем в оставшиеся перед Октябрем месяцы обсуждали в основном вопросы борьбы за власть, а не перспективы ее использования. Во-вторых, традиционный марксизм содержал мало отправных точек для размышлений о после-революционном развитии. Сам Маркс рассматривал экономическую модернизацию как историческую функцию капитализма, нигде не указывая и даже не намекая на возможную роль социалистов в этом деле. К тому же он вообще отклонял попытку делать конкретные предположения относительно послекапиталистического развития, и это стало традицией, которую соблюдали его последователи. В-третьих, Ленин очень критически относился к обсуждению проблем будущего. Он предпочитал совет Наполеона: "On s'engage et puis... on voit!" [Ввяжемся в бой, а там будет видно], признавая позднее, что большевики действовали в 1917 г. именно так [38]. Его нерасположенность к таким проблемам мешала тем большевикам, которые иногда хотели заглянуть вперед. Например, в начале 1916 г. Бухарин похвалил новую программу голландских социал-демократов, содержащую перечень умеренных требований, которые предусматривали национализацию банков и крупной индустрии, прогрессивное налогообложение, разработку законов о социальном обеспечении, 8-часовой рабочий день. Ленин раздраженно отмахнулся от сообщения Бухарина, поясняя: „Так как в настоящий момент... социалистическая революция в указанном смысле еще не началась, программа голландцев абсурдна" [39].

Однако все эти соображения ни в коей мере не могут полностью объяснить, почему не сочли нужным продумать экономическую программу такие самостоятельно мыслящие большевики, как Бухарин, который не более Ленина был подготовлен к внутривнутриполитическим кризисам в послеоктябрьский период. Проблема лежала глубже, она касалась основной дилеммы, вскоре вставшей перед победившими большевиками. Несмотря на настойчивую защиту социалистической революции, Бухарин понимал, что Россия является глубоко отсталым обществом [40]. Каким образом могло быть увязано одно с другим? Для него

и для всего большевистского руководства, как правило, ответ заключался в течение нескольких лет в предположении органической связи между революцией в России и революцией в развитых европейских странах. Вместо того чтобы подойти вплотную к решению вопросов социалистической формы правления в России, большевики прибегли к положению, считавшемуся у марксистов бесспорной истиной, что пролетарская революция так же, как предшествующие ей буржуазные, будет явлением международным. Социальную и экономическую отсталость России, заключали они, можно преодолеть благодаря товарищеской помощи и поддержке с Запада. Это нежелание задумываться над программными вопросами больше, чем что-либо другое, мешало большевикам разумно рассуждать об экономическом обновлении и других внутренних проблемах будущего.

Такое уклонение от ответа особенно характерно для воззрений Бухарина в 1917 г. (хотя оно было присуще не только ему). В своей первой статье, опубликованной после падения царского самодержавия, он задавал себе вопрос, каким образом немногочисленный пролетариат России после своей победы сможет справиться с экономическими и организационными задачами в отсталой мужицкой стране. И отвечал:

Нет никакого сомнения в том, что русская революция перекинется на старые капиталистические страны и что рано или поздно она приведет к победе европейского пролетариата.

Экономические проблемы, другими словами, имели международный характер, так как результатом мировой революции могла быть единственно „товарищеская экономика” [41]. Бухарин не изменил этого своего взгляда в течение всего 1917 г. Через два дня после большевистской победы он повторил свои аргументы, сделав их еще более определенными: „Мировая революция означает не только чисто политическую поддержку русской революции. Она означает экономическую поддержку”. Осторожно говоря лишь о „полной” и „окончательной победе” революции, он оценивал тем не менее перспективы изолированной социалистической России недвусмысленно: „Окончательная победа российского пролетариата... невероятна без поддержки западноевропейского пролетариата” [42].

Ставя экономическое будущее России в зависимость от успешного восстания в Европе, доктрина мировой революции отвлекала большевиков от внутриполитической реальности, ослабляла понимание необходимости индустриальной и аграрной программы и приковывала их внимание исключительно к событиям на Западе. В результате одним из основных партийных принципов стала вера в революционную войну, с помощью которой революционная Россия могла бы в случае необходимости избежать изоляции и обеспечить спасительную связь с передовыми

индустриальными странами Европы. Как обещал Бухарин летом на VI партийном съезде:

... перед победившей рабоче-крестьянской революцией на очередь станет объявление революционной войны, то есть вооруженная помощь еще не победившим пролетариям. Эта война может носить различный характер. Если нам удастся починить разрушенный хозяйственный организм, мы перейдем в наступление. Но если у нас не хватит сил на ведение наступательной революционной войны, то мы будем вести революционную войну оборонительную... священную войну во имя интересов всего пролетариата, и это будет звучать товарищеским призывом. Такой революционной войной мы будем разжигать пожар мировой социалистической революции [43].

Революционная война стала официальной составной частью большевистских взглядов в 1917 г. в большой степени оттого, что она заменяла отсутствующую программу социальных преобразований и экономического развития [44].

Ни один большевистский руководитель не казался более захваченным перспективой европейской революции, чем Бухарин. Накануне Октября, если взять только один пример, его излюбленной теоретической моделью старого порядка был еще государственный капитализм, наиболее развитое капиталистическое общество [45]. Насколько далека была эта модель от российской действительности, показывали немногочисленные странные, неуместные замечания Бухарина о русском крестьянстве, становившемся все более революционным. В июле он доказывал, что война настолько ускорила концентрацию и централизацию капитала в капиталистических странах, что мелкие производители — мелкая буржуазия — быстро перестают играть значительную политическую и экономическую роль [46]. И это в то время, когда революция в небывалых масштабах преобразила всю русскую деревню, привела к разделу помещичьей земли, а мелкий крестьянин-собственник стал преобладающей фигурой в деревне; мелкобуржуазный характер сельского хозяйства России тем самым углубился.

Не удивительно поэтому, что Бухарин в своей концепции социалистической революции отводил так мало места бунтующему русскому крестьянину и уже происходившей аграрной революции. Рассматривая крестьянство как „собственническую группу“, которая будет сражаться только „ради защиты своей земли“, он, как и многие большевики, видел развитие революции как двухстадийный процесс: „первый фазис — с участием крестьянства, стремящегося получить землю, второй фазис — после отпадения насыщенного крестьянства, фазис пролетарской революции, когда российский пролетариат поддержат только пролетарские элементы и пролетариат Западной Европы“. Это подразумевало, что два переворота 1917 г. — в деревне и в городе —

неизбежно пойдут своими особыми путями и вследствие „глубоких принципиальных различий между крестьянством и пролетариатом” вступят между собой в конфликт [47]. И снова якобы совершенно необходимым союзником российского пролетариата становился его европейский собрат. Последующий пересмотр Бухариным этого неудачного рассуждения, его открытие, что две революции фактически были составной частью одного происшедшего переворота, лежали в основе многих его взглядов 20-х гг. Его концепция в 1917 г., однако, только усложняла стоявшие перед большевиками проблемы.

Каковы бы ни были причины того, почему большевики не думали об экономической программе перед приходом к власти, это обстоятельство стало важным фактором последовавших разногласий. Оно повлекло за собой двенадцатилетние поиски жизнеспособной экономической политики партии, соответствующей ее революционным устремлениям и социалистическим убеждениям. Оно создало предпосылки того, что эти поиски характеризовались жестокими спорами и отсутствием согласия в основных принципах. Оно также побудило Бухарина заняться своей центральной в послеоктябрьский период темой — разработкой программы и теории построения социализма в России. Как мало он, ведущий партийный теоретик, был готов к такой задаче, показало вскоре его участие в оппозиции „левых коммунистов”, которое подтвердило, что, кроме революционной войны, он не мог предложить партии, неожиданно начавшей управлять Россией, другой политики дальнего прицела.

Хотя элементы знаменитого бухаринского „левого коммунизма” присутствовали уже в 1917 г., стереотипное представление о нем как о наиболее догматичном представителе экстремистской политики до 1921 г. нуждается в пересмотре. Ясно, что ни левые, ни правые большевики вначале не имели доктрин, легко применимых ко внутренней политике; импровизация была обычным явлением. Как мы видели ранее, Бухарин не был внутренне неспособен к умеренности и компромиссам. Слухи о том, что даже в 1917 г. он был „более левым, чем Ленин”, очевидно, происходили от неправильного понимания их кратких споров по обновлению партийной программы 1903 г. [48]. Бухарин хотел заменить в ней прежнее теоретическое представление о домонополистическом капитале новым положением, отражающим его идеи о государственном капитализме и империализме. Ленин настаивал на том, что старое представление было еще уместным в существенных моментах. Хотя дискуссия неожиданно выявила безусловно различную трактовку ими современного капитализма и, в несколько меньшей степени, породила их разногласия по вопросу самоопределения наций, она не повлияла на текущую политику и тактику, где они действовали в согласии [49].

Существуют к тому же доказательства, что даже в 1917 г. радикализм Бухарина не исключал умеренности и компромисса. Он не был, например, среди тех руководителей Бюро, которые призывали к восстанию во время неудачных уличных демонстраций в июле. Его взгляды на различные тактические вопросы, которые разделяли умеренных и левых на VI партийном съезде, не были последовательно левыми: по одним вопросам он занимал серединную позицию, не принадлежа „ни к тому, ни к другому течению”, по другим он доказывал, вопреки возражениям левых, что революционная волна в России временно спала (с другой стороны, он бескомпромиссно выступал против предложения ряда большевистских руководителей, включая Сталина, о том, чтобы Ленин, все еще находящийся в подполье, предстал перед судом Временного правительства). Он даже был согласен переработать в своей резолюции пункт о революционной войне с учетом сомнений относительно способности России вести такую войну [50]. А в одном очень важном случае, в сентябре, Бухарин был настроен явно менее радикально, чем Ленин: он и весь Центральный Комитет проголосовали за отклонение (и сожжение) ленинских писем, призывавших к немедленному восстанию [51]. Наконец, опубликованная через два дня после большевистского переворота осторожная статья Бухарина отражала не столько радость победы, сколько озабоченность относительно предстоящих „колоссальных трудностей”. Бесспорных решений, предупреждал он, сразу принять не удастся; партия, конечно, будет делать ошибки [52].

Эта его склонность к прагматической умеренности была уменьшена и осложнена жестокими разногласиями по поводу внешней политики в течение первых месяцев большевистского правления. Позднее, когда Бухарин осознает проблемы внутренней политики партии и болезненные стороны, присущие длительным и глубоким социальным изменениям, умеренность станет краеугольным камнем его мышления. Помимо того, что он не предсмотрел внутренних сложностей, стоявших перед правительством, он не принял в расчет того, что стал позже называть „издержками революции”. В частности, он не предвидел трехлетней гражданской войны в России, увеличившей разрушения и страдания, уже нанесенные России четырьмя годами европейской войны и революцией. Меньше всего он предвидел человеческие издержки. Расплывчатая марксистская концепция классовой борьбы фигурировала в его дооктябрьских работах лишь как „экспроприация экспроприаторов”, обещающая передачу собственности и перераспределение богатств, но не кровавые последствия вооруженных грабежей.

Кровавая борьба в Москве, где одних только большевиков погибло пятьсот человек (против всего шестерых убитых в Петрограде) [53], возможно, уже тогда насторожила Бухарина от-

носительно грядущих „издержек революции”. Стуков впоследствии вспоминал, какие чувства испытывали они с Бухариным, когда приехали в Петроград доложить о своей победе:

Когда я начал говорить о количестве жертв, у меня в горле что-то поперхнулось, и я остановился. Смотрю, Николай Иванович Бухарин бросается к какому-то бородатому рабочему на грудь, и они начинают всхлипывать, несколько человек начинают плакать [54].

Настоящая революция началась.

ГЛАВА 3

ПАРТИЯ И ПОЛИТИКА В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Когда надежды и мечты вырываются на улицу, робким лучше всего запереть двери, ставни и спрятаться до тех пор, пока буйство не прекратится. Ибо часто бывает чудовищное несоответствие между надеждами, пусть даже благородными и светлыми, и последующими за ними действиями; как будто увенчанные миртом девы и юноши в гирляндах возвещают пришествие четырех всадников Апокалипсиса.

Эрик Хоффер. Истинноверующий

С 1918 г. и до окончания гражданской войны в 1921 г. большевики вели отчаянную борьбу против русских и иностранных контрреволюционных армий за сохранение своей власти в Советской России. Трудно переоценить влияние этих жестоких испытаний на авторитарную партию и политический строй, находившиеся в процессе становления. Помимо возрождения централизованной бюрократической власти, они привели к широкой милитаризации советской политической жизни, насаждению того, что один большевик назвал „военно-советской культурой” [1], которая продолжала существовать после гражданской войны. Равно важно и то, что в середине 1918 г. задача сохранения политической власти переплелась с еще одной, чуть менее сложной задачей: быстрым, в значительной мере насильственным, превращением общества в социалистическое. И хотя этому эксперименту также пришел конец, он оказал влияние на политические события последующих лет.

Не имевшая вначале ни армии, ни экономической программы, партия была неподготовлена к этим двум испытаниям. В течение трех лет она переживала один кризис за другим, импровизировала в стратегии и принимала временные решения; смысл революции свелся к понятию „защиты революции”, а действия и заявления партийных лидеров определялись как тем, что они вынуждены были делать, так и непродуманными до конца концепциями того, что следовало делать. Это относилось и к Бухарину. Сочетание военной целесообразности и идеологичес-

ких убеждений сформировало его политические и теоретические установки: от „левого коммунизма” в 1918 г. до обоснования военной политики партии в 1920 г. и до его роли в разногласиях, которые сопровождали крах этой политики в 1920 – 1921 гг.

В первые месяцы большевистского правления, когда радикализм еще преобладал в партии, Бухарин и молодые москвичи имели сильную политическую позицию. Почти сразу они оказали Ленину решающую поддержку. Правые большевики, к которым присоединилось несколько партийных руководителей, не выступавших против восстания, требовали теперь создания коалиционного правительства из представителей всех социалистических партий. Усилились возражения части большевиков против требования Ленина установить чисто большевистское правление; эти возражения поддержали некоторые члены ЦК и почти половина состава Совета Народных Комиссаров [2] *.

Ленин наконец одержал победу, опять отчасти благодаря поддержке московских левых. Бухарин и Сокольников возглавили большевистскую делегацию в только что избранном Учредительном собрании, заменив умеренных партийцев, возражавших против его роспуска [3]. В начале января 1918 г. Бухарин выступил от имени партии на созванном единственном раз Учредительном собрании. Отвечая на вызов эсеровского большинства, он выразил настроения возглавляемых Лениным большевиков, которые решили управлять самостоятельно. Обвинив другие социалистические партии в том, что они участвовали в дискредитировавшем себя Временном правительстве, он высказался категорически: „Товарищи, перед нами... водораздел, который сейчас делит все это собрание... на два непримиримых лагеря, лагеря принципиальных, – этот водораздел проходит по линии: за социализм или против социализма” [4].

Поддержка ленинского максимализма принесла Бухарину и его друзьям ключевые должности, особенно в создаваемом хозяйственном аппарате, в той области, которую большевики считали наиболее важной. В ноябре 1917 г. Бухарину было поручено составить проект законодательства о национализации и создании органа, который руководил бы экономической жизнью страны; проект был одобрен в декабре. На основе этих предложений был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) [5]. Осинский, который вместе со Смирновым до этого возглавлял новый Государственный банк, стал первым председателем ВСНХ, в президиум которого вошли также Бухарин и Смирнов. Между тем Ломов, который был также комиссаром юстиции в первом Совнаркоме, возглавил национализацию московских банков и промышленных предприятий и „реорганизацию всего аппарата в Москве и области”. В январе 1918 г. он также вошел в состав президиума ВСНХ, несколько позднее став заместителем

лем председателя ВСНХ. Под редакцией Осинского, Смирнова и Ломова стал также выходить официальный журнал ВСНХ [6]. Бразды правления в экономике Советской России, как и считали старые большевики, находились в руках молодых москвичей.

Их коллективное выдвижение способствовало росту популярности Бухарина в партии, о чем свидетельствовало его делегирование в Учредительное собрание и роль в составлении первых политических заявлений правящей партии [7]. Особенно знаменательно, что Ленин опирался на Бухарина в „социалистической политике в области финансов и экономики”, — следовательно, эта проблема, впоследствии вызвавшая разногласия, еще не разделяла их. Так, 27 ноября (10 декабря) 1917 г. Ленин предложил Бухарину и его другу Пятакову составить небольшую комиссию для „обсуждения основных вопросов экономической политики правительства”. Это назначение вызвало возражения в Центральном Комитете, по-видимому, на том основании, что Бухарин был настоятельно необходим для работы в „Правде”. Ленин доказывал, что имеющая первостепенное значение экономическая политика требует полного к себе внимания и „потому нуждается в людях сведущих, каким является т. Бухарин”. Но предложение Ленина отклонили. Так Бухарин стал редактором „Правды”, во главе которой он находился все последующие двенадцать лет с одним лишь кратковременным перерывом [8].

Таким образом, вначале Бухарин и молодые москвичи играли чрезвычайно важную роль в организации и руководстве новой партийно-государственной системы [9]. Однако в первые месяцы 1918 г. их совместное влияние на официальную большевистскую политику неожиданно сменилось коллективной оппозицией к Ленину и его новым союзникам по партии. Вопросом, породившим разногласие, было решение вождя положить конец участию России в европейской войне путем подписания сепаратного и обременительного мира с Германией.

Для понимания роли Бухарина в оппозиции „левых коммунистов” необходимо учитывать, что движение это фактически прошло две стадии. С января по март 1918 г. это была в основном оппозиция, направленная против ленинских предложений о мире и защищавшая, в противовес этому, революционную войну против наступавшей германской армии. Между позицией „левых коммунистов” и ленинской позицией стоял Троцкий и его единомышленники, которые одновременно враждебно относились к мирному договору и скептически — к перспективам военного сопротивления, предлагая свою двусмысленную формулу „ни мира, ни войны”. Эта стадия существования „левого коммунизма” закончилась его поражением, заключением Брестского мира в конце февраля и его ратификацией после жестких споров на VII партийном съезде в начале марта. Движение затем вступило во вторую стадию, характеризовавшуюся тем,

что левые перенесли огонь на пересмотренную Лениным экономическую политику. Роль Бухарина на этих двух стадиях была различной [10].

Он стал признанным лидером движения против мирного договора и за революционную войну, выступив от имени этой группы на решающем VII партсъезде [11]. Таким образом, в течение двух месяцев 29-летний Бухарин возглавлял крупнейшую и наиболее мощную партийную оппозицию в истории Советской России. В различные моменты этой дискуссии противники мирного договора оказывались в большинстве в городских и провинциальных Советах, в нескольких крупнейших партийных организациях и в самом ЦК (в зависимости от того, голосовала ли группа Троцкого или воздерживалась) и, вероятно, среди рядовых членов партии. Даже при решающем голосовании Ленин не смог завоевать большинства в ЦК, и только то, что Троцкий воздержался, позволило Ленину одержать верх над левыми. Окончательное голосование на VII съезде: 30 голосов за мирный договор, 11 — против, 4 — воздержавшихся, — не отражало истинного влияния оппозиции внутри партии [12]*.

Несколько факторов сделали Бухарина естественным лидером оппозиции. Неумолимая враждебность к империалистическим державам, выраженная в обещании „священной борьбы” против европейской буржуазии, была эмоциональной и популярной частью партийной программы при подготовке восстания. Отказавшись от нее, Ленин отошел от левых большевиков и объединился с теми, кто был в оппозиции или сопротивлялся его курсу в 1917 г. [13]. Радикально настроенные большевики остались, таким образом, без лидера и чувствовали необходимость выдвинуть такового для защиты своих погранных идеалов. Никто не подходил для этого лучше, чем Бухарин, чье имя еще до начала дискуссии отождествлялось с идеей революционной войны [14]. Из семи членов Центрального Комитета, безоговорочно выступавших против мирного договора, — его самого, А. Бубнова, Ф. Дзержинского, Н. Крестинского, М. Урицкого, Г. Ломова и В. Яковлевой — только Бухарин по своему положению в партии мог стать лидером.

Если Бухарин и имел какие-либо сомнения насчет того, поднимать ли знамя революционной войны, — а есть косвенные доказательства, что такие сомнения у него были в первой половине февраля [15], — практически полное единодушие его поколения партийных руководителей, особенно его московских друзей, в этом вопросе, вероятно, рассеяло их. Уже 28 декабря (10 января) Московское областное бюро потребовало „прекращения мирных переговоров с империалистической Германией, а также и разрыва всех дипломатических отношений со всеми дипломатизированными разбойниками всех стран”. Окрыленные успехом, достигнутым благодаря их смелости в 1917 г., моло-

дые москвичи не были расположены к примирению или компромиссу. Их решимость оспаривать Ленина, несомненно, подталкивала Бухарина, который также верил, что урок победы большевиков в Москве, „когда мы выступили, не имея организованных сил”, был применим и в настоящей ситуации [16]. Эта привычка левого крыла большевиков ссылаться в споре с сомневающимися на „уроки Октября” стала постоянной чертой внутривнутрипартийных дискуссий ближайшего десятилетия.

На движение „левых коммунистов” и руководящую роль Бухарина в этом движении оказали огромное влияние как давние личные связи (участники движения были людьми одного поколения), так и общность политического мышления. Хотя в движении принимали участие видные представители партийных организаций всей страны, Москва и особенно Бюро стали „центром тяжести левого коммунизма” [17]. Молодые руководители Бюро в 1917 г. (Бухарин, Осинский, Ломов, Яковлева, Стуков и Кизильштейн) были всегда на переднем плане. Относящиеся к более далеким временам (1909 г.) предпосылки их совместной деятельности обнаружились теперь, когда уже известная в прошлом тройка Бухарин – Осинский – Смирнов (дополненная сейчас К. Радеком) образовала редакционную коллегию оппозиционного журнала „Коммунист”, издаваемого Бюро [18]. Когда левокоммунистическое движение охватило всю страну, Бюро стало функционировать как его „Центральный Комитет”, его „организационный центр”. Несмотря на свое всероссийское распространение, это было в основном московское движение во главе с Бухариным, его местным лидером, окруженным политическими друзьями, многих из которых он знал еще со времен 1906–1910 гг., когда был членом Московского комитета. Понятно поэтому, что защита революционной войны стала известна как „московская точка зрения” [19].

Принадлежность левых и правых большевиков к двум разным поколениям снова сыграла свою роль. Несколько старых членов партии – среди них наибольшим авторитетом пользовались М. Покровский и И. Скворцов-Степанов – были „левыми коммунистами”. Но руководящая группа оппозиции состояла исключительно из молодых; размежевание на левых и правых, характерное для большевиков Москвы в 1917 г., к этому времени распространилось на всю партию. Если свойственная молодости уверенность в своей правоте воспламеняла левую оппозицию Ленину и тем большевикам, на которых он опирался, то вождь вел себя как трезвый, умудренный опытом государственный деятель, поворачивая молодость оппозиционных лидеров против них самих. „Молодость, – говорил он о юных москвичах, – одно из самых больших достоинств этой группы”. Москвичи не менее остро чувствовали проблему поколений. Через семь лет, вспоминая прошлые разногласия, Бухарин так харак-

теризовал себя и своих друзей: „Мы, „молодые”, „левые”...” [20]. В значительной степени поэтому левокоммунистическое движение было выступлением революционеров, сформировавшихся в 1905 г., возглавляемым их признанным лидером – Бухариным.

Вероятно, элемент противоречий между отцами и детьми поможет объяснить конечное поражение оппозиции. В тот период, когда их выступления против мирного договора пользовались наибольшей поддержкой, „левые коммунисты” представляли полное энтузиазма массовое движение, вероятно, большинство партийцев. Хотя угроза со стороны германской армии все больше и больше ослабляла позицию „левых коммунистов”, истинная причина их поражения состояла не в отсутствии массовой поддержки, а в несостоятельности руководства. Левые эсеры, которые, присоединившись к большевикам, придали первоначально созданному правительству видимость коалиции, также выступали против заключения мира и предлагали свою поддержку в формировании нового правительства взамен ленинского. Руководители „левых коммунистов” отказались пойти на это как из-за своей лояльности по отношению к партии, так и потому, что ни один из них не рассматривал себя в качестве замены вождя большевистской революции [21]. Бухарин только сетовал на то, что политика Ленина „была губительной для революции”, и указывал, что большинство против него. Но когда знакомый спросил Бухарина, почему он не выступил решительно против Ленина, он, как рассказывают, воскликнул: „Разве я обладаю необходимыми данными, чтобы стать руководителем партии и бороться с Лениным и большевистской партией? Нет, не надо обманывать самих себя!” [22].

Несмотря на сплоченность движения „левых коммунистов”, политические тенденции его лидеров не совпадали. В частности, когда развернулись споры, стали вырисовываться значительные различия во взглядах между Бухариным и крайне „левыми коммунистами”, такими, как Осинский и Стуков [23]. Скрытые вначале остротой споров по вопросу о мирном договоре, они приобрели значение на второй стадии существования оппозиции. Ленин, со своей стороны, тоже не всегда полностью разделял взгляды своих приверженцев. Он был, например, значительно менее пессимистичен, чем те из выступавших за мирный договор большевиков, кто не видел перспектив революции на Западе и уже превозносил руководящую роль России. В самом деле, несмотря на взаимные обвинения, Ленин и Бухарин разделяли „одну и ту же общую предпосылку: без мировой революции мы не будем в состоянии справиться с трудностями” [24]. То, что их действительно разделяло, лежало в другой области.

Историки обычно считают призыв к революционной войне безрассудством Бухарина, „самоубийственным”, „безумным”

предложением, рожденным скорее эмоциями, чем трезвой оценкой положения. Бухарин, однако, неоднократно настаивал на том, что его выводы, в отличие от ленинских, являются результатом „холодного расчета” [25]. На самом деле в выступлениях Бухарина сочетались как эмоциональная приверженность выношенным идеалам, так и логические рассуждения, основанные на специфичности русских условий. Страстные донкихотские черты его оппозиции мирному договору исходили из его убеждения, что европейская революция неизбежна и что без нее большевистский режим долго продержаться не сможет. Большинство партийцев разделяли эти взгляды, но Бухарин придавал им характер пророчества: „Русская революция либо будет спасена международной революцией, либо погибнет под ударами международного капитала”. Он не видел альтернативы: „...все дело зависит от того, победит или не победит международная революция. ...Международная революция, — и только она одна, — наше спасение” [26].

В свете более поздних разногласий примечательно то, что Бухарин обосновывал свою мрачную оценку положения не экономической отсталостью России, а внешней военной угрозой. Он рисовал картину внешней угрозы даже более тревожной, чем Ленин, решительно доказывая, что общая ненависть к большевизму неминуемо объединит воюющие западные державы для совместного похода с целью свержения большевиков и „превращения России в их колонию”. „Много данных за то, — утверждал он, — что это соглашение между двумя враждующими коалициями уже произошло”. Если Ленин подчеркивал непосредственную угрозу, исходившую от наступавшей германской армии, то Бухарин был обеспокоен „союзом” империалистических держав, который может превратить в клочок бумаги любой односторонний договор. Только международный революционный фронт, настаивал он, сможет противостоять неминуемому объединенному империалистическому фронту против Советской России [27].

Отчаянные опасения по поводу того, что большевики не выстоят — а в начале 1918 г. такие настроения были распространены в партии очень широко [28] — и вера в грядущую европейскую революцию побудили Бухарина рассматривать российский пролетариат всего лишь как „один из отрядов” международного движения. И в этом вопросе большинство партийцев разделяли его взгляды. Но Бухарин к тому же сделал из этого вывод, что интересы революционного движения должны преобладать над интересами русского „отряда”. Ободренный стачками и волнениями в Берлине, Вене и Будапеште, он требовал, чтобы Советская Россия поддержала революцию в Европе актом мужественного вызова „священной войны против милитаризма и империализма”. Заключение же сделки с империалистической Герма-

нией означало, по словам Бухарина, что, сохраняя свою социалистическую республику, мы теряем шансы в международном движении. На карту была поставлена не малозначительная уже военная сила России, а символическое значение русской революции. Запятнанность ее знамени могла подорвать революцию за рубежом; прекращение международной революционной пропаганды — а это было определено германскими требованиями — могло заставить замолчать „колокол, гудящий на весь мир”, „обрезать язык” [29].

Убеждение Бухарина, что способность Советской России влиять на европейские события основана не на силе ее армии, а на ее революционных идеалах, послужило причиной его наиболее донкихотского жеста. В феврале появились некоторые признаки того, что союзники могут поддержать Россию поставками в борьбе против Германии. При обсуждении этого вопроса в ЦК Ленин и Троцкий призывали ответить согласием. Бухарин возражал, говоря, что принятие этого предложения „недопустимо”. Он желал революционной войны, но без „поддержки империалистов”. Когда же это предложение было принято (шестью голосами против пяти), Бухарин, по рассказам, воскликнул: „Что мы делаем? Мы превращаем партию в кучу навоза” [30]. Готовность Ленина вступать в сношения с отдельно взятыми капиталистическими странами предполагала временное сосуществование с ними. Бухарин же считал „мирное сожительство... Советской республики с международным капиталом” невозможным и неуместным. Решающей схватки, по его мнению, нельзя было избежать: „...мы всегда говорили... что рано или поздно русская революция... должна будет столкнуться с международным капиталом. Этот момент теперь наступил” [31].

Кроме того, два невысказанных соображения, вероятно, влияли на готовность Бухарина поставить все на революцию на Западе. Первое вытекало из его трактовки современного капитализма, согласно которой революция в зрелых капиталистических обществах была маловероятна без напряженности, вызванной войной. Такая напряженность уже существовала в данный момент, и Бухарин, возможно, опасался, что ослабление военных действий даст возможность стабилизироваться „государственно-капиталистическим режимам”. Во-вторых, так же, как и его многие немарксистские современники, Бухарин стал рассматривать продолжение бойни, вызванной европейской войной, как угрозу самой цивилизации. Социалистическая революция, которая только одна могла навсегда покончить с империализмом и милитаризмом, давала поэтому надежду на „спасение человеческой культуры” [32]. Превращение революции в мировое явление было для Бухарина спасением не только Советской России, но и всего человечества. Его идея о том, что революционная война положит конец войне империалистической, каза-

лась не слишком логичной, она была созвучна настроениям, выраженным поэтом Кеннетом Паткеном: „Давайте будем откровенно безумны, о люди моего поколения. Пойдемте по стопам этого убиенного века...”

Когда аргументы Бухарина основывались на призывах к мировой революции, преобладала риторика. Однако в центре его аргументации лежало твердое зерно логики, выстроенной исходя из российских условий и природы русской революции. В основе находилось его собственное понимание характера революционной войны, противопоставленное идее „передышки”, которая в феврале стала *raison d'être* ленинских мирных предложений. Ленин доказывал, что остатки русской армии не в состоянии сразаться с германской военной машиной; страна должна иметь возможность мобилизовать волю и восстановить свои вооруженные силы. Мирный договор, надеялся он, даст для этого необходимое время: „Я хочу уступить пространство... чтобы выиграть время” [33].

Но Ленин и Бухарин говорили о разных типах военных действий. Ленин мыслил в понятиях традиционно военных операций: регулярные армии сражаются друг против друга. Бухарин имел в виду нечто совсем другое, фактически – партизанскую войну:

Товарищу Ленину угодно было определять революционную войну только и исключительно как войну больших армий со сражениями по всем правилам военного искусства. Мы же полагаем, что война с нашей стороны – по крайней мере первое время – неизбежно будет носить характер партизанской войны летучих отрядов [34].

Ленин добивался передышки на недели, даже дни, Бухарин утверждал, что в такой короткий срок Россия не сможет ни восстановить свою транспортную систему, ни наладить пути снабжения, ни восстановить армию и что, следовательно, военная выгода от передышки – „иллюзия” [35].

Но если Советская Россия не способна построить регулярную армию, то, доказывал Бухарин, она может создать армию нового типа. Это будут партизанские силы, возникающие „в самом процессе борьбы, в которую постепенно будут втягиваться все большие и большие массы с нашей стороны, – в лагере империалистов, наоборот, будет появляться столько же элементов дальнейшего распада”. В начальной стадии мы будем „неизбежно терпеть поражения”. Но, продолжал он, даже падение главных городов не может уничтожить революцию. Советская власть не только в Совете Народных Комиссаров, но и в бесчисленных местных организациях рабочих и крестьян. „Если действительно наша власть такого типа, то империалистам ее придется выдирать зубами из каждой фабрики, из каждого завода, из каждого села и деревни. Если наша Советская власть – такая власть,

она не погибнет со сдачей Питера, Москвы". Бухарин не оспаривал ленинского аргумента, что русские крестьяне, составляющие самый многочисленный класс, воевать не хотят. Однако, говорил он, крестьянин будет сражаться, когда увидит, что над его недавно приобретенной землей нависла угроза: „Крестьяне будут втягиваться в борьбу, когда будут слышать, видеть, знать, что у них отбирают землю, сапоги, хлеб, — это единственная реальная перспектива". Когда некоторые говорили, что пацифистское настроение крестьянства исключает революционную войну, Бухарин отвечал: „...но этот-то самый мужик и спасет нас..." [36].

Бухаринская концепция нерегулярных партизанских сил, окружающих регулярные войска захватчиков и побеждающих их, отражала его веру в народные основы большевистской революции. Она предвосхищала характер советского сопротивления другой германской армии два десятилетия спустя, партизанский способ действий, который широко распространился потом в других крестьянских странах*. Но даже и в 1918 г., хотя позиция Бухарина тогда потерпела поражение, было ясно, что его доводы имеют свои достоинства. В этот момент украинские крестьяне оказывали сопротивление германской армии, объединяясь в партизанские отряды. Да и Брестский мир не принес передышки, на которую надеялся Ленин; в конце концов пришлось наспех сколачивать Красную Армию в ходе военных действий [37]. Наконец, победа большевиков в гражданской войне подтвердила коренное предположение Бухарина: крестьянин будет защищать революционное правительство, пока оно гарантирует ему землю.

Пропаганда крестьянской войны, которой руководит пролетариат, но которую в основном ведут крестьяне, представляла новый элемент в мышлении Бухарина. Ранее, в традиционной марксистской манере, он рассматривал крестьянство как общественно отсталый класс, поддержка которого прекратится после того, как революция углубится и вступит в пролетарскую или социалистическую стадию. Сейчас он, видимо, принимал в расчет тот центральный (и противоречивый традиционным взглядам) факт, что в 1917 г. аграрная революция имела равное, если не большее значение, нежели революция в городе. Слова Бухарина, сказанные им в 1918 г. о том, что крестьянство „спасет нас", показывают, что он не забыл о крестьянстве и не пренебрегал ролью этого класса, хотя уже несколько лет спустя он переосмыслит эту роль в рамках общего пересмотра своих взглядов на саму большевистскую революцию.

С ратификацией Брестского договора в начале марта первая стадия существования „левого коммунизма" подошла к концу.

В следующие два месяца разногласия сконцентрировались на внутренних вопросах, поскольку недовольная оппозиция выступила против предложений Ленина сделать более умеренной первоначальную экономическую политику большевистского правительства. Последняя и так была относительно умеренной. Помимо выборочной национализации, были сделаны шаги по устранению несправедливостей в жилищном вопросе и распределении продовольствия, издан закон о 8-часовом рабочем дне, отменена частная собственность на землю и в то же время подтверждены права крестьян занимать и обрабатывать землю. Кроме того, политический радикализм большевиков не оказал поначалу влияния на экономику; партия была еще осмотрительной и в некотором смысле реформистской [38].

Первыми акциями, удачно сочетавшими в себе, с партийной точки зрения, целесообразность и идеологию, были рабочий контроль на промышленных предприятиях и выборочная национализация. Эти акции сразу же, в 1917 г., легализовали захват фабрик, что соответствовало партийному лозунгу „экспроприации экспроприаторов”, и нанесли удар по политическому и экономическому сопротивлению большевистскому правительству. Однако к марту 1918 г. эти мероприятия способствовали усилению экономического хаоса и разрухи, вызванных пятью годами войны и революции, и еще более подорвали промышленное производство России.

Ленин реагировал на ухудшавшуюся ситуацию с характерной для него твердостью, заявив в начале апреля 1918 г. о своем решении изменить курс. Его план предусматривал прекращение национализации и экспроприации и *modus vivendi* с крупным частным капиталом. Новый экономический порядок должен был опираться на ограниченную государственную собственность, в то же время сохраняя частную (или смешанную) собственность и управление на большинстве предприятий. Советское государство должно было управлять частным сектором посредством финансового и политического давления. По мнению Ленина, чтобы его правительство могло продержаться, необходимы были техническое сотрудничество с крупной буржуазией, окончание стадии революционного разрушения и восстановление авторитета администрации на предприятиях. Нужно было учредить централизованный контроль над местными Советами; трудовая дисциплина должна была вытеснить рабочий контроль. Ленин решительно стремился к оздоровлению экономики; планировалось восстановление материальных стимулов. Одним словом, он откровенно признавал необходимость „прекращения наступления против капитала” [39].

Подыскивая наиболее общее и емкое определение для своих предложений, Ленин назвал задуманный им смешанный экономический порядок „государственным капитализмом”; подоб-

ная модель существовала в экономике Германии во время войны. Государственный капитализм, доказывал Ленин, означает огромный шаг вперед для отсталой, мелкобуржуазной России, гигантский шаг по направлению к социализму:

...государственный капитализм был бы спасением для нас; если бы мы имели в России его, тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролируемое и обобщественное, а нам-то и не хватает как раз этого, нам грозит стихия мелкобуржуазного разгильдяйства, которая больше всего историей России и ее экономикой подготовлена и которая как раз этого шага, от которого зависит успех социализма, нам не дает сделать.

По Ленину, государственный капитализм означал современную эффективную и централизованную промышленность; если Советская Россия сможет создать ее, это будет „три четверти социализма” [40].

„Левые коммунисты” реагировали на его предложения с раздражением, выступив с тезисами, отвергавшими их в целом и в частности. В новой политике они увидели отступничество „правого крыла партии” и „психологию мира”. Все предложения Ленина, касавшиеся его политики в отношении труда и заработной платы, замораживания национализации, соглашений с „капитанами промышленности”, и его основная идея о сближении с частным капиталом и о восстановлении старого административного порядка были осуждены как открывающие путь к „полному господству финансового капитала”. Ленинский план, предрекали они, может оказаться началом „бюрократической централизации, господства различных комиссаров, лишения местных Советов независимости и отказа от типа управляющегося снизу „государства-коммуны””. С презрением отвергая компромисс, левые требовали совершенно другого курса: непримиримой враждебности к буржуазии, атаки на капиталистические экономические отношения, национализации и „социализации” промышленности; рабочего контроля и сохранения власти местных экономических советов, поддержки бедных крестьян против богатых, а также развития крупных коллективных сельскохозяйственных предприятий. Критика и политические пристрастия „левых коммунистов” предвосхитили будущие платформы других левых оппозиций. Их предостережения против происходящей „гибельной мелкобуржуазной политики” будут высказываться еще не раз [41].

Несмотря на свою недолгую жизнь, ленинский „государственный капитализм” апреля—мая 1918 г. приобрел впоследствии значение из-за сходства с тем, что после 1921 г. официально стало известно как новая экономическая политика, или сокращен-

но нэп. И то и другое представляли собой смешанную экономику, сочетавшую ограниченный общественный сектор с обширным частным. И даже несмотря на то, что страна и экономика были очень разными в 1918 и 1921 гг., большевики, которые позднее старались узаконить нэп в партийной прессе, справедливо указывали на его сходство с ленинским „государственным капитализмом” [42]. Поскольку Бухарин стал впоследствии самым значительным защитником нэпа, его позиция на этой, второй, стадии „левого коммунизма” представляет особый интерес.

Нечеткость политической роли Бухарина и его взглядов на всем протяжении экономических разногласий показывает, что тут у него не было той фанатической уверенности, которая характерна для его оппозиции Брестскому мирному договору. В течение почти трех месяцев экономических дискуссий он публикует лишь одну статью, непосредственно относящуюся к предмету, в которой оспаривает Ленина в теоретическом плане, а не по вопросам конкретной экономической политики [43]. Молчание Бухарина было многозначительно, если принять во внимание научно-теоретический, а не практический характер его спора с Лениным. Более того, во время дискуссии он завершил большую брошюру, озаглавленную „Программа коммунистов (большевиков)”, по-видимому задуманную как первое популярное изложение политики большевизма у власти. Хотя книга отражала революционный дух воинствующего коммунизма, положения, касавшиеся непосредственно экономической политики, были поразительно умеренны. Успех брошюры — она широко распространялась как официальный документ и была переиздана на многих западных языках — означает, что высказанные в ней взгляды отражали главное направление партийной и ленинской мысли [44].

Таким образом, Бухарин перестал быть ведущим представителем и главным вдохновителем „левого коммунизма”. С ратификацией мирного договора это движение потеряло большинство приверженцев в стране и стало чисто московским явлением. В это же время Бухарин отстранился от активной деятельности среди левых, выступая лишь с отдельными возражениями против ленинских предложений, тогда как Осинский возглавил „левых коммунистов” в экономических дискуссиях. Всегда более радикальный, чем Бухарин, в вопросах внутренней политики, он стал самым непримиримым оппонентом Ленина [45]. Ясно, что такая ситуация положила конец объединению Бухарин — Осинский — Смирнов; Осинский и Смирнов стали оплотом партийных оппозиций большей части последующего десятилетия.

Выступая с критикой примиренческого экономического курса с декабря 1917 г., Осинский стал теперь главным защит-

ником радикализма. Он написал развернутые программные тезисы „левых коммунистов” — наиболее бескомпромиссное осуждение ленинских предложений. Это был документ, воплотивший его взгляды, которые он неоднократно отстаивал в апреле—мае, а также в течение длительного времени после окончания дискуссии. Он придавал страстный характер обвинениям и требованиям левых, отказываясь от любого компромисса со старым порядком, выступая против все возраставшей централизации власти, трудовой дисциплины, использования буржуазных специалистов, требуя максимальной национализации и „социализации” производства. Осинский, по его собственным словам, „занимал наиболее левую позицию” [46].

Бухарин пришел теперь к выводу о необходимости „отмежеваться от тех, кто меня целует”. Остро сознавая трудные проблемы, созданные экономической разрухой, он отказался поддерживать крайние взгляды других „левых коммунистов”. По вопросу об использовании буржуазных специалистов, например, он не увидел нарушения принципов, заявляя, что он тут „намного правее Ленина”. Те оппозиционеры, которые защищали рабочий контроль, граничивший с синдикализмом, не выражали взглядов Бухарина. Он в январе неуклонно предостерегал от этой тенденции. Он не симпатизировал и полуанархическому отрицанию сильного Советского государства, доказывая в противоположность этому: „...в промежутке между капитализмом и коммунизмом... рабочему классу придется выдержать жестокую борьбу со своими внешними и внутренними врагами. А для такой борьбы нужна организация, крепкая, широкая, хорошо сколоченная... пролетарское государство” [47]. В сельскохозяйственной политике Бухарин, как и очень многие большевики (включая Ленина), одобрял революционное перераспределение земли в 1917 г., но утверждал, что для будущего прогресса необходимо крупномасштабное коллективное возделывание земли. Он пока не предлагал способа сочетания этих двух форм хозяйствования. Не удивительно, что на этом этапе экономических дискуссий Ленин информировал Бухарина, что на „девять десятых с ним согласен” [48].

Тем не менее Бухарин продолжал оставаться с левыми, не очень охотно выступая от их имени и как редактор „Коммуниста” подписываясь под их тезисами [49], отчасти вследствие дружбы с молодыми москвичами и горечи, вызванной несогласием с заключением Брестского мира. Но также вследствие озабоченности, что политические тенденции, приведшие к заключению мира, могут подвергнуть опасности „экономическую программу Октября” и что могут взять верх те из большевиков, которые заявляют о своей верности пролетарской революции, но вместо лозунга „вперед к коммунизму” поднимают знамя „назад к капитализму” [50]. Хотя в своей риторике и, возмож-

но, по своей склонности Бухарин оставался более левым, чем Ленин, их конфликт, вызванный Брестским договором, рассеялся, и стал возможен компромисс по второстепенным вопросам [51].

У Бухарина были некоторые возражения против предложений Ленина по практическим экономическим вопросам. Важнейшие из них вытекали из его понимания характера российской отсталости и способа ее преодоления:

Отсталость России заключается вовсе не в том, что в нашей промышленности мало крупных предприятий, — наоборот, у нас их очень много. Отсталость наша заключается в том, что вся наша промышленность слишком мало занимает места по сравнению с деревней. Но и тут нельзя приуменьшить значения нашей промышленности...

Поэтому, доказывал он, если партия хочет добиться успеха в своих организационных планах, необходимо немедленно национализировать крупные экономические комплексы, особенно промышленные и финансовые синдикаты. Эти „важнейшие экономические крепости капитала” могли бы служить в качестве „основного экономического нерва”, „основных бастионов” новой советской экономической системы. Эти единственные современные и центрально организованные компоненты российской экономики должны быть преобразованы в государственный, или социалистический, сектор [52].

Критически относясь к плану Ленина регулировать крупный частный капитал, Бухарин тем не менее не был сторонником и беспорядочной национализации. Он предлагал начать „с тех предприятий, которые не только легче взять, но также легче организовать и которые могут подготовить наиболее гладкую дорогу”. При сравнении с ленинскими предложениями аргументы Бухарина, может быть, звучали радикальнее, особенно в таких лозунгах, как „социалистическая революция есть революция, которая экспроприирует капитал” или „через социализацию производства к социализму” [53]. Фактически Бухарин, по-видимому, предлагал нечто сходное с будущим нэпом, где государственный контроль распространялся только на ключевые секторы, которые позже назовут „командными высотами”. Он специально освобождал от национализации небольшие предприятия и подсобные отрасли промышленности, обращая внимание на то, что национализации „экономических крепостей” будет достаточно, так как „очень многие мелкие производства зависят весьма сильно от крупных и до всяких национализаций” [54]. Идея о том, что острова государственной промышленности будут во всех отношениях влиять на экономику, станет фундаментальной концепцией нэпа. И в этом смысле бухаринские предложения 1918 г. более, чем ленинские, предвосхитили экономическую политику партии 20-х гг.

Его позиции в отношении рабочего контроля, трудовой дисциплины и полномочий администрации были менее ясными. Эти волнующие вопросы осложнились двумя обстоятельствами. Во-первых, тон первоначальных декретов, отменявших рабочий контроль и предоставлявших „диктаторскую власть” соответствующим комиссарам, довольно сильно раздражал даже очень мягких критиков централизованной власти [55]. Во-вторых, само понятие рабочего контроля было двусмысленным. Означало ли оно правление фабричных комитетов, местных Советов, профсоюзов, ВСНХ или же речь шла просто о „государстве рабочих”? Здесь у большевиков существовало так же много мнений, сколько и возможностей, и сам Бухарин, по-видимому, придерживался различных точек зрения в различных случаях. Намеренно или нет, он, например, еще до октября 1917 г. предусматривал возможное государственное решение проблемы, когда определил рабочий контроль в том смысле, что „государственная власть находится в руках другого класса”, пролетариата. Он не разделял и недвусмысленного отклонения „левыми коммунистами” трудовой дисциплины и в мае 1918 г. даже настаивал на чем-то вроде „обязательной трудовой повинности” [56].

Бухарин был также не согласен и с новым курсом Ленина. Он не соглашался с тем, что ответственность за экономический хаос лежит исключительно на фабричных комитетах и рабочем контроле, и указывал вместо этого на общую разруху на транспорте и в снабжении. Выступая против первоначальных декретов, но не выдвигая альтернативных решений, он мог отстаивать только „самодеятельность рабочего класса” и вскоре остановился перед дилеммой: „Дирижерская палочка должна быть, но должна выдвигаться самими рабочими” [57]. Очевидно, за его продолжающейся оппозицией скрывался не прагматизм, а нечто иное.

После подписания мирного договора „левый коммунизм” Бухарина был связан не столько с актуальными вопросами политики, сколько с раздумьями о новом строе как антитезе старого. В частности, революция давала надежды на разрушение чудовищного государства Левиафана и всех его проявлений в тогдашнем обществе. Какова бы ни была точка зрения других большевиков, Бухарин серьезно относился к идее революционного государства-коммуны – государства „без полиции, без бюрократии, без постоянной армии”, бегло очерченного Лениным (и с энтузиазмом одобренного Бухариным) в его работе „Государство и революция”. Отличительная особенность государства-коммуны состояла в его отказе от бюрократической, политической и экономической власти. Это было государство без бюрократов, то есть без „привилегированных людей, оторванных от масс и стоящих *над* массами”. Короче говоря, государство без элиты, где массы сами становились бы администра-

торами общества, то есть „все на время становились „бюрократами” и поэтому *никто* не мог стать „бюрократами” [58] .

В таком государстве Советы играли роль политической структуры государства-коммуны, тогда как рабочий контроль исполнял бы ту же функцию в экономической жизни, вызывая к жизни первые ростки основ промышленной демократии [59]. С уничтожением бюрократии рабочий класс получил бы свободу и самоуправление на самом основном уровне – на своем рабочем месте. Так, когда Ленин был вынужден урезать права фабричных комитетов и восстановить бюрократическую власть сверху, Бухарин напомнил изречение о том, что любой должен стать администратором – центральный образ „Государства и революции”. „Хорошо, – говорил он, – что кухарку учат управлять государством; но что будет, если над кухаркой посадят комиссара? Тогда она никогда не научится управлять государством” [60]. Такова была дилемма: аппарат всех или аппарат бюрократической элиты. Она лежала в основе двух постоянных опасений идеалистически настроенных большевиков: потенциальной возможности появления нового правящего класса и „бюрократического перерождения” советской системы.

Цель создания государства-коммуны отражала утопические устремления большевизма. Можно утверждать, что она была изначально обречена на провал потому, что подразумевала, будто современное индустриальное общество (с которым большевики как марксисты связывали свои цели) может существовать в условиях несложного административного порядка, легко управляемого неспециалистами. Однако процесс экономической модернизации в Советском Союзе, как и повсюду, стал быстро развиваться совсем в противоположном направлении, в сторону специализации управленческой элиты. В 1918 г. это противоречие еще не стало очевидным для многих большевиков, включая Бухарина. Мечта о государстве-коммуне еще зачаровывала прожектеров, о которых можно сказать словами Гете, относящимися к другому мечтателю: „Наполеон пустился на поиски добродетели, но поскольку найти ее не удалось, взял власть”.

Сочетание реализма и идеализма поставило Бухарина во время разногласий по поводу хозяйственной политики где-то между Лениным и крайними „левыми коммунистами”. В конечном итоге, однако, наиболее резкое его выступление против Ленина было вызвано не проблемами конкретной политики, а вопросом чисто теоретическим. Спор завязался по поводу ленинского определения советской экономики как „государственного капитализма”; это был спор о различном толковании понятий, лишней раз свидетельствовавший, что оба эти деятеля по-разному понимали современный капитализм. Применительно к своей политике Ленин пользовался понятием „государственный капитализм” как синонимом государственного регулирования частного ка-

питала и современного экономического управления. Он, таким образом, придал понятию „государственный капитализм” нейтральный смысл, лишенный классового и исторического содержания, и не увидел противоречия в утверждении, что пролетарское государство может управлять государственно-капиталистической экономикой.

Каковы бы ни были достоинства ленинской концепции, они попирали основные положения марксизма Бухарина. Для Бухарина *государственный капитализм был современным капитализмом*; еще с 1915 г. это определяло его понимание империализма, государства Левиафана и „каторжного капитализма” [61]. Поэтому, по мнению Бухарина, применение Лениным этого термина по отношению к Советской России было возмутительно. В своей единственной полемической статье после споров о мирном договоре, поучительно озаглавленной „Некоторые основные понятия современной экономики”, он подверг вождя критике в этом пункте. Государственный капитализм, пояснял Бухарин, не метод управления, а „совершенно специфическая и чисто историческая категория”, „один из *видов*... капитализма”, „определенная форма господства капитала”. Ленинская трактовка этого понятия неоправданна:

Государственный капитализм при диктатуре пролетариата — это абсурд, сапоги всмятку. Государственный капитализм предполагает диктатуру финансового капитала; это передача производства диктаторски организованному империалистическому государству. Государственный капитализм без капиталистов именно такой же нонсенс. „Некапиталистический капитализм” — это верх путаницы... [62].

Понимание Бухариным государственного капитализма не изменилось с 1915 г.; оно не менялось никогда. Будучи основным в его теории о современном мире, о капитализме и социализме, оно было бескомпромиссным: „Так как государственный капитализм есть сращение буржуазного государства с капиталистическими трестами, то очевидно, что не может быть и речи о каком бы то ни было „государственном капитализме” при диктатуре пролетариата, которая принципиально исключает такого рода возможность” [63]. Вот что, по-видимому, являлось подлинным разногласием между Бухариным и Лениным после ратификации мирного договора и стало главной причиной затянувшегося пребывания Бухарина среди „левых коммунистов”. Эта теоретическая проблема преувеличивала их действительные политические разногласия и отвлекала Бухарина от обдумывания практических вопросов. В то время как Бухарин отвергал применение Лениным термина „государственный капитализм” по отношению к Советской России, он — это очевидно — не выступал в целом против умеренной политики, которую Ленин подразумевал под этим названием.

Терминологический спор затрагивал также проблему, которая еще не раз будет волновать большевиков. Бухарин и многие другие рассматривали социализм как „антитезис государственному капитализму” [64]. Как тогда можно было определить новый советский строй? Даже одаренные ярким воображением не утверждали, что это уже социализм. Ленинские предложения насчет „государственного капитализма” представлялись большинству совершенно неприемлемыми. Другими возможностями были „переходное общество” и просто „диктатура пролетариата”. Но первый термин был слишком неопределенным, а второй не отражал сути дела, и не только потому, что игнорировал возрастающую роль партии авангарда. Возникла не только семантическая проблема. За словами скрывались действительные сомнения насчет характера общественного строя, выросшего из Октябрьской революции,— затруднительная, иногда мучительная проблема, о которой большевики будут спорить в последующие годы. В 1918 г., как и позднее, терминологические споры, однако, чаще всего приводили к путанице. Для Бухарина это оборачивалось тем, что его взгляды на внутреннюю политику казались более радикальными, чем они были на самом деле, в связи с чем ему открыто предъявлялось обвинение, что он игнорирует многообразие „общественно-экономических укладов, имеющихся налицо в России” [65]. Будучи в общих чертах несправедливым, это обвинение проясняло важную истину: марксизм, по Бухарину, еще мало что мог сказать о „строительстве социализма” в отсталой крестьянской России.

В самом деле, разительной чертой его оппозиции, как и оппозиции всех левых коммунистов, был ограниченный интерес к многочисленным внутривнутрипартийным проблемам. Реальным делом Бухарина была революционная война и оппозиция Брестскому мирному договору. Спор шел о том, может ли революционное социалистическое правительство вступать в переговоры с капиталистическими державами. Как он позже вспоминал, такая перспектива „возмутила нашу интернациональную совесть до глубины души” [66]. Но когда противоречия коснулись экономической политики, о которой партия в прошлом задумывалась гораздо реже, то речь пошла уже о сравнительно меньшем числе четких программных положений. Большинство партийцев только еще начинали размышлять об осуществимой экономической политике [67]. Ленин своим „государственным капитализмом” пытался заполнить этот вакуум, но его предложения были не более чем временными мерами для приостановки развала экономики. В них очень мало говорилось о долгосрочных задачах партии в области индустриализации и сельскохозяйственного развития, и еще меньше — о „построении социализма”.

Помимо поверхностных замечаний относительно национализации, Бухарин тогда почти ничего не внес в поиски жизне-

способной экономической политики. Он туманно высказывался о конце рыночных отношений и переходе к планированию, по существу ничего не говоря о сельском хозяйстве. Оба компонента его „левого коммунизма” — пылкая защита революционной войны и сдержанная критика ленинских экономических предложений — отражали его собственную неуверенность и растерянность по поводу внутривластных целей и задач партии. Как он говорил десятью годами позже: „Тяжести внешние, крупнейшие затруднения внутри, все это — представлялось тогда нам — должно быть разрушено мечом революционной войны” [68].

В начале лета 1918 г. споры по экономическим вопросам, как и все левокоммунистическое движение, неожиданно подошли к концу. Умеренные ленинские предложения были отброшены, и был принят совсем другой, радикальный курс, ставший известным как „военный коммунизм”. Примирительный „государственный капитализм” начала 1918 г. остался в истории полузабытой „мирной передышкой” [69].

Новый радикализм в экономической политике партии возник не как уступка левым, как иногда думают, а в ответ на создавшуюся опасную ситуацию. В конце июня, из-за боязни, что крупные предприятия на оккупированных территориях могут перейти в собственность Германии, Советское правительство постановило национализировать „все важные отрасли промышленности”. Подобным же образом растущая угроза голода в городах придала аграрной политике в мае и июне острый классовый характер и привела к насильственной реквизиции зерна [70]. Еще более важно, однако, то, что в июне и июле разгорелась гражданская война и началась иностранная военная интервенция*. В следующие два с половиной года окруженные белой армией и войсками Японии и западных держав и управлявшие далеко не всей территорией России большевики в борьбе за выживание поставили все наличные ресурсы под партийный и государственный контроль.

В результате возник „военный коммунизм” — крайний пример экономики в условиях гражданской войны. Стремясь использовать все ресурсы для военной победы, государство упразднило или подчинило себе автономные посреднические институты. Так, профессиональные союзы были использованы для подъема производства, а широкая сеть потребительских кооперативов контролировала распределение. Нормирование продуктов, реквизиции, примитивная меновая торговля вытеснили нормальную торговлю; рынок (кроме черного) перестал существовать. Официально стимулируемая инфляция стремительно превратила Россию в „страну миллионеров-бедняков”: деньги

обесценились и не выполняли больше своей функции. „Военный коммунизм”, как писал в последствии один бывший большевик, был прежде всего экономической политикой периода военной блокады и борьбы за политическое выживание: „Во-первых, реквизиция в деревне, во-вторых, строгое нормирование продуктов среди городского населения, которое было распределено по категориям, в-третьих, полная „социализация” труда и производства, в-четвертых, чрезвычайно запутанная и жестко нормированная система распределения...” [71].

Наиболее характерной чертой периода 1918–1921 гг. было широкое „огосударствление” экономической жизни – часто употреблявшийся термин, который точно отражал происходившее. Государство захватило все экономические рычаги в пределах досягаемости, и начала стремительно расти огромная, громоздкая бюрократия. Кооперативы, профсоюзы, сеть местных экономических советов превратились в бюрократический придаток государственного аппарата. ВСНХ, ответственный теперь, в сущности, за все промышленное производство, создавал одно учреждение за другим. В 1920 г. количество бюрократов по отношению к производственным рабочим увеличилось по сравнению с 1913 г. вдвое [72]. Мечта о государстве-коммуне сгорела в огне гражданской войны; единственной общей чертой Советской республики и Парижской Коммуны оставалось лишь осадное положение.

Опыт гражданской войны и „военного коммунизма” глубоко видоизменил как партию, так и складывающуюся политическую систему. Нормы партийной демократии 1917 г. так же, как и почти либеральный и реформистский облик партии начала 1918 г., уступили дорогу безжалостному фанатизму, жестокой авторитарности и проникновению „милитаризации” во все сферы жизни. В жертву была принесена не только внутривластная демократия, но также децентрализованные формы народного контроля, созданные в 1917 г. по всей стране – от местных Советов до фабричных комитетов. Большевики признавали, что не видят другой альтернативы, поскольку, как заявил Бухарин, „республика – есть военный лагерь” [73]. Как часть этого процесса, позиция партии большевиков по отношению к ее политическим противникам менялась от вынужденной терпимости вначале до изгнания других социалистических партий из Советов в июне 1918 г. и, наконец, вспышки террора, последовавшего из-за убийства нескольких большевиков и покушения на жизнь Ленина 30 августа 1918 г.* Репрессии ЧК придали советской политической жизни новый характер. Бухарин провел подходящую аналогию, процитировав несколько лет спустя Сен-Жюста: „Нужно управлять железом, если нельзя управлять законом” [74].

Эти трудные годы явились исходным пунктом для будущих

политических дискуссий. Все большевики, даже те, кто позднее осуждал методы „военного коммунизма”, гордились этим периодом, когда явное поражение обернулось победой. Бухарин отобразил настроения этого момента, когда писал: „Пролетариат остается более или менее один: против него — остальные”. С этого времени период 1918—1921 гг. стал называться „героическим периодом”, положившим начало традиции воинственной непоколебимости перед лицом будто бы непреодолимой угрозы и вызывавшим „массовый подъем и непрестанное революционное горение” [75].

Десятилетием позже Сталин смог воззвать к этой традиции для штурма иных крепостей.

Гражданская война и прекращение деятельности „левых коммунистов” явились поворотными пунктами в партийной карьере Бухарина. Окончился его долгий политический союз с молодыми московскими левыми. Острота оппозиционных движений 1918—1920 гг. менялась в зависимости от положения на фронтах. (По совету Франклина американским революционерам: „Мы должны держаться вместе, или нас, несомненно, повесят поодиночке”.) Появились две значительные оппозиции. Когда военная ситуация стала менее тяжелой, в марте 1919 г. группа, названная „военной оппозицией”, выступила с критикой введения традиционной военной дисциплины, привилегий и званий в Красной Армии. А начиная с 1919 г. демократические централисты протестовали против введения единоначалия на предприятиях и всеобщей бюрократизации и централизации партии и государства. Обе фракции возглавляли бывшие „левые коммунисты”, наиболее значительные среди них — Осинский и Смирнов; обе имели организационную базу в Москве [76]. Бухарин, однако, держался явно в стороне от обеих оппозиций, а на IX партийном съезде в 1920 г. выступил против Осинского от имени Центрального Комитета [77].

В феврале 1918 г. Бухарин и „левые коммунисты” отказались от своих партийных и государственных постов, став в открытую оппозицию Брестскому договору [78]. Бухарин возобновил деятельность в ЦК в мае или июне и снова возглавил редколлегия „Правды” непосредственно после неудачного мятежа левых эсеров в начале июля. По его позднейшим утверждениям, он первым из „левых коммунистов” признал, „что допустил ошибку”, хотя заявление об этом появилось в печати лишь в октябре [79]. Революция в Германии и, возможно, в Вене казалась в то время близкой, а Брестский мир выглядел менее обременительным. Имея это в виду, Бухарин говорил со смешанным чувством надежды и осторожности, которое будет характерным для советской внешней политики в течение ряда лет:

Я должен честно и открыто признать, что мы... были не правы, прав был тов. Ленин, ибо передышка дала нам возмож-

ность сконцентрировать силы, организовать сильную Красную Армию. Теперь каждый хороший стратег должен понимать, что мы не должны дробить свои силы, а направить их против сильнейшего врага. Германия и Австрия уже не опасны. Опасность идет со стороны бывших союзников — главным образом, Англии и Америки.

Германский пролетариат получит поддержку „тем, что очень дорого для нас — нашей кровью и нашим хлебом”. Но существованием Советской России рисковать было нельзя. Главная арена сражений была теперь на фронтах гражданской войны в России [80].

С лета 1918 и до конца 1920 г. между Бухариным и Лениным не было расхождений по важнейшим вопросам. Два второстепенных спорных вопроса ненадолго выплыли из прошлого — один касался теоретического описания современного капитализма, другой — ленинского лозунга о самоопределении наций. Первый вопрос не мог быть решен и остался открытым, второй в конце концов урегулировался с помощью компромисса, хотя этот компромисс был больше в пользу Ленина. Ни тот, ни другой из этих, когда-то вызывавших ожесточенные споры вопросов не накалил страстей, потому что Бухарин и Ленин были согласны относительно главных решений, стоящих перед партией [81].

Способность залечивать раны после продолжительных и резких дискуссий отражает важную сторону их отношений. Среди ведущих большевиков не было никого, кто оспаривал бы ленинские взгляды чаще, чем Бухарин; тем не менее он стал любимцем Ленина. Их связывали привязанность, даже любовь, и взаимное уважение [82]. Как и в предыдущих случаях были залечены и раны, нанесенные разногласиями левокоммунистического периода, хотя полная уверенность Ленина в политическом благоразумии Бухарина восстановилась не сразу. 2 июня 1918 г., перед отъездом Бухарина в Германию для установления контакта с революционно настроенными коммунистами, Ленин предостерегал советского представителя в Берлине: „Бухарин лоялен, но зарвался в „левоглулизм” до чертиков... Prenez garde!” [83]. Тем не менее его оценка самого молодого члена правящей олигархии оставалась исключительно высокой; доказательством тому служат слова, сказанные им Троцкому в начале гражданской войны: „Если белая гвардия убьет и вас и меня, справятся ли Бухарин и Свердлов?” Ленин, возможно, испытывал кое-какое беспокойство, но, очевидно, думал о Бухарине как о человеке, который мог бы заменить его, а о Я. Свердлове, в то время главным партийным организаторе, — как о замене Троцкого [84].

Недолгая оппозиция Бухарина не повредила также и его положению в партийном руководстве. В отличие от последующих

времен блудный сын мог вернуться. На VI съезде партии в 1917 г. Бухарин был десятым при выборах членов Центрального Комитета, на VII съезде, где он выступал против мирного договора от имени „левых коммунистов“, — пятым, что говорит о его авторитете в партии даже во время оппозиции. Годом позже, на VIII съезде партии в марте 1919 г., только шесть имен были внесены в каждый избирательный бюллетень: Ленин, Зиновьев, Троцкий, Бухарин, Каменев и Сталин, — что, во всяком случае, отражало мнение партийной элиты о том, кто по праву составляет ее высшее руководство. VIII съезд также создал первое функционирующее Политбюро, тем самым организационно оформив партийную олигархию. Политбюро состояло из пяти полноправных членов — Ленина, Троцкого, Сталина, Каменева и Крестинского, и трех кандидатов — Бухарина, Зиновьева и Калинина [85]. Эти восемь человек и были настоящим правительством Советской России.

В отличие, например, от Троцкого, который как военный комиссар — председатель Реввоенсовета — всегда находился на авансцене, точную картину деятельности Бухарина в годы гражданской войны представить трудно, отчасти потому, что он выступал в нескольких ролях. Его главной обязанностью было редактирование „Правды“ — должность огромного значения. „Правда“, выходящая ежедневно (кроме понедельников), была официальным рупором партии как в стране, так и за границей; помимо этого, она была авторитетнейшим органом обмена мнениями между партийцами, так как публиковала как официальные, так и дискуссионные точки зрения. Бухарин писал большинство передовиц и определял общее направление газеты. И, поскольку в занимаемом „Правдой“ помещении постепенно расположились редакции ряда партийных и беспартийных изданий, он фактически сделался руководителем советской печати вообще — равно как и всей большевистской пропаганды [86].

В конце 1918 г. Бухарин был также глубоко вовлечен в международные коммунистические дела. Репутация интернационалиста сделала его ведущим представителем российской партии, когда исполненные надежд зарубежные марксисты стали совершать паломничество к месту свершившейся революции. В октябре 1918 г., в канун неудачного восстания в Германии, он к тому же совершил поездку в Берлин для встречи с Карлом Либкнехтом и другими немецкими коммунистами. (Характер этой миссии остался неясным) [87]. Неудача восстания в Германии не могла, однако, воспрепятствовать давнему (с 1915 г.) стремлению Ленина создать новый, III Интернационал. По его просьбе Бухарин подготовил документ, излагавший „теорию и тактику большевизма“; он стал программным манифестом I Учредительного конгресса Коминтерна, открывшегося в Москве в начале марта 1919 г. [88]. С тех пор много времени у Буха-

рина отнимали коминтерновские дела. Он был членом Исполкома Коминтерна и заместителем председателя „узкого бюро“, которое руководило Коминтерном; вместе с Зиновьевым, его первым председателем, он нес ответственность за повседневную деятельность Коминтерна [89].

Тот факт, что Бухарин сочетал эти обязанности с другой официальной и полуофициальной деятельностью, заставляет предполагать, что он играл в Политбюро особую роль. Высказывание, приписываемое Ленину, дает понять, в чем она заключалась. Когда его спросили, почему Бухарин не занимает никаких официальных государственных постов, Ленин, как сообщают, объяснил, что партия нуждается но крайней мере в одном человеке „с мозгами без бюрократических извращений” [90]. Бухаринская репутация человека честного, справедливого и неподкупного была великим достоинством в те дни, дни бесконтрольной власти, а подчас и повального террора*. Бухарин, очевидно, взял на себя (или получил) в Политбюро роль „улаживателя” конфликтов. Он регулярно появлялся в качестве представителя партийного руководства, когда возникало напряженное положение: в комиссии по борьбе с антисемитизмом, в ЧК при расследовании сомнительных арестов „буржуазных интеллигентов”, в Президиуме ВЦСПС, когда отношения между партией и рабочим классом становились натянутыми [91]. Не каждый считал, что Бухарин выполняет эту функцию хорошо; один большевик выражал недовольство по поводу его деятельности в Президиуме ВЦСПС, говоря, что „ничего, кроме конфуза, от этого не вышло”. Как бы то ни было, он работал с энтузиазмом, был вездесущ, „летал” по Москве: „О нем говорили: никто не знает, где он вдруг появится в следующий раз” [92].

Но ни одна из этих функций, однако, не может сравниться с его положением в партии в качестве ведущего, а впоследствии и официального теоретика большевизма. В этот период теоретическая работа, как и всякая идеологическая работа вообще, оставалась важной и значительной сферой деятельности. Состав партии быстро менялся, но ее вожди все еще оставались интеллигентами. Так, Ленин считал себя по профессии „литератором”, а Бухарин писал о себе и о Ленине как о „коммунистических идеологах” [93]. Единство теории и практики еще не стало пустым лозунгом. Большевики почитали теорию и идеи так же пылко, как и истину, потому что считали их синонимами, и видели в этом свою силу и способность к руководству. Так же, как в свое время Маркс, они были убеждены в том, что „быть радикальным — значит понять вещь в ее корне” [94].

Главные теоретические работы Бухарина, которыми он заслужил высокую оценку Ленина как „крупнейшего теоретика партии”, были в основном завершены к 1920 г. („Теория исторического материализма” была опубликована в 1921 г.).

Две его книги, написанные в эмиграции, — „Мировое хозяйство и империализм” и „Политическая экономия рантье” — появились наконец полностью в 1918 и в 1919 гг., познакомив широкую публику с характером и масштабом его исследований. Наряду с другими его работами эти две книги выделили Бухарина как ведущего партийного ученого в области неокapитализма. Его главенство в этой области признавал Ленин в 1919 г., когда, сожалея о невозможности нарисовать цельную картину крушения капитализма, добавил: „Я совершенно уверен, что если бы кто-нибудь мог это сделать, то больше всего тов. Бухарин” [95]. В 1920 г. в „Экономике переходного периода” Бухарин распространил свои теоретические исследования на Советскую Россию, и, хотя эта книга вызвала широкие дискуссии, она утвердила его как передового и смелого теоретика и послекапиталистического периода.

Бухарин всегда проводил различие между своими теоретическими и популярными работами. Одна из последних принесла ему наибольшую известность. Вслед за принятием новой партийной программы в марте 1919 г. Бухарин и Е. Преображенский, тоже молодой теоретик и бывший „левый коммунист”, взялись за „Популярное объяснение программы Российской коммунистической партии”. Завершенная в октябре книга, названная „Азбукой коммунизма”, явилась наиболее известным и распространенным изложением большевизма досталинского периода. Она вскоре стала ассоциироваться только с именем Бухарина (соавторство Преображенского почти забылось), способствуя росту его известности и повышая (в коммунистических кругах) его репутацию „Золотого дитя революции” [96].

„Азбука коммунизма” отличалась скорее энциклопедической широтой и доступностью изложения, чем теоретической новизной. Отметив, что „старая марксистская литература... во многом непригодна в настоящих условиях”, авторы книги сделали попытку снабдить школы „элементарным учебником коммунистических знаний”, который мог быть использован и „для самостоятельного изучения каждым рабочим и крестьянином”. Текст „Азбуки коммунизма” следует программе, разъясняя каждый ее пункт, излагая все современные вопросы, внутренние и внешние. За исключением трактовки империализма и государственного капитализма, это не был специфически бухаринский документ [97]. Содержание книги отражало взгляды партии в целом, а новизна состояла в изложении почти всех большевистских воззрений 1919 г.

Поэтому книга имела и до сих пор имеет большую силу. Основной дух ее — это дух „военного коммунизма”, воинствующий оптимизм, черпающий силы в убеждении, что „пророчества Маркса сбываются на наших глазах” [98]. Книга была выражением чаяний и утопических надежд большевиков, наив-

ности партии в 1919 г., а не отражением советской действительности. И хотя многое в ней устарело в 1921 г., так как „Азбука” была рупором „героического периода”, книга быстро завоевала успех и долго оставалась популярной. Она стала „партийным канонem”. К началу 30-х гг. она была переиздана не менее восемнадцати раз на русском языке и не менее двадцати — на иностранных языках. Для русских и зарубежных коммунистов „Азбука коммунизма” и „Теория исторического материализма” стали „наиболее распространенными книгами коммунистической пропаганды”, а имя Бухарина проникло в каждый уголок земного шара, где разворачивалось коммунистическое движение [99]. После появления „Азбуки коммунизма” он стал известен почти так же, как Ленин и Троцкий.

В то же время такое возвышение стало придавать известности Бухарина неблагоприятный оттенок. Сверхпопулярность произведений вроде „Азбуки” создала ему репутацию „одного из талантливейших памфлетистов... нашего века” [100]. Но чем дольше большевики находились у власти, чем чаще стали возникать расхождения внутри партии, тем больше вожди партии считали необходимым систематизировать и канонизировать свою идеологию. В 20-е гг., когда политика партии нуждалась в хорошо разработанном теоретическом фундаменте, репутация Бухарина как теоретика и библейский дух произведений вроде „Азбуки” помимо его воли навязали ему роль высшего жреца „ортодоксального большевизма” [101].

Примеры такого отношения возникали и во время гражданской войны. Как член только что созданной Социалистической академии, он приобретал все большую ответственность и влияние в области идеологического образования членов партии и подготовки партийной интеллигенции. Его работы стали обязательными учебниками в партийных школах, и начиная с 1919 г. он лично проводит семинары по экономике и историческому материализму в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в Москве. Хотя эта педагогическая работа и соответствовала природным склонностям Бухарина, она все более и более приобретала официальный характер [102]. Бухарину было едва за тридцать, а его уже окружало все растущее число учеников, многие из которых выдвинулись в партии и укрепят репутацию Бухарина как хранителя ортодоксии, а этой мантии он никак не искал и не мог носить ее непринужденно.

Сознание того, что он становится ответственным за теоретическую чистоту большевизма, могло содействовать решению Бухарина начать изучение переходного периода от капитализма к социализму через два года после революции. Такие попытки еще не предпринимались, отчасти из-за общей сумятицы в партии во время импровизированных мероприятий „военного коммунизма” и частично потому, что внимание большевиков оста-

валось прикованным к Европе, где будущие революции ожидалась „буквально со дня на день” [103]. Горячий оптимизм Бухарина относительно развития событий в Европе стал рассеиваться только в 1919 г., когда он стал предупреждать, что международная революция должна рассматриваться как длительный исторический процесс, состоящий из множества компонентов (включая антиколониальные восстания в Азии), и что коммунисты не должны пытаться „искусственно ускорять историческое развитие” [104]. Хотя он снова обретет былые надежды, особенно зимой 1920–1921 гг., страстной уверенности в близости революции на Западе у Бухарина больше не будет. В результате он и другие большевики стали более серьезно думать об экономических проблемах изолированной Советской России.

В экономических дискуссиях апреля–мая 1918 г. Бухарин был левее Ленина; но ни тот ни другой не предусматривал и не отстаивал политики, подобной „военному коммунизму”. Действительно, многое в политике „военного коммунизма” противоречило тому, что отстаивал Бухарин, например его утверждению, что национализированы могут быть только крупные, легко управляемые предприятия. И все же в течение одного года он стал признавать обоснованность крайних мер даже тогда, когда они не будут вызываться военной необходимостью. В широком „огосударствлении” экономики, отмирании посреднических институтов между государством и обществом он усматривал путь, который скорейшим образом приведет Россию от капитализма к социализму. В марте 1919 г. он поставил социализм „на повестку дня” и был обеспокоен тем, что ускорение темпов сделает устаревшими некоторые разделы новой партийной программы [105].

Ожидание этого ускоренного перехода к социализму внесло важные изменения в теории Бухарина о новом Советском государстве. Основной смысл этого государства Бухарин теперь видел как раз в том, что оно „*есть рычаг экономического переворота*” [106]. Признание роли государства как инструмента преобразования отсталого общества было существенно новаторским для марксиста, оно ставило под сомнение знаменитое Марксово изречение, что всякое надстроечное явление (в том числе государство) является производным от экономической базы общества. Бухаринский ответ на этот вопрос проистекал из его понимания государственно-капиталистических обществ и составлял значительную ревизию марксизма.

Если государственная власть пролетариата есть рычаг экономической революции, то ясно, что „экономика” и „политика” должны сливаться здесь в одно целое. Такое слияние мы имеем и при диктатуре финансового капитала... в форме государственного капитализма. Но диктатура пролетариата пе-

ревертырует все отношения старого мира — другими словами, *политическая* диктатура рабочего класса должна неизбежно быть и его *экономической* диктатурой [107].

В 1918—1919 гг. это положение подводило базу под „военный коммунизм“; позже оно поведет Бухарина к совсем иной концепции „пути к социализму“. В обоих случаях, однако, оно означало отсрочку „отмирания государства“ в пользу „усиления Советского государства“ — вполне сносная перспектива, если это „рабочее государство“. И в этом убеждение Бухарина было непоколебимым [108].

Его энтузиазм по поводу „огосударствления“ и „военного коммунизма“, в которых он усматривал рождение организованной социалистической экономики, явно основывался исключительно на успехах государства в распространении своего контроля над промышленным производством, каким бы жалким оно ни было, и над распределением производимых товаров [109]. То, что это был односторонний взгляд на преимущественно аграрное общество, явствует из его собственных, гораздо менее фантастических высказываний о крестьянском сельском хозяйстве. Малоземельные крестьяне, неоднократно подчеркивает он, не должны быть ни экспропрированы, ни насильственно коллективизированы; необходимы „многие промежуточные формы и уровни сельскохозяйственного производства“. Признавая, что „в течение длительного времени небольшие крестьянские хозяйства будут оставаться преобладающей формой“, он предостерегал против большевистской тенденции „плевать на мужика“, хотя оплевывание мужика (насильственная реквизиция) было фактически основным звеном „военного коммунизма“. С самого начала поэтому Бухарин утверждал, что миллионы единоличных крестьянских хозяйств должны не насильственно включаться в новую организованную экономику, но „вовлекаться“ в нее посредством „медленного процесса, мирным путем...“. Как именно это должно было осуществляться, он оставлял пока без ответа, настаивая только на терпении и воспитательных мерах [110].

Если неясно, какие экономические соображения привели Бухарина к принятию политики „военного коммунизма“ как жизнеспособного пути к социализму, то исторические обстоятельства, влиявшие на его рассуждения, вполне ясны. Приступая к делу без заранее разработанной экономической программы, Бухарин и большевики в целом просто ухватились за первую программу, которая, казалось, подсказывалась ходом событий и им соответствовала*. В калейдоскопическом ходе событий 1918—1920 гг. и в мерах, разработанных для того, чтобы с ними справиться, можно было, казалось, разглядеть внутреннюю логику (или то, что марксисты называли „закономерностью“). Классовую войну, войну гражданскую, иностранную интервен-

цию, экономическую и политическую монополию „диктатуры пролетариата” – любое из этих явлений можно было по-своему совместить с ожиданиями, которые партия имела до 1917 г. И если „военный коммунизм” был продуктом импровизации, это означало только, что действительность была подтверждением „серой теории” [111].

Бухарин был не одинок в этом. Мнение (выдвинутое самими большевиками после 1921 г.), что только несколько мечтателей и фанатиков воспринимали „военный коммунизм” как долгосрочную политику, прямую дорогу к социализму, – ошибочно. Таковы были взгляды большинства партии; лишь немногие не поддались общему восторгу. Самое примечательное, что Ленин, несмотря на свой легендарный прагматизм и последующее осуждение безрассудств „военного коммунизма”, не был исключением. „Теперь организация коммунистической деятельности пролетариата и вся политика коммунистов, – говорил он в 1919 г., – приобрела вполне окончательную, прочную форму, и я уверен, что мы стоим на правильном пути, движение по которому вполне обеспечено” [112]. Бухарина отличала от других „Экономика переходного периода”, создавшая впечатление, что он убежденнее всех. То был его литературный памятник коллективному безрассудству, трактат, зиждившийся на худшей ошибке этого периода, а именно на убеждении, что „гражданская... война вскрывает истинную физиономию общества...” [113].

„Экономика переходного периода” появилась в мае 1920 г., как раз в то время, когда „военный коммунизм” достигал своего апогея. Бухарин предполагал, что это будет первая (теоретическая) часть двухтомного исследования „процесса трансформации капиталистического общества в социалистическое”. Второй том, задуманный как „конкретное описание современной экономики России”, так и не появился. Первоначально Бухарин наметал писать книгу в соавторстве с Пятаковым, но „практические задачи” (Пятаков был большей частью на фронте в течение гражданской войны) сделали это невозможным, и последний непосредственно участвовал в работе только над одной главой. Ключевые концепции и идеи этой книги, написанной наскоро, крайне абстрактным языком, или, как извиняющимся тоном говорил Бухарин, „почти алгебраическими формулами”, были часто не объяснены до конца, а иногда и непоследовательны [114]. Но как первая и смелая попытка выйти за пределы существующих основ марксистской мысли, книга имела заслуженный успех, сразу и надолго. И хотя ее выводы по поводу внутренней политики в большинстве своем устарели к марту 1921 г., она продолжала оказывать влияние и широко обсуждаться в партийных кругах. В 1928 г. Покровский, старейшина советских исто-

риков, говорил о ней как об одном из трех выдающихся достижений большевиков в области „социальной науки” после революции [115].

Западные историки склонны отвергать „Экономику” как теоретическую апологию „военного коммунизма” (как оно и было), хотя точка зрения Бухарина, что анализ современной действительности есть долг марксиста, несомненно является смягчающим обстоятельством. Были, однако, и иные причины, которые объясняют, почему интерес к книге сохранился надолго, а также почему некоторые из содержащихся в ней аргументов пережили „военный коммунизм”. Бухарин в общей форме рассматривал три основных предмета или темы: структуру современного капитализма в канун пролетарской революции, общество в разгаре революционных потрясений, или общество „нарушенного равновесия”, и процесс создания из хаоса нового общественного равновесия как стадии перехода к социализму. Он упоминал Россию очень редко, но из его трактовки второй и третьей тем становится ясно, что он имел в виду прежде всего опыт большевиков. Точно так же, как Маркс, представивший выводы, сделанные им при изучении английского капитализма, в виде общих законов, Бухарин, как ему казалось, формулировал всеобщие законы пролетарской революции.

Бухаринская трактовка неокapитализма в „Экономике” была в значительной степени повторением его взглядов на государственный капитализм и империализм. Она занимает большую часть книги и в общем согласуется с его работами 1915—1917 гг. [116]. Как и раньше, он рисует государственно-капиталистическую экономику как внушительный комплекс технических и организационных достижений. Это, однако, поднимало серьезный вопрос о желательности революции, которая в России сократила экономическое производство до ничтожного уровня по отношению к уровню 1913 г. Помимо погибших непосредственно на фронтах гражданской войны, тысячи людей умирали от голода и холода. В результате большевики были подвергнуты резкой критике со стороны европейских социал-демократов, особенно Карла Каутского, за то, что они разрушители, а не созидатели*. Марксисты считали себя предвестниками социальной справедливости и изобилия, и потому такое обвинение больно задевало большевиков, которые откликнулись рядом полемических выступлений [117]. Но обвинение требовало более существенно и убедительного ответа. В „Экономике” Бухарин пытался дать такой ответ формулировкой, что „издержки революции” есть закон революции.

Бухарин заметил ранее, что это обвинение аналогично обвинению жирондистов против якобинцев, причем последнее побудило Шарлотту Кордэ убить Марата. Точка зрения Бухарина заключалась в том, что великие революции всегда сопровождалась

разрушительной гражданской войной; в качестве излюбленной иллюстрации он приводил такой пример: когда баррикады сооружаются из железнодорожных вагонов или телеграфных столбов, получается разрушение экономики [118]. Но более того, он вознамерился доказать, что пролетарская революция неизбежно приводит даже к более сильному временному упадку производства, чем буржуазная. Ленин в работе „Государство и революция” (и сам Бухарин в работах, написанных до 1917 г.) выдвинул доктрину, согласно которой буржуазный государственный аппарат должен быть разрушен в ходе революционного процесса. Бухарин доказывал теперь, что так как при капитализме произошло слияние политических и экономических функций, а пролетариат требует переделать производственные отношения, это означает, что атака против государства становится атакой против экономического аппарата капитализма. „Иерархические отношения капиталистического общества” разрушаются; результатом становится *„дезорганизация всего аппарата”* [119].

Бухарин упомянул несколько „конкретных издержек революции”:

- физическое уничтожение элементов производства (сюда можно причислить все виды уничтожения вещей и людей в ходе гражданской войны);
- ухудшение качества элементов производства;
- распад связи между элементами производства;
- перераспределение производительных сил в сторону непродоводительного потребления (сюда относится перевод значительной части производительных сил на военную работу).

Эти издержки взаимосвязаны и следуют друг за другом. Все вместе они приводят к *„сокращению процесса воспроизводства”* (и *„отрицательному расширенному воспроизводству”*), – и Бухарин делает важнейший вывод: *„Производственная „анархия”... „революционное разложение промышленности” есть исторически неизбежный этап, от которого нельзя отделаться никакими lamentациями”* [120].

Это положение могло казаться очевидным, однако для многих большевиков оно, видимо, явилось откровением. Оно прямо противоречило преобладавшему среди социал-демократов утверждению, что переход к социализму будет относительно безболезненным. Каутский и Гильфердинг взлелеяли это убеждение, особенно последний, своим доводом, что, если пролетариат завладеет шестью крупными банками, он сможет автоматически контролировать экономику [121]. Даже некоторые старые большевики считали бухаринский закон применимым только по отношению к России, доказывая, что в Англии, например, такого серьезного падения производства не произойдет [122]. Бухарин не соглашался, настаивая на универсальной примени-

мости закона. После введения нэпа в 1921 г. он утверждал, что это положение есть основной тезис „Экономики переходного периода”: „Центральная мысль всей книги заключается в том, что в переходный период неизбежно распадается трудовой аппарат общества, что реорганизация предполагает временную дезорганизацию, что поэтому временное падение производительных сил есть закон, имманентный революции”. Суммируя свои выводы, Бухарин сообщает, что он доказал „необходимость разбить яйца, чтобы получить яичницу”. Была ли в этом законе какая-то глубина или нет, большевики, в общем и целом, признали его справедливым и стали рассматривать его как значительное бухаринское открытие [123].

Бухаринский закон решал и другую проблему. Марксисты привыкли считать, что „объективные предпосылки” социализма зреют во чреве капиталистического общества, и революции наступают только после значительного созревания этих предпосылок. Зрелость определялась „степенью концентрации и централизации капитала”, наличием „определенного совокупного” аппарата капиталистической экономики; казалось, что новое общество появлялось как *deus ex machina*. Доказывая, что этот аппарат неизбежно разрушается в процессе революции и что „следовательно, он *in toto* не может служить основой нового общества”, Бухарин искусно отклонял придирчивые вопросы, связанные с относительной отсталостью (незрелостью) России. Он подчеркивал, что „людской” аппарат скорее, чем „вещественный” является основным критерием зрелости, что решающей предпосылкой является определенный уровень „обобществления труда” (наличие пролетариата) и способность революционного класса выполнить „общественно-организационные” задачи [124].

Этот аргумент привел Бухарина к самой сердцевине трудного вопроса о большевистском правлении в слаборазвитом обществе и к изначально неясному положению, но сделавшемуся центром партийных дискуссий 20-х гг. — о возможности построения социализма. Бухарин отбросил традиционное марксистское положение о том, что социализм почти полностью созревает во чреве старого порядка, и тем самым приспособил теорию Маркса к условиям отсталой России. Он противопоставил развитие социализма развитию капитализма:

... капитализм не строили, а он строился. Социализм, как организованную систему, пролетариат строит, как организованный коллективный субъект. Если процесс создания капитализма был стихийным, то процесс строительства коммунизма является в значительной степени сознательным, то есть организованным процессом... Эпоха коммунистического строительства будет поэтому неизбежно эпохой планомерной и организованной работы; пролетариат будет решать свою зада-

чу, как общественно-техническую задачу построения нового общества... [125].

Подойдя к этому пункту, Бухарин описал общество „нарушенного равновесия”, искусно и подчас весьма находчиво изобразив многократную ломку социальной структуры. Теперь он стал рассматривать возникновение нового равновесия. Концепция равновесия проходит через большинство теоретических работ Бухарина от „Экономики” до „Теории исторического материализма”, в которых он объяснял марксистскую диалектику и социальные изменения с точки зрения установления и разрушения равновесия, вплоть до его знаменитой критики сталинского пятилетнего плана в „Заметках экономиста” в 1928 г. Здесь важно только подчеркнуть, что он имел в виду „динамическое” или „неустойчивое” равновесие, а не статическую систему, и что практика рассмотрения общества (или по крайней мере экономической системы) в состоянии равновесия имеет свою родословную в марксистской мысли, хотя и до некоторой степени скрытую [126].

Опираясь на эту родословную, он высказал в „Экономике” свое понимание равновесия как состояния „эволюции и развития”:

Теоретически овладевая капиталистической системой производственных отношений, Маркс исходит из *факта ее существования*. Раз эта система существует, значит — худо ли, хорошо ли — общественные потребности удовлетворяются, по меньшей мере в такой степени, что люди не только не вымирают, но и живут, действуют и размножаются. В обществе с общественным разделением труда... это означает, что должно быть определенное *равновесие* всей системы. В нужных количествах производятся уголь, железо, машины, ситец, полотно, хлеб, сахар, сапоги и т. д. и т. п. В нужных количествах на производство всего этого соответственно затрачивается живой человеческий труд, пользующийся нужным количеством средств производства. Тут могут быть всякие уклонения, колебания, вся система расширяется, усложняется, развивается, находится в постоянном движении и колебании, но в общем и целом она — в состоянии равновесия.

Найти закон этого равновесия и есть основная проблема теоретической экономики [127].

Анализ существующего равновесия (или нарушенного равновесия) не был, однако, тождествен объяснению того, как новое состояние может быть выковано из обломков старого.

Отвечая на этот вопрос, Бухарин стремился оправдать принудительные меры „военного коммунизма” и дать им теоретическое выражение. Равновесие было восстановлено путем замены разрушенных связей между элементами производства новыми, перестройкой „в новое сочетание разорвавшихся обществен-

ных пластов...” Эта операция была выполнена пролетарским государством, которое „огосударствливает”, милитаризует и мобилизует производительные силы общества. „Процесс социализации во всех ее формах” является „функцией пролетарского государства” [128]. Бухарин настоятельно подчеркивал, что, несмотря на „формальный момент сходства” между пролетарской системой и государственным капитализмом, они диаметрально противоположны по существу, так как капиталистическая собственность превращается в „коллективно-пролетарскую собственность”. Поскольку „прибавочная ценность”^{*} перестает существовать и превращается теперь в „прибавочный продукт”, любой вид эксплуатации при диктатуре пролетариата немыслим. Трудовая повинность, например, которая под властью государственного капитализма была „закабалением рабочих масс”, сейчас стала не чем иным, как „трудовой самоорганизацией масс” [129]. Ядром этого сложного теоретического построения было утверждение Бухарина, что сила и принуждение являются средством, с помощью которого настоящее равновесие выковывается из нарушенного равновесия. Он не уходит от жестоких выводов; вся глава „Внеэкономическое принуждение в переходный период” защищает это положение:

В переходную эпоху, когда одна производственная структура сменяется другой, повивальной бабкой становится революционное насилие. Это революционное насилие должно разрушить оковы развития общества, т. е., с одной стороны, старые формы „концентрированного насилия”, ставшего контрреволюционным фактором, старое государство и старый тип производственных отношений. Это революционное насилие, с другой стороны, должно активно помочь формированию новых производственных отношений, создав новую форму „концентрированного насилия”, государство нового класса, которое действует как рычаг экономического переворота, изменяя экономическую структуру общества. С одной стороны, следовательно, насилие играет роль разрушающего фактора, с другой — оно является силой сцепления, организации, строительства. Чем больше по своей величине эта „внеэкономическая сила”, ... тем меньше издержки переходного периода при прочих равных условиях, конечно, тем короче этот переходный период, тем скорее устанавливается общественное равновесие на новой основе и тем быстрее кривая производительных сил начинает подниматься кверху.

И здесь революционное принуждение, поскольку оно приводило к „общему экономическому развитию”, не похоже на предшествующее „чистое насилие” дюринговского типа” [130].

^{*} По современной терминологии — прибавочная стоимость. — *Прим. перев.*

Нетрудно заметить, какими опасными последствиями было потенциально чревато бухаринское рассуждение о том, что „пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, ...является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи...” [131]. Каким угодно злоупотреблениям могли давать (и давали) рациональное обоснование, прибегая к такому, например, аргументу, что эксплуатация рабочего класса при диктатуре пролетариата невозможна. Утверждение, что рабочее государство по самой своей сути не может эксплуатировать рабочих, вело к оправданию целого ряда зол, потому что они „прогрессивны”. Менее очевидны, возможно, убедительность и историческая справедливость его положения о роли принуждения в закладке фундамента нового общественного строя. В истории мало примеров, когда для восстановления спокойствия и порядка в обществе, переживающем революционные сдвиги, не понадобилось бы употребить значительную силу. К сожалению, аргументация Бухарина была затемнена и ослаблена вспомогательными теоретическими отступлениями и недоговоренностью.

Теоретические отступления были связаны с его убеждением, что традиционные категории политэкономии неприменимы к послекапиталистическому обществу; это положение придавало его анализу экономики переходного периода оттенок ультрареволюционности. Марксизм, другими словами, использовал „диалектико-историческую” методологию: категории и экономические законы, которые рассматривал Маркс, относились только к капиталистическому товарному производству. Бухарин писал:

... лишь только мы возьмем организованное общественное хозяйство, как исчезают все основные „проблемы” политической экономии: проблемы ценности, цены, прибыли и пр. Здесь „отношения между людьми” не выражаются в „отношениях между вещами”, и общественное хозяйство регулируется не слепыми силами рынка и конкуренции, а сознательно проводимым планом. Поэтому здесь может быть известная система описания, с одной стороны, система норм — с другой, но тут не будет места науке, изучающей „слепые законы рынка”, ибо не будет самого рынка. Таким образом, конец капиталистического товарного общества будет концом и политической экономии [132].

Такой взгляд на политическую экономию разделялся многими марксистами и — к середине 20-х гг. — большинством партийных экономистов. Он оставался чем-то вроде „догмы”, но также и предметом острых дебатов вплоть до 30-х гг., когда его официально отвергли в поисках „политической экономии социализма” [133]. Но несмотря на распространенность этих

взглядов в 20-х гг., попытка Бухарина применить их в 1920 г. натолкнулась на большие сомнения. В главе, написанной совместно с Пятаковым, он отметил, что при анализе переходного периода „старые понятия теоретической экономии моментально отказываются служить”, они даже „начинают давать осечку”. Рассматривая каждую категорию (товар, ценность, цену, заработную плату) и находя их теоретически устаревшими, он предложил новые понятия (вместо заработной платы — „общественно-трудовой паек”, вместо товара — „продукт” и т. д.) [134].

В результате „Экономика переходного периода” прозвучала более радикально, чем она была на самом деле. И хотя Бухарин старательно подчеркивал, что предмет политической экономии — товарное производство — еще существует в переходный период и что поэтому старые категории еще обладают практической ценностью, его теоретический взгляд в будущее серьезно обеспокоил некоторых читателей. Возникали две проблемы. Отвергая политическую экономию, Бухарин как бы говорил, что человек больше не подвластен объективным экономическим законам. Хотя он и не доказывал подобного положения, отсутствие указания на новые объективные регуляторы давало возможность обвинить его в „волютаризме”. Вторая трудность, связанная с первой, была вызвана его дезориентирующей привычкой обсуждать будущее в настоящем времени [135]. В обоих случаях его представления отражали идеи „прыжка в социализм”, ассоциировавшиеся с „военным коммунизмом”.

Но наиболее серьезный порок программных выводов „Экономики” был связан с отсутствием у Бухарина четких различий между периодом нарушенного равновесия и периодом после восстановления равновесия. Он говорил о переходном периоде как переходе к социализму и в то же время как о переходе к новому общественному равновесию, из которого общество может продвигаться к социализму. Оставалось неясным, останутся ли нормой крайние меры, используемые для создания нового равновесия после того, как равновесие будет достигнуто. Изредка он намекал, что это может случиться [136]. Но его анализ переходного процесса различает первоначальный период мобилизации остатков разрушенного порядка, который он называл „экономическим переворотом”, или „первоначальным социалистическим накоплением” (термин, заимствованный у В. Смирнова и позже ставший известным в ином контексте благодаря Преображенскому), и последующий период „технического переворота”, который приведет к эволюционному, гармоничному, процветающему производству [137].

Иными словами, казалось, что бухаринская трактовка равновесия находилась в противоречии с его анализом переходного периода. Если состояние равновесия, капиталистического или иного, подразумевает пропорциональность между элементами

и сферами производства, то меры „военного коммунизма” должны были на какой-то стадии переходного периода устареть. Объяснение, в котором Бухарин пытался совместить несовместимое, иллюстрирует эту неразбериху:

Постулат равновесия недействителен... Нет пропорциональности ни между производством и потреблением, ни между различными отраслями производства (в скобках прибавим: ни между людскими элементами системы). Поэтому в корне неправильно переносить на переходный период категории, понятия и законы, адекватные состоянию равновесия. На это можно возразить, что поскольку общество не погибло, состояние равновесия есть. Однако такое рассуждение было бы правильно, если бы период времени, который мы рассматриваем, представлял бы весьма длительную величину. Вне равновесия общество *долго* жить не может и умирает. Но эта же общественная система может некоторое время находиться в „ненормальном” состоянии, т. е. вне состояния равновесия.

Здесь возможны две интерпретации. Либо переход к социализму должен быть относительно коротким, либо Бухарин имел в виду только переход к стабильному состоянию, из которого разовьется социализм. Есть основания предполагать, что в 20-м году он придерживался первой интерпретации. После 1921 г. он, однако, предлагал вторую трактовку [138]. О том, что такое противоречие присутствовало в рассуждениях Бухарина, свидетельствуют его замечания по сельскому хозяйству. Огромное значение сельскохозяйственной проблемы было сейчас для него очевидно. Вопрос о необходимости восстановления равновесия между городом и деревней, поясняет он, „является решающим для судьбы человечества, ибо это наиболее важный и наиболее *сложный* вопрос”. Его решение едва ли соответствовало этому описанию проблемы. Здесь он также указывает на ключевую роль принуждения, особенно изъятия хлебных излишков. Она была наиболее решающей, однако, на ранней стадии революции, когда переходный период как целое характеризовался „*скрытой или более менее открытой борьбой между организующей тенденцией пролетариата и товарно-анархической тенденцией крестьянства*”. Он не уточнял форму этой борьбы или ее арену. Примечательно, однако, что он исключал коллективные формы сельскохозяйственного производства как главный способ вовлечения крестьянства в „организованный процесс”, доказывая взамен, что „для главной массы *мелких производителей* втягивание их в организованный аппарат возможно, главным образом через *сферу обращения*...” [139].

Это замечание представляло собой первую мучительную попытку сформулировать позднейшую бухаринскую теорию „вращения в социализм” через рынок, хотя и без его существенного механизма. Несмотря на то что Бухарин исключал какую-либо

значительную коллективизацию, он также исключал рынок и „денежно-кредитные” связи между городом и деревней. В 1920 г. он еще соглашался, что государственные „органы распределения и заготовок” будут основным посредником между промышленным городом и мелкокрестьянским сельским хозяйством [140]. Проблема, казалось бы, была ясна: без товарного рынка что могло побуждать крестьянина производить излишки и сбывать их? Бухарин говорил о том, что в крестьянине, как правило, „две души” — одна склоняется к капитализму, другая — к социализму, и, вероятно, надеялся, что „социалистическая” душа будет отдавать излишки. Альтернативой этой сомнительной вероятности была система постоянных реквизиций. Одна из редких пессимистических нот в книге подсказывает, что Бухарин видел затрунительное положение: „Революция (в России) легко победила, потому что пролетариат, стремившийся к коммунизму, был поддержан крестьянством, которое выступило против помещиков. Но это самое крестьянство оказывается величайшим тормозом в период построения коммунистических производственных отношений” [141]. Это, конечно, была основная проблема большевиков и слабая сторона „военного коммунизма”.

При конечной оценке такой книги, как „Экономика переходного периода” (поскольку она была продуктом своего времени), следовало бы принять во внимание тогдашнее восприятие этой книги. Ее репутация пережила „военный коммунизм” благодаря новаторской трактовке Бухариным ряда проблем, которая согласовывалась со сложившейся после 1921 г. оценкой „военного коммунизма” как прискорбного, но необходимого эпизода, а именно таких проблем, как структура неокapитализма, „издержки” революции, концепция „построения социализма” и историческая ограниченность политической экономии. Хотя некоторые большевики рассматривали отдельные места книги „как спорные с марксистской точки зрения”, ни один из них не отрицал того, что она имеет значительное влияние [142].

Часть партии встретила книгу с открытой враждебностью именно потому, что она могла оказаться влиятельной. Резкая критическая статья М. Ольминского, одного из старейших членов МК, оттесненного в 1917 г. молодыми левыми, появилась вскоре после наступления нэпа. Ольминский обвинял Бухарина в отходе от марксистской политической экономии и замене ее „бухаринским методом каторги и расстрела”, в „ревизии марксизма слева”. В кампании за то, чтобы придать книге „общеобязательный характер” „Азбуки”, он увидел дальнейшие махинации „той части партии”, которая „переживала период увлечения властью” и для которой не было „ничего невозможного”. Бухарин отвечал в свободной манере, выговаривая Ольминскому за его обвинения в „ревизионизме” [143].

Поскольку „военный коммунизм” находился в то время в процессе ликвидации и дискредитации, Ольминский одержал несколько легких полемических побед. Но он ошибался или был недобросовестен, когда приписывал именно бухаринскому поколению отраженный в книге взгляд на „военный коммунизм”; ошибочность такого подхода ярко иллюстрируется частными ленинскими заметками об „Экономике переходного периода” и его „*Recensio academica*”, написанной 31 мая 1920 г. для Социалистической (позднее Коммунистической) академии, опубликовавшей книгу. Общая благожелательная оценка книги Лениным была впоследствии извращена обстоятельствами, сопутствующими публикации его заметок, которые оставались в архиве до сталинской победы над Бухариным в 1929 г. И только тогда они были извлечены на свет божий в ходе кампании по подрыву авторитета Бухарина как теоретика [144]. Сталинские комментаторы, естественно, подробно распространялись относительно отрицательных замечаний Ленина, которых было немало, но которые свидетельствовали больше о различиях между Бухариным и Лениным как мыслителях, чем об оценке самой книги.

Подавляющее большинство ленинских возражений было направлено против бухаринской терминологии. Ленин особенно чувствовал неприязнь к тому, что называл использованием богдановской „тарабарщины” вместо „человеческого языка”, и к бухаринскому увлечению словами „социологический” и „социология”. Каждый раз в таких случаях он помечает на полях „уф”, „ха-ха”, „эклектизм”, а в одном месте: „Вот это хорошо, что „социолог” Бухарин наконец (на 84 странице) поставил в иронические кавычки слово „социолог”! Bravo!” [145]. Ленинские замечания отражали очень разную интеллектуальную ориентацию этих двух людей. Бухарин глубоко интересовался современной социологической мыслью (что потом покажет „Теория исторического материализма”) и считал, что самые последние работы Богданова по „организационной науке” представляют интерес; Ленин инстинктивно не доверял современным школам социальной теории и всему, что было связано с Богдановым [146]. Когда Бухарин говорил о чем-либо, что это представляет теоретический интерес, Ленин воспринимал это с насмешкой. Другие ленинские возражения были более существенными. Некоторые касались разногласий по старым вопросам, таким, как структура современного капитализма; другие были справедливо направлены на те моменты аргументации Бухарина, которые были чересчур абстрактны и требовали пояснений и эмпирических доказательств. Это были вполне уместные замечания дружественного и симпатизирующего автору критика.

Но все ленинские претензии бледнеют по сравнению с вос-

торженными похвалами, высказанными им в адрес тех разделов „Экономики“, в которых сильнее всего отразились настроения „военного коммунизма“.

Почти каждое место о роли нового государства, „огосударствлении“ вообще, о милитаризации и мобилизации помечено ленинскими „очень хорошо“, часто на трех языках, так же, как и бухаринские формулировки нарушенного равновесия и построения социализма. Поразительно, что наибольший энтузиазм Ленин проявил по поводу главы о роли принуждения. Все ее поля испещрены в высшей степени одобрительными пометками, а в конце Ленин написал: „Вот эта глава превосходна!“ — суждение, которое лучше всего отражает его общую оценку книги. Он завершает рецензию надеждой, что „небольшие“ недостатки исчезнут „в следующих изданиях, которые так необходимы нашей читающей публике и послужат к еще большей чести академии; академию мы поздравляем с великолепным трудом ее члена“ [147]. Ольминский опасался влияния книги; Ленин приветствовал ее будущие издания. Других советских изданий не последовало, а ленинская рецензия оставалась неопубликованной.

Бухарин однажды высказался об исторической работе Покровского: „Не ошибается тот, кто ничего не делает“ [148]. Это изречение вполне применимо по отношению к „Экономике“. Основные недостатки книги отражали дефекты „военного коммунизма“. Бухаринский анализ не касался будущих долгосрочных экономических проблем Советской России: проблем капиталовложений и накопления, отношений между промышленностью и сельским хозяйством, развития экономики в целом, количественно и качественно. Отсутствовала „проза экономического развития“, по определению Ольминского. Восхваление роли нового „сознательного регулятора“ не представляло собой экономической программы. По сути дела, „Экономика“ касалась проблем нарушенного равновесия и издержек революции; и ошибка Бухарина, как он сам вскоре понял, заключалась в распространении этого опыта на весь переходный период. Его обвинение против социал-демократов было в такой же мере применимо по отношению к нему самому. Включая разрушительную стадию в трансформационный процесс, он также создавал впечатление, что социализм явится внезапно, как *deus ex machina*. Воистину, „будто увенчанные миртом девы и юноши в гирляндах возвещают пришествие четырех всадников Апокалипсиса“ [149].

Всякий, кто воображает, что большевики в отличие от традиционных политиков умели действовать сообща, решительно, с политической изворотливостью всякий раз, когда это было необходимо, должен вспомнить о том, как произошел отказ от

„военного коммунизма”. По меньшей мере шесть месяцев прошло между очевидным банкротством политики „военного коммунизма” и мартом 1921 г., когда она была наконец отброшена [150]. В конечном счете „военный коммунизм” закончился, как и начинался — ответом на кризис, а также в обстановке резких партийных разногласий, на этот раз — по вопросу о роли советских профсоюзов.

Тревога за „экономическое строительство” фактически началась в начале 1920 г., когда победа в гражданской войне казалась очевидной, только отсроченной летом и осенью неожиданной кратковременной войной с Польшей и решающей кампанией против белой армии. К январю 1921 г. было официально признано, что экономическая разруха достигла в Советской России катастрофической степени [151]. Нехватка промышленной и сельскохозяйственной продукции выросла в общенациональный общественный кризис. Измученные голодом большие города опустели; недовольство в деревне превратилось в открытую вражду к правительству; крестьяне все чаще оказывали сопротивление продотрядчикам и другим представителям власти. В стране действовали крестьянские отряды. Перед партией маячила перспектива новой гражданской войны, и она еще больше почувствовала изоляцию от своих бывших сторонников — трудящихся масс [152].

В реакции большевистских лидеров, как в калейдоскопе, сменялись проявления крайней решительности и полупаралича. Вожжи выступали с совершенно нетипичными для них предложениями. В феврале 1920 г. Троцкий предложил заменить произвольную реквизицию зерна — основное звено „военного коммунизма” — продналогом. Хотя он и не призывал к восстановлению рыночного обращения, его предложения на год предвосхитили этот первый шаг нэпа*. Получив отпор со стороны Ленина и ЦК, он незамедлительно снова впал в „общепринятую ошибку”, став поборником „милитаризации труда” как выхода из тупика [153]. Осинский, в то время самый заметный критик антидемократических норм в партийных и государственных учреждениях, призывал к усилению принудительных мероприятий в деревне и к проведению под государственным контролем принудительной посевной кампании. Ленин получал все более мрачные отчеты от должностных лиц на местах о положении в деревне и о последствиях бюрократической бесхозяйственности, но откликнулся лишь тем, что с оговорками одобрил план Осинского. Позднее он назначил комиссию Политбюро для рассмотрения „кризиса в крестьянстве”, ничего больше не предприняв. Замена принудительной реквизиции продовольственным налогом с сохранением у крестьян излишков не обсуждалась в Политбюро до начала февраля 1921 г. [154]. Руководители все еще рассматривали „военный коммунизм” „как универсальную

всеобщую и ...нормальную форму экономической политики победившего пролетариата” [155]. И как бы для того, чтобы утвердиться в этой вере, они усугубили уже сделанные ошибки, национализировав в конце ноября 1920 г. все оставшиеся частные предприятия, не считая самых мелких.

Подобно большинству правителей, большевики предпочитали *status quo* неизвестности. Скептицизм мог возрастать, но они находились в плену общественной системы, благодаря которой была одержана военная победа над превосходящими силами противника. Теперь они надеялись сделать то же самое в „мирном строительстве”. Несмотря ни на что, преобладал оптимизм, и не было, по-видимому, человека, более охваченного им, чем Бухарин. „Экономика переходного периода”, его ода „военному коммунизму”, совпадала с углубляющимся кризисом и свидетельствовала о крайнем оптимизме Бухарина, вера которого ничуть не ослабла. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что этим вопрос не исчерпывается.

Хотя Бухарин обычно проявлял в своей официальной деятельности жизнерадостную уверенность, мы регулярно будем встречать доказательства его скрытых сомнений и политических тревог. Часто за его публичным оптимизмом скрывались и тайные опасения. Подобно его любимому поэту Гейне, который сам тянулся к апокалиптическому радикализму своей эпохи, Бухарина „обуревал тайный страх художника и ученого” [156]. Однажды в 1919 г., после того как Бухарин с жаром доказывал одному знакомому англичанину неотвратимость мировой революции, он неожиданно признался: „Иногда я опасаясь, что борьба окажется настолько жестокой и длительной, что вся европейская цивилизация будет растоптана” [157]. Не имея доступа к его личным бумагам, невозможно судить о тайных раздумьях Бухарина по поводу развития Советской страны. Ясно, однако, что его в течение долгого времени тревожили различные аспекты „военного коммунизма”.

В эти годы Бухарин сделал некоторые из наиболее страшных заявлений, оправдывающих большевистское насилие. Среди них: „В революции побеждает тот, кто другому череп проломит”. Он осуждал тех, кто не делал различий между действиями капиталистов и действиями диктатуры пролетариата, и говорил о них: „Горбатого могила исправит” [158]. Лично он, однако, не питал большой склонности к проламыванию черепов: показательно, что однажды он отказался санкционировать казнь дезертира. Еще более знаменательно, что его пугал размах советского террора, и в 1919 г. он настаивал на ограничении полномочий ЧК в вопросах вынесения смертных приговоров. В результате Ленин направил его в коллегия ЧК с „правом вето”. Обеспокоенный непрекращающимися притеснениями небольшевистских политических деятелей и интеллигентов, Бухарин

часто выступал в их защиту и прослыл „либералом и заступником” из числа большевиков [159]. По иронии судьбы именно тогда, когда он коснулся всех этих вопросов на митинге в Москве в сентябре 1919 г., анархисты и отколовшиеся левые эсеры взорвали бомбу, убив 12 человек и ранив 55, включая Бухарина [160].

Несмотря на свое обоснование революционного принуждения и насилия, примечательно, что Бухарин мало говорил „о классовой борьбе”, понятии, с помощью которого позднее обосновывалось большинство советских массовых репрессий и террор. Кроме его замечаний о борьбе Красной Армии против белой армии и пролетарских государств против капиталистических, концепция классовой борьбы довольно редко фигурировала в его рассуждениях о переходе к социализму. Хотя он утверждал, что первоначально произойдет „деформация классов”, Бухарин не предвидел ни длительной и ожесточенной борьбы классов, ни постоянного состояния войны внутри страны [161]. Политические оппоненты позже обвинят его в том, что эта „ошибка” вытекала из его концепции классов, которая подчеркивала „общую роль” классов в процессе производства больше, чем их природную взаимную враждебность [162]. Какова бы ни была причина, Бухарин никогда не разделял позднего сталинского положения о „неизбежном обострении классовой борьбы” по мере продвижения к социализму.

Такая же двойственность лежала в основе его позиции по отношению к быстро растущему Советскому государству. Несмотря на то что он стал апостолом „огосударствления”, он понимал опасности, исходящие от безудержной бюрократизации в отсталом, по большей части неграмотном обществе. В крайне оптимистическом документе, „Азбуке коммунизма”, он писал: „Это — большая опасность для пролетариата. Не для того разрушал он старое чиновничье государство, чтобы оно выросло снизу” [163]. В самом деле, он уже был обеспокоен тем, что станет его постоянной заботой, а именно что в результате противоречий между „рабочей аристократией” и трудящимися массами может вырасти новая бюрократическая элита, „каста”. Чутко восприняв теорию элиты Михельса и Парето, он вскоре стал протестовать против мер, усиливавших расслоение внутри рабочего класса. Одна из таких мер, резко протестовал он, приведет не к социализму, а к „железной пяте” Джека Лондона [164].

Однако во время гражданской войны оптимизм подавлял все сомнения, так как опасности того времени не позволяли предаваться отчаянию и, кроме того, Бухарин наделял пролетариат как класс идеализированной политической сознательностью и творческой энергией. Его собственное предостережение, сделанное в марте 1918 г. относительно „распада пролетариата”,

было вскоре забыто [165]. Центральным в его теории „трансформационного процесса” было утверждение, что в то время, как распадаются другие социальные группы, пролетариат сохраняет свои внутренние „связи” и становится даже более монолитным, являясь тем самым „неисчерпаемым источником организационной энергии”. Вера в массы, а не в элиту, сквозившая в этом предположении (или надежде), позволила Бухарину утверждать, что между „авангардом” (партией) и классом „нет грани” [166]. Между тем русский пролетариат сократился вдвое, поскольку промышленные рабочие стали возвращаться в деревню и вести „мелкобуржуазный” образ жизни, чтобы выжить. Иллюзии Бухарина в этом отношении рассеялись только в марте 1921 г., когда он признал: „Мелкобуржуазная стихия не просто хлещет на пролетариат ...мелкобуржуазная стихия проходит через пролетариат. Рабочий класс окрестянился” [167].

В начале 1920 г. вера Бухарина в „военный коммунизм” стала таять. Он настаивал теперь на социалистическом строительстве в таком духе, в каком раньше этого не делал. Казалось, что он устал от гражданской войны. Одно дело – теоретизировать об „издержках революции”, другое – испытать их на опыте. Война с Польшей застала большевиков врасплох, и хотя Бухарин желал бы иметь силы, чтобы после Варшавы вести войну дальше, „непосредственно к Лондону и Парижу”, он был рад, когда война закончилась, позволив правительству направить свои усилия на то, чтобы справиться „с нашим внутренним положением, с голодом и холодом”. Он впервые задумался о том, откуда взять ресурсы для экономического развития, отметив, что эпоха строительства – это „реальный период социальной революции” и „величайшая эпоха” [168]. Его неудовлетворенность все углублялась. То, что чиновники составляли оптимистические доклады во все более ухудшающейся обстановке, он называл „скандалом”, он пессимистически смотрел на возможность создания серьезного экономического плана. Более всего его ужасал постоянно разрастающийся бюрократический аппарат. Контроль устанавливается над контролем, говорил он, а результат только тот, что создается „колоссальный балласт на всем советском организме”. И Бухарин предложил новый лозунг: „Лучше не контролируй плохой аппарат, а улучшай плохое, чтобы оно стало хорошим”. Интересно, что это предвосхищало знаменитое ленинское: „Лучше меньше, да лучше” [169].

Основной кризис, однако, постиг сельское хозяйство, по словам Бухарина, во второй половине 1920 г. Первое время во всех его важнейших заявлениях отчетливо проступают главным образом два аспекта крестьянского вопроса: как установить стабильные экономические отношения между городом и деревней и как поднять резко упавшее сельскохозяйственное производство. Бухарин все еще не находит ответа. Хотя он и советует

партийным организаторам перестать обращаться к крестьянам с лозунгом о мировой революции, а вместо этого звать к их „здоровому смыслу“, сам он продолжает, как и все вожди, выступать против „свободной торговли“ [170]. Но к январю 1921 г. он понимал ситуацию не хуже других и, вероятно, уже готов был согласиться почти с любым решением проблемы:

У нас положение гораздо более трудное, чем мы думаем.

У нас есть крестьянские восстания, которые приходится подавлять вооруженной силой, которые обостряются в будущем... Я полагаю, что и момент, который переживает Республика, самый опасный, который когда-либо переживала советская власть [171].

Но в этот критический момент внимание партийного руководства было сосредоточено на другом. Зимой 1920—1921 гг., находясь под угрозой полной катастрофы, ЦК резко разделился на фракции по вопросу о роли профсоюзов в период после окончания гражданской войны. В высшей степени запутанная дискуссия лишь краем задевала реальный кризис в стране и смогла только вскрыть смятение, нерешительность и распри, которые охватили партию накануне нэпа. Полная история этой дискуссии нас не интересует, заметим только, что ее корни лежали в широко распространенном недовольстве бюрократическим и авторитарным методом управления. Дискуссия включала в себя различные компоненты, в том числе беспокойство за будущую экономическую политику, стремление некоторых профсоюзных руководителей реализовать обещание партийной программы 1919 г., заключавшееся в том, что профсоюзы должны получить полномочия хозяйственного управления; и за фасадом дискуссий личное соперничество и взаимную неприязнь Зиновьева, Сталина и Троцкого [172].

Открытую дискуссию развязал Троцкий, чей план милитаризации рабочей силы и превращения профсоюзов в послушные производственные ячейки государства пользовался поддержкой Ленина до конца 1920 г. Антипатия большевистских профсоюзных деятелей к милитаризации была заметна и раньше, но переросла в открытую оппозицию в ноябре, когда Троцкий, как всегда, недипломатично потребовал реорганизации непокорного профсоюзного руководства. Теперь Ленин отошел от Троцкого и занял более умеренную позицию, признавая роль профсоюзов как связующего звена между государством и массами („школа коммунизма“) и допуская, что рабочим необходима профсоюзная защита от Советского государства. Тут ЦК раскололся так глубоко, что выявилось восемь различных платформ. Когда туман рассеялся, осталось три главных, противостоящих друг другу взгляда: Ленина и его сторонников, Троцкого и „рабочей оппозиции“, которая в духе активного синдикализма выступила против партийного и государственного господства в проф-

союзах и за независимый профсоюзный контроль над промышленностью [173]. Однако главной чертой этой жестокой дискуссии был глубокий раскол внутри Политбюро, особенно между Лениным и Троцким.

Двусмысленная позиция Бухарина в этом деле отражала его тревожную неуверенность накануне нэпа. Он повторял некоторые старые идеи, но также нащупывал новые. На этот раз он впервые выступил во внутривнутрипартийных спорах бойцом-одиночкой, политически отмежевавшись от своих бывших московских союзников. Руководимые Осинским и Смирновым „демократические централисты“, чья критика партийной бюрократии была тождественна критике „рабочей оппозиции“, все еще прочно сидели в московской организации. В ноябре 1920 г. Бухарин пошел на полный разрыв, открыто воззвав к „свежим силам“ вне Москвы „оздоровить“ городскую организацию и создать „деловой“ комитет, который мог бы проводить партийную линию „в теперешней трудной обстановке“ [174]. Он выступал теперь как представитель высшего партийного руководства. В то же время он вовсе не был глух к требованиям внутривнутрипартийной демократии, исходившим от левых, а также не был полностью согласен ни с Лениным, ни с Троцким в вопросе о профсоюзах. Поэтому он приобрел известность человека, стоящего за компромисс, или, как его характеризовали позже, когда он взялся за ту же роль в 1923 г. (и с такими же катастрофическими результатами), — „миротворца“ [175].

До конца 1920 г. Бухарин выступал за трудовые армии и „огосударствление“ профсоюзов, подразумевая под этим термином, что государство и профсоюзные органы должны совместно руководить экономикой. Он признавал важную роль профсоюзов, но не признавал их независимости от государства. Это была официальная партийная позиция, и Бухарин, как и Ленин, одобрял первоначальные предложения Троцкого. Когда же разгорелся спор, Бухарин перестал говорить о милитаризации и занял позицию между Лениным и Троцким, совмещая в своих взглядах некоторые элементы программ того и другого. Он определял свою идею „огосударствления“ как постепенный процесс, отличающийся от „перетряхивания“ сверху, предложенного Троцким. И наконец, Бухарин принимал всерьез данное в сентябре 1919 г. обещание партии поддерживать демократические методы управления. Так, когда Ленин протестовал против вынесения дискуссии о профсоюзах в широкие партийные массы, Бухарин возражал: „Мы провозгласили новый священный лозунг — рабочей демократии, который заключается в том, что все вопросы обсуждаются не в узких коллегиях, не в малых собраниях, не в какой-нибудь своей корпорации, а выносить все вопросы на широкие собрания“. Открытая дискуссия — это „шаг вперед“ [176].

Сначала Бухарин попытался примирить споры внутри ЦК и предложил компромиссную резолюцию. Когда это ему не удалось, он представил свои собственные тезисы по вопросу о профсоюзах, известные под названием „буферной платформы”. Он пояснял: „Когда поезд имеет некоторый уклон к тому, чтобы потерпеть крушение, то буфера являются не такой уж плохой вещью”. Программа Ленина (поддержанная Зиновьевым) и Троцкого, говорил он, совместимы и должны быть объединены. Возможно решение, идущее на пользу и производству и демократии; профессиональные союзы станут и частью „технического административного аппарата” и „школой коммунизма”. В то же время его платформа выражала твердую поддержку „рабочей демократии” и провозглашала постепенное „сращивание” профсоюзов и государственных органов, при котором не ронялось бы профсоюзное достоинство:

Если общая прогрессивная линия развития есть линия сращивания профессиональных союзов с органами государственной власти, т. е. огосударствление профсоюзов, то, с другой стороны, тот же самый процесс есть процесс „осуживания” государства. Его логическим и историческим пределом будет не поглощение профсоюзов пролетарским государством, а исчезновение обеих категорий, как государства, так и союзов, и создание третьего — коммунистически организованного общества.

Чтобы гарантировать равноправие профсоюзным деятелям, Бухарин предлагал следующее: лица, назначенные профсоюзами на хозяйственные посты, должны признаваться государством, однако при исполнении своих обязанностей эти профсоюзные деятели должны действовать в согласии с государственными инструкциями [177].

Компромиссы обычно считаются неотъемлемой частью политики, но Бухарин предложил неподходящую программу в неподходящее время. Рассерженный Ленин тут же указал на него как на главного виновника. „До сих пор „главным” в борьбе был Троцкий. Теперь Бухарин далеко „обогнал” его, ... ибо договорился до ошибки во сто раз более крупной, чем все ошибки Троцкого, взятые вместе”. Ленин обвинил Бухарина в „синдикализме”, защите рабочей демократии в ущерб „революционной целесообразности” и в том, что Бухарин „впал в эклектизм”. Последний грех особенно задел Ленина, который посвятил часть одной своей статьи тому, чтобы растолковать Бухарину смысл диалектики. После длинных рассуждений, включающих ссылки на Гегеля и Плеханова, он заключает, что Бухарин, взяв куски из различных платформ, заменил „эклектикой диалектику” [178]. Бухарин был, скорее всего, поражен, узнав, что компромисс „недиалектичен”; это уничижительное определение применялось обычно лишь в философских или вообще теоретических

дискуссиях. Ленин, однако, говорил это серьезно. Три года спустя он отметил в своем „Завещании“, что Бухарин „никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики“ [179]. Можно предположить, что здесь содержался намек на профсоюзную дискуссию.

Если Бухарин и вызывал у Ленина такое раздражение, то это случалось нечасто. До ноября 1920 г. они тесно сотрудничали по главным политическим вопросам, включая и профсоюзные дела. Сейчас Ленин, очевидно, считал, что Бухарин подвел его, не показав себя достаточно верным, непоколебимым союзником (эту роль в данный момент с большим усердием выполнял Зиновьев), но хуже того — он склонялся на сторону Троцкого. Объясняя бухаринский „разрыв с коммунизмом“, он говорил:

Мы знаем всю мягкость тов. Бухарина, одно из свойств, за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали в шутку „мягкий воск“. Оказывается, на этом „мягком воске“ может писать что угодно любой „беспринципный“ человек, любой „демагог“ [180].

Бухарин пытался предотвратить раскол в партийном руководстве; Ленин же рассматривал это как нелояльность. Увидев, что компромисс более невозможен, Бухарин публикует обиженный ответ и вскоре составляет с Троцким общую платформу для представления X партийному съезду, который должен был решить этот вопрос [181]. В январе 1921 г., отказавшись от милитаризации и умерив другие свои требования, Троцкий перешел на позицию, сходную с бухаринской. Их объединенная платформа поддерживала „рабочую демократию“ и профсоюзное управление промышленностью, призывала к „огосударствлению“, но определяла его как „длительный процесс“ и признавала, что профессиональные союзы должны быть „школой коммунизма“, так же как и производственными ячейками. Со своей стороны Бухарин отбросил идею назначения профсоюзных деятелей на государственные посты и снова высказался за партийный контроль над работниками профсоюзов. Кое-кто увидел в этом капитуляцию перед Троцким, но Бухарин был уверен, что „мы не присоединились к Троцкому, а Троцкий присоединился к нам“ [182].

Так ставился вопрос в феврале 1921 г., сюрреалистически, в отрыве от реальной ситуации в стране. Применительно к действительному кризису различия между Лениным, с одной стороны, и Бухариным и Троцким — с другой, были минимальны. Аргументация Ленина, что профсоюзы должны защищать своих членов от государства (положение, которое Бухарин и Троцкий не принимали в том виде, в каком оно было сформулировано), лучше согласовывалась с концом „военного коммунизма“ и возрождением частных предприятий. Обе стороны, однако, еще размышляли в понятиях существующей системы; в этом контек-

сте Бухарин и Троцкий хотя бы пытались справиться с экономическим кризисом через перестройку структуры управления. 15 февраля Бухарин, достаточно раздраженный неуместностью дискуссии, выступил в „Правде” с редакционной статьей, в которой замечал, что партии бы стоило уделить внимание реальной проблеме — „кризису в сельском хозяйстве” и „судьбе нашего хозяйства” [183].

Охваченное „великой силой инерции” руководство, однако, продолжало медлить, как бы ожидая, когда внешнее давление навяжет ему решение [184]. В конце февраля забастовки прокатились по Петрограду, где, как и в новой столице — Москве, стала находить благоприятную почву агитация эсеров и меньшевиков. Когда крестьянские восстания отозвались эхом в городах, большевиков стала преследовать мысль о рабоче-крестьянском союзе, направленном против партии. Развязка наступила 2 марта, когда в Кронштадте, военно-морской базе под Петроградом, считавшейся когда-то оплотом большевиков, вспыхнул открытый мятеж против правительства. Говоря от имени трудящихся России и воскрешая популярные лозунги 1917 г., направленные теперь против „полицейской дубинки и коммунистического самодержавия”, восставшие обвинили партию в измене революции [185].

X съезд партии состоялся 8 — 16 марта, в то время когда правительственные войска подавляли мятеж. На восьмой день работы съезда Ленин объявил о замене продразверстки справедливым натуральным налогом и об оставлении излишков у крестьянина-единоличника [186]. Это важное изменение, в ходе которого была отменена продразверстка и возникла необходимость нормальной торговли между городом и деревней, положило конец „военному коммунизму”. Оно было принято почти без дискуссии. Хотя вопрос этот горячо обсуждался в Политбюро в течение месяца [187], видимо, никто ясно не понимал, что это решение быстро приведет к совершенно другой экономической системе — реставрации частного капитала, рыночному и денежному обращению, денационализации многих предприятий и, таким образом, сужению социалистического, или государственного, сектора.

Система, ставшая известной как нэп, зарождалась незаметно; лишь немногие на партийном съезде оценили огромное значение происходящего. Ленинская профсоюзная платформа победила легко, тоже почти без дебатов (новая резолюция, соответствующая изменившимся социальным условиям, будет составлена на следующем съезде). Внимание делегатов было приковано к тревожным событиям в Кронштадте. Съезд, который должен был пройти в обстановке триумфальной победы в гражданской войне, услышал от одного из вождей, Бухарина, такие слова: „...сейчас республика висит на волоске” [188].

ГЛАВА

4

МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ И БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПОЛИТИКА: „ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА” БУХАРИНА

Было бы странно, если бы марксистская теория вечно топталась на месте.

Н. Бухарин

События начала 1921 г. обозначили поворотный пункт в истории Советской России, революции и в размышлениях Бухарина о большевизме. Вслед за тем, что Бухарин позже назвал „крахом наших иллюзий” [1], он и другие большевики начали мучительно переосмысливать свои основные представления о революции. Новые общественные условия вскоре вызвали к жизни новое мышление, которое в течение следующих восьми лет вошло в идеологическое наследие 1917–1920 гг. и стало конкурировать с ним. Поверхностное партийное единодушие, порожденное гражданской войной, сменилось глубокими разногласиями и затянувшимся разобщением. Вплоть до 1929 г., когда расхождения во взглядах стали опасными и сверху было навязано строгое единомыслие, подлинное единство взглядов в партии бывало редким и кратковременным. Изначальная неоднородность большевистской элиты, частично приглушенная в течение трех лет, дала себя знать снова. Однажды Бухарин сетовал (миф о первоначальной большевистской сплоченности уже устоялся), что „единая партия, с единой психологией и единой идеологией” сейчас „разбилась на различные части, с различными психологиями, с различными уклонами” [2].

Отчасти вследствие глубоких идеологических и программных разногласий внутри партии, между началом нэпа и наступлением сталинской „революции сверху” в 1929 г., 20-е гг. были исключительно богатым и многогранным периодом интеллектуального брожения. В философии, юриспруденции, литературе, экономике и других сферах широкий диапазон теоретических дискуссий, как связанных, так и не связанных с политически-

ми спорами, происходившими в партийном руководстве, характеризует этот период как наиболее важный в истории большевистской мысли и один из наиболее интересных в истории марксистских идей.

Исследователи данного периода, естественно, пытались выделить в этом многообразии определенные закономерности; при этом они часто устанавливали сомнительные связи между соперничавшими взглядами в различных областях теоретических дискуссий, с одной стороны, и политическими фракциями в партии — с другой. В крайнем случае смысл такого подхода заключался в том, чтобы определить, каким — левым или правым — является то или иное суждение в каждой дискуссии, даже если оно не имело отношения к политике. Подобные же усилия были предприняты, чтобы установить четкую взаимосвязь между интерпретацией марксизма — его социальных и философских теорий — отдельными большевиками и их политикой. Это всегда трудная задача, а попытки решить ее в отношении Бухарина привели к особенно глубоким заблуждениям.

Широко распространенная точка зрения состоит в том, что осторожная эволюционная политика, которую Бухарин защищал в 20-х гг. и которая противопоставила его сначала левым большевикам, а затем Сталину, будто бы объясняется в большой мере его механистическим пониманием марксистской диалектики и его приверженностью теории равновесия. Утверждают, что его марксизм был строго детерминистичен, подчеркивая преобладание объективных условий над возможностями вмешательства человека в ход событий. А этим взглядам противопоставляется волюнтаризм, присущий программам левых в 20-х гг., а затем сталинскому „великому перелому” 1929—1933 гг. Полагают, что политический и экономический волюнтаризм был тесно связан с антимеханистической школой советской философии, сложившейся вокруг А. Деборина, доказывавшего, в отличие от механицистов (которые отрицательно относились к деборинскому пониманию сути дела и вытекающим из него выводам), что диалектика подразумевает саморазвитие материи и скачкообразный переход количества в качество. По отношению к Бухарину наблюдается редкий пример единства мнений западных и советских исследователей. После падения Бухарина в 1929 г., когда была развязана официальная кампания присоединения задним числом разгромленных соперников Сталина к впавшим в немилость философским школам, советские авторы утверждали, что „правая” программа Бухарина логически вытекала из его механицизма. По сути дела, сталинистская критика Бухарина стала основным источником и вдохновляющей идеей западной трактовки [3].

Среди многочисленных недостатков такого взгляда самый крупный является и самым очевидным: знаменитая книга Бу-

харина „Теория исторического материализма”, систематическое изложение его общественной теории, появилась осенью 1921 г., то есть всего через месяц после окончания экстремистской политики „военного коммунизма”, которую он поддерживал с энтузиазмом [4]. Более того, эта работа была написана одновременно с „Экономикой переходного периода”, теоретическим оправданием волюнтаризма и социальных скачков. Пренебрегают тем фактом, что и „Экономика” и „Теория исторического материализма” содержали знаменитый механицизм Бухарина и теорию равновесия, хотя первая работа проникнута идеей катаклизма, а вторая – эволюции.

Из этого следует, что аргументация, направленная против Бухарина, опиралась не столько на действительное содержание его социальной теории, сколько на два ошибочных утверждения. Первое состояло в том, что были „сознательно установлены связи” между философами-механицистами и правым крылом партии. Эта „легенда” была с тех пор опровергнута; показано было, что происходило как раз обратное, то есть „широко распространенные, сознательные усилия удерживать философскую дискуссии в стороне от внутрипартийных фракционных споров” и особенно „не связывать философские споры с Бухариным” [5]. Второе ложное утверждение состояло в том, что большевики (или марксисты вообще), которые придерживались одной и той же теоретической платформы, должны были бы соглашаться и по другим вопросам. Этот неправильный взгляд игнорировал многообразие марксистской мысли, интеллектуальную разнородность досталинского большевизма и в данном случае своеобразие и спорный характер „Теории исторического материализма” Бухарина. В книге что-то нравилось и не нравилось почти каждому. Как советские, так и западные марксисты давали ей весьма противоречивые оценки. Но наименее доброжелательным большевистским критиком был один механицист, который нашел в книге много „немарксистского” и „недиалектического”. Еще больше запутывая вопрос, Бухарин и его критики обвиняли друг друга в „детерминизме” [6].

До единства, навязанного сталинизмом в 30-х гг., согласие большевиков по одному теоретическому вопросу не гарантировало тождественности в других, в теории или политике. Здесь можно привести много примеров, достаточно указать хотя бы на то, что Троцкий, представитель левых в партии, редко выступал по философским вопросам, но когда это делал, выступал как механицист; а Преображенский, ставший позже основным экономистом левых, использовал модель равновесия, анализируя капиталистическую и советскую экономику [7]. Короче говоря, правильно сетовал один партийный руководитель в 1909 г. на то, что не было даже двух согласных между собой большевистских философов [8].

Из всего этого не следует, что социальная теория Бухарина вовсе не была связана с его политической и экономической линией. Скорее нужно указать на то, что в дополнение к неправильному истолкованию происхождения и природы его последующей эволюции упрощенная характеристика взаимосвязи между его общественной теорией и его политикой затемняла то, что было действительно интересным в „Теории исторического материализма”, книге, на которой воспитывалось поколение большевистских интеллектуалов и которая нашла много читателей за пределами Советского Союза.

Хотя „Теория исторического материализма” была написана как учебник — поскольку „эта „основа основ” марксистской теории не имеет систематического изложения”, — книга прокладывала новые пути в теории. Осознавая, что преподнесение новых идей в форме полуофициального учебного пособия может вызвать раздражение „консервативных” критиков в партии, Бухарин начал с заверения, что хотя он и „отступает от обычной трактовки предмета”, но остается верным „традиции наиболее ортодоксального, материалистического и революционного понимания Маркса”. Он хотел систематизировать и уточнить различные марксистские положения, но также и выдвинуть „новшества” [9]. Большинство его пересмотренных положений и „новшеств” были реакцией на критику Маркса со стороны современных социальных теоретиков. „Теория исторического материализма” представляла собой обстоятельное интеллектуальное контрнаступление, и в этом смысле она была важной частью вынашиваемого в течение всей жизни бухаринского плана ответа критикам Маркса. Как обычно, отвечая тем, кто бросал вызов Марксу, Бухарин кое-что почерпнул у них.

Удивительно, как „Теории исторического материализма” можно было приписать жесткий экономический детерминизм, если Бухарин всемерно пытался устранить этот тезис и понятие монистической причинности из марксизма. Один проницательный немарксистский публицист справедливо подметил, что Бухарин изо всех сил стремился к монизму, но пришел к плюрализму [10]. Индетерминизм, равно как и историческая телеология, необъяснимые случайности отброшены им, но книга полна примеров всяческих „если” в истории, примеров, когда различные исторические события в вероятностной форме зависят от разнообразных факторов, и показывает общий многопричинный характер всякого изменения. „Социальный детерминизм” — не фатализм; это „учение о том, что всякое социальное явление обусловлено, имеет причины, из которых оно неизбежно вытекает...”. Марксизм Бухарина, например, не отрицает человеческой воли или надстройки; „он объясняет их” [11].

Его плюралистический подход особенно очевиден в разделе, посвященном надстройке, которую Бухарин рассматривает как „самое широкое понятие”, „как любую форму общественных явлений, которая лежит над экономическим базисом”. Это сложное, дифференцированное понятие, которое включает, кроме „общественно-политического строя, со всеми его материальными сторонами”, еще и социальную психологию и идеологию. Базис определяет и объясняет этот феномен; но Бухарин указывает (как это делал раньше Ф. Энгельс), что надстройка имеет вдобавок и свою собственную жизнь и динамику, особенно в течение длительных переходных периодов от одного общественного строя к другому, когда наблюдается „процесс обратного влияния надстройки” [12]. Едва ли можно было высказаться по этому поводу иначе, если учитывать советский опыт, начиная с 1917 г.

Но Бухарин не менее ясно понимал, что надстройка играет функциональную роль в существующих обществах и в производстве социальных изменений. Он хотел поднять перчатку, брошенную психологически ориентированными школами экономики и социологии, продемонстрировав, что марксизм считается и с нематериальными факторами.

Отвергая концепцию Робинзона Крузо, тогда популярную на Западе, он тем не менее признавал большое значение психологии, идеологии, нравственности и обычаев. Они обеспечивают цельность общества, они „координируют действия людей, удерживая их в известных рамках так, что общество не разваливается на свои составные части”. И как раз потому, что они одновременно являются связующими силами, видоизменение господствующей психологии и идеологии („умственная революция”) знаменует первую стадию крушения старого общественного строя. Короче говоря, Бухарин предлагает концепцию причинности: „...*между различными рядами общественных явлений происходит непрерывный процесс взаимодействия. Причина и следствие меняются местами*” [13].

Бухаринская трактовка различных компонентов надстройки оказалась одним из его самых важных вкладов в теорию. Не говоря уже о возвышении роли надстройки по отношению к базису, положения, многими большевиками, естественно, принятого, его определения науки, философии, психологии и „аккумуляции” и „материализации” культуры считались очень удачными. По очевидным причинам были также хорошо приняты и стали популярными его трактовки классов, партии и вождей, так как это давало положительное теоретическое определение важной роли последних двух [14]. Благодаря „Теории исторического материализма” больше, чем какой-нибудь другой книге, Бухарин стал считаться крупнейшим партийным теоретиком и, возможно, самым выдающимся советским ученым,

систематизировавшим марксизм в 20-х гг. [15]. Но самый оригинальный теоретический вклад Бухарина был, однако, в другом.

После 1890 г. самый грозный теоретический вызов марксизму был брошен складывавшимися тогда новейшими социологическими школами. В то время социология, в отличие от позднейшего своего эмпирического и узкого характера, стремилась к широким социальным теориям. Подобно марксизму, социология была теорией большого, часто исторического масштаба и сама рассматривала себя как науку. Главные представители этой новой науки – Дюркгейм, Парето, Кроче, Вебер, Михельс (если называть только немногих) – различным образом критически возражали марксизму; во всяком случае, каждый из них по-своему выступал против этого внушительного учения. Маркс поставил центральные вопросы науки об обществе, он развил значительные аналитические идеи. Выводы Маркса могли быть отвергнуты, как могли быть отвергнуты пережитки немецкой философии, пронизывавшие его теории, но игнорировать его было нельзя. Парето говорил: „Лучшая часть в работах Маркса – социологическая часть, и она очень часто находится в согласии с действительностью” [16]. Вклад Маркса в социологию был теперь признан, и в качестве социолога он приобрел в некоторых кругах гораздо большее влияние, чем как экономист и пророк [17]. Но нужно подчеркнуть тот толчок, который Маркс дал различным теоретикам. Так, Стюарт Хьюз писал: „... изучение марксизма... являлось как бы опытным полем для исследователя...” Труды Маркса стали „повивальной бабкой социологической мысли XX века” [18].

Новейшая социология оказала глубокое влияние на Бухарина, который, в отличие от многих большевистских лидеров, был во всех отношениях интеллектуалом XX в. Это с очевидностью доказывают его эмигрантские работы, написанные до 1917 г., и во многом его последующие теоретические труды. Он понимал, что новейшие научные теории общества, представлявшие собой критику марксизма, угрожали привести к ревизии марксизма как социальной науки и, вероятно, к выхолащиванию его как *Weltanschauung* (мировоззрения). Но он также оценивал и их достижения. Вопреки позднейшей советской практике Бухарин не отбрасывал полностью социологическую мысль; вместо этого он пытался направить против нее ее же собственное оружие. Для него исторический материализм был социологией. В его книге, русское издание которой имело подзаголовок „Популярный учебник марксистской социологии” [19], он подробно объяснил свое понимание этого определения:

Есть среди общественных наук две важные науки, которые

рассматривают не отдельную область общественной жизни, а всю общественную жизнь во всей сложности... Такими науками являются история — с одной стороны, социология — с другой... История прослеживает и описывает, как протекал поток общественной жизни в такое-то время, в таком-то месте... Социология же ставит общие вопросы: что такое общество? От чего зависит его развитие или его гибель? В каком отношении друг к другу находятся различные ряды общественных явлений (хозяйство, право, наука и т. п.)? Чем объясняется их развитие? Каковы исторические формы общества?.. и т. д. Социология есть наиболее общая (абстрактная) из общественных наук... История дает *материал* для социологических выводов и обобщений... Социология в свою очередь указывает... *метод* для истории.

[Таким образом, исторический материализм] — это не есть политическая экономия; это не есть история. Это есть *общее учение об обществе и законах его развития*, т. е. социология [20].

Бухарин верил (или говорил, что верит) в то, что все „социальные науки имеют *классовый* характер” и что „пролетарская социология”, следовательно, должна быть высшей уже в силу своего названия. Буржуазные мыслители ограничены своей классовой ориентацией. Хотя они и видели социальные взаимоотношения, но затушевывали общественные противоречия. Тем не менее Бухарин оценивает в целом школу „буржуазной социологии” как очень „интересную”. „Теория исторического материализма” в большой степени являла собою дань влияния этой школы на Бухарина, и автор, борясь с критикой этой школы, стремился выразить в книге ортодоксальные марксистские догматы в терминах социологии [21].

Конечно, он не был первым марксистом, пытавшимся развить социологическую часть марксизма. Определенное движение в этом направлении и в сторону от тяжеловесной метафизики Маркса уже наблюдалось в Европе в течение более чем двух десятилетий; ко времени выхода в свет „Теории исторического материализма” Бухарина уже существовало несколько школ марксистской социологии. Эта традиция была особенно сильно развита в Вене и была представлена в трудах Макса Адлера и Карла Реннера, в которых „Маркс был открыт как по преимуществу социолог, действительный основатель новейшей науки социологии” [22]. Кроме того, и русская революционная мысль XIX в. в ее народнических и марксистских проявлениях имела долгую и богатую историю социологической теории. Несмотря на то, что социология была связана с преобладавшими в обществе политическими течениями, к 1917 г. академическая социология была введена в программу крупнейших университетов царской России [23].

Несмотря на такое свое значение, современная социология была не в чести у большевиков-ленинцев. Интересно, что ранняя работа Ленина „Развитие капитализма в России” обладала некоторой социологической ценностью, и он сам доказывал в 1894 г., что Маркс „впервые поставил социологию на научную основу...” [24]. Но развернувшаяся в 1908–1909 гг. жестокая философская битва с Богдановым, который, в глазах Ленина, ревизовал марксизм именно тем, что подмешал к нему буржуазные идеи, видимо, навсегда создала у Ленина предубеждение против всей западной социальной теории. С этого времени социология (отныне это слово он всегда употребляет в кавычках) встречала только его насмешки. Отклоняя в 1916 г. статью Бухарина о государстве, он подверг критике понятие „„социологической” (???)» теории [25], а к 1920 г., как показывают его замечания к „Экономике переходного периода”, еще более враждебно отнесся к социологической терминологии. Хотя в опубликованных работах Ленина нет отзывов о „Теории исторического материализма”, можно предполагать, что его возражения вызывал уже сам подзаголовок книги.

Не все большевистские интеллигенты разделяли ленинское пренебрежение к социологии, хотя они и не всегда соглашались с бухаринским пониманием ее роли. Многие предпочитали его концепцию доводу, что диалектический материализм является, но существу, философией – взгляд, которого придерживались деборинцы и который оспаривали механицисты, считавшие, что позитивные науки фактически устранили надобность в философии. И хотя немарксистская социология, начиная с 1922 г., была изъята из программ советских университетов, большевистские социологи продолжали публиковать целый ряд теоретических и эмпирических исследований вплоть до начала 30-х гг., когда социологию постигла судьба большинства общественных наук при Сталине [26]. Однако уже и в 20-х гг. среди части большевистских интеллектуалов господствовала подозрительность, если не прямая враждебность, к современной социологии. Одного бухаринского определения исторического материализма как социологии было достаточно, чтобы на него обрушились ранние большевистские критики [27], многие из которых, безусловно, согласились с приговором, вынесенным во время кампании, направленной против Бухарина в 1930 г.:

У Маркса, конечно, не было особого „социологического метода” ... метод Маркса был методом диалектического материализма... Изображение Маркса как сторонника „социологического метода” может только привести к сближению его учения с учением буржуазных „социологов”, ничего общего не имеющим с марксизмом [28].

Таким будет постоянный рефрен сталинистской идеологии, и только после смерти диктатора советские исследователи сно-

ва смогли начать разрабатывать социологию. В свете всего этого попытка Бухарина развить марксистскую социологию представляла единственную в своем роде смелую концепцию и смелое исследование. Он был охарактеризован в 20-х гг. одним советским автором как „теоретик пролетарской социологии”. Показательно, что Питирим Сорокин, живший тогда в России, дал довольно благожелательный отзыв о „Теории исторического материализма”, считая, что по сравнению с другими работами эта „гораздо грамотнее, интереснее и научнее” [29]. Один американский социолог совсем недавно подтвердил оценку Сорокина: „Книга представляет собой искуснейшую попытку видного марксиста привлечь во внимание сложившиеся тогда основные понятия социологической теории и социологических исследований” [30].

Новейшая социология критиковала марксизм как науку по многим направлениям. Наибольшие трудности для марксистов представлял вопрос о диалектике. И как метод, и как черта, будто бы присущая реальности, диалектическая концепция глубоко укоренилась в марксистском учении о природе и направлении социальных изменений. Элементы гегельянства делали марксизм уязвимым. Более того, смысл марксистской диалектики оставался неясным. Маркс, убежденный в том, что он преобразовал диалектику в последовательно материалистическую, мало писал об этом предмете, ограничиваясь приложением диалектики к истории. Такая задача выпала на долю Энгельса: в последние годы жизни Маркса и после его смерти он расширил и систематизировал понимание диалектики в истории, природе и человеческом мышлении. Работая над этим, он заложил основы ортодоксальной, универсальной доктрины диалектического материализма. Хотя некоторые ученые доказывают, что окончательная система Энгельса резко расходится с философским материализмом Маркса, в общем принято считать, что в конечном итоге работы Энгельса повели к воскрешению идеалистической диалектики Гегеля в пересмотренной форме и обрели марксизм туманным метафизическим толкованием развития, полумистическим изложением диалектики в истории и природе. Возрожденное гегельянство оказало сильное влияние на ленинские размышления о диалектике (как выяснилось после опубликования его „Философских тетрадей” в 1933 г.) и стало центральным элементом в диалектическом материализме деборинцев [31].

Бухарин отошел от этой тенденции, прямо сформулировав свои возражения: „Маркс и Энгельс освобождали диалектику от ее мистической шелухи *в действии*”, но она сохраняет „телеологический привкус, неизбежно связанный с гегелевской форму-

лировкой, которая покоится на *саморазвитии* „Духа”. Поиски Бухариным научной („наиболее ортодоксальной, материалистической и революционной”) социологии, его желание противостоять обвинению, что марксизм в конечном счете содержит идеализм, привели его взамен этого к механицизму. Вначале, объяснял он, марксисты противились механистическому толкованию в общественных науках; но это происходило из-за старых и дискредитировавших себя представлений об атомах как „обобленных, не связанных с другими, изолированных частицах”. Учение об электронах с новыми открытиями в области строения и движения материи опровергло эти представления и сделало правомочным использование механических обозначений для выражения органических связей. Понимал или нет Бухарин полностью современную физику, менее важно, чем его убеждение, что „наиболее прогрессивные течения научной мысли во всех областях ставят вопрос именно так” [32].

Механика, казалось ему, показывала научную основу марксистского материализма, и механистический материализм опровергал мыслителей, которые настаивали на внесении „спиритуализма” и „психологизма” в общественные понятия. Бухарин определял каждую социальную категорию с точки зрения сохранения следующих представлений: общество рассматривается как „громadный трудовой „механизм” с различными частями разделенного совокупного общественного труда”; производственные отношения – как „трудовая координация людей (рассматриваемых как „живые машины”) в пространстве и времени” и т. п. Оставалось лишь дать „теоретическо-систематическое изложение” диалектического метода в механистических терминах. Это, убежден Бухарин, „дается теорией равновесия” [33].

Сердцевиной „Теории исторического материализма” являлось утверждение, что диалектика и, следовательно, социальные изменения объясняются теорией равновесия. Здесь нас интересует общая концепция, а не множество частных аргументов, которые он представляет по ходу изложения [34]. Согласно Бухарину, диалектическая (или динамическая) точка зрения состоит в том, что все категории материального или социального порядка находятся в состоянии движения и что это движение происходит из конфликта или противоречия внутри данной системы. В равной мере правильно и то, что любая система, опять-таки материального или социального порядка, стремится к состоянию равновесия (аналогично адаптации в биологии) :

Иначе это можно сказать так. В мире существуют различно действующие, направленные друг против друга силы. Только в исключительных случаях они уравнивают друг друга на некоторые моменты. Тогда мы имеем состояние „покоя”, т. е. их действительная борьба остается скрытой. Но стоит

только измениться одной из сил, как сейчас же „внутренние противоречия” обнаруживаются, происходит нарушение равновесия, если на момент установится новое равновесие, оно установится на новой основе, т. е. при другом сочетании сил и т. д. Что же отсюда следует? А отсюда и следует, что „борьба”, „противоречия”, т. е. антагонизмы различно направленных сил, и обуславливают движение системы.

Видя источник движения в борьбе сил, а не в „саморазвитии”, Бухарин был убежден, что очистил знаменитую гегелевскую триаду (тезис, антитезис, синтез) от ее идеалистических элементов. Соответствующей формулой Бухарина стало: первоначальное равновесие, нарушенное равновесие и восстановленное равновесие на новой основе [35].

Каждая система, продолжает он, включает два состояния равновесия: внутреннее и внешнее. Первое подразумевает отношения между различными компонентами внутри системы, второе имеет в виду состояние системы в целом в ее отношениях с окружающей средой. И в том и в другом случае это всегда не „абсолютное, неподвижное равновесие”; оно всегда „в развитии” — динамическое или подвижное равновесие. Ключевой смысл бухаринской теории — это отношение между внутренним и внешним равновесием:

... внутренняя структура (системы) должна приспособиться к характеру внешнего равновесия. Следовательно, *внутреннее (структурное) равновесие есть величина, зависящая от равновесия внешнего (есть „функция” этого внешнего равновесия)* [36].

Применительно к обществу бухаринская теория говорит следующее: существование общества предполагает определенное равновесие между тремя его главными элементами — вещами, людьми и идеями. Это есть внутреннее равновесие. Но „вне... среды”, то есть природы, „человеческое общество немислимо”. Общество приспосабливается к природе, стремясь к равновесию с ней, извлекая из нее энергию посредством процесса общественного производства. В процессе адаптации общество развивает „искусственную систему органов”, под которой Бухарин понимает технику и которая образует „точный материальный показатель соотношения между обществом и природой”. Так, отождествляя общественную технологию с производительными силами („комбинации орудий труда”) и рассматривая внутреннюю структуру как функцию внешнего равновесия, Бухарин оказался в состоянии, несмотря на свой плюралистический анализ общественного развития, сохранить монистическую причинность в экономическом детерминизме. Или, как он признавал:

Производительные силы определяют общественное развитие *потому*, что они выражают собой соотношение между

обществом... и средой... *А соотношение между средой и системой есть величина, определяющая, в конечном счете, движение любой системы* [37].

Эта теоретическая модель выражает исторический материализм Бухарина, систематизируя общественное развитие. Социальное равновесие постоянно нарушается. Оно может стремиться к восстановлению в двух формах: „в форме медленного (эволюционного) приспособления различных элементов общественного целого друг к другу” или в форме „бурных переворотов (революций)”. Пока оболочка социального равновесия (в основном производственные отношения, воплощенные в классах, непосредственно участвующих в производстве) достаточно широка и устойчива, имеет место эволюция. Таким образом, например, капитализм продвигался вперед, пройдя несколько исторических стадий. Но когда производительные силы развиваются так, что они вступают в конфликт с „основным рисунком... производственных отношений, т. е. имущественных отношений”, наступает революция. „Эта оболочка взрывается”. Устанавливается новое общественное равновесие, „т. е. новая устойчивая оболочка производственных отношений, могущая служить формой развития производительных сил...” [38].

Политические противники Бухарина в 1929 г. открыли вдруг, что из его абстрактной теории логически вытекали программные выводы, хотя это и не вполне очевидно. Стандартное обвинение против механицизма состояло в том, что механистическая трактовка движения исключает переход количества в качество и „скачки” вообще. В этом якобы заключалась философская основа представлений об эволюционном политическом развитии. Бухарин, однако, доказывал иное: „Превращение количества в качество есть один из основных законов движения материи, и его можно проследить в природе и обществе буквально на каждом шагу”. Некоторые политические выводы Бухарина были даже аналогичны выводам его критиков: мнение о том, что „природа не делает „скачков”, есть лишь выражение боязни „скачков” в обществе...” [39]. В равной мере является неубедительным утверждение, что „натуралистический” материализм Бухарина (названный так потому, что Бухарин настаивал на взаимодействии общества и природы) мог привести только к пассивной капитуляции перед объективными условиями. Этот же самый „натурализм” был представлен в „Экономике переходного периода”, где Бухарин доказывал, что внутреннее и внешнее равновесие может быть восстановлено с помощью централизованного насилия [40].

Когда не хватало логики, сталинские критики пытались под-

крепить свои тезисы обвинениями в уклоне по аналогии с другими. Они указывали на тот факт, что Богданов, официально ставший теперь притчей во языцех как образец политического уклониста, ранее также отбросил гегелевские традиции диалектики во имя своей излюбленной механистической модели равновесия. Они игнорировали, однако, явную разницу между теориями Бухарина и Богданова, так же как и продолжительную историю теоретических и политических разногласий между ними до и после 1917 г. [41]. Любопытное интеллектуальное родство между этими двумя людьми – отдельная тема, но общепринятое мнение, что Бухарин был последователем Богданова, нельзя брать на веру. В „Теории исторического материализма” не только мало заметно влияние старшего мыслителя, но в книге содержится непосредственно касающаяся Богданова обширная аргументация против „психологизированного марксизма” как „явного отклонения от подчеркиваемого *con amore* Марксом материализма в социологии” [42].

Более полезно напомнить, что в начале 1900-х гг. модели механического (особенно динамического) равновесия распространились из области физики и биологии в общественные науки, где были широко приняты и использованы. Казалось, что это последнее слово в науке; и в то время, как и сегодня, теория равновесия составляет важную часть западной социологической и экономической мысли. Сорокин уместно заметил как-то в 1922 г.: трактовка Бухариным общественного равновесия тождественна некоторым положениям второго тома работы Парето „Трактат по общей социологии” („*Trattato di Sociologia generale*”) [43]. „Богдановская терминология”, которая так оскорбила критиков Бухарина, была в значительной степени языком современной социальной теории – факт, который указывает на подлинное родство между Бухариным и Богдановым. Они представляли марксизм как открытую систему взглядов, податливую и восприимчивую к новым течениям мысли. Оба считали возможным отсылать своих марксистских критиков к работам немарксистов. Заявление Богданова в 1908 г., что „традиции Маркса и Энгельса должны быть близки нам не своей буквой, а своим духом”, отозвалось эхом в предисловии к „Теории исторического материализма”: „Было бы странно, если бы марксистская теория вечно топталась на месте” [44].

Тем не менее „Теория исторического материализма” может в какой-то мере пролить свет на последующие размышления Бухарина о советском обществе. Бухаринская социология – интерес к динамике общественного развития и к тому, как функционирует существующее общество, – представляет новое направление его мысли, которая до 1921 г., казалось, была

обращена главным образом на революционные волнения и катастрофические перемены. Иными словами, различие настроений „Экономики переходного периода” и „Теории исторического материализма” (последняя работа при сравнении выглядит почти квиентистским трактатом) проистекает от того, что в них рассматривались разные периоды жизни общества: первая давала портрет переходного государства с нарушенным революцией равновесием, вторая – более обычного общества, находящегося в состоянии равновесия. Именно рассматривая общество в состоянии равновесия, Бухарин показывает, что стабильное, развивающееся общество должно быть связной, цельной системой, имеющей по крайней мере минимальную гармонию всех своих частей.

Многие революционные марксисты, усвоившие в марксизме его апокалиптическое представление, считали, что до наступления утопического будущего общество остается не чем иным, как ареной борьбы непримиримых сил и антагонистических классов. Постоянно выискивая кризисы и признаки упадка, они замечали только пороки и отрицательные стороны общественного развития. Обычно, как заметил один социолог, они „избегали и даже высмеивали” буржуазные понятия общественного взаимодействия и кооперации [45]. Хотя такое представление поддерживало революционный пыл, оно не способствовало пониманию общественной структуры. Будучи марксистом, Бухарин, естественно, подчеркивал те моменты, когда социальные конфликты находятся на первом плане, но также понимал, что элементы гармонии и „моменты кооперации” обычно преобладают. Он рассматривал общество как реальную совокупность и изумлялся тому, „какое поистине гигантское, вавилонское столпотворение влияний и взаимных воздействий представляет общественная жизнь”. Именно тот факт, что общество есть совокупность противоборствующих сил, побуждал его придавать значение связующим элементам, „социальным связям” и „обручам”, благодаря которым сохраняется общность. Нигде это не обнаруживалось более ясно, чем в его описании конфликта человеческого общества и природы: „Только в процессе долгой и суровой борьбы с природой человек начинает накладывать на нее свою железную узду” [46].

Понимание предпосылок должным образом функционирующего общества будет отражаться в мыслях Бухарина по вопросам внутренней политики на всем протяжении 20-х гг. Он был убежден, что первоочередная задача большевиков заключается в восстановлении социальной структуры общества, разрушенного и расчлененного революцией и гражданской войной. Социальная консолидация должна была „нормализовать” советскую власть и сделать ее приемлемой для возможно большого круга общественных слоев. Между массами и партией-государст-

вом, так же как и между раздробленными элементами самого населения, нужно было построить „мосты” и „звенья” в форме добровольных организаций. Подчеркивание интеграции вытекало из основного положения Бухарина во время последовавших партийных разногласий: реальное экономическое и иное развитие имеет своей предпосылкой гражданский мир, сотрудничество и гармонию; общество, находящееся в состоянии войны против самого себя, не может быть производительным и процветающим. Отсюда проистекает характерное для политики Бухарина 20-х гг. твердое убеждение, что все классы и слои советского общества могут сознательно или бессознательно способствовать строительству социализма. И отсюда же его неотступное сопротивление тем большевикам, чьи программы вели к новому разладу и гражданской войне.

Труднее определить, насколько сама теория равновесия являлась для Бухарина исходным пунктом, когда он рассматривал реальные социальные проблемы. Макросоциологическое применение теории равновесия в „Теории исторического материализма” надо отличать от приверженности Бухарина к „подвижному экономическому равновесию” во время разногласий относительно планирования в конце 20-х гг. Эта более специальная, хотя и родственная аргументация свидетельствует только о его убеждении в необходимости сбалансированного пропорционального развития экономики, что было прямо противоположно произвольно намеченным „скачкам” и диспропорциям, заложенным в первом сталинском пятилетнем плане [47]. То обстоятельство, что модель развития, в основу которой было заложено условие экономического равновесия, можно было почерпнуть из второго тома „Капитала”, не являлось единичной точкой зрения; это иногда косвенно признавалось даже противниками Бухарина [48]. Легче было обвинить в антимарксизме экстраполяцию Бухарина этой ограниченной концепции на макросоциологическую модель и его утверждение, что „у Маркса есть ясные намеки на такую постановку вопроса. (Учение о равновесии между отдельными отраслями в производстве, основанная на этом теория трудовой ценности и т. д.)” [49].

Это сделало его ортодоксию подозрительной со многих точек зрения. Благодаря его универсальному определению общества и применению теории равновесия ко всем специальным формациям, его можно было обвинить, например, в отказе от выпестованного Марксом историзма, который подчеркивал единственные в своем роде характерные черты и специфические законы для каждого исторического общества. Даже несмотря на то, что Бухарин настаивал на исследовании „каждой формы общества... в ее своеобразии”, он обладал той особенностью социологического подхода, которая, по его собственным словам, заключается в изучении „не отдельных форм общества, а

общества вообще” [50]. Кроме того, если модель равновесия поддавалась обобщению, не означало ли это, что существует универсальный регулятор, или закон, действующий в любом обществе? Бухарин только намекал на ответ в „Теории исторического материализма”, когда он говорил о затратах труда как законе регулирования отношений между обществом и природой; позже, однако, он сформулирует „закон трудовых затрат” как „необходимое условие социального равновесия в любой и каждой социально-исторической формации” [51].

Но основная критика, направленная против социологической теории Бухарина и ее политических выводов, основывалась на том, что равновесие предполагает социальную гармонию, в то время как ортодоксальный марксизм доказывает преобладание социальных конфликтов. Советские исследователи не одиноки в противопоставлении марксистской модели конфликтов модели равновесия общества. Аналогия может быть найдена в недавней критике современной структуро-функционалистской школы социологии. Критикующие ее западные социологи доказывают, что в отличие от марксизма функционализм с его концепцией гомеостатического равновесия не в состоянии охватить реальные внутренние общественные изменения и поэтому предпочитает представление о гармоничной стабильности. Они полагают также, что теория равновесия подразумевает нормативную (консервативную) ориентацию и потому относится с предубеждением к социальным конфликтам и рассматривает расшатывающие равновесие элементы как ненормальные и патологические. Один историк даже заключил, что „выбор модели равновесия логически исключает революционную этику...” [52]. Увязывание политического консерватизма с теорией равновесия (и теперь еще — постоянная тема в советских исследованиях), таким образом, не является характерным только для советских марксистов.

Хотя Бухарин никогда серьезно не размышлял над этим парадоксом, он как будто сознавал его существование. Бухарин справедливо отказался от всякого понятия „совершенной гармонии”, и оттенок неловкости чувствовался в его возражении возможным критикам: „Рассматривание общественной и притом иррациональной, слепой системы с точки зрения равновесия ничего общего, конечно, не имеет с *harmonia praestabilitata*, ибо она исходит из *факта* существования этой системы и из такого же *факта* ее развития”. Развитие предполагает „равновесие подвижное, а не статическое” [54]. Взгляд на равновесие как на динамическое понятие оказался полностью совместим с предположением, что конфликты и изменения всегда присутствуют обществу. В самом деле, Бухарин утверждал, что механическая модель, включенная в марксизм, обеспечивает энергичный отпор модели общества как биологического организма,

по которой всякий нарушающий равновесие элемент является патологическим [55]. Наконец, он не увидел противоречия между революционным марксизмом и точкой зрения, что социальная гармония будет преобладать в течение определенных исторических периодов, на том основании, что в досоциалистических обществах равновесие восстанавливалось всегда временно и становилось все менее и менее прочным. Все возрастающие глубокие нарушения равновесия будут происходить вплоть до наступления революции. Другими словами, преобладание гармонии и наличие гомеостаза исторически ограничены; только коммунизм способен создать условия для прочного социального равновесия.

Тем не менее, сомнительно, может ли эта абстрактная теория Бухарина действительно объяснить глубоко укоренившиеся социальные изменения, возникающие изнутри. В своем анализе производительных сил Бухарин поставил внутреннее равновесие в зависимость от взаимоотношений общества и природы. Импульс, вызывающий изменение, проникает в социальную систему извне. В этом и в других отношениях его „марксистская социология” была чересчур непоследовательна, а иногда непродуманна, однако вопрос об основательности модели равновесия продолжает разделять социологов.

Все это мало касается непосредственно политики Бухарина. Его постоянное убеждение, что при отсутствии гармонии „общество не может развиваться и должно идти книзу” [56], присутствует и в „Экономике переходного периода” и в „Теории исторического материализма”, так же как и вера, что социалистическая революция принесет в конечном счете гармоничное, продуктивное, прочное равновесие. До 1921 г. он считал, что такая перспектива открывается политикой „военного коммунизма”. Спустя некоторое время он стал придерживаться противоположной точки зрения.

Но что действительно характеризует „Теорию исторического материализма”, это стремление Бухарина, и некоторых советских „ищущих марксистов” 20-х гг., рассматривать марксизм не только как идеологию партии-государства, но и как плодотворную систему идей, способную соперничать с западной наукой и чуткую к современным ее достижениям. После окончательного устранения этих „ищущих марксистов” (политического — в конце 20-х гг. и физического — во время сталинских чисток 30-х гг.) разлад между идеологией и социальной наукой, характерный для марксизма с самого начала, разрешился в пользу идеологии, и советский марксизм на многие годы утратил творческий дух.

ГЛАВА 5

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил; по-младенчески мыслил; по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

1 Посл. к коринф. 13, 11

Переход к новой экономической политике явился крахом наших иллюзий.

Н. Бухарин

В 1921 г. большевики познали горькие плоды победы. Гражданская война, как сказал один из них, принесла экономическую разруху, „беспримерную во всей человеческой истории” [1]. Страна лежала в развалинах. Национальный доход составлял только третью часть уровня 1913 г., промышленное производство — пятую (выпуск продукции в некоторых отраслях фактически равнялся нулю), транспорт был разрушен, а сельскохозяйственное производство стало настолько мизерным, что большинство населения с трудом поддерживало свое существование, а миллионы людей вообще не могли прокормиться. Принятые меры запоздали и не могли предотвратить полную катастрофу. Весною голод распространился на районы, прежде богатые хлебом. Это привело к еще большей смертности, эпидемиям и даже случаям людоедства. Второй апокалиптический всадник еще не покинул страну. Война продолжалась, но теперь против крестьян, которые поднимали массовые антиправительственные восстания. По сравнению с ними Кронштадтский мятеж казался малозначительным. И только благодаря уступкам, сделанным с введением нэпа, а также с помощью Красной Армии крестьянские восстания в 1922 г. удалось окончательно подавить.

В этих бедственных условиях партия начала отходить от экономической политики „военного коммунизма” и волей-неволей стала проводить в течение следующих двух с половиной лет новый курс. Новая экономическая политика и общественный порядок, порождению которого она способствовала, „Россия нэповская”, как называл его Ленин, оставались в силе в

течение семи лет вплоть до наступления сталинского „великого перелома” в 1928—1929 гг. Но хотя годы нэпа кажутся просто мирной и для большинства населения все более и более благоприятной передышкой между катастрофами, однако они на самом деле представляли особый период с различными официальными целями, достижениями и событиями. Прежде всего в истории партии нэп был периодом больших дискуссий, когда вырабатывался дальнейший курс большевистской революции, определялось направление развития советского общества и решались судьбы отдельных вождей большевизма.

Нэп явился крупным поворотом в политике партии, но так же, как и „военный коммунизм”, он осуществлялся не в соответствии с заранее продуманным планом. В самом деле, стихийное развитие нэпа, в согласии с его собственной внутренней логикой, вызвало позднее опасение у некоторых большевиков, не был ли неосмотрительно открыт ящик Пандоры. Введение в марте 1921 г. твердого натурального налога взамен продразверстки сначала было задумано как ограниченный шаг, как мера, поощряющая крестьян производить и сдавать излишки, что способствовало бы возрождению промышленности и городов. Первоначальный ленинский замысел ограничивал нормальные рыночные отношения „пределами местного оборота”, в рамках которого должен был осуществляться товарообмен или меновая торговля непосредственно с государством. Этот план сразу потерпел неудачу. Сделки „обычной купли-продажи” уже к осени распространились по всей стране. В результате, ограничения свободной торговли скоро потеряли силу, и тогда, собственно говоря, родился настоящий нэп [2]. За этим логически последовало множество новых политических мероприятий, выработанных в 1923 г.; свободная торговля и рыночные отношения во всей стране стали характерными чертами нэпа.

Натуральный налог был постепенно снижен, затем вообще заменен денежным. Чтобы еще более поощрить крестьянина, были гарантированы его права на владение землей, хотя государственная собственность на землю, в принципе, оставалась в силе. Были санкционированы, с некоторыми ограничениями, наемный труд и аренда земли. Но готовность крестьянина продавать излишки зависела от наличия и соответствующей стоимости промышленных товаров и, таким образом, от восстановления промышленного производства, особенно выпуска предметов широкого потребления, а также от устойчивости валюты. Принципы нэпа поэтому стали распространяться на всю экономику. Небольшие предприятия были денационализированы и превращены в частную собственность (или в некоторых случаях сданы в аренду). Остальные государственные предприятия были децентрализованы, трестированы и стали работать на коммерческих основах. Была введена калькуляция себестоимости, чтобы под-

готовить эти предприятия для выхода на рынок в условиях конкуренции. Возвращение к общепринятой финансовой политике началось в ноябре 1921 г. с воссоздания Государственного банка (он был упразднен в 1920 г.) и продолжалось путем развития традиционной налоговой системы, кредита, сберегательных касс и банковского дела. Политика твердой валюты стала нормой, особенно после стабилизации рубля в 1923–1924 гг. Нэп явился противоположностью „военного коммунизма”.

Таким образом, к концу 1923 г. в Советской России сложилась одна из первых современных смешанных экономических систем. Государственный сектор контролировал, следуя терминологии того времени, „командные высоты” – наиболее крупные предприятия, включая всю тяжелую промышленность, транспортную систему, центральную банковскую систему и (поскольку страна теперь уже торговала с внешним миром) монополию внешней торговли. Преобладающая роль государственного сектора в промышленном производстве была обеспечена: в то время как частные предприятия насчитывали 88,5% от общего количества, они были исключительно мелкими; на них было занято всего лишь 12,4% индустриальных рабочих, при том что в государственном секторе – 84,1% [3]. Частный капитал, однако, обосновался в розничной и оптовой торговле на предприятиях так называемых нэпманов, или частных торговцев, но к исходу 20-х гг. государственные и кооперативные предприятия получили преобладающие позиции и в этой сфере. Главным источником свободного предпринимательства, частного капитала и антисоциалистических тенденций была деревня, где 125 млн. крестьян пожинали плоды аграрной революции, в результате которой возникло 25 млн. мелких хозяйств [4]. Этой ситуацией объясняется то, что партия часто характеризовала государственный и социалистический сектор как остров в море мелкотоварного капитализма – образ, отражавший опасения, что в случае продолжения нэпа социалистический сектор будет окончательно поглощен. По мере того как промышленное и сельскохозяйственное производство неуклонно приближалось к довоенному уровню, масштабы нэпа до некоторой степени менялись соответственно с изменениями официальной линии, от более терпимой в 1924–1926 гг. до более ограничительной в конце 1926 г. и в 1927 г.; однако общая экономическая структура, заложенная к 1923 г., сохранялась до конца 20-х гг.

По мере того как партия-государство освобождало из-под своего контроля значительные сферы экономической жизни страны, оно начало укреплять свою политическую монополию. Опасности, вытекавшие из экономических уступок, нужно было нейтрализовать политическими мерами предосторожности. Облегчения, вызванные нэпом, и мероприятия ЧК положили конец разрозненной деятельности меньшевиков и эсеров; одни

из них эмигрировали, другие состояли на службе у государства в качестве специалистов, некоторые были заключены в тюрьму. Узаконенность однопартийной диктатуры, установленной и принявшей более авторитарный характер во время гражданской войны, уже больше нельзя было публично подвергать сомнению. Но если была пресечена открытая контрреволюционная деятельность, то сохранились в значительной степени неполитические свободы. В экономическом, интеллектуальном и культурном отношении нэповская Россия стала относительно плюралистическим обществом. Тем не менее, если не считать подавления восстаний и запрещения других социалистических партий, то в 1921 г. самые строгие меры были приняты в отношении оппозиционных большевиков, как настоящих, так и будущих.

X съезд в марте 1921 г. положил начало далеко идущим изменениям во внутренней политике партии. По инициативе Ленина и других партийных лидеров — тех самых, которые до Кронштадтского мятежа ожесточенно и публично спорили между собой, — съезд принял две резолюции, по существу запрещавшие всякие возражения, высказываемые снизу: одна осуждала „Рабочую оппозицию” как „мелкобуржуазный анархистский уклон” и „объективно” контрреволюционный элемент; другая во имя партийного единства предписывала положить конец всем фракциям под угрозой дисциплинарных мер, вплоть до исключения из партии [5]. Хотя запрещение фракций в последующие годы в общем соблюдалось только формально, все же попытка руководства утвердить свой контроль дала растущему центральному аппарату, возглавляемому с 1922 г. Сталиным, далеко идущие широкие полномочия в отношении каждого отдельного члена партии. Атмосфера общей либерализации, установившаяся в стране во время нэпа, стимулировала противоположный курс внутри самой партии.

Эти две линии развития — неустойчивая экономическая политика и все более авторитарный, бюрократический характер олигархического принятия решений — явились предпосылками для следующего этапа продолжительных партийных разногласий в 20-х гг. Оба эти фактора породили оппозицию 1923 г. После первого приступа болезни у Ленина в мае 1922 г. и его смерти в январе 1924 г. все эти проблемы стали главными в борьбе за власть, в четырехактной драме столкновений меняющегося официального большинства против оппозиционеров, во всех случаях руководимых ленинскими „наследниками”: триумvirатом — Зиновьев — Каменев — Сталин против Троцкого в 1923—1924 гг.; Сталиным и Бухариным сначала против Зиновьева и Каменева в 1926 г. и затем против объединенной оппозиции Троцкого — Зиновьева и Каменева в 1926—1927 гг.; и, наконец, сталинским большинством против Бухарина, Рыкова и Томского в 1928—1929 гг. Каждая оппозиция сочетала свою критику

партийной политики с атакой на действия партийного аппарата и каждая становилась жертвой этого аппарата. Но история длительной внутрипартийной борьбы за право быть преемниками Ленина, за политическую власть, не должна игнорировать лежавшие в основе этой борьбы проблемы. Куда идет большевистская революция и Советская Россия? — спрашивал Троцкий и другие. К чему ведет нэп, к капитализму или к социализму? [6]. Да и вообще: можно ли построить социализм в Советской России, и если да, то как? Это были разные стороны одного и того же вопроса, вокруг которого постоянно разгорались споры, характеризующиеся как поиски „ортодоксального большевизма”.

Для большевиков была характерна вера в революцию, которая не заканчивается „после той или иной формы политической победы”. Ее „пределом является только социалистическое общество” [7]. После четырех лет глубоких социальных потрясений и гражданской войны большевики могли сейчас размышлять и действовать, заранее продумывая свою линию поведения. С октября 1917 г. великие, в значительной степени непредусмотренные изменения сформировали советское общество. В городах старая правящая элита и крупная буржуазия были уничтожены или изгнаны из страны. В сельских районах — помещики изгнаны, земля поделена, и крестьяне значительно уравнины; положение кулаков (наиболее зажиточные крестьяне, а с официальной точки зрения — деревенские эксплуататоры) значительно ухудшилось, а бедноты — улучшилось, и преобладающей фигурой стал середняк. Партия возглавляла, но не вполне контролировала многие из этих перемен. Иные из них вызывали смешанные чувства: как, например, можно было совместить революционный раздел земли с марксистской идеей крупномасштабного сельскохозяйственного производства; и не должно ли было это множество мелких частных хозяйств неизбежно породить новый цикл капиталистических отношений? Все эти мероприятия глубоко изменили имущественные отношения, но не повлияли существенным образом на природу экономики. Даже достигнув в основном к 1926 г. довоенного уровня, Советский Союз оставался слабо развитым аграрным обществом. Таким образом, стремление партии к социализму должно было быть прежде всего стремлением к индустриализации и модернизации.

В некоторых отношениях царская Россия не являлась типичным отсталым обществом, ибо имела европейскую культуру и дипломатическую историю, империалистическое прошлое и значительный уровень индустриализации. Но не была она и совершенно атипичным — эта полуазиатская страна, по преимуществу аграрная, крайне неграмотная; страна, где главную роль играл иностранный капитал и где теперь правила партия, чьи

лидеры, вышедшие из интеллигенции, смотрели на индустриальный Запад со смешанным чувством ненависти и зависти [8]. В стране возникла хорошо известная ситуация: революционная партия стремится к индустриализации, хочет „догнать”, а страна поражена „проклятой бедностью”. Выслушав, например, план электрификации страны, Бухарин загорелся мечтой о будущей сплошной модернизации:

Нищая, голодная сермяжная Русь, Русь лучины и корки черного хлеба покрывается сетью электрических станций... они превращают Россию в единое хозяйство, а раздробленный народ — в сознательную и организованную часть человечества. Бесконечны горизонты и прекрасны пути... [9].

Большевизм не сразу превратился из бунтарского движения и движения революционного интернационализма в движение, стремящееся к социальной перестройке. Большевики понимали, какую роль в их политическом успехе сыграла отсталость России, но они не сразу уяснили последствия этой отсталости в будущем. В условиях гражданской войны и в связи с надеждой на европейскую революцию некоторое время они представляли себе ход событий неясно. Кроме того, в перспективе необходимость провести работу по модернизации общества, присущую буржуазной революции, противоречила их марксистским взглядам; подобно Бухарину, многие сначала считали только „трагичным” то, что случайное обстоятельство привело к победе социалистической партии в отсталой крестьянской стране [10]. Но неудачи, постигшие революцию в Германии в 1921 г. (и снова — в 1923 г.), заставили их обратить большее внимание на внутренние дела, и после 1921 г., когда „проза экономического развития” стала доминирующей темой партийных дискуссий, вопрос о модернизации сам собой возник в сознании большевиков. С введением нэпа он становится господствующим в ленинских высказываниях. Ленин обращался к партии: мы сделали политическую революцию, теперь мы должны сделать экономическую и культурную революцию, которая выведет Россию из „патриархальщины, обломовщины и полудикости” на современный уровень [11].

Не все большевики безоговорочно согласились с этой национальной задачей. Некоторые сочли, что это конец революционного интернационализма. Другие просто не верили, что изолированная страна способна преодолеть такую отсталость. Но многие были в состоянии сочетать свои коммунистические убеждения с ролью модернизаторов (реформаторов); так, в 1924 г. в редакционной статье (скорее всего, написанной Бухариным) отмечалось:

История как бы говорит коммунистам: вот страна отсталая, неграмотная, нищая, разоренная, с гигантским преобладанием непролетарских элементов — здесь строите социа-

лизм, здесь докажите, что даже при небывало трудных условиях сможете вы прочно закладывать фундамент нового мира — если грядущее ваше — идите к своей цели, несмотря ни на что! [12].

Однако, когда задача была осознана, возник вопрос, как ее осуществить. Ведь цель заключалась не только в индустриализации, но и в построении социалистического общества, и это обстоятельство привело к тому, что экономическая осуществимость программы стала столь же важной, сколь и ее характер, и дискуссии 20-х гг. в связи с этим осложнились. Нужно было оставаться „ортодоксальным”, то есть соответствовать духу партии на каждом этапе ее исторического развития. Сталину приписывались слова о том, что большевики не желают „модернизированного большевизма без ленинизма” [13].

Но едва начались поиски внутриполитической программы, как партия сразу же обнаружила, что по поводу строительства социализма ортодоксальных большевистских взглядов не существует и что здесь в большевистской идеологии царит полная неразбериха. Отсутствие общего понимания основных принципов вытекало отчасти из первоначальной разнородности партии, чрезвычайного роста числа ее членов и (как с досадой заметил Бухарин) специализации внутри правящей партии, разбившей ее на множество профессиональных группировок с различными тенденциями, которые оценивали события с различных, близких им точек зрения [14]. Суровая ленинская резолюция о партийном единстве на X съезде явилась в одно и то же время и признанием этого разнообразия взглядов и донкихотской попыткой подавить его*. Однако, отыскивая основной источник теоретического кризиса, следует возвратиться назад, к 1917 г., когда большевики взяли власть, не имея подлинной внутриполитической программы. С тех пор были поспешно сымпровизированы и потерпели неудачу две идеи: ленинский государственный капитализм в начале 1918 г. — полурожденный, а затем и полузабытый; „военный коммунизм” — полностью дискредитированный (хотя и по разным причинам с точек зрения разных людей). Даже официальная программа 1919 г. устарела и стала неуместной, о чем Бухарин откровенно информировал правоверных на страницах „Правды” [15]. Немногим могли помочь и добольшевистские классики; теперь пришлось с высочайшей степенью реализма обратить внимание на то, что Маркс и Энгельс дали очень мало рекомендаций по переходному периоду [16].

После 1921 г. большевизм стал движением, в котором противостояли две конфликтующие идеологические (и эмоциональные) традиции, коренившиеся в „историческом большевизме”. Первую традицию можно назвать „революционно-героической”; она находила себе оправдание и черпала вдохновение в смелом перевороте, совершенном партией в октябре 1917 г.,

и в мужественной защите революции во время гражданской войны. Эти успехи, казалось, оправдывали „штурмовую атаку” как основной большевистский *modus operandi*. Последовательная революционность и бескомпромиссный радикализм этого героического подхода источали то, что один наблюдатель назвал „революционным романтизмом” [17]. Другая традиция, более осмотрительная и умеренная, только едва сложилась перед 1921 г., несмотря на то что она была исторически оправдана и имела прецеденты в ленинской умеренной экономической политике в начале 1918 г. и в стратегических уступках Брестского мира. Эта традиция созрела и сделалась откровенно эволюционистской и реформистской с введением нэпа, осторожный прагматизм которого явился полной противоположностью революционному героизму. В известном смысле раздвоение большевизма отразило двойственность в самом марксизме, в котором неуловимо переплелись волюнтаризм и детерминизм [18]. В 20-е гг. эти две традиции повлияют на позиции левого и правого крыла партии.

Тема героической традиции наиболее часто звучала в устах левой оппозиции. Троцкий, создатель Красной Армии и организатор победы в гражданской войне, был ее живым символом*; его надменные манеры и склонность к администрированию отражали победоносный дух революции. Хотя Троцкий и был иногда кое в чем реформистом во внутренней политике, он ярче, чем кто-либо другой, дал литературное выражение ореолу Октября. В своей работе „Уроки Октября”, написанной в 1924 г., а также в других выступлениях он характеризует 1917 год как звездный час большевизма и настаивает на том, чтобы революционная дерзость, оправдавшая себя в то время, сохранила свое значение. В официальном истолковании нэпа он видит первый признак „вырождения большевизма”. Он чувствовал, и справедливо, что большевистская доктрина утрачивает свой радикальный характер, и предостерегал, что преждевременный отход от революционного марксизма приведет к ненавистному социал-демократическому реформизму. Хотя предложения Троцкого о едином экономическом плане и „диктатуре промышленности” были скромнее по сравнению с тем, что получилось потом, он старался укоренять героическую традицию, призывая рабочий класс не шадить „кровь и нервы” у себя в стране и неразрывно связывая судьбу большевизма в России с международной революцией. Хотя и демагогически извращенная оппонентами, его концепция „перманентной революции” явилась метафорой, наилучшим образом выразившей его политическое лицо. „Мы ...просто солдаты в походе. Мы расположились на отдых только на день”, — писал он в 1923 г. Когда гражданская война закончилась, Троцкий ощутил, что миновал кульминационную точку своей судьбы, и он был прав [19].

Другие партийные левые явственно следовали заветам Октября в экономической политике. Такие экономисты, как Преображенский и Пятаков, вскоре выразили свое недоверие нэпу, протестуя против безоговорочного очернения „военного коммунизма“; они предупреждали о неизбежном конфликте с мелкой буржуазией и призывали к новым революционным наступлениям. Теория „первоначального социалистического накопления“ Преображенского, несмотря на ее пронизательный экономический анализ и декларируемую согласованность с принципами нэпа, явилась громким призывом совершить геркулесово усилие, чтобы преодолеть опасную „передышку между двумя битвами“. На реформистскую политику Преображенский смотрел свысока, как на ослабляющую волю пролетариата, „когда ему нужно продолжение геройской октябрьской борьбы, но теперь уже со всем мировым хозяйством, на хозяйственном фронте, теперь уже под лозунгом быстрой индустриализации страны“ [20]. По Пятакову, уступки нэпа были почти предательством Октября, когда обнаружился „подлинный дух большевизма“. Его большевизм не признает ограничительных объективных условий, что и составляет сущность различия между большевиками и меньшевиками: большевистской натуре „доступно то, что всем другим натурам, меньшевистским, кажется невозможным“ [21]. В героической традиции был заложен военный подход к делу: лобовая атака и развернутое наступление; многие левые оппозиционеры были на фронте во время гражданской войны. Впрочем, наследие Октября не знало политических границ, будучи источником вдохновения для самых различных людей и самых разнообразных программ. Защитники волюнтаристского планирования опровергали аргументы своих более осторожных коллег в конце 20-х гг., ссылаясь на то, что преимущества такого подхода были установлены в Октябре, когда были обойдены законы капиталистического развития. А в 1929 г. сталинская гонка с коллективизацией была официально определена как „план осуществления программы Октября в деревне“ [22].

С героической традицией были тесно связаны две идеи, которые таились на периферии партийной мысли на всем протяжении 20-х гг.: мечта о третьей революции и предчувствие термидора. Революционные движения обычно включали группы, которые после победы добивались „еще одной, окончательной революции“, чтобы решить оставшиеся нерешенными задачи. Во Франции глашатаем „второй революции“ был Бабеф, в германском фашизме сторонниками „второй революции“ был Эрнст Рем и его штурмовые отряды [23]. После Октября украинские анархисты, кронштадтские мятежники и „Рабочая правда“ (подпольная коммунистическая оппозиция) поднимали знамя „третьей революции“ против большевиков. Но лишь во время нэпа, когда

обострилась проблема привлечения нового капитала, уже в самой партии стали слышны разговоры о третьей революции, то есть о решительной экспроприации сельской буржуазии и нэпманов и окончательном решении политической и экономической проблем. До заимствования Сталиным этой идеи в 1929 г. она лежала в стороне от главных течений партийной мысли и обычно рассматривалась как фантазия людей, считавшихся партийными чудаками [24]. Троцкистские лидеры остерегались таких формулировок, хотя их двусмысленная позиция по отношению к сталинской революции заставляет думать, что они не были совершенно чужды его образу мыслей. Значительно важнее то, что они доносили партию пророчествами о термидорианском перерождении, призрак которого преследовал проповедников третьей революции.

Аналогия с французской революцией поражает почти каждого, кто вникает в русский опыт. Большевики сами себя величали пролетарскими якобинцами; социалисты-революционеры удивлялись: „Кто же мы, если не русские жирондисты?"; а известный историк французской революции Альбер Матъез в 1920 г. авторитетно свидетельствует о применимости этой исторической аналогии [25]. Нетрудно заметить, как цепко держали большевики в своей памяти французскую историю: Троцкий в 1925 г. слагает с себя обязанности народного комиссара по военным делам, парируя обвинения в том, что он вынашивает бонапартистские амбиции [26]. В таком случае естественно, что различные наблюдатели видели в нэпе замаскированный термидор. Один английский журналист рассматривал нэп одобрительно, сменовеховцы (группа просоветских, но не большевистских специалистов) — с надеждой, а меньшевики — со злорадством [27]. Для большевика, однако, перспектива термидора была страшным призраком, первым шагом к окончанию революции. Один зиновьевец в 1925 г., по-видимому, был первым большевиком, который в борьбе против правящего партийного большинства указал на опасность термидора. Но именно Троцкий придал этой проблеме эвристический смысл. После 1926 г. опасность термидора стала для него ключом к пониманию советского общества и важным элементом его оппозиции. Он мерил каждый признак отхода от революционной традиции, каждый акт внутренней и внешней политики термидорианской маркой. „Запах „второй главы” бьет в нос”, — восклицал он в 1926 г. [28]. Эта аналогия преследовала его и в конце концов ввела в заблуждение, притупив восприятие того, что происходило в Советском Союзе. И если перманентная революция питалась оптимизмом героической традиции, термидор символизировал отчаяние Троцкого перед лицом реформизма, казалось, завладевшего партией.

В 1921 г. в партийной мысли доминировал революционно-

героический подход. Дух Октября и гражданской войны, так же, как и традиционный образ большевизма как синонима максимализма, все еще сохраняли свою силу. Более того, было нечто недостойное в рождении нэпа, который давал почву для эволюционно-реформистских настроений. Восстания внутри страны и провал революции за рубежом вынудили партию на этот шаг; нэп постоянно определялся руководством как „отступление” и возник как бы нелегально. Вопреки утверждениям Ленина, что обнародование новой политики не сопровождалось особыми разногласиями, она вызывала широко распространенные „отчаяние”, „деморализацию”, „возмущение” и оппозицию в партийных и комсомольских рядах [29]. Один видный большевик горько сетовал в 1921 г., что в экономике не осталось „элементов социализма” [30]. Вначале можно было, в лучшем случае, видеть в нэпе выгодный маневр, едва ли способный возбудить энтузиазм или побудить к разработке долгосрочной программы. Два обстоятельства, однако, вскоре сделали реформизм и нэп более приемлемыми. Первое — это мирное настроение среди рядовых членов партии и в стране, где явно проявлялось стремление к гражданскому миру после многих лет потрясений. И второе, в последние годы жизни Ленин поддерживал своим огромным авторитетом реформистскую тенденцию; в дальнейшем ведущий партийный теоретик Бухарин развил ее в программу и взял на вооружение.

В. И. Ленин откровенно объяснял своим последователям новую экономическую политику как отступление, вызванное неудачами „военного коммунизма”. Но пытаясь обосновать новую экономическую политику, он подчеркивал, что она „принята всерьез и надолго”, указывая вместе с тем, что она является возвращением к его правильной, но преждевременно прерванной политике начала 1918 г.; и как бы желая убедить партию, что она недолго будет отступать, объявил вскоре, что отступление прекращается (хотя это заявление и не сопровождалось изменениями в политике). Между тем он начал развенчивать методы, отождествлявшиеся с „военным коммунизмом”; время „яростных атак” прошло; мнение о том, что все задачи могут быть решены коммунистическим декретированием означает коммунистическое чванство [31]. И в четвертую годовщину революции, через двадцать пять лет после того, как революционные марксисты предали анафеме Эдуарда Бернштейна, отца реформистского европейского марксизма, Ленин реабилитировал идею реформизма. Осуждая „преувеличение революционности” как величайшую опасность во внутренней политике, он писал: „Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к „реформистскому”, посте-

пеновскому, осторожно-обходному методу действий в коренных вопросах экономического строительства". Он сопоставил новый метод со старой большевистской традицией: „По сравнению с прежним, революционным, это – подход реформистский (революция есть такое преобразование, которое ломает старое в самом основном и коренном, а не переделывает его осторожно, медленно, постепенно, стараясь ломать как можно меньше)". В последние годы своей жизни Ленин развивал свои мысли о реформизме. В 1922 г. он посылает короткое приветствие „Правде" в форме пожелания: „Мое пожелание: чтобы в следующее пятилетие мы завоевали, и притом мирно, не меньше, чем до сих пор завоевали вооруженной рукой" [32].

Ни Ленин, ни Бухарин, который вскоре последовал за ленинской инициативой, не истолковывали свой эволюционизм как отклонение от революционных заповедей или идеалов Октября. Оба, например, считали непреложным урок Октября: необходимость сохранить в конструктивной форме историческую *смычку* между рабочим классом и крестьянством, которая в 1917 г. одержала победу благодаря сочетанию крестьянской войны с пролетарской революцией [33]. Целью, по-прежнему, оставалось революционное преобразование общества. „Наша революция не окончена", – обещал Бухарин. Эволюционизм означает экономическую революцию, которая должна совершаться не „одним ударом революционного меча", но на пути органического развития по „рельсам" нэпа [34]. И Ленин, и Бухарин оказали решающее влияние на радикализацию русского марксизма до и во время мировой войны; их работы об империализме в буржуазном государстве придали большевизму воинствующий идеологический характер в отличие от характера социал-демократии, и ни тот, ни другой никогда открыто не отказывались от радикальной традиции. Но хотя основная работа по доказательству теоретической совместимости реформизма с радикализмом выпала на долю Бухарина, только Ленин мог стать инициатором того, что могло казаться глубокой ревизией. Ведь кроме термидорианцев большевики помнили еще и Эдуарда Бернштейна.

После поражения Бухарина в 1929 г. сталинисты-критики стали отзываться о нем, как о советском Бернштейне [35] – интересная аналогия, которая, впрочем, доставила своим приверженцам некоторое неудобство. Незадолго до смерти Энгельс, один из основоположников марксизма и наставник Бернштейна, завершил работу, в которой он как бы пересматривает ортодоксальную доктрину, утверждая, что в некоторых странах пролетариат может прийти к власти легальным путем, без революции. Бернштейн использовал это „последнее завещание", защищая свою решительную ревизию марксизма и отход от радикализма [36]. В период между 2 января и 9 февраля 1923 г.,

после перенесенного в конце декабря 1922 г. второго удара, Ленин продиктовал пять коротких, тематически связанных статей: „Странички из дневника“, „О кооперации“, „Как нам реорганизовать Рабкрин“, „О нашей революции“, „Лучше меньше, да лучше“. Они стали его последними статьями. Вскоре Бухарин начал доказывать, что они являются его „политическим завещанием“, „его директивой“ и означают важное изменение в ленинских взглядах на нэповскую Россию и строительство социализма: „Ильич ... начал диктовать политическое завещание и на краю могилы сказал вещи, которые десятками лет будут определять политику нашей партии“ [37]. Бухарин заявил, что его собственная программа основана на этом „завещании“. О значении пяти статей спорили в течение всего десятилетия; некоторые большевики соглашались с Бухариным, другие отрицали, что Ленин изменил свое мнение по существенным вопросам и цитировали взамен раннего Ленина. Были и такие, которые настаивали на том, что реформизм Ленина проистекал из того, что он был болен и находился в состоянии депрессии и, следовательно, не может быть принят всерьез [38]. Разногласия среди большевиков в немалой степени происходила от неоднозначности ленинского теоретического наследия.

Впервые Ленин высказался о своем понимании нэпа в мае 1921 г. в статье, озаглавленной „О продовольственном налоге“. В ней он определял новый курс как возврат к государственному капитализму, подчеркивая эту внутреннюю связь длинной выдержкой из своего собственного выступления в мае 1918 г. в защиту государственного капитализма против „левых коммунистов“. Крупные капиталы, общественный и частный, будут снова объединены и противопоставлены менее прогрессивным мелкобуржуазным элементам. Это единственно осуществимый переход к социализму в крестьянской стране. Ленин перечислил четыре формы государственного капитализма, присутствовавшие в экономике в 1921 г.: иностранные концессии (Ленин оптимистически верил, что западные капиталисты станут охотно вкладывать капиталы в Советской России); привлечение капиталиста в качестве торговца, работающего под контролем государственных органов; сдача в аренду предпринимателю-капиталисту государственной собственности. Не упоминая принадлежащие государству крупные действующие предприятия, Ленин подразумевает, что они являются социалистическими, — позже он назовет их предприятиями „последовательного социалистического типа“ [39].

Ленинское сопоставление 1921 г. с 1918 г., когда он мысленно видел сближение нового Советского государства с частными индустриальными учреждениями, было поверхностным и шатким*. В отличие от 1918 г. государство теперь контролировало большинство промышленных предприятий, а крупного частного

капитала больше не существовало. Более того, в 1918 г. Ленин не пользовался понятиями свободной торговли и поэтому в своей первоначальной версии государственного капитализма умалчивал о вопросе рыночных отношений [40]. Когда он написал статью „О продовольственном налоге”, торговля была еще ограничена, но в 1922 г., когда она стала национальным явлением, он был вынужден квалифицировать обычную торговлю как капитализм и включить ее в общую систему государственного капитализма. Кроме того, что его теоретическая концепция была противоречива и почти непонятна, Ленин нарисовал мрачную картину России после четырех лет революции. Согласно Ленину, как позже заметил Бухарин, казалось, что был только „крошечный островок социализма, а все остальное – государственный капитализм...” [41].

Таковым оставался общий взгляд Ленина на нэп в России в следующие полтора года. Бухарин (как и другие) сразу же выдвинул свое прежнее возражение, что государственный капитализм теоретически невозможен при диктатуре пролетариата, снова говоря Ленину как публично, так и в частном общении: „Вы неправильно употребляете слово „капитализм”. Но так как они сходились во мнениях относительно проводимой политики, а в этом вопросе не могли переубедить друг друга, то оба отбросили этот терминологический спор как абстрактный и несущественный [42]. К тому же Ленин, страстный прагматик, в 1921 и в 1922 гг. был гораздо менее обеспокоен теоретическими дефинициями, нежели необходимостью разъяснить партии важность и цели нэпа: привлечь частную инициативу крестьян для того, чтобы привести в движение крупную и мелкую промышленность; добиться с помощью торговли прочной экономической и политической с м ы ч к и между пролетариатом и крестьянством, между промышленностью и сельским хозяйством; сделать государственные экономические органы эффективными и способными выдержать борьбу с их частнособственническими конкурентами. Тем большевикам, которые были озабочены вопросом, куда все это приведет, Ленин давал неопределенное обещание „построить сначала прочные мостки... через государственный капитализм к социализму”, „иначе вы не подойдете к коммунизму...” [43]. Он не объяснял, как это произойдет, и сомнительно, чтобы он понимал это до конца 1922 г., когда его представления стали меняться.

Три обстоятельства в июне 1921 г. заставили Ленина переосмыслить свою концепцию нэпа и государственного капитализма. Во-первых, причиненные войной опустошения и голод постепенно преодолевались, и в экономике, включая и государственный сектор, был замечен неуклонный прогресс, хотя тяжелая промышленность серьезно отставала. Положение правительства упрочилось. Во-вторых, Ленин возлагал надежды на привлечение

нового капитала путем иностранных займов и концессий; это была его формула восстановления и индустриализации. Этот план провалился почти полностью. В сентябре 1922 г. Ленин признал, что нельзя рассчитывать на достаточный приток иностранного капитала и пришел к выводу, что стране нужно развивать свои собственные ресурсы путем экономии и увеличения налогообложения. Эти обстоятельства не только направили внимание Ленина на внутреннее состояние дел, но и исключили основной элемент государственного капитализма из ленинского первоначального анализа. И в-третьих, как только возобновились нормальные рыночные отношения, кооперативные объединения, очень многочисленные и имевшие большое значение в предоктябрьский период, а во время „военного коммунизма” превращенные в государственные распределительные органы, стали постепенно восстанавливать свой автономный статус и забирать в свои руки все большую часть розничной и оптовой торговли. Большевики привыкли пренебрегать этими производственными и потребительскими объединениями как полукапиталистическими, крестьянскими, реформистскими институтами, ранее руководимыми социалистами-революционерами и меньшевиками. В статье „О продовольственном налоге” Ленин квалифицировал эти объединения как разновидность „государственного капитализма” [44].

Таким образом, к 1922 г. кооперативы как будто оказались основными элементами государственного капитализма в России, совершенно непохожими на крупный промышленный капитал, который первоначально имел в виду Ленин. Поскольку свободная торговля неизменно официально поощрялась, постольку должны были, конечно, все шире развиваться и торговые кооперативы. Ленин, вероятно, начал менять свою точку зрения в конце декабря 1922 г. 20 ноября он произнес речь, которая оказалась его последним публичным выступлением. После оценки положения вещей в стране он заключает в поразительно оптимистическом тоне: „Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего...”, он заверяет, что „не завтра, а в несколько лет... из России нэповской будет Россия социалистическая”. Не далее, чем через месяц, он начал готовить свои последние пять статей, которые (по мнению многих) перевели это обещание в программу [45].

Взятые в целом, все статьи исходят из одной социально-политической предпосылки: „В нашей советской республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и крестьян”. „Раскол” между двумя этими классами, как заключает Ленин, „был бы губителен для советской республики”. Такое неортодоксальное сочетание классов было обусловлено тем, что первая социалистическая революция произошла в отсталой крестьянской стране. Но, утверждал Ленин, отклонение от

ожидавшегося исторического образца („германская модель“) не помешает, как думают меньшевики, построению социализма в России. Сначала мы должны „создать предпосылки цивилизации“, а затем „начнем движение к социализму“. Написав это, он спрашивает риторически: разве „подобные видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны“? Приведя статистические данные о численности неграмотного населения, превышавшей 65%, Ленин призывает партию начать с помощью „культурной революции“ ликвидировать эту „полуазиатскую бескультурность“ и подвергнуть сельское население воспитательному воздействию городов, однако „не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм“. Это, пишет он, также было бы „гибельно для коммунизма“ [46]. К крестьянству нужно подходить осторожно и терпеливо, учитывая уровень его интересов. А это соображение привело Ленина к вопросу о кооперации.

Статья „О кооперации“ содержит самокритичное заявление: „Мы... забыли думать о кооперации“. Исправив теперь эту ошибку и решив, что эти объединения представляют собой идеальное сочетание частного интереса и государственного регулирования, Ленин делает вывод, что кооперативы — кирпичики советского социализма, институты, которые дадут возможность „всякому мелкому крестьянину... участвовать в построении“ социализма:

В самом деле, власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т.д. — разве... это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения.

Он считает, что в лучшем случае „одно-два десятилетия“ потребуется для того, чтобы все население смогло участвовать в кооперативах и чтобы в культурном отношении крестьянин преобразовался в „толкового грамотного торгаша“. Но в советских условиях это уже будет социализм: „...строй цивилизованных кооператоров... — это есть строй социализма“ [47].

Ленин совершил полный поворот и в своих собственных взглядах, и в толковании марксистского учения. Он говорил все время о торговых или сбытовых организациях, а не (как позже утверждали сталинисты) о производственных кооперативах. Он черпал из старой домарксистской „утопической“ социалистической традиции. Свой отход от прежних взглядов он обосновывает тем, что революция вызвала изменение в природе кооперативов. В кооперативном социализме Роберта Оуэна и других старых кооператоров было много „фантастического, даже ро-

мантического”, так как игнорировалась предварительная задача политической революции; в Советской России фантастика „становится самой неподкрашенной действительностью”. Это, кстати, было прямо противоположно позиции Ленина, отраженной в статье „О продовольственном налоге”, где он писал: „Свобода и права кооперации, при данных условиях России, означают свободу и права капитализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы глупостью или преступлением”. Теперь же Ленин доказывает, что (за „небольшим” исключением концесий) „простой рост кооперации для нас тождественен... росту социализма” [48]. Он превратил островок социализма в море, а от государственного капитализма мало что осталось, если осталось вообще.

Если даже не считать эти последние статьи „Завещанием”, можно установить, что в них отражены глубокие изменения во взглядах Ленина. Конечно, наряду с позитивными ленинскими высказываниями дает себя знать и растущее разочарование государственной и партийной бюрократией; две его последние статьи явились главным образом тревожным предупреждением против „постылой чиновничьей реальности”. Но преобладала его оптимистическая оценка нэпа как продвижения к социализму. Он снова выражает уверенность, что путем тщательной экономии внутренние источники накопления в России смогут стать фундаментом индустриализации. Вместе с тем важно и то, что, определяя, хотя и в общих чертах, тип русского кооперативного социализма и ставя этот вопрос независимо от международной революции, Ленин тем самым подразумевает, что социализм в изолированной Советской России возможен. Его последние директивы партии не кажутся ни интернационалистическими, ни революционными; героическая традиция в них почти полностью отрицается открытым признанием нового реформизма:

...мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т.д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную „культурную” работу [49].

Бухарин также переосмыслил свой большевизм в течение первых лет нэпа. Он особенно мало печатается в 1921 и 1922 гг. (что само по себе является признаком его молчаливого размышления); он в основном как бы оценивал и взвешивал различные перспективы. Он открыто рассуждал по поводу огромных трудностей, вставших перед взявшей власть революционной партией, и с грустью сравнивал их с простыми, четкими решениями раннего периода [50]. Плоды его размышлений вскоре обнаружили, и к концу 1923 г. он сформулировал свои мысли

по большинству проблем внутренней политики на период до конца десятилетия. А годом позже, как бы формулируя коллективное признание партии своей вины, он объясняет, как пробудилась новая мудрость. Воскрешая в памяти Марксово положение о том, что пролетарская революция может найти правильную политику через постоянную самокритику, он писал:

В огне этой самокритики сгорают и исчезают без следа иллюзии детского периода, реальные отношения выступают во всей их трезвой наготе, и пролетарская политика приобретает иногда внешне менее патетический, но зато более уверенный, прочный, плотно прилипающий к действительности и потому гораздо вернее изменяющий эту действительность характер.

С этой точки зрения переход к новой экономической политике явился крахом наших иллюзий [51].

Его собственные иллюзии относительно „военного коммунизма” начали рушиться в 1920 г., и к февралю 1921 г. Бухарин признал необходимость коренных перемен. Замена продразверстки, несомненно, была встречена им с полным одобрением, но с одним-единственным возражением во время предварительной дискуссии о новом курсе в Политбюро, возражением, вызванным тем, что Ленин настаивал на термине „государственный капитализм”. В этом отношении Бухарину было, возможно, легче, чем Ленину, включить в свое понимание вопроса последнее развитие свободной торговли. Сущностью капитализма, доказывал он, является „капиталистическая собственность”, а не рыночные отношения [52]. По-видимому, он относился с меньшим энтузиазмом к иностранным концессиям (не нравилась ли ему сама идея или он считал ее невыполнимой — остается неясным) и потому раньше подчеркнул значение внутренней и внешней торговли. Но то, что он полностью одобрял новую политическую линию, было очевидно. Среди циркулировавших в партии официальных материалов, популяризовавших эту политику, фигурировала и его статья „Новый курс экономической политики” [53].

Хотя Бухарин и не напоминал об этом, возникшая экономическая система походила на то, что он защищал в начале 1918 г. В самом начале, однако, принятие им новой экономической политики не означало убежденности в длительной целесообразности правильности нэпа. Подобно другим лидерам, он настойчиво оправдывал нэп в течение нескольких месяцев, подчеркивая стратегическую целесообразность перемены и доказывая, что хотя нэп влечет за собой рискованные уступки, он отводит худшую угрозу. Кронштадт и крестьянские восстания были признаком „крестьянской Вандеи”; экономические уступки позволяли избежать уступок политических и тем самым восстановить благоприятное социальное равновесие и оживить эконо-

мику. Он старался убедить своих слушателей считать этот маневр „крестьянским Брестом” [54]. Но высказываясь уклончиво относительно обоснованности и постоянства нэпа, Бухарин категорически исключает возможность возврата к продразверстке и „военному коммунизму”. Косвенно комментируя свое собственное оправдание насилия в „Экономике переходного периода”, он теперь утверждает, что „внеэкономическое принуждение” было ограничено разрушительной эрой революции; как только старый строй был разбит, оно утратило „девять десятых своего смысла”. Конструктивная эра будет мирной [55].

Энтузиазм Бухарина по отношению к нэпу проявлялся по мере того, как усиливалась его критика „военного коммунизма”. В августе 1921 г. он признал, что, хотя прежняя политика и была необходимой с военной точки зрения, она несовместима с экономическим развитием [56]. В декабре он связывает экономическую нерациональность „военного коммунизма” с бюрократической сверхцентрализацией. „Всеобъемлющий аппарат” был учрежден для контроля над всей экономикой крестьянской страны, но он оказался экономически „менее рациональным, чем анархическая товарная структура”. Теперь Бухарин утверждает, что существуют строгие пределы того, что пролетариат может и должен пытаться организовать:

Беря на себя слишком много, он вынужден создавать колоссальный административный аппарат. Для выполнения экономических функций мелких производителей, мелких крестьян и т.д. ему потребуется слишком много служащих и администраторов. Попытка заменить всех этих деятелей государственными чиновниками — называйте их как хотите, фактически это государственные чиновники — породит такой колоссальный аппарат, что расходы по его содержанию окажутся несравненно значительнее непроизводительных издержек, являющихся следствием анархического состояния мелкого производства; в результате, вся эта форма управления, весь экономический аппарат пролетарского государства не облегчит, но лишь затруднит развитие производительных сил. В действительности он выльется в прямую противоположность тому, чем должен был бы быть, а потому железная необходимость заставляет сломать его... Если это не сделает сам пролетариат, то другие силы свергнут его.

Позиция Бухарина в 20-х гг. вытекала из его убеждения, что в некоторых сферах экономики рыночные отношения более эффективны, чем вмешательство государства, и этим объясняются его возражения проповедникам „плана Чингисхана” [57].

Эти положения находились в прямом противоречии с „Экономикой переходного периода”, где он прославляет организаторские способности пролетариата. Ограниченность эффективности государственного контроля можно было бы частично объяснить

ссылкой на раздробленность крестьянской экономики России; однако эта проблема имела более глубокие корни. Возникает вопрос о зрелости русского пролетариата, а следовательно, и более важный вопрос: действительно ли Россия „созрела” для социалистической революции? Большевиков беспокоило предположение, что они действовали преждевременно в 1917 г., что их социальная революция обречена; именно основываясь на такой предпосылке, марксистские критики от Богданова до меньшевиков оспаривали право большевиков говорить и действовать от имени марксистского социализма. В „Экономике переходного периода” Бухарин отводил аргумент об относительной отсталости России утверждением, что, поскольку старый экономический строй был разрушен в процессе революции, основным показателем „зрелости” — это существование развитого пролетариата как „социально-организующего” класса. Этот аргумент больше не был пригоден. Все соглашались, что пролетариат „окрестьянивается”, значительная часть его присоединяется к крестьянству по своему мировоззрению, а иногда и роду занятий. Поэтому Бухарин целиком переосмыслил вопрос о „зрелости”. Результатом явилась большая статья „Буржуазная революция и революция пролетарская”, написанная в конце 1921 г. и опубликованная летом 1922 г., где он опять пересматривает эту кардинальную марксистскую доктрину [58].

В своих представлениях о будущей социалистической революции марксисты использовали исторический пример возникновения капитализма из феодализма. Предполагалось, что подобно тому, как капитализм сформировался в недрах феодального общества, социализм вызреет внутри старого капиталистического строя. Бухарин утверждал в своей статье, что эта аналогия в корне неверна. Сущность его аргументации весьма проста. В феодальном обществе зарождающаяся буржуазия имела самостоятельную базу в новых городах, где она могла развиваться независимо, находясь в оппозиции к феодальному классу, создать свой собственный материальный, технический и культурный базис и произвести свою собственную административную элиту. Буржуазия не была эксплуатируемым или угнетенным классом, и, таким образом, еще до своей политической революции стала во всех отношениях правящим и организующим классом. Положение пролетариата в капиталистическом обществе, продолжает Бухарин, совершенно иное. Лишенный независимой экономической базы пролетариат в массе своей оставался экономически и культурно угнетаемым и эксплуатируемым классом, несмотря на то что он потенциально выражал идею более высокой культуры. Буржуазия монополизировала не только средства производства, но и средства образования (этот пункт, по мнению Бухарина, ранее игнорировали). На всем протяжении своей предреволюционной истории пролета-

риат неизбежно оставался отсталым классом внутри развитого общества. И поэтому, в отличие от буржуазии, он неспособен *подготовить себя к организации всего общества*. Он успевает подготовить себя „к разрушению старого мира“; но „*как организатор общества он „вызревает” лишь в период своей диктатуры*” [59]. Таким образом, классовая незрелость не является особенностью русского пролетариата, но характеризует пролетарские революции вообще.

Одним ударом Бухарин расправился с рядом идеологических затруднений, стоявших перед большевиками. В сочетании с его предыдущим толкованием экономической отсталости этот аргумент давал ответ оппонентам-марксистам, подготавливал почву для последующего объяснения больших „издержек” русской революции (неопытный пролетариат, совершающий „ужасающее число ошибок”); тем самым экономическое и культурное обновление обосновывалось как закономерная задача марксистской партии. Этот аргумент также оправдывал использование старой „технической интеллигенции” как промежуточную меру в период подготовки пролетарских специалистов. Но прежде всего этот аргумент объяснял на более высоком уровне, почему диктатура пролетариата стала „диктатурой партии”, чего большевики больше не старались отрицать. По большей части неквалифицированные массы пролетариата должны были управлять через посредство своего передового отряда — партии, которая для пролетариата является „тем же, чем голова для человека”. Но авангард в свою очередь тоже неоднороден и поэтому нуждается в вождях, „через которых партия выражает свою волю”. Бухарин прошел большой путь от мифа о гегемонии пролетариата и не испугался последнего шага: так как рабочий класс неспособен взрастить свою собственную элиту во чреве капитализма, первоначально его ведущие лидеры неизбежно должны выйти „из враждебного класса ... из буржуазной интеллигенции” [60]. Советской действительности было дано теоретическое объяснение.

Аргумент Бухарина можно было бы отвергнуть как пример наивной идеологической софистики, если бы не следующие два обстоятельства. Во-первых, его трактовка „зрелости” и аналогия с появлением капитализма из недр феодализма выглядели более убедительно, чем ортодоксальная доктрина, которая была только неразработанным теоретическим допущением. Во-вторых, он подошел к своему открытию серьезно и не закрывал глаза на опасность, на которую это открытие указывало. Если в течение переходного периода медленно созревающий, но еще в большей степени неразвитый пролетариат остается политически, культурно и административно подчиненным множеству высших авторитетов, то очень велика опасность извращения социалистического идеала. Многие большевики во время нэпа говорили об

опасности перерождения, обычно имея в виду мелкобуржуазную экономическую базу России и реставрацию капитализма руками кулаков и нэпманов. Это стало излюбленным предсказанием левой оппозиции и Троцкого, который, отчасти непоследовательно, связывал его со своими предостережениями против термидора и „бюрократического перерождения”. Бухарин был среди первых (если не первым) большевистских лидеров, поднявших этот вопрос [61]; и хотя он время от времени тоже упоминал о „мелкобуржуазной опасности”, его истинное беспокойство было более глубоким и менее ортодоксальным.

Он боялся, что „культурная отсталость” рабочих масс может допустить образование нового класса. Если передовой слой пролетариата (его руководящие кадры) окажется „отчужденным от масс” и „ассимилируется” господствующей административной элитой, эти прослойки могут слиться в привилегированную и „монополитическую касту” и совместно „превратиться в зародыш господствующего класса”. Бухарина не утешало традиционное марксистское наставление: „Апелляция к рабочему происхождению и пролетарской добродетели сама по себе не может служить аргументом против возможности такой опасности”. Он рассчитывал на два явления, способные подорвать эту тенденцию к „вырождению” — на рост производительных сил и упразднение монополии на образование. „Грандиозное пере-производство организаторов”, выдвинутых из рабочего класса, приведет к тому, что „потеряется устойчивость руководящих группировок”, и „этот возможный новый класс” может быть разрушен [62].

Не говоря уже об откровенности анализа Бухарина, он замечателен еще и тем, что подразумевает отход от ортодоксального марксистского определения классов. отождествление классового господства с юридическим правом собственности мешало в последующие десятилетия коммунистам-антисталинистам сформулировать свою критическую позицию. Даже Троцкий в своем крайне пессимистическом труде „Преданная революция” отрицает, что сталинская бюрократия составляет общественный класс. Однако за тридцать лет до работы Милована Джиласа „Новый класс”, где понятие „класса” пересматривается и прилагается к советскому обществу, Бухарин предостерег от „нового правящего класса”, базирующегося не на частной собственности, но на „монопалистической” власти и привилегиях. Именно эту проблему, позже выраженную в западной теории в терминах „класс менеджеров” и „власть без собственности”, Бухарин игнорировал в 1915—1916 гг., исследуя новейший капитализм, а теперь увидел: эксплуататорский класс организаторов производства может возникнуть на базе национализированной собственности. Насколько сильно эта „огромная опасность” тревожила Бухарина, свидетельствует тот факт, что он связал эти раз-

мышления с различными теориями элит Богданова и Роберта Михельса.

Богданов уже давно доказывал, что правящий класс в любом обществе — это такая группа, которая организует экономику, неважно, владеет она фактически средствами производства или нет. По Богданову, основной источник эксплуатации заложен в отношениях организатора к организуемому [63]. Утверждение Бухарина, что „различие между техником и рабочим” не может быть уничтожено внутри капиталистического общества, было прямо направлено против богдановского вывода о том, что пока пролетариат не созреет в качестве класса, способного быть организатором, социалистическая революция преждевременна [64]. Однако он не оспаривает новое определение класса у старшего мыслителя. Не спорит он и с теоретическими находками Роберта Михельса в его „очень интересной книге” (*Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie*), где показывается, что „неограниченное распоряжение капиталом... предоставляет тем, кто им распоряжается по меньшей мере такую же власть, какую давало бы владение принадлежащей им частной собственностью”. Бухарин пытался возражать против вывода, что „социалисты могут победить, а социализм победить не может”, доказывая взамен, что в будущем обществе „некомпетентность массы”, которую Михельс „возводит в вечную категорию”, исчезнет. Это было надеждой, но он не был полностью уверен в таком исходе. Класс эксплуататоров без частной собственности возможен, и он предостерегал партию: „Наша же задача состоит в том, чтобы не допустить вообще такого „эволюционного” возврата к эксплуататорским отношениям” [65]. Считать краткие замечания Бухарина по поводу нового класса теорией — значит преувеличивать их значение. Как бы испугавшись, куда приведет логика его рассуждений, он только намекал на такой потенциально возможный „трагический исход” революции. Этот ход мысли отражал, быть может, его самые серьезные внутренние опасения, компенсированные в некоторой степени высказываемой им публично догмой, что эксплуатация рабочего класса невозможна в „рабочем государстве”. Эволюция революционного режима в новый вид эксплуататорского бюрократического государства представлялась ему в 20-х гг. большей опасностью, чем левым большевикам опасность „мелкобуржуазного перерождения” [66]. Он считал, что экономическая программа левых ведет к закреплению официального „произвола” „военного коммунизма” и к зарождению „привилегированных групп коммунистов”, „нового штата чиновников”, безразличных к нуждам масс и обладавших „абсолютным иммунитетом” — гарантией, что избиратели их не могут отозвать. Возрождение эксплуатации стало беспокоить его в большей степени, чем сама по себе судьба городских масс: программа, предусматривающая

„ограбление” деревни, может привести, предсказывал он, не к бесклассовому социалистическому обществу, но к „вечному царству” пролетариата” и к „его перерождению в действительно эксплуататорский класс” по отношению к крестьянству. В то время как другие пытались увидеть на горизонте призраки французской революции, прислушиваясь к „шагам истории”, Бухарина волновала форма перерождения, не имевшая исторического прецедента [67].

То, что он выбрал первый год нэпа для размышлений об этой мрачной перспективе — не случайно. Кронштадт и восстания в деревнях породили в нем глубокое беспокойство, что партия изолирована, и сознание того, что большевики теперь правят как ничтожное меньшинство, опирающееся на вооруженную силу и не имеющее даже полной поддержки класса, за представителей которого они себя выдают [68]. Некогда бывшая руководителем и голосом революционных рабочих и крестьян партия сейчас „оторвалась от масс”. Народ рассуждает, говорил Бухарин на X съезде партии: „Нет хлеба, нет угля — в этом виновата Коммунистическая партия”. В июле 1921 г. он выразил неуверенность в том, что режим может удержаться, отметив, что ситуация совершенно отлична от 1917 г., когда „за нами шли все рабочие и все солдаты”, и „тогда веселей было жить...” [69]. Хотя Бухарин продолжал восхвалять диктатуру партии, временами совершенно безоглядно, образование элиты было для него неприемлемо; с этого времени его рассуждения определялись необходимостью преодолеть изоляцию, унаследованную от гражданской войны, восстановить поддержку народа и приобрести для партийной программы наибольшее число союзников.

После 1921 г. внимание Бухарина сосредоточивается на „беспартийных массах”, а его прежний энтузиазм относительно революционного принуждения сменяется подчеркиванием значения убеждения и воспитания [70]. Он начал видеть в „колоссальной” бюрократии, возникшей во время „военного коммунизма”, все признаки партийной изоляции, связывая ее усиление с „пустотой”, которая образовалась между большевистским правительством и народом. Результатом этих размышлений явилась одна из его основных идей. Противоядие против бюрократии заключалось в заполнении этой пустоты сотнями и тысячами малых и больших „быстро образующихся добровольных обществ, кружков, объединений”, которые должны бы были обеспечивать „связь с массой”. Они должны способствовать „децентрализованной инициативе” и коллективно составить „передаточный механизм”, посредством которого партия могла бы как влиять на общественное мнение, так и испытывать его влияние. Их разрастание превратилось бы в то, что Бухарин называл „ростом... советской общественности” и привело бы к восстановлению нарушенных „общественных тканей” [71]. Это убеж-

дение Бухарина в необходимости добровольных организаций и „инициативы масс на низах”, противостоящих „огосударствлению”, было характерной частью его идей.

Под „массами”, конечно, подразумевалось крестьянство. Не будучи никогда среди большевиков экстремистом по крестьянскому вопросу, Бухарин теперь понимал, что устойчивость партии зависит от прочного союза с деревенским населением. Каждая из остальных проблем, волновавших его в 1921—1923 гг., — отсталость России, бюрократическая сверхцентрализация и изоляция большевиков — была составной частью одной большой проблемы. Идея исторической смычки между пролетариатом и крестьянством (обычный эвфемизм, определявший отношения партии и крестьянства) вскоре стала характеризоваться им как „основной вопрос нашей революции”, „лозунг лозунгов”, а *conditio sine qua non* пролетарской революции. После 1921 г. эта идея стала основным фактором в политических воззрениях Бухарина, и к апрелю 1923 г. он стал в большевистском руководстве наиболее убежденным и последовательным защитником нерушимости смычки [72].

Убеждение в необходимости привлечь на свою сторону крестьян само по себе не было необычным. Многие большевики, во всяком случае на словах, признавали это в начале 20-х гг. То, что было характерным для замечаний Бухарина о смычке, — это все возрастающая тенденция говорить о крестьянстве как о целом, недифференцированном классе и обходить ортодоксальное большевистское положение о расслоении крестьян, о разделении их на деревенских друзей и деревенских врагов. В своей речи в Университете им. Свердлова в начале 1923 г. он признавал, что партия очень мало знает современную жизнь деревни, и настаивал на том, что надо предпринять новые исследования и избежать „штампов”. Он полагал, что один из этих штампов касается проблемы крестьянского равенства и степени „расслоения крестьянства”; а на этот вопрос, добавлял он, „нет однозначного ответа” [73]. Неясно, насколько далеко развивались такие его мысли в этот период. Но то, что он уже имел обыкновение говорить о пролетариате и крестьянстве как о „двух трудящихся классах”, положило начало горячо отстаиваемой им теории, согласно которой Советская Россия — это „двухклассовое общество”, а „рабоче-крестьянский блок” пришел на смену старому правящему „буржуазно-помещичьему блоку” [74]. Оба положения явились существенными в его внутривнутриполитической программе.

Подобно Ленину, Бухарин стал видеть в нэпе подходящую основу большевистской экономической политики и условия общественного равновесия, которые могут вести страну по направлению к социализму. Он изложил свои взгляды на IV конгрессе Коминтерна в ноябре 1922 г., на котором Ленин и Троц-

кий, объясняя нэп, делали акцент на тактические соображения его введения. Бухарин полагал, что необходим другой угол зрения. Он говорил:

Нэп... это не только стратегическое отступление, но и разрешение крупной общественно-организационной проблемы, а именно, проблемы соотношения между отраслями производства, которые мы должны рационализировать, и теми, которые мы рационализировать не в состоянии. Будем говорить откровенно: мы попытались взять на себя организацию всего — даже организацию крестьян и миллионов мелких производителей... С точки зрения экономической рациональности это было безумием [75].

Спустя несколько недель он косвенно противопоставил свои новые идеи еще преобладавшим в партии настроениям; он провозгласил необходимость новой партийной программы, доказывая, что программа 1919 г., так же, как и его собственная „Азбука коммунизма“, „которая стала партийным каноном“, устарели в связи с нэпом. Вскоре после этого он заявил: „Мы сейчас видим, что мы придем к социализму... не так, как думали раньше, но гораздо более прочным и основательным путем“ [76].

В процессе пересмотра своих концепций Бухарин наметил также и три других принципа нового реформистского большевизма. Первый и наиболее важный состоял в том, что „гражданский мир под господством пролетариата“ должен прийти на смену гражданской борьбе как партийной политике. Из этого следовал его аргумент, что классовая борьба в России должна теперь вестись не насильственными методами, а путем мирного рыночного соревнования между социалистической и частной экономикой, а также на идеологическом и культурном фронтах. Наконец, в 1922 г. бухаринское представление о дальнейшем постепенном социалистическом развитии нашло наиболее яркое выражение в его теории „вращения в социализм“. Он попытался сформулировать эту идею на конгрессе Коминтерна, отделив ее от „ревизионистского понимания... что капитализм вращается в социализм“:

Можно утверждать, что одними декретами, одними принудительными мерами мы не сумеем выполнить нашу задачу... но что потребуются продолжительный органический процесс... процесс действительного вращающегося в социализм. Но различие между нами и ревизионистами — в установлении срока для начала этого вращающегося. Ревизионисты, которые не хотят никакой революции, утверждают, что этот процесс вращающегося совершается уже в лоне капитализма. Мы же утверждаем, что он начинается лишь вместе с диктатурой пролетариата. Пролетариат должен разрушить старое буржуазное государство, захватить власть и при помощи этого рычага изменить экономические отношения. Мы имеем здесь долгий процесс разви-

тия, в течение которого социалистические формы производства и обмена получают все более широкое распространение и, таким образом, постепенно вытесняют все остатки капиталистического общества... [77].

К 1923 г. он уверял, что крестьянская экономика будет охвачена этим развитием „через процесс обращения”, и настойчиво разъяснял, что „эволюционный путь” есть реальность советской жизни: „Мы будем многие десятки лет *медленно вращаться в социализм*: через рост нашей промышленности, через кооперацию, через возрастающее влияние нашей банковской системы, через тысячу и одну промежуточную форму” [78].

Появление этой теории уже в ноябре 1922 г. дает повод сомневаться, что идея построения „социализма в одной стране” возникла в ответ на поражение революции в Германии в октябре 1923 г. Хотя это и верно, что разочарование в германской революции окончательно разрушило надежды большевиков на близкую европейскую революцию и что идея о строительстве социализма в изолированной России была формально впервые выражена Сталиным в декабре 1924 г. [79], бухаринские положения о „врастании” показывают, что необходимое обоснование было высказано раньше. Хотя его теория еще не касалась трудной проблемы индустриализации (возникшей в 1924 г.), она поднимала вопрос о продвижении России к социализму совершенно вне зависимости от международной революции (то же самое верно в отношении статьи Ленина „О кооперации”, где он говорил, что имеется все „необходимое и достаточное”). Бухарин, возможно, сознавал еретический тон своих доказательств; он спешил заверить аудиторию Коминтерна, что „русский социализм по сравнению с другими будет выглядеть по-азиатски” и что экономическая отсталость России найдет выражение „в отсталых формах нашего социализма” [80].

Он не противопоставлял строительство социализма в России международной революции, но, однако, никогда больше не ставил первое в зависимость от второго. Подобно Ленину, он пытался представить себе картину большевистского будущего в крестьянской России. Произойдет европейская революция или нет, партия обладает властью, и напрашивается один из двух выводов: либо она построит социалистическое общество, либо под ее предводительством произойдет эволюция к капитализму. Если первый вывод ошибочен, „тогда, — воскликнул Бухарин в 1926 г., — нам нечего было идти на октябрьские баррикады” [81]. В этой связи будущий сталинский лозунг „построения социализма в одной стране” был менее новаторским, чем предполагают. В самом деле, в апреле 1924 г., за девять месяцев до заявления Сталина Бухарин объяснял свою теорию „мирно-экономическо-органичной” классовой борьбы следующим: „Победа в этом типе классовой борьбы (мы отвлекаемся здесь от проб-

лем внешнего порядка) и есть окончательная победа социализма” [82]. Многие противоречия 20-х гг. касались допустимости как раз именно этого абстрагирования.

Взгляды Бухарина на внешний мир также менялись в 1921–1923 гг., но менее резко, чем по внутривнутриполитическим проблемам. Вынужденный признать, что непосредственная атака на европейский капитализм уже невозможна, он в июне 1921 г. вместе с Зиновьевым и Радеком на предварительных встречах незадолго до III конгресса Коминтерна возражал какое-то время против ленинского предложения одобрить на конгрессе тактику единого фронта. Хотя это сопротивление не вылилось в оппозицию, в декабре он еще оспаривал утверждение, что европейский капитализм выходит из кризиса. В 1922 г. и в начале 1923 г. Бухарин признавал, что „замедление темпа” европейской революции означает ее отсрочку на многие годы, но продолжал изображать состояние капитализма как „хаос экономический, хаос идейный” [83]. Такой взгляд не вытекал из обычной левизны Бухарина (именно он информировал IV конгресс Коминтерна, чем шокировал его, что Советский Союз достаточно созрел, чтобы „заключить военный союз с одной буржуазной страной, чтобы с ее помощью раздавить буржуазию другой страны”) [84]. Скорее всего, его взгляд был связан с представлением о том, что в условиях стабилизации, при его понимании государственного капитализма, ставший более мощным европейский капитализм уязвим только в случае мировой войны.

Новым элементом в его взглядах было „мировое крестьянство”. Отбросив свою „глупую” позицию по национальному вопросу и учитывая положение, что Советская Россия есть защитник „всех угнетенных и колониальных народов, класса крестьян, мелкой буржуазии и т.д.”, Бухарин открыл, что отношения между рабочими и крестьянами в России отражают мировое явление [85]. В апреле 1923 г., на XII партийном съезде он проявил себя как большевистский вождь, наиболее заинтересованный в национальном движении на Востоке. Ленин еще раньше указал на важность этой проблемы, и Бухарин поддержал его с энтузиазмом. Его доклад на съезде по вопросам международной революции, содержавший подробный, отдельно по каждой стране, анализ „всего Восточного мира... в полосе глубочайшего революционного брожения”, характеризовал пробудившееся колониальное крестьянство как „гигантскую резервную революционную пехоту”, марширующую с западным пролетариатом против мирового капитализма. Уроки „российской смычки” имели международное значение, и он нарисовал такую картину: „Если рассматривать положение вещей в их всемирно-историческом масштабе, можно сказать, что крупные промышленные государства — это *города* мирового хозяйства, а колонии и полукolonии — это его *деревня*”.

Вывод был очевиден: „Великий единый фронт между революционным пролетариатом мирового „города” и крестьянством мировой „деревни”. На этот путь история вступила бесповоротно” [86]. Вскоре, когда он признал реальность европейской стабилизации, это представление стало стержнем пересмотренной им теории международной революции.

Бухарин заметил в 1923 г., что теперь он мыслит иначе, чем когда „был в пленках”, имея в виду, что пересмотр его взглядов близок к завершению, а его иллюзии рассеялись [87]. (Кое-кто вскоре будет доказывать, что он сменил одну иллюзию на другую.) Это замечание Бухарина напоминает нам, что когда кончился „военный коммунизм” и наступил нэп, ему было только 32 года, возраст не такой уж юный в эпохи революций, но не совсем достаточный, чтобы его воззрения были уже сложившимися и непоколебимыми. Бухарин еще не успел развить полностью по каждому вопросу внутренней и внешней политики свои новые теории и программы, которые потом его оппоненты в партии характеризовали как „неонародничество”. Но в 1923 г., когда эти вопросы стали связаны с борьбой за власть, он уже занял определенную позицию. Он выбрал и соответствующих союзников.

Политбюро в начале 20-х гг. представляло собой разновидность коалиционного правительства и, как большинство таких образований, было полезным во времена кризисов, но становилось неустойчивым, когда опасность проходила. Уникальный авторитет Ленина придавал разбитому на группы руководству видимость единства до его болезни в мае 1922 г. Тогда началась скрытая борьба за формирование правящего большинства в Политбюро и, неизбежно, за место „первого среди равных”.

Триумvirат Зиновьев—Каменев—Сталин сформировался в конце 1922 г. для борьбы с Троцким, являвшим собой наиболее яркую фигуру. Личная вражда и „биографические изыскания”, а не политические мотивы лежали в основе этой борьбы [88]. Зиновьев и Сталин не выносили и боялись Троцкого и развязали „злопыхательскую кампанию”, напоминая партии о его меньшевистском прошлом и указывая на его потенциальный бонапартизм. Троцкий, который тоже был не прочь опуститься до „биографических изысканий”, медлил, шел на компромиссы и защищал свои политические позиции невероятно бездарно. К 1923 г. он оказался оттесненным от существенных источников власти. Позже, в том же году, он наконец перешел в атаку, став поборником внутривластной демократии и главным критиком системы назначения на посты властью Секретариата и партийной бюрократии, возглавлявшейся теперь Сталиным. Первоначальная партийная доктрина „демократического централизма”, при которой централизованная власть внутри партии сочеталась с выборами низших и высших органов, превратилась в жесткую

авторитарную систему в значительной мере в результате гражданской войны. Троцкий потерпел жестокое поражение в декабре 1923 г. и в январе 1924 г., и его влияние еще больше уменьшилось. Хотя позже он снова стал руководить действиями оппозиции, но его политические возможности были исчерпаны [89].

Бухарин не был соперником на начальном этапе борьбы за „наследство“. До декабря 1923 г., когда он условно склонился к поддержке триумvirата, Бухарин оставался несвязанным ни с одной группировкой, пытаясь выступать в качестве „мироворца“. Его позиция в большевистской олигархии была необычной. Старшие товарищи смотрели на него, как на младшего по возрасту и положению. „Наш Вениамин“, — говорил Зиновьев; „самые выдающиеся силы (из самых молодых сил)“, — писал Ленин, характеризуя Бухарина и Пятакова [90]. Но, хотя формально Бухарин был только кандидатом в члены Политбюро в 1919—1924 гг., он наряду с Лениным, Троцким и триумvirатом был признан как внутри страны, так и вне ее одним из шести „больших“ партийных вождей. Один иностранный коммунист сообщал в 1922 г., что о Бухарине говорили „как о возможном преемнике Ленина“ [91]. Сообщение было ошибочным, но оно свидетельствовало о роли Бухарина так же, как и тот факт, что после случившегося с Лениным удара Бухарин стал полноправным членом Политбюро, как бы заняв ленинское место. Хотя он играл важную роль как редактор „Правды“, его престиж определялся не столько тем, что он занимал влиятельный пост, а, скорее, его репутацией теоретика большевизма, а также огромным авторитетом среди партийной молодежи [92]. Следовательно, хотя он и не был непосредственной угрозой никому из соперничающих руководителей, он был ценным потенциальным союзником.

В минуту раздражения, в период профсоюзной дискуссии, Ленин назвал Бухарина „мягкий воск“, на котором „может писать что угодно любой демагог“. Троцкий, „демагог“, о котором шла речь, повторил это замечание, объясняя много лет спустя последующий союз Бухарина со Сталиным. С тех пор это стало привычной характеристикой, хотя она и не подходила к Бухарину. Во всей своей политической деятельности до 1923 г. Бухарин был решительно и твердо независим — самостоятельный мыслитель в эмиграции, лидер молодых левых в 1917 г., глава „левых коммунистов“ в 1918 г. и безуспешный „буфер“ между Лениным и Троцким в 1920—1921 гг. Ни один из ведущих руководителей не возражал Ленину столь часто. В различных фракционных спорах только один раз Бухарин объединился с другим членом Политбюро (с Троцким во второй фазе профсоюзной дискуссии); его позиция в каждый момент определялась существом спора, а не личными отношениями. Поэтому

характерной для Бухарина является попытка сохранить в 1922—1923 гг. линию поведения, независимую и от триумвиров, и от Троцкого. Он снова оказался в одиночестве, и на этот раз без значительных союзников. Его личные друзья и прежние политические союзники, такие, как Осинский, Смирнов, Пятаков и Преображенский, по разным соображениям пришли к критике новой политики и перешли в оппозицию, которая снова обрела опору в Москве [93] .

Если Бухарин в то время и был лично близок к кому-либо из старых большевиков, то больше всех к больному Ленину. О том, что между ними в 1922 г. существовали необычайно теплые, дружеские отношения, имеются хотя и отрывочные, но существенные свидетельства. Разумеется, Ленин и Бухарин продолжали расходиться по второстепенным вопросам, таким, как значение государственного капитализма и пролетарской культуры, а также по двум более значительным вопросам. Одна проблема возникла в апреле 1922 г., когда Бухарин и Радек возглавляли делегацию Коминтерна на берлинской конференции трех социалистических Интернационалов, где обсуждались возможности совместных действий рабочих в Европе. На этой встрече социал-демократы настаивали на условии, что большевистское правительство обещает не казнить находящихся в тюрьме социалистов-революционеров, которых должны были публично судить в июне за „терроризм” и „контрреволюцию”. Бухарин и Радек согласились. Ленин немедленно опротестовал эту уступку, охарактеризовав ее как капитуляцию перед „шантажом”, хотя и согласился, что обещание надо выполнять. Резко разделившееся Политбюро пришло к компромиссному решению: смертную казнь не применять до тех пор, пока находящиеся в подполье социалисты-революционеры будут воздерживаться от террористической деятельности [94] . Вторым вопросом, вызвавшим большие трения между Бухариным и Лениным, было выдвинутое в октябре 1922 г. Бухариным, Сталиным и некоторыми другими членами Политбюро предложение об ослаблении монополии внешней торговли. Ленин, резко вмешавшись, подверг Бухарина критике и блокировал предложение [95] .

Политические разногласия, однако, были неотъемлемой частью их отношений. Разногласия и прежде не нарушали их дружбу, не случилось этого и теперь. В своей автобиографии Бухарин писал о своих отношениях с Лениным после 1918 г.: „Я имел счастье... близко стоять к нему вообще, как к товарищу и человеку”. Высказывания личного характера были не приняты в формальном этикете большевиков, но со стороны Ленина они тоже появились в его „Завещании”, написанном 24 декабря 1922 г.:

Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но

его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое... [96].

Кажущаяся противоречивой оценка Бухарина Лениным, писавшим о нем и как о ценнейшем теоретике, и как о человеке, который не понимал диалектики, может быть истолкована по-разному. Можно указать на то, что Ленин рассматривал политическую позицию Бухарина в профсоюзной дискуссии как необоснованную. Или оценка является просто отражением горячего интереса Ленина к гегелевской и марксистской философской диалектике (которую он изучал усердно) – предмету, которому Бухарин уделял меньше внимания ввиду занятий „социологией”. Более важным было, однако, ленинское необычное суждение о Бухарине как о личности, единственная по своей благожелательности оценка, данная в „Завещании”. Она говорит больше о том, что Бухарин был „любимцем” Ленина, чем о всеобщей популярности Бухарина в партии.

Это подкрепляется неофициальными сообщениями о письме Ленина, будто бы написанном в начале 1922 г. и касающемся их отношений. Бухарин в 1921 г. болел, и в течение года Ленин продиктовал различным людям несколько записок, в которых выражалась забота о здоровье Бухарина. В одной читаем: „Пошлите *лучшего* доктора *обследовать* здоровье Н. И. Бухарина и сообщите мне о результатах”. Доктора рекомендовали лечение в Германии, но Бухарин не смог получить визу. Тогда Ленин, как рассказывают, написал Крестинскому, советскому послу в Германии, прося его обратиться к канцлеру Вирту с посланием, которое звучало примерно так: „Я – пожилой человек, и у меня нет детей. Бухарин для меня как сын, и я прошу как о личной любезности, чтобы Бухарину была дана виза и предоставлена возможность лечиться в Германии” [97]. Виза была предоставлена.

Это письмо не может быть проверено, хотя косвенные доказательства его существования можно найти в официальных источниках [98]. Ясно, однако, что этих двух людей связывало нечто похожее на сыновнюю и отеческую любовь, и это стало особенно очевидно к концу жизни Ленина. В конце 1922 г., когда больной вождь был вынужден уединиться в Горках, Бухарин, единственный из членов партийного руководства, часто навещал его. Он позже вспоминал, как „Ленин вызывал меня повидаться... брал меня под руку и вел в сад” обсуждать политические вопросы, хотя это и было запрещено врачами. Они говорили о „лидерологии” и последних статьях Ленина, которые Бухарин вскоре интерпретировал как его завещание. Их взгляды на нэп были в это время тождественны, и эти доверительные разговоры „на краю могилы” укрепили в дальнейшем веру Бухарина, что после 1924 г. он выражает ленинскую точку зре-

ния [99]. Эти встречи не имели большого политического значения, а были, скорее, волнующим личным эпизодом, который, возможно, побудил Бухарина смотреть с опасением на непрестойную борьбу среди членов олигархии за место вождя, который был еще жив.

Отчужденность Бухарина от триумvirата, который ханжески прикрывался „ленинизмом” и званием „старых большевиков”, особенно ярко проявилась на XII съезде партии в апреле 1923 г. С осени 1922 г. развернулась ожесточенная борьба между Сталиным и группой недовольных грузинских большевистских руководителей, которые протестовали против методов включения Грузинской республики в состав Советского Союза. Ленин поддерживал сталинский план до конца декабря 1922 г. Но когда он обнаружил, что уполномоченные генсека грубо травят несогласных, Ленин круто переменяет свою позицию. В постскрипуме своего „Завещания”, датированном 4 января 1923 г., Ленин заявляет, что Сталин „слишком груб” для того, чтобы быть облеченным властью, и говорит о необходимости смещения его с поста генсека. Он сообщает грузинским большевикам: „Всей душой слежу за вашим делом”, — и готовит наброски заметок, разоблачающих этот „великодержавный шовинизм”. Он посылает эти заметки Троцкому, прося его встать на защиту грузинских оппозиционеров. Троцкий неожиданно получает в руки оружие, которым он мог бы нанести ответный удар триумvirату и сокрушить позицию человека, которому они доверили организационную власть. Вместо этого Троцкий пошел на компромисс. В обмен на ни к чему не обязывающие выражения раскаяния он согласился присоединиться к Зиновьеву, Каменеву и Сталину в их... заговоре молчания на XII съезде [100]*. Лишь один член Политбюро — Бухарин — отказался хранить молчание и поднялся на съезде в защиту уже обреченных грузин, которые пали жертвой хорошо организованных обвинений в „местном шовинизме”. Сочувствие Бухарина их делу и выступление на их стороне стали известны уже в октябре 1922 г. [101]. Теперь он, а не Троцкий выступал так, как того желал Ленин. Критикуя лично Сталина и Зиновьева и намекая на скрываемые ленинские заметки, Бухарин объявил официальную кампанию против „местных уклонистов” обманом. Почему, спрашивал он, Ленин стал „бить тревогу” только против русских шовинистов? Потому что „это есть самое опасное... Если бы товарищ Ленин был здесь, он бы задал такую баню русским шовинистам, что они бы помнили лет десять”. Обращаясь к безучастному собранию, Бухарин изложил два основных соображения: во-первых, советские национальные районы были по существу крестьянскими, и притеснение из центра угрожало „смычке”; во-вторых, это была проблема международного значения и она могла быть решена справедливо, если Советский Союз получит поддержку

колониальных народов [102]. Несколько дней спустя, когда закончился съезд, поставивший грузин к позорному столбу, он говорил:

Только совершенно близорукие люди не видят всего истине громадного вопроса... Каким образом руководящее ядро русского пролетариата может купить себе полное доверие этих национальных, в первую очередь крестьянских, слоев? ...Прежде и раньше всего, беспощадной борьбой с каким бы то ни было проявлением остатков (или новых ростков) великорусского шовинизма.

В течение 20-х гг. у нерусских национальностей не было большего защитника, чем Бухарин, который увидел в них „мостики к угнетенным народам Востока...” [103].

Независимая политическая позиция Бухарина была снова продемонстрирована в 1923 г. Осенью Троцкий запоздало поднял знамя борьбы за внутрипартийную демократию против сталинского манипулирования партийным аппаратом. И здесь также, по-видимому, симпатии Бухарина оказались не на стороне триумvirата. Еще в 1920–1921 гг. он сделал „священным лозунгом” лозунг рабочей демократии, и, вероятно, оттого, что считался „либералом”, был выдвинут руководством на роль примирителя по отношению к оппозиции на X съезде партии. Это он так непочтительно сострил в 1921 г.: „История человечества делится на три периода: матриархат, патриархат и секретариат” [104]. Не удивительно поэтому, что в 1923 г. Бухарин произнес на партийном собрании в Москве речь, содержащую далеко идущую критику разрастающейся бюрократизации партийной жизни. Он понимал, что в низших партийных органах существует недовольство, которое он приписывал практике назначения секретарей сверху. Бухарин поясняет: члены партийной организации собрались, их спрашивают: «„Кто против?», и так как они более или менее боятся высказываться против, то соответственный индивидуум назначается секретарем бюро ячейки... у нас в большинстве случаев выборы в партийные организации превратились в выборы в кавычках... так как говорить против начальства нехорошо...» То же самое наблюдается при „так называемых обсуждениях в партийных организациях... Какой-нибудь товарищ из районного комитета спрашивает: „Кто против?», никто не против... Резолюция единогласно принимается. Вот обычный тип отношений в наших партийных организациях” [105].

На первый взгляд Бухарин казался наиболее подходящим союзником Троцкого. Независимо от их разногласий, они были самыми интеллектуальными и космополитическими лидерами в партии и находились в хороших личных отношениях, когда началась борьба [106]. В отличие от других большевиков с большим партийным стажем Бухарин не проявлял ревнивой зависти к быстрому восхождению Троцкого; он убеждал Ленина сотруд-

ничать с ним в 1915 г., приветствовал его вступление в партию в 1917 г., а затем защищал его от хулителей. Более того, Бухарин, по-видимому, испытывал неприязнь к старшему триумвиру — Зиновьеву, чье честолюбие превосходило только его легендарное тщеславие. Вначале, однако, Бухарин отказался присоединиться к какой-либо фракции, пытаясь вместо этого примирить их. Он, очевидно, верил, что единство всех наследников Ленина возможно, и наивно думал, что личную неприязнь и честолюбие можно отставить в сторону [107]. Так, летом или в начале осени 1923 г., когда Зиновьев стал завидовать растущей власти Сталина, Бухарин „сыграл роль миротворца” на „пещерном заседании” большевиков, в пещере, на Кавказе, где они находились на отдыхе. Его план состоял в том, чтобы придать политический характер Секретариату, преобразовав его состав — введя в него трех высших лидеров: Троцкого, Сталина и одного из трех: Бухарина, Зиновьева или Каменева. Подобно другим „буферным” попыткам Бухарина и эта потерпела крах; но она вновь показала его преднамеренный нейтралитет в обостряющемся конфликте [108].

Почему же тогда Бухарин присоединился к антитроцкистской кампании, когда в декабре произошло публичное столкновение? Очевидно, главному редактору „Правды” было трудно оставаться далее нейтральным; однако Бухарин пытался все же вести официальный печатный орган Центрального Комитета беспристрастно. Но на него было оказано давление со стороны членов триумvirата с целью заставить его выбирать публикации в их пользу [109]. Тем не менее, его решение поддержать триумvirат нуждается в более сложном объяснении. Во-первых, собственные побуждения Троцкого и его честолюбие оставались под подозрением: его неожиданная защита демократических методов казалась подозрительной уже хотя бы потому, что ранее он был одним из самых авторитарных большевистских лидеров. Кроме того, Ленин неоднократно просил Троцкого стать одним из его первых заместителей в 1922 г., но Троцкий всякий раз отказывался. (Поведение Троцкого в грузинском деле тоже не могло произвести благоприятного впечатления на Бухарина при его преданности принципам и лояльности.) Для многих было очевидным пренебрежение надменного комиссара по военным делам к идее коллективного руководства и то, что он жаждал только наивысшего положения в партии — „все или ничего” [110].

Троцкий был скомпрометирован в глазах Бухарина и в октябре 1923 г., когда 46 видных большевиков — многие из них бывшие „левые коммунисты” и „демократические централисты” — передали в ЦК секретный меморандум, резко критикующий официальную политику. Среди подписавшихся были некоторые друзья и сторонники Троцкого, и, желал он того или нет, обстоятельства, связанные с этим документом (содержавшим

требование смены руководства) придали ему „троцкистский” привкус [111]. Этот документ предвещал появление новой левой оппозиции и еще одного большого раскола в партии. К тому времени Бухарин решительно осудил свою прежнюю фракционную и стал последовательным противником новых фракционных выступлений, приравнивая организационное выражение несогласия внутри партии посягательству на ее устойчивое положение в стране. Когда противники триумvirата язвительно сравнивали нынешние нормы со свободной дискуссией во времена брестских разногласий, Бухарин пытался осудить период прошлой фракционной борьбы, указывая на тот факт, что в 1918 г. левые социалисты-революционеры обратились к „левым коммунистам” с предложением об аресте Ленина, и утверждая, что тогда был „период, когда партия стояла на волосок от раскола, а вся страна — на волосок от гибели” [112]. Фракционность есть сама по себе зло.

Это новое проявление нетерпимости к фракционности было связано с основной причиной, в силу которой Бухарин решил поддержать триумvirат: личное соперничество внутри руководства отступало на второй план перед лицом жгучих политических проблем. Несмотря на общее улучшение условий в стране, начиная с 1923 г. стал углубляться экономический кризис. Его основной чертой являлось растущее несоответствие между высокими ценами на промышленные товары, поднявшимися отчасти благодаря монопольному положению государственной промышленности, и низкими ценами на продукцию сельского хозяйства (так называемые „ножницы”). Спрос крестьян на промышленную продукцию падал, фабричные товары оседали на складах, увеличивалась безработица, летом и осенью в крупных городах произошел ряд угрожающих забастовок. Реакция объединившихся левых, в частности Преображенского и Пятакова, свелась к обвинению руководства в том, что у него нет долгосрочной индустриальной политики, к требованию энергичного и планового развития индустрии, более или менее независимо от состояния сельскохозяйственного рынка. Хотя окончательно позиции еще не определились, Преображенский и Пятаков уже присоединились к тому взгляду, что накопление, необходимое для фундаментальных капиталовложений, может быть достигнуто только в результате централизованного планирования и политики монополистически вздуваемых промышленных цен. В этом отношении их взгляды были сходны со взглядами Троцкого, который, начиная с марта, последовательно выступал с требованием выработки единого плана и индустриального „наступления” [113].

Экономические проекты левых побудили Бухарина принять участие в антитроцкистской кампании. Хотя триумvirат и присоединился на XII съезде к требованиям Троцкого о планирова-

нии и индустриализации, его политика, направленная на поднятие цен на продукцию сельского хозяйства и их снижение на промышленные товары, подтверждала экономические уступки крестьянству как неотъемлемую часть нэпа. Поскольку Зиновьев и Каменев находились тогда на „прокрестьянской стадии” своей изменчивой политической линии (стадия эта кончилась годом позже), официальная позиция большинства заключалась в том, что процветающая крестьянская экономика и расширение сельского рынка являются предпосылкой развития промышленности. Это в полной мере соответствовало бухаринскому пониманию нэпа и *смычки* [114]. В одной из своих литературных работ, явившейся значительным вкладом в антитроцкистскую кампанию, он называет экономическую политику решающей проблемой, отвергая все другие требования оппозиции как тактические увертки. Фактически, говорил он, оппозиция хочет навязать свою экономическую программу, построенную на „бумажном планировании” и диктатуре промышленности. „Уклон” Троцкого и его последователей, доказывал Бухарин, возник потому, что им не удалось переварить „новое” учение Ленина о рабоче-крестьянском блоке: „...что нам придется еще долгое время ездить на тощей крестьянской лошадке, и только так спасти нашу промышленность и подводить прочную базу для диктатуры пролетариата. Вот корень *теперешних* разногласий” [115].

Придя к убеждению, что „за личной борьбой скрывается борьба политических тенденций”, Бухарин исходил из того, что он считал самой насущной проблемой момента, фактически закрывая глаза на то обстоятельство, что обвинения оппозиции в бюрократизации партийной жизни были, как он это понимал, обоснованны. При его отношении к нэпу и экономической программе левых, возможно, у него не было иного выбора. Но пятью годами позже, когда сталинский аппарат был повернут против него, он, как Зиновьев и Каменев до него, будет повторять слово в слово обвинения, выдвинутые Троцким в 1923 г. Частично причина трагедии старых большевиков кроется здесь: семь лет они боролись друг с другом по принципиальным вопросам, в то время как интриган постепенно прибирал к рукам власть, чтобы уничтожить их всех.

Бухаринская поддержка триумвирата, однако, не была безоговорочной. Примечательно, что его единственное большое полемическое выступление против оппозиции, огромная статья, печатавшаяся в пяти номерах „Правды” с 28 декабря 1923 г., появилась не под его именем, а как „ответ редакционной коллегии Центрального Органа товарищу Троцкому”. Хотя авторство Бухарина было легко определить, этот факт отражал его желание не вмешиваться в борьбу открыто [116]. В то время, как и в дальнейшем, во второй кампании против Троцкого в октяб-

ре—декабре 1924 г. и позднее против объединенной оппозиции, Бухарин отвергал „любые личные оценки, любые симпатии и антипатии”. Сама статья, несмотря на то что она была не без немыслимо демагогических приемов (Бухарин усердно перечислял историю фракционных грехов Троцкого, в каждом из которых он и сам бывал повинен), представляла резкий контраст с тем, что он называл „дурно пахнущими” атаками зиновьевцев [117]. Более важно, что он неоднократно выступал против требований Зиновьева и Каменева отстранить Троцкого от руководства и даже арестовать его [118]. Эта сдержанность спасла его отношения с Троцким от полного разрыва, и в начале 1926 г. они снова возобновили кратковременные дружеские „частные контакты” [119]. Но, как и в 1923 г., это ни к чему не привело, отчасти из-за того, что бухаринская политика находилась теперь под влиянием его новых представлений об „исторической роли” большевизма.

21 января 1924 г. умер В. И. Ленин, и официальный культ его личности и его изречений установился всерьез. Характер советской политики изменился навсегда. Ленинизм стал не только предметом в учебных заведениях, но в значительной степени не-сформулированным Священным писанием, верность которому и ссылки на которое стали необходимы в каждом политическом выступлении. Все большевистские лидеры в той или иной степени содействовали возникновению и становлению культа, хотя некоторые возражали против тех его проявлений, которые носили характер чрезмерного преклонения и обожествления (Бухарин с энтузиазмом проповедовал „ортодоксальный ленинизм”, но протестовал против бальзамирования Ленина и помещения его в саркофаг для постоянного обозрения, заметив по поводу подобного же предложения выкопать останки Маркса и захоронить их в России: „...где-то в партии несет странным духом”) [120]. Стало политическим ритуалом, что каждый из преемников Ленина в течение ближайших нескольких месяцев использовал каждую возможность, чтобы обстоятельно и по всей форме увековечить память Ленина и ленинизм и, поступая таким образом, продемонстрировать свою собственную верность и подтвердить свое политическое реноме. Бухарин в качестве теоретика партии посвятил памяти Ленина свой доклад в Коммунистической академии, прочитанный 17 февраля. Озаглавленный „Ленин как марксист” доклад содержал первую отчетливую попытку Бухарина связать свою эволюционную теорию с последними статьями Ленина [121].

Его намерение формально состояло в том, чтобы исправить „недостаточную оценку товарища Ленина как теоретика”. Для этой цели он делит историю марксизма на три ступени: револю-

ционный марксизм Маркса и Энгельса, „марксизм эпигонов”, то есть реформизм II Интернационала, в котором „еще сохранилась марксистская символика”, но от которого „отлетела... его революционная сущность” и, наконец, полоса „марксизма Ленина”, который представляет собой обогащение первоначального учения, потому что разрабатывает вопросы, не предвиденные Марксом, но революционная „методология” которого „есть полный возврат” к Марксу. Бухарин (частично принижая себя) расценивает ленинскую трактовку империализма, национального и колониального вопросов, буржуазного и пролетарского государства, рабоче-крестьянского союза как крупнейший теоретический вклад Ленина. Подобная характеристика не могла вызвать возражений, хотя его утверждение, что „лучшие страницы” ленинских работ — это те, которые посвящены крестьянскому вопросу, могло вызвать некоторое удивление [122].

Но именно последний раздел доклада, посвященный „основным теоретическим проблемам, которые наметил Владимир Ильич и которые нам необходимо разработать”, оппоненты Бухарина позже назвали концом ленинизма и началом бухаринизма. Вставленные между бесспорными замечаниями два главных теоретических новшества Бухарина сводились к следующему: Советская Россия есть „двухклассовое общество” (это — первое публичное упоминание Бухариным проблемы, которую, по его словам, выдвинул один из участников его семинара), и нэповская Россия должна вступить в социализм посредством „органического периода развития” и „эволюционной борьбы хозяйственных форм”. Ни тот, ни другой принцип Ленин „точно не формулировал”, но оба, настаивает Бухарин, содержатся в неявной форме в ленинских работах, „особенно в его последних статьях”. Здесь Бухарин возвращается к мысли, выраженной им в 1922 г. „Следует предположить, что появятся „различные типы” социалистических обществ, потому что социализм строится на том материале, который дан”; эти слова предвосхищали высказанную им несколько месяцев спустя аргументацию, что Ленин завещал „оригинальную теорию „аграрно-кооперативного” социализма” [123].

Значит, накануне больших программных дебатов Бухарин уже склонялся к утверждению, что будущее развитие страны по направлению к социализму „идет эволюционным путем и не может идти иначе”. Принятие им нэпа и несогласие с революционными („катастрофическими”) программами было сейчас недвусмысленным: „Никакой третьей революции здесь быть не может” [124]. Его реформистские высказывания о постепенности развития были еще только теоретическим наброском, который он преобразует в течение следующих двух лет во всестороннюю доктрину большевизма и в программу обновления Советской России.

ГЛАВА

6

БУХАРИН И ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ

Накопляйте, накапливайте! В этом Моисей и пророки! ...сберегайте, сберегайте, т.е. превращайте возможно большую часть прибавочной стоимости, или прибавочного продукта, обратно в капитал! Накопление ради накопления, производство ради производства — этой формулой классическая политическая экономия выразила историческое призвание буржуазного периода. Она ни на минуту не обманывалась на тот счет, насколько велики родовые муки богатства; но какое значение имеют все жалобы перед лицом исторической необходимости.

Карл Маркс. Капитал

Экономический кризис 1923 г. показал, что партия вновь резко разделена как в отношении основных вопросов экономической политики, так и в отношении преодоления трудностей, связанных с дальнейшим развитием большевистской революции. Вначале конфликтующие взгляды и тенденции были затемнены новым явлением — открытой борьбой за власть среди ведущих большевистских лидеров. Но события осени 1924 г. вновь подтвердили и увеличили это разделение между осторожным большинством ЦК и левой оппозицией: вышли на поверхность политические разногласия между лидерами и противоположные течения в революционном процессе, интернациональные и национальные, городские и деревенские. Важные дискуссии 20-х гг., и прежде всего дискуссия по вопросам индустриализации, приобрели серьезный характер.

Идеологические и программные взгляды левых, реальные или просто приписываемые им, сложились первыми. Поучение Троцкого насчет „уроков Октября” обратило гнев большинства против его теории двадцатилетней давности, известной как „теория перманентной революции”, в которой теперь официально видели разницу между троцкизмом и ленинизмом. Троцкого обвиняли в „недооценке роли крестьянства” и в неверии в присущие России социалистические возможности; его пессимизм противопоставляли в 1925 г. официально провозглашенной вере в возможность (в случае необходимости) построения „социализма в

одной стране” [1]. Между тем Преображенский представил свой новый „закон первоначального социалистического накопления”, по существу утверждавший необходимость ускоренного увеличения государственного промышленного капитала за счет крестьянского сектора. Его аргументация, возможно неточно, была квалифицирована как „экономическая основа троцкизма” [2]. Мало кто увидел противоречие между взглядами Преображенского на социалистическую индустриализацию в изолированной России и характерным для Троцкого подчеркиванием решающей роли европейской революции. Ни тот, ни другой не опровергали связь между этими идеями, и впредь анализ Преображенского считался сердцевинной экономической программы левых.

Пропасть между так называемой сверхиндустриализацией левых и позицией руководящего большинства выявилась в 1924–1925 гг., когда новая экономическая политика завоевала новые значительные области. Вызвавший разочарование урожай и серьезные волнения среди крестьян побудили руководство (согласно с популярным лозунгом) повернуться „лицом к деревне”. Четыре экономических уступки крестьянству, главным образом средним и верхним его слоям, были сделаны весной 1925 г.: ослаблена государственная фиксация твердых цен на зерно и снижен государственный налог; увеличен период санкционированной сдачи земли в аренду; в сельском хозяйстве узаконен наемный труд, первоначально ограниченный сезоном сбора урожая; сняты различные административные помехи для свободной торговли [3]. Эти мероприятия были задуманы как для умиротворения крестьянства, так и для поощрения дальнейшего экономического оживления, наступившего благодаря нэпу. Их инициаторам казалось, что они распространяют на деревню здравый смысл уже допущенных принципов нэпа. Наоборот, левые считали, что это — проявление „прокрестьянского”, даже „кулацкого” уклона.

Эти коренные разногласия в отношении индустриальной и крестьянской политики вскоре превратились в резкие споры по внешнеполитическим вопросам, а также определили характер партийной дискуссии в 20-х гг. Они были вызваны и чувством личной обиды, и борьбой за власть, и подлинными разногласиями по поводу характера и направления революции. Примирение между левой оппозицией и официальным руководством было, вероятно, еще возможно в 1926–1927 гг., если бы и те и другие смягчили свои позиции. Но серьезных попыток примирения никогда не было предпринято. По мере усиления разногласий обе стороны еще больше разожгли полемику и пренебрегли средствами для достижения компромисса; каждая изображала конфликт как исторический выбор между различными альтернативами в понимании революции. Соответственно, каждая сторона становилась все менее и менее терпимой и все более уверенной в отступничестве другой.

Такая нетерпимая позиция была характерна и для Бухарина, чья роль во внутривнутрипартийных битвах коренным образом изменилась в результате событий 1924—1925 гг. Вначале его роль ограничивалась лишь поддержкой антитроцкистской кампании; затем, когда триумвират неожиданно распался, Бухарин оказался в центре дискуссии. Зиновьев и Каменев, ранее непревзойденные защитники умиротворения крестьянства, вначале поддерживали новую аграрную политику. Но позднее, изменив свое мнение о последствиях этой политики и завидую растущей власти Сталина, они перешли в оппозицию осенью 1925 г. Подобно троцкистским левым, с которыми они объединились в последующие годы, они атаковали методы сталинского руководства через партийный аппарат, а также экономическую политику большинства и официальную интерпретацию нэпа, включая идею построения социализма в одной стране [4].

С распадом триумвирата Бухарин выдвинулся в солидеры возглавлявшегося Сталиным большинства — естественное развитие событий, так как Бухарин был главным автором оспариваемой политики. К лету 1925 г. она стала составной частью его собственного пересмотренного понимания революции и строительства социализма в Советской России. Его экономическая программа и в известной мере его более широкие программные теоретические взгляды стали официальной доктриной партии. Поскольку он занимал на высоком посту совершенно ясную политическую позицию, считалось, что он вдохновляет и организует политику большинства и, более того, является официальным толкователем господствующей ортодоксии; в результате он стал главной мишенью оппозиционных нападков. Начиная с 1925 г. он был втянут в постоянную борьбу как главный участник конфликтов, в которых бухаринизм, или „бухаринская школа“, как тогда говорили, являлся центральной темой [5].

Эти напряженные политические обстоятельства, очевидно, повлияли на формулировки и на суть мыслей Бухарина о главных вопросах дискуссии. Между 1924 и 1926 гг. он разработал особую программу индустриализации и дал теоретическое обоснование тому, как она приведет к социализму в СССР. Единственный среди участников дискуссии, он старался построить общую теорию экономического, политического и социального развития. Его идеи, однако, были редко изложены систематически или хотя бы бесстрастно. Их отдельные элементы содержались в его пылких полемических речах и статьях [6]. В результате, как Бухарин молчаливо признавал в 1926—1927 гг., когда он приступил к серьезному пересмотру, первоначальные предложения его экономической программы 1924—1925 гг. были недостаточны во многих отношениях. Некоторые являлись следствием просчетов, другие проистекали из воинствующего характера дебатов. Вынужденный утверждать и защищать то, что он

считал элементарными истинами, Бухарин преувеличивал свою аргументацию и недооценивал чужую. Охваченный страстным революционным воображением и чувством революционной правоты, он, подобно другим, чаще отзывался на возражения своих оппонентов, нежели на реальные экономические условия страны. И самым важным вызовом со стороны оппонентов был „закон первоначального социалистического накопления” Преображенского.

„Закон” Преображенского явился грандиозной мозаикой из пронизательного анализа, широких исторических аналогий, теоретических новшеств и соображений, связанных с экономической политикой. Благодаря глубокому анализу „закон” явился крупным вкладом в дискуссию по вопросу индустриализации. Начиная с 1921 г. внимание руководства было сосредоточено на восстановлении довоенного уровня (1913 г.) разрушенной экономики, особенно индустрии, а это предполагало возобновление работ поврежденного и бездействовавшего производственного оборудования. Преображенский имел в виду не эти краткосрочные цели, а то время, когда существующие промышленные предприятия будут действовать на полную мощность. Доказывая, что судьба социализма в Советском Союзе зависит от быстрой индустриализации, он поднимал проблему приобретения ресурсов для интенсивных капиталовложений, особенно в сектор производства средств производства. Большая программа капиталовложений была необходима не только для возмещения непродуктивного потребления и обычной амортизации основного капитала после 1913 г., но и обеспечения расширения и технологической реконструкции индустриальной базы, унаследованной от старого режима [7].

Отсталость экономики Советской России, более чем временная разруха, вопросы дальнейшего развития промышленности, а не просто ее восстановления, были главной заботой Преображенского. По этой причине он формулирует долгосрочные проблемы индустриализации гораздо яснее, чем это делалось ранее, и прокладывает путь к постепенной переориентации в экономических дискуссиях. Он считал, что официальные взгляды на экономику отражают иллюзорную веру, подкрепленную относительной легкостью и низкой стоимостью восстановительного периода, будто прибыль, достаточная для широкой индустриализации, может быть получена внутри самого государственного промышленного сектора. Он доказывал обратное: раньше, чем удастся достичь накопления, которое может самостоятельно образоваться внутри государственного сектора, должен существовать первоначальный период, в течение которого большие суммы извлекаются главным образом „из источников, лежащих вне комплекса государственного хозяйства”, и концент-

рируются в руках государства. Рассматривая ограниченные альтернативы, возможные в изолированной Советской России, Преображенский пришел к выводу, что существенным источником капиталовложений может быть только крестьянское хозяйство. Его решение задачи быстрой индустриализации заключалось в предварительной интенсивной перекачке прибавочной стоимости из крестьянского в промышленный государственный сектор [8].

Для придания своим доказательствам большей наглядности и теоретической последовательности Преображенский провел аналогию между этим периодом „первоначального социалистического накопления” и ранней стадией развития капитализма, которую Маркс назвал „первоначальным капиталистическим накоплением”. Он добросовестно воскрешал в памяти Марксово представление о том, как зарождающийся капитализм паразитировал на эксплуатации некапиталистических экономических форм, используя „систематическое ограбление” (колониальные грабежи, экспроприация, непосильные налоги), приобретая добавочный капитал „всеми способами принуждения и разбоя”. Преображенский не защищал подобные методы для социалистического накопления; некоторые из них были „неприемлемы принципиально” [9]. Но он сохранил термины „эксплуатация” и „экспроприация”, характеризуя извлечение прибавочной стоимости из крестьянского хозяйства, и утверждал, что один из секторов, социалистический или частный, должен „поглотить” другой. Его аргументация, что было еще менее тактично, определено означала, что отношения между государственной промышленностью и крестьянским хозяйством были сопоставимы с отношениями между капиталистическими метрополиями и их колониями. Оппоненты Преображенского обвиняли его в том, что крестьянство в его представлениях играло роль колоний рабочего государства. Он позже смягчил наиболее вызывающие определения и образы, но они не были ни прощены, ни забыты.

На самом деле суть плана Преображенского была менее жестока, чем подразумеваемая аналогия. Отвергая насилие и конфискацию как недопустимые методы, он предлагал, чтобы новый капитал накапливался в результате „неэквивалентного обмена” в рыночных отношениях между двумя секторами, а это было бы, по его мнению, более эффективным и менее раздражающим крестьянство, чем прямое налогообложение. Государственная промышленность должна была использовать свое уникальное сверхмонополистическое положение, чтобы преследовать политику „цен, сознательно рассчитанную на отчуждение определенной части прибавочного продукта частного хозяйства во всех его видах” [10]. Цены на промышленную продукцию должны быть искусственно повышены, тогда как на сельскохозяйственную — соответственно занижены, то есть государство

покупало бы по более низким ценам, а продавало бы по более высоким. Это предложение, в сущности платформа левых после 1923 г., было непосредственно направлено против официальной политики. Преображенский пренебрежительно относился к усилиям руководства уменьшить расхождение между промышленными и сельскохозяйственными ценами. Напротив, он определял структуру цен 1923 г. („ножницы“) как ключевое средство общественного накопления.

Независимо от его рекомендаций и злополучной аналогии, анализ Преображенского в области изыскания источников нового основного капитала был важным вкладом в изучение проблемы индустриализации. Этот вопрос почти совсем игнорировался до выступления Преображенского в конце 1924 г. Его оценки оказались даже более убедительными после 1925 г., когда руководство стало медленно осознать, что хроническая болезнь советской экономики заключалась не в недостаточном потреблении, как представлялось в 1923 г., а в периодическом „товарном голоде“ — неспособности государственной промышленности эффективно удовлетворять требования потребителя. При рассмотрении вопроса в этом свете аналогия не была столь существенной для обоснования приведенной аргументации. Правда, Преображенский, возможно, думал продемонстрировать с помощью этой аналогии твердый подход к проблеме, она служила его стремлению теоретически сформулировать „первоначальное социалистическое накопление“ как „основной закон“ или регулятор социалистического сектора в противоположность закону стоимости, регулирующему частный сектор [11]. Это был отдельный и теоретический вопрос, связанный, как мы увидим, с дискуссией о политической экономии, начатой Бухариным в 1920 г. Но Преображенский придавал своей модели самостоятельное значение, и как таковая она стала огромным достижением, снабдившим левых внушительными идеями и первоклассным экономистом-выразителем этих идей. Понятно, что Бухарин боролся с „законом“ Преображенского до конца своей политической карьеры, даже в 1928—1929 гг., когда он думал, что Сталин принял этот „закон“.

То, что Бухарин верил в другие методы и формы экономического развития, было очевидно и до осени 1924 г., но публикация доводов Преображенского вынудила его заняться их рассмотрением всерьез. Задача защиты импровизированной политики большинства и придания ей духа целенаправленности и последовательности выпала на долю Бухарина, единственного компетентного экономиста в руководстве. В ходе ответа Преображенскому и левым вообще возникла его собственная программа [12]. Поскольку Бухарин излагал ее в большинстве

случаев в критической форме, он стремился выразить свою программу в виде замечаний против предложений Преображенского. В общих чертах он выдвинул три возражения, взаимосвязанные друг с другом: экономическое, политическое и третье, которое может быть истолковано как нравственное, или этическое, соображение. Хотя экономические аргументы, естественно, доминировали в дискуссии, последние два оказали сильное влияние на экономические доводы Бухарина и потому будут обсуждены первыми.

Его политическое возражение сводилось к следующей формулировке: „Пролетарская диктатура, находящаяся в состоянии войны с крестьянством... никоим образом не может быть крепка” [13]. Программа Преображенского, настаивал он, оттолкнет крестьянство, подорвет *смычку* и подвергнет опасности существование режима. К 1924 г. все понимали, что крестьяне не будут добровольно производить или отдавать излишки зерна без соответствующих стимулов. Введение нэпа было реальным признанием этого факта советской жизни. Однако „неэквивалентный обмен” Преображенского, казалось, должен был бы упразднить рыночные стимулы и оставлял без ответа вопрос, что может случиться, если крестьянин, столкнувшись с явно невыгодной для себя структурой цен, откажется продавать излишки. Бухарин был убежден в том, что это приведет к необходимости вернуться к реквизициям и снова направить партию по пути столкновений с сельским населением. Он подчеркивал, что это то, к чему должна повести „свирепая логика „левых” — психология отчаянных жестов, сверхчеловеческих нажимов, волевых импульсов...” [14]. Историческая аналогия Преображенского только убедила его, что программа левых обещала гражданские бои и катастрофу.

Любая политика, которая была готова пойти на риск конфликта с крестьянством, как бы ни были убедительны ее экономические доводы, была неприемлема для Бухарина. Он был уверен, что партия может только проиграть при таком столкновении. Необходимость поддержки со стороны крестьянства — неизбежность *смычки* — он рассматривал сейчас как кардинальный урок революционной истории России: „Революция 1905 года потерпела крах, потому что не получила *смычки* между городским движением и аграрно-крестьянским движением”. Это был „величайший урок для всех нас”, показавший „всю важность объединения рабочих и крестьян”. События 1917 г. подтверждали ту историческую истину, что успех зависит от счастливого сочетания „крестьянской войны против помещиков и пролетарской революции”. Эта „совершенно своеобразная и оригинальная обстановка была основой для всего развития нашей революции”. *Смычку*, носившую первоначально разрушительный характер, нэп обратил в конструктивный союз, без

которого диктатура партии обречена: „...если лишиться этого особо благоприятного сочетания классовых сил, то выпадает вся основа развертывания *социалистической* революции в нашей стране” [15].

Бухаринское понимание сочетания крестьянской войны с пролетарской революцией, развитое в дополнение к ленинскому, служило трем взаимосвязанным целям. Во-первых, он рассматривал происшедшую в этом году „великую аграрную революцию” как составную и благотворную часть „нашей революции”, а не как чужеродное движение (как обычно прежде считали большевики). Во-вторых, такое понимание противостояло той интерпретации 1917 г., которая ассоциировалась с теорией перманентной революции Троцкого. И, наконец, это давало возможность Бухарину доказывать, что отношения между пролетариатом и крестьянством сходны с прежним сотрудничеством и союзом между промышленной буржуазией и землевладельцами, а не с отношением между эксплуататорским и эксплуатируемым классами, как утверждал Преображенский [16]. Но главным уроком из такого понимания был призыв к осторожности и примирению — лозунг бухаринизма. Это означало, что антикрестьянская политика была бы самоубийственной; предупреждение против ее пагубности Бухарин неоднократно выражал словами: партия „ходит по острию бритвы” [17].

Пожалуй, странно, что Бухарин, который в 1915–1916 гг. характеризовал современное капиталистическое государство как всемогущего Левиафана, теперь мог рассматривать Советское государство как государство, ненадежно покоящееся на постоянной терпимости крестьянства. Находясь под впечатлением неистового стремления к независимости частнособственного крестьянства во время крестьянских восстаний 1920–1921 гг., он недостаточно ясно себе представлял, что сильная раздробленность и обособленность крестьян-единоличников является их общей слабостью. Между 1929 и 1933 гг. Советское государство провело и выиграло настоящую гражданскую войну против крестьянской массы, доказав, что отсутствие ее поддержки не являлось фатальным для режима. Впрочем, это только отчасти было ошибкой Бухарина. Он понимал, или по крайней мере чувствовал, к чему ведет вынужденное столкновение с крестьянством; такая перспектива ужасала его и стала еще одним источником его постоянного беспокойства. Даже один несимпатизирующий ему писатель сказал: „У него было сильное предчувствие всех тех неистовств, которые обрушатся на страну” [18], если возобладают „волевые решения”.

Бухаринский анализ политической ситуации, с которой столкнулась партия, однако, только частично определял его возражения антикрестьянской политике, и он никогда не ограничивался только этой стороной дела. Между 1924 и 1929 гг. он также вы-

сказывал, правда не всегда последовательно и ясно, возражения с точки зрения морали против любого систематического, политического или экономического угнетения крестьянства. К этому элементу мышления Бухарина надо подходить с осторожностью не только потому, что он, возможно, отрицал бы его значение, а потому, что в изначальном марксизме и в большевизме существовала прочная традиция против привнесения нравственных оценок в социальные суждения*.

Эта традиция вела свое происхождение от самого Маркса. Несмотря на очевидный морализм, которым проникнуты многие работы Маркса, сам он формально настаивал на том, что не следует с этической точки зрения подходить к изучению общества и истории вообще. Его твердый отказ принимать во внимание что-либо иное, кроме законов данной эпохи, выразился в знаменитом положении: „Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие”. По убеждению Маркса, его научный социализм тем и отличается от фантазий социалистов-утопистов. Под сильным влиянием этого предубеждения против этических оценок находились первые марксисты, хорошо знакомые с уничтожающей критикой Маркса Готской программы 1875 г.; ее требования „равных прав” и „справедливого распределения” он отвергал как „словесный хлам” и „идеологический, правовой и прочий вздор, столь привычный для демагогов и французских социалистов” [19]. Более поздняя ревизионистская попытка Бернштейна сочетать марксистский социализм, очищенный от неукоснительной „научности”, с кантовской этикой обнаруживает тесную связь между антиэтической и научной исходными посылками марксизма, и дальнейшее развитие в этом направлении должно было рассматриваться как вдвойне подозрительное.

В этом отношении дооктябрьская позиция Бухарина была совершенно ортодоксальной. Он напоминал своим читателям в 1914 г.: „...нет ничего более смехотворного, чем пытаться превратить теорию Маркса в „этическую” теорию. Теория Маркса не знает других реальных законов, кроме закона причины и следствия, и не может допустить никаких других законов”. „Этическую болтовню, — добавлял он, — всерьез принимать абсолютно невозможно” [20]. После 1917 г. антиэтическая традиция стала влиять на большевистские решения, часто сводясь к пренебрежению к нравственным запретам перед лицом „объективных условий”. Рассуждения подобного рода стали обычными во время гражданской войны, когда эксцессы, допускаемые партией, удобно обосновывались ссылкой на историческую необходимость и объявлялись средствами, которые оправдывались социалистической целью (этот способ обоснования таких эксцессов в немалой степени подкреплялся бухаринской „Экономикой переходного периода”). Такой взгляд преобладал не

только во время гражданской войны. Выступая в качестве свидетеля защиты на процессе эсеров в 1922 г., Бухарин отказался обосновывать свои оправдательные доводы „моральными” мотивами и, наоборот, опирался только на приемлемые аргументы „политической целесообразности”. И в 1924 г., отвечая на антибольшевистские высказывания академика И. П. Павлова, он провозглашал свою преданность „не категорическому императиву Канта и не заповеди христианской морали, а революционной целесообразности”. Некоторые люди, сетовал он годом позже, „очень часто подменяют трезвые рассуждения моральными, которые ничего общего с политикой не имеют” [21].

Однако те же самые упреки могли быть предъявлены самому Бухарину на всем протяжении 20-х гг. В противоположность старой традиции и вопреки его собственным заявлениям, этические нормы стали ясно обозначаться в его позиции по вопросу внутренней политики. Начиная с декабря 1924 г., когда он впервые осудил „закон” Преображенского как „чудовищную аналогию” и „кошмарное видение”, и до выдвинутых им обвинений в 1929 г., что сталинская программа равносильна „военно-феодальной эксплуатации крестьянства” — „этическая риторика” была присуща его оппозиции антикрестьянской политике. Как раз это подразумевал Преображенский, когда упрекал Бухарина за „вспышку морального негодования” [22]. Маркс однажды высказался о рабочем классе: „...ему предстоит не осуществлять какие-либо идеалы...” Для Бухарина идеал стал центральной исторической задачей большевизма.

Этот новый элемент в мышлении Бухарина, обозначившийся уже в 1923 г., связан с осознанием им того факта, что общественное положение советского пролетариата как меньшинства не было национальной отличительной чертой России. С энтузиазмом человека, который с запозданием открыл для себя истину, на которую не обращалось внимания, и, опираясь на статистические данные, Бухарин пользовался в 1924—1925 гг. каждым удобным случаем, чтобы внушить своей аудитории, что во всемирном масштабе „пролетариат... составляет незначительное меньшинство”, в то время как крестьянство, главным образом в странах Востока, — „громадное большинство на нашей планете”. Пересмотр понимания Бухариным международной революции был основан на экстраполяции русского опыта; отсюда неоднократно повторяющийся образ „мирового города и мировой деревни”, мировой „смычки между западноевропейским и американским промышленным пролетариатом и ... колониальным крестьянством” и глобальное представление о „пролетарской революции и крестьянской войне” [23]. Он предсказывал в 1925 г., что под руководством пролетариата крестьянство „может стать — и станет... великой освободительной силой нашего времени”. Но, как и в Советском Союзе, остается „ре-

шающая проблема”: „Пролетариату нужно будет после своей победы ужиться во что бы то ни стало с крестьянством, ибо это большинством населения с большим хозяйственным и социальным весом” [24].

С одной стороны, бухаринские замечания представляют собой попытку приспособить марксистскую теорию, которая традиционно рассматривала крестьянство как реакционный пережиток феодализма, к революционному аграрному движению, вызванному первой мировой войной. С другой, они были направлены также против возрождения антикрестьянских настроений внутри партии. Он оспаривал убеждение, которого сам придерживался в 1917 г. и которое сейчас официально приписывалось Троцкому, что крестьянство служило революции „только как пушечное мясо в борьбе с капиталом и крупным землевладением”. Наоборот, пролетариат нуждается в крестьянской поддержке в течение всего переходного периода: „Он вынужден, строя социализм, вести за собой крестьянство” [25]. Хотя бухаринская позиция была не „прокрестьянской” в народническом смысле прославления мужика и деревенской жизни, а скорее трезвой оценкой классовых сил, он считал, что городским большевикам следует относиться с сочувствием к этому союзу и признавать, что социальная отсталость „не „вина” крестьянина... а его беда”. Подходить к крестьянству, настаивал он, нужно не с „презрением и пренебрежением”, а „серьезно, с любовью”. Антикрестьянская позиция была несовместима с „пролетарским долгом”, особенно в век, когда пролетариат и буржуазия борются „за душу... крестьянского населения” [26].

Такой взгляд на Советскую Россию как на микрокосм, отражающий положение классов в мире, стимулировал воображение Бухарина в другом, более важном направлении. Его соображения о „мировой деревне” соответствовали все усиливающемуся осознанию большевиками самих себя как модернизаторов. В 1924—1925 гг. капиталистическая стабилизация рассеяла их надежды на скорую европейскую революцию, а возникновение экономических дискуссий отражало понимание партией того, что в течение некоторого времени Советская Россия должна была быть индустриализована собственными силами. Бухарин связал эти два вопроса и вложил в них более широкий смысл: экономическая отсталость является международным явлением, и огромные части земного шара, подобно Советской России, находятся главным образом на доиндустриальной стадии. Большевицкий эксперимент приобрел для него, таким образом, дополнительное значение. Он выражался не только в том, что впервые была осуществлена пролетарская революция, но и в том, что впервые в истории страна пошла к индустриализации общества по „некапиталистическому пути”. Поэтому вопрос, могут ли крестьянские массы России со своей докапиталисти-

ческой экономикой „обойти капиталистический путь”, приложим ко всем отсталым странам. В этом и в „неслыханном и беспрецедентном” факте, что эксперимент предпринимается „без тех, кто командовал в течение десятков и сотен лет”, Бухарин увидел „громаднейшее значение не только для нас, но и для грядущих всего мира” [27].

Его этические возражения против антикрестьянской политики сформировались в этом контексте. Большевицкая революция разбивала старый марксистский тезис, что индустриализация является исключительно задачей капитализма. Вместо этого Бухарин выдвинул идею исторического сопоставления процесса социалистической индустриализации (или социалистического накопления) и прошлой истории капиталистической индустриализации. Доказывалось, что социалистическая индустриализация по своей природе имеет совершенно другой характер. Он перенял от Маркса представление о жестокости капиталистического опыта. Начало было положено в период первоначального капиталистического накопления и „безжалостной экспроприации некапиталистических производителей”, когда „покорение, порабощение, грабежи, убийства, насилие играли большую роль”. Подобием „первородного греха” капитализма был „исторический процесс отделения производителя от средств производства”, „превращение феодальной эксплуатации в капиталистическую эксплуатацию”, вследствие чего, по словам Маркса, „новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят”. Последующая история капиталистического накопления, согласно Бухарину, происходит подобным же образом: ее „движущим мотивом” было „всегда получение максимальной прибыли путем эксплуатации, разрушения и разорения, представлявших собой действительный механизм отношений между капиталистической и некапиталистической средой”; империализм „на основе колониальной эксплуатации есть лишь мировой размах этого явления” [28].

Существенной чертой капиталистической индустриализации было, по Бухарину, то, что она играла роль „кровососа” по отношению к сельскому хозяйству и крестьянину. Города обогащались за счет „пожирания” деревень и доведения их до нищеты:

Капиталистическая индустриализация — это паразитизм города по отношению к деревне, паразитизм метрополии по отношению к колонии, гипертрофированное, раздутое развитие индустрии в сторону обслуживания господствующих классов при крайней сравнительной отсталости земледельческого хозяйства, особенно *крестьянского* земледельческого хозяйства.

Отсюда „проклятое наследие” этого „паразитарного процесса” — „бедность, невежество, неравенство, культурная отста-

лость”, — то, что Маркс называл „идиотизмом деревенской жизни” [29]. И именно в этом аспекте надо понимать коренное отличие „нашей индустриализации”. Как неоднократно утверждал Бухарин между 1924 и 1929 гг.:

...нужно постоянно иметь в виду, что наша социалистическая индустриализация должна отличаться от капиталистической тем, что она проводится *пролетариатом* в целях *социализма*, что ее „отношение” к сельскому хозяйству вообще совершенно другое. Капитализм *подавлял* сельское хозяйство. Социалистическая индустриализация это не паразитарный по отношению к деревне процесс..., а средство ее величайшего *преобразования и подъема* [30].

Это было представление, которое он пытался выразить в постоянных напоминаниях об исторической задаче большевизма. Советская индустриализация, в отличие от предшествующей, капиталистической, была обязана развивать экономически и культурно сельский сектор, „открыть новую эпоху в соотношении между городом и деревней, которая кладет конец систематическому отставанию деревни... которая поворачивает самую индустрию „лицом к деревне” и индустриализует сельское хозяйство, выводя его с исторических задворков на авансцену экономической истории”. Это смелое предприятие имело историческое значение, потому что оно было беспрецедентным; на эту тему восторженно говорил Бухарин, выступая перед комсомольцами в январе 1925 г.:

Такая задача впервые стоит в человеческой истории, впервые, потому что ни в одном периоде, ни в одном цикле человеческой истории, ни в эпоху восточных деспотий, ни в период так называемого классического мира, ни в средние века, ни при капиталистическом режиме — никогда не было такого примера, чтобы господствующий класс ставил своей основной задачей преодоление и уничтожение разницы между грабящим городом и деревней, которую грабят, между городом, который поглощает все блага культуры, и деревней, которая обречена в жертву тупоумию [31].

Бухарин стремился определить этику социалистической индустриализации, обязательную норму, позволявшую отделять допустимое от недопустимого. Убежденный, что советский опыт должен быть рассмотрен в зеркале истории капитализма, и желая, чтобы отражение было более гуманным и благотворным, равно как и более эффективным, он считал осуществление советского опыта величественным деянием. Может ли Советская Россия провести индустриализацию, избегая жестокостей, присущих капиталистической модели? Если нет, то он, по-видимому, предполагал, что не социализм явится результатом. Средства отразятся на цели. „Мы не желаем гнать железной метлой середняка в коммунизм, подталкивая его пинками военного

коммунизма”, — пояснял он в январе 1926 г. Это должно было стать и стало теперь „неверным, неправильным и негодным с точки зрения социализма”. Большевики были „зачинателями, но мы не произвели экспериментов, мы — не вивисекторы, которые ради опыта ножиком режут живой организм, мы знаем свою историческую ответственность...” [32].

Особое понимание Бухариным исторической роли большевизма является важным в его усилиях противостоять антикрестьянской политике (и, как мы увидим, объясняет его одобрение первоначальных экономических мероприятий). Он взволнованно осуждает „сторонников третьей революции” как защитников „погромов”, обличает „чудаков, которые предложили бы объявить крестьянской буржуазии „Варфоломеевскую ночь” [33]. Это проливает также свет на его крайнюю реакцию против идей Преображенского, против его аналогий с грабежами и экспроприацией в прошлом, в чем Бухарин увидел не переход к „первоначальному социалистическому накоплению”, а постоянную систему эксплуатации „на расширенной основе”. „Положения, сформулированные Преображенским, — утверждал Бухарин, — только в одном случае... оказались бы правильными... когда речь шла бы не о движении к бесклассовому коммунистическому обществу, а к закреплению пролетарской диктатуры навеки, к консервированию господства пролетариата и притом к его *вырождению* в действительно эксплуататорский класс. *Тогда* понятие эксплуатации было бы безоговорочно правильно в применении к такому строю. Равным образом было бы правильным также и определение мелкобуржуазного крестьянского хозяйства как, с позволения сказать, пролетарской колонии”.

Но, спрашивал он риторически, „можно ли ... назвать пролетариат *эксплуаторским классом*?.. Нет! И тысячу раз нет! И вовсе не потому, что это „плохо звучит” ... А потому, что такие имена не соответствуют... объективной действительности и нашим историческим задачам”. Это значит „упускать *своеобразие* процесса” социалистической индустриализации, „значит не понимать его *исторической сущности*” [34].

Независимо от этической аргументации Бухарина, в его противопоставлении капиталистического и социалистического накопления скрывалась существенная непоследовательность. Несмотря на нарисованную им мрачную картину капиталистической модели, он сознавал, что, во всяком случае, в одной стране — Соединенных Штатах — индустриализация сопровождалась процветанием сельского хозяйства [35].

В действительности, видимо, несчастливая история русского крестьянства побудила его сделать обобщение об эксплуатации деревни в прошлом. Образ хищного самодержавия, угнетавшего мужика, красной нитью проходил в трудах домарксистских революционных мыслителей России, и Бухарин воспринял его.

Перед Февральской революцией, вспоминал он, „наполовину разоренное крестьянство”, объект „средневековых форм эксплуатации”, страдало „под железной пятой помещиков” и самодержавия, которые „представляли не что иное, как „огромного паразита на теле нации”. Подлинным источником „паразитарной” модели, о которой говорил Бухарин, был, видимо, царизм, а не капитализм. Как он предупреждал в гневной и знаменательной полемической статье, сверхиндустриальная программа может поместить СССР в ...историческом ряду „за старой Россией”, с ее „отсталым, полукрепостническим сельским хозяйством, крестьянином-паупером... беспощадной эксплуатацией мучика...” [36].

Хотя по очевидным причинам Бухарин никоим образом не отделял от других своих аргументов этические соображения и не называл эти соображения своим собственным именем [37], они повлияли на его экономические взгляды во время дискуссий 20-х гг. Убежденность Бухарина в том, что социалистическая индустриализация должна приносить пользу крестьянским массам, была отражена в его главном экономическом положении, что „потребление масс”, „нужды масс” являются „реальным рычагом развития, ускоряющим темпы экономического роста”. Или, как он выразил это программно: „Наше хозяйство существует для потребителя, а не потребитель для хозяйства. Это есть пункт, который никогда не может быть забыт. „Новая экономика” отличается от старой тем, что она приняла в качестве критерия нужды масс...” [38]. Это положение сочетало как этическую, так и экономическую аргументацию. Как большевик Бухарин, однако, заверял партию, что оно имеет по преимуществу экономический, а не этический смысл.

В основе дискуссии лежали, конечно, экономические проблемы. Здесь прежде всего нужно отметить, что Бухарин был согласен с Преображенским и левыми в двух важных отношениях. Во-первых, подобно другим руководящим большевикам, он считал индустриализацию самой главной целью партии. Для этого было много разных оснований: национальная гордость и обеспечение безопасности, марксистская связь индустриализации с социализмом и постоянное опасение, что пролетарский режим будет всегда неустойчив в преимущественно аграрном обществе. И подобно левым, он желал осуществления такого процесса индустриализации, в основе которого лежал бы развитый сектор производства: „Наш становой хребет, база социалистической промышленности – металл” [39].

Во-вторых, как Бухарин, так и Преображенский считали, что советская индустриализация должна основываться, главным образом, на внутренних ресурсах [40]. Более того, Бухарин

соглашался, что индустриализация требовала перемещения средств из сельскохозяйственного сектора в государственный промышленный сектор, то есть того, что Преображенский называл „перекачкой” из крестьянской экономики. Действительные разногласия, как настойчиво утверждал Бухарин, касались методов и пределов этой „перекачки”:

Было бы неправильно рассуждать так, что промышленность должна расти только за счет того, что производится в рамках этой промышленности. Но весь вопрос заключается в том, сколько мы можем взять с крестьянства... в какой мере мы можем эту перекачку вести, *какими методами*, где пределы этой перекачки... чтобы получить наиболее благоприятный результат... Здесь разница между нами и оппозицией. Товарищи из оппозиции стоят за перекачку сверх меры, за такой усиленный нажим на крестьянство, который... экономически нерационален и политически недопустим. Наша позиция состоит вовсе не в том, что мы отказываемся от этой перекачки; но мы гораздо более трезво учитываем то, что подлежит учету, то, что хозяйственно и политически целесообразно [41].

Суть бухаринских возражений Преображенскому и основа его собственной экономической программы заключались в убеждении, что индустриальное развитие зависит от расширения рынка потребления. Он первый выдвинул этот вопрос в иносказательной форме весной 1924 г., в серии теоретических статей, казалось, не связанных с развернувшимися в партии дебатами. Одной из мишеней его полемики был экономист Михаил Туган-Барановский, чья ранняя теория экономических кризисов была связана с вопросами, обсуждавшимися в партии. Обосновывая свое толкование кризисов как выражение „диспропорциональности”, Туган-Барановский отрицал неизбежную зависимость между производством и потреблением масс, утверждая, что при планировании правильного соотношения между различными отраслями производства капиталистическое накопление должно расти независимо от уровня общественного потребления. Промышленность, по сути дела, говорил он, может обеспечить достаточный спрос на свою собственную продукцию. Бухарин решительно отклонил „сумасшедшую утопию” Туган-Барановского, в которой производство было обособлено от потребления. „Цепь” производства, утверждает он, всегда „кончается производством средств потребления... которые входят в процесс личного потребления...” [42].

С первого взгляда его негибкий подход к аргументам Туган-Барановского казался странным. Ведь и Бухарин, в конце концов, часто подчеркивал регулирующие возможности государственно-капиталистических систем, а позднее теоретизировал насчет того, что при „чистом” государственном капитализме

(без свободного рынка) производство могло развиваться бескризисно, в то время как потребление отставало бы [43]. Можно, пожалуй, обнаружить большой оптимизм в его настойчивых указаниях на то, что производство должно быть направлено в конечном итоге в сторону удовлетворения общественных потребностей. Во всяком случае, несколькими месяцами спустя стало ясно, что Бухарин говорил меньше о старых разногласиях, чем о новых, когда он представил свою главную экономическую аксиому: „Если дана такая система экономических отношений, где промышленность уже работала на крестьянский рынок, где она не может быть вне связи с этим рынком, то промышленная конъюнктура, темп накопления и т. д. ... не может не зависеть от роста производительных сил сельского хозяйства”. Бухарин, конечно, имел в виду Россию, выдвигая предположение, что „закон” Преображенского основан на программе, покоящейся на „прикладной туган-барановщине” — обвинение, которое он неоднократно повторял в 20-х гг. [44].

Бухарин полагал, что, когда левые призывают к „диктатуре промышленности”, они игнорируют решающую проблему крестьянского спроса. (А эта проблема, добавлял он, способствовала падению царизма) [45]. Отсюда его главный экономический довод, без устали повторяемый им между 1924 и 1926 гг.: „Накопление в социалистической промышленности не может долго иметь место без накопления в крестьянском хозяйстве”. Если эта проблема была бы решена правильно, то перспективы могли стать обнадеживающими. „Наша промышленность развивается тем быстрее, чем больше платежеспособен спрос среди крестьянства”. Или, как сжато сформулировал Бухарин, „накопление в крестьянском хозяйстве копейки есть основа для того, что накопить рубль в социалистической промышленности” [46].

Бухарин понял, что „сверхиндустриализация” левых отражает непонимание оппозицией того, что городской и сельский секторы есть „один организм”. Если препятствовать взаимодействию сельского хозяйства и промышленности, „у вас будут стоять заводы, у вас будут падать крестьянские хозяйства: у вас будет общее попятное движение”. В соответствии с этим он настаивал на том, что верным показателем роста являются не только капиталовложения в промышленность, но „сумма национальных доходов, на основе чего все растет, начиная от производства и кончая армией и школой” [47]. Нэп разрешил главную проблему связи двух секторов созданием „экономической смычки между социалистической государственной промышленностью и миллионами крестьянских хозяйств”. Такой экономической смычкой была торговля, с помощью которой „сооружались мосты между городом и деревней” [48].

Взаимодействие двух секторов выразилось, по Бухарину, в

обоюдном спросе и предложении. Деревенский спрос состоял из двух частей: крестьянину были необходимы прежде всего потребительские товары и простые сельскохозяйственные орудия; но по мере роста накопления в крестьянском хозяйстве оно будет тоже нуждаться в сложном производственном оборудовании, например в тракторах. Крестьянский спрос поэтому способствовал развитию всех отраслей индустрии, как легкой, так и тяжелой. В то же самое время прогресс в технологии крестьянского сельского хозяйства будет зависеть от наличия необходимой промышленной продукции, особенно удобрений и сельскохозяйственных машин [49]. Если взглянуть на этот процесс с точки зрения города, продолжает Бухарин, то обнаруживается, что государственная промышленность получает в обмен то, что ей прежде всего существенно необходимо: зерно и промышленное сырье; первое необходимо, чтобы накормить рабочих города и для экспорта за границу в обмен на нужное оборудование, а второе, чтобы обеспечить будущее промышленное производство [50]. Такая взаимозависимость работы двух секторов, думал он, разрешит главные затруднения в советском экономическом развитии — заготовку зерна и слабую покупательную способность внутреннего рынка.

Таковы были логические аргументы, которые Бухарин сформулировал для обоснования вызвавших дискуссию аграрных реформ 1925 г., которые распространяли нэп в сельском хозяйстве устранением большинства установленных законом барьеров для крестьянского сельского хозяйства [51]. Стержнем его программы было поощрение накопления в частных крестьянских хозяйствах и, следовательно, расширение деревенского спроса на промышленную продукцию и увеличение товарных излишков в сельском хозяйстве. Он надеялся, что крестьянский сектор сможет развиваться от „потребительско-натурального к производящему товарному хозяйству”. „Это означало поощрение процветания всех слоев крестьянства, но особенно средних и зажиточных крестьян, а такую перспективу левые (чьи симпатии были только на стороне бедняков) считали политически опасной и идеологически неприемлемой. Защита Бухаринских реформ отражала к тому же его этическое понимание „исторической задачи” большевизма. Цель партии, уверял он, состоит не в „равноправии в бедности”, не „в том, что мы понижаем более зажиточную верхушку, а в том, что мы низы подтягиваем до этого высокого уровня”. Критикуя левых, он добавлял: „Социализм бедняков — это паршивый социализм”, „только идиоты могут говорить, что у нас *всегда* должна быть беднота” [52].

Его самая существенная аргументация носила, однако, прагматический характер. Значительное увеличение деревенского спроса и рост продажи продуктов неизбежно, по крайней мере в самом начале, зависели от способности зажиточных крестьян к

накоплению капитала и расширению производства. Но это были как раз те крестьянские хозяйства, чье экономическое развитие особенно было сковано законодательными ограничениями и произволом административной практики, сохранившимися после „военного коммунизма”. Как объяснял Бухарин:

Зажиточная верхушка крестьянства и середняк, который стремится тоже стать зажиточным, *боятся сейчас накапливать*. Создается положение, при котором крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что опасается, что его объявят кулаком; если он покупает машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая техника становится конспиративной.

Реформы должны были выправить эту ситуацию. Они должны коснуться всех слоев крестьянства, как ясно показал Бухарин в публичном заявлении, вызвавшем политический скандал 1925г.: „В общем и целом, всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство” [53]. Политика вынудила Бухарина отречься от лозунга „обогащайтесь”, но не от его смысла. Как он сказал, „это была ошибочная формулировка... совершенно правильного положения”. Это положение заключалось в том, что „мы не препятствуем накоплению кулака и не стремимся организовать бедноту для повторной *экспроприации* кулака” [54].

Более широкая задача реформ состояла в „развязывании товарного оборота”, что Бухарин определил как „генеральную линию нашей хозяйственной политики”. Он был убежден, что расцвет торговли принесет в результате быстрее и надежнее экономическое развитие. Расширение емкости товарного рынка, увеличение общего объема товаров, ускорение их циркуляции между промышленностью и сельским хозяйством и внутри промышленности и сельского хозяйства „есть главный метод ускорения темпа нашей хозяйственной жизни”. Это „давало бы простор наиболее полному развитию производительных сил” [55]. По этой причине должно было поощряться изготовление промышленных товаров вне государственного сектора. Реформы касались не только крестьянских хозяйств, но также и широкой сети мелких кустарных производств (изготавливавших множество различных товаров), развитие которых должно было способствовать росту общего национального дохода. Бухарин также настаивал на ввозе из-за границы промышленных изделий в случае, если надо удовлетворить внутренний спрос, так как импортный трактор, к примеру, может увеличить емкость внутреннего рынка страны и тем самым, возможно, стимулировать дополнительный спрос на советскую промышленную продукцию [56].

Бухарин справедливо замечал, что его программа отличается от взглядов левых, которые делали главное ударение на произ-

водство, тем, что его программа имела в виду движение „от обращения (деньги, цены, торговля) к производству”. В этом состояла сущность его страстно оспариваемой теории (которую мы более подробно рассмотрим ниже) „врастания в социализм через обмен”. Как объяснял Бухарин в 1925 г., „ускорение *оборота*, расширение *рынка*, на этой базе расширение *производства*, отсюда — возможность дальнейшего снижения цен, дальнейшего расширения рынка и т.д. Вот путь *нашего* производства” [57]. Такая программа требовала, чтобы партия проводила политику в трех основных направлениях: она должна была провозгласить и решительно осуществлять аграрные реформы; восстановить нормальные условия торговли и свести к минимуму вмешательство государства, начиная с центральных рынков и кончая местными базарами; постоянно снижать цены на промышленные товары.

В 1924—1926 гг. споры по поводу основных вопросов революции часто сосредоточивались на неотложной, практической проблеме официальной политики цен. Соотношение между промышленными и сельскохозяйственными товарами не только было связано с перспективой крестьянских волнений, но и затрагивало вопрос о том, какой класс должен нести бремя индустриализации и до какой степени можно „выкачивать” средства из крестьянского сектора. В то время как Преображенский и левые требовали относительно высоких промышленных цен, Бухарин, в обоснование противоположной политики, выдвигал два аргумента.

Во-первых, он исходил из того (очевидно, в отличие от Преображенского), что крестьянский спрос на промышленные товары способен приспосабливаться к условиям. Более низкие цены повлекут за собой больший объем закупок и большую общую прибыль. Кроме того, низкие цены ускорят оборот капитала и позволят снизить себестоимость продукции за счет увеличения объема и рационализации производства. И, напротив, предупреждал Бухарин, политика искусственного завышения цен может иметь катастрофические последствия — уменьшит покупательную способность крестьянского рынка, поведет к повторению „кризиса сбыта” 1923 г. и, лишив промышленность ее рынка и сырья, приведет к „промышленному застою”. Принятие плана Преображенского означало бы „зарезать курицу, несущую золотые яйца” [58]. Хотя Бухарин однажды заявил, что „было бы нелепостью с нашей стороны отказаться от использования нашего монопольного положения”, в середине 20-х гг. он высказывался исключительно за „более дешевые цены в каждом последующем цикле производства”, обещая, что источником более быстрого темпа промышленного развития явится не „карательная сверхприбыль”, а „минимальная прибыль на каждую единицу товара” [59].

К этому доводу против высоких промышленных цен он добавлял и другой: „Всякая монополия таит в себе... опасность некоторого загнивания, успокоения на лаврах”. Капиталистическая фирма „подстегивается конкуренцией” к тому, чтобы производить более дешево и более рационально. Советской промышленности не хватает этой внутренней динамики:

Когда у нас в руках, по сути дела... государственная сверхмонополия, то если мы не будем давить, жать и бить наш кадровый состав, толкать его на то, чтобы он удешевлял производство, чтобы он вел его лучше, — тогда, совершенно естественно, мы будем иметь перед собою все данные для монопольного загнивания. То, что в капиталистическом обществе осуществлялось конкуренцией... должно быть у нас заменено сознательным нажимом под напором потребностей масс... [60].

Указания Бухарина на эту опасность, иногда определяемую как „монополистический паразитизм” и „бюрократическое вырождение”, отражали нечто большее, чем просто экономические издержки „бюрократической безхозяйственности”. Эти замечания отражали, как мы уже видели, его постоянные опасения, что появится „новый класс”. „Хозяева — класс пролетарских борцов, но они тоже подвержены человеческим слабостям”, — говорил он Преображенскому. Политика монополистических цен была „фальшивой философией” отчасти потому, что она выдвигала другое мерило, которое позже Бухарин определил так: „Народ для чиновника”, а не „чиновник для народа” [61].

Таким образом, отвечая на решающий вопрос, каким способом должны быть получены фонды для советской индустриализации, Бухарин указал на три источника. Первый — это растущая рентабельность самой государственной промышленности, основанная на расширении сбыта и снижении себестоимости. Второй — новые доходы от прогрессивного налогообложения на процветающие капиталистические элементы: то были доходы, которые оправдывали мягкую политику по отношению к этой прослойке населения. Третий источник — это личные сбережения, добровольно помещаемые в советский банк и кредитные учреждения, первоначально это вклады кулаков-капиталистов, а затем, как надеялся Бухарин, вкладчиками станут и крестьяне с мелким хозяйством. Первые два источника Бухарин рассматривал как „основные источники”, упомянув о личных вкладах только мимоходом в 1924 и 1925 гг. [62]. Но к началу 1926 г. он уже подчеркивал такое же большое значение и третьего источника: „Я утверждаю, что одним из крупных путей привлечения добавочных капиталов в дело нашего социалистического строительства является политика концентрации и мелких накоплений крестьянства в наших кредитных, кооперативных и прочих

учреждениях". Замечая, что в капиталистических странах буржуазия использует сбережения мелких вкладчиков, он доказывал, что „Советское правительство может сделать то же самое в интересах социалистического строительства” [63].

Отношение Бухарина к перспективе добровольных вкладов показывает значительное расхождение его программы и программы левых, которые искали способы принудительного изъятия накоплений. Тогда как левые подчеркивали насущную необходимость энергичного вмешательства государства в процесс индустриализации, Бухарин, особенно в середине 20-х гг., имел в виду стихийный автоматический процесс добровольных вкладов в экономику со стороны негосударственного сектора. Помимо экономической осуществимости, эта программа обладала тем достоинством, что частично основывалась на привычных традиционных экономических идеях и практике. (Противники Бухарина заклеили его идеи, называя их „нашей советской манчестерской школой мысли”) [64]. Между тем они легко распространялись и легко усваивались, а это было немалым достоинством, когда дебаты перенеслись в провинцию. Хорошим примером служит резюме позиции Бухарина (в то время — позиция официального руководства), которое он изложил на собрании одной местной парторганизации в феврале 1926 г.

Во-первых, если растет товарооборот в стране, это означает, что больше производится, больше продается-покупается, больше накапливается; это означает, что ускоряется и наше социалистическое накопление, то есть ускоряется развитие нашей промышленности. Если ускоряется общий товарооборот в стране, живее бежит кровь в хозяйственном организме, это значит, что ускоряется и оборот в нашей промышленности. Если я продавал в месяц один раз, а теперь продал четыре раза, значит, я положил в карман прибыль не один, а четыре раза; это значит, что мы накапливаем в своей промышленности больше, ускоряем темп, ход развития своей промышленности. Во-вторых, со стороны капиталистических элементов, которые растут на этой почве, мы получаем добавочный доход в виде растущего налогового обложения на эти растущие капиталистические элементы. И вот эти два основных источника, которые мы получаем добавочно в свои руки, дают нам добавочные средства, за счет которых мы материально помогаем всем социалистическим формам против капиталистических, и в том числе деревенской бедноте [65].

Такова была, следовательно, экономическая программа Бухарина между 1924 г. и второй половиной 1926 г. Она была построена на безоговорочном принятии смешанной экономики нэпа как подходящей переходной структуры, на которой мог развиваться социализм. Он рассматривал экономику нэпа как

двухсекторную систему, состоящую из общественного сектора (государственный, социалистический, или социализированный — называл он его попеременно) и частного сектора. Общественный сектор включал в себя компоненты, обычно называемые „командными высотами” — крупная промышленность, банки, транспорт, внешняя торговля, и, кроме того, Бухарин включал в него иногда еще два компонента: кооперацию и внутреннюю торговую сеть [66]. Включение кооперации в социалистический сектор было, как мы увидим, позицией, которую Бухарин теоретически обосновал и защитил, тогда как включение внутренней торговли в социалистический сектор зависело от степени его уверенности в относительно успешной конкуренции государственных и кооперативных органов с частными торговцами. Частный сектор охватывал мелкие крестьянские хозяйства, кустарное производство, частную торговлю и другие сферы частнокапиталистической деятельности. Это наводит на мысль, что тенденция Бухарина противопоставлять в качестве двух основных секторов государственную промышленность и крестьянское сельское хозяйство была неточной, потому что экономика, как он однажды заметил, больше напоминает „гигантский социально-экономический салат” [67]. Однако подобное противопоставление отражало коренную двойственность системы.

Бухарин осторожно указывал на то, что двойственная система начала действовать полностью только в 1924–1925 гг., когда ограничения частного сектора были смягчены. Он пояснял, что с 1921 по 1923 г. разрушенный войной государственный сектор перестал быть уязвимым „оазисом” и стал „решающим фактором в нашей хозяйственной жизни”, и это, подчеркивал Бухарин, с каждым годом становится все более бесспорным и очевидным. Хотя Бухарин представлял смешанную экономику как переходную систему, он утверждал, что она долгосрочна и пригодна на „десятилетия” [68]. И в течение перехода к социализму отношения между частным и общественным секторами должны были сохраняться и управляться путем использования полусвободного рынка, чье функционирование будет меняться по мере осуществления регулирующих способностей государства.

Таким образом, рынок, кроме того, что он связывал оба сектора, распределяя товары и способствуя мобилизации ресурсов, давал Советскому государству возможность получать выгоду от частной деятельности „массы полудрузей и полуврагов и открытых врагов в экономической жизни” [69]. Согласно Бухарину, рыночная экономика нэпа делает возможным „правильное сочетание между частными интересами мелкого производителя и общим делом социалистического строительства”. Стимулированием личной инициативы крестьян, ремесленников, рабочих „и даже буржуазии... мы заставляем их объективно служить государственной социалистической индустрии и экономике

в целом". Позиция Бухарина по отношению к кулаку („Мы помогаем ему, но он помогает нам") явилась выражением его отношения к частному капиталу вообще. Развитие последнего служило, „независимо от его воли", интересам социализма [70]. В конце концов государственный сектор должен оказаться в выигрыше; благодаря своей большой рыночной конкурентоспособности, эффективности и ресурсам он должен будет постепенно вытеснить частный капитал из торговли и производства. Ниже будет рассмотрен вопрос о том, как представлял себе Бухарин „преодоление рынка посредством рынка"; здесь же важно отметить, что принятие им смешанной экономики и рынка определило его позицию по трем ключевым вопросам, вызвавшим дискуссии: планированию, соотношению роста отдельных отраслей промышленности и темпам самого экономического роста.

Идея планирования с ее обещанием „экономической рациональности" всегда занимала воображение большевиков. Все были согласны, что планирование обладает большим достоинством и желательно, но немногие держались общего мнения относительно его характера и его осуществления [71]. Единый индустриальный план был великой задачей левых, настолько важной, что он объединил несколько различных тенденций внутри оппозиции. Отчасти поэтому, а отчасти в качестве реакции на крайности централизации, которые выдавали за планирование во время „военного коммунизма", Бухарин между 1924 и 1926 гг. часто высказывался по этому вопросу отрицательно. Он высмеивал идею генерального плана, непосредственно навязываемого свыше, представляющего внезапно, „словно *deus ex machina*", и видел в этом пережиток тех военно-коммунистических иллюзий, которые рассеялись, „когда пролетарская армия взяла Перекоп". Более конкретной была его критика индустриального плана, рассчитанного независимо от рыночных факторов, от спроса и предложения крестьянского сектора; такой план был „немыслим": „соотношение („сочетание") внутри госпромышленности *определяется соотношением с крестьянским рынком*. Тот „план", который бьет мимо этого соотношения, не есть план, ибо это *соотношение* и есть база всего плана" [72]. С другой стороны, в основе его позитивных замечаний лежало новое, более глубокое понимание нэпа. „Реальный" и „точный" план мог быть выработан только постепенно, когда государственная экономика вытеснит частную посредством рыночной конкуренции и благодаря росту крупного социалистического производства. Путь к плановой экономике должен быть „долгим процессом". Между тем, однако, Бухарин видел „плановое начало" в государственном регулировании экономики посредством управления ее „командными высотами" и планирования оптовых и розничных цен. И хотя его враждебность к „экономическому

футуризму” придавала его размышлениям на эту тему негативный оттенок, общие черты его концепции отразились в предложениях, сделанных им после 1926 г., в большей мере учитывавших планирование. В апреле 1925 г. он объяснял направление подлинного планирования: „Установить пропорции между различными отраслями производства внутри промышленности, с одной стороны, и правильное соотношение между промышленностью и сельским хозяйством, с другой”. Обе эти задачи были неразделимы: „Соотношение между отдельными отраслями производства без установления определенного соотношения между промышленностью и сельским хозяйством есть совершенная абстракция, только пустой звук”. Планирование, был убежден он, надо начинать с установления этого соотношения, тогда как левые, по его мнению, начинают планирование, „систематически ломая общественно необходимую пропорцию” [73].

Левые рассматривали планирование как способ стимулирования немедленных и больших капиталовложений в тяжелую промышленность. Программа Бухарина намечала иную форму промышленного развития. Из его убеждения, что массовое потребление является стимулом, а емкость внутреннего рынка определяет пропорции внутри промышленности, вытекала необходимость „приспособления промышленности к крестьянскому рынку” [74]. Это означало, что необходимо начать с развития отраслей промышленности, производящих предметы личного потребления (например, текстильные изделия), с тем чтобы развитие тяжелой промышленности стало результатом этого последовательного процесса. Бухарин доказывал, что жизнеспособность этой формы, которую он также противопоставлял безрассудствам „военного коммунизма”, была подтверждена промышленным оздоровлением, достигнутым после 1921 г.: „Начали с подъема самых легких отраслей промышленности, начали с того, чтобы получить товарную смычку с крестьянским хозяйством, через нее стали поднимать легкую промышленность, потом среднюю, и в конце этого процесса дело дошло до основного производственного звена, до производства основного капитала, то есть металла”. Он предусматривал и в будущем эту форму балансируемого развития, предвидя надежный рост легкой промышленности и продолжительную зависимость тяжелой промышленности от „полной смычки с крестьянским хозяйством” [75].

И наконец, стоял вопрос о темпах. Значение, придаваемое в дебатах фактору времени, колебалось в зависимости от оценки партией степени безопасности Советской России среди других государств, и дискуссия по этим вопросам обычно принимала характер теоретически-философских рассуждений. Все, разумеется, хотели возможно более быстрого темпа индустриального

роста. Левые проявляли особо острый интерес к ускорению темпов, хотя оставались в своих формулировках столь же неопределенны, как и руководящее большинство. Публичные заявления Бухарина усиливали замешательство. Между 1924 и 1925 гг. Бухарин утверждал, что его программа, а не программа левых обеспечит „очень быстрый темп развития”, противопоставляя развитие советской страны экономической ситуации в европейских капиталистических странах. Так, в начале 1924 г. он заявлял: „СССР через 5—6 лет будет самым могущественным европейским государством” [76]. „Стабилизация” европейского капитализма в середине 1925 г., однако, подсказала второе и более умеренное высказывание: „Так как „они” тоже начали расти, то и мы должны расти, но значительно быстрее, чтобы нам не отставать от „них” ... значительно быстрее, чем целый ряд наших соседей”. Это может быть обеспечено „развязыванием товарооборота” [77].

В течение того же периода, однако, Бухарин неоднократно пользовался образами, которые, казалось, подразумевали более медленные темпы роста. Стремясь подчеркнуть необходимость увязывания индустриального прогресса с развитием крестьянского сектора, он выражал эту мысль по-разному: медленное движение вперед, волоча за собой громоздкую крестьянскую телегу или „таща за собой... огромнейшую тяжелую баржу всего крестьянства” [78]. Как можно было согласовать образ „крохотных шагов”, как в иных случаях выражался Бухарин, с его одновременным обещанием „очень быстрых темпов”? Возможно, это представление относилось к длительному процессу („десятилетия”) подготовки крестьянства (экономически и психологически) к социализму, тогда как „быстрые темпы” — только к экономическому росту. Но такое расхождение никогда не оставалось ясным и не находило исчерпывающего объяснения. Возражения левых прежде всего сосредоточились на выводах о „крохотных шагах”, особенно после заявления Бухарина на партийном съезде в декабре 1925 г. (через две недели после многократно повторенного: „Мы будем расти очень быстро”); „Мы можем строить социализм даже на этой нищенской технической базе... мы будем плестись черепашьям шагом” [79]. Если это означало, что индустриализация должна проходить „черепашьям шагом”, то никто, включая Бухарина, не мог быть удовлетворен этим.

Его аргументация была более ясной и более весомой, когда он предпочитал, что часто делал, объединять проблемы темпа и „перекачки” и рассматривать более долгосрочную перспективу. План „чрезмерной перекачки” Преображенского, утверждал Бухарин, может привести к первоначальному росту капиталовложений, но затем, несомненно, последует их „крутое падение”. Вместо этого „наша политика должна быть рассчитана не на один

год, а на целый ряд лет” для того, чтобы „обеспечить каждый год все большее и большее расширение всего народного хозяйства”. Он подвел итоги своих размышлений, предоставив более обстоятельные доказательства в июле 1926 г.:

... наиболее быстрый темп промышленного развития вовсе не обеспечивается максимальной цифрой того, что мы возьмем от сельского хозяйства. Это совсем не так просто. Если мы берем меньше сегодня, то этим мы способствуем большему накоплению в сельском хозяйстве и тем самым на завтра мы обеспечиваем себя большим спросом на продукты нашей промышленности. Обеспечивая большую доходность сельского хозяйства, мы сможем из этой большей доходности и взять на будущий год больше, чем брали в предыдущий год, и обеспечить себя на будущие годы еще большим возрастанием, еще большими поступлениями для нашей государственной промышленности. Если мы в первый год, благодаря такой политике, пойдём несколько менее быстрым темпом, то зато кризис нашего возрастания *потом* будет подниматься очень быстро [80].

Дискуссия о темпе обнаружила важное свойство экономических дискуссий вообще: они были тесно связаны с внеэкономическими соображениями и находились под их влиянием; таковы были вопросы внутренней и внешней политики и — что столь же важно — большевистской идеологии. Особенно это справедливо по отношению к теоретически мыслящему Бухарину. Он не только выдвигал против левых политические, этические и экономические аргументы, но программа Бухарина была только частью его более широкой теории социальных изменений в Советском Союзе.

Официальные взгляды большевиков на пути развития общества, которые так хорошо служили им между 1917 и 1920 гг., к 1924 г. оказались непригодными. Резкий демонтаж системы „военного коммунизма”, введение нэпа с его „чрезвычайной запутанностью социально-экономических отношений”, „психологическая депрессия” большевиков, связанная с провалом европейской революции, смерть Ленина и зрелище борьбы его преемников, претендовавших на преданность различным вариантам ленинизма,— все это расстраивало или серьезно подрывало прежние убеждения [81]. „Крах наших иллюзий” был крахом лежащих в их основе излюбленных положений и старых теорий. В результате наступили разочарование и пессимизм. Об этом свидетельствовало множество признаков, иногда малозаметных, а подчас зловещих: рабочие негодовали по поводу пышных нарядов нэпманских жен; сельские коммунисты были дезориентированы более либеральной аграрной политикой; и, что более

серьезно, среди приверженцев партии, особенно молодежи, нэп посеял „некоторую идейную деморализацию, некоторый идейный кризис” [82].

В некотором смысле последствия этого разочарования положили конец наивной вере большевиков во всемогущество теории. Даже Бухарин любил в то время цитировать: „Теория, мой друг, сера, но зелено вечное дерево жизни” [83]. Тем не менее партийные лидеры остро чувствовали необходимость реконструкции и укрепления большевизма как идеологии, отличающейся логической последовательностью и ясностью. Как предупреждал Бухарин в 1924 г., образованная общественность проявляет „возросший спрос и... большие запросы в области идеологии”, и если партия на эти вопросы не ответит, то ответят другие [84]. Ответы были особенно важны в свете партийных дискуссий, во время которых соперничающие фракции старались привлечь на свою сторону широкие слои партии и рабочую массу. Как официальное руководство, так и оппозиция должны были высказываться по вопросам идеологии; и те и другие заверяли, что именно их программа проникнута духом последовательного „ортодоксального большевизма” (ленинизма) или, как хитроумно выражался Бухарин, „исторического большевизма”. Используя то, что они выступают под знаменем революционно-героических традиций, левые постоянно апеллировали к предшествующим ценностям и взглядам. Они не видели необходимости в крупных теоретических новшествах и предпочитали вместо этого клеймить большинство за „злонамеренное неверие в смелую экономическую инициативу” как за оппортунизм на практике и ревизионизм в теории [85].

С другой стороны, „кризис идей” наложил на Бухарина особую ответственность. Как официальный теоретик и главный защитник нэпа он был вдвойне ответствен за реконструкцию большевистской идеологии, по крайней мере в отношении крупных спорных вопросов. После 1923 г. он не принимал большого участия в интеллектуальных дискуссиях, не связанных прямо с партийными разногласиями, уделяя вместо этого все свое внимание разъяснению новой политики и своей теоретической программы, пытаясь доказать их совместимость с „историческим большевизмом”. Здесь он снова столкнулся со специфической проблемой. В то время как левые имели возможность с успехом апеллировать к укоренившимся (хотя и опороченным) идеям, Бухарин был занят развенчанием многих из этих идей как иллюзий прошлого. Он, например, стал резко критиковать присущее большевикам в течение трех лет рвение в проведении экономической практики „военного коммунизма”, называя ее „карикатурой на социализм” [86]. Постоянное презрение Бухарина к идеям, почерпнутым из „старых книг”, означало, что он должен был выдвинуть новые; если верно, что партия коренным

образом изменила свои коренные представления, то появилась надобность в новых теориях. И хотя Бухарин мог с успехом сослаться на ленинские работы, особенно на реформистские идеи его последних статей, он вскоре признал, что нельзя ограничиваться перепевами того, что *magister dixit* [87].

Отделяться афоризмами тоже было нельзя. В духе своего недавно обретенного прагматизма Бухарин теперь регулярно осуждал „истерическую” политику, превознося линию, которая была бы „не правой, не левой”, а „правильной”. Проблема заключалась в том, что подобные половинчатые высказывания или такие заявления, как: „...я двадцать тысяч раз повторял, что мы абсолютно не должны отходить от принципов нэпа” [88], имели привкус консерватизма и вызвали подозрения, что политика большинства была предательством революционных идеалов. Исполненные надежд прогнозы некоторых меньшевиков, что „ангел революции тихо отлетает от страны”, должны были быть опровергнуты, потому что и оппозиция держалась такого же мнения [89]. Сам Бухарин размышлял в 1922 г.: „История полна примерами того, как партии революции становились партиями порядка. Временами только настенные лозунги напоминают о революционной партии” [90]. Оппозиция называла это „термидорианской реакцией”.

Короче говоря, были необходимы не только новые, но оптимистические теории. Бухарин понимал, что нэп породил пессимизм отчасти потому, что эта политика не носила героического характера [91]. Поскольку смешанная экономика нэпа производила отталкивающее впечатление, Бухарин становился уязвим для обвинения в том, что его идеи есть „идеализация нэпа”, что он не теоретик революционного социализма, а „Пушкин нэпа”, как высказался один оппозиционер [92].

Рожденная как отступление, новая политика только такой и представлялась. Было необходимо убедить членов партии, что в действительности нэп является движением к социализму, а не „сплошным отступлением”. Нужно было опровергнуть тех „старых скептиков”, которые считают „признаком дурного тона говорить о нашем продвижении вперед” [93]. В 1923 г. по поводу двадцать пятой годовщины партии Бухарин писал: „Мы пустились в такое плавание, какое не снилось даже Колумбу” [94]. Теперь Бухарин показывал, что плавание продолжается, что его реформизм, его „новая экономика” ведут к социализму.

До подробного рассмотрения того, как могло осуществляться социалистическое развитие, нужно было еще установить, было ли допустимо хотя бы стремление к социализму в изолированной аграрной стране. Как мы видели, на этот вопрос явно отрицательно отвечала ранняя марксистско-большевистская теория, главной идеей которой была международная пролетарская революция, возникающая на почве противоречий зрелых индуст-

риальных обществ. Левое крыло партии (не всегда последовательно и убедительно) защищало старую позицию, хотя его представители с осторожностью допускали, что *процесс* социалистического строительства в Советской России возможен. Левые, однако, решительно отклоняли утверждение, что этот процесс может быть завершен в изолированной, экономически отсталой стране. Они заявляли, что стоят на ортодоксальной, реалистической и непреклонно интернационалистической позиции [95]. Но логика событий после 1917 г. — национальный успех большевиков в Октябре и в гражданской войне, распространившаяся во времена „военного коммунизма” готовность признать идею „прыжка в социализм” и начатая Лениным в 1922—1923 гг. обнадеживающая новая оценка нэпа привели к иным выводам [96]. Они нашли свое выражение в доктрине „социализма в одной стране”, взятой на вооружение сталинско-бухаринским большинством.

Выступая против „перманентных революционеров”, Сталин первый отчетливо выдвинул эту идею, но именно Бухарин развил ее в теорию и дал, таким образом, официальное обоснование „социализма в одной стране” в 20-х гг. [97]. Как мы видели, он приближался к такой концепции с ноября 1922 г.; она содержалась косвенным образом в его положении о „врастании в социализм”. Но только в апреле 1925 г., спустя три месяца после сталинского заявления, Бухарин сформулировал проблему публично и недвусмысленно [98]. Иногда ему приходилось опровергать утверждение, что его доктрина представляет собой ревизию прежних взглядов, но его опровержения были малоубедительными потому, что с 1917 по 1921 г. он, подобно другим, открыто разделял убеждение, что достижение социализма в одной только России невозможно [99]. Хотя логические доводы в пользу возможности „социализма в одной стране” могли быть обоснованы самим Октябрьским переворотом и узаконены авторитетом ленинских статей 1922—1923 гг., формальное выражение доктрины явилось, по существу, решительным поворотом в официальной большевистской концепции, что косвенным образом признавал Бухарин, когда говорил, что „этот вопрос не так прост, как он представлялся раньше, когда над ним меньше думали” [100].

Поразмыслив над этой проблемой, Бухарин выдвинул состоявшую теперь из двух частей формулу, отвечающую на вопрос, может ли быть построен социализм в Советской России при отсутствии европейской революции. Первая часть формулы касалась внутренних условий страны, ее ресурсов и классов. В этом отношении вывод Бухарина был недвусмысленно положительным. Отвергая предположение, будто „мы ...погибнем из-за нашей технической отсталости”, он сформулировал свое знаменитое утверждение: „Мы можем строить социализм даже на этой

нищенской базе... мы будем плестись черепашьям шагом, но... все-таки мы социализм строим, и мы его построим" [101]. Такую позицию, доказывал он, занимал Ленин, говоря в своем „Завещании“, что есть „все необходимое и достаточное“ для построения социализма. Если это верно, значит, „нигде нет такого момента, начиная с которого это строительство стало бы невозможным“. Но существовала одна потенциальная помеха, которая была учтена во второй части формулы Бухарина. Советский Союз будет гарантирован от иностранной капиталистической интервенции и войны только тогда, когда революция приобретет международный характер. Таким образом, с точки зрения гарантий от внешней угрозы, „ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ *практическая победа социализма в нашей стране без помощи других стран и мировой революции невозможна*“ [102].

Эта формула явилась для Бухарина средством подтвердить свой интернационализм, когда он оптимистически отвечал на непосредственный вопрос: „Куда мы идем?“ Проводя различие между вопросом о внутренних возможностях и вопросом внешней угрозы, он фактически сосредоточил свое внимание на перспективах обновления экономики; и это был разумный подход к делу, ибо за риторикой о „строительстве социализма“ скрывался кардинальный вопрос об индустриализации и модернизации. Не нужно было особенно точно определять социализм для того, чтобы, как это делал Бухарин, утверждать, что мы „можем стоять на собственных ногах“, что „ежедневно, ежемесячно и ежегодно мы будем преодолевать эту технико-экономическую отсталость“ [103]. Другими словами, споры о построении социализма в одной стране были спорами о возможности индустриализации без посторонней помощи либо от победоносного европейского пролетариата, либо, как это делается теперь, от богатой страны-покровителя.

Хотя Бухарин защищал свою формулу на протяжении всей дискуссии, ему, очевидно, нелегко было защищать ее из-за присутствующей ей некоторого привкуса национализма. Он, видимо, был убежден, что примирил „социализм в одной стране“ со своей постоянной („не теоретической, а практической“) преданностью делу международной революции [104]; но он также понимал, что обвинения левых в „национальной ограниченности“ указывают на реальную и растущую опасность. Будучи лично свободным от националистических страстей, он не выступал от имени тех многих рядовых членов партии, которые видели в доктрине прежде всего перспективу будущего национального развития России. Сознывая это, Бухарин пытался сдерживать националистические тенденции тремя способами. Во-первых, он подчеркивал, что социализм наступит „как минимум“ через несколько десятилетий. Во-вторых, он неоднократно повторял, что советский социализм будет „отсталый социализм“. И нако-

нец, он резко критиковал взгляды, что дело, начатое Советами, „может быть названо национальной задачей”, и предостерегал против опасности, заложенной в его собственных идеях о строгости социализма:

...если мы будем *преувеличивать* наши возможности... у нас тогда может возникнуть такая тенденция, что нам, мол, вообще „наплевать” на международную революцию; из такой тенденции может возникнуть своя особая идеология, своеобразный „национальный большевизм” или что-нибудь в этом духе. Отсюда несколько ступенек до ряда еще более вредных идей [105].

Независимо от того, что эта доктрина могла вызвать сомнения, она прокладывала путь для теоретического объяснения того, как нэповская Россия превратится в Россию социалистическую. Бухарин всегда настаивал на том, что дискуссии о социализме в одной стране были в действительности спорами о „характере нашей революции”, то есть о характере и возможностях классов, вовлеченных в революционную драму. Марксистский подход к делу означал, что теория Бухарина должна прежде всего подвергнуть классовый состав России глубокому анализу. Во время гражданской войны помещики и крупные капиталисты были ликвидированы как политическая сила, и официально считалось, что в нэповском обществе имеются три класса: пролетариат, крестьянство и „новая буржуазия” [106]. Городское население не представляло теоретической проблемы и не вызывало серьезных разногласий; все большевики соглашались, что промышленный пролетариат является прогрессивным классом, опорой в борьбе за социализм. Не было трудностей и в определении городских reactionеров — ими были нэпманы, которые торговали и спекулировали, рассчитывая на получение „анти-социальной прибыли”, не выходя из официально допущенных рамок своей деятельности. Они наряду с аналогичными элементами на селе — кулаками — составляли часть „новой буржуазии”. Единодушие в большевистских взглядах распространялось, однако, только на городское население.

Разногласия сосредоточились на вопросе расслоения внутри крестьянства и пригодности давней классификации, подразделявшей крестьянство на три группы: бедняков, середняков и кулаков. Эти группы в результате событий 1917—1920 гг. значительно изменились, и различия между ними сгладились. Социальные слои стали не только менее определенными (кулак, например, стал больше уничтожительной, чем точной социальной категорией), но статистические данные об их численности были ненадежны, спорны и регулярно испытывали влияние политических манипуляций. По официальным подсчетам 1925 г., число бедняцких крестьянских хозяйств составляло 45% общего количества, середняцких — 51 и кулацких — 4%. Все эти цифры

подвергались сомнению и широко пересматривались в течение 20-х гг., особенно последняя. Согласно разным мнениям, процент кулаков колебался от нуля (некоторые доказывали, что ненавистный дореволюционный тип деревенского эксплуататора перестал существовать) до 14%. Так как в стране насчитывалось 20—25 млн. крестьянских дворов, даже маленькие колебания в компетентных подсчетах, которые определяли численность кулаков от 3 до 5% деревенского населения, приводили к важным последствиям в политике и экономике [107].

Левые обычно соглашались с более высокими оценками численности кулака и вели полемику на основе таких данных. Это было верно как в отношении немногочисленных экстремистов, которые пропагандировали экспроприацию кулака, так и в отношении основной массы оппозиционеров, которые были убеждены, что нэп вызвал новый процесс расслоения сельского населения, тождественный тому, который происходил при капитализме. Они предвидели возрастающую поляризацию, разделение крестьян на богатых и бедных, превращение кулака-эксплуататора в преобладающую силу в деревне и расширение капиталистических отношений, ставящих под угрозу революционные завоевания не только в деревне, но и в городе. Главным ядром неоднократно повторявшихся утверждений левых было то, что нэп, особенно на протяжении 1924—1925 гг., грозил реставрацией капитализма [108].

Не все обвинения оппозиционеров были полностью отвергнуты Бухариным. Он соглашался, что после 1923—1924 гг. вновь началось расслоение в деревне. Но он доказывал, что национализация земли, создавая новую структуру, ограничивает процесс расслоения, а государственные „командные высоты” сдерживают этот процесс, гарантируя, что он не приобретет серьезных размеров [109]. Так же как и левые, хотя и с некоторыми оговорками, он соглашался в теории с решающей догмой, что бедные и безземельные крестьяне являются как бы сельским пролетариатом, естественной „поддержкой” партии в деревне, а кулак — „нашим врагом” [110]. Но его трактовка кулака и, что не менее важно, середняка, той прослойки, которую левые то и дело упускали из виду в своих анализах поляризации, говорила об очень разном понимании расслоения крестьянства и его последствий.

За понятием „кулак” скрывалась крупная проблема, вставшая перед Бухариным, пытавшимся приспособить сложившуюся большевистскую теорию к реформистской программе. Такие понятия из идеологического словаря большевиков, как, например, „диктатура пролетариата” и „классовая борьба”, были вызывающе воинственны. Большевистские лозунги рождались в преддверии и во время гражданской войны, и их было нелегко приспособить к политике, основанной на мире. Большая часть

радикальной терминологии проистекала из первоначального марксизма или, точнее, французской революционной истории; часть этих понятий, как в случае с термином „кулак”, — из русской традиции. В течение недолгого проведения партией политики классовой борьбы в деревне в 1918 г. Ленин провозглашал „беспощадную войну” против кулаков, рисуя их кровопийцами, вампирами, грабителями народа. В своем „Завещании” 1922—1923 гг. он, однако, совсем уже не упоминал кулака, осознавая, по-видимому, что гражданская война привела к тому, что сельское население превратилось в обширную однородную массу обнищавших крестьян [111]. Тем не менее отталкивающее значение слова „кулак” сохранило силу, побуждая левых делать мрачные намеки, что Бухарин предлагает отступнический экономический союз с „кровопийцами” и „грабителями” народа [112].

Бухарин понимал значение проблемы. Начиная с 1924 г. он сопровождал свои политические заявления мрачными предостережениями насчет потенциальной „кулацкой опасности”, утверждая (справедливо, как выяснилось), что он был первым, кто указал на эту опасность, и предостерегая против превращения новой политики в ставку на кулака, а также заявляя, что он „отлично” видит кулака [113]. За этими рассуждениями, однако, скрывались его попытки переориентировать мышление партии по этим вопросам. Кажется, он одно время вынашивал мысль о том, что советский кулак непохож на „старый тип”. Но вместо этого он избрал более безопасный аргумент, говоря, что кулак и зажиточный крестьянин составляют только „около трех, не более, чем три-четыре процента” от общего числа крестьян. В то же время он проводил различие между хищным „зажиточным трактирщиком, деревенским ростовщиком, кулаком” и „крепким хозяином, имеющим несколько батраков”. Это различие отражало его нежелание наклеивать каждому предпринимателю крестьянину ярлык кулака [114].

Наиболее важен, однако, был его вывод, что сам кулак не представляет серьезной политической или экономической угрозы. Сельские капиталисты могут временно преуспевать, но только наряду с развитием государственного сектора, чьи „командные высоты” сдерживают и направляют их экономическое развитие. По этой причине, утверждал Бухарин, имевшая свои преимущества политика поощрения кулацкого производства не была сама по себе опасной. И „в конце концов, может быть, и внук кулака скажет нам спасибо, что мы... так обошлись с его дедом” [115]. Политическая угроза, если ее не учесть, была более серьезной. Она заключалась в возможности влияния кулака на крестьянские массы (особенно на середняка) и даже руководства ими.

Опасность, пояснил Бухарин, находится в прямой зависимо-

сти от того, будет ли крестьянство довольно или недовольно Советской властью. Если злоупотребления со стороны официальных органов вызывают широкое недовольство, „средняк видит в кулаке, выражаясь патриархально, отца-благодетеля...” Отдельные успехи кулака на выборах в местные Советы и кооперативы следует приписывать подобного рода недовольству среднего крестьянства; если допустить, что это станет массовым явлением, кулак может приобрести господство над „подавляющим большинством населения” [116].

Бухарин доказывал, как он это делал в течение всех 20-х гг., что первостепенное значение для партии имеет не так называемая кулацкая опасность, а неопределенность настроений среднего крестьянства. Бухарин говорил, что давнишний лозунг воинствующего большевизма *кто кого?* уже более неприменим, теперь вопрос стоит так: *кто с кем?* [117].

С 1918 г. большое внимание уделялось стратегии, направленной на завоевание расположения тех крестьян, которые не были ни богатыми, ни бедными. Но с наступлением нэпа этот вопрос приобрел новую остроту, о чем свидетельствовало заявление Ленина, что середняк стал „центральной фигурой нашего земледелия”. Такая социологическая перспектива стала альфой и омегой философии Бухарина. Его аграрная программа, как он однажды заметил, была отчасти „ставкой на середняка”. Оппозиция резко возражала, не без оснований утверждая, что бухаринизм есть „большевизм середняка” [118].

Характеризуя середняцкое крестьянство как „важнейший слой”, „основную массу”, Бухарин хотел высказать партии три связанные между собой идеи. Первая была социологической: результатом уничтожения помещиков и кулаков и перераспределения земли в течение „нашей великой аграрной революции” явилось „осереднячивание деревни” — середняк стал центральной фигурой. Вторая идея была экономической: середняцкие хозяйства составляют основу советского сельского хозяйства. И наконец, идея политическая: лояльность крестьянина-середняка является решающим фактором в борьбе за гегемонию в деревне. Эти, как думал Бухарин, эмпирические наблюдения, приводят к неопровержимому выводу: „Основная линия нашей политики заключается в том, чтобы этот слой привлечь на сторону Советской власти” [119]. По его мысли, крестьянская политика означает политику по отношению к среднему крестьянству. И, основываясь на этом положении, он строит свою теорию о социализме и крестьянстве.

Бухарин видел, что середняк стоит на историческом перепутье. Одна дорога ведет к капитализму (кулацкое хозяйство), другая — к социализму. Оппозиционеры заявляли, что середняцкие хозяйства являются капиталистическими. Бухарин категорически отвергал это утверждение. Согласно марксистскому ана-

лизу, пояснял он, середняк является „простым товаропроизводителем”: он „покупает и продает, но не применяет наемного труда”. Поэтому он не капиталист, но, с классовой точки зрения, — представитель мелкой буржуазии. При капитализме мелкобуржуазная экономика имела только одну тенденцию — перерасти в капиталистическую; простой товаропроизводитель становился маленьким капиталистом или, в случае неудачи, пролетарием. В советском обществе, однако, остаются открытыми различные перспективы для будущей эволюции мелкого производителя, потому что существует возможность „некапиталистического” пути [120]. Такой беспрецедентный выбор был возможен потому, что у крестьянина, как утверждал Бухарин, „две души”: „душа трудящегося”, солидаризирующаяся с социалистическими устремлениями, и „нетрудовая душа”, присущая мелкому собственнику, который „имеет известное уважение к крупным собственникам”. Какая из этих двух душ восторжествует, зависит от „социально-экономического контекста” [121].

Совершенно ясно, что середняк стал для Бухарина не только „наиболее важной прослойкой”, но символом крестьянства как класса. Двойственность „души” среднего крестьянина является характерной особенностью крестьянства вообще, „даже трудового крестьянства” [122]. Этот неортодоксальный подход к проблеме отразился в бухаринской привычке отбрасывать слово „среднее” и говорить о „крестьянстве”; так было, например, когда он подробно остановился на „борьбе за душу крестьянина” во всемирном масштабе. Для традиционного большевистского разграничения между отдельными слоями крестьянства не оставалось места ни при аналогии с „помещичье-капиталистическим блоком” (рабоче-крестьянский блок), ни в связи с утверждениями Бухарина, что советская рабоче-крестьянская смычка ведет свое происхождение от „сочетания пролетарской революции и крестьянской войны”.

Но самым ярким доказательством склонности Бухарина исходить из представлений о нерасслоенном сельском населении была его концепция нэповской России как „в основном двухклассового общества”. Несмотря на то что он для порядка упоминал о трех классах, его теория двухклассового общества — общественного устройства, основанного на „сотрудничестве двух трудящихся классов”, — отражала лежащее в ее основе понимание переходного периода и его главнейших проблем: „проблем города и деревни, промышленности и сельского хозяйства, крупного и мелкого производств, рационального плана и анархичного рынка и отношений между рабочим классом и крестьянством” [123]. Оппоненты Бухарина вскоре указали ему на то, что в концепции двухклассового общества отсутствует всякое представление о капиталистической эконо-

мике и „новой буржуазии”, особенно кулаке. Для Бухарина, однако, было теоретически необходимо отождествление середняка по крайней мере с „крестьянскими массами”. Этим, например, объясняются его возражения тем большевикам, которые противопоставляли идею „нейтрализации” середняка концепции „прочного союза с ним”. Подобные взгляды, по мнению Бухарина, также находились в противоречии с „исторической задачей” большевизма — „чтобы каждый мелкий крестьянин был обеспечен возможностью принять участие в деле строительства социализма” [124].

Теория классов строилась на экономике. В марксистском понимании общественные классы развивались и выступали как представители различных форм экономической деятельности, каждая из которых играла преобладающую роль в различных исторических обществах. Коллективный труд, квинтэссенция которого есть промышленное предприятие, является в зародыше социалистическим, тогда как частная собственность и индивидуальный труд считались несовместимыми с социализмом. Из двух бухаринских „основных классов” в отношении пролетариата не возникало поэтому никаких теоретических или организационных проблем, поскольку он представлял экономическое будущее социализма. Но в 1925 г. зиновьевцы, решив выступить против того, что большинство, по их мнению, идеализирует нэп, неожиданно сделали вывод, что советская государственная промышленность является не социалистической, а государственно-капиталистической [125].

Загадочно, почему они выбрали такую уязвимую тактику. Как указывал Бухарин, прежние дискуссии о государственном капитализме — „это вопрос совершенно другой”. Они касались наличия большого частного капитала в советской экономике, а не характера национализированной промышленности, которую Ленин описал как последовательно социалистический тип. Оппозиции, очевидно, недоставало понимания того, куда приведет их собственная критика, потому что (как ставил вопрос Бухарин), если государственные промышленные предприятия являются государственно-капиталистическими, „на что нам надеяться”? Это означало бы, что большевистский режим был „политическим выражением эксплуататорской системы, а вовсе не пролетарской диктатуры”. Тогда было бы правильным, продолжал он, драматически обостряя проблему, если бы „я вышел из партии, стал бы строить новую партию и стал бы проповедовать третью революцию против теперешней Советской власти...” [126]. С большевистской точки зрения, его аргумент был неопровержим, потому что он строился на предпосылке, имевшей решающее значение и для руководства, и для оппозиции: „Говоря гегельянским языком, у нас социализм не „есть”, а он „становится”, он im Werden, и он имеет уже крепкую основу —

нашу *социалистическую промышленность*” [127]. Бухарин легко выиграл этот спор.

Большее беспокойство вызывало крестьянское сельское хозяйство. Большевики пришли к власти, свято веря в догмат крупномасштабного коллективного сельского производства и убежденные в его экономическом превосходстве. Между тем революция 1917 г. имела обратное действие: крупные имения были раздроблены и возникли миллионы новых мелких крестьянских хозяйств. Период „военного коммунизма” характеризовался кратковременной и бесплодной кампанией за создание различных типов коллективных хозяйств; но с наступлением нэпа отказались от мысли о непосредственной осуществимости подобных мероприятий в крупном масштабе как от еще одной иллюзии, хотя на словах сохранялась приверженность будущему коллективизированному сельскохозяйственному производству; особенно ясно это подчеркивали левые большевики. После 1921 г. отсутствие официального интереса к коллективным формам сельскохозяйственного производства в сочетании с враждебностью к ним крестьян привело к тому, что под землями, которые возделывались коллективно, было занято в 1925 г. всего около 2% общего количества обрабатываемых площадей. В том же году, однако, в связи с дискуссиями о строительстве социализма и в связи с желанием противостоять росту сельского капитализма путем создания социалистических „командных высот” в деревне, вновь стал обсуждаться вопрос об организации коллективных хозяйств. Эта идея нашла поддержку со стороны небольшой группы восторженных приверженцев в партии [128].

Защитники коллективного хозяйствования потерпели шумное (хотя и временное) поражение, в чем Бухарин сыграл большую роль, чем кто-либо другой, как и вообще в формировании „антиколхозного настроения” в партии [129]. Не все его суждения были решительно негативными. Он утверждал, например, что большевики по-прежнему убеждены, что в сельском хозяйстве, как и в промышленности, „крупные предприятия более выгодны, чем мелкие”. И, признавая, что „колхоз — это есть могущественная штука”, он нарисовал такую перспективу, при которой бедные и безземельные крестьяне из-за своей нужды будут стихийно тяготеть к коллективному хозяйствованию. Но, добавлял он, даже эти беднейшие прослойки обладают традиционной крестьянской собственнической душой — „старая привычка, унаследованная от дедов и отцов” — которая оказывается помехой для распространения коллективных форм хозяйствования. Поэтому „вряд ли можно думать, что колхозное движение захватит... собою *всю* широкую массу крестьянской бедноты” [130].

Нельзя было и думать, что такое движение сможет иметь

успех в недалеком будущем среди „основной крестьянской массы” Советской России — среднего крестьянства. Это было для Бухарина „арифметически достоверно”. Коллективизированное сельское хозяйство было в лучшем случае отдаленной перспективой, возможность его создания зависела от способности добровольных, механизированных, самокупаемых коллективных хозяйств доказать свое превосходство над частными хозяйствами в соревновании с ними на открытом рынке. Он предостерегал, что было бы ошибкой искусственно создавать коллективные хозяйства; они могут стать „коммунистическими паразитическими учреждениями”, существующими за счет государства, которые смогут только укрепить убеждение крестьян в том, что „частное хозяйство — вещь очень хорошая” [131]. Изложив очевидные доводы против коллективного хозяйствования, Бухарин отказывается от укоренившихся большевистских представлений: „Коллективные хозяйства — это не главная магистраль, не столбовая дорога, не главный путь, по которому крестьянство пойдет к социализму”. Подчеркивая важность своей аргументации, он повторяет это свое заявление почти слово в слово на четырех официальных собраниях в марте и в апреле 1925 г., в том числе и на первой конференции колхозников [132].

Поскольку государственные хозяйства были еще менее привлекательны для крестьянства, заявление Бухарина означало, что социализм в деревне должен будет начинаться „не непосредственно через процесс производства” [133]. Если учесть марксистское понимание решающей роли способа производства в формировании общественных отношений, то это было новое утверждение. Каким же тогда образом крестьянство придет к социализму? Бухарин отвечает: посредством „обычной кооперации — закупочной, сбытовой, кредитной”. В большой степени бухаринские положения вытекали из ленинской „своеобразной теории „аграрно-кооперативного социализма”, „ленинского плана, завещанного нам в качестве директивы, в качестве маршрута...” [134]. Хотя после 1921 г. происходила официальная реабилитация кооперативов, они оставались в глазах многих старых большевиков, по существу, капиталистическими институтами. По Бухарину, однако, они были ключом к „некапиталистической эволюции” крестьянства и „столбовой дорогой к социализму” в деревне. Программа Бухарина, как он постоянно указывал, начиная с 1924 г. делала „ставку на кооперацию” [135].

Нэп научил, что нужно найти компромисс с частнособственными интересами крестьян. В этом, согласно Бухарину, было огромное достоинство кооперативов. Они привлекали к себе крестьянина „как мелкого собственника” и давали ему „непосредственные выгоды”:

Если это кооперация кредитная, то он должен получать дешевый кредит; если это кооперация по сбыту, то он должен более выгодно продавать свой продукт и быть от этого в выигрыше. Если он хочет закупить что-нибудь, то он должен это сделать через свою кооперацию, он должен получать через кооперацию более добротный и более дешевый товар.

Преследуя свои частные интересы, крестьянин придет к выводу, что ему выгоднее организовываться в кооперации, чем оставаться вне кооперации, а также он будет поддерживать другие коллективные предприятия, включая коллективную обработку земли [136].

Но сельскохозяйственные кооперативы выполняют также более важную функцию в бухаринской схеме. Своими „бесчисленными нитями связанные с индивидуальными крестьянскими хозяйствами“, они служат как бы „организационным мостиком, которым промышленность соединяется с крестьянским сельским хозяйством“. Другими словами,

промежуточным звеном между пролетарским городом и трудящейся деревней является кооперация, которая как раз и стоит на стыке между этим городом и деревней, воплощая собой в первую очередь... экономическую смычку между рабочим классом и крестьянством.

Благодаря своей тесной связи с государственными экономическими органами кооперативные организации через рынок служили средством для „скрепления уз“ между централизованной государственной промышленностью и миллионами раздробленных крестьянских хозяйств и способствовали переходу последних на социалистический путь. Используя другую метафору, Бухарин пояснял: „Наш пролетарский пароход, т.е. наша промышленность будет тащить за собой сперва кооперацию, а кооперация, которая будет являться более тяжелой баржой, чем этот пароход, будет тащить за собой на миллионах нитей огромнейшую тяжелую баржу всего крестьянства“ [137].

Мало кого из большевиков могло серьезно покоробить предположение, что не коллективные хозяйства, а закупочно-сбытовые и кредитные кооперативы могут успешно привлекать крестьян. Так было в большой степени и до революции. Более новым и для многих шокирующим было утверждение Бухарина, что вся „лестница“ этих прежде буржуазных (в лучшем случае — мелкобуржуазных) институтов должна будет „врасти в социализм“, что их рост „означает непрерывный и систематический рост ячеек будущего социалистического общества“ [138]. Несмотря на то что он продолжал выражать оптимизм насчет того, что „обычная кооперация“ должна будет однажды привести крестьян к коллективной обработке земли, его главным положением было: „Мы придем к социализму через процесс обращения, а не непосредственно через процесс производства, мы

придем туда через кооперацию". Это, как позже заявил один критик-сталинист, было „альфой и омегой бухаринского кооперативного плана” [139]. Такое положение представлялось спорным не только потому, что с виду оно находилось в противоречии с марксистской мыслью, будто бы игнорируя решающую роль производства, но также и потому, что кооперация вызывала отдаленную ассоциацию с социализмом русских народников и западных марксистских ревизионистов.

Бухарин пытался подозрительное прошлое кооперативов использовать для подкрепления своей аргументации: народники и марксисты, которые обдумывали некапиталистический путь развития сельского хозяйства в рамках теории так называемого аграрно-кооперативного социализма, были поставщиками „реформистской утопии”, потому что представляли социалистическую эволюцию кооперации внутри капиталистической системы. Фактически же в этом случае кооперативные организации, существующие бок о бок с капиталистическими банками, промышленностью и зависящие от них и буржуазного государства, „неизбежно попадают под влияние капиталистического хозяйства”; они „постепенно срастаются с хозяйственными организациями капиталистов” и, в конце концов, „сами превращаются в особого рода капиталистические организации”. Коротче говоря, „они врастают в капитализм”. Однако советская кооперация в процессе своего развития функционирует в рамках диктатуры пролетариата; опираясь на социалистическую промышленность и банки, связанная с ними, она неизбежно „станет неотъемлемой частью пролетарского хозяйственного организма”. „Независимо от ее воли” она должна „вращать в социализм”: „Крестьянская кооперация будет неизбежно вращать в систему *пролетарских* хозяйственных органов, точно так же, как в условиях режима буржуазного она вращает с систему органов хозяйства *капиталистического*”. Таким образом, аграрно-кооперативный социализм „станет *реальностью* при диктатуре пролетариата” [140].

Бухаринская теория нэпа как пути к социализму в большой степени опиралась на аналогичный ход мысли. Представление о кооперации как средстве перехода к социализму давало ему возможность утверждать, что „мелкий собственник неизбежно будет вращать в нашу государственно-социалистическую систему...”, аналогично процессу в капиталистическом обществе [141]. Эта теория „вращения” очевидно вытекала из его десятилетней давности концепции современного государственного капитализма, когда господствующий государственный сектор поглощает и подчиняет себе небольшие и прежде автономные экономические единицы посредством централизованного слияния банковского и финансового капитала. В самом деле, ранняя, не выраженная прямо, ревизия Бухариным марксистского положения, что производственный базис общества определяет его

надстройку, теперь ясно прослеживалась при рассмотрении им советского опыта. Пролетарское государство, рассуждал он, является „не просто политической надстройкой”, но, поскольку оно включает в себя „экономические командные высоты”, оно представляет собой „*составную часть производственных отношений* советского общества, то есть часть „базиса”. Следовательно, „*своеобразие отношений между базисом и надстройкой*” в советском обществе: „вторичное (надстройка) регулирует первичное (базис)...” [142]. Эта логика лежала в основе бухаринского аргумента, что государственный социалистический сектор в результате естественной эволюции подчинит „бурлящую, неорганизованную экономику социалистическому влиянию”. При наличии „социалистических командных высот” советская мелкобуржуазная и кооперативная экономика должна развиваться по социалистическому пути. Более конкретно, эта логика обосновала его настойчивое утверждение, что в сельском хозяйстве не нужны отдельные „командные высоты” (например, коллективные хозяйства), а что „*командные высоты в деревне – это город*” [143].

Существенным механизмом в этом процессе „вращения” является советская банковская и кредитная система. „Нити” финансовой и кредитной зависимости гарантируют экономическую гегемонию государственного сектора, „привязывая” несоциалистические организации к социалистическому сектору и создавая „общность интересов” между кооперативами и „*кредитными органами пролетарского государства*” [144]. Вера в экономическое всемогущество банковско-кредитных „командных высот” государства привела Бухарина к выводу, вызвавшему наибольшие споры: „даже кулацкая кооперация [кредитные кооперативы – С.К.] будет вращать в нашу систему”. Заранее предвидя, что эта идея вызовет возражения, он впервые попробовал поставить этот вопрос весной 1925 г. Однако несколькими неделями спустя, сводя воедино основные элементы своей кооперативной теории, он с величайшей уверенностью написал:

...основная сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого, а „трудового” типа, ячеек, вращающихся в систему наших общегосударственных органов и становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистического хозяйства. С другой стороны, кулацкие кооперативные гнезда будут точно так же, через банки и т.д., вращать в эту же систему; но они будут до известной степени чужеродным телом, подобно, например, концессионным предприятиям. Что будет с этого рода кулацкими гнездами в дальнейшем?.. Кулацкий кооператив, если он хочет процветать, неизбежно должен быть, так же как и все прочие, связан с экономическими государственными орга-

нами; он, например, будет вносить свою свободную наличность в наши банки для того, чтобы получать определенный процент; даже в том случае, если бы возникли свои собственные банковские организации у подобного рода кооперативов, все равно они неминуемо должны были быть связаны с могущественными кредитными учреждениями пролетарского государства, имеющими в своем распоряжении основные кредитные средства страны. Кулаку и кулацким организациям все равно некуда будет податься, ибо общие рамки развития в нашей стране *заранее даны строем пролетарской диктатуры и уже в значительной степени выросшей мощью хозяйственных организаций этой диктатуры* [145].

Четыре года спустя именно это положение будут цитировать как главное доказательство бухаринской ереси.

В его теорию эволюционного пути к советскому социализму еще оставалось включить одну важную марксистскую идею — идею классовой борьбы. Из расплывчатой концепции об эксплуататорской природе несоциалистической экономики эта идея в результате событий 1917–1920 гг. превратилась в эвфемизм для гражданской войны. Это понятие большевистской идеологии, по духу своему стоявшее ближе всего к Сорелю, отождествляло общество с полем битвы, на котором сражаются непримиримые классы, с ареной жестоких боев и конфликтов, на которой остается место только для победителя. В обстановке 20-х гг. классовая борьба была навязчивой идеей, таящей в себе неизбежность взрыва, и являлась антитезой гражданскому миру. Естественно, что левые большевики, особенно часто их антикулацкое крыло, указывали на то, что классовая борьба происходит постоянно и неизбежно обостряется. С другой стороны, Бухарин пытался ослабить значение этой догмы, внося две поправки в ее понимание.

Во-первых, он утверждал, что возникновение советского общества создало возможность для новых отношений между антагонистическими классами: „Диктатура пролетариата служит оболочкой для известного „сотрудничества классов”, которое выражает „единство общественного целого” [146]. Это положение включает две основные идеи Бухарина. Советское общество (и его экономика) составляет единое целое, или „единство противоположностей”, — истина, которую, как он думал, левые не понимают: „Преображенский видит *противоречия*, но не видит *единства* народного хозяйства, он видит *борьбу*, но не видит *сотрудничества*...” Общественное „единство” подразумевает значительную степень классовой гармонии, или сотрудничества, которые для Бухарина означали, что пролетариат и крестьяне объединены в максимально возможном экономическом сотрудничестве, в котором новая буржуазия могла бы участвовать „в определенных пределах”, выполняя „общественно-полезную

функцию” [147]. Таким образом, экономическое сотрудничество классов преобладает над разрушительными аспектами классовой борьбы или по меньшей мере смягчает их.

Во-вторых, сотрудничество классов не означает, объяснял Бухарин, что классовая борьба в Советской России подошла к концу; скорее, из всего этого следует, что прежние насильственные формы классовой борьбы — когда просто „дают в зубы” — не будут больше применяться и что классовая борьба выражается сейчас в виде „экономической конкуренции” между социалистическими (государственными и кооперативными) и капиталистическими предприятиями. В этом „беспрецедентном и в высшей степени своеобразном” процессе победа социализма проявляется во многих формах: в вытеснении частной торговли в результате конкуренции на рынке; обеспечении крестьянина кредитом более дешевым, чем предоставляемый ему деревенским ростовщиком; и вообще в завоевании „души” крестьянина. Во всех своих аспектах новая классовая борьба отличается от старой тем, что она „мирная” и „бескровная” и что она ведется „без бряцания оружием”. Война против частного торговца, говорил Бухарин, состоит не в том, „чтобы подавить его и закрыть его магазины”, а в том, чтобы „производить и продавать дешевле и лучше... чем он”. Более дешевые и лучшие товары, более дешевый и широкий кредит — „такое оружие, с помощью которого мы должны вести... нашу борьбу с эксплуататорскими элементами в деревне” [148].

Обе поправки нашли свое выражение в резкой критике идеи, согласно которой продвижение к социализму предполагает углубление классовых конфликтов, особенно в деревне. Допуская, что в ближайшем будущем может время от времени происходить усиление классовой борьбы, Бухарин настаивал, что дальнейшее развитие будет характеризоваться тем, что „классовая борьба начнет затухать”, станет „отмирать”. Конфликты с применением насилия не будут учащаться, но, наоборот, „станут все более и более редкими и наконец исчезнут без следа” [149]. Прежде всего он осудил точку зрения, согласно которой партия должна „разжигать классовую борьбу, а не содействовать ее „смягчению”. На партийной конференции в 1925 г. он заявил: „Но можно ли сказать, что наша генеральная линия, линия большевистская... заключается в сознательном форсировании классовой борьбы? Вот этого я как раз не думаю”. Или как он сказал в другом месте: „Я ничуть не вижу пользы от обострения классовой борьбы в деревне” [150]. Бухарин считал, что движение к социализму предполагало ослабление классовых конфликтов.

Перспектива превращения классовой борьбы в безличную конкуренцию экономических форм увенчала эволюционную теорию Бухарина и устранила то, что казалось ее внутренним противоречием. Марксистский социализм предусматривал плановую

экономику, но бухаринская программа призывала к „экономическому развитию *на основе рыночных отношений*” [151]. Чтобы согласовать эти два положения, он снова проводит аналогию с капиталистическим обществом, где благодаря рыночной конкуренции „*крупное производство в конце концов вытесняет мелкое, средний капитал отстает перед более крупным капиталом, и в конце концов... число конкурентов все уменьшается*” и происходит „преодоление рынка самим рынком, свободная конкуренция превращается в монополистическую”. Сходный процесс повторится в рамках нэпа. Когда более крупные и эффективные социалистические организации вытеснят частных капиталистов из их цитадели в розничной и оптовой торговле, „мы будем перерастать рынок” и приближаться к плановой экономике: „*через борьбу на рынке, ...через конкуренцию государственные предприятия и кооперация будут вытеснять своего конкурента, т.е. частный капитал. В конце концов развитие рыночных отношений уничтожит само себя... и сам рынок рано или поздно отомрет...*” Ирония была диалектической: „оказалось, что мы придем к социализму *именно через рыночные отношения*” [152].

Как бы то ни было, теория Бухарина была оптимистической. В расхолаживающей обстановке экономического плюрализма нэповского общества она обнаружила „органический эволюционный путь к социализму”. „Рельсы” были проложены, и не требовалось ни социальных потрясений, ни радикальных решений, ни „третьей революции”; даже судьба кулаков была разрешена благополучным образом. Существенным предположением, на котором покоился этот оптимизм, было то, что „обычные” крестьянские кооперативы представляют собой социалистические „ячейки”. То, что Бухарин относил закупочно-сбытовые кооперативы к социалистическому сектору, позволяло ему ссылаться на ежегодный пропорциональный прирост в государственной и кооперативной торговле по сравнению с частной торговлей как на доказательство продвижения к социализму и как на свидетельство того, „что, несмотря на абсолютный рост частного капитала... *позиции социалистических элементов нашего хозяйства относительно все время усиливаются*” [153]. Аналогичные рассуждения позволяли предвидеть естественное возникновение экономического планирования, поскольку социалистический сектор „все больше увеличивает свое могущество и постепенно втягивает отсталые экономические единицы...” В целом эти предположения означали, что простой „рост производительных сил... в наших условиях” есть „движение к социализму” [154].

В свете большевистских идей его теория была новой также потому, что, хотя она и содержала революционные идеалы, она отвергала преимущественное значение революционно-героиче-

ской традиции, открыто предпочитая постепенность и реформизм. Этими методами, говорил Бухарин, скорее, чем прежними, „мы шаг за шагом будем преодолевать все зло, которое у нас еще есть”.

Требовались коренные изменения в большевистском мышлении и практике. Как указывал Бухарин в 1925 г.: „Мы теперь ясно видим наш путь к социализму, который пролегает не там или, вернее, не совсем там, где мы искали его раньше” [155]. Были необходимы не только „новая экономика” и новая теория. Была необходима и новая политика.

Призывая партию идти по эволюционному пути в экономической политике, Бухарин вместе с тем призывал к далеко идущим изменениям в большевистской политической мысли и практике. Основывающаяся на социальной гармонии, классовом сотрудничестве, добровольном участии и применении реформистских мер экономическая политика по самой своей сути была несовместима с проводившейся до 1921 г. политикой „механических репрессий” и „кровопускания”. Он подытожил желательные изменения во внутренней политике, утверждая, что большевики не были больше „партией гражданской войны”, а стали „партией гражданского мира” [156]. Когда Бухарин формулировал свою политическую программу с 1924 по 1926 г., гражданский мир был ее основным исходным пунктом и постоянным лозунгом. Он не предполагал, однако, коренных структурных изменений в советской политической системе, установившейся к 1921 г. Более того, он не ставил под вопрос большевистский однопартийный режим [157]. Вторая, даже просоветская партия была недопустима. Как он говорил в своей знаменитой остроте: у нас могут быть две партии: одна у власти, другая в тюрьме. Не мыслилось изменений и в провозглашаемом классовом характере режима. Советская власть „поддерживалась мужиком, но это — пролетарская власть”. Смычка — „*сотрудничество в обществе*” не означала „*сотрудничества во власти*”. Короче говоря, Бухарин считал политической посылкой законность и достоинства большевистской диктатуры: „Во-первых, необходим союз между рабочими и крестьянами; ... во-вторых, в этом союзе руководящая роль должна принадлежать рабочему классу; в-третьих, в самом рабочем классе руководящая роль ... должна принадлежать коммунистической партии” [158].

Подобно другим большевикам и большинству последующих модернизаторов, Бухарин не был демократом в западном смысле этого слова. Конечно, несмотря на его желание расширить круг лиц, имеющих избирательные права, и, несмотря на то что Бухарин (если верить неподтвержденным сообщениям) был склонен издать какой-нибудь закон о правах человека для

защиты советских граждан от произвола государства, он тем не менее не возражал против существовавших профилактических пунктов Советской конституции 1924 г., которые, в дополнение к исключению „буржуазной прослойки” из политической жизни, устанавливали привилегии для меньшинства – городского пролетариата – в ущерб крестьянству [159]. Так же как и другие модернизаторы XX века, он прежде всего давал демократии экономическое истолкование; демократизация означала „вовлечение масс в социалистическое строительство”. Он никогда публично не оспаривал большевистского положения, что „диктатура пролетариата есть в то же время широчайшая демократия” [160].

Тем не менее под лозунгом гражданского мира Бухарин предлагал далеко идущие изменения в советской политической жизни. Наиболее важным из них было то, что государство переставало быть главным образом „орудием репрессий”. Вместо этого оно должно было обеспечить мир, необходимый для „сотрудничества” и „укрепления общественного целого”, когда создаются условия для терпимого отношения ко многим, нерасположенным к режиму, но мирно настроенным попутчикам революции, ее „полудрузьям и полуврагам”. И только неисправимых приверженцев старого режима (Бухарину казалось, что их немного) настигнет железный кулак государства. В отношении остальной части населения государство посвятит себя „мирной, организационной работе”. Что касается террора, то „его время прошло” [161].

Такая формулировка новых „функций” государства опиралась отчасти на бухаринскую оценку политической ситуации в Советском Союзе после 1924 г. Его прогнозы решительно отличались от прогнозов левых большевиков и вовсе не совпадали с тем, что официально проповедовалось в сталинские времена, когда считалось, что зловещим образом будут усиливаться классовая борьба и распространяться тайные заговоры. Убежденный в том, что партия вышла из опасной изоляции 1920–1921 гг. и восстановила доверие народа, Бухарин острожно высказывался в 1925 г., что „вообще большинство населения не против нас”, и – более уверенно: „Крестьянство никогда не было так дружелюбно настроено, ...как теперь”. Его существенный политический аргумент, однако, состоял в том, что внутренние враги революции либо исчезли, либо разоружены: „Все мирно; в стране нет восстаний, контрреволюционных актов, тайных заговоров” [162]. Кроме того, доказывал он, случающиеся в это время акты насилия против советских должностных лиц обусловлены не устойчивыми антибольшевистскими настроениями, а пороками самой советской бюрократии. Случаи насилия со стороны крестьян, например, были реакцией на злоупотребления „низших агентов власти” – „маленьких героев Шедри-

на” — людей, чей облик ассоциировался с царскими сатрапами [163].

В течение всех 20-х гг. Бухарин ни разу не отказывался от своего убеждения, что главные организующие силы контрреволюции в России мертвы. Он говорил, что фактически имеются объективные условия для прочного гражданского мира и что партия-государство должно строить свою деятельность в соответствии с этим. Он назвал характер этой деятельности „форсированной „нормализацией” советского режима” [164]; это означало, что „революционная законность” переставала быть эвфемизмом для „административного произвола” и официальных „беззаконий”. Эти стойкие „пережитки военного коммунизма” должны были уступить место „твердым правовым нормам”: местные партийные и комсомольские органы должны перестать издавать декреты, законодательство станет привилегией одних Советов; коммунисты должны лишиться своей фактической „неприкосновенности” от преследования за проступки и должны действовать в согласии с законом, а не „вне закона”. Революционная законность означала „наступление революционного порядка там, где раньше был хаос”. Имя существительное, а не прилагательное в словах „революционный порядок” заключало в себе решающий смысл: „революционная законность” должна заменить собою все остатки административного произвола, хотя бы даже и революционного” [165]. Бухарин думал прежде всего о деревне: „Крестьянин должен иметь перед собой советский *порядок*, советское *право*, советский *закон*, а не советский произвол, умеряемый „бюро жалоб”, неизвестно где обретающимся” [166].

Бухарин требовал, чтобы в дополнение к эволюции от „военно-пролетарской диктатуры”, характеризующейся методами командования, принуждения и прихотями начальников, к „нормализованной” однопартийной системе, основанной на законе и порядке, должен быть совершен „решительный, полный и безоговорочный переход к методам убеждения”. Партия, обращаясь к массам, должна отказаться от насилия как *modus operandi* и впредь „стоять за убеждение и только за убеждение” [167]. Политическое мышление и реформизм Бухарина не отразились так ясно ни в каких других вопросах. Помимо индустриализации, социальная революция подразумевала воспитание и переделку людей, а такая задача требовала нового типа политического руководства, которое, по мнению Бухарина, должно было быть педагогическим. Обращаясь к партии и в особенности к комсомольским активистам, которые в сельской местности по своей численности превосходили своих старших товарищей, а потому часто являлись представителями партии в деревне, он пояснял, что „задача политического руководства есть в широчайшем смысле слова... задача социально-педагогическая” [168].

Если новая экономическая политика — эволюционная, то новая социальная политика — педагогическая, то есть отеческая, благотворительная и несуровая.

В подлинном смысле это было выражением бухаринского понимания советского конституционного порядка в целом. Он рассматривал общенациональную пирамиду Советов как обширную учебную „лабораторию“; на высших уровнях преобладающую роль должны играть члены партии, обеспечивая „защиту пролетарской диктатуры сверху“; на низших уровнях, однако, главным образом сельские Советы должны быть все в большей степени заполнены „непартийными массами“, потому что местные Советы представляют „лабораторию, в которой мы перевариваем крестьян, изживаем их индивидуалистическую психологию, ведем их за собой, приучаем к срабатыванию с нами, воспитываем их и ведем по... социалистической дороге“ [169].

Между тем местные Советы, которые фактически (сокрушался Бухарин) „вымерли“ в течение военного режима партии в 1918–1921 гг., надо возродить вновь, чтобы они стали избираемыми народом функционирующими органами — „маленькими рабочими парламентами“, в которых удовлетворялись бы интересы пробудившихся крестьян и осуществлялось бы руководство ими [170]. Бухарин был поэтому восторженным защитником партийной кампании 1924–1925 гг., направленной на „оживление Советов“ посредством новых и свободных выборов. То, что было избрано меньше членов партии, его не беспокоило. Он истолковывал результаты выборов как подтверждение преимуществ „идеологического убеждения“ по сравнению с „административным давлением“, утверждая, что один добровольно избранный большевик пользуется действительной поддержкой, в то время как десять „фиктивно избранных... не пользуются авторитетом среди народа“ [171].

Вера Бухарина в силу политического и идеологического убеждения была тесно связана с подчеркиванием значения конкуренции на экономической арене. И то, и другое свидетельствовало о его уверенности, что в условиях плюрализма нэповского общества цели большевиков — экономические, политические и идеологические — могут быть достигнуты лучше с помощью мирных, неадминистративных методов „бескровной борьбы“. Действительно, он стал рассматривать принципы конкуренции между социалистическими и несоциалистическими тенденциями как необходимый „молекулярный процесс“, гарантирующий, что достижения большевиков не будут махинациями и фальшивыми победами монополизма. О глубине и сути его приверженности принципу конкуренции свидетельствует его позиция во время дискуссии 1924–1925 гг. относительно политики партии в области литературы, то есть по поводу предмета, казалось бы, име-

ющего мало общего с ликвидацией частного капитала и победой на местных выборах.

Партия уклонялась от твердых предписаний по вопросам литературы в течение семи лет*. Но с расцветом разнообразной и популярной „нереволюционной” литературы после 1921 г. большевистские приверженцы пролетарской литературы стали призывать к „диктатуре партии в области литературы” со своей собственной, игравшей роль „инструмента” этой диктатуры писательской организацией, известной как ВАПП. Они добивались для себя официальных привилегий и боролись против „литературных попутчиков”. После нескольких месяцев дискуссий их требования были отклонены в резолюции Центрального Комитета от 1 июля 1925 г. Написанная Бухариным и отражавшая его мысли резолюция отвергала систематическое вмешательство партии в литературу, подтверждала принципы многообразия литературы и гарантировала защиту и поддержку беспартийных писателей [172]. Что придавало позиции Бухарина особый оттенок — это его давняя приверженность идее особой „пролетарской культуры”; он был единственным поборником этой идеи в Политбюро. Хотя широта его взглядов и симпатий в вопросах культуры была хорошо известна, он тем не менее занимал радикальную позицию в вопросе о „пролетарской культуре”, восторженно приветствуя „пролетарский” роман и „пролетарскую” театральную продукцию как „первую ласточку” [173].

Симпатизируя в теории пролетарской культуре, Бухарин, однако, решительно возражал против мнений, что новая литература может появиться благодаря „методам механического принуждения” и официальному покровительству. „Если мы... будем стоять за литературу, которая направлялась бы государством, ... тогда... мы будем разрушать пролетарскую культуру!” Пролетарские писатели „должны сами завоевать свой литературный авторитет”, опираясь на „принцип свободной, стихийной конкуренции” с другими течениями. Хотя партия и готова руководить, ее роль заключается не в том, чтобы ограничивать конкуренцию, а в том, чтобы способствовать „максимальной конкуренции”. Нужно поощрять „многообразные группы, и чем больше их будет, тем лучше”. Бухарин заявляет: „Пусть будет тысяча организаций, две тысячи, пусть наряду с МАППом и ВАППом будет сколько угодно кружков и организаций” [174].

Хотя литературные дискуссии не соответствовали политическим разногласиям внутри партии и не имели к ним отношения, Бухарин считал, что и в этом случае аналогичные принципы находятся под угрозой. Представители ВАППа, заявил он, исходят из „монополистического принципа” и, таким образом, занимают „в литературной политике место, занятое Преображенским в экономической политике”. И так же как принцип „сверхмоно-

полии” в экономике приводит к упадку в промышленности и сельском хозяйстве, точно так же монополизм есть „лучший путь для разрушения пролетарской литературы”. Хотя Бухарин проповедовал четкую партийную ориентацию „во всех областях идеологической и научной жизни, даже в математике”, он никогда не одобрял „установления канонов” или „подавления” соперничающих тенденций. Ни в каких случаях партия не должна „сжимать всех в один кулак”; при всех обстоятельствах она должна „дать возможность соревнования”. Как и в своей политике по отношению к упорствующим крестьянам, большевики должны были завоевать доверие непролетарских писателей, не „бить их дубинкой до бесчувствия” и не „зажимать их в тиски” [175]. Здесь, как и в других областях внутренней политики, он призывал к прогрессу через многообразие, убеждение и мирную конкуренцию и выступал против липовых достижений, полученных посредством политических репрессий.

Подчеркивание необходимости гражданского мира, законности, сдержанности и терпимости со стороны государственного аппарата и применение методов убеждения (все, что Бухарин определял как „нормализацию”) представляло крутое изменение взглядов по сравнению с его позицией 1920 г., когда он прославлял „пролетарское принуждение во всех его формах”. Очевидно, что новые политические соображения Бухарина находились под сильным влиянием его экономической программы. Развитие, основанное на рыночных отношениях, превращении крестьянина в эффективного рыночного производителя и потребителя, было несовместимо с правительственным произволом, который, как он неоднократно доказывал, находится „в полном противоречии с потребностями хозяйственного развития и развития крестьянского хозяйства”. К крестьянину, которому предлагают хозяйствовать рационально, уже нельзя применять прежнюю практику, когда „сегодня брали одно, завтра — другое, сегодня издавали один приказ, завтра... — другой...”; „развитие товарооборота возможно только при *искоренении* остатков военного коммунизма в административно-политической работе”. Большевики должны понять, настаивал Бухарин, что „непредвиденное вмешательство в ход экономической жизни может чрезвычайно печально отражаться на этой хозяйственной жизни” [176].

Однако за его новыми политическими установками скрывалось нечто большее. Он снова был обеспокоен тем, что в большевистской однопартийной системе заложена потенциальная возможность тирании. Различными способами он предостерегал против произвола властей. Произвол был типичной чертой безраздельного господства царского чиновничьего аппарата в крестьянской России, это была постоянная тема, к которой обращалась русская радикальная мысль XIX столетия, она служила

Бухарину в качестве напоминания и предостережения [177]. Он уподоблял произволу „остатки военного коммунизма”; деятельность партийных должностных лиц, считавших, что они располагают „абсолютным иммунитетом”; психологию „я делаю то, что мне нравится”; надменное „чванство” тех большевиков, которые утверждают, что они „соль земли”; и позицию, согласно которой руководство партии предполагает „грубое обращение” с каждым, кто не является членом ВКП(б) или комсомольцем [178]. В рамках своей приверженности партийной диктатуре Бухарин понимал опасность, присущую политической монополии, опасаясь нового деспотизма, вызванного узаконенным произволом.

Эти опасения были связаны, как мы видели, с его этическим пониманием большевизма, а также с тем, что он проводил различие между злостным „бюрократизмом” и бюрократией как организационной необходимостью. Произвол был, по его мнению, психологией и образом действия „оторванной от масс” бюрократии, которая была заклеимлена Лениным в „Государстве и революции”. В 20-х гг. существовала угроза того, что Бухарин называл „новым государством чиновников”, управляющих без достаточных на то полномочий. То был призыв „нового класса”. Когда левые говорили о возможном перерождении большевизма, они имели в виду „мелкобуржуазные влияния” или жесткую регламентацию партийной жизни. Бухарин также опасался последнего, но, с его точки зрения, произвол большевистского чиновничества действительно предвещал перерождение партии:

Для всей нашей партии и для всей страны одной из главных возможностей действительного перерождения являются остатки произвола для каких-нибудь привилегированных коммунистических групп. Когда для группы коммунистов закон не писан, когда коммунист может свою тещу, бабушку, дядюшку и т.д. тащить и „устраивать”, когда никто не может его арестовать, преследовать, если он совершил какие-нибудь преступления, когда он разными каналами может еще уйти от революционной законности, это есть одно из крупнейших оснований для возможности нашего перерождения [179].

Бухарин знал, что одних предостережений против злоупотребления властью недостаточно. Пока у него была такая возможность, он способствовал деятельности независимых „добровольных организаций”, которые могли бы заполнить „вакуум” между партийно-государством и народом. Кооперативы и литературные объединения и даже общества борьбы с алкоголизмом и шахматные клубы — все эти „вспомогательные организации” в совокупности могли обеспечить прямую связь с массами, поощрять инициативу масс снизу, открыть „каналы”, через которые общественное мнение могло бы оказывать влияние на пра-

вительство, а правительство, в случае необходимости — спланировать вокруг себя население [180].

Бухарин, очевидно, надеялся, что тысячи таких „народных ассоциаций”, помимо того что они явятся преградой против новой бюрократической тирании, могли бы исправить вред, причиненный „вырождением социальной структуры” в 1917—1921 гг., связать раздробленную нацию в единое общество, расширить и укрепить народные основы большевистской диктатуры [181].

Убежденный в том, что „добровольные организации” представляют собой „небольшие составные части” советской демократии, он прежде всего беспокоился (конечно, и по экономическим соображениям) и о том, чтобы кооперативы были подлинно добровольными и выборными обществами, а не просто слепками с государственных учреждений [182]. Но особенно он покровительствовал зарождавшейся организации рабочих и крестьянских корреспондентов, журналистов-любителей, которые со своих рабочих мест присылали корреспонденции и очерки в районные и центральные газеты; таких рабселькоров насчитывалось в 1925 г. свыше 189 тыс. человек. Действуя под покровительством „Правды”, это движение вызывало особый интерес Бухарина и находилось под его влиянием. В течение пяти лет он вел неравную борьбу против тенденции к превращению рабочих корреспондентов в „слой чиновников”. Считая, что они должны быть больше, чем просто „граммофоном, зеркалом того, что происходит в низах”, он тем не менее доказывал, что „бюрократизация” подрывает их „основную функцию” — быть „антенной”, передающей правительству настроения народа и сообщающей о проявлениях его недовольства; бюрократизация лишила бы их насущной свободы критиковать чиновничество [183]. Позднее сталинистские оппоненты выдвинули обвинение, что это типичная бухаринская „оппортунистическая” философия, преклоняющаяся перед „отсталостью и недовольством масс”. В ответ на это и на происходившую тем временем бюрократизацию советского общества Бухарин снова откликается лозунгом: „Все возможные рабочие ассоциации должны всеми средствами избегать бюрократизации” [184].

Во многих отношениях политическая философия Бухарина отражала социальную реальность нэповского общества. Будучи убежденным сторонником однопартийной системы, он стоял за большевистскую „гегемонию” в экономической, культурной и идеологической областях жизни; в то же время он относился терпимо и даже одобрительно к плюрализму, который был характерен для них в годы нэпа. Озабоченный признаками появления „нового Левиафана” и с тревогой вспоминая эксцессы „военного коммунизма”, он противился деятельности тех, кто добивался, чтобы „низовые организации” диктатуры были вездесущими и всеильными, а другие социальные институты —

стали орудием этих организаций [185]. Не выступая больше в поддержку „огосударствления“, Бухарин был наименее „тоталитарным“ большевиком. Его вера в то, что руководство может добиваться согласия, применяя воспитательные методы, а не деспотические, его вера в методы „товарищеского убеждения“ в большей мере, чем в методы насилия, вера в возможность социальной гармонии – все это объяснялось положением преимущественно безграмотной страны, изнуренной гражданской войной. Наиболее благожелательные оппоненты Бухарина иногда указывали, что он ошибался, потому что предлагал мягкие решения по крутым проблемам индустриализации и модернизации. Такие обвинения будут выдвинуты против него снова в 1928–1929 гг., когда он станет лидером правой оппозиции. Можно было не без основания напомнить по этому поводу слова апостола Матфея: „...и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую“.

К середине 1926 г. Бухарин сформулировал свою пересмотренную доктрину большевизма. Как и подобает официальному марксистскому теоретику, он сформулировал ее как всеобъемлющую доктрину. Он выдвигал экономическую и политическую программы и связывал их теоретически с „общей генеральной стратегической установкой“ построения социализма в нэповской России [186]. Бухарин внес значительный вклад в теорию, разработав программу, исходящую из того, что партия поведет страну по пути мирного, эволюционного развития. То, что он в этой теории объединил обе революции 1917 г., имело наиболее важный и обобщающий смысл. Рассматривая антипомещичью аграрную революцию как „часть нашей революции“, а восстание двух классов в 1917 г. как непредвиденный источник победоносной „рабоче-крестьянской смычки“, он идеологически расправился с призраком третьей революции то ли как крестьянского, то ли как „пролетарского возмездия“ [187]. Помимо всего прочего, его положение, что антикрестьянская позиция была политически, экономически и этически чужда „исторической задаче“ большевизма („песня из совершенно другой оперы“ [188]), дало большевикам возможность согласовать их непредвиденную роль модернизаторов с социалистическими идеалами.

Однако кампания за провозглашение новой теории в качестве ортодоксальной теории партии встретила определенное сопротивление даже со стороны неопозиционеров. Революционно-героическая традиция была еще жива, ее приверженцев было гораздо больше, чем немногочисленных левых. Многие сельские партийные работники были воспитаны в духе „военного коммунизма“, и некоторые из них оставались враждебными по отношению к новой аграрной политике и скептически относи-

лись к заявлению Бухарина, что нэп не был „отходом от славных революционных традиций” [189]. К тому же многие из его теоретических положений — от трактовки рыночной кооперации до концепции органичной эволюции — напоминали ересь социал-демократического реформизма, между тем как его изображение смычки рабочих и крестьян как товарищества „трудящихся” производило впечатление порочного уклона в сторону народничества. Хотя Бухарин всегда критически относился к народнической мысли и никогда не был сторонником идеализации деревенской жизни, он пытался приспособить урбанистский марксизм к русской крестьянской реальности и, таким образом, воскрешал домарксистские идеи. Его убежденность в том, что крестьянство играет роль революционной разрушительной силы XX века, не устраняла идеологических подозрений, бросавших тень на его идеи, и не снимала обвинения в том, что он поддерживает „коммунистическое народничество” [190].

Однако в конечном счете судьба бухаринской доктрины зависела не от ее идеологической приемлемости, а от ее экономической осуществимости. Его программа призывала к индустриализации посредством расширения и интенсификации товарообмена между государственной промышленностью и крестьянским сельским хозяйством. Устойчивый рост крестьянского спроса на промышленные товары должен был привести к образованию излишков зерна и стимулировать постоянный рост промышленности. Оценка положения на обоих полюсах „экономической смычки” давала основания для сомнений в правильности его концепции.

По инициативе Преображенского левые быстро указали на главное слабое место индустриальной программы Бухарина, утверждая, что его восстановительная идеология вводит в заблуждение [191]. Хотя программа поощрения потребительского спроса для стимулирования выпуска индустриальной продукции была достаточной на период восстановления промышленности, начавшийся в 1921 г. и подошедший к концу к 1926 г., левые доказывали, что она будет совершенно неподходящей для следующего периода, когда существующие индустриальные предприятия уже начнут действовать на полную мощность и когда расширение и технологическое переоборудование основного капитала („реконструкция”) станут центральной проблемой. Когда сравнительно небольшие средства, необходимые для восстановления промышленности, будут исчерпаны, нельзя будет больше уклониться от трудной проблемы новых капиталовложений. Критики обвиняли Бухарина в том, что, сосредоточив свое внимание на спросе, он гонится за несбыточной мечтой. Амортизация и обесценивание основного капитала за период с 1914 по 1921 г. и одновременно тот факт, что революция освободила крестьян от тяжелых финансовых обязательств и вы-

звала их повышенный спрос на товары советской промышленности, означали, что подлинной причиной болезни являлась не слабость внутреннего рынка, а структурная неспособность промышленности удовлетворить потребительский спрос. Пока промышленность не будет реконструирована, невозможно установить равновесие между спросом и предложением. Вместо этого неизбежен хронический товарный голод на промышленные товары [192].

Критика левых была явно обоснована по ряду важных аспектов. Бухарин разработал долгосрочную программу, исходя из краткосрочных успехов промышленности. Слепленный „бурным экономическим ростом” 1923–1926 гг., когда выпуск промышленной продукции увеличился в один год на 60%, а в следующий – на 40%, он рассчитывал на „огромнейшие перспективы развертывания промышленности”. То, что его стратегия подразумевала скорее восстановление существующего оборудования, чем создание нового, было очевидным: „Все искусство экономической политики состоит в том, чтобы заставить *задвигаться* („мобилизовать”) факторы производства, которые лежат под спудом, „мертвым капиталом” [193]. Хотя 75% „мертвого капитала” промышленности „задвигалось” уже в 1925 г., до марта 1926 г. Бухарин еще не высказывал публичного беспокойства насчет изыскания „добавочного капитала”. Он, по существу, не высказывался по поводу умеренного товарного голода в 1925 г. вплоть до февраля 1926 г., когда он отмахнулся от происходящего, назвав его всего-навсего „спазмом нашего хозяйственного развития” [194]. Его нежелание взглянуть в лицо необходимости коренного и незамедлительного развития промышленности обнаружилось также косвенным образом. Так, например, большевики понимали, что причиной возраставшей городской безработицы было сельское перенаселение. Преображенский считал, что новая промышленность поглотит переселенцев из деревни в город; Бухарин высказывался за то, чтобы способствовать созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве [195].

Его соображения о сельском хозяйстве также были уязвимы. Высказывая положение, что стимулирование потребительского спроса крестьян и коммерциализация крестьянской экономики приведут к производству такого количества зерна, которое будет достаточным, чтобы накормить город и поддержать индустриализацию, Бухарин не принимал во внимание отсталость и низкую продуктивность, присущие сельскому хозяйству России, примитивный характер которого еще более проявился после уничтожения в результате революции крупных, высокопродуктивных помещичьих землевладений и кулацких хозяйств в 1917–1918 гг. Были возможны два решения. Одно заключалось в допущении частного землевладения и образовании высокопродук-

тивного сельскохозяйственного капиталистического сектора. Для Бухарина, как и для большинства большевиков, это „кулацкое решение” было идеологически неприемлемым [196]. Хотя он стремился рассеять страх перед кулаком как жупелом, его терпимость по отношению к кулацким хозяйствам отнюдь не означала, что он снисходительно относился к образованию крупной земельной собственности или к возникновению сельской буржуазии. Когда Бухарин обращался к крестьянам с лозунгом „Обогащайтесь!”, он надеялся на процветание середняцкой деревни, имеющей одинаковый материальный достаток, что, вероятно, было иллюзией. Альтернативным решением было создание крупных, производительных коллективных или государственных хозяйств. Однако в полном согласии с негативным отношением Бухарина к таким хозяйствам в 1924–1926 гг. (в период его сильнейшего влияния) было и официальное игнорирование всех видов коллективного возделывания земли, и их упадок [197].

Даже если бы советское сельское хозяйство восстановило свою дореволюционную производительность, проблема товарной продукции все еще оставалась бы нерешенной. Выравнивание социальных условий в деревне укрепило хозяйственную самостоятельность крестьянской экономики, а ликвидация задолженности крестьян дала им большую свободу решения, что и в каком количестве производить и вывозить на рынок [198]. Бухарин надеялся, что выгодные цены и изобилие дешевых промышленных товаров приведут к постоянному росту избытка товарного продукта, а эта перспектива неизменно находилась под угрозой возникновения товарного голода. Если недостатки его индустриальной программы подвергали опасности его сельскохозяйственную программу, то верным было и обратное. Первые тревожные признаки появились в 1925 г., когда, несмотря на хороший урожай, поступление зерна государству не оправдало ожиданий властей, что причинило значительный ущерб государственному плану экспорта и импорта [199].

Из всего этого следует вывод, что Бухарин в своем подходе к экономике в 1924–1926 гг. недостаточно учитывал необходимость вмешательства государства как в промышленное, так и в сельскохозяйственное производство [200]. Он предлагал развивать промышленность, не указывая на необходимость плановых капиталовложений, и лишь подчеркивал решающую роль снижения издержек производства и цен на промышленные товары. Вместо стремления к созданию дополнительного коллективного сектора зернового хозяйства, он всецело полагался на „сотрудничество” мелких крестьян. В каждом частном случае он уменьшал возможности „вмешательства” государственных „командных высот”, надеясь на стихийное функционирование рыночного механизма. В течение 1924–1925 гг. он ставил по преиму-

шеству цели, связанные с рынком, такие, как вытеснение частной торговли и ускорение товарооборота. Эти цели часто достигались, но производственные мощности оставались прежними.

Такая ориентация выявляла другие проблемы, которыми была чревата бухаринская политика. Его размышления о темпах и характере индустриального развития отражали также условия восстановительного периода, когда выпуск продукции резко увеличивался и легкая промышленность опережала тяжелую в своем развитии. Но хотя Бухарин и говорил о продвижении к социализму „черепашьим шагом” и однажды доказывал, что „медленные темпы” не представляют „фатальной опасности” [201], он, подобно левым, выражал сильное желание добиться „очень быстрых темпов”, которые не допускали бы, чтобы тяжелая промышленность „плелась сзади”. Наконец, многим большевикам казалось, что его политика лишала партию инициативы в области индустриализации и ставила ее в сомнительную зависимость от крестьянства или иностранного рынка. По этой причине мучительное чувство политического бессилия в сочетании с экономическими соображениями усиливало оппозицию к программе Бухарина.

Почему же Бухарин так долго не мог преодолеть столь важные ошибки и упорно оставался безразличен к анализу левых? Несомненно, он был введен в заблуждение внушительными успехами правительства в период экономического восстановления. Кроме того, убежденный, что политика оппозиции ведет к политической катастрофе, и сам будучи вовлечен в острую внутрипартийную борьбу, он не прислушивался к обоснованной критике и, подобно своим оппонентам, становился все более и более убежденным, что его – и только его – политика была разумной. Более чем что-нибудь другое, его этическое понимание „исторической задачи” большевизма явилось, видимо, причиной такого поведения. Это понимание толкало его высказывать идеи о том, что потребление масс является движущей силой советской индустриализации. Такой подход имел положительную сторону и настораживал его по отношению к опасности политической и экономической монополии. Но он также вводил его в заблуждение. Возмущенный „безумной утопией” Преображенского, согласно которой промышленность должна была содержаться за счет эксплуатации крестьянства, он увлекался нравственными лозунгами, в то время как необходимо было трезвое размышление. На призыв левых повысить цены на промышленные товары, он резко отвечал: „Наша промышленность должна давать деревенскому хозяйству продукты дешевле, чем давал капиталист” [202].

Однако нравственные доводы при всех их достоинствах не могли быть ответом Преображенскому. Более того, исходя из этического понимания, Бухарин предлагал невозможное: инду-

стриализацию без тяжких лишений, то есть безболезненный путь к модернизации общества.

Какова бы ни была причина, его первоначальная экономическая программа встретила затруднения уже в 1926 г., в последний год индустриального восстановления. В течение последующих месяцев он начал переосмысливать и ревизовать свою политику [203], хотя и после пересмотра не отказался от общей теоретической, политической и этической аргументации, сформулированной им в 1924—1926 гг. Теперь, как и прежде, политические, а равно и экономические условия оказывали влияние на характер предложений Бухарина хотя бы уже потому, что он и его идеи находились в центре политической бури.

ГЛАВА 7

ДУУМВИРАТ: БУХАРИН И СТАЛИН

Теперь я вижу, товарищи, что тов. Сталин целиком попал в плен этой неправильной политической линии, творцом и подлинным представителем которой является тов. Бухарин.

Л. Каменев. 1925 г.

Мы стоим и будем стоять за Бухарина.

И. Сталин. 1925 г.

В первой половине 1925 г., в возрасте тридцати шести лет Бухарин постепенно возглавил вместе со Сталиным новое руководство большинства в Центральном Комитете; для Бухарина настал период его наибольшего влияния на советскую политику. Их коалиция возникла в результате расторжения антитроцкистского триумvirата, который стал распадаться в конце 1924 г. и окончательно развалился в 1925 г., когда Зиновьев и Каменев сначала тайно, а потом открыто бросили вызов Сталину как руководителю партийного аппарата и Бухарину как выразителю партийной идеологии и политики [1].

Создание дуумvirата объяснялось следующими арифметическими соображениями. В 1925 г. Политбюро состояло из семи полноправных членов — Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина, Рыкова, Томского и Бухарина, ставшего его полноправным членом после смерти Ленина. Первые трое стояли теперь в оппозиции к официальной политике, хотя до весны 1926 г. они не выступали совместно. Рыков и Томский в общем соглашались с политикой, главным выразителем которой был Бухарин. Объединившись с Бухариным, Сталин восстановил четверку большинства в Политбюро (Троцкий вначале упрямо воздерживался от голосования) против своих прежних союзников — Зиновьева и Каменева. В свою очередь Бухарин обеспечивал официальное большинство при утверждении той политики, в которую он страстно верил. Кроме того, осуждая всякую личную вражду, он косвенно объяснил истоки и характер дуумvirата: „Люди должны бороться за большинство, если хотят обеспечить

проведение своей политики, которую считают правильной” [2].

Это означает, что коалиция — или, по терминологии 20-х гг., „блок” — является наилучшей характеристикой большинства в Политбюро, возглавлявшегося Сталиным и Бухариным. Это был временный взаимовыгодный союз, а не единая группировка полностью единомыслящих лидеров [3]. Подобно прежнему триумvirату и более поздней объединенной левой оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева, сплочение сталинско-бухаринского большинства объяснялось опасностью, исходившей от общих противников, а не только общими убеждениями. На этой основе, несмотря на признаки внутренней напряженности, коалиция выстояла как в начальной стадии борьбы при своем зарождении в 1925 г., так и в жестоких фракционных разногласиях 1926—1927 гг., которые в конце концов распространились почти на все вопросы внутренней и внешней политики. Затем, после организационного разгрома левых на XV съезде партии в декабре 1927 г., коалиция распалась.

Сталин дал создавшейся коалиции организационную власть. С тех пор как он возглавил Секретариат партии, то есть стал генсеком (в 1922 г.), он старательно и умело насаждал в партии далеко простирающиеся полномочия центрального партийного аппарата. Он еще не имел контроля над всей партией, которая в середине 20-х гг. своей структурой напоминала „княжества”, управляемые „князьями” [4]. Но благодаря своим полномочиям назначать и смещать сотрудников аппарата Сталин уже заложил основы той системы, которую разбитые оппозиционеры будут клеймить как „диктатуру Секретариата” [5]. Центральная партийная бюрократия служила ему прочной базой для борьбы с любым соперником из правящего руководства; с ее помощью он манипулировал на выборах в низовых партийных организациях, на съезде партии и, в конце концов, в самом Политбюро.

Сталинская машина власти была продемонстрирована на XIV съезде партии в декабре 1925 г. Зиновьев и Каменев (их сила основывалась на поддержке неприступной, как считал Зиновьев, „ленинградской крепости”) выступили на съезде, протестуя против политики и руководства дуумvirата. Они были разгромлены 559 голосами против 65. Через неделю представители победившего руководства прибыли в Ленинград, сместили сторонников Зиновьева и обеспечили „лояльность” ленинградской партийной организации [6]. Сталин подавил первое важное выступление против политики Бухарина. Попутно он расширил влияние Секретариата еще на одно „княжество”. В таком духе действовали и на протяжении следующих трех лет.

Роль Бухарина в коалиции была сложнее, но в равной степени важна, по крайней мере вначале. Прежде всего он разрабатывал

и формулировал экономическую политику и идеологию руководства в период между 1925 и 1927 гг. Не составляло секрета, что он сыграл ведущую роль в решении расширять нэп; он открыто высказывался об этом и о своих идеологических новшествах. Он не только являлся вдохновителем взглядов партийного большинства на вопросы промышленного и сельскохозяйственного развития, но и лично написал „основные части” резолюции 1925 г. по аграрной политике, которые вызвали широкие дискуссии [7]. Его теоретические предложения по спорным вопросам дня — о расслоении крестьянства и социальном развитии деревни, о характере государственной промышленности и ее взаимосвязи с сельским хозяйством, о закупочно-сбыточных кооперативах, о нэпе как переходной системе и других проблемах строительства социализма — составляли провозглашенную дуумвиратом и, следовательно, партией идеологию. Официальный большевизм 1925—1926 гг. был в основном бухаринским; партия следовала по бухаринскому пути к социализму [8]*. Его влияние распространялось не только на собственную партию и на вопросы внутренней политики. Его теории находили систематическое отражение и в резолюциях Коминтерна — например, на заседании Исполкома Коминтерна в апреле 1925 г. он представил 63 новых „тезиса по крестьянскому вопросу” [9]. С 1926 г. он почти в одиночку формировал официальные взгляды большевиков на внешний мир, международный капитализм и рабочее движение.

Вообще между Бухариным и Сталиным существовало приблизительное разделение обязанностей: один занимался формулированием вопросов политики и теории, другой руководил организационным механизмом [10]. Сталин, конечно, не был невежествен в политике или в теории и не был к ним безразличен. Будучи всегда осторожным политиком, он отмежевывался от периодических промахов своего союзника, таких, например, как лозунг „обогащайтесь”. Сознвая политическую уязвимость некоторых теорий Бухарина, он позаботился о том, чтобы не отождествляться с ним, особенно при толковании таких вопросов, в которых позиция Ленина была особенно неопределенной [11]. Но хотя Сталин иногда восхвалял индустриализацию (особенно развитие тяжелой промышленности) и достоинства советской экономической автаркии больше, чем Бухарин, у него, кажется, не было своей собственной индустриальной или аграрной программы. Со времени первоначальной разработки бухаринской программы в 1924—1925 гг. и до ее пересмотра в 1926—1927 гг. Сталин в экономической политике был бухаринцем [12]. Когда эта политика подверглась яростным нападкам на XIV съезде партии в 1925 г., Сталин провозгласил: „Мы стоим и будем стоять за Бухарина”. В этом оппозиция не сомневалась. На том же съезде Каменев сказал: „Теперь я вижу,

товарищи, что тов. Сталин целиком попал в плен этой неправильной политической линии, творцом и подлинным представителем которой является тов. Бухарин” [13].

Бухарин пришел в дуумвират и с более практическим политическим багажом. Наиболее важным было его руководство центральными изданиями партии. Помимо того что он был редактором ежедневной газеты „Правда”, в апреле 1924 г. он стал также редактором нового, выходявшего раз в две недели журнала ЦК партии „Большевик”, созданного для „защиты и укрепления исторического большевизма против любой попытки искажения и извращения его основ” [14]. Руководство двумя основными органами, выражавшими мнение ЦК, было важным оружием Бухарина во фракционной борьбе; свидетельством этого является бесплодная попытка Зиновьева организовать в Ленинграде в 1925 г. соперничающие издания, а в 1928 г. усилия Сталина, направленные на отстранение Бухарина от руководства ими [15]. Благодаря своему положению в „Правде” и „Большевике” Бухарин был фактическим правителем обширной империи партийной печати и пропаганды. Под их эгидой выходило множество других широко распространявшихся периодических изданий, газет и брошюр; а Бухарин, кроме того, был членом редакционных коллегий некоторых журналов, энциклопедий и издательств. С политической точки зрения, наиболее важным было то, что местная партийная пресса получала руководящие установки (а зачастую и статьи) непосредственно от „Правды” [16]. В 20-х гг. центральные органы печати были не только авторитетными средствами осуществления внутрипартийной связи. Будучи ответственными за истолкование партийных резолюций, они неизбежно играли значительную роль в окончательном формировании и проведении в жизнь политики партии. Каменев только слегка преувеличивал, когда сетовал, что Бухарин и его сторонники (занимавшие все должности в органах печати) получили „фактически монополию на политико-литературное представительство партии” и на „всю политико-просветительную работу” [17].

Другой организационный пост Бухарина представлял иной по своему характеру политический козырь. Бухарин вместе с Зиновьевым с 1923 г. был ответственным за выработку политического курса и текущую деятельность Коминтерна. Хотя до октября 1926 г. Зиновьев формально оставался председателем Коминтерна, его поражение в декабре 1925 г. привело к тому, что Бухарин вскоре стал фактически возглавлять эту международную организацию. После официального снятия Зиновьева Бухарин стал генеральным секретарем Исполкома Коминтерна и, таким образом, юридически его главой (должность председателя была упразднена) [18]*. Руководство Коминтерном, ничего не прибавляя к организационной власти дуумвирата внутри пар-

тии, тем не менее имело свои преимущества, так как и большинство, и оппозиция все еще ценили расположение зарубежных компартий. Руководящая роль в Коминтерне увеличивала личный престиж Бухарина, а также престиж и влияние дуумвирата. Она, кроме того, расширяла сферу его влияния, позволяя ему выдвигать своих советских сторонников и зарубежных последователей на работу в Политический Секретариат Исполкома Коминтерна [19]. Во время партийных споров, особенно когда дискуссия в 1926–1927 гг. перекинулась на вопросы внешней политики, Коминтерн стал дополнительной официальной трибуной Бухарина.

Эти сферы деятельности Бухарина (центральные органы печати и Коминтерн) были его „княжествами”. Они соответствовали его общей роли в борьбе большинства против оппозиции: тогда как Сталин вел организационную борьбу, Бухарин вел войну идеологическую, его идеи и контраргументы составляли сущность как наступательной, так и оборонительной тактики руководства. На первых стадиях дуумвирата он был совершенно независим как идеологический боец.

Ни Сталин, ни его сторонники не могли противостоять светилам в рядах оппозиции, которая в лице Троцкого, Каменева, Преображенского, Пятакова, Смирнова, Смилги и Радека имела искусных теоретиков, талантливых экономистов и острых публицистов. Все они были интеллектуалами, высокоодаренными, остроумными людьми, которые умело вели публичные споры и идеологические сражения.

Когда дискуссия затрагивала достаточно высокие интеллектуальные сферы, из главных лидеров большинства только Бухарин сражался с ними на равных (хотя Рыков был специалистом в области практической экономики). Его признанная проницательность и эрудиция теоретика, его ораторское искусство, умение быть „безжалостным полемистом” [20] (которым он иногда злоупотреблял) дали большинству выдающегося оратора, способного тягаться с оппозицией. Никто иной, как Бухарин, дал ответ Преображенскому; никто иной, как он, на XIV съезде партии сорвал запоздалую попытку Зиновьева обрести статус большевистского теоретика и фактически разрушил без остатка идеологический авторитет этого увядавшего политического деятеля; никто иной, как он, поехал в пролетарский Ленинград в феврале 1926 г., чтобы отстоять политику руководства по крестьянскому вопросу [21]. В этом отношении программные дебаты 20-х гг. были затянувшейся политической кампанией: на избирательных собраниях выигрывались и проигрывались значительные, хотя, возможно, и не решающие битвы. Не всегда Бухарин выигрывал эти сражения, но когда большинство одерживало значительную интеллектуальную победу, заслуга в этом почти всегда принадлежала ему.

Однако в идеологической войне, как и в любой другой, необходимы как маршалы, так и легионы. И как раз в этих „легионах”, среди молодых партийных интеллектуалов, которые стали известны как „школа Бухарина”, Бухарин обрел самый уникальный, хотя и подвергавшийся нападкам, политический инструмент. Эта школа оказалась в центре политических событий 1925 г., находясь под огнем критики. Заклейменная как растущее воплощение „мелкобуржуазного разложения”, „кулацкого уклона” и „народнического духа”, эта школа вместе с Бухариным стала на XIV съезде основным объектом нападков оппозиции [22]. Жалуясь, что ее представители заправляют „всей печатью” и стремятся „терроризировать всякого, кто указывает на искажение и извращение ими ...ленинизма”, Зиновьев и Каменев говорили: „Вокруг Бухарина теперь создается целая „школа”, пытающаяся затушевать действительность и отступить от классового точки зрения”. В действительности, делал вывод Каменев, „эта школа зиждется на отступлении от Ленина”. Крупская, временная сторонница Зиновьева и Каменева, видела далеко идущую опасность: „Красная профессура, группирующаяся около товарища Бухарина, это ведь готовящаяся смена, подготовка теоретиков, которые будут определять нашу линию” [23]. С этого времени аналогичные обвинения против „теоретической школы под покровительством Бухарина” будут почти постоянно фигурировать в высказываниях левых относительно официального вероломства. В 1928–1929 гг. Сталин повторит и приумножит эти обвинения [24].

Причиной тревоги была небольшая группа молодых партийных идеологов, в своем большинстве выпускников Института красной профессуры, которые считали Бухарина своим интеллектуальным и политическим наставником, а себя — его учениками. Хотя они оказались в центре политических дискуссий только в 1925 г., существование бухаринских „неофитов” было замечено еще в 1922 г. [25]. Сплочение молодых большевиков вокруг члена Политбюро само по себе не было чем-то необычным. Большинство главных лидеров, например Троцкий, Зиновьев и Сталин, — использовали молодых членов партии в своих личных секретариатах и в качестве помощников (аналогичные примеры можно найти во всех политических системах). Эти секретари, как их обычно называли, часто приглашались из тех организаций, за которые нес ответственность данный руководитель. Так, личный секретариат Бухарина возглавлял Ефим Цетлин, основатель и одно время руководитель комсомола [26]. Но лица, представлявшие школу Бухарина, отличались от обычных помощников других руководителей не только своим количеством, но и образованием, полученным в высших партийных учебных заведениях, а также интеллектуальными и литературными способностями, общей идеологической направленностью

и той политической ролью, которую они стали играть. Хотя иногда эти люди и были личными помощниками Бухарина, они начинали занимать все больше и больше официальных должностей [27].

Существовали, по-видимому, три причины, по которым столь многие способные молодые большевики группировались вокруг Бухарина. Первая состояла в том, что Бухарин пользовался непревзойденной славой марксистского мыслителя. Он был их кумиром и считался „теоретическим Геркулесом” [28]. Вторая причина была тесно связана с первой: у Бухарина был „огромный авторитет” среди партийной молодежи, особенно среди тех, кто был избран для ускоренной подготовки будущей большевистской интеллигенции. На протяжении нескольких лет он был членом Политбюро, самым тесным образом связанным с комсомолом; в 1923 г. он шуточно говорил: „Прошу не думать, что это стало моей специальностью или профессией” [29]. Кроме того, „сотни тысяч людей” получали образование, изучая такие его работы, как „Теория исторического материализма”. Поэтому он был особенно почитаем в учебных заведениях партии, где пользовался влиянием и как партийный мыслитель, и как политический руководитель [30].

Нигде это не проявилось в такой степени, как в Институте красной профессуры, одном из крупнейших центров марксистской мысли Советской России 20-х гг. Этот институт, имевший трехгодичную программу по экономике, истории, философии, был основан в 1921 г. с целью подготовки „красных профессоров” взамен беспартийных, которые все еще преобладали в университетах. В атмосфере, соединявшей некоторые черты университета, политического салона и монастыря, старейшие и наиболее выдающиеся ученые партии занимались — т.е. проводили семинары и читали лекции — с небольшими избранными группами студентов. Фактически значительное число выпускников института в конце концов стали заниматься не академической деятельностью, а партийной политико-литературной работой [31]. Многие из них объединились вокруг Бухарина. Большинство наиболее выдающихся представителей бухаринской школы были первыми выпускниками института, обучавшимися в 1921—1924 гг.

И наконец, школу Бухарина нельзя понять и представить без личности ее вдохновителя. Те, кто встречался с ним не один год, свидетельствуют, что мягкий, открытый, добродушный Бухарин в своей традиционной русской рубахе, кожаной куртке и сапогах, был самым привлекательным из большевистских руководителей. (Троцкий как-то заметил, что „Бухарин в глубине души оставался старым студентом”.) В нем совсем не было пугающего высокомерия Троцкого, нарочитой помпезности Зиновьева или подозрительности и склонности к интригам, столь

характерных для Сталина. Он был „по-любовному мягок” в своих отношениях с товарищами и друзьями. Источая „все-проникающее радушие”, он вносил в неофициальные собрания заразительное веселье и в свои лучшие минуты благотворное очарование в политику [32]. Бухарин, замечал Ленин, относился к тем „счастливым натурам, ...которые даже при наибольшем ожесточении борьбы меньше всего способны заражать ядом свои нападки”. Большевистские оппоненты ритуально, как бы в подтверждение предсмертных ленинских слов о том, что Бухарин был „любимцем всей партии”, предпосылали своим нападкам на него заверения в личной любви к „Бухарчику” [33]. Даже Сталин, его злейший враг в 1929 г., считал за необходимость переключиться с Брутом: „Бухарина мы любим, но истину, но партию, но Коминтерн любим мы еще больше” [34].

Свидетельства о способности Бухарина вызывать симпатию таковы, что, перефразируя Форда Мэддокса Форда, можно сказать: он был добрым большевиком. Один из старых членов партии (который никогда не был ни его приверженцем, ни „биографом святых”) писал о нем как об „одной из любимейших фигур русской революции”, рисуя его человеком со многими и разнообразными увлечениями: „Он жив и подвижен, как ртуть, жаден ко всем проявлениям жизни, начиная с новой глубоко отвлеченной мысли и кончая игрой в городки” [35]. У него были „все данные, чтобы захватить и пленить воображение молодежи”, сказал один из его зарубежных поклонников-коммунистов. Естественно, что все молодые большевики тянулись к нему. Обаяние Бухарина частично заключалось в том, что он с теплом и щедростью принимал молодых товарищей и подчиненных, которые считали, что с ним легко говорить и к нему легко найти доступ. Когда Бухарин председательствовал на собраниях многообещающих „неофитов”, например в „Правде”, преобладала „атмосфера гармоничного дружеского сотрудничества, доверия и уважения друг к другу” [36]. Будучи лишь немногим старше их, Бухарин встречался со „своими молодыми товарищами” как с равными, не кичась своим положением, и поддерживал их. В ответ они платили ему личной и политической привязанностью, считая его „своим дорогим учителем” [37].

В пору своей известности школа Бухарина насчитывала около пятнадцати человек. Наиболее известными среди них были А. Слепков, Д. Марецкий, В. Астров, Стецкий, П. Петровский, А. Айхенвальд, Д.П. Розиг, Е. Гольденберг, Ефим Цетлин и А. Зайцев. За исключением Стецкого и Петровского, которые были известны еще во время гражданской войны, имеется мало данных о жизни этих людей; их деятельность была прервана после поражения Бухарина, а сталинский террор пережил только Астров [38]. Им было от двадцати до тридцати лет; большинст-

во из них вступили в партию в 1917 г. или позднее. До поступления в Институт красной профессуры в 1921 г. они не занимали каких-либо важных должностей. Почти как и все студенты института, они представляли средние слои общества. Их политическое прошлое было различным. Петровский был сыном старого большевика и партийного руководителя на Украине Григория Петровского; Слепков, по распространявшимся оппозицией слухам, был монархистом-кадетом еще в 1918 г. [39]. Айхенвальд был сыном известного литературного критика и конституционного демократа Юрия Айхенвальда, которого он посещал в Берлине в надежде примирить своего „неисправимого отца” с большевистским режимом. Кажется, только Гольденберг и Айхенвальд в прошлом были оппозиционерами и в 1923 г. какое-то время симпатизировали Троцкому [40]. Некоторые из них до того, как они стали политическими деятелями в середине 20-х гг., уже имели репутацию ученых: Слепков и Астров были историками, Марецкий — историком-экономистом, Айхенвальд и Гольденберг — экономистами [41].

Но они заставили заговорить о себе потому, что стали неутомимыми и вездесущими пропагандистами бухаринизма. В сотнях книг, брошюр, газетных статей и публичных выступлений — в учебных заведениях, на партийных собраниях и других общественных форумах — они пропагандировали и защищали (а иногда развивали и дополняли) политику и идеи Бухарина [42]. Они рецензировали его книги, написали его биографию и шумно его прославляли [43]. Повсюду, презрительно замечал один критик, они „пели... с голоса Бухарина”. В своих многообразных деяниях, недовольно писал другой, они действовали как личный „агитпроп” Бухарина [44]. Сверх всего, они вели идеологическую борьбу сталинско-бухаринского руководства против оппозиции, не во имя бухаринизма, конечно, а во имя „ортодоксального большевизма”. Естественно, Бухарин противился „шуму вокруг новой школы” так же, как и его сталинские союзники, которые извлекали пользу из ее деятельности. Один из людей Сталина, выступая в ее защиту, говорил:

У Бухарина нет никакой особой школы; школа Бухарина есть *ленинская* школа. Заслуга тов. Бухарина заключается в том, что он действительно воспитал теоретически в духе ленинизма большое число молодых товарищей, которые ведут в нашей партии пропагандистскую, агитационную, литературную работу [45].

Оппозиция горячо опровергала первое утверждение и удрученно признавала справедливость последнего.

Как уже отмечалось, особое значение приобрело то обстоятельство, что молодые бухаринцы, объединившиеся в интеллектуальную группу вокруг одного из руководителей партии, стали выдвигаться на ответственную партийную и государственную ра-

боту. Прежде всего их „монополией” стали партийные и государственные издания. Астров и Слепков в сентябре 1924 г. стали редакторами „Большевика” и вместе с Бухариным руководили этим авторитетным журналом ЦК до середины 1928 г. Представители школы довольно часто публиковались в „Большевике” и „Правде”, в которой тоже наряду с Бухариным играли руководящую роль сначала неофициально, а потом официально; к началу 1928 г. Астров, Слепков, Марецкий, Цетлин и Зайцев стали редакторами „Правды” [46]. Таковы были цитадели бухаринской школы. Кроме того, написанные ими статьи и передовицы регулярно появлялись почти во всех основных органах печати, особенно в столице. Когда в мае 1925 г. была основана новая центральная газета „Комсомольская правда”, Слепков стал ее первым главным редактором. Хотя оппозиция через несколько недель добилась его отстранения после того, как им и другими было опубликовано несколько политически опрометчивых статей, один бухаринец, а именно брат Марецкого, остался в редакционной коллегии газеты [47]. Политическая активность школы проявилась даже в Ленинграде. После изгнания зиновьевцев из „Ленинградской правды” в январе 1926 г. Астров, Петровский и Гольденберг в различное время были ее редакторами, представляя в ней Бухарина [48].

Их деятельность не ограничивалась печатью. Помимо Коминтерна и рабселькоровского движения [49] — двух заповедных сфер деятельности Бухарина, — они оказывали заметное влияние на растущую сеть коммунистических университетов и учебных учреждений. Один молодой бухаринец стал ректором университета; другие составляли учебные программы, преподавали и писали учебники для учащихся; некоторые возглавляли партийные ячейки таких важных учреждений, как Московская промакадемия, Институт красной профессуры, Коммунистическая академия и Академия Коммунистического образования [50]. Они активно работали также в государственных экономических учреждениях, ответственных за планирование и промышленное развитие. Айхенвальд и Гольденберг, например, занимали важные посты в Госплане, причем последний был выдвинут на должность заместителя председателя Госплана РСФСР [51]. Только в центральном сталинском партаппарате их роль была менее существенной. Двое, Стецкий и Розит, заседали в дисциплинарном органе партии — Центральной контрольной комиссии (ЦКК). Помимо этого, Стецкий возглавлял отдел агитации и пропаганды Ленинградской партийной организации и в 1927 г. стал полноправным членом ЦК. Слепков был „ответственным инструктором” ЦК — так именовались могущественные идеологические Несторы, разъезжавшие по стране и контролировавшие деятельность низовых партийных организаций и местной прессы [52].

К 1925 г. бухаринская школа во многих отношениях приобрела важное значение в советской политике. Однако деятельность этой школы приносила ее вдохновителю как политические выгоды, так и издержки. Например, праведная агрессивность его учеников часто раздражала партийных интеллектуалов более старшего возраста, и в некоторых кругах, по рассказам, выражение „красный профессор” звучало как бранное [53]. Гораздо большее политическое значение имело то обстоятельство, что они иногда развивали идеи Бухарина за пределы политического благоразумия (хотя он сам подал такой пример) и, таким образом, становились легкой мишенью для оппозиционеров, которые в подобных эксцессах усматривали доказательство ереси правящего большинства. Примером может служить полемика, разгоревшаяся после того, как Стецкий и Слепков стали теоретически развивать в официальной прессе бухаринский лозунг 1925 г. „Обогащайтесь!”. Существовала еще одна проблема. Оппозиция спешила отнести каждого из раздражавших ее молодых публицистов к бухаринской школе; примером может служить известное дело Богушевского в 1925 г. Богушевский, до тех пор неизвестный журналист, опубликовал в „Большевике” статью, в которой утверждал, что кулак — это „жупел” [54]. В течение следующих двух лет левые ссылались на него, считая это доказательством „кулацкого уклона” дуумвирата. На самом деле Богушевский, очевидно, совершенно не был связан с Бухариным, а его статья не прошла цензуру вследствие ряда редакторских просчетов [55].

Тем не менее эта школа, явившаяся для Бухарина политической опорой, сослужила ему в течение некоторого времени хорошую службу. Никто из других лидеров партии не имел своего собственного „агитпропа”, который можно было сравнить с бухаринским по количеству и качеству. Эта когорта талантливых людей позволила Бухарину посадить своих людей как раз в тех учреждениях, где формировались политика и идеология и готовились будущие кадры; они с большой эффективностью популяризировали и отстаивали его политику. Бухарин и его ученики, которые встречали любые атаки со стороны оппозиции по-бухарински меткими ответами, в основном обеспечивали идеологическую победу большинства. Эта школа помогла Бухарину подняться до положения главы ортодоксального большевизма и утвердить „бухаринизм” в качестве официальной партийной идеологии*.

Имея все эти реальные политические преимущества, Бухарин вступил в коалицию со Сталиным в 1925 г. Кроме того, он внес в нее кое-что менее осязаемое, но столь же важное: свой личный авторитет — вклад, понятный только в контексте „борьбы за

наследие”, которая последовала за смертью Ленина. В одном отношении этот термин неправилен. Ибо, хотя внутривластные битвы 1923–1929 гг. представляли продолжительные попытки реконструкции власти и авторитета, ранее принадлежавших Ленину, сама мысль, что может существовать преемник – „Ленин сегодня”, – была недопустима. Ленинский авторитет в руководстве и вообще в партии был уникален. Прежде всего он объяснялся тем, что Ленин был создателем партии и ее душой; политические оценки Лениным многочисленных оппозиционеров часто оказывались правильными, а сильная сторона его личности состояла в том, что он убеждал и сплачивал своих конфликтовавших коллег. Его авторитет ни в коем случае не был связан с каким-либо официальным постом. По словам Сокольников, „Ленин не был ни председателем Политбюро, ни генеральным секретарем, и товарищ Ленин тем не менее имел у нас в партии решающее политическое слово”. Этот авторитет был, как писал недавно один из авторов, чем-то вроде харизматического авторитета, неотделимого от Ленина как личности и не зависящего от конституционных и установленных процедур [56].

Некоторые из его наследников интуитивно понимали это, выражая свои чувства по-разному. Ленин „был диктатором в лучшем смысле этого слова”, сказал Бухарин в 1924 г. Пятью годами позже, характеризуя Ленина как единственного „вождя, организатора, полководца, суровый, железный авторитет” и противопоставляя его жестокой сталинской машине власти, Бухарин пояснял:

Но он был для всех нас Ильич, свой, близкий, любимый человек, замечательный товарищ и друг, связь с которым неразрывна. Он был не только „товарищ Ленин”, а нечто неизмеримо большее. Такова была наша связь... Это вовсе не простое „командование”, „администрирование” и т.д. [57].

И личные чувства, и реальное понимание уникальной роли Ленина вызвали естественное нежелание как внутри руководства, так и вообще в партии мыслить категориями „преемственности”. Один из делегатов на XIV съезде партии в 1925 г. утверждал, что „его кафтан начинают примеривать отдельные представители... Но этот кафтан никому не подходит...”

Каковы бы ни были тайные стремления и независимо от невыполнимости такой идеи, публично было принято считать, что руководство после Ленина должно быть олигархическим, или, как настаивал Бухарин в 1925 г., коллективным:

...потому что у нас нет Ленина и нет единого авторитета. У нас сейчас может быть только коллективный авторитет. У нас нет человека, который бы сказал: я безгрешен и могу абсолютно на все 100% истолковать ленинское учение. Каждый пытается, но тот, кто выскажет претензию на все 100%,

тот слишком большую роль придает своей собственной персоне [58].

Таким образом, заменить умершего вождя должна была группа наследников. Вначале под коллективным руководством подразумевалась узкая группа, не обязательно включавшая в себя всех руководящих большевиков или даже всех членов Политбюро. В нее входило лишь „основное ядро ленинцев” [59], пятеро из шести человек, о которых Ленин писал в своем „Завещании”: Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев и Бухарин. Хотя это редко признавалось публично, тем не менее это были люди, пользовавшиеся большим авторитетом, каждый из которых воплощал часть ленинского наследия, а все вместе воплощали законный авторитет партии и потому должны были руководить коллективно. Можно привести два показательных примера: Рыков и Калинин были выдающимися деятелями партии, но ни тот, ни другой лично не символизировали большевистский партийный авторитет. Было принято считать, хотя это и не афишировалось, что несколько членов Политбюро были первыми среди равных. Как иногда выражались наблюдатели, они были „большевистским Олимпом” [60]. Сталин, умевший грубо, но точно проводить различия между людьми, использовал подобную метафору в 1928 г., характеризуя в беседе с Бухариным состоявшее из девяти человек Политбюро, которое уже больше не включало Троцкого, Зиновьева и Каменева. Он заявил: „...мы с тобой Гималаи; остальные — ничтожества” [61].

Однако в 1925 г. было пять „Гималаев”, или, иначе говоря, авторитетных ленинских наследников [62]. Своеобразный „мандат” каждого состоял из следующих четырех пунктов: 1. Вхождение в узкий ленинский круг до и после 1917 г.; 2. Революционно-героическая биография, причем 1917 г. рассматривался как пробный камень; 3. Репутация революционера-интернационалиста; 4. Репутация „выдающегося марксиста”, а следовательно — теоретика. Ни у одного из членов коллективного руководства этот мандат не был в полном порядке. Зиновьев и Каменев (чьи фамилии воспринимались как бы написанными через черточку) были сильнейшими в первом пункте, но слабейшими во втором, так как они выступали против восстановления в 1917 г.; с другой стороны, Троцкий не имел себе равных во 2-м и 3-м пунктах, был вторым после Бухарина в 4-м, но сильно уязвим в 1-м пункте, так как поздно вступил в партию. Мандат Бухарина также не был совершенным: он превзошел всех как теоретик; имел высокий авторитет, связанный с 1917 г., а также как интернационалист, но не был так близок к Ленину, как Зиновьев, до 1917 г. и так же лоялен к нему после. Мандат Сталина был наименее впечатляющим: у него совершенно не было почвы под ногами в 3-м и 4-м пунктах, а во 2-м он стоял далеко за Троцким и Бухариным.

Хотя эти преимущества приобретали все более призрачный характер (ибо тот, чей мандат производил наименьшее впечатление, обладал наибольшей властью), отношение к ним было очень серьезным; это видно из того, какое значение имели в 20-х гг. политические и партийные биографии ведущих руководителей и какие попытки предпринимали некоторые из них, чтобы приукрасить свои мандаты. Зиновьев и Каменев отчаянно пытались затушевать свой позор 1917 г.; их оппоненты этого не позволили. Зиновьев старался в 1925 г. выйти на первый план как теоретик, но получил отпор со стороны Бухарина. Троцкий старался как-то искупить свое меньшевистское прошлое; этот факт его биографии всегда использовали противники, которые, кроме того, оспаривали ортодоксальность его идей до 1917 г. Сталин, вытесняя своих соперников, шаг за шагом добился некоторого авторитета в Коминтерне, но он был совершенно неизвестен как теоретик и болезненно воспринимал это, что видно из слов Бухарина, сказанных в 1928 г.: „Сталина съедает жажда стать признанным теоретиком. Он считает, что ему только этого не хватает” [63].

В этом контексте ясна важная роль Бухарина в дуумвирате. Ранее первые триумвиры объединились в надежде, что их коллективное положение поколеблет огромный авторитет Троцкого в партии. Им удалось убедить многих, что он был неискренним и высокомерным самозванцем. Однако теперь Зиновьев и Каменев порвали со Сталиным и вскоре объединились с Троцким. Иллюзия их коллективного авторитета побудила Каменева обратиться к Троцкому: „Достаточно Вам и Зиновьеву выработать единую платформу, и партия обретет свой настоящий Центральный Комитет”. Троцкий вспоминал, как он высмеивал „такой бюрократический оптимизм” [64], но несомненно, что Сталина приводила в ужас сама мысль о возможности осуществления надежд Каменева. Наименее выдающийся из пяти ленинских наследников, трое из которых выступили теперь против него, понял, что он может выглядеть узурпатором; причем сложность его положения еще более усугублялась все еще неопубликованным, но уже хорошо известным „Завещанием” Ленина.

Приход Бухарина к совместному руководству со Сталиным помог последнему предотвратить эту опасность. Бухарин поделился по меньшей мере частью своего законного авторитета и тем самым сделал возможной устойчивость „коллективной власти” большинства. Несмотря на относительную молодость Бухарина и на то обстоятельство, что его сильной стороной была теория, а не практическая политика (что, наверное, отражалось на его статусе политического руководителя), все же нельзя приуменьшать его действительную роль в придании веса дуумвирату. В отличие от Сталина именно его голос был ав-

торитетным во внешне- и внутривластных вопросах: от реальности создания советов в революционном Китае до политики капитальных вложений и литературной политики в стране [65]. В то же самое время Бухарин фактически выступил поручителем генсека, распространив свою популярность на человека, которого недолюбливали как по личным причинам, так и из-за политических разногласий, и он, если привести более конкретный пример, „создавал атмосферу доверия к нему в Коминтерне” [66].

Факт близости к Ленину в прошлом приобрел особое значение в 1925 г. Крупская, по отношению к которой Сталин тремя годами раньше допустил „грубейшую выходку”, открыто поддерживала Зиновьева и Каменева. То, что она была на их стороне, символизировало их длительную тесную связь с ее покойным мужем и напоминало хорошо осведомленным большевикам об убийственном постскрипуме ленинского „Завещания”, в котором Сталин осуждался как „слишком грубый” и где рекомендовалось отстранить его от должности генерального секретаря [67]. Бухарин в свою очередь также имел поддержку от младшей сестры Ленина — М.И. Ульяновой. Между ними существовали теплые личные и деловые отношения. М.И. Ульянова была старым и близким другом Бухарина и с 1917 г. работала ответственным секретарем „Правды”. Поражение Бухарина в 1929 г. положило конец ее политической деятельности, и она, находясь почти в опале, умерла в 1937 г., спустя несколько месяцев после его ареста. Но в 1925 г. М.И. Ульянова поддерживала Бухарина и, следовательно, Сталина. В то время была широко известна фотография, где она сидит рядом с Бухариным в редакции „Правды” [68]. А на XIV съезде, после того как Крупская публично выступила против интерпретации Бухариным последних статей Ленина, М.И. Ульянова возражала ей в своем коротком выступлении: „Товарищи, я взяла слово не потому, что я сестра Ленина и претендую поэтому на лучшее понимание и толкование ленинизма, чем все другие члены нашей партии. Я думаю, что такой монополии на лучшее понимание ленинизма родственниками не существует и не должно существовать” [69].

Однако в конечном счете авторитет Бухарина основывался на его репутации крупнейшего в то время большевистского марксиста, или (как это было официально провозглашено в 1926 г.) человека, „признанного теперь самым выдающимся теоретиком Коммунистического Интернационала” [70]. Он попал в весьма сомнительное положение „живого классика”. Его труды издавались в официальных сборниках по марксистской экономике, философии, социологии, литературной критике и

искусствоведению. Когда советский автор желал привести свидетельство „международного авторитета” интеллектуальных достижений большевиков, он говорил: „Достаточно указать только на выдающиеся социологические и экономические работы Н.И. Бухарина...” [71]. Почетный член Коммунистической академии и ее Президиума, Бухарин стал единственным партийным руководителем, выдвинутым в кандидаты и избранным в члены Академии наук СССР в 1928—1929 гг., что явилось последним, почетным признанием его исключительности [72].

На таком превозношении (даже если оно и было в некоторой степени лестью) в сочетании с положением наследника и основывался политический авторитет Бухарина, который при создавшихся обстоятельствах с 1925 по 1928 г. косвенным образом распространялся на Сталина. Наибольший политический вес в 20-х гг. имел именно интеллектуальный авторитет, поэтому, когда в 1928 г. генсек начал против Бухарина тайную кампанию, он атаковал прежде всего его репутацию теоретика. В отличие от более поздних времен, когда Сталин обратил все эти „мандаты” в бессмыслицу тем, что приписал все и вся одному себе (что потом будет названо „культом личности”), в конце 20-х теории партии придавалось большое значение. Соперничавшие между собой претенденты на большевистскую ортодоксию расценивали ее как надежнейшее средство для проведения правильной политики и как самый верный показатель революционной правоверности вообще. Они были согласны относительно того, что теория и политика суть одно и то же. Или, как в 1929 г. восклицал один из сталинистов, Л.М. Каганович, „предательство в политике всегда начинается с ревизии в теории” [73].

Так выглядел в общем сталинско-бухаринский дуумвират. Как наследники Ленина Сталин и Бухарин были высокопоставленными партийными лидерами большинства, но не единственными его крупными представителями. Два других члена Политбюро приобрили к этому времени особую значимость как стойкие сторонники бухаринской политики большинства и решительные противники левых. Одним из них был Алексей Иванович Рыков, который, будучи преемником Ленина на посту Председателя Совнаркома и заменив в 1926 г. Каменева на посту Председателя Совета труда и обороны, занимал две наиболее важные правительственные должности. Другим был Михаил Павлович Томский (урожденный Ефремов), который начиная с 1918 г. (исключая небольшой период 1921—1922 гг., когда он был в немилости у Ленина), являлся руководителем советских профсоюзов [74]. Два этих важных (и забытых) деятеля революции являлись старыми большевиками, полноправными чле-

нами Политбюро с 1922 г., а теперь были сторонниками нэпа как экономической структуры, необходимой для индустриализации. Вместе с Бухариным они составили в 1928—1929 гг. руководство правой оппозиции против Сталина.

Рыков являлся наиболее ярким представителем умеренного течения в русском большевизме. Рыкова, ставшего в 1924 г., в возрасте 43-х лет, Председателем Совнаркома можно отнести к правому крылу партии, о чем свидетельствует его оппозиция Апрельским тезисам Ленина в 1917 г. и поддержка им идеи создания коалиционного социалистического правительства в октябре. Талантливый администратор, он возглавлял Высший совет народного хозяйства в период „военного коммунизма” и короткое время в 1923 г., был заместителем Председателя Совнаркома с 1921 по 1924 г.; он прежде всего был ведущей фигурой в государственных и экономических организациях. В годы гражданской войны он преданно и умело проводил политику партии, но (как он однажды признался) никогда не изменял политическому духу ленинского лозунга 1905 г. — „Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства” [75]. Он был таким марксистом, которые часто встречались среди первых большевиков: их реальной политической деятельностью была борьба с самодержавием, а представление о социализме связывалось в их мышлении со всеми „трудящимися”, а не только с пролетариатом. Выходец из крестьян, Рыков пользовался репутацией человека, „любовно и внимательно относящегося к нуждам крестьянства” [76].

Он полностью одобрил введение и распространение нэпа и стал его искренним и непреклонным защитником. Постоянный противник претенциозных экономических проектов и волюнтаристских схем планирования, он разделял неприязнь Бухарина к „закону” Преображенского как к „позорной теории”, которая, будучи воплощена в жизнь, явилась бы „смертельной компрометацией социализма”. Кроме своей программной враждебности к левым, он, по-видимому, испытывал особую неприязнь к Троцкому и его окружению [77]. Никто из главных большевистских деятелей, включая Бухарина, не олицетворял так недвусмысленно, как он, политическую и экономическую философию нэпа и смычки. Хотя Рыков в гораздо меньшей степени, чем Бухарин, был склонен к теоретическим обобщениям, к 1925 г. его взгляды по вопросам промышленной и аграрной политики фактически не отличались от бухаринских; а когда в 1924—1925 гг. в партии возникли новые политические группировки, он выдвинулся как один из активнейших сторонников Бухарина [78].

Томский, участник революционного профсоюзного движения с 1905 г. и единственный член Политбюро подлинно пролетарского происхождения, был представителем других элементов

большевизма. Его приверженность нэпу не столь легко объяснима. Рассматривая пролетариат как самую существенную свою поддержку, партия, само собой разумеется, считала профсоюзы его „становым хребтом”. Поэтому, хотя большевистские профсоюзные руководители уже больше и не надеялись быть революционной силой, на что они рассчитывали в первые дни революции, они все же оставались влиятельной группой. По общности происхождения и идентичности взглядов они представляли собой наиболее монолитную прослойку среди партийной элиты, которая осознала себя чем-то вроде „партии внутри партии” [79]. Томский, председатель ВЦСПС, являлся их официальным руководителем и политическим деятелем, занимавшим среди них самое высокое положение. Вокруг него группировались наиболее активные деятели советского профсоюзного движения, которые в 1928–1929 гг. были устранены Сталиным со своих постов: Г.Н. Мельничанский, А.И. Догадов, Яков Яглом, В.М. Михайлов, Борис Козелев, Федор Угаров и Василий Шмидт — народный комиссар труда, должность, которую всегда занимали и брали под контроль профсоюзные деятели. Эти люди, как позднее отмечал Томский, были „товарищами, которые в течение ряда лет привыкли видеть во мне своего руководителя”. Они считали Томского своим эмиссаром в Политбюро, воспринимали его как непререкаемый авторитет, превозносили как профсоюзного деятеля и старого большевика и содействовали тому, чтобы его имя стало „персонификацией руководства профсоюзами” [80].

Взгляды Томского отражали общую линию поведения профсоюзных лидеров. Ранее он решительно выступал против „огосударствления” профсоюзов и столь же последовательно защищал роль профсоюзов в управлении промышленностью [81]. Первая его позиция стала успешной после крушения „военного коммунизма”, а вторая была безоговорочно проиграна к 1920 г. Когда нэп достиг высшей точки своего развития, Томский стал разделять взгляды на новую двойную роль, которую должны играть профсоюзы: „приводного ремня” от партии-государства к рабочему классу и одновременно защитника интересов рабочих в условиях смешанной экономики. Несмотря на свою верность партийной политике, он ревностно посвящал себя второй, более традиционной задаче. В 1925 г. он ясно выразил мысль, что в рамках этой структурной двойственности профсоюзные деятели вновь стали серьезно относиться к своему обязательству заботиться о благосостоянии трудящихся:

Перед профессиональными союзами всегда стоит... одна основная задача: задача эта, определяемая самой ролью и значением профсоюзов, есть задача всестороннего обслуживания и непрерывной работы над поднятием, улучшением материального и духовного уровня объединяемых ими масс.

Эта задача, которая на протяжении всей истории профдвижения стоит и будет стоять перед профсоюзами [82].

Такое понимание роли профсоюзов определило поддержку Томским экономической политики Бухарина—Рыкова. Он, очевидно, предвидел последствия, которые будет иметь для профсоюзов программа форсированной индустриализации и первоочередных вложений в тяжелую промышленность, которую предлагали левые (а затем и Сталин). Каковы бы ни были его оговорки в отношении официальной политики, он предпочитал перспективу последовательного роста потребления и реальной заработной платы и сохранения автономии профсоюзов. Начиная с 1923 г. Томский стал выступать вместе с Бухариным и Рыковым; и отчасти потому, что жива была еще память об идеях милитаризации труда и „перетряхивании” профсоюзного руководства, которые выдвинул Троцкий в 1920 г., Томский и его окружение были убежденными противниками предложенных левых [83].

На позицию Томского оказывало влияние и другое соображение. По вопросу интернационального единства рабочего класса, или социалистического единства, профсоюзные деятели представляли самую активную группу в партии, мыслившую интернациональными категориями. Большинство их выступали за коалиционное социалистическое правительство в 1917 г.; теперь же они хотели восстановить отношения *de facto* или *de jure* с европейскими социал-демократическими профсоюзами, объединившимися вокруг Амстердамского интернационала [84]. Кульминацией их усилий был 1925 г., который принес расширение контактов с Амстердамом и первое важное свидетельство восстановления единства международного профсоюзного движения: образование Англо-русского объединенного профсоюзного комитета.

Создание этого комитета было с энтузиазмом воспринято большевистскими профсоюзными деятелями, особенно Томским. Будучи частым гостем европейских профсоюзных съездов, он в период недолгого существования этого комитета (главным защитником которого в большевистской партии он был) стал известным деятелем международного профсоюзного движения [85]. Эта деятельность, наиболее заметная, но далеко не единственная из попыток, направленных на поиски путей сотрудничества с европейскими социал-демократами, была (как мы увидим) совместима с новыми взглядами Бухарина на международную политику. Однако для Троцкого (и в меньшей степени для Зиновьева) эта деятельность была совершенно отталкивающей; он усматривал в ней еще одно свидетельство реформизма большинства. Таким образом, ориентация Томского как во внутренней, так и во внешней политике определила его место в лагере большинства. В 1925 г. характер-

ной чертой его деятельности стало то, что он решительно боролся против любых попыток „дискредитации Бухарина” как выразителя экономической политики партии; вскоре после этого он стал „целиком и полностью поддерживать” идеи Бухарина в области международной политики [86].

Точное время, когда Бухарин, Рыков и Томский стали смотреть на себя как на отдельную группу внутри Политбюро, неизвестно [87]. Однако ясно, что вскоре обстоятельства выделили эту тройку. Во-первых, все они были лидерами, чье внимание было приковано к проблемным вопросам и чья сплоченность основывалась на приверженности к специфической политике (что было продемонстрировано в 1928 г.). Во-вторых, в избранном в январе 1926 г. Политбюро, состоявшем из девяти членов (в котором Каменев был понижен до положения кандидата, а Молотов, Ворошилов и не имевший большого веса Калинин стали полноправными членами), они были единственными крупными лидерами большинства, которые не были так или иначе обязаны своим высоким положением Сталину (имена Молотова и Ворошилова давно уже связывали с именем генсека). Показательно, что Бухарин, Рыков и Томский, каждый в отдельности, на XIV съезде или вскоре после него, пользовались каждым удобным случаем, чтобы публично осудить принцип доминирующего члена Политбюро („единственный авторитет”), а это суждение было уместным только в отношении Сталина, которого его сторонники уже превозносили как первого среди равных [88]. В-третьих, по личным, политическим и организационным соображениям Рыков и Томский готовы были предпочесть Бухарина Сталину, если бы пришлось выбирать кого-то одного из этих двух дуумвиров.

Внешне могло показаться, что как администраторы и практические политики Сталин, Рыков и Томский должны были быть естественными союзниками. Но истина, по-видимому, была в обратном. Благожелательный и популярный Рыков не был похож на Сталина по своим личным качествам. Он, очевидно, не доверял генсеку, и тот в ответ презирал его [89]. Еще более важно то, что Рыков и Сталин возглавляли соперничающие организации: государство и партию, что само по себе способствовало возникновению трений. Союз Томского со Сталиным также был маловероятен; их взаимная неприязнь, возникавшая, по-видимому, еще в 1921 г., стала очевидной в 1928 г. [90]. Кроме того, Томский хотел укрепить независимость профсоюзов, тогда как Сталин стремился подчинить их партии и таким образом распространить власть Секретариата на организационное „княжество” Томского. И, наконец, все возрастающее участие Томского в международных делах привело его к конфликту со сталинским приверженцем — руководителем Красного интернационала профсоюзов (Профинтерн) Соломоном Ло-

зовским, который был возмущен самостоятельными и независимыми связями советских профсоюзов с зарубежными [91]. Неудивительно поэтому, что ни Рыков, ни Томский публично не выражали никакого энтузиазма в отношении Сталина, и периодически появлялись сообщения об из разногласиях с ним [92]. Что касается Бухарина, то он был известен как твердый сторонник восстановления и сохранения официального разделения функций государства и партии; и начиная с 1926 г. он восторженно отзывался о деятельности советских профсоюзов, как внутренней, так и международной [93].

Союз Бухарина, Рыкова и Томского, уже заметный, хотя и не вполне отчетливый, сложился, по крайней мере к 1926 г., скорее в силу обстоятельств, чем какого-либо плана. Их для удобства можно охарактеризовать как правых в Политбюро, памятуя о том, что они, по меткому замечанию Пятакова, „на 150% нэписты”, были преданы политике, противоположной политике левых, и что Сталин, поддерживая эту политику, занимал позицию центра, не раскрывая своих замыслов и защищая оба свои политических фланга [94]. Все трое дополняли друг друга как политические руководители. Обстоятельный, деловой подход Рыкова к экономическим проблемам являлся ценным дополнением к философскому подходу Бухарина, тогда как участие Томского придавало их политике менее „прокрестьянский” характер. В то же время они были людьми разных наклонностей. Томский, несомненно, предпочитал бы политику, непосредственно более выгодную для профсоюзов и трудящихся и менее связанную с крестьянством. И ни он, ни Рыков не разделяли революционного энтузиазма Бухарина в международной политике (Председатель Совнаркома при необходимости высказывался в тоне, отличном от тона главы Коминтерна). Их политическая солидарность, как и солидарность всех других „группировок” основывалась не на полном согласии, а на том, что отделяло их от других. Как позднее объяснял Томский: „...я правее Бухарина в международных делах на 30 км, но я левее Сталина на 100 км” [95].

Еще три черты отличали правых в Политбюро. В отличие от преимущественно еврейского состава левых и становившегося все более кавказским состава сталинской группы все главные и все менее значительные правые руководители были русскими. Хотя этот факт не остался незамеченным, его действительное политическое значение не ясно. Возможно поэтому их так волновала судьба русского крестьянства. Но то, что казалось вероятным, не всегда было таким на деле. Например, нерусские национальности пользовались наибольшей свободой как раз в то время, когда правые в Политбюро занимали господствующее положение [96]. Вторая черта была особенно разительна по контрасту со Сталиным: Бухарин, Рыков и Томский имели

репутацию популярных большевистских лидеров. Томский, который руководил профсоюзами с бюрократической исполнительностью, мог, возможно, только выиграть, будучи единственным лидером беспартийной массовой организации в Политбюро. Однако у Рыкова, как и у Бухарина, „народная поддержка” была подлинной. Все трое (по воспоминаниям мемуаристов) появлялись на улицах без охраны [97]. Их личная популярность, их примиренческая и благожелательная по отношению к крестьянству политика и тот факт, что Рыков, Томский и правый Калинин (возглавлявший ВЦИК и считавшийся, таким образом, президентом Советского Союза) представляли основные беспартийные организации, — все это могло навести на мысль, что правые пользуются поддержкой народа или по крайней мере стремятся к этому. Один наблюдатель отмечал: „Они старались выглядеть руководителями народа” [98].

Существовала, хотя и слабо различимая, третья политическая особенность правых в Политбюро: большая поддержка, получаемая их руководителями от наркоматов (особенно земледелия, финансов, труда и торговли) и других государственных учреждений (ВСНХ, Госбанк и Госплан), ответственных за подготовку и проведение экономической политики. Эти организации, которые по своей природе должны были одобрять возврат к традиционной экономической практике и получившие в связи с нэпом важное значение, были в основном укомплектованы бывшей антибольшевистской интеллигенцией — беспартийными специалистами [99]. В частности, и бывшие меньшевики, работавшие в ВСНХ и Госплане, и бывшие эсеры из Наркомзема отдавали большее предпочтение Бухарину и Рыкову как партийным руководителям, чем Сталину или левым. Их предпочтение основывалось на двух взаимосвязанных предпосылках: на том, что экономическая политика правых была более приемлемой, и на том, что победа Сталина или Троцкого, каждая по своему, положила бы конец гражданскому миру и могла бы вызвать возобновление политической борьбы и потрясений, характерных для периода „военного коммунизма”. Хотя они с симпатией относились к Бухарину, их любимым деятелем был Рыков. Как глава правительства и как человек, он пользовался репутацией покровителя и защитника беспартийных специалистов [100]. Последние перестали работать в советских учреждениях и потеряли свое влияние после отстранения Рыкова от власти.

В этой связи ВСНХ имел особое значение как средоточие индустриальной стратегии правых к 1924—1926 гг. Как номинальный руководитель государственного сектора ВСНХ был в основном ответствен за планирование и развитие тяжелой промышленности. С назначением Рыкова на должность Председателя Совнаркома в феврале 1924 г. Феликс Дзержинский —

глава ВЧК — стал Председателем ВСНХ. Опасения специалистов оказались напрасными: Дзержинский стал их надежным покровителем и, что особенно важно, страстным защитником бухаринской экономической политики. Будучи горячим сторонником смычки, Дзержинский был убежден еще больше Бухарина в эффективности развития тяжелой промышленности на основе крестьянского рынка и в возможности накопления в государственном секторе посредством снижения себестоимости продукции и ускорения оборота. Он поддерживал основное бухаринское положение: „Нельзя индустриализоваться, если говорить со страхом о благосостоянии деревни” [101].

Волевой Председатель ВСНХ, кандидат в члены Политбюро и все еще глава ВЧК, Дзержинский придавал действиям правых организационную твердость, которой многим из них не хватало. Этот, в некоторых отношениях самый грозный и энергичный представитель большинства в дискуссиях с „левыми” индустриализаторами, умер 20 июля 1926 г., спустя несколько часов после яростного спора с оппозиционерами. Выступил бы Дзержинский вместе с Рыковым, Бухариным и Томским против Сталина в 1928 г., можно только гадать. Но его смерть лишила их важной поддержки. Его преемником на посту Председателя ВСНХ стал Валериан Куйбышев, сторонник Сталина и ревностный защитник проектов, требовавших крупных капиталовложений и ускоренной индустриализации. За какие-то недели коренным образом изменился личный состав ВСНХ и характер его деятельности [102].

Правые, как уже было замечено, пользовались значительной поддержкой именно вне партийного аппарата. За одним исключением, не было среди важнейших организаций партии тех, о которых можно было бы сказать, что они теснейшим образом связаны с политикой или лидерами правых. Однако единственное исключение было важным: крупнейшая парторганизация — московская. Политическая история Московского комитета партии в течение этого периода не совсем ясна. Хотя его руководство было лояльно по отношению к триумвирам, оппозиция Троцкого привлекла на свою сторону многих сочувствующих на более низких уровнях, прежде всего из среды студентов из числа бывших московских левых 1917 г. Вероятно, из-за беспокойного положения в столице первый секретарь Московского комитета в сентябре 1924 г. был заменен одним из секретарей ленинградской партийной организации Николаем Углановым [103].

Угланов, который быстро выдвинулся в кандидаты в члены Политбюро и был введен в Секретариат и в Оргбюро, задал, что в ближайшие три года Москва станет твердым сторонником большинства (и дуумвирата). В 1928 г. он, его коллега — секретарь МК В. Котов — и большинство из руководства Москов-

ским комитетом: Е.Ф. Куликов, М.Н. Рютин, Н.Н. Мандельштам, Н. Пеньков, Г.С. Мороз, В.А. Яковлев и В.М. Михайлов были твердыми сторонниками антисталинской оппозиции, возглавляемой Бухариным, Рыковым и Томским, и потом были разгромлены вместе с ней [104]. Историки предполагают, что Угланов был сначала ставленником Сталина в Москве и что он стал оппозиционером потом, когда его взгляды изменились. На самом же деле, согласно существенным свидетельствам, руководство московской организации с 1925 г. было солидарно с политикой правого крыла Политбюро и с Бухариным в частности.

Первые признаки того, что экономическую программу Бухарина необычайно тепло встречают в столице, появились во время образования дуумвирата. К середине 1925 г. борьба с зиновьевцами приобрела характер противостояния Москвы Ленинграду, причем оппозиция подразумевала, что „прокрестьянская” ориентация „провинциальной” Москвы не была случайной и что ее собственная истинно пролетарская линия соответствует единственно революционной традиции Ленинграда — „этой соли пролетарской земли”. Это соперничество Москвы и Ленинграда отчасти было возрождением дореволюционного соперничества двух русских столиц. Такому развитию событий во многом содействовал Зиновьев, который в 1918 г. выступал против переноса столицы в Москву и теперь оказался отрезанным от центрального партийного и государственного аппарата [105].

Однако в основе этого соперничества лежала и социологическая причина. В Москве и прилегающих к ней районах размещалось более $\frac{1}{5}$ всех производственных мощностей советской промышленности; но продукция легкой промышленности составляла 84% (в 1926 г.) общей продукции, производимой в этом регионе, в том числе почти половину текстильной продукции страны. Поэтому восстановление промышленности в Москве начиная с 1921 г. проходило бурно, а заработки рабочих были наивысшими в стране. В Ленинграде сложилась совершенно противоположная ситуация ввиду того, что там главное место занимала тяжелая промышленность и четырехлетняя установка на производство товаров широкого потребления имела негативные последствия. Хотя москвичи любили поразглагольствовать о „превращении ситцевой Москвы в металлическую”, ясно, что нэп и промышленная программа Бухарина были выгодны для их города [106]. Знаменательно, что Угланов выступал против проекта Днепростроя, предвестника наступившего в конце концов значительного перемещения капиталовложений в сторону тяжелой промышленности. А излюбленные упреки в адрес руководителей Московского комитета состояли в том, что они занимаются „идеализацией „ситцевой” Москвы” [107].

В некоторой степени предубеждение Московского комитета против тяжелой промышленности совпадало с аналогичным предубеждением Томского и других профсоюзных деятелей и указывало на иного рода связи между правыми в Политбюро и Москвой. Угланов отождествлялся с партаппаратом с 1921 г.; до этого, однако, он занимал не менее видное положение в профсоюзах [108]. Его прошлые связи с Томским не совсем ясны, но, как рассказывают, их дружба сыграла свою роль в 1928 г.; согласно некоторым свидетельствам, Угланов заявлял, что Томский заслуживает стать пожизненным руководителем профсоюзов [109]. Кроме того, хотя некоторые соратники Томского по руководству (подобно ему самому и Угланову) сделали карьеру в Ленинграде, многие руководители профсоюзов были москвичами. Одним из них был Михайлов — председатель имевшего важное значение Московского областного совета профсоюзов; от также был членом бюро Московского комитета, руководимого Углановым. Другим был Мельничанский — председатель профсоюза текстильщиков, которые составляли 55% рабочих — членов московской партийной организации [110]. Осталось неясным, были ли эти личные и организационные контакты решающими или привходящими, но можно предполагать, что в Москве к 1925 г. сложилась своя особая „ситцевая” точка зрения.

Но в политике соперничавших авторитетов и „княжеств” решающее значение имела связь с ленинским наследником. То, что Бухарин любил родной город (где он начал свою деятельность в качестве члена партии, где стал позднее одним из ее руководителей и где он пользовался уважением), проявилось во многом: в его упоминании „подвигов, которыми может гордиться Москва”, в переименовании в его честь проспекта, трамвайного депо, парка, библиотеки, рабфака, таможни и нескольких фабрик, в избрании его почетным членом Московского Совета [111]. Для этого были достаточно глубокие причины: между декабрем 1924 г. и ноябрем 1927 г. Бухарин произнес по крайней мере четырнадцать речей на официальных московских собраниях, двенадцать из которых были произнесены на важных собраниях московских партийных или комсомольских организаций; все эти речи содержали страстные, порождавшие дискуссии политические заявления.

Количество выступлений можно считать чрезвычайно большим, если принять во внимание, что Бухарин не занимал никакой должности в партийной организации Москвы — городе, который всегда имел своего представителя в Политбюро. (За тот же период Сталин выступал только на четырех московских собраниях, причем один раз явно без официального приглашения) [112]. Примером исключительности политических отношений между Бухариным и руководителями московской пар-

тийной организации может служить Московская областная партийная конференция, состоявшаяся в декабре 1925 г., за несколько дней до съезда партии. На этой конференции Бухарин представил очень характерное для него объяснение нэпа и его последующей социалистической эволюции, а также резко критиковал ленинградцев, которые в течение нескольких месяцев ставили под вопрос его авторитет в идеологии [113].

Московская конференция приняла тогда пространную резолюцию и открытое письмо в адрес ленинградской организации. Оба эти документа означали беспрецедентную, последовательную, пункт за пунктом, защиту и поддержку Бухарина и его идей. Важнейшая идея Бухарина явственно проступала в одном из этих документов: „Ленин... ясно подчеркивал возможность *непосредственного* социалистического развития кооперации”. Это положение было важнейшим звеном аграрной теории Бухарина и представляло собой спорную формулировку, которая еще ни разу не была представлена в резолюциях Центрального Комитета. Полное одобрение этой формулировки московской партийной организацией говорило о возникновении определенно бухаринской ориентации в идеологии москвичей [114].

Москва не стала снова вотчиной или „княжеством” Бухарина. Московские руководители, казалось, считали себя полуавтономной силой в партии, а не вассалами какого-либо вождя (таков был пример правления Зиновьева в Ленинграде). Угланов сам стал могущественной фигурой, а несколько его соратников-москвичей были членами Центрального Комитета. Подобно многим секретарям партийных организаций того времени, они не являлись креатурой Сталина, это были самостоятельно мыслящие люди, способные в определенных пределах проводить свой собственный курс [115]. Но принимая во внимание полуавтономность Москвы (сопоставимую, возможно, с полуавтономностью профсоюзных деятелей), кажется ясным их пристрастие к Бухарину и к правым. Вместе с тем их солидарность определялась в основном их взглядами, а не политической зависимостью, что до сих пор отличало сталинскую группу. Они также воздерживались от восхваления генсека; в то время как его роль в партии все возрастала, они называли его „одним из работников, одним из руководителей” [116]. Когда, наконец, произошел разрыв между правыми в Политбюро и Сталиным, Угланов был среди первых, если не самым первым, кто бросил перчатку.

Таким образом, между 1925 и 1928 гг. Бухарин достиг высоких постов в руководстве и влияния в стране благодаря сплочению единомышленников вокруг его политики, коалиции со Сталиным и в условиях вакуума, возникшего в результате от-

ступничества (а затем исключения из партии) трех других ленинских наследников. В течение этих трех лет он играл важную роль как руководитель. Хотя в конечном счете он допустил, чтобы его авторитет использовался для действий неприглядных и обреченных на неудачу, он не был непривлекательным политическим деятелем и намеренно не злоупотреблял властью. Всегда, когда дело касалось широких масс населения, его представление об обновляющей роли большевизма и сопутствующей ему „грандиозной ответственности” побуждало его выступать в защиту мягкой формы партийного руководства. В духе такой ответственности он призывал членов партии понять, что „настоящий коммунист... никогда, ни на одну минуту не должен забывать о тяжелых условиях, в которых живут рабочие, которые являются нашей плотью и кровью...” Он знал, что сострадание к людям не всегда является естественным состоянием партийного рассудка: „Нужно воспитывать в себе чувство массы, чувство связи с массами, чувство постоянной и непрерывной заботы об этой массе, всюду и везде... Необходимо воспитывать еще и еще чувство ответственности” [117].

На другом уровне общественной жизни период пребывания Бухарина у власти совпал с замечательным оживлением интеллектуальной и художественной творческой деятельности как внутри, так и вне партии. Он не был единственным покровителем этого процесса, но его высокое положение гарантировало официальную терпимость к таким вещам на протяжении 20-х гг. Он способствовал развитию художественных и научных достижений и составлял редкое исключение в среде партийных вождей, состоя в хороших отношениях с такими разными людьми, как Осип Мандельштам, Михаил Покровский, Максим Горький и Иван Павлов. Партийные интеллигенты видели в нем члена высшего партийного руководства, которого можно было считать „своим” и который без подозрения относился к различным течениям и новшествам. Подобно многим старым большевикам, он придавал большое значение истинной образованности, высмеивая проявления „талмудистского уклона, когда зубрили, положим, первый том „Капитала”, но если спросить у человека, где находится Швеция, он легко мог бы ее спутать с северной Африкой...” [118]. В заслугу Бухарину можно поставить то, что он выступал (как оказалось, напрасно) против переноса бранных и пустых эпитетов из сферы политической борьбы в интеллектуальную жизнь партии и тем самым против выхолащивания ее [119].

У беспартийной интеллигенции, как технической, так и творческой, тоже не было оснований его бояться. Он не только защищал некоторых из них, например поэта Осипа Мандельштама, но и терпимо относился к их деятельности, и если не как идеолог, то как человек, ценил их творчество [120]. Ему очень не нравилась (если взять еще один пример из литературы)

поэтическая идеализация Сергеем Есениным „самых отрицательных черт русской деревни”. Однако он понимал, что поэт популярен, что „у комсомольца частенько под „Спутником коммуниста” лежит книжечка Есенина” отчасти потому, что „мы подаем удивительно однообразную идеологическую пищу”, от которой „непривычного человека начинает прямо тошнить”. Партийные писатели, отмечал он, „не трогали тех струн молодежи, которые тронул Сергей Есенин”. Стойкий противник бюрократизации культуры, Бухарин стремился к гуманному коммунистическому искусству, „которому не чуждо ничто человеческое”: „Нам не нужно ходячих икон, хотя бы и распролетарского типа, которые обязательно должны целовать машины или разводить разужасный „урбанизм”...” [121] .

Главной ошибкой Бухарина (как впрочем и его соперников) было его нежелание или неспособность проявить такую же чуткость и терпимость к своим партийным противникам, исходя из предпосылки, будто экономическому и культурному плюрализму советского общества может противостоять некое единство взглядов внутри партии. С момента возникновения дуумвирата Бухарин все больше ощущал оттенок мстительности, который принимали внутрипартийные битвы. На совещании после XIV съезда в декабре 1925 г., на котором Бухарин поддержал организационные репрессии Сталина против ленинградцев, Каменев с возмущением заметил, что Бухарин отвергал применение аналогичных мер против Троцкого в 1923–1924 гг. Со своего места Троцкий воскликнул: „Он вошел во вкус!” Несколько дней спустя в письме к нему Бухарин ответил: „Вы думаете, что я „вошел во вкус”, а меня от этого „вкуса” трясет с ног до головы” [122] . Видимо, можно найти объяснения тому, почему Бухарин санкционировал репрессии, несмотря на свои оговорки. В течение полугодия зиновьевцы избирали его мишенью грубых нападок. Он не преувеличивал, когда жаловался, что они игнорировали „элементарнейшую справедливость” и „беззастенчиво меня травили”. Он был совершенно измотан, подавлен и раздражен. Он знал, что, если бы победу одержал Зиновьев, который раньше требовал еще более суровых мер против Троцкого, он не был бы более милостив [123] .

Но истинным испытанием для еще сохранившейся у Бухарина сдержанности (поскольку Зиновьев умел заставить каждого вести себя наихудшим образом из всех возможных) явились его отношения с Троцким. В 1923–1924 гг. он участвовал в кампании против Троцкого неохотно, без личного энтузиазма, не подражая „дурно пахнущим” нападкам зиновьевцев; частным образом он настаивал на возможности оставить Троцкого в руководстве, неоднократно отражая попытки Зиновьева и Каменева вывести его из Политбюро или даже принять более суровые меры [124] . С тех пор в отношениях между ними мало что из-

менилось, поскольку Троцкий наблюдал за полемикой 1925 г. со стороны. Теперь же, в начале 1926 г., вероятно надеясь отговорить Троцкого от объединения с Зиновьевым и Каменевым, Бухарин напоминал ему о своей прежней сдержанности и о том, что он „всегда был против... того, чтобы Троцкого считали меньшевиком. Конечно, Троцкий не меньшевик... Партия многим ему обязана...” [125]. Тогда же между этими двумя деятелями завязалась частная переписка. Начатая Бухариным в январе 1926 г. и состоявшая из нескольких искренних писем и записок, она продолжалась всего три месяца, пока Троцкий не объединился со своими прежними хулителями и фракционные распри не достигли своей кульминации.

Переписка была поучительной и жалкой; она свидетельствовала о том, что два старых товарища еще способны проявлять друг к другу сердечность и дружелюбие, но не могут прийти хотя бы к малейшему политическому согласию. Злополучная история этих старых большевистских вождей обнаружилась в этих письмах в сжатом изложении. Бухарин убеждал Троцкого пересмотреть „большие социальные вопросы” революции, спор о которых шел в 1925 г. Однако Троцкий упорно настаивал на обсуждении единственно вопроса о бюрократизации партии. „Подумайте на минуту над таким фактом, — рассуждал он, — Москва и Ленинград — два главных пролетарских центра выносятся одновременно и притом единогласно (подумайте — единогласно!) ... две резолюции, направленные друг против друга”. Он считал это свидетельством того, что его предупреждения насчет системы „аппаратного террора” полностью подтвердились. Бухарин, с другой стороны, хотел, чтобы Троцкий рассудил, какая из резолюций содержала правильную оценку политических и экономических вопросов [126].

Ни один из них не мог до конца понять и разделить тревоги, волновавшие другого. Переписка окончилась просьбой Троцкого, чтобы Бухарин расследовал антисемитские выпады, встречавшиеся в официальной кампании против левых. Ответ Бухарина (а он был искренним противником антисемитизма) не обнаружен [127]. Слабые отголоски их возобновившегося взаимного расположения давали себя знать еще несколько месяцев, так как они воздерживались чернить друг друга. Однако вскоре фракционное озлобление охватило обоих; к 1927 г. они стали взаимно обвинять друг друга „во лжи, в клевете, в термидоре”. В глазах Троцкого, который на все теперь смотрел сквозь призму своего убеждения в измене партийной бюрократии, Бухарин стал главным отступником: „Крошка-Бухарин раздувается до гигантской карикатуры на большевизм”. Что касается Бухарина, то он наконец позволил себе задаться вопросом: „Был ли когда-нибудь Троцкий настоящим большевиком?” и ответить отрицательно [128].

В своей оценке оппозиции после 1925 г. Бухарин оказался во власти логики, присущей философии однопартийности. В 1926 г. он предостерегал левых: „Держитесь своих принципов, отстаивайте свои убеждения, произносите речи на партийных совещаниях... спорьте, но не смейте строить фракцию. Спорьте, но после того, как решение принято, подчинитесь!” Ибо „если мы легализуем фракцию у нас в партии, то мы легализуем и другую партию, то мы действительно по-настоящему сползем с линии пролетарской диктатуры...” Этот призыв был бесплодным, ибо его противники также хотели „бороться за свою политику” и сплотиться на этой основе; „всякому, — заметил Бухарин, — неприятно быть в меньшинстве” [129] .

Так сложилась опасная формула, согласно которой упорное отстаивание своей точки зрения пахнет фракцией, второй партией, контрреволюцией. Это породило немало примеров политической непристойности и бесчестности, которые после 1925 г. сокрушили старых большевиков. Это привело к тому, что на партконференции в ноябре 1926 г. Бухарин изменил самому себе, когда он, в ярости угрожая оппозиции исключением из партии, потребовал от нее раскаяния: „... встаньте перед партией со склоненной головой и скажите: прости нас, ибо мы погрешили против духа, против буквы и против самой сути ленинизма”. И далее: „Скажите же, по-честному скажите: Троцкий ошибался... Почему же у вас нет элементарного мужества выйти и сказать, что это — ошибка?” Даже на Сталина это произвело впечатление: „Здорово, Бухарин, здорово! Не говорит, а режет”. Хотя этот эпизод не характерен для Бухарина, он, возможно, был наихудшим в его деятельности [130] .

Подоплекой ухудшения отношений Бухарина со своими противниками было, разумеется, его партнерство со Сталиным. Несмотря на грозные признаки их будущих разногласий (включая растущую склонность Сталина придавать первенствующее значение экономической автаркии и обороноспособности и его явное безразличие к попыткам своего союзника Бухарина изыскать новые способы поддержания революционных масс в Европе и Азии), а также из-за затянувшегося вплоть до самого 1927 г. нежелания Бухарина поверить наихудшим сталинским обвинениям в адрес оппозиции, дуумвират продолжал существовать [131] . Это был, пожалуй, самый невероятный союз в истории, объединявший двух деятелей, которые не имели ничего общего ни по своим качествам, ни по дарованиям, ни по намерениям.

Будем надеяться, что когда-нибудь архивы раскроют всю его историю, разумеется, сложную и мучительную. Существует отрывочное и неубедительное свидетельство о наличии в 1925 г. или в 1926 г. составленного якобы при участии Рыкова и Томского плана отстранения Сталина с поста генерального секретаря

и замены его Дзержинским [132]. Неустойчивый союз дуумвиров середины 1925 г., когда Сталин выступил против бухаринского лозунга „Обогащайтесь!“ и осудил защиту этого лозунга двумя молодыми бухаринцами [133], сменился внешним единством — публично каждый из них защищал другого. Естественно, что существование оппозиции укрепляло их союз. В декабре 1925 г. Сталин отнесся к неосторожному высказыванию Бухарина как к „незначительной ошибке“ и приветствовал его основную формулу, гласящую, что переоценивание кулацкой опасности является более серьезным уклоном, нежели недооценка ее. Это убедило зиновьевцев в том, что он „целиком попал в плен этой неправильной политической линии“ Бухарина; с тех пор они рассматривали дуумвиров как общее зло. Сталин не опровергал этого их суждения. „Крови Бухарина требуете?! — восклицал он. — Не дадим вам его крови, так и знайте“. В действительности же никогда не было ясно, чьей крови желала оппозиция.

Даже если вопрос о снятии Сталина не обсуждался, то все равно можно с уверенностью предположить, что Бухарин поддерживал союз с ним небезоговорочно, не без дурных предчувствий. Например, он продолжал публично критиковать авторитаризм партийной жизни и поведение ответственных партийных работников. Его постоянное осуждение „произвола“ и „беззаконий“ „привилегированных коммунистических групп“ должно было неизбежно касаться сталинского аппаратного метода управления. Такой же характер носили и высказывания Бухарина в марте 1926 г. о том, что партийные власти часто проводят „линию военного приказа“ и „военной дисциплины“, и осуждение им „тенденции к преобразованию нашей партии в такую иерархическую систему“ [135]. Более того, еще с гражданской войны Бухарин точно определял основную, все усиливавшуюся черту Сталина: „Сталин не может жить, если у него нет чего-либо, что есть у другого. Он этого не терпит“; у него „непримиримая ревность к тем, кто знает или умеет больше, чем он“. В то время как другие соперники генерального секретаря, как правило, ошибочно воспринимали его всего лишь как „провинциального политика“ и „выдающуюся посредственность“, Бухарин, кажется, разглядел того внутреннего беса, который разжигал личную амбицию Сталина [136]. Поэтому как человек, пользовавшийся репутацией „наиболее выдающегося теоретика большевизма“, Бухарин должен был быть насторожен в отношении Сталина. Каковы были в действительности мысли Бухарина и знал ли он до 1928 г., что его союзник является „беспринципным интриганом, подчиняющим все заботе о сохранении собственной власти“, остается неясным [137].

Но, по-видимому, нетрудно ответить, почему Бухарин оста-

вался верен этому союзу. Все еще отмечая всякие „личные антипатии”, он оставался непоколебим в своем убеждении, что в каждом раунде партийных дискуссий, иногда в скрытой, а иногда в открытой форме, на карту поставлен основной вопрос „*об отношении между рабочим классом и крестьянством*”. Он верил, и этой вере он подчинил все остальное, что между ним и левыми было „*коренное программное разногласие*” и что судьба революции висела на волоске [138].

Оппозиция также была твердо убеждена в своей правоте. В полемике она неизменно связывала ненавистную официальную политику с именем Бухарина. Таким образом, союз со Сталиным был ему необходим, чтобы обеспечить согласие большинства с проводимой политикой и уничтожить „впечатление, что я являюсь белой вороной среди членов ЦК, Политбюро и т.д.” [139]. Начиная с 1926 г. взаимные чувства обиды и разногласия все более обострялись, дискуссии все чаще проводились в „погромной атмосфере” (создаваемой, по мнению некоторых, Сталиным для того, чтобы предотвратить примирение между правыми и левыми) [140]. Оснований и стремлений к такому примирению становилось все меньше. Таким образом, к тому времени, когда Бухарин в 1926–1927 гг. пересмотрел свою экономическую программу, сблизив ее с программой левых, последние перенесли свои разногласия на вопросы международной политики, после чего шансов на примирение стало еще меньше, а страсти разгорелись еще жарче.



Николай Бухарин – гимназист (справа)
с братом Владимиром, отцом (слева)
и родственником.

Фотография Н. И. Бухарина, сделанная
в полиции во время первого ареста
(1909 г.).



В. И. Ленин и Н. И. Бухарин (второй
слева за столом) в президиуме IX съезда
партии (1920 г.).



Сотрудники "Правды". Снимок сделан к 10-летию газеты (1922 г.). В центре Н. И. Бухарин. Слева от него – М. И. Ульянова.

Н. И. Бухарин и М. И. Ульянова в редакции "Правды" (1924 г.).



Перенос гроба с телом В. И. Ленина
в Колонный зал Дома Союзов.
На переднем плане – Н. И. Бухарин,
М. И. Калинин, Г. Е. Зиновьев,
В. М. Молотов, Я. Э. Рудзутак,
М. П. Томский, Л. Б. Каменев,
И. В. Сталин.



Н. И. Бухарин с красным галстуком
во время встречи с пионерами (1924 г.).



Н. И. Бухарин.



Похороны М. В. Фрунзе, Н. И. Бухарин
на трибуне Мавзолея (1925 г.).



А. И. Микоян, С. М. Киров,
Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилов,
А. И. Рыков, Н. И. Бухарин,
Н. К. Крупская среди делегатов
XV съезда ВКП (б).

Групповой снимок. Второй слева во
втором ряду Н. И. Бухарин.



Члены "бухаринской школы" (октябрь 1926 г.). Нижний ряд (слева направо): И. Краваль, В. Слепков; средний ряд: Д. Марецкий, А. Зайцев, Н. Бухарин, Ян Стэн, А. Слепков; верхний ряд: Г. Марецкий, Д. Розит, А. Стецкий, А. Троицкий.

Н. И. Бухарин, С. М. Киров и В. М. Молотов во время 24-й Ленинградской губернской партийной конференции (1927 г.).



Н. И. Бухарин (1927 г.).

Н. И. Бухарин с кавказскими
джигитами (1927 г.).



Н. И. Бухарин встречает М. Горького, вернувшегося из Италии (1928 г.).

Празднование 12-й годовщины Октябрьской революции. Н. И. Бухарин на трибуне Мавзолея за месяц до исключения его из состава Политбюро.



Н. И. Бухарин в период разгрома
правой оппозиции (октябрь 1930 г.)



Анна Михайловна Ларина
(1934 г.).

Дочь Н. И. Бухарина Светлана
(1938 г.).

Сын Юрий (1958 г.).





Н. И. Бухарин незадолго до ареста
(октябрь 1936 г.).



Члены сталинского руководства (1936 г.)

В первом ряду:

А. А. Андреев, Н. И. Ежов, Н. С. Хрушев,
А. А. Жданов, Л. М. Каганович.

Во втором ряду: среди других

А. И. Микоян (слева) и Г. М. Маленков
(справа).

Н. И. Ежов и И. В. Сталин.



А. Я. Вышинский.



На выставке в Центральном музее
Революции СССР, посвященной
100-летию со дня рождения
Н. И. Бухарина.

ГЛАВА

8

КРИЗИС УМЕРЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто.

1 Посл. к коринф. 13, 2

С 1924 по 1926 г. Бухарин, обсуждая экономическую политику, использовал широкие и часто абстрактные понятия. Теория была его главным делом; теоретический способ выражения был ему ближе всего. Однако прежде всего абстрактность его стиля объясняется его решимостью установить общие политические, экономические и (как уже указывалось) этические принципы советского метода индустриализации и большевистского метода правления. Его отношение к экономике имело философский характер, потому что он не хотел отрывать ее от своей более широкой концепции рабоче-крестьянской смычки. Бухарин никогда полностью не отказывался от такого подхода к политическим проблемам и обычно предпочитал оставлять Рыкову изложение деталей и статистики. Однако начиная с 1926 г. рассуждения Бухарина на экономические темы заметно становятся более прагматическими, конкретными и проблемно ориентированными.

Изменение стиля совпало с пересмотром и существенным изменением политики Бухарина. Этот процесс начался весной 1926 г., когда Бухарин понял, что некоторые его экономические послылки оказались ошибочными или устаревают, и продолжался на протяжении 1927 г., когда он более полно изложил свои новые предложения. Кульминацией изменения политики Бухарина явился XV съезд партии в декабре 1927 г. В резолюциях этого съезда воплотилась пересмотренная программа Бухарина и его союзников, а также их понимание нового периода развития советской экономики.

Бухарин подчеркивал (и был совершенно прав), что эти изменения не являются отходом от тех принципов, которые он выдвинул в 1924—1926 гг. Напротив, он с удвоенной энергией подчеркивал упоминавшиеся им ранее „исторические истины” смычки, а также свои возражения против экономической политики левых. Пересмотренные принципы Бухарина целиком оставались в рамках нэпа и допускали, как и прежде, на неопределенное время существование значительного частного сектора, индивидуальных крестьянских хозяйств, накопление частного капитала и преобладание рыночных производственных отношений. Тем не менее это были важные изменения первоначальной программы Бухарина, представлявшие собой отказ от безоговорочной опоры на свободные рыночные отношения в пользу большего вмешательства государства в форме плановых инвестиций, увеличения контроля над частным капиталом и перестройки производительных основ сельского хозяйства.

Состояние промышленности побудило Бухарина впервые обнародовать внесенные им поправки. К апрелю-маю 1926 г. Бухарин и официальное руководство партии признали значение двух связанных между собой проблем государственного сектора. Существовавшие производственные мощности использовались почти полностью, поэтому ближайшая задача состояла уже не в мобилизации „мертвого капитала”, а в освоении „добавочного капитала”, то есть задача заключалась не просто в ускорении обращения „крови... в нашем хозяйственном организме”, но и в росте самого „организма” [1]. Далее, Бухарин постепенно стал учитывать точку зрения Преображенского, что хронической болезнью экономики является недостаток промышленных товаров, а не низкий спрос на них. Сначала Бухарин считал товарный голод временным „спазмом”, который легко можно преодолеть чрезвычайными мерами, пополнив рынок отечественными и импортируемыми промышленными товарами. Вскоре, однако, он понял, что это была долгосрочная проблема, хотя (в отличие от Преображенского) и не считал ее непоправимой причиной нарушения экономического равновесия. Бухарин утверждал, что острота этой проблемы будет снижаться из года в год и что это — болезнь роста, отражавшего в отличие от капитализма (где предложение превышает спрос) расширение внутреннего рынка промышленных товаров. Поскольку спрос и потребление должны были быть движущими силами индустриализации, чрезмерный спрос Бухарин считал положительным, хотя и неприятным симптомом [2].

Несмотря на то что эти два признания сопровождались бодрыми оценками достигнутых успехов и планов на будущее, Бухарин понимал, что возникшие противоречия угрожают курсу индустриализации в целом и его программе рыночного обмена государственной промышленности с крестьянским сельским

хозяйством в частности. К осени 1926 г. и позднее он откровенно говорил о новом периоде „реконструкции”, сменившем эру „восстановления”, и о неизбежно сопутствующих этому периоду тяготах и сложностях. Это изменение означало, что нельзя более откладывать строительство новых промышленных объектов, что необходимо „расширение производственного базиса, постройка и закладка новых предприятий, в значительной мере на новой технической основе”. Легкие годы восстановления бездействующих предприятий прошли, и партия стала сознавать, что дальнейший рост выпуска продукции не будет достигнут так же дешево, безболезненно и быстро [3].

Короче говоря, Бухарин признал теперь необходимость программы капиталовложений в промышленность, которая отличалась от программы начала 20-х гг. двумя важными аспектами: во-первых, необходимостью еще большего увеличения государственных расходов, и, во-вторых, их распределение уже не должно было определяться главным образом потребностями рынка при продолжающемся отставании тяжелой промышленности. Признание того, что дальнейший рост зависит от расширения и переоборудования существующих предприятий, обеспеченность медленным развитием металлургии, а также (начиная с 1927 г.) растущее опасение насчет угрозы войны существенно сблизили Бухарина и руководство партии с позицией левых, которые считали, что тяжелая промышленность нуждается в срочных капиталовложениях. Однако Бухарин был достаточно осторожен и настаивал на том, чтобы эта программа была обдуманной и сбалансированной:

Мы считаем, что та формула, которая говорит — максимум вложений в тяжелую индустрию — является не совсем правильной или, вернее, неправильной. Если мы должны иметь центр тяжести в развитии тяжелой промышленности, то мы должны это развитие тяжелой индустрии сочетать все-таки и с соответствующим развертыванием легкой индустрии, более быстро оборачиваемой, более быстро реализуемой, возвращающей скорее те суммы, которые на нее были затрачены. Мы должны, повторяю, делать так, чтобы получить наиболее благоприятное сочетание.

Эти два руководящих принципа — пропорциональное развитие легкой промышленности и избегание капиталовложений, замораживаемых в дорогостоящих долговременных проектах, — должны были служить руководством при капиталовложениях в существовавшие и строящиеся предприятия [4]. Бухарин надеялся, что непрерывный рост государственного потребительского сектора в сочетании с продукцией частной промышленности и ремесленного производства позволит уменьшить товарный голод в период реконструкции. Он указывал, что „голая формула” левых может лишь увеличить эту нехватку [5].

Несмотря на то что Бухарин изменил очередность задач в своей программе, она все же осталась эволюционной, рассчитанной на сбалансированное развитие промышленности [6]. Как и прежде, неопределенным оставался вопрос о темпах, который еще более осложнился в ноябре 1926 г., когда руководство партии приняло решение „в относительно минимальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран”. Бухарин доказывал, что это осуществимо [7]. Оппозиция восприняла заявление как отречение от объявленной им в 1925 г. политики „черепашьего шага”, несмотря на то что Бухарин всегда был за более высокие темпы, чем в большинстве стран Европы. И в самом деле, он изменил свое мнение в 1926–1927 гг. отчасти потому, что, как он заявил, „сейчас мы идем гораздо более медленным темпом” [8]. Это обстоятельство вызвало впоследствии серьезные „напряжения” во всей экономике, а также было причиной создания такой психологической атмосферы, при которой стали невозможны расчетливые сбалансированные капиталовложения, тем более что в 1927 г. возникли опасения насчет возможности империалистической войны против СССР — навязчивая идея, постоянно присутствовавшая в речах представителей большинства и оппозиции после января. У самого Бухарина беспокойство по поводу „опасности войны” достигло апогея летом и осенью, когда он предупреждал, что полученная передышка может внезапно кончиться [9]. Поскольку Бухарин допускал, что это обстоятельство вызывает необходимость чрезвычайного перераспределения капиталовложений и соответствующего изменения темпов роста тяжелой и легкой промышленности, остается неясным, какие общие темпы развития он (или кто-либо другой) считал в то время приемлемыми.

Однако в общих чертах Бухарин стал ратовать за долгосрочное планирование и за такую политику, при которой из года в год обеспечивалась бы „восходящая линия развития” [10]. Бухарин не предусматривал резкого коренного расширения промышленного сектора, что видно из его подхода к проблеме безработицы в городах. К 1927 г. безработица достигла угрожающих размеров и стала одним из самых неотразимых аргументов сторонников „сверхиндустриализации”. Предостерегая от такого „одностороннего” решения, Бухарин снова утверждал, что умеренный рост промышленности должен сочетаться с мерами сокращения миграции населения из сельских районов в городские, такими, как постепенная индустриализация сельского хозяйства и его интенсификация. Тем, кто призывал к расширению промышленности для поглощения избытка рабочей силы в городах, Бухарин отвечал, что „такое расширение должно иметь масштабы, какие не может требовать ни один здравомыслящий

человек” [11]. С этого момента и до 1929 г., когда ему заткнули рот, возражения, которые Бухарин высказывал сторонникам преимущественной индустриализации, были направлены не против необходимости строительства новых предприятий в больших масштабах, а против неумеренных планов „сумасшедших” троцкистов или сталинистов” [12].

Согласившись с неизбежностью больших затрат, Бухарин был вынужден вернуться к „главной проблеме: как в нищей стране сколотить богатый капитал для индустриализации?” [13]. В этой части его программы существенных изменений не произошло. Бухарин по-прежнему утверждал, что ни один из трех внутренних источников, необходимых для капиталовложений, еще не использован полностью. Самым важным источником он считал по-прежнему прибыль, получаемую в государственном промышленном секторе и в других национализированных предприятиях, причем „центральной идеей, нашей центральной экономической директивой” оставалось „ускорение товарооборота” путем снижения розничных цен. Новые идеи, предложенные Бухариным по этому вопросу, были связаны с кампанией „режима экономии”, развернутой правительством в 1926 г. для сведения к минимуму расходов и достижения максимума выпуска продукции в государственном секторе. С этой кампанией он связывал большие надежды, полагая, что во время реконструкции будет возможно соответствующее накопление капитала. Бухарин неустанно говорил о „рационализации хозяйства” путем сокращения производственных, управленческих и административных расходов, путем подъема производительности труда и внедрения новой техники [14]. Одновременно предпринимались усилия „рационализировать товарооборот”, сократить непроизводительные затраты на государственных и кооперативных предприятиях, а также уменьшить „ножницы” между розничными и оптовыми ценами [15].

Значение двух других источников ограничивалось по политическим соображениям, но Бухарин по-прежнему был убежден, что и они могут дать дополнительный доход. К 1926 г. частный капитал облагался повышенным и точнее рассчитанным налогом. Одновременно были сделаны попытки привлечь сбережения граждан в государственные и кооперативные банки путем большего доверия этим институтам и рублю [16]. И наконец, проблема получения огромных фондов, необходимых для индустриализации, заставляла Бухарина проявлять больший интерес к возможной иностранной помощи, хотя эта перспектива быстро свелась на нет из-за ухудшения отношений между Советским Союзом и капиталистическими странами [17]. В результате Бухарин остановил свой выбор на внутренних источниках. В речи накануне XV съезда партии в 1927 г. он предупреждал о необходимости на некоторое время потуже затянуть пояса.

При этом он снова выразил уверенность в том, что если продуманно распорядиться и надлежащим образом применить доступные источники, то можно успешно осуществить индустриализацию и без иностранных кредитов, а также без больших трудностей для населения: „Мы полагаем и считаем, что при условии... рационализации, экономии, снижения себестоимости, собирания распыленных сбережений в городе и деревне мы эти трудности преодолеем” [18].

В каждом варианте программы индустриализации Бухарин указывал на необходимость экономического планирования. Только план мог обеспечить желательный характер роста и его темпы, а также наиболее полное использование наличных ресурсов. Кроме того, это было привлекательно с идеологической точки зрения, поскольку Бухарин никогда не переставал тесно связывать социализм с плановой экономикой. Его прежнее отрицательное отношение к планированию, вызванное реакцией на эксцессы времен „военного коммунизма” и на призыв левых разработать особый промышленный план, теперь превратилось в осторожный оптимизм относительно преимуществ более широкого планирования. В 1927 г. Бухарин и руководство партии приняли идею пятилетнего плана для всей экономики страны. На XV съезде партии, состоявшемся в декабре, были представлены не реальные контрольные цифры, а „общие” директивы. Отсутствие конкретных цифр в резолюциях съезда существенно сказалось на спорах 1928–1929 гг. между бухаринцами и сталинистами о целях, поставленных съездом. Зная уже, что некоторые большевики „думают, что рост планового хозяйства означает возможность... действовать, как левая нога захочет” [19], Бухарин попытался в период перед съездом определить понятие „реального” планирования.

Его концепция включала три основных взаимосвязанных предложения. Во-первых, плановые цифры должны быть рассчитаны на основе научной статистики и должны быть реалистичными, а не „простой комбинацией цифр, принятых... за идеал”. Во-вторых, и при определении, и при выполнении проектных заданий „необходимо иметь в виду приблизительность нашего пятилетнего плана”. Плановые задания рассматривались в качестве гибких руководящих установок, а не обязательных декретов, навязанных сверху. Допускалось варьирование таких величин, как размер годового урожая и сбора зерна; должны были учитываться также все те „поправки, которые могут быть внесены жизнью”. В-третьих, главная идея плана состояла в строгом соблюдении „основных хозяйственных пропорций в стране”, а именно, необходимого соотношения между тяжелой и легкой промышленностью, между промышленностью и сельским хозяйством, между планируемым объемом продукции и ожидаемым спросом на средства производства и предметы потребления.

Чтобы обеспечить более или менее бескризисное развитие, без диспропорций и узких мест, цифры в каждой области хозяйства должны предусматривать создание денежных и натуральных резервов [20].

Бухарин (о чем он впоследствии будет сожалеть) разработал плановые идеи полностью только после XV съезда партии, когда в ходе борьбы (1928–1929 гг.) с различными „сумасшедшими” он пытался разъяснить партии свою концепцию плана, основанного на сбалансированном росте и „подвижном экономическом равновесии”. Но уже в 1926 г., когда у него возродился интерес к планированию, во время очередного спора с Преображенским он определил в теоретической форме свою основную идею. И Бухарин, и Преображенский исходили из того, что все категории политической экономии исторически ограничены, и соглашались с тем, что закон стоимости присущ капиталистической системе. Вопрос о том, какой закон (если таковой вообще существует) придет ему на смену в послекapиталистической экономике, оставался без ответа, пока Преображенский не выдвинул свой „закон социалистического накопления”. Преображенский утверждал, что этот закон уже регулирует советский общественный сектор и находится в смертельной конкуренции с законом стоимости, господствовавшим в частном секторе [21]. Многим казалось, что „закон” Преображенского побуждает к экономическому волюнтаризму, а не является „объективным регулятором”; его автор подвергся таким же обвинениям, каким ранее и Бухарин после издания его работы „Экономика переходного периода”.

Однако Преображенский по крайней мере сформулировал новый регулятор, в то время как Бухарин – старейшина большевистской теоретической политэкономии – оставил этот вопрос без ответа в 1920 г. В июле 1926 г. Бухарин попытался исправить это упущение и опровергнуть своего бывшего соавтора. При помощи туманных ссылок на Маркса он утверждал, что соответствующий регулятор фактически действует во всех экономических системах, и называл его „законом пропорциональных трудовых затрат”, который рассматривался как „общий и универсальный закон экономического равновесия”. Вдобавок к этому утверждению Бухарин изложил свое понимание истории политической экономии, объяснив, что этот закон принимает различные формы в различных обществах. В капиталистической экономике он рядится в „фетишистский костюм закона ценности” и только в социалистической экономике с ее плановым развитием он выступает в своем „нефетишизированном” рациональном виде. Поэтому, как утверждал Бухарин, ошибка Преображенского состояла в том, что тот допустил возможность действия двух антагонистических регуляторов, в то время как на самом деле в советской экономике наблюдался „процесс

трансформации закона ценности в закон трудовых затрат, процесс дефетишизации основного общественного регулятора” [22].

На карту была поставлена не просто теория. Бухарин подчеркивал, что продолжают существовать объективные экономические условия, и настаивал на том, что „экономический футуризм” тех, кто рассматривает план в качестве возможности „делать, что пожелаем”, является опасной глупостью. Он разработал свой „закон трудовых затрат” в качестве теоретического опровержения идеи Преображенского, хотя время от времени подтверждал, что понимает правомочность некоторых элементов этой идеи, особенно в 1928 г., когда сталинские плановики предлагали отдать предпочтение промышленности за счет сельского хозяйства:

„Закон ценности” может перерасти в наших условиях во что угодно, но только не в закон накопления. Сам закон накопления предполагает существование другого закона, на основе которого он „действует”. Что это — закон трудовых затрат или что-либо иное — в данном случае для нас безразлично. Ясно одно: если какая-либо отрасль производства систематически не получает обратно издержек производства плюс известную надбавку, соответствующую части прибавочного труда и могущую служить источником расширенного воспроизводства, то она либо стоит на месте, либо *регрессирует* [23].

Выражение „если какая-нибудь отрасль производства не получает достаточного питания... она хиреет”, которое употреблял Бухарин [24], определяет границы и сущность его пересмотренной программы планового развития промышленности.

Неясно, в какой мере был необходим пересмотр аграрной программы Бухарина. В этом вопросе он проявлял значительно меньшую решительность. Одной из причин неизменности аграрной программы Бухарина было то, что она оправдывала себя. Показатели урожая, продажи и сдачи государству сельхозпродукции в 1925 и 1926 гг., а также в первых трех кварталах 1927 г. соответствовали ожиданиям и даже превзошли их. Более того, как и предсказывал Бухарин, государственные и кооперативные органы „вытесняли” частных торговцев зерном. С 1926 г. и по ноябрь 1927 г., когда появились первые признаки резкого уменьшения госпоставок, в высказываниях Бухарина по поводу зерновой проблемы была заметна самоуспокоенность. Он говорил, что периодические трудности с госпоставками зерна вызывались неправильной политикой цен и соответствующими ошибками исполнительных органов, а вовсе не „зерновой стачкой” кулаков, как это утверждала оппозиция в 1926 г. Воодушевление Бухарина по поводу того, что государ-

ственные и кооперативные предприятия („социализированный сектор“) установили „зерновую монополию“, задержало его реакцию на важную проблему [25]: годовой рост сельскохозяйственного производства серьезно отставал от роста промышленности, что было зловещей диспропорцией накануне намеченного расширения промышленного производства.

В октябре 1927 г. Бухарин объявил о важном изменении в официальной аграрной политике, проводившейся с 1925 г. Объясняя, что за последние два года „командные высоты“ государства укрепились, что смычка с крестьянскими массами обеспечена, а кулачество социально „изолировано“, он заявил, что стало возможным начать „наступление против кулака“, чтобы ограничить его „эксплуататорские тенденции“ [26]. Эти объяснения не убедили Троцкого: „Сегодня — обогащайтесь!“, а завтра — „Долой кулака!“ Это легко говорить Бухарину. Он берет за перо — и готово. Ему нечего терять“ [27].

Однако Бухарин имел в виду другое. С особой тщательностью он подчеркивал, что имеет в виду не „истерическую“ выходку, „выстрел из револьвера“, а продуманные действия в соответствии с принципами нэпа. Кроме одиночных политических санкций (лишение кулака права голоса), „наступление“ означало лишь ограничение кулака как преуспевающего крестьянина повышенным налогообложением, преследованием за тайную торговлю землей и более строгими правилами использования наемных работников, а также уменьшением срока аренды земли. Ни одна из этих мер не была направлена против бедняка и середняка. Напротив, эти меры только поощряли их труд [28].

Это заявление означало частичную отмену сельскохозяйственных реформ 1925 г. Полностью закрылась дверь (которая никогда и не была открыта) „кулацкому решению“ сельскохозяйственных проблем Советской России. Период, характеризовавшийся лозунгом: „Мы не препятствуем накоплению кулака“, завершился. Политика Бухарина все еще ориентировалась на индивидуальные крестьянские хозяйства и накопление частного капитала, на коммерциализацию сельского хозяйства и на „сочетание государственной промышленности с миллионами крестьянских хозяйств через рынок“ [29], но лозунг „Обогащайтесь!“ теперь уже не применялся безоговорочно к зажиточному крестьянству. Учитывая его новые стремления к индустриализации, кажется странным, что Бухарин выбрал этот момент, чтобы отговаривать от расширения сельскохозяйственного производства в наиболее производительных крестьянских хозяйствах. Он надеялся скомпенсировать потери и даже получить выигрыш двумя способами с целью увеличения производительности советского сельского хозяйства.

Во-первых, Бухарин призывал к интенсивной помощи государства с целью преодоления „варварской примитивной обработки земли” крестьянами-единоличниками. Усовершенствованные методы культивации, удобрения, ирригация, создание новых сортов зерновых культур и элементарное просвещение — вот что до сих пор игнорировалось и что теперь Бухарин призывал использовать для „рационализации” и подъема индивидуальных крестьянских хозяйств при сравнительно малых затратах: можно „даже в рамках этого бюджета достигнуть много большего производственного эффекта” [30]. Во-вторых, Бухарин предлагал более долгосрочный, более дальновидный план, хотя и связанный с большим риском; он отражал важное изменение в его взглядах. План предусматривал создание коллективных хозяйств, преимущественно крупных, механизированных кооперативов. Ни сам Бухарин, ни кто-либо другой из руководителей партии до XV съезда не выступал публично с идеей перехода к умеренной коллективизации. Но принцип Бухарина был ясен. Он не считал свои кооперативы альтернативой индивидуальным хозяйствам или рыночным кооперативам, он рассматривал их лишь как попытку использования дополнительных капиталовложений и материальных стимулов с целью создания добровольных объединений, нового сектора производства зерна для увеличения объема сельскохозяйственной продукции во время намечавшейся индустриализации. Бухарин настаивал на том, что частные крестьянские хозяйства должны оставаться стержнем советского хозяйства на „несколько десятилетий” [31].

Таковы были основные изменения, внесенные Бухариным в свою экономическую программу накануне XV съезда. Его новые идеи были более широко задуманы, но одновременно с этим реалистичны и осторожны [32]. Исчезла самоуспокоенность, которую левые высмеивали как „восстановительную идеологию”. Характерной чертой его новой реалистической политики было подчеркивание значения культурной революции как неотъемлемого элемента процесса модернизации экономики, долгого и болезненного преодоления старых традиций и отсталости, „обломовщины” на производстве и в управлении, подготовки кадров образованных рабочих, техников и руководителей производства и достижения научного и технического прогресса вообще [33].

Кроме того, хотя и с некоторым опозданием, Бухарин осознал коренные недостатки, присущие советской промышленности и сельскому хозяйству, а также усиливавшиеся последствия этих недостатков. Бухарин считал, что он учел все это в своей политике. Его пересмотренная стратегия развития экономики в значительно большей степени строилась на вмешательстве государства, на более строгом контроле над частным капи-

талом, на долгосрочном планировании и реконструкции производственной основы нэповского общества. По-прежнему оставались неразрешенными противоречия между ростом прямых налогов и увеличением сбережений граждан, между ограничениями для кулачества и стремлением увеличить валовой объем сельхозпродукции, между задачей уменьшения затрат в промышленности и задачей повышения уровня жизни рабочих. Видимо, Бухарин предвидел все это. Кроме того, было неясно, сможет ли „рациональное ведение хозяйства” вскоре дать ощутимые излишки, необходимые для капиталовложений, и удастся ли уменьшить товарный голод настолько, чтобы обеспечить непрерывный рост торговли сельскохозяйственными продуктами.

Но хотя его новые предложения запоздали и, возможно, не вполне укладывались в его теоретический анализ, Бухарин более не смягчал остроты стоявших проблем, для решения которых он предлагал использовать смешанную экономику в различных ее формах: максимально расширить возможности существующих предприятий (для чего не понадобится значительных капиталовложений) и строить новые предприятия; расширить „социалистический сектор”, но одновременно продолжать эксплуатацию „полудружественного и полувраждебного или откровенно враждебного” частного сектора; сочетать планирование с использованием рыночной экономики там, где она имеет преимущество. Несмотря на готовность идти новыми путями, Бухарин отвергал альтернативные решения „или-или”, поиски самого предпочтительного решения и был готов использовать максимальное число возможных вариантов одновременно [34]. Для программы Бухарина, основанной на эволюционных методах, умеренных целях и долговременных решениях, требовался длительный период без внутренних и внешних кризисов. Однако и те, и другие назревали. Внутренний кризис, острота которого стала очевидна в ноябре-декабре 1927 г., частично был вызван запоздалой реакцией руководства партии на отмеченные экономические проблемы. Внешний кризис, включая угрозу войны, в основном не подчинялся контролю.

„Мы — дети всемирного революционного движения”, — говорил Бухарин коммунистической аудитории в 1926 г. [35]. Продолжавшаяся изоляция Советского Союза могла кое-кого убедить в том, что рождение первого в мире рабочего государства было преждевременным или что ему суждено остаться в одиночестве, но ни один большевик не мог публично признать в этом. Это был вопрос веры, от которого зависел образ мышления партии и ее поведение в течение шести лет. В то время как международный характер революции считался священной истиной, 1923 год ослабил назойливые стремления партии пред-

вещать революции в других странах. Перспектива революций в Европе потускнела, и руководители партии обратили свое внимание почти исключительно на внутренние проблемы. Политика Коминтерна не играла существенной роли в формировании партийных фракций или в разногласиях 1924–1926 гг.; ее роль проявилась запоздало и слабо лишь в 1927 г., когда оппозиция воспользовалась провалами сталинско-бухаринского руководства в Англии и в Китае.

По сравнению с тем вниманием, какое Бухарин уделял этому вопросу раньше, между 1924 и концом 1926 г. он мало интересовался обычными проблемами мировой революции. Его основные усилия в этом вопросе концентрировались на уточнении и популяризации сущности революционного процесса, неправильное толкование которой приводило к предположению, что отсутствие революции в Европе, отступление коммунистов в Восточной и Центральной Европе и „стабилизация” в крупных капиталистических странах означает „тупик” мировой революции. Бухарин объяснял, что такая „наивная” и ложная концепция складывается из-за „книжного, школьного” представления, будто революционная ситуация возникает повсеместно и одновременно, представления, вызванного неспособностью увидеть „гигантский процесс, протекающий десятилетиями”. Хотя мировая пролетарская революция ожидается в более короткий исторический срок, следует помнить, что ее буржуазный эквивалент имел место в различных местах в различное время, даже в различные столетия [36].

Более того, революционный процесс следовало понимать как глобальное, а не европейское событие. Здесь Бухарин просто расширил образное сравнение, впервые использованное им в 1923 г. Он назвал Европу и Америку („индустриальные метрополии”) „мировым городом”, а „аграрные колонии” — „мировой деревней”. Конечная гибель мирового капитализма (империализма) наступит при окончательной всемирной смычке между восставшим пролетариатом „метрополий” и „революционным движением в колониях, где основную роль играют крестьяне”, на Востоке. Это важные „составные части” единого всемирного революционного процесса. В данный момент национально-освободительные движения могут лишить империалистические страны рынков и источников сырья, что является мощным фактором всеобщего кризиса капитализма, начавшегося в результате войны 1914–1918 гг. „Стабилизация” в Европе свидетельствует лишь о том, что развитие капитализма продолжается „приливами и отливами”, а вовсе не о том, что революционный процесс закончился. Скорее он проявляется ярче всего в России, где империалистический фронт был прорван и где создается новая цивилизация, а также в странах Востока, на „колониальной окраине” капитализма, где „разгорается

громадное пламя, отсветы которого заглядывают в окна лондонских и парижских банков” [37].

В своем роде это было привлекательное объяснение мировой революции, которое в некоторой степени компенсировало отчаяние коммунистов, вызванное общественным спокойствием на Западе. За исключением присущих лично Бухарину специфических выражений (отражавших его понимание русской революции) и его необычайно настойчиво подчеркиваемого значения „мирового крестьянства” в качестве „великой освободительной силы”, такое объяснение было по существу экстраполяцией и развитием намеченной Лениным в 1920—1923 гг. идеи ориентации на Восток. Бухарин, вероятно, не встретил существенной оппозиции, когда внес это определение в официальную резолюцию Коминтерна в 1925 г. Однако оно могло служить в лучшем случае лишь общей принципиальной схемой и не предназначалось для широкого круга проблем, обсуждавшихся в 1926 г. (в частности, экономический подъем в ведущих капиталистических странах, который вызвал известное замешательство). VI конгресс Коминтерна был намечен на начало 1927 г. (в конечном итоге он состоялся летом 1928 г.). На нем предстояло принять, наконец, программу Коминтерна. Вывод большевиков о долгосрочном значении стабилизации нельзя было больше откладывать. Его должен был сделать официальный теоретик Бухарин, который уже составлял два проекта программы — в 1922 и 1924 гг. Оба они устарели к этому времени, и теперь он должен был составить проект третьей программы [38]. С конца 1926 г. и до лета 1928 г., занимаясь вопросами внутренней политики, Бухарин уделял много времени „стабилизации капитализма и пролетарской революции” [39].

Из всех теорий Бухарина, выдвинутых им в 20-х гг., его анализ современного капитализма нуждался в наименьших коррективах. Для объяснения стабилизации он воспользовался своей, уже вызвавшей споры концепцией (одиннадцатилетней давности) государственного капитализма, который имел и запрещенное название — „организационный капитализм”. Сначала Бухарин, кажется, сомневался, использовать ли ему снова термин „государственный капитализм”, потому что это понятие имело роковое значение для судеб европейских революций, было связано с идеями Гильфердинга и других социал-демократов, а также являлось причиной разногласий Бухарина с Лениным. И хотя Бухарин до декабря 1927 г. не говорил определенно о „государственном капитализме” (а лишь о „тенденциях в направлении государственного капитализма”), было ясно, что начиная с 1926 г. это понятие лежит в основе его понимания сущности послевоенного капитализма [40].

Бухарину пришлось сделать вывод, что это было время „второго круга государственного капитализма”, то есть что

стабилизация, как ни хотели бы этого коммунисты, была не „временным” явлением, а результатом „глубоких, внутренних изменений структуры” капиталистического общества. Используя статистику, Бухарин установил связь между возобновившимся процессом монополизации капиталистической экономики, беспрецедентной концентрации и централизации капитала (посредством использования более сложных и крупных комбинированных форм собственности и управления) и возникновением нового типа организующей и плановой силы буржуазного государства в экономике. И снова, как утверждал Бухарин, национальный капитализм преодолевал свою „анархическую природу” и быстро восстанавливался на новой основе, „заменяя проблеме иррациональных элементов проблемой рациональной организации”. Его окончательный аргумент был почти идентичен тому, который он сформулировал еще в 1915–1916 гг. [41].

Бухарин оживил свою теорию государственного капитализма, дополнив ее одной важной поправкой. В первоначальном варианте он подчеркивал, что война в Европе была главной причиной „огосударствления” экономической жизни. Но „второй тур” развивался как „мирная хозяйственная система” и, следовательно, на „новом базисе”, который отличался от старого, во-первых, тем, что в отличие от широкого непосредственного контроля со стороны государства, навязанного сверху во время войны, новый „процесс сращивания крупнейших централизованных предприятий, концернов, трестов и пр. с органами государственной власти происходил, в основном „снизу”. Государственная власть становилась „непосредственно зависимой от крупных и мощнейших капиталистических концернов или комбинаций этих концернов”; Бухарин назвал этот процесс „трестификацией самой государственной власти”. В той или иной стране преобладало сращивание или „сверху”, или „снизу” (в качестве основных примеров Бухарин привел Германию, Японию, Италию при Муссолини и Францию), но направление развития повсюду было одним и тем же: „Все это означает своеобразную форму *государственного капитализма*, где государственная власть контролирует и развивает капитализм” [42].

Нарождающаяся система отличалась от старой также более высоким уровнем технической базы. Бухарин поражался „поистине замечательным” нововведениям в капиталистической организации производства и экономики. Он восклицал, что капитализм „вновь раскрывает поразительные чудеса технического прогресса, превращая научное познание мира в мощный рычаг технического переворота”. Его способность „пронизывать все поры своего бытия” духом „научного руководства делом” вызывала беспрецедентную „рационализацию” экономической жизни. Мнение Бухарина о том, что этот капитализм мирного времени представляет собой более совершенное, более внуши-

тельное явление, выражено в следующей поразительной аналогии: „Теперешний государственный капитализм... относится к государственному капитализму эпохи 1914—1918 гг., как теперешний строй растущего социалистического хозяйства в СССР, планового в решающих пунктах, к хозяйству так называемого военного коммунизма”. В этом смысле государственный капитализм растет, как „нормальная” капиталистическая система [43].

Как и в 1915—1916 гг., особенностью бухаринского анализа была его оценка перспектив грядущей революции. Поскольку организованный капитализм искоренил свободную конкуренцию и другие внутренние экономические противоречия, вероятность „революционной ситуации”, возникающей вследствие внутреннего кризиса, на ближайшее время уменьшилась. Бухарин подчеркивал существующие внутренние проблемы капитализма и тщательно отмежевывался от утверждения Гильфердинга о том, что организованный капитализм может быть эффективен даже и в международном масштабе. Однако Бухарин не сомневался в том, что „предвоенный Гильфердинг” дважды прав [44]. Второй раз за прошедшее десятилетие Бухарин приходит к выводу, что современный ему капитализм не похож на капитализм времен Маркса. Его противоречия, неизбежно порождающие кризис, проявлялись не внутри отдельной страны, а вне ее:

Его анархическая природа переползает на основные линии *международных хозяйственных* отношений. Проблемы рынка, цен, конкуренции, кризисов становятся все более проблемами *мирового* хозяйства, заменяясь внутри „страны” проблемой *организации*. Самые больные, самые кровоточащие раны капитализма, самые кричащие его противоречия развязываются именно здесь, на мировом „поле брани”. Даже проблема всех проблем, так называемый „социальный вопрос”, проблема соотношения классов и классовой борьбы является проблемой... связанной с положением той или другой капиталистической страны *на мировом рынке* [45].

Независимо от того, справедливы были эти его выводы или нет, именно такая интеллектуальная добросовестность политически ставила Бухарина в затруднительное положение. Он заявлял, что Гильфердинг и другие социал-демократические теоретики мирного или „ультраимпериализма” не могут понять, что организованный капитализм несет „не мир, а меч”, что „замирание конкуренции *внутри* капиталистических стран” приводит к „величайшему *обострению* конкуренции *между* капиталистическими странами”, в результате чего война и революция становятся неизбежными [46]. Бухарин снова доказывал, что катастрофические внешние силы окажутся решающими для крушения систем государственного капитализма. Он предполагал,

хотя и не желал связывать себя этим аргументом, что будущие пролетарские революции вероятны только в случае войны — тезис академический в 1915–1916 гг., но представлявший теперь дилемму для советского режима, который нуждался в мире в Европе не меньше (если не больше), чем в громогласно пропагандируемых революциях.

Противники Бухарина начнут критиковать эту его позицию в 1928 г. Оказавшись под давлением, он скажет, что начиная с Парижской Коммуны, революции происходили как следствия войны, тут же добавив, однако, что не исключает возможности революций без войн. „Я бы сформулировал это так: революционные ситуации, скажем в Европе, возможны и, пожалуй, даже вероятны и *без войны* ... Но *при наличии войны* они абсолютно неизбежны” [47]. Учитывая его понимание государственного капитализма, этот ответ нельзя считать зрелым и убедительным. Оставляя в стороне политические мотивы своих противников. Бухарин не верил, что „непосредственные революционные ситуации” развиваются в „метрополиях” [48].

Легко понять, почему он придавал такое большое значение крестьянским войнам на капиталистической „колониальной окраине”. Не приводя к мировой войне, они наносили „сильный удар” по „метрополиям”, разрушая их внутреннюю организационную мощь [49].

Когда Бухарин начал искать на Востоке силы, которые могли бы вызвать крушение капиталистической системы на Западе, он лучше понял природу национально-освободительных движений, начавшихся как следствие первой мировой войны. Он увидел, что эра „антиимпериалистических революций” началась и что в проснувшихся „колониальных и полуколониальных странах” (в 20-х гг. основным примером был Китай) расстановка революционных классов существенно отличалась от традиционных представлений марксистов, основанных на истории Европы или даже России. Национально-освободительные революции объединяли борьбу против полуфеодалных аграрных порядков с борьбой против иностранного владычества; таким образом, „в единое национально-освободительное движение” вовлекались крестьянские массы, пролетариат и национальная буржуазия. Бухарин предсказывал, что буржуазия в конце концов отпадет от движения, но он никогда не сомневался в том, что „крестьянство колоний”, стремящееся к аграрной революции, навсегда вошло в историю как „великая освободительная сила” и что это „большинство человечества” в конце концов решит исход дела [50].

Бухарин, конечно, по-прежнему был уверен в окончательной гегемонии национального пролетариата. Но по мере роста социального брожения на Востоке и укрепления стабилизации на Западе Бухарин, как и Ленин до него, пришел к заключению,

что национально-освободительные революции следует рассматривать как самостоятельное явление, не придавая большого значения их классовому составу, и с точки зрения того, какое значение они имеют для „народов Восточной Азии” и их союзников в Советской России [51]. Таким образом, когда Гоминьдан шел от победы к победе в Китае в 1926—1927 гг., Бухарин мечтал об „одном огромном революционном фронте от Архангельска до Шанхая, насчитывающем в своих рядах 800 млн. населения”. И когда, подобно Ленину, Бухарин нарисовал картину мира, разделенного на страны-поработительницы и поработенные страны, Советская Россия с ее уникальным положением на гигантском Евразийском континенте, оказалась объединяющим центром для поработенных народов [52].

И наконец, по мере того как в 1925—1927 гг. росла уверенность в том, что вслед за „народной революцией в Китае” последует социалистическая революция в Европе, Бухарин взял на вооружение высказанную вкратце Лениным идею о „некапиталистическом развитии” колониальных стран. Возможность для других крестьянских стран „избежать капиталистический путь” была для Бухарина тесно связана с его мыслями о будущем советского крестьянства с его докапиталистической экономикой. В отношении колониальных стран это была недостаточно разработанная концепция, но она представляла собой новое видение всемирного революционного движения. В „угнетенных и подавленных колониальных массах” той части земного шара, которую Бухарин назвал „мировой деревней”, он нашел „гарантию нашей победы” над империализмом, над государственным капитализмом „мирового города” [53]. Сорок лет спустя его представления о революционном процессе будут возрождены китайскими коммунистами [54].

Лучше, чем большинство большевиков, Бухарин понимал, какие два обстоятельства должны были определить облик XX века (в определенной перспективе это было верно). Несмотря на глубокий экономический кризис, который Бухарин не предвидел, западный капитализм реконструировался на новой основе и выжил; антикапиталистические режимы появились в Европе лишь вслед за войной, причем не только благодаря национальным революционным переворотам. В то же время народные массовые революции неумолимо продолжались в „мировой деревне”, сметая старые режимы и создавая новые движения „разрушительной силой” крестьянства, как предсказывал Бухарин. Слабой стороной его анализа было то, что он не предвидел будущего западного капитализма, того, что он сумеет пережить потерю колоний и что организованная капиталистическая экономика окажется способной извлекать из других источников и другими методами сверхприбыль, предотвратив опасность внутренних восстаний. Но, вероятно, даже такую огор-

чительную возможность Бухарин в 1928 г. не исключал [55]. Многие события будущего могли бы его разочаровать, но лишь немногие из них могли его смутить.

Однако анализ долговременных тенденций имел весьма ограниченное политическое значение для большевика-политика во второй половине 20-х гг. в Советской России. На повестке дня стояла политика Коминтерна и тактика иностранных коммунистических партий на самое ближайшее время. По этим вопросам в отношении и Востока, и Запада Бухарин руководствовался одной мыслью: коммунисты должны избегать донкихотских политических позиций, которые отдалили бы их от основного направления социального протеста и опять ввергли бы их в изоляцию начала 20-х гг. [56]. Подобно тому, как большевики искали в советском обществе широкой поддержки своих внутренних программ, иностранные коммунистические партии должны были добиваться объединения максимального числа союзников для достижения своих целей. В Китае это означало участие в антиимпериалистическом блоке, представленном Гоминьданом, и сохранение его как широкого движения, руководимого национальной буржуазией. Заглядывая вперед, можно сказать, что это означало терпеливую и разумную „борьбу за влияние на колониальное и полуколониальное крестьянство” [57].

На Западе это означало продолжение попыток добиться поддержки со стороны рабочего класса, особенно посредством участия в „наиболее важных и наиболее массовых организациях” – в профсоюзах. Забастовки в Англии в 1925–1926 гг. (а также и другие события) убедили Бухарина в том, что эти „цитадели социал-демократии” являются основой любого значительного движения пролетариата, жизненно важным элементом для коммунистов и прямым путем к созданию массовой партии. Работая в профсоюзах и посвящая себя „малым делам”, коммунисты получали наилучшую возможность разоблачать реформизм социал-демократов, радикализировать рядовых членов профсоюзов, обращая их в свою веру. Кроме того, Бухарин, кажется, считал сильные консолидированные профсоюзы единственно возможным бастионом против нового мощного врага трудящихся – „трестированного капитала”. В 1925–1926 гг. энтузиазм Бухарина по поводу революционного потенциала профсоюзов стал краеугольным камнем его коминтерновской политики на Западе [58]. Он верил, что профсоюзы были ключом к массам, и стремился к тому, чтобы коммунистические партии стали авангардом, имеющим надежные корни в европейском рабочем движении. Он надеялся, что „трагедия рабочего класса – его внутренний раскол” будет преодолена. Он стал и оставался борником политики, основанной на единстве рабочего класса. В 1928 г., когда эта политика была на грани отмены, он тщетно призывал: „Знамя единства для нас не

есть маневр... *Этот стяг единства снизу, единства против капиталистов... Коминтерн не должен выпускать ни на минуту*" [59].

Важнейшим аспектом этой общей концепции была преданность Бухарина коминтерновской политике единого фронта, которая проводилась в той или иной форме с 1921 г. Официально были объявлены две политики единого фронта: „сверху”, что означало сотрудничество коммунистических партий с европейскими социал-демократическими лидерами (например, Англо-русский профсоюзный комитет или предвыборные коалиции в Англии и Франции); и „снизу”, что означало работу с рядовыми социал-демократами при презрительном отношении к их лидерам. В 1925–1926 гг. политика Бухарина и Коминтерна ориентировалась (по крайней мере в таких специфических случаях, как в Англии) на первое. В середине 1927 г., однако, Бухарин как глава Коминтерна предложил и направил умеренный „поворот влево” (аналогичный в некоторых аспектах повороту в его внутренней политике) в направлении единого фронта „снизу”. Это означало прежде всего прекращение поддержки коммунистами социалистов на выборах в Англии и во Франции и было вызвано различными причинами, в том числе неудачами коммунистов, тревогой по поводу растущих правых настроений в некоторых коммунистических партиях (особенно во французской и английской), давлением со стороны левого большевистского крыла и, вероятно, враждебностью самого Бухарина к европейским социал-демократическим лидерам [60].

Политика единого фронта выражала непреклонную веру Бухарина в то, что массовое движение само по себе уже является революционным и что необходимую поддержку коммунистам оказывают „широчайшие массы рабочего класса и трудящиеся всех рас и всех континентов”. Бухарин с большим оптимизмом утверждал, что в 1925–1927 гг. большевизм потрясет весь мир и что международное влияние коммунистов растет во всех странах от Англии до Китая: „Наша армия есть большинство человечества, и это большинство человечества пришло сейчас в движение” [61].

Однако по своей природе политика сотрудничества зависела не только от усилий иностранных коммунистических партий, но и от стратегии их некоммунистических союзников, что неизбежно должно было приводить к очевидным неудачам так же, как и к несомненным успехам. Например, неожиданный провал всеобщей забастовки в Англии в 1926 г., резкий поворот вправо английских профсоюзов и их выход из Англо-русского комитета в сентябре 1927 г. были серьезными, хотя и некатастрофическими неудачами.

Однако головокружительный ход событий в Китае (о котором большевистские лидеры, включая Бухарина, знали мало)

имел катастрофические последствия. Начиная с 1923 г. Бухарин решительно поддерживал сотрудничество коммунистов с Гоминьданом. Он считал, что такое сотрудничество организационно представляет собой антиимпериалистический блок, благодаря которому продолжалась китайская революция. Успехи китайской революции в 1925–1927 гг. еще более убедили его в этом: „Кантон – столица революционного Китая – станет „Красной Москвой” для пробуждающихся масс азиатских колоний”. И он непреклонно противился (до тех пор, пока это уже не стало ненужным) отмежеванию китайских коммунистов от сил, поддерживавших Чан Кайши [62]. Бухарин считал Гоминьдан „особой”, независимой силой дальнейшего развития социальной революции и расширения влияния коммунистов в Китае, и поэтому он не придавал значения опасению по поводу того, что буржуазия может „дезертировать” из революции [63]. Расправа Чан Кайши со своими коммунистическими союзниками в Шанхае в апреле 1927 г. застала Бухарина и остальных советских руководителей врасплох. Накануне переворота они рекомендовали китайской компартии припрятать оружие. Все еще не желая „спустить флаг Гоминьдана”, Бухарин и Сталин приказали поддержать сепаратистский левогоминьдановский режим в Ухани (Ханчжоу). Но в июле он повернул против коммунистов. Наконец осенью, после тщетных попыток объединить инакомыслящие элементы в Гоминьдане вокруг радикальных коммунистов, Бухарин сделал запоздалый вывод: „Гоминьдан со всеми своими группировками уже давно перестал существовать как революционная сила” [64].

Китайскую катастрофу можно отнести к наихудшим событиям в политической деятельности Бухарина как лидера. Обвиненный (вместе со Сталиным) оппозицией в провале китайской революции, Бухарин стал беспомощно предлагать различные тактические ходы, которые по мере развития событий теряли смысл. Он обвинял китайских коммунистов в „саботаже” инструкций Коминтерна и вообще прибегал к малопривлекательным уверткам, какими обычно пользуются для оправдания политики, первоначально разумной, но под конец обанкротившейся.

Однако не все его запоздалые аргументы были простой софистикой. Его китайская политика базировалась на убежденности в ее разумности, и он, возможно, был искренен, говоря, что кроме „частичных ошибок” (вероятно, сыгравших роковую роль в разгроме китайских кадров), он все еще верит „по совести”, что генеральная линия Коминтерна была „единственной правильной линией”. Несмотря на свое вероломство, китайская буржуазия „способствовала развязыванию народных сил, помогла выходу народа на самостоятельную арену, в этом лежит оправдание нашей тактики”. Бухарин настаивал, что нельзя

отрицать этого исторического достижения, которое обеспечит будущий революционный подъем в Китае. Он соглашался, что тактику, примененную в Китае, нельзя механически переносить на другие колониальные революции, и отрицал, что идея антиимпериалистического блока и сотрудничества с национальной буржуазией дискредитирована: „Если сам дьявол выступает против империалистического бога, нам следует благодарить его” [65].

Хотя китайское фиаско имело гораздо большие масштабы, все же некоторые большевики сочли более поучительным упадок единого фронта на Западе (в Англии и в меньшей степени в Польше вследствие переворота Пилсудского в 1926 г.). И в этом случае Бухарин отказался полностью отвергнуть политику единого фронта, даже „сверху”. Провалившийся альянс с оппортунистами из британских профсоюзов, по мнению Бухарина, способствовал радикализации рабочих и усилил влияние небольшой коммунистической партии Англии [66]. И даже осуществив в 1927 г. поворот влево от единого фронта „сверху” в сторону единого фронта „снизу”, Бухарин не исключал полностью первого, оставляя открытой возможность новых союзов с социалистическими партиями и европейскими союзами [67]. Поэтому можно было предвидеть, что в 1928 г., когда сталинисты будут препятствовать любой форме единого фронта с социал-демократами, даже ради борьбы с фашизмом (а иногда именно в этом случае), Бухарин выступит против них. Его стремление к единству рабочего класса гарантировало то, что, несмотря на личную враждебность к социал-демократическим лидерам, он сочтет безрасудством приравнение социал-демократии к „социал-фашизму” и выставление ее первейшим врагом.

Бухарин, конечно, оберегал себя и от нападков левой оппозиции, но все же, когда он утверждал, что поражения не следует толковать как банкротство принципа единого фронта, его доводы были вполне разумны. Эта политика предполагала достижение максимальных целей коммунистов лишь в конце долгого и тернистого пути. Однако это не уменьшило серьезности последствий провалов за рубежом для внутренней политики. Среди прочего, они подстегнули лидеров оппозиции, которые, несмотря на свои внутренние разногласия по вопросам тактики в Англии и в Китае, пришли в ярость после расправы гоминьдановцев с китайскими коммунистами и их сторонниками. Политика Коминтерна стала одним из пунктов, по которым оппозиционеры клеймили сталинско-бухаринское руководство.

Левые во главе с Троцким, практически молчавшие по поводу внешней политики до китайской катастрофы, обвиняли сталинско-бухаринское руководство в предательстве как мировой, так и русской революции [68]. С этого момента усиливавшийся раскол между руководством партии и левой оппозицией стал,

вероятно, непреодолимым. В то же время неудачи Коминтерна в сочетании с дипломатическими неудачами СССР и новым усилением международной напряженности (разрыв дипломатических отношений с правительством английских консерваторов в мае 1927 г., убийство советского посла в Польше в июне) создали угрозу войны и усилили опасность изоляции СССР. Начиная с лета 1927 г. партия оказалась в атмосфере углублявшегося кризиса, вследствие чего стала оспариваться внутренняя и внешняя умеренная политика руководства, усилилась фракционная борьба, появились предпосылки изгнания левых и обнаружилось противоречия внутри самого сталинско-бухаринского большинства.

Для Бухарина и правых в Политбюро 1927 год начался как год оптимистической переоценки перспектив, а закончился серией взаимозависимых кризисов, подрывавших их экономическую политику и потрясших их политическое будущее. Во многих отношениях опасность угрозы войны была узловым моментом всех этих неудач. Непосредственное влияние этой опасности на экономическую политику подчеркивало еще сильнее, чем прежде, необходимость существенного расширения сектора производства средств производства, особенно тех отраслей промышленности, от которых зависела безопасность страны, в результате чего лозунг партии „Догнать и перегнать!” стал неотложным и грозным велением времени. Короче говоря, под сомнение были поставлены как схема индустриализации, так и темпы ее проведения, вследствие чего (как это скоро стало совершенно ясно) у некоторых коммунистов появилось глубокое недовольство. До 1927 г. краткосрочные планы военной подготовки не занимали большого места в экономической философии Бухарина. Несмотря на все свои высказывания об „эпохе войн и революций”, он предусматривал продолжительную „передышку” [69]. Теперь же он и его союзники формулировали экономические рекомендации с учетом возможности войны. Однако кризисная атмосфера, которая сохранилась и после временного усиления международной напряженности в 1927 г., могла создать только дополнительные трудности для бухаринской политики.

Второе экономическое последствие военной угрозы не сказало полностью до конца года, когда оно обострило кризис, имевший иные корни. Панические речи партийных лидеров, включая Бухарина, привели к тому, что летом и в начале осени 1927 г. повсюду люди производили закупки на случай войны. В городах выросли очереди за продуктами, резко усилился товарный голод. Руководство партии полагало, что нехватка товаров — явление временное и что удовлетворительный сбор

зерновых (который продолжался и в октябре) устранил недостаток продуктов. Но в ноябре-декабре неожиданно и грозно наступила расплата за недостатки в аграрной политике руководства партии в прошлом. Лишенные дешевых товаров крестьяне, столкнувшись с неблагоприятной структурой цен, резко сократили вывоз на рынок: зерновые госпоставки резко уменьшились, составив половину объема ноября-декабря предыдущего года [70].

Зловещая ситуация, названная вскоре „зерновым кризисом”, редко упоминалась на XV съезде в декабре, хотя в Политбюро уже проводились закрытые обсуждения необходимых мер. Застигнутое „врасплох” руководство партии [71], не обладая резервами, было не в состоянии направить в деревню достаточно товаров, чтобы побудить крестьян к рыночным поставкам или даже гарантировать увеличение этих поставок в ближайшем будущем; не желая срывать выполнение планов капиталовложения в промышленность ради повышения цен на зерно, руководство страны в январе 1928 г. прибегло к „чрезвычайным мерам”. Это важное решение о „зерновом фронте” имело многочисленные последствия, включая открытый раскол между правым крылом Политбюро и Сталиным, а также начало насильственной коллективизации 1929–1933 гг.

Влияние угрозы войны на внутреннюю политику было не менее глубоким. Правительства обычно реагируют на реальные или воображаемые кризисы либо объединением с оппозицией под единым знаменем, либо подавлением ее. Сталинско-бухаринское руководство избрало второй путь, подвергая сомнению преданность оппозиции и пытаясь задуть ее критику неудач за рубежом. Начиная с лета 1927 г. левые стали подвергаться усиливавшимся репрессиям, угрозам и давлению. Они впервые стали объектом систематических преследований. Троцкисты и зиновьевцы были сами частично ответственны за репрессии, так как не проявляли ни малейшего желания сплотиться вокруг членов дуумвирата. Хотя разногласия по экономическим вопросам значительно ослабли, вердикт левых стал всеобъемлющим, беспрецедентно острым обвинением всей внутренней и внешней политики большинства в прошлом и настоящем, охарактеризованной как термидорианское предательство. Открыто оспаривая способность дуумвирата руководить партией в условиях войны, левые потребовали ни больше ни меньше как смены руководства (это требование было резко сформулировано Троцким в его выступлении с ссылкой на позицию Клемансо во время войны).

Поскольку использовать партийные каналы для протеста было запрещено, левые (не без некоторой тоски по революционным дням [72]) стали организовывать демонстрации, подпольно издавать брошюры и применять другие нелегальные методы.

Это породило как серию трагикомических инцидентов, включая провокации органов госбезопасности и легкомысленный героизм левых, так и окончательный ультиматум большинства, призывавший левых публично покаяться и распустить свои силы, дабы не пришлось применить более крутые меры. Непокорные Троцкий и Зиновьев были исключены из партии 15 ноября, то есть через восемь дней после десятой годовщины большевистской революции. Разгром левых завершился в декабре на XV съезде, который утвердил это решение и исключил остальных лидеров оппозиции. Зиновьевцы были сломлены и окончательно капитулировали. Через несколько недель Троцкий и его нераскаявшиеся последователи были высланы из столицы [73].

Задним числом стало ясно, что в результате событий в апреле — декабре 1927 г. выиграл только Сталин. Если, как сообщалось, правое крыло Политбюро противостояло его предварительной попытке исключить оппозицию, то Сталин мог впоследствии использовать угрозу войны для того, чтобы создать „погромную атмосферу” и запустить „сухую гильотину” [74]. Яростной атакой на политику Коминтерна в Китае левые лишили себя поддержки двух членов Политбюро — Бухарина и Томского, которые менее других были склонны исключать оппозиционеров. Осенью Бухарин, не сдерживая более себя, поддержал возмущение по поводу „нелегальных” эскапад оппозиции. Сознавая, что оппозиционеры часто провоцировали на „высказывания, в которые они сами не верили... и на действия, которые им самим не нравились”, а также надеясь „всей душой”, что они примут ультиматум руководства партии, Бухарин тем не менее пришел к выводу, что „в нашей партии нет места людям с такими взглядами” [75].

Вскоре правое крыло Политбюро будет сожалеть, что одобрило разгром левых. При поддержке правых Сталин уничтожил общего врага, существование которого связывало его со своими первоначальными союзниками. Они, возможно, были уверены в своей политической силе. Эта сила на первый взгляд была велика. Троцкий предсказывал, что они вскоре „затравят Сталина” [76]. Главные символы революционной власти были в их руках: должность главы правительства, авторитет партийного теоретика, идеологические учреждения, Коминтерн и профсоюзы. Однако в Советской России это были лишь „почетные”, кажущиеся источники власти, в то время как реальная, „действенная” власть все более сосредоточивалась в партийном аппарате Сталина.

Такое разделение на реальную и кажущуюся власть отличало советскую политическую систему с самого начала, но оно возросло в 20-е гг., когда власть Секретариата усиливалась в результате фракционной борьбы, что было продемонстрировано на

XV партконференции в октябре 1926 г. Сначала выступал Бухарин, после него Рыков и затем Томский, и лишь на десятом заседании Сталин сделал доклад по партийным вопросам, который по традиции является ключевым. Казалось, что необычная повестка дня должна была свидетельствовать о превосходстве правых, но в том же месяце еще два человека из сталинского окружения, Я. Рудзутак и В. Куйбышев, вошли в состав Политбюро, состоявшего из девяти человек. Хотя правые еще считали Калинин и Ворошилова убежденными сторонниками своей политики, именно в этот момент Сталин получил потенциальное большинство в Политбюро, независимо от Бухарина, Рыкова и Томского.

Смещение центра тяжести власти было не единственным событием, означавшим начало конфронтации между Сталиным и правыми в Политбюро. Внутренние и международные трудности 1927 г. породили серьезное сомнение в дальнейшей жизнеспособности бухаринской политики, даже в ее пересмотренном и более реалистичном виде. Эти трудности, возможно, пошатнули уверенность Сталина в экономической проницательности его „на 150% нэповских” союзников и укрепили его склонность остерегаться советчиков и искать собственных путей. К 1927 г. возглавляемые Куйбышевым люди, которым предстояло осуществлять планы Сталина по индустриализации страны, уже занимали стратегически важные экономические посты, прежде всего в ВСНХ. Эти люди подготавливали свою политику индустриализации. Более того, начав пересмотр своей политики в сторону планирования, увеличения капиталовложений и коллективизации, Бухарин и Рыков открыли дорогу различным интерпретациям намеченных изменений. Например, в государственных плановых организациях уже выкристаллизовалось совсем другое понимание пятилетнего плана. Еще до исключения левых сталинистские плановики склонялись к „шапкозакидательской” философии сталинской революции: „Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять” [77].

Неизвестно точно, в какой момент экономическая политика начала раскалывать сталинско-бухаринское большинство. Острые или систематические разногласия между правым крылом Политбюро и теми, кто должен был составить новое сталинское большинство, кажется, не проявлялись до конца января или февраля 1928 г. Однако очевидно, что противоположные позиции по вопросам коллективизации, политике капиталовложений и темпам индустриализации оформились накануне XV съезда, даже до зернового кризиса. Резолюция съезда по коллективизации (возможно, и другие резолюции), очевидно, представляла собой неоглашенный компромисс внутри руководства [78]. Независимо от характера и масштабов прежних разногласий они были не столь велики, чтобы подорвать единство Политбюро, которое

исключило левых и руководило XV съездом. Резолюция по экономической политике (компромиссная или нет) отражала новые взгляды Бухарина и Рыкова. В этой резолюции новые цели были изложены таким образом, чтобы предотвратить эксцессы; в ней подчеркивалась необходимость проявлять благоразумие, стремиться к сбалансированному развитию промышленности и придерживаться принципов нэпа. Следует отметить, что формулировки были составлены в достаточно общих выражениях, удовлетворявших различные мнения [79].

Дополнительные намеки на то, что в Политбюро по крайней мере нет полного единства, содержались в речах руководителей. Сталин и Молотов заметно жестче говорили по вопросу о кулаках, чем Калинин и Рыков (последний сделал основной доклад, посвященный развитию народного хозяйства [80]). Кроме того, на съезде Сталин определил необходимость коллективизации в значительно менее сдержанной форме, чем Бухарин или Рыков. Сталин утверждал, что только коллективная обработка земли может решить проблемы советского сельского хозяйства. „Других выходов нет”, – заключил он. Предложенное Сталиным определение европейского капитализма также заметно отличалось от бухаринского и содержало предсказание неизбежного конца периода стабилизации и начала „нового революционного подъема как в колониях, так и в метрополиях” [81]. Но ни эти, ни другие интересные оттенки еще не означали формирования отдельных, четко определенных течений. Сталинисты еще только начинали вырабатывать свои собственные позиции. Эти оттенки, по существу, были заметны только потому, что все руководители, включая Сталина, обращались к съезду в осторожном, умеренно пронэповском тоне бухаринизма. Подчеркивание определенных формулировок еще не стало устойчивым. В конце концов, Бухарин первый произнес формулу: „Наступление против кулака”. Теперь и он, и Рыков оказались вовлеченными в осуществление коллективизации, хотя и ограниченной [82].

Более зловещие признаки расхождения проявились на съезде не по вопросам политики, а в личных отношениях. Впервые ораторы, связанные со Сталиным, открыто, хотя и осторожно критиковали Бухарина. В дискуссии, последовавшей после его доклада о деятельности Коминтерна, два официальных деятеля из окружения Сталина, а именно Л. Шацкий и В. Ломинидзе, а также глава Профинтерна Лозовский резко возражали против бухаринского определения западного капитализма как государственного, а точнее, обвиняли его в игнорировании зарождавшейся „правой опасности в Коминтерне” [83]. Их критика, от которой Сталин определенно отмежевался, была знаменательной. Они критиковали не только бухаринское руководство Коминтерном, но и его самого как партийного теоретика. Теория го-

сударственного капитализма была самым слабым звеном его репутации ленинца, а затем стала излюбленной мишенью антибухаринской кампании Сталина. И наконец, вылазка этих второстепенных подставных лиц явилась началом кампании Сталина, в которой он искусно использовал Профинтерн и комсомол для подрыва авторитета правого крыла Политбюро и его власти [84].

В декабре 1927 г., в момент кажущегося триумфа, узаконив свою пересмотренную программу и изгнав идеологических противников, правые в Политбюро оказались в кризисной ситуации и обнаружили, что их политическое положение под угрозой. Бухарин нес наибольшую долю ответственности за их бедственное положение, потому что вовремя не обезопасил себя от критики левых в адрес своей экономической политики и не успел окончательно сформулировать свою пересмотренную программу к столь важному XV съезду. То, что он участвовал в „гражданской казни” левых, было еще одной ошибкой [85]. Это было не только неблагоприятное политическое решение, оно также свидетельствовало о том, что он не проявил такие свойственные ему качества, как сдержанность и простая порядочность. Он участвовал в этом финальном танце мести решительно, хотя и „без удовольствия”, „дрожа с головы до пят”. Он не ожидал, „что логика борьбы приведет к этому так быстро и в такой акцентированной форме”. Он почувствовал глубокое облегчение, когда Зиновьев и Каменев капитулировали. Бухарин относился не без сочувствия к „трагедии лидеров оппозиции” [86]. И все же он дал использовать свой авторитет для их разгрома.

Бухарин пришел к этому не сразу. Уменьшение официальной терпимости к партийным диссидентам происходило непрерывно после 1921 г. Прежние лидеры, в том числе и Ленин, исключали менее видных оппозиционеров [87]. И Бухарин не в первый раз санкционировал „сухую гильотину”. В 1924 г. он председательствовал на собрании, исключавшем из Коминтерна нескольких его бывших членов и в том числе его собственного друга времен войны Зета Хеглунда. Теперь Бухарин согласился на исключение из партии, арест, а затем высылку двух своих старейших друзей — Владимира Смирнова и Преображенского, близкого друга и соратника по ссылке Михаила Фишелева, нескольких бывших „левых коммунистов”, которыми он руководил в 1918 г., а также десятков других большевиков, с которыми, по его выражению, он „ходил в бой”. Как интеллигент и человек, чувствительный к произволу, Бухарин должен был поступать иначе. Власть не притупила все его критические способности. Он видел и осуждал привилегии коммунистов в Советском Союзе, антисемитизм, великорусский шовинизм и

бюрократические злоупотребления. Но он изгнал своих бывших друзей как „врагов”, с которыми он „не имел ничего общего” [88] .

Он снова поступал так, возможно, потому, что считал идеи и программы левых чужеродными и опасными для всего, что он отождествлял с большевизмом. Троцкий предупреждал его в 1926 г.: „Система аппаратного террора не может остановиться только на так называемых идейных уклонах, реальных или вымышленных, а неизбежно должна распространиться на всю вообще жизнь и деятельность организации” [89] . Бухарин не отреагировал на это; „милитаризация” партии, которую он открыто осуждал, рост власти и амбиций Сталина волновали его меньше, чем „коренные прагматические разногласия” с левыми. Он был не единственный крупный большевик, закрывавший глаза на действительность. Когда Бухарин понял наконец в 1928 г., что „разногласия между нами и Сталиным во много раз серьезнее всех бывших у нас разногласий с Вами”, Троцкий, убежденный в том, что Бухарин воплощенный термидорианец, воскликнул: „Со Сталиным против Бухарина? – Да. С Бухариным против Сталина? – Никогда!” [90] .

Можно понять слепоту Троцкого, затравленного, опороченного, изгнанного и загипнотизированного своими собственными усилиями „услышать шаги истории”. У Бухарина было меньше оправданий и масса предупреждений. В ноябре 1927 г. он получил от своего бывшего товарища письмо, обличавшее его как „тюремщика лучших коммунистов”, как человека, разрешившего судить героев Октября таким чиновникам тайной полиции, как Яков Агранов. Свое письмо автор заканчивал пророческим, саркастическим предупреждением:

Осторожнее, т. Бухарин. Вы частенько спорили в нашей партии. Вам, вероятно, придется еще не раз поспорить. Как бы Вам нынешние тт. тоже когда-нибудь не дали в качестве арбитра т. Агранова. Примеры бывают заразительны [91] .

ГЛАВА 9

ПАДЕНИЕ БУХАРИНА И НАЧАЛО СТАЛИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*Ты должен побеждать и править,
Иль покоряться и служить,
Страдать или повелевать,
Быть молотом иль наковальней.*

Гете

В 1928–1929 гг., на одиннадцатом году правления большевиков и второй раз за десятилетие с небольшим, Россия снова стояла на пороге революции. Хотя никто этого не подозревал, к зиме 1929–1930 гг. вся страна, 150 млн. ее жителей были охвачены лихорадкой сталинской „революции сверху” — события столь же эпохального по своим последствиям, сколь и великие исторические перевороты „снизу”, включая переворот 1917 г. [1]. Подобно другим великим социальным сдвигам, сталинская революция сначала пошатнет, а потом и сметет старый порядок, заменив его новым, совершенно иным типом общества. Здесь, однако, произойдет нечто необычное: разрушаемое общество эпохи нэпа само являлось порождением недавней великой революции, поэтому, приближаясь к событиям, предшествовавшим „революции сверху”, мы поступим правильно, если в последний раз взглянем на „старый порядок”, на нэповскую Россию накануне ее разгрома.

По сравнению с пришедшим ему на смену сталинским порядком советский нэп 20-х гг. характеризовался наличием значительного плюрализма в авторитарных рамках однопартийной диктатуры. Ибо, хотя партия ревностно защищала свою монополию на политическую власть, плюрализм в других областях был официально терпим и даже поощрялся. Главным примером этого являлась, конечно, экономическая сфера, где 25 млн. крестьянских дворов производили практически всю продукцию сельского хозяйства, где миллионы ремесленников изготавливали 28% всех промышленных товаров и от половины до трех четвертей основных предметов широкого потребления, где несмет-

ная армия мелких торговцев все еще играла главную роль в товарообороте (причем многие товары рекламировались в официальной коммунистической печати) [2]. Несмотря на растущий вес государственного сектора, в конце 20-х гг. частное предпринимательство все еще определяло направление советской экономики. Советские граждане в своей массе, а в особенности крестьянское большинство, все еще составлявшее 80% населения, жили и работали никак не под партийным и государственным контролем.

Не монополизировала партия и другие области общественной жизни. И в самом деле, даже в политической сфере, на всех рядовых и административных уровнях, участие беспартийных всемерно поощрялось, а к их мнению прислушивались. Например, центральные государственные органы, которые давали рекомендации, управляли и, следовательно, участвовали в разработке официальной политики, состояли в основном из лиц которые не принадлежали к большевикам и нередко были в прошлом противниками революции. В 1929 г. менее 12% всех государственных служащих были коммунистами, и хотя официальные главы наркоматов и важнейших ведомств обычно являлись членами партии, коммунисты составляли лишь небольшой процент ответственных работников этих органов [3].

Широкое использование „буржуазных специалистов”, как называли беспартийную интеллигенцию, было отчасти результатом острой нехватки квалифицированных партийных кадров. Оно же являлось и источником большого беспокойства властей. Партия стремилась готовить и продвигать собственных людей, особенно в таких областях, как образование, где ее члены составляли всего лишь 3% учителей [4]. Правда, если судить по численности беспартийных, важности занимаемых ими должностей и их желанию работать, здесь также проявлялся достаточно доброжелательный нэповский дух, бывший следствием политики экономического сотрудничества, проводимой партией. Так, беспартийные играли видную роль в тех важных областях, которые партия, если бы захотела, могла монополизировать. Например, в 1925 г. беспартийные составляли по меньшей мере одну треть работников официальной прессы [5]. А в результате принятых в 1924–1925 гг. решений допустить относительно свободные выборы лишь 13% членом местных Советов и 24% их председателей являлись коммунистами и комсомольцами [6].

Однако наиболее полно плюрализм общества нэповской эпохи выражался, пожалуй, в культурной и интеллектуальной жизни, которая всегда является барометром настоящей свободы и государственной терпимости. Ибо в этом смысле 20-е гг. были десятилетием замечательного разнообразия и незабываемых достижений. В интеллектуальной жизни самой партии, в ее академических учреждениях, обществах и научных публикациях, в

жарких дебатах о социальной теории, начиная с образования и науки и кончая правом, философией и историографией, то было время не навязанной сверху сухой ортодоксии, а соперничества различных теорий и школ — своего рода „золотой век марксистской мысли в СССР” [7].

Несмотря на то, что революция вызвала эмиграцию значительного числа деятелей культуры, 20-е гг. были годами необыкновенного всплеска художественных исканий и творческой активности почти во всех областях. В атмосфере, воодушевленной революцией и не стесненной официальными художественными догмами, и при государственной, кооперативной и частной поддержке самые разные художники выражали разнообразнейшие эстетические воззрения, теории и образы в ослепительном фейерверке форм. То была эпоха, когда партийные художники соперничали с „попутчиками”, процветали культуры национальных меньшинств, возрождались толстые журналы и салоны, множились культурные кружки, ассоциации и манифесты. Приезжавшие в западные столицы советские художники ощущали себя частью международного культурного подъема. Но, главное, это было время экспериментирования, когда модернизм культурного авангарда, хотя и на короткое время, достиг блистательного расцвета при снисходительном правлении авангарда политического [8].

О культуре времен нэпа чаще всего вспоминают в связи с ее художественной прозой и поэзией. К числу известных писателей, создавших в 20-е гг. немалую часть своих важнейших произведений, принадлежали Пастернак, Бабель, Олеша, Катаев, Федин, Есенин, Ахматова, Всеволод Иванов, Шолохов, Замятин, Леонов, Пильняк, Булгаков, Мандельштам, Зощенко и Маяковский. Перечень этот — настоящий реестр великих имен советской литературы — можно продолжить и дальше. Многие из этих писателей погибли физически или духовно после нэпа.

Однако литература была только частью общей картины, ибо именно в годы нэпа — здесь мы опять приведем лишь отдельные примеры — Эйзенштейн, Вертов, Пудовкин и Довженко сделали первопроходцами современного кинематографа, режиссерские эксперименты Мейерхольда и Таирова революционизировали театр, а Татлин, Родченко, Малевич, Лисицкий, Гинзбург, братья Веснины и Стенберги, Мельников, Леонидов и многие другие участвовали в создании в России современной живописи, архитектуры и дизайна. Оглядываясь назад, видишь не только то, что 20-е гг. были золотой порой русской культуры, но и что культура нэпа, подобно культуре Веймарской республики, была одной из важнейших глав истории культуры XX века. Она вспыхнула творческим огнем, погибла трагически, но оставила неизгладимый след [9].

Верно также и то, что плюрализм и государственный либерализм нэповской эпохи были относительно и часто двусмысленны. Некоторые деятели искусства подвергались публичному очернительству и иногда заносились в черный список; беспартийных специалистов нередко преследовали; местные власти подчас помыкали крестьянами-собственниками; не обходилось и без внезапных налетов милиции на заметно преуспевающих нэпманов [10]. Однако в отличие от последующего периода нэп был сравнительно плюралистической и либеральной системой. Дух его, вскоре заклеянный сталинистами как „гнилой либерализм”, был примирительным и экуменическим [11]. Однопартийное государство не отказывало своим „полудрузьям, полуврагам” в эпитете „советский”, поскольку в 20-е гг., в отличие от позднейших времен, это понятие определялось, главным образом, территориальной принадлежностью, а не бездумной верностью партийной догматике [12]. Именно такое терпимое отношение к разнообразию в обществе и официальный акцент на социальной гармонии и законности, а не на официальном беззаконии, тридцать лет спустя сделают нэп моделью либерального коммунизма для коммунистических реформаторов и альтернативой сталинизму.

Однако к концу 20-х гг., когда партия столкнулась с серьезными трудностями, нэп оценивался не по его будущей привлекательности, а по достигнутым им результатам. Во многих важных областях благодаря нэпу удалось добиться внушительных успехов. Нэп принес гражданский мир, политическую стабильность и восстановление экономики, сохранив притом политическую монополию большевиков и укрепив авторитет и влияние партии в народе, если судить по уменьшению в 20-е гг. числа „контрреволюционных выступлений”.

Помимо этого в 20-е гг. продолжалось развитие прогрессивного социального законодательства, порожденного революцией (и по большей части отмененного после нэпа), в области социального обеспечения, образования, прав женщин, разводов и аборт [13]. Гражданский мир нэповских времен также позволил правительству добиться успеха в борьбе против социальных зол, которые по традиции поражали его главную опору — бедноту. Так, к концу 20-х гг. значительно уменьшилась неграмотность, и число учащихся начальных и средних школ выросло вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Смертность сократилась на 26%, детская смертность — примерно на 30%, а заболевания венерическими болезнями уменьшились почти вдвое [14]. Многие из этих достижений, как, например, в области образования, были первыми шажками к перестройке все еще весьма отсталого общества, другие же, в том числе многие из мер в области социального обеспечения, оставались, скорее, первыми наметками. Тем не менее, учитывая скудость ресурсов, за несколько

лет прошедших после окончания гражданской войны, большевистское правительство добилось многого.

И в самом деле, не приходится сомневаться в том, что совершившие революцию 1917 г. рабочие и крестьяне теперь жили лучше, чем при старом режиме. В краткосрочной перспективе наибольшие выгоды от этого переворота получили крестьяне. Хотя в среднем жизнь крестьянина оставалась тяжелой, а хозяйство его велось примитивными орудиями, крестьяне имели мало тяглого скота и т.д., революция устранила помещика, дала хлеборобу землю, отменила недоимки и сделала его независимым производителем. И при этом от него мало требовалось в политическом смысле. К началу 20-х гг., когда рассеялся дым революции, крестьянин вернулся к своему традиционному образу жизни и самоуправлению. Партийные чиновники мало вмешивались в жизнь деревни, которая еще в 1928–1929 гг. фактически управлялась не местными Советами, а традиционной общиной, которую теперь осторожно называли „деревенским обществом” [15]. В результате этого, равно как и вследствие своих усилий повысить благосостояние крестьянства, Советское правительство завоевало если не любовь, то признание большинства сельского населения. Повышался престиж и влияние партии, особенно среди молодого поколения крестьян. Как писал в 1927 г. один иностранный комментатор: „Хотя и медленно, старая деревня уходит в прошлое у нас на глазах” [16].

Достижения промышленного рабочего класса, от имени которого правила партия, были менее однозначны. Хотя первоначальные обещания большевиков предоставить рабочим политическую и экономическую власть выполнены не были, в общем положение рабочих было значительно лучше, чем до революции, когда условия труда были почти такими же, как в романах Диккенса. К концу 20-х гг., когда городское население и пролетариат достигли довоенной численности, рабочий день сократился с 10 до 7,5 часов, реальная заработная плата, хотя и была невелика по западноевропейским понятиям, по сравнению с уровнем 1913 г. увеличилась примерно на 11%. Заводской рабочий так же, как и крестьянин, питался лучше, чем до революции. Кроме того, положение рабочих улучшилось за счет введения всестороннего, хотя и не всегда достаточного, социального обеспечения, профсоюзных льгот, бесплатного медицинского обслуживания и образования. С другой стороны, в 1927 г. число безработных в городах достигло 1,5 млн., что вдвое превышало уровень 1924 г.; условия труда на заводах оставались весьма плохими, несчастные случаи на производстве были частым явлением; питание и одежда стоили чрезвычайно дорого, а жилищные условия после революции значительно ухудшились [17].

Конечно, невозможно подсчитать точно, сколько выиграли и сколько проиграли советские рабочие за первое десятилетие

после революции. Следует принять во внимание миллионы погибших во время гражданской войны и от голода, равно как и разочарование у оставшихся в живых, возникшее от невыполнения большевиками их обещаний. С другой стороны, следует отдать должное социальной мобильности, приобретенной рабочими и в меньшей степени крестьянами, и революционному повышению их статуса при новом порядке. В психологическом плане значение видного общественного положения промышленных рабочих и беднейших крестьян, отведенного им большевистской идеологией, измерить невозможно, но не следует его и игнорировать. Выражалось ли оно в прославлении официальной пропагандой или в выполнении кое-каких второстепенных функций в качестве „представителей советского государства”, или просто в доступе в прежние цитадели привилегированных классов (музеи, театры, дворцы и т.п.), этот новый высокий статус, вполне возможно, частично компенсировал еще достаточно низкий жизненный уровень [18]. Каков бы ни был результат этих потерь и приобретений, советские рабочие и крестьяне в последние годы нэпа, накануне сталинской революции, жили лучше, чем до революции и чем в последующие годы [19].

Однако ни одно из этих достижений в экономической, культурной и прочих областях не уменьшало серьезности проблем, вставших перед нэповской Россией. Две из них имели особое значение. Первая – примитивное, косное крестьянское хозяйство, производительность которого едва превосходила довоенный уровень, а рыночные излишки все еще были меньше, чем в 1913 г., что внушало немалую тревогу. Вторая проблема также была связана с перенаселенной, малопроизводительной деревней: крестьянская миграция заполняла города неквалифицированными озлобленными рабочими, увеличивала армию безработных и еще более ухудшала условия жизни в городах [20]. Обе проблемы, обостряемые слабым административным и идеологическим влиянием партии в сельских районах, ломали индустриальные планы большевиков и грозили подрывом рыночных отношений между городом и деревней, то есть основы нэпа. В декабре 1927 г. XV съезд партии принял решение начать наступление на эти проблемы при помощи более всестороннего планирования и увеличения капиталовложений в промышленность в сочетании с частичной добровольной коллективизацией и государственной помощью частным крестьянским хозяйствам [21]. Своим бухаринским духом и резолюциями съезд подтвердил приверженность „нэповским методам”, но, как показали события 1928 г., в некоторых партийных кругах росло ощущение, что эти новые меры приняты слишком поздно и недостаточны.

С точки зрения партийных устремлений нэп представлял собой неоднозначную картину. В 20-е гг. Советская Россия была страной резких контрастов: традиционное и современное, соха и

машина, отсталость и гигантские строительные объекты, творческий блеск и непреодоленная неграмотность, безработица и бьющее в глаза богатство, бесплатное начальное обучение и что-то около миллиона беспризорников, мечты о социализме и пьянство [22]. Положительные явления укрепляли доверие к нэпу и бухаринской политике руководства, а отрицательные – порождали сомнения и разочарование, к которым также приводили все еще сильные воинственно-революционные настроения, особенно на низших партийных уровнях. Ибо, несмотря на поражение левых и их дискредитацию, партийная „революционно-героическая” традиция продолжала жить, питаясь не только ностальгией по 1917 г. и гражданской войне, но и недовольством худшими сторонами нэпа [23]. Вместе с восстановлением экономики и городов снова широко распространились проституция, азартные игры, торговля наркотиками, коррупция и спекуляция. Эти явления оскорбляли чувства большевиков, рисовали на „лице нэпа” „гримасы порока” и настраивали партийных „фанатиков пролетарской чистоты” против „полудрузей-полуврагов” режима – нэпмана, зажиточного крестьянина, беспартийного специалиста и деятеля искусства [24].

Тем не менее важно понять, что, несмотря на свои изъяны и проблемы, к середине 20-х гг. нэп сделался общепризнанным среди большевистских руководителей методом перехода к социализму, хотя некоторые из них приняли его неохотно. Бухарин и его сторонники были наиболее яркими защитниками нэпа – „стопятидесятипроцентными нэпистами”, как прозвал их Пятаков. Можно сделать вывод, что все соперничающие партийные руководители и все фракции 20-х гг. признавали нэп и были „нэпистами”. Общепринятое мнение, что левые были сильно настроены против нэпа, является ошибочным. Так, Преображенский, самый суровый критик экономической политики руководства, сформулировал свою собственную программу („первоначального социалистического накопления”), предполагавшую продолжение экономического плюрализма нэпа, частного крестьянского хозяйства и рыночных отношений. А Троцкий, являвшийся для многих воплощением большевистского фанатизма, был в то же время ведущим защитником сопутствующего нэпу культурного многообразия [25]. Нэп действительно стал общепартийной политикой и моделью коммунистической системы; наиболее убедительным доказательством этого служит тот факт, что даже Сталин, который впоследствии уничтожил нэп, не призывал открыто к его отмене [26].

1928–1929 гг. были поворотным пунктом в проведении и характере политики советского руководства. Они ознаменовали переход от преимущественно открытой внутрипартийной политики

20-х гг. и более раннего периода к тайной политике 30-х гг. и последующего времени. До исключения левых в 1927 г. политические конфликты в партии по большей части освещались в печати. Хотя, подобно любым другим политикам, большевики снисходительно осуждали проявления открытой фракционности, соперничающие фракции вступали в споры и искали поддержки в печати, на партсобраниях и съездах и даже на улицах. В этом отношении открытая политическая борьба в руководстве была частью более общей открытости советской политической жизни в годы нэпа.

Эта открытость, при всей ее ограниченности, простиралась от разнообразия мнений, выразившихся в официальных и неофициальных органах и публикациях, до непочтительных карикатур на большевистских вождей в популярных журналах [27] *. После 1929 г. подобная атмосфера исчезла, политические конфликты внутри партийного руководства делались все более тайными и, за исключением отдельных незначительных отголосков, оказывались скрытыми от глаз общественности.

Столкновение между бухаринской и сталинской фракциями в Политбюро в 1928–1929 гг. явилось промежуточным эпизодом этого процесса. Хотя обе фракции, как и прежде, искали поддержки в широких партийных кругах, они делали это более скрытно, чем в предшествующий период. Открытые конфликты не выходили за пределы закрытых и редко освещавшихся в печати совещаний высшего руководства, а публичные дискуссии, хотя они и были долгими и жаркими, велись не на откровенном политическом языке, а путем недомолвок и иносказаний, которыми партия пользовалась в дореволюционное время как эзоповым языком, чтобы обойти царскую цензуру [28]. На всем протяжении этой жестокой схватки обе фракции публично отрицали ее существование, и лишь в середине 1929 г., когда определился ее исход, противники были официально названы по именам.

Это вовсе не означает, что широким партийным кругам было ничего не известно о происходившей внутри сталинско-бухаринского руководства судьбоносной борьбе за власть и политическое направление. Сведения о разногласиях среди членов Политбюро и ЦК быстро, хотя и в искаженном виде, доходили до нижестоящих партийных руководителей, и „каждый грамотный партиец” понимал эзопов язык дискуссий [29]. Начиная с 1917–1918 гг. наиболее важная борьба внутри партии происходила не открыто и носила тайный характер. Она велась буквально подпольными методами; важные программные документы, включая некоторые документы правой оппозиции (как стали называть Бухарина и его сторонников), так и не были опубликованы [30]. Вследствие этого политические события, приведшие к сталинской „революции сверху”, были и остаются

даже и по сей день во многих немаловажных отношениях весьма туманными.

В числе таких неясностей не последнее место занимает вопрос о том, в какой момент развалилась сталинско-бухаринская коалиция, в течение трех лет руководившая партией. Это произошло не вдруг. Скрытые разногласия, сопровождавшие поворот экономической и коминтерновской политики руководства влево в 1927 г., проявились в перестановке акцентов, нелегких компромиссах и политическом маневрировании на состоявшемся в декабре XV съезде партии. Разногласия эти усиливались и затем привели к взрыву в первые месяцы 1928 г. Окончательное поражение левых лишило всякого политического смысла союз между Сталиным и правыми в Политбюро, а резкое уменьшение хлебозаготовок в конце 1927 г. уничтожило остатки единодушия во внутренней политике.

Принятое в начале января 1928 г. решение прибегнуть к „чрезвычайным“, „экстренным“ мерам явилось поворотным событием. Оно было принято единогласно, но его последствия почти тотчас же бесповоротно раскололи Политбюро. Бухарин, Рыков и Томский поддержали это решение как печальную временную необходимость. По всей видимости, они планировали упорядоченную, ограниченную кампанию — карательные налоговые меры и мероприятия, главным образом судебного характера, направленные исключительно против „кулацких спекулянтов“. Наиболее резкие меры сводились бы к выборочным конфискациям спрятанного зерна в соответствии со статьей 107-й Уголовного кодекса [31]. Проведение операции было оставлено Сталину как генсеку, и дело пошло совсем не так, как планировалось. В течение нескольких недель основные зерновые районы были охвачены волной административных „эксцессов“, в числе которых были посылка вооруженных отрядов на реквизиции, произвольный и незаконный захват зерна и аресты, грубый разгон местных органов власти, закрытие рынков и даже отдельные попытки загнать крестьян в коммуны. Для сельского населения эта кампания напомнила времена „военного коммунизма“, особенно после того, как в деревню менее чем за три месяца прибыли тридцать тысяч городских уполномоченных. Сельские районы страны были охвачены паникой, пошли слухи об отмене нэпа [32].

Некоторые последствия перехода к „чрезвычайным мерам“ можно было предсказать, и все Политбюро несло за них ответственность, однако своей чрезмерной жестокостью и масштабами кампания была обязана главным образом Сталину. Характер ее был определен воинственными „чрезвычайными директивами“, посланными сталинской канцелярией местным партийным властям уже 6 января [33]. Ближайшие сотрудники Сталина — в том числе А. Микоян, Л. Каганович, А. Жданов,

Н. Шверник и А. Андреев – руководили проведением операции на местах [34]. Весьма знаменательно, что Сталин, редко путешествовавший по стране, 15 января лично отправился в поездку по Сибири и Уралу, где, несмотря на хороший урожай, хлебозаготовки шли плохо. Поездка напоминала военную экспедицию. На каждой остановке Сталин вызывал местных работников и, грубо отмахиваясь от ссылок на местные условия и необходимость соблюдения законности, обрушивал на них обвинения в некомпетентности, трусости, а подчас называл их кулацкими агентами. Перед отъездом он поставил перед потрясенными и пережившими чистку партийными организациями ультиматум: или они увеличат хлебозаготовки, или понесут еще большее наказание [35].

6 февраля Сталин вернулся в Москву, и в Политбюро произошло резкое столкновение. По всей видимости, Бухарин, Рыков и Томский подтвердили свою поддержку первоначального решения, однако выступили против „эксцессов”, с которыми Сталин проводил его в жизнь, а в особенности против терроризирования середняков, жестокого принуждения и разгрома местных рынков. Вероятно, возник спор и относительно коренных причин зернового кризиса. Обе стороны согласились с тем, что кулак не вывозит зерно на рынок, надеясь взвинтить цены, хотя Сталин рисовал более драматическую картину масштабов и вероломства кулацкого „саботажа”. Что еще более важно, в Сибири он вдруг принялся отрицать жизнеспособность индивидуального крестьянского хозяйства и заключил: „Мы больше не можем идти вперед на базе мелкого индивидуального крестьянского хозяйства”. Хотя Бухарин и Рыков теперь признавали, что необходима какая-то ограниченная программа коллективизации, такая резкая формулировка была для них неприемлема. По их мнению, непосредственной причиной кризиса была не структура сельского хозяйства, а ошибочная государственная политика цен и неверная оценка рыночной конъюнктуры [36].

Каков бы ни был характер тогдашней полемики, она закончилась отступлением Сталина и компромиссом в большой степени на условиях правых. Хотя директивы руководства содержали резкие антикулацкие выпады первоначального варианта решения, в них осуждались „перегибы” и особо подчеркивалось, что „чрезвычайные меры” ни в коей степени не отражают принятой на XV съезде генеральной линии и не означают отмены нэпа. Микояну, главному эмиссару Сталина в заготовительной кампании, пришлось публично отречься от неприглядных действий, назвав их „вредными, незаконными и неприемлемыми” [37]. Компромисс был очевиден и на всех других участках „зернового фронта”, как его теперь стали называть. В то же самое время в феврале был смещен принадлежавший к правым нарком земледелия Российской Федерации А. Смирнов, однако заменил его

другой сторонник умеренной линии, а сам Смирнов был переведен в партийный Секретариат, как можно предполагать, чтобы помочь сдерживать Сталина [38].

Заготовительная кампания не только расколола Политбюро, она имела и другие неожиданные и далеко идущие последствия. Впервые после провозглашения нэпа государство оспорило право крестьян распоряжаться хлебными излишками по своему усмотрению. Это обстоятельство имело два последствия. Оно подорвало веру крестьян в то, что правительство будет обходиться с ними по справедливости, и, таким образом, осложнило восстановление нормальных рыночных отношений и затруднило свободный приток зерна, на который рассчитывали бухаринцы. А поскольку принятые меры имели временный успех (их возобновление весной привело к тому, что к середине года хлебозаготовки достигли уровня 1926–1927 гг.), усиливалась склонность к внерыночным и даже насильственным методам решения зерновой проблемы. Весьма зловещую окраску имел и тот факт, что, несмотря на официальные опровержения, „чрезвычайные меры”, по сути дела, никогда не прекращались. По мере продолжения и углубления кризиса они ширились из месяца в месяц и в результате превратились в особую систему хлебозаготовок, которая возмутила деревню и привела в конце 1929 г. к открытому столкновению между крестьянством и государством [39]. Наконец, расхождение между первоначальным январским решением и последовавшими затем эксцессами иллюстрировали большое преимущество Сталина перед своими оппонентами: Политбюро вырабатывало политику, однако проводил ее с помощью Секретариата Сталин, который, таким образом, мог переиначивать ее по-своему [40].

Хотя дискуссия о хлебозаготовках имела огромное значение, она являлась лишь частью широкой полемики, развернувшейся в начале 1928 г. Известия о трудностях с хлебозаготовками еще в январе выявили в руководстве сторонников двух весьма различных подходов. Куйбышев, чью приверженность к сверхиндустриализации разделял Сталин, призывал партию не обращать внимания на ухудшение рыночной ситуации и „теперь как никогда... уметь смель и уметь мочь плыть против течения”. Угланов, стоявший во главе московской парторганизации, которая послужит главной организационной опорой правых, настаивал на примирительной линии в деревне и благоразумии в промышленности. На заседании Московского комитета он заявил, что следует частично свернуть начатые в 1927 г. крупные строительные объекты и увеличить капиталовложения в производство потребительских товаров, столь важных для торговли с крестьянами [41]. Осторожность была также лозунгом Бухарина и его „школы”, воспользовавшихся четвертой годовщиной со дня смерти Ленина, чтобы напомнить в центральной печати

о важности мелкого крестьянского хозяйства и первостепенном значении „культурной революции” [42].

Вслед за этим Сталин начал терпеливо и украдкой испытывать на прочность политические цитадели правых. В феврале он попытался вмешаться в дела Московского комитета, однако получил отпор, а положение Угланова упрочилось. Вскоре после этого сталинское меньшинство потерпело временную неудачу в своих попытках сместить бухаринское партбюро в Институте красной профессуры. В феврале сам Бухарин снова вступил в столкновение со сталинскими протеже, в том числе с Ломинидзе, в Исполкоме Коминтерна, а в марте сталинец Лозовский обрушился на примиренческую политику Томского и его сотрудников по отношению к европейским профсоюзам [43]. Однако в Политбюро руководство продолжало работать в достаточном, хотя и не безупречном, согласии. Предложение Рыкова в начале марта ограничить капиталовложения в промышленность и колхозы натолкнулось на сопротивление, однако был достигнут компромисс. И хотя теперь поползли слухи о конфликте, руководители не подавали видимых признаков того, что между ними существуют разногласия [44]. И в самом деле, за всю первую половину 1928 г. Бухарин только один раз сделался объектом открытой критики, вызванной публикацией старой фотографии, на которой он был изображен с папиросой. Юные пионеры потребовали разъяснить им, нарушил ли он данное за месяц до этого „пионерское обещание” бросить курить [45].

Тут к этой атмосфере подспудно бурлящих разногласий и закулисных политических маневров добавился еще один взрывоопасный момент. 10 марта было объявлено, что в г. Шахты в Донбасском горно-промышленном районе органами ГПУ был раскрыт контрреволюционный заговор технических специалистов, сотрудничавших с иностранными державами. В саботаже и государственной измене были обвинены 55 человек, многие из которых во всем сознались. Совершенно ясно, какую цель преследовал Сталин, раздувая это очевидно сфабрикованное дело в общесоюзный политический скандал. Посредством этого он пытался дискредитировать бухаринскую политику сотрудничества и гражданского мира, рыковское управление государственным аппаратом, под чьим началом состояло большинство беспартийных специалистов, и возглавляемое Томским профсоюзное руководство, несшее номинальную ответственность за надзор за работой спецов. По своему общественному воздействию шахтинское дело почти не уступало зерновому кризису. Оно послужило первым поводом для выдвижения кровавого сталинского тезиса о том, что по мере приближения советской власти к социализму ее внутренние враги станут все больше прибегать к явному и тайному сопротивлению, делая необходимым неуклонное повышение бдительности и усиление государственных репрес-

сий [46]. К 1929 г. параллельно с расширением насильственных мер в деревне беспартийная интеллигенция становилась жертвой нарастающей кампании охоты за ведьмами, массовых увольнений и арестов.

Поначалу шахтинское дело не вызвало прямой реакции со стороны фракционеров. Некоторые сторонники Сталина были встревожены перспективой безудержного „спецеедства”, которым уже успел прославиться генсек [47]. Однако самая большая опасность угрожала правым. Услышав мартовские новости, они созвали срочное заседание Политбюро, на котором доказывали, что беспартийные специалисты играют важнейшую роль в борьбе за индустриализацию страны. Все согласились с необходимостью ускорить подготовку партийных специалистов, на чем теперь особенно горячо настаивал Сталин, однако Бухарин, Рыков и Томский утверждали, что этот вопрос не носит классового характера и не может служить основанием для выпадов против беспартийных работников [48]. Они не ставили под сомнение фактическую сторону шахтинского дела, однако, в отличие от Сталина, публично настаивали на том, что это — отдельный случай, что буржуазные специалисты в подавляющем своем большинстве лояльны, что они незаменимы и что ответственность за шахтинские события и прочие проявления коррупции среди официальных работников лежит также и на руководителях Сталиным местных партийных секретарях [49].

Хотя сталинскую интерпретацию значения шахтинского дела все еще разделяло меньшинство членов Политбюро [50], ценность его для политических амбиций генсека вскоре стала очевидной. В течение нескольких следующих недель, мрачно намекая на политическое вредительство в высших сферах и наличие классового врага во всех прочих местах, он превратил в свое мощное оружие старый партийный лозунг самокритики. Под этим знаменем он затеял настоящий крестовый поход против „бюрократизма” и „консервативных тенденций”, особенно в государственном и профсоюзном аппарате [51]. Это стало неотразимым оружием в руках сталинских агентов; хотя будучи в меньшинстве во многих опорных пунктах правых, они теперь обзавелись законным средством для вербовки сторонников и нападков на пока еще крепко сидевших на своих местах вождей правых. „Самокритика” издавна была боевым кличем большевиков, и бухаринцам пришлось поддержать эту кампанию, ограничившись лишь предостережениями против „злоупотреблений” ею [52].

Так обстояло дело на 6 апреля, когда состоялся первый Пленум ЦК после того, как сталинско-бухаринская коалиция дала трещину. Хотя, по всей видимости, тон выступлений на этом закрытом заседании не всегда был единодушным, Политбюро приложило все усилия к тому, чтобы создать видимость

единого фронта и принять компромиссные резолюции. Большинство делегатов, многие из которых были ответственными работниками из провинции, были настроены в пользу правых, что нашло отражение в резолюциях пленума. Чрезвычайные заготовительные меры были объявлены успешными; было сказано, что они подходят к концу. Однако связанные с ними „перегибы” подверглись полному осуждению, и вся будущая политика, в том числе и „наступление на кулачество”, была определена нэповским языком и, в основном, в бухаринском духе [53]. В одном вопросе Сталин потерпел явное поражение. Очевидно, в связи с шахтинским делом он неожиданно предложил, чтобы подготовка новых специалистов была изъята из ведения наркомата просвещения, возглавлявшегося либералом Луначарским и находившегося под юрисдикцией Рыкова, и передана Высшему совету народного хозяйства, которым руководил Куйбышев. Сообщают, что это предложение было отвергнуто двумя третями голосов [54]. Когда пленум закончился, казалось, что зерновой кризис остался позади, а взгляды и политическая сила правых получили новое подтверждение. Но это было иллюзией.

Насколько притворным было единодушие руководства, обнаружилось сразу после пленума, когда на поверхности оказались внутренние разногласия. Выступая в один и тот же день в Москве и Ленинграде, два виднейших вождя Политбюро — Сталин и Бухарин — совершенно по-разному обрисовали политику партии и положение в стране. Сталин высказывался о „хлебном фронте” с прежней воинственностью, заявил, что шахтинское дело не является „случайностью” и открыл свой крестовый поход за „самокритику”. Тон его выступления был предельно бескомпромиссным: „... мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту”. Хотя объекты его нападок не были названы по именам, можно было догадаться, кто эти руководители, „которые думают, что нэп означает не усиление борьбы”, и хотят проводить в деревне „такую политику, которая всем нравится, и богатым и бедным”. Такая политика не имеет „ничего общего с ленинизмом”, а такой руководитель — „не марксист, а дурак” [55]. Тем временем Бухарин высказался по тем же вопросам в совершенно ином тоне и впервые публично выразил беспокойство по поводу „тенденции” некоторых людей рассматривать „чрезвычайные меры” как почти нормальные и их склонности „отрицать важность роста индивидуальных хозяйств” или переоценивать „вообще методы административного порядка” [56].

В этот момент снова разразился зерновой кризис. Суровая зима, истощение хлебных запасов в деревне и уход крестьян с рынка вызвали новое резкое снижение хлебозаготовок. В конце апреля чрезвычайные меры возобновились с еще большей интенсивностью и в еще больших масштабах, чем прежде. Не-

известно, какую роль играли Бухарин, Рыков и Томский в принятии соответствующего решения, но если даже они и поддержали его, то сделали это, вероятно, скрепя сердце. Хлебные излишки, имевшиеся у кулаков, были исчерпаны еще в первую кампанию, и теперь удар пришелся прямо по середняку, то есть по крестьянскому большинству, у которого еще что-то оставалось. В течение следующих двух месяцев активизация хлебозаготовительных мер и сопровождавшие ее „перегибы” вызвали в деревне широкое недовольство и спорадические восстания. Сообщения о волнениях в деревне и нехватка продовольственных продуктов привели к брожению среди рабочих в городах [57]. Хрупкое согласие среди членов Политбюро не могло вынести такого обострения обстановки, и в мае-июне раскол между бухаринцами и сталинистами оформился окончательно.

До весны 1928 г. казалось, что Бухарин, Рыков и Томский считали возможным уладить разногласия в руководстве и пытались разрешить их внутри Политбюро. Теперь, однако, они — и в особенности Бухарин — были встревожены всевозрастающим экстремизмом и бескомпромиссностью сталинской группы. Различия во мнениях делались все шире и превращались в систему. В центре полемики стояли противоположные толкования текущих затруднений режима, примером которых служили зерновой кризис и шахтинское дело. Бухаринцы настаивали на том, что эти затруднения объяснялись действием вторичных факторов — неподготовленностью государственного аппарата, неудачным планированием, негибкой политикой цен и беспечностью местных работников [58]. Сталин и его окружение, с другой стороны, изображали возникновение трудностей как следствие обстоятельств объективного, структурного свойства, то есть пороков и самой природы нэпа. По утверждению Сталина, помимо попыток кулаков припрятать хлеб, зерновой кризис объясняется и тем, что единоличное крестьянское хозяйство зашло в тупик. И кризис, и шахтинское дело не были переходящими побочными результатами „плохого планирования” и „ряда ошибок”, но свидетельствовали о неизбежном обострении классовой борьбы, и эту борьбу следовало довести до конца [59].

Бухаринский подход требовал умеренных мер, в том числе помощи частным крестьянским хозяйствам, более гибкой политики цен и улучшения работы официальных учреждений. Сталинский — требовал жестких решений. У Сталина еще не было широких альтернатив господствующей бухаринской политике, однако он шел по другому пути, в направлении утверждения и узаконивания „государственной воли”, включая принудительные „чрезвычайные меры” на всех фронтах. В связи с этим он принялся всячески порочить частное сельское хозяйство, объявив колхозы и совхозы единственным выходом из создавшегося

положения [60]. Хотя дискуссия все еще вращалась вокруг сельского хозяйства, последствия ее для политики в области промышленности и подготавливавшегося тогда пятилетнего плана также были весьма важны. Подвергшийся перетряске аппарат ВСНХ под руководством Куйбышева уже выступил против осторожных экономистов Госплана, чьи взгляды на пропорциональное развитие и рыночное равновесие были сходны со взглядами Бухарина. К маю эхо развернувшейся вокруг планирования дискуссии докатилось до Политбюро [61]. Таким образом, на карту были поставлены вся экономическая программа партии и, уже не в первый раз, будущее большевистской революции.

В своей совокупности предложения Сталина ставили под угрозу господствующее бухаринское понимание нэпа как системы гражданского мира и взаимовыгодных рыночных отношений между городом и деревней. Эти предложения находились в резком противоречии с убеждением правых в том, что трудности можно и должно решать „в обстановке и на базе нэпа” [62]. Более того, как жаловался Бухарин, они искажали генеральную линию партии, всего лишь за четыре месяца до этого утвержденную XV съездом. Резолюции съезда были воплощением пересмотренной программы правых и обещали поворот влево к „наступлению на кулачество”, создание на добровольной основе ограниченного коллективизированного сектора и плановое промышленное развитие с повышенным упором на производство средств производства, однако все эти задачи выражались вполне по-бухарински, умеренным языком, и определенно исключали крайние меры. Но Сталин теперь пытался узаконить свою вновь обретенную воинственность и переименовал по-своему эти резолюции, представляя, к примеру, „чрезвычайные меры” как „нормальное” следствие антикулацкой резолюции съезда [63].

Будучи убежденным в том, что сталинские пробные шары „идеологически дезориентировали партию” и перерастали „в новую политическую линию, отличную от линии XV съезда”, Бухарин в мае-июне был вынужден вступить в борьбу. Он предостерег Политбюро, что хлебозаготовительные кампании настраивают против строя не только кулаков, но и все крестьянство в целом, вследствие чего под угрозу ставится программа индустриализации и само политическое будущее партии. Вообразить, будто „все спасение в колхозах” — опасная чепуха. Бухарин призвал к прекращению чрезвычайных мер, серьезной помощи крестьянским хозяйствам и нормализации рыночной ситуации [64].

Бухарин и его сторонники также начали облеченную в эзопские выражения атаку на сталинские взгляды. Выступая 6 мая на VIII съезде ВЛКСМ, Бухарин критиковал безответствен-

ные призывы к „классовой войне” и некоему внезапному рывку в области сельского хозяйства. Три недели спустя он обрушился в своей эмоциональной статье на проповедников „индустриального чудовища”, паразитирующего на сельском хозяйстве [65]. Такие молодые бухаринцы, как Марецкий и Астров, проявили меньше церемонности и в своих напаках поименно называли сталинцев младшего поколения, которые, стремясь спровоцировать партию на решительное столкновение с мужиком, отказались от идеи частного хозяйства в пользу коллективизации, основанной на „обнищании и разорении основных крестьянских масс”, и которые приняли „чрезвычайные меры” „за новую политику партии”, намереваясь проехать „на 107 статье к социализму” [66].

Отношения между Бухариным и Сталиным соответственно ухудшались. Их совместные публичные выступления, несмотря на попытки сохранить видимость единства, становились едва прикрытыми столкновениями [67]. Словесная дуэль приняла острый оборот 28 мая, когда Сталин осмелился появиться в Институте красной профессуры — идеологическом лагере Бухарина, где выступил по поводу „хлебного фронта”. Бичуя аргументы неназванных оппонентов как „пустую либеральную болтовню” и разрыв с ленинизмом, он сделал свое наиболее экстремистское публичное заявление на этот раз по вопросу о крестьянском хозяйстве. Аудитория великолепно поняла, кто именно является объектом его критики, и была совершенно ошеломлена. Примерно в то же время Бухарин стал в частных разговорах называть Сталина представителем неотроцкизма [68].

Тем временем Бухарин пытался утвердить свое влияние в Политбюро. В записках, поддержанных также Рыковым, Томским и Углановым и адресованных членам Политбюро в конце мая и в июне, он подверг критике сталинский курс и подробно изложил свои собственные рекомендации. Бухарин утверждал, что вследствие возникших в Политбюро разногласий в нем нет „ни линии, ни общего мнения”, и политика изо дня в день просто импровизируется, а поэтому на пленуме 4 июля Пленуме ЦК необходимо провести широкую дискуссию по всем спорным вопросам. Хотя Сталин принял „девять десятых” бухаринских рекомендаций, он не сдавался и настаивал на том, чтобы руководство снова выступило с единодушными резолюциями, что в конце концов и произошло. Бухарин жаловался, что Сталин применяет в Политбюро уклончивую и вероломную тактику, сочетавшую ничего не значащие уступки с показным товариществом, рассчитанную, однако, на то, „чтобы выставить нас раскольниками” [69].

К концу июня, несмотря на видимость единства, в руководстве никто не претендовал на его существование, да и оснований для него не было. 15 июня сторонник правых заместитель

наркома финансов М. Фрумкин отправил в Политбюро взволнованное письмо, в котором обстановка в деревне описывалась даже еще более пессимистически, чем ее представлял Бухарин. Фрумкин сообщил, что взгляды его „поддерживаются многими коммунистами“. Политбюро проголосовало за то, чтобы распространить это письмо среди членов Центрального Комитета вместе со своим коллективным ответом. Сталин тут же нарушил это решение и послал личный ответ через Секретариат. Взбешенный Бухарин обвинил его в том, что он обращается с Политбюро как с совещательным органом при генсеке. Сталин пытался утихомирить его лестью: „Мы с тобой — Гималаи, остальные — ничтожество“; Бухарин процитировал его на „диком“ заседании Политбюро, Сталин же громко и ясно все отрицал. Бывшие союзники больше друг с другом не разговаривали, и личные их отношения были полностью порваны. Бухарин теперь читал свои рекомендации вслух и отказывался представлять их в Политбюро в письменном виде: „Ему нельзя дать в руки ни одной бумажки“. Он отзывался о Сталине с „абсолютной ненавистью“, выраженной с откровением: „Это беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти. Меняет теории в зависимости от того, кого он в данный момент хочет убрать“ [70].

Политические разногласия в большевистском руководстве снова обернулись борьбой за власть. Накануне июльского Пленума ЦК обе фракции Политбюро мобилизовали своих сторонников со стороны — „периферию“, как выражался Сталин [71], и вступили в жестокую схватку. Десятью годами раньше Бухарин возглавил базировавшихся в Москве „левых коммунистов“. Угланов и его помощники в Бюро Московского комитета ревностно и безоговорочно поддерживали Бухарина, Рыкова и Томского, используя свое положение в столице, обеспечивали организационную базу кампании против сталинской политики и поведения. Они договаривались со своими союзниками в партийных и правительственных органах, обрабатывали нерешительных и боролись со сталинскими аппаратчиками методами их же собственного аппарата [72]. Кроме того, в министерствах, профсоюзах, центральных партийных органах и учебных заведениях Бухарин, Рыков и Томский взяли за укрепление своего контроля, объединение сторонников и обуздание кампании самокритики, которая, как жаловался один из их союзников, являлась „для Сталина таким же громоотводом, каким когда-то для царизма был еврейский погром“ [73]. Подспудная борьба сопровождалась словесной войной. В газетах, поддерживавших соперничающие фракции, нарастала эзоповская полемика; обе стороны тайно распространяли свои документы.

Цель всей этой деятельности состояла в том, чтобы завоевать на свою сторону большинство в Центральном Комитете, состоявшем из семидесяти одного члена. По мере приближения июльского пленума борьба разгоралась все сильнее. Угланов и москвичи регулярно совещались с делегатами из провинции и, по всей видимости, провели основную работу по обработке их в пользу правых [74]. Однако Бухарин также рассылал своих личных эмиссаров. Так, Слепков в июне отправился в Ленинград. В этой ключевой парторганизации другие бухаринцы Стецкий и Петровский (зав. отделом агитации и пропаганды Ленинградского губкома партии и редактор „Ленинградской правды“) уже развернули агитационную деятельность [75].

В обращении бухаринцев к членам ЦК подчеркивалась срочная необходимость решительно порвать с „чрезвычайными мерами“ и рассматривалась вредная роль Сталина в их проведении. Утверждая, что эти меры дают все ухудшающиеся экономические результаты и создают чреватую опасностью политическую ситуацию в деревне, они настаивали на том, что никуда не годное проведение заготовительной кампании и прочие действия Сталина являются нарушением решений XV съезда партии и последовавших за ним пленумов и что Сталин несет ответственность за сложившееся тяжелое положение. Нападки бухаринцев на политическое самоуправство Сталина и на его „азиатскую политику“ были составлены в сильных выражениях и, по-видимому, были направлены на смещение его с поста генсека (очевидно, на эту должность претендовал Томский, хотя, по логике вещей, кандидатом на нее мог быть и Угланов, активно добивавшийся смещения Сталина) [76]. Неприсоединившиеся делегаты „страшно боялись раскола“ и „испугались, когда речь зашла о возможной смене Сталина“, но бухаринцы поначалу были ободрены их поддержкой в политических вопросах, которая, несомненно, явилась следствием новых известий о крестьянских восстаниях [77].

Весной и ранним летом 1928 г. политическое могущество правых должно было выглядеть вполне внушительным; это опровергает мнение о том, что Сталин уже являлся к тому времени всемогущим генсеком, каким он сделался в последующие годы. В дополнение к престижу и влиятельности официальных должностей Бухарина, Рыкова и Томского, голоса их обладали значительным весом в исполнительных органах партии. В состоявшем из девяти членов Политбюро они опирались на поддержку принадлежавшего к правым Калинина и нейтралитет или нерешительность Ворошилова, Куйбышева и Рудзутака и надеялись заручиться большинством против Сталина и Молотова [78]. Ощутимое представительство москвичей и профработников также обеспечивало им большинство в Оргбюро и достаточно сильное меньшинство – двое против трех сталинистов – в самом

Секретариате [79]. В случае решающего голосования в ЦК картина была бы менее ясной: Бухарин, по всей видимости, рассчитывал вначале разделить 30 голосов из 71 примерно поровну со Сталиным, если остальные останутся нейтральными [80].

За пределами руководящих партийных органов правые казались еще сильнее. Профсоюзная „вотчина” Томского, претендовавшая выступать от имени 11 млн. рабочих, обеспечивала дополнительную организационную базу и представляла собой влиятельную общественную группу. Центральные наркоматы (в особенности Наркомзем, Наркомтруд, Наркомфин, Наркомпрос и Госплан), находившиеся под началом рывковского Совнаркома и игравшие главную роль в разработке и проведении социальной политики партии, все еще придерживались почти исключительно бухаринских взглядов [81]. Влияние правых распространялось даже на органы госбезопасности, которые теперь именовались ОГПУ. Сталин уже принялся налаживать в органах личные связи, которые послужат ему впоследствии (в 1928 г. Бухарин жаловался, что телефон его прослушивается и что за ним установлена слежка). Но если глава ОГПУ В. Менжинский поддерживал генерального секретаря, то два его заместителя, Г. Ягода и М. Трилиссер, склонялись к правым [82]. Наконец, что было весьма важно на данном этапе, бухаринцы контролировали органы, формировавшие партийное общественное мнение. Помимо высших учебных заведений и двух официальных органов Центрального Комитета (газеты „Правда” и журнала „Большевик”), Бухарин со своими союзниками держали в руках почти все крупнейшие столичные газеты, равно как и главную ежедневную газету второго города страны — „Ленинградскую правду”. Сталин контролировал лишь одну важную московскую газету — „Комсомольскую правду”, орган ЦК ВЛКСМ [83].

Как показали последующие события, политические позиции правых были куда более уязвимы, чем можно было ожидать, судя по занимаемым ими постам и по числу их союзников. В числе прочего, в нескольких важнейших аспектах стали давать себя знать преимущества, обретенные Сталиным в течение шестилетнего манипулирования партийным Секретариатом: в каждой „вотчине” правых имелось сильное сталинистское меньшинство; практически все поначалу колебавшиеся руководители перешли на его сторону; за ним шло подавляющее большинство руководителей второго ранга, в особенности партийных секретарей, являвшихся кандидатами в члены высоких руководящих органов, в том числе в Политбюро и ЦК [84]. Если Бухарин и его друзья формально господствовали в важнейших органах однопартийного государства и монополизировали символы его власти, то Сталин контролировал могущественный, находя-

щийся в тени кабинет, „партию в партию” [85]. Когда равновесие сил в верхах, особенно в Политбюро, стало смещаться в пользу Сталина, его сторонники взялись повсеместно вытеснять с насиженных мест руководителей, верных правым или симпатизировавшим им, причём этому процессу способствовало десятилетие бюрократической централизации и беспрекословного исполнения начальственных приказаний.

Однако когда 4 июля начался Пленум Центрального Комитета, то и участникам, и сторонним наблюдателям все еще представлялось, что у правых имеется перевес. Этим можно объяснить нежелание Сталина идти на столкновение и его многочисленные уступки по кардинальным вопросам [86]. Этим также объясняется то обстоятельство, что Бухарин был поражен происходившим на пленуме, официальные решения которого имели мало отношения к событиям, в действительности развернувшимся во время недельных заседаний. На первый взгляд бухаринцы одержали победу. Хотя главная резолюция являлась компромиссной, она была составлена (в последний раз) в духе правых. В ней подтверждалось право индивидуальных крестьянских хозяйств на существование, подчеркивалась важность их роли при нэпе, давалось обещание прекратить кампании „чрезвычайных мер” и провозглашалось, вопреки возражениям со стороны Сталина, повышение цен на зерно. Резолюция была выдержана в таких примирительных тонах, что высланные левые оппозиционеры выражали сожаление по поводу торжества правых. Троцкий предсказывал, что Бухарин и Рыков скоро станут травить Сталина как троцкиста, точно так же, как Сталин травил Зиновьева [87].

На самом-то деле Бухарин понимал, что пленум ознаменовал крупную неудачу правых. Теперь раскол частично выплыл на поверхность в Центральном Комитете [88]. Если руководители из Политбюро продолжали сохранять хорошую мину при плохой игре и, главным образом, критиковали друг друга косвенно, то сторонники их обменивались острыми недвусмысленными выпадами. Молотов, Микоян и Каганович выступали в пользу Сталина, а Стецкий, Сокольников и Осинский — в пользу правых (Осинский, в течение многих лет принадлежавший к левому крылу партии, теперь возобновил политическое содружество с Бухариным, ведущее свое начало от их московской молодости). По мере развертывания ожесточенной дискуссии по крестьянскому вопросу надежды правых на большинство начали исчезать. Бухарин рассчитывал на поддержку имевших большой вес делегаций с Украины и из Ленинграда, однако те отказались вмешаться в спор, а ленинградцы открыто отмежевались от Стецкого, бывшего членом их собственной делегации [89]. Многие делегаты были искренне озабочены нарастающей волной крестьянских волнений и проявляли колебания, но не хотели

резко критиковать Сталина или одобрить широкие уступки крестьянству за счет индустриализации. Они не были настроены просталински, однако отошли и от правых; в лучшем случае, как полагал Бухарин, они „еще не понимали глубины разногласий”. Более того, выяснилось, что правые утратили большинство в Политбюро. По отзыву Бухарина, „Ворошилов и Калинин изменили нам в последний момент. Я думаю, что Сталин держит их какими-то особыми цепями” [90].

Почувствовав настроение делегатов, сталинская группа осмелела. Молотов открыто критиковал редакционные статьи „Правды” по поводу заготовительной кампании и, таким образом, косвенно и самого Бухарина. Каганович защищал „чрезвычайные меры” с таким рвением, что оправдывал их „во все времена и при всех обстоятельствах” [91]. Перед концом пленума Сталин и Бухарин выступили с программными речами. Терявший уже энтузиазм Бухарин попытался расшевелить Центральный Комитет. Он утверждал, что никакая продолжительная программа индустриализации невозможна без процветающего сельского хозяйства, которое в данный момент катится к упадку из-за реквизиций. Более того, столкнувшись с „волной массового недовольства” и „единым фронтом села против нас”, строй оказался на грани полного разрыва с крестьянством: „Мы имеем перед собой два звонка, а третий на очереди” [92]. Возбужденные сталинисты обозвали его паникером. На генсека это выступление тоже не произвело большого впечатления. Он отмахнулся от предупреждения правых, назвав их философию безрадостной, а самих их „капитулянтами”, и говорил о классовой войне и коллективизации, а затем вдруг привел теоретическое обоснование новой, неконкретизированной еще политики в крестьянском вопросе: поскольку у Советской России нет колоний, крестьянство должно платить «нечто вроде „дани”» в фонд индустриализации. Бухарин был совершенно поражен. Его бывший союзник взял на вооружение не только аргументацию Преображенского, но и его драконовскую риторику [93].

Формально пленум ничего не изменил. Бухарин и его союзники не потерпели прямого поражения, резолюции были по большей части выдержаны в их духе, а большинство делегатов были скорее сбиты с толку, нежели побуждены встать на чью-то сторону. Однако Бухарин чувствовал, что правые оказались в опасном положении. Обладая меньшинством в Политбюро и оказавшись не в состоянии объединить вокруг себя Центральный Комитет, они стояли лицом к лицу с безжалостным, искусственным противником. Они считали, что он намерен их „зарезать” и что „политика Сталина ведет к гражданской войне. Ему придется заливать кровью восстания” [94]. Испуганный таким оборотом дела Бухарин предпринял отчаянный шаг, который, когда о нем стало известно, вызвал губительные последствия. В наруше-

ние партийной дисциплины он пошел на личные контакты с опальной оппозицией Зиновьева и Каменева. 11 июля, за день до закрытия пленума, он тайно посетил Каменева.

О том, что произошло между ними, мы знаем из отрывочных записей Каменева, которые попали к троцкистам и были ими тайно опубликованы полгода спустя [95]. Поверив инспирированным Сталиным слухам о том, что генсек сам намеревается пойти на примирение с левыми, Бухарин пришел с целью привлечь Зиновьева и Каменева на свою сторону или убедить их сохранять нейтралитет. Он, Рыков и Томский согласились в том, что „было бы гораздо лучше, если бы [мы] имели сейчас в Политбюро вместо Сталина Зиновьева и Каменева... Разногласия между нами и Сталиным во много раз серьезнее всех бывших у нас разногласий с вами”. Когда Бухарин, который был „потрясен чрезвычайно”, излагал Каменеву историю раскола, он „порой производил впечатление человека, знающего, что он обречен”. Бухарина преследовала подлость Сталина—„Чингисхана”, линия которого „губительна для всей революции”. Очутившийся в гамлетовской ситуации Бухарин хотел, но не мог вести борьбу в открытую, ибо запуганный Центральный Комитет выступил бы против всякого виновника открытого раскола. „Мы скажем — вот человек, который довел страну до голода и гибели. А он — они защищают кулаков и нэпманов”. Бухарин мог надеяться лишь на то, что его осторожные действия или какие-то внешние события покажут членам ЦК губительную роль Сталина. С этими словами он ушел, взяв с Каменева клятву хранить все в тайне и предупредив его, что за ними следят. В течение этого года они встретятся еще дважды, с чувством все той же подавленности и беспечности [96].

Июльский пленум явился поворотным пунктом борьбы. Хотя он не принес Сталину решающей политической победы и не уполномочил его проводить свою собственную программу, он придал ему смелости и оставил правых в руководстве в меньшинстве. Сталин все еще бился над выработкой своей собственной политической линии и не имел пока уверенности в своем политическом могуществе, а правые молчаливо соглашались на сокрытие раскола, так что видимость единства в Политбюро продолжала сохраняться. Но преимущество было теперь на стороне Сталина, который воспользовался им в другой области. 17 июля в Москве открылся VI Всемирный конгресс Коминтерна, длившийся шесть недель. В течение всего этого времени шла жестокая схватка между бухаринцами и сталинистами за главенство в этой международной организации и в проведении коммунистической политики за границей.

Как выяснилось, летом 1928 г., когда полностью выявились дискуссионные вопросы, речь шла о политике Коминтерна за предыдущие семь лет и особенно о том, как Бухарин осущест-

влял коминтерновскую стратегию единого фронта начиная с 1925–1926 гг. Эта дискуссия разворачивалась так же, как и спор по вопросам внутренней политики. Пересмотр линии Коминтерна начался еще по инициативе Бухарина в 1927 г. после провалов в Китае и на Западе. И здесь он воспринимал поворот влево не как резкий разрыв, а как умеренное изменение политической линии в направлении более независимой коммунистической деятельности и менее активного сотрудничества в верхах с европейскими социал-демократами. В конце 1927 г. раздались голоса, призывавшие к большей воинственности, однако власть Бухарина в Коминтерне и его политическая линия впервые подверглись прямым нападкам лишь в 1928 г. при поддержке, а затем и активном вмешательстве Сталина. Разведка боем произошла без большого шума в феврале и в марте на заседании ИККИ и на IV конгрессе Профинтерна [97]. До начала июля Сталин уже открыто критиковал – скорее всего на Пленуме ЦК – составленный Бухариным проект программы Коминтерна (третий и наиболее далеко идущий с 1922 г.), которую должен был утвердить предстоящий конгресс. „Программу во многих местах мне испортил Сталин”, – сказал Бухарин Каменеву [98].

Борьба по вопросам международной политики развернулась вокруг противоречивых оценок состояния „здоровья” капитализма на Западе и вероятности скорого образования революционной ситуации. Таким образом, она вылилась в разногласия по поводу природы „третьего периода”, начало которого было официально провозглашено и по-разному определено в 1927 г. Вкратце сталинисты теперь утверждали, что развитые капиталистические страны, от Германии до США, находятся на краю глубокого внутреннего кризиса и революционных потрясений. Исходя из этого, они выводили три тактических требования. Во-первых, зарубежным коммунистическим партиям следует быть готовыми к битве и для этого взять радикально независимый курс, отказаться от какого бы то ни было сотрудничества с социал-демократами и, более конкретно, создать повсеместно соперничающие профсоюзы. Во-вторых, они должны избавиться от влияния реформистов на рабочий класс, объявив главным врагом рабочего движения социал-демократические партии, которые, по утверждению сталинистов, переходят от символического реформизма к „социал-фашизму”. В-третьих, всем компартиям полагается подготовиться к революционной битве очищением своих рядов от инакомыслящих, особенно от „правых уклонистов”, которые в новых условиях представляют собой главную угрозу изнутри [99].

Это уже был решительный отход от коминтерновской политики Бухарина. Как мы уже видели, его оценка ситуации в развитых капиталистических странах, пересмотренная и выдвину-

тая в 1926–1927 гг. и затем на VI конгрессе Коминтерна, вытекала из его довоенной теории „государственного капитализма”. Капитализм „третьего периода” характеризовался, по Бухарину, не внутренним разложением, а дальнейшей стабилизацией на более высоком техническом и организационном уровне. Революционные потрясения неизбежны, однако они произойдут на Западе в результате „внешних противоречий”, как следствие империалистической войны, а не благодаря изолированным внутренним кризисам. В связи с этим, по мнению Бухарина и его последователей, утверждение о том, что западный капитализм стоит на грани революционного взрыва, было „в корне неправильно, политически вредно и грубо ошибочно”; выдвигать его — значило „утерять ... контакт с действительными отношениями” [100]. Продолжающееся развитие государственно-капиталистических систем требовало единения рабочего класса, а не донкихотских сектантских авантюр, чреватых изоляцией компартий и трагедией для рабочего класса [101].

Химерическое представление о социал-демократии как о „социал-фашизме”, выдвинутое в начале 20-х гг. Зиновьевым и превращенное Сталиным в политическую концепцию, приведет к особенно трагическим последствиям. В 1928 г. фашизм был для коммунистов всего-навсего расплывчатым и малоизученным реакционным явлением, отождествлявшимся, главным образом, с Италией Муссолини. Опасность гитлеризма была еще очень далеко. В отличие от большинства коминтерновских новшества идея о том, что социалисты состоят в некотором родстве с фашистами и представляют еще большее зло, по всей видимости, пришла Сталину по душе задолго до этого. В 1924 г. он произнес фразу, которой было суждено сделаться ритуальным лозунгом коминтерновских провалов 1929–1933 гг.: „Социал-демократия есть объективно-умеренное крыло фашизма... Это не антиподы, а близнецы” [102].

Хотя дискуссия 1928 г. по поводу социал-фашизма не освещалась в печати, представляется очевидным, что Бухарин возражал против принятия такой концепции в качестве руководящего политического принципа [103]. Он сам во многом содействовал тому, что большевики враждебно относились к вождям социал-демократии с 1914 г., и его нынешние воззрения не исключали выпадов против них как ренегатов и столпов капиталистического строя. Они, однако, исключали сбрасывание со счетов социал-демократических партий и профсоюзов, представлявших подавляющее большинство европейских рабочих, как „социал-фашистов” и главного врага рабочего движения. Интересы политического компромисса на VI конгрессе Коминтерна, очевидно, заставили его признать, что „социал-демократии свойственны *социал-фашистские тенденции*”. Однако он немедленно добавил, что „было бы неразумно валить социал-демократию в одну кучу

с фашизмом". Более того, он предвидел скрытый вывод о том, что коммунисты могут объединиться с фашистами против социалистов, и оспаривал его: „В нашей тактике не исключена возможность обращения к социал-демократическим рабочим и даже к некоторым низовым организациям социал-демократии, что же касается фашистских организаций, то к ним мы не можем обращаться” [104].

Каждый из этих политических диспутов проходил в ожесточенных спорах на закрытых заседаниях VI конгресса Коминтерна, который фактически состоял из двух конгрессов. Как политический секретарь и номинальный глава Коминтерна Бухарин властвовал на официальном открытом конгрессе. Он открывал и закрывал заседания, выступил с тремя основными докладами и принимал всяческие почести и бурные овации. Внешне это выглядело как вершина его карьеры в международном движении. За кулисами, однако, происходил „коридорный конгресс”, направленный против его власти и политической линии и отдававшийся слабым эхом в различных публичных выступлениях. Он начался, когда сталинское большинство русской делегации изменило тезисы главного бухаринского выступления, и охватил крупнейшие зарубежные делегации, которые раскололись (по принципиальным или карьеристским соображениям, либо из привычки подражать русской партии) на бухаринские и сталинские фракции. На конгрессе стали распространяться всякие слухи, поскольку сталинские агенты начали шептывать, что Бухарин страдает „правым уклонизмом” и „политическим сифилисом” и что его ждет Алма-Ата, место ссылки Троцкого. Две недели спустя шум на „коридорном конгрессе” настолько усилился, что советское Политбюро сочло необходимым сделать коллективное заявление, отрицавшее наличие раскола в его рядах. Вряд ли кто-нибудь поверил в это опровержение, и антибухаринская кампания продолжалась с прежней силой [105].

Результаты официального конгресса часто толкуются неверно. Он не принял решения о новом ультралевом курсе. Это произошло годом позже при единоличном правлении Сталина. Летом 1928 г. в руководстве важнейших заграничных партий все еще имелись сильные группировки, иногда составлявшие большинство, которые поддерживали Бухарина или по каким-то другим причинам не симпатизировали радикальным предложениям Сталина. Среди них были немецкие коммунисты, окружавшие Генриха Брандлера, Августа Тальгеймера и Артура Эверта, официальное руководство американской компартии во главе с Джемсом Ловстоном и итальянское коммунистическое руководство во главе с Пальмиро Тольятти (Эрколи) [106]. Единодушные резолюции конгресса, равно как и его программа, были, таким образом, следствием с трудом достигнутых компромиссов и, несмотря на содержащиеся в них поразительные

противоречия, являлись главным образом бухаринскими [107]. Впоследствии бухаринцы будут с полным основанием утверждать, что экстремистский курс 1929–1933 гг. представляет собой искажение решений VI конгресса Коминтерна [108].

И тем не менее конгресс ознаменовал очередную важную победу Сталина. Он дал ему три преимущества. Во-первых, двусмысленные формулировки его резолюций серьезно компрометировали бухаринскую международную политику и обеспечивали подобие правомочности экстремистской линии Сталина, которая уже начинала обретать форму. Во-вторых, „коридорный конгресс” перетянул многих зарубежных коммунистов на его сторону, мобилизовал сильные просталинские фракции в крупнейших партиях и по существу положил конец бухаринскому контролю над коминтерновскими делами. После закрытия конгресса 1 сентября Бухарину остались верны лишь три значительные фигуры из состава его постоянного московского аппарата: швейцарец Жюль Эмбер-Дро, немка Клара Цеткин и итальянец Анжела Таска (Серра) [109]. В-третьих, главная уступка Бухарина на конгрессе принесла ему больше всего вреда. Отказавшись от своих прежних формулировок, он поддержал сталинский тезис о том, что „центральную опасность (в Коминтерне) теперь представляет *„правый уклон”*. Он пытался свести эту уступку к минимуму, представляя „правый уклонизм” некоей безличной тенденцией, с которой следует бороться идеологическими, а не организационными методами, и цитируя неопубликованное письмо Ленина, адресованное ему и Зиновьеву в начале 20-х гг.: „...если вы будете гнать всех не особенно послушных, но умных людей и оставите у себя лишь послушных дураков, то партию вы загубите *наверняка*”. Эти оговорки никак не помогли Бухарину. Теперь Сталину только оставалось применить хулительную категорию „правого уклона” к русской партии и погубить самого Бухарина [110].

После окончания конгресса Коминтерна между бухаринцами и сталинистами остались жестокие разногласия по поводу международной политики, но фокус дискуссии снова переместился на внутренние дела. Вне сферы разногласий пока еще находился один важнейший вопрос — темпы и методы индустриализации. Он всплыл 19 сентября, когда Куйбышев, выступавший от имени сталинской фракции, провозгласил новую программу индустриализации. Переработанная бухаринская программа, принятая на XV съезде, ставила далеко идущие цели, однако была составлена в сдержанном духе. В ней делался упор на сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, на производство предметов потребления и средств производства и недвусмысленно отвергалась формула — „максимум вложе-

ний в тяжелую индустрию” [111]. Куйбышев безоговорочно поддержал эту формулу, которая до сих пор была боевым кличем левых. Он заявил, что кризисы и опасности как внутри страны, так и за ее пределами требуют резкого ускорения и концентрации капиталовложений в тяжелую промышленность любой ценой, включая нарушение устойчивости экономики и активное сопротивление населения [112]. Несколько недель спустя Сталин выложил свои собственные соображения на этот счет и подвел под новую философию индустриализации исторические основания. Он пояснил, что необходимость максимальных капитальных вложений в промышленность диктуется традиционной отсталостью России. Он напомнил своим слушателям-партийцам о Петре Великом (еще одном революционере сверху), который, пытаясь выбраться из этой отсталости, „лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны” [113].

Бухарин ответил своей знаменитой статьей „Заметки экономиста” [114]. ВСНХ во главе с Куйбышевым уже приступил при поддержке Сталина и смятении правых к расширению задач намечавшейся пятилетки. „Заметки экономиста” содержали полную аргументацию по этому политическому вопросу. Бухарин снова повторил убеждение правых в необходимости пропорционального, „более или менее бескризисного развития” и плана, который бы определил и обеспечил „условия *подвижного экономического равновесия*” между промышленностью и сельским хозяйством и в рамках самого промышленного сектора. Он защищал существующий уровень капиталовложений, однако возражал против какого-либо его увеличения. Далее он выступил с детальным обличением „авантюризма” Сталина и Куйбышева.

Два обстоятельства особенно вывели его из себя. Увеличение капиталовложений без надлежащего подъема сельского хозяйства, а тем более в разгар сельскохозяйственного кризиса, означало небрежение важнейшей основой промышленности и должно было привести к всеобщей разрухе. Более того, в дополнение к нехватке хлеба и технических культур промышленность уже отставала от своих собственных возросших потребностей, приводя к острому дефициту материалов и образованию многочисленных узких мест. Дальнейшее повышение капитальных затрат могло лишь сорвать завершение начатых строительных объектов, пагубно отозваться на всем промышленном секторе и в конечном счете снизить темп развития. Вместо этого следовало установить верхний предел промышленного развития и целесообразно расходовать соответствующие средства на „реальное” строительство, „ибо из „будущих кирпичей” нельзя строить „настоящие фабрики””. По поводу бравады сталинских индустриализаторов Бухарин добавил: „...можно бить себя в

грудь, клясться и божиться индустриализацией, проклинать всех врагов и супостатов, но от этого дело ни капельки не улучшится”.

Когда „Заметки экономиста” появились в „Правде” 30 сентября 1928 г., они вызвали большое брожение в партии. Хотя мишенью их оставались неназванные по именам сверхиндустриализаторы троцкистского толка, эта длинная и составленная в сильных выражениях полемическая работа была явным выпадом против сталинской группы. В „Заметках” Бухарин ближе всего подошел к приданию гласности происходившей борьбы. Его сторонники распространяли статью и рекомендовали ее как руководство к действию, тогда как сталинисты, тайно пытавшиеся ее запретить, начали в печати кампанию в защиту своего подхода к индустриализации. 8 октября сталинское большинство в Политбюро, вопреки возражениям Бухарина, Рыкова и Томского, осудило публикацию статьи „без ведома ЦК” [115]. Политические разногласия теперь охватывали все вопросы и, по видимому, не оставляли места для компромисса. Разрешить их могло только решающее политическое столкновение.

В конце лета и осенью 1928 г. Сталин, заручившись санкцией большинства в Политбюро, перешел в наступление и безжалостно двинулся на устранение политической базы правых. Начались грубые попытки подорвать власть Рыкова в высших государственных органах; был уволен ряд сочувствовавших правым руководящих работников из Москвы и республик. В частных разговорах Сталин чернил Томского как „злого человека и не всегда чистоплотного” (безусловно, классический образчик лицемерия); его профсоюзное руководство критиковалось в сталинистской печати за всевозможные прегрешения, в том числе за препятствование росту производительности труда [116]. То же самое происходило в августе и сентябре в московской парторганизации, где на Угланова и поддерживавших его секретарей райкомов обрушился огонь кампании „самокритики”, направленный против „правого оппортунизма” [117]. Тем временем бухаринское партбюро Института красной профессуры было наконец заменено сталинистами. А в Коминтерне все сужающийся круг сторонников Бухарина вел безнадежную борьбу за контроль над аппаратом Исполнительного Комитета, тогда как сам он был не в силах прекратить наступление против коминтерновских „правых”, особенно в важнейшей германской компартии [118].

Столь же большое значение имел захват Сталиным ведущих партийных органов печати. После того как Петровский подверг критике речь генсека о „дани” на крестьян, его в дисциплинарном порядке перевели с должности редактора „Ленинградской правды” в крошечную провинциальную газету [119]. Примерно в то же самое время, скорее всего в августе или в сентябре, мо-

лодые бухаринцы — редакторы „Правды” и „Большевика”: Слепков, Астров, Марецкий, Зайцев и Цетлин — были смещены со своих должностей и заменены сталинистами. Бухарин оставался главным редактором „Правды” и вместе с Астровым все еще входил в редколлегию „Большевика”, состоявшую из семи человек, однако он больше не определял редакционную политику и содержание публикаций [120]. Такой поворот событий имел огромное значение. Вплоть до осени эти авторитетные издания Центрального Комитета разъясняли дискутируемую политику в бухаринском духе, таким образом умеряя официальный голос партийного руководства и регулируя его линию для низовых работников [121]. Теперь же, хотя все еще появлялись выпадающие из общего хора статьи и речи бухаринцев, официальный голос партии стал сталинистским. Этот поворот совпал с началом в середине сентября резкой кампании в печати против все еще непоименованных носителей „правой опасности” в партии. Такая прозрачная анонимность не вуалировала неофициальную кампанию против правых: к октябрю сталинисты уже исподтишка вешали Бухарину ярлык „паникера” и „врага индустриализации и коллективных хозяйств” [122].

Несмотря на то что все эти события сильно подорвали позиции Бухарина, они не изменили непосредственно шаткого соотношения сил в Центральном Комитете, в котором именно и должен был решиться исход борьбы. Здесь ключевую роль играла московская парторганизация, которая продолжала безнаказанно выступать против Сталина, что не могло пройти мимо внимательного взгляда партийных секретарей по всей стране. После июльского пленума москвичи твердо защищали бухаринскую политику, в том числе и в области легкой промышленности, в которой они были особо заинтересованы. Угланов, бывший стойким и решительным противником, даже перешел в контрнаступление. Вместе со своими сподвижниками он начал кампанию в прессе, убеждая антисталинистов не бояться слова „уклон”, называя разговоры о правой опасности „клеветой” и „слухами” и косвенно намекая, что Сталин является нерадивым генеральным секретарем [123]. Их смелость беспокоила даже Бухарина, который предостерегал Угланова, дававшего повод Сталину для вмешательства в московские дела [124].

Учитывая эффективность углановской политической машины в прошлом, надо признать, что Сталину удалось замечательно быстро свергнуть московское партийное руководство. В первые недели октября Угланов столкнулся с повальным неповиновением в партийных низах, оказался не в состоянии сменить и перемещать работников в своей собственной организации и вынужден был сместить двух своих наиболее активных секретарей райкомов, Рютина и Пенькова. Безнадежность его положения проявилась на широком заседании Московского комитета, про-

ходившем 18–19 октября. Лица, подстрекаемые и санкционируемые директивами сталинского центрального аппарата, подвергли резкой критике деятельность Угланова в московской парторганизации и его терпимое отношение к „уклонам от правильной ленинской линии”. 19 октября на совещании выступил сам Сталин, говоривший тоном победителя. Смысл его речи сводился к настоятельной необходимости неуклонной борьбы с существующей „в партии правой, оппортунистической опасностью”, а также с теми коммунистами, которые принадлежат к „примиренческому течению в отношении правого, открыто оппортунистического уклона”. Сделав скидку на то, что верототступничество является еще лишь „тенденцией, склонностью” и не назвав еретиков по именам, он тем не менее указал на серьезность угрозы: „... несомненно, что победа правого уклона в нашей партии развязала бы силы капитализма, подорвала бы революционные позиции пролетариата и подняла бы шансы на восстановление капитализма в нашей стране” [125].

Оказавшиеся в меньшинстве и разбитые наголову Угланов с несколькими помощниками выступили с более или менее покаянными речами, но это им не помогло. Последующее смещение ряда работников с высоких постов положило конец их главенству в московской парторганизации (19 октября). Угланов и его заместитель Котов продержались на своих постах до 27 ноября, когда их официально заменили Молотовым и К. Бауманом. Последовала массовая чистка сторонников Бухарина и сочувствовавших ему работников на всех уровнях московской организации [126]. Полнота разгрома старого московского руководства символизировалась тем обстоятельством, что она-лы не избежал даже М. Лядов, ректор Коммунистического университета им. Свердлова и уважаемый член Московского комитета, состоявший в партии с момента ее основания и являвшийся одним из создателей московской партийной организации [127].

Сталинская расправа над москвичами была тяжким ударом для Бухарина, Рыкова и Томского и, возможно, решающим эпизодом борьбы за власть. Помимо того, что этот разгром лишил их наиболее важной организационной базы, он сделался показательным примером для нейтральных или колеблющихся членов Центрального Комитета по всей стране. Он произошел за месяц до ноябрьского пленума и продемонстрировал, что даже крупнейшая парторганизация страны, руководимая кандидатом в члены Политбюро и семью членами ЦК и находящаяся в союзе с влиятельной тройкой в Политбюро, не смогла противостоять сталинскому центральному аппарату. Все парторганизации получили инструкции изучать московские документы [128]. Какие бы сомнения не имелись у некоторых партийцев относительно сталинской политики, никто не был готов пойти на такой же риск.

Бухарин безучастно наблюдал за всеми этими событиями со стороны. Его обычный летний отпуск был отложен из-за конгресса Коминтерна, так что он отправился из Москвы в Кисловодск в начале октября. Он вел себя примерно так же, как Троцкий в 1924 г.: оставался на Кавказе, пока громили его союзников и друзей, и не только не оказывал открытого сопротивления, но (насколько об этом можно судить по документам) даже не сделал ни одного символического жеста, чтобы придать им воодушевления. Его олимпийское спокойствие было наконец нарушено в первую неделю ноября, когда он узнал, что Рыков идет на попятную в дискуссии, ведущейся в Политбюро по поводу плана индустриализации на 1928—1929 гг. Бухарин немедленно вылетел в Москву; по дороге его самолет дважды задерживался сталинскими агентами, делавшими вид, что их очень беспокоит здоровье Бухарина. Наконец он прибыл в Москву 7 ноября. Боевой дух вернулся к нему [129].

Последовала неделя бурных заседаний Политбюро, подготавливавших Пленум ЦК, который должен был состояться 16 ноября. На этих заседаниях произошла новая серия яростных стычек между Бухариным и Сталиным. Бухарин призывал к коренному повороту политической линии, в том числе к уменьшению предложенных Сталиным капитальных затрат и снижению чрезмерного карательного налогообложения зажиточных крестьян. Затем он предъявил политический „ультиматум“ с требованием решительно прекратить кампанию и организованные преследования, направленные против него и его сторонников. Когда Сталин уклонился от официального обсуждения этих требований, Бухарин назвал его „мелким восточным деспотом“ и вышел из комнаты. Через несколько минут он, Рыков и Томский подали написанные заранее заявления об отставке. Сообщают, что, принимая эти заявления, Сталин „был бледен“ и „руки у него тряслись“. Он не был готов пойти на разрыв с открытой бухаринской оппозицией и рисковать своей, еще не совсем оформившейся политикой и согласился на компромисс [130].

И снова, с прежней неотвратимостью, сталинские уступки и бухаринские победы оказались пустым звуком. В обмен на номинальную поддержку Бухариным, Рыковым и Томским принятых на пленуме резолюций и предоставленное Рыкову право выступить на пленуме с тезисами по индустриализации Сталин, видимо, согласился несколько уменьшить капиталовложения и прекратить преследования сторонников Бухарина. Первая его уступка была настолько минимальной, что явилась крупным поражением правых, а второе обещание он просто игнорировал [131]. В соглашение входило также, по всей видимости, назначение Угланова наркомом труда, что тоже было сомнительным успехом для правых, поскольку он сменил на этом посту буха-

ринского союзника — сотрудника Томского Шмидта. В любом случае должность Угланова давала ему мало власти, и пробыл он на ней недолго [132].

Достигнутый компромисс дал фракциям в Политбюро возможность проявить мнимое единодушие на Пленуме ЦК. Однако видимость эту соблюдали без особого рвения, а заседания пленума принесли правым явное поражение. Осторожный доклад Рыкова о промышленности был встречен шумным неодобрением сторонников генсека [133]. Затем Сталин выступил с речью, выдержанной в более резких, чем когда-либо, тонах, на тему „о необходимости иметь побольше капитальных вложений” (иначе гибель и опасность „правого уклона”). Что еще более важно, хотя резолюции пленума отражали бухаринское влияние (или сталинскую нерешительность) в области сельского хозяйства, они впервые были в значительной степени сталинскими по содержанию. Они одобряли сталинский подход к индустриализации, называли „правый уклон и примиренчество” главной опасностью и объявляли первую после 1921 г. широкую партийную чистку — на этот раз еще бескровное удаление нежелательных элементов. Хотя последняя резолюция была направлена против „чуждых элементов”, не могло быть сомнений, кто является ее настоящей мишенью [134]. Будучи не в состоянии вмешаться в происходящее, но не желая своим присутствием санкционировать решения, Бухарин бойкотировал пленум [135].

Если вообще нужны были дополнительные доказательства, то бесполезность компромисса со Сталиным была снова продемонстрирована месяц спустя, когда он завершил завоевание „вотчин” Бухарина и Томского. Во время одного из своих редких выступлений в Коминтерне он лично подал сигнал к захвату этой международной организации. Это произошло на заседании ИККИ 19 декабря. На повестку дня был поставлен вопрос о твердой антисталинской оппозиции в руководстве немецкой компартии. Заклеймив „трусливый оппортунизм” бухаринских сторонников в Исполкоме — Эмбер-Дро и Таски, Сталин предложил изгнать из партии немецких правых и „примиренцев”: „...нельзя терпеть дальше существование таких людей в составе Коминтерна” [136]. Несмотря на протесты Бухарина в Политбюро, скоро последовала волна исключений, затронувшая, в числе прочих, Брандлера и Тальгеймера. Параллельно шла подготовка к репрессиям и в других партиях, и в 1929 г. произошли массовые исключения зарубежных коммунистических руководителей, бывших союзниками Бухарина или сочувствующих ему [137]. Сталинский захват центрального аппарата Коминтерна символизировала фигура Молотова, пришедшего там к власти и не обладавшего необходимыми данными для работы в области международной политики, как и сам Сталин.

Падение Томского, чему предшествовала такая же закулисная подрывная деятельность, как и в московской парторганизации, произошло на VIII съезде профсоюзов 10–24 декабря. К началу ноября сталинская кампания дискредитации руководства спровоцировала жалобы со стороны профсоюзных работников на „такую атмосферу, что совершенно невозможно работать” [138]. После открытия съезда Томский и его сторонники в руководстве профсоюзов оказались в меньшинстве среди партийных делегатов, контролировавших повестку дня, и потерпели поражение по двум важнейшим вопросам. В первом случае речь шла об одобрении ноябрьских резолюций Центрального Комитета и, таким образом, официальным согласием профсоюзов с политикой индустриализации, против которой яростно выступало их руководство [139]. Итог борьбы решался в кругу партийцев, но она продолжалась намеками и в дебатах на официальном съезде. Если возглавляемые Куйбышевым сталинисты пели хвалу повальной индустриализации, то Томский и его сотрудники возражали против кампании индустриализации, которая изматывает рабочий класс и превратит профсоюзы в „арестные дома”. Лебединой песней Томского и возглавляемого им руководства была защита традиционной роли профсоюзов времен нэпа: „...профсоюзы существуют для обслуживания масс” – принцип, который теперь отвергался как „узкая цеховщина” и аполитичный подход. Наступающий порядок был провозглашен новым сталинским лозунгом: „Профсоюзы – лицом к производству!” [140].

Десятилетие профсоюзного руководства Томского закончилось вторым его поражением. По распоряжению Политбюро делегаты-партийцы проголосовали за кооптацию в Центральный совет профсоюзов пяти членов, назначенных Сталиным. Томский попытался заблокировать кандидатуру Кагановича, заявив, что таким образом создается „двоецентрие” и что профсоюзам навязывается „политкомиссар”. Потерпев поражение, Томский 23 декабря снова подал заявление об оставке. Заявление было отвергнуто, но он отказался вернуться на свой пост и оставался главой профсоюзов лишь номинально [141]. Томский и почти все профсоюзные руководители (большинство из них, как и сам Томский, были зачинателями большевистского профсоюзного движения) были официально смещены со своих постов в июне 1929 г. Ниспровержение это было настолько массовым и беззаконным, что Каганович счел нужным дать объяснение: „Могут сказать, что это нарушение пролетарской демократии, но, товарищи, давно известно, что для нас, большевиков, демократия – не фетиш...” [142].

В ноябре-декабре Бухарин, Рыков и Томский перестали быть ведущими членами разделенного руководства, принимавшего решения путем компромисса, и стали оппозиционным мень-

шинством сталинского Политбюро, безвластным и оказывающим все меньше влияния на политические решения. Если не считать Рыкова, роль их стала менее, чем минимальной. Бухарин формально остался редактором „Правды” и политическим секретарем Коминтерна, однако, подобно Томскому, в знак протеста в декабре отказался от своих постов и так на них уже не вернулся [143] .

Они оказались в таком положении потому, что приняли, но проиграли бой оружием закулисной аппаратной политики, в которой Сталин был непревзойденным мастером. За исключением „Заметок экономиста”, опубликованных после долгих колебаний в сентябре, Бухарин избегал открытой оппозиции: „Расчет говорит: надо действовать осторожно”, — объяснял он Каменеву [144] . Теперь, когда единственной альтернативой было полное молчание, он изменил свое мнение. В конце 1928 г. и в январе 1929 г. он трижды высказывался публично против сталинской „генеральной линии”. Все три протеста появились в „Правде” и были обращены к политическому благоразумию и совети Центрального Комитета. И хотя Бухарин воздержался от прямых нападок на Сталина, его гневные слова, вне всякого сомнения, несли на себе отпечаток горячей оппозиционности.

Первое выступление было сделано 28 ноября, когда Бухарин произнес речь перед рабоче-крестьянскими корреспондентами (он способствовал деятельности этих рядовых граждан, видя в ней средство борьбы с неправомочными действиями начальства) [145] . В выражениях более откровенных и менее специальных, чем в „Заметках экономиста”, он начал с осуждения индустриальной политики „сумасшедших людей”, мечтающих только о прожорливых гигантских сооружениях, которые годами „ничего не дают, а берут они огромное количество средств производства... и средств потребления”. Они безучастны к сельскому хозяйству, их не волнует, что для получения хлеба у крестьян нужны потребительские товары, что крестьяне „схватились местами за ружье”, они могут лишь орать: „...даешь металл, а хлеб — не наша забота”. Их глупость грозит бедой: „...если бы какие-нибудь сумасшедшие люди предложили сейчас строить вдвое больше, чем мы это делаем, то это означало бы именно политику сумасшедших, потому что тогда голод на промтовары обострился бы у нас в несколько раз ... а промтоварный голод означает хлебный голод”.

Но эта политическая „глупость”, продолжал Бухарин, отражает еще больший порок: „...парработники превращаются в чиновников”. Подобно провинциальным чиновникам старого режима они ведут себя как „бюрократические истуканы”, делают, что им заблагорассудится, узурпируют власть и душат инициативу, тогда как нужно „больше инициативы, местной, групповой, личной”, и защищают себя кумовством, никому ни в чем не

отдавая отчета. Хуже всего, партийные бюрократы позабыли, что „от нашей политики зависит в значительной степени судьба многих миллионов людей”. Для них „нет принципиальной разницы между человеком и бревном, для бюрократа важно, чтобы он сам был чист перед начальственным оком — и только”. И поскольку для бюрократа „бумажка есть стопроцентное оправдание”, партийные бюрократы готовы принять любую выдумку „коммунистического чванства”, любое „мошенническое бюрократическое „произведение”, в том числе и политику „сумасшедших людей”. Речь Бухарина вторила Троцкому, но более непосредственно отражала его собственное давнее опасение, что партийные функционеры превратятся в чванливую привилегированную элиту; она представляла собой уничтожающее обвинение в разложении партийного аппарата при Сталине.

„Комчванство” было темой его следующего публичного выпада — статьи в „Правде” от 20 января 1929 г. [146]. На одном уровне он анализировал техническую революцию на Западе, а на другом — косвенно обвинял сталинское руководство в экономической безответственности и некомпетентности, в составлении планов индустриализации, основанных не на последних достижениях науки и техники, не на „объективности статистики, ее приспособлении к действительности”, а на „бюрократической канцелярской переписке”, „субъективных желаниях” и „комчванстве”. Бухарин предсказывал, что отрицательные последствия этого будут поистине огромны, поскольку при плановой, централизованной экономике „неслыханная концентрация средств производства, транспорта, финансов и т.п. в руках государства... любой просчет и любую ошибку обнаруживает в ее общественных размерах”. Игнорировалась та „историческая истина”, что „мы победим при научном хозяйственном руководстве или же мы не победим вовсе”.

Однако наиболее резкий протест прозвучал на следующий день в длинной речи Бухарина, посвященной пятой годовщине смерти Ленина. Эта речь появилась в центральных газетах 24 января под сенсационным заголовком „Политическое завещание Ленина”, указывавшим читателю на ее важность [147], ибо, хотя Бухарин вел речь о предсмертных статьях Ленина по вопросам партийной политики, газетный заголовок напоминал о другом „Завещании” покойного вождя, неопубликованном, но не оставшемся неизвестным и содержавшем убийственный постскриптум, призывавший к смещению Сталина с поста генерального секретаря. В обстановке 1929 г. и само содержание бухаринской статьи выглядело не менее дерзко. Бухарин хотел показать, что Сталин нарушает и программное „Завещание” Ленина. В качестве приема он использовал простое изложение пяти знаменитых ленинских статей, вдохновлявших бухаринские программы и официальную политику с 1923 по 1924 г. Статьи эти оставили

нам в наследство, начал Бухарин, „большой перспективный план всей нашей коммунистической работы... с точки зрения... широчайших путей, столбовой дороги нашего развития... Изобразить весь план Ильича как целое – вот задача, которую я себе ставлю сегодня”.

Пункт за пунктом, ничего, по его собственным словам, не добавляя от себя, Бухарин пересказал последние ленинские указания: будущее революции зависит от твердого союза и сотрудничества с крестьянством; политика партии должна ориентироваться теперь на „мирную организационную культурную работу”, на удовлетворение интересов крестьян, а не на „третью революцию”; накопление капитала и индустриализация должны происходить на „здоровой основе” расширяющихся рыночных отношений, при которых зажиточные крестьяне вступали бы в потребительские кооперативы (а не в колхозы), и рационального использования ресурсов вкупе с безжалостным сокращением непроизводительных и бюрократических расходов. Ключевыми лозунгами ленинского „Завещания” были: осторожность, примирение, гражданский мир, образование и эффективность. Основным его указанием был призыв к предотвращению „раскола” с крестьянством, который означал бы „гибель Советской республики”.

Составленное по большей части ленинскими словами и подписанное Бухариным, „Политическое завещание Ленина” представляло собой полновзвучный антисталинский манифест в защиту нэповской философии и политики, от которых избавлялся теперь генсек. Еще год назад это была бы проповедь официальной политики. В январе 1929 г. это была платформа оппозиции, которую сталинское большинство назвало „ревизией и извращением важнейших принципов ленинизма”, попыткой представить Ленина „обыкновенным крестьянским философом” [148]. Это было также последнее прямое изложение бухаринской философии и политических воззрений, опубликованное в Советском Союзе. Предчувствуя то, что предстоит впереди, Бухарин взывал к большевистской традиции критической мысли, выражая надежду, что партработники „ни слова не возьмут на веру... ни слова не скажут против совести”. Он добавил с горечью: „...совесть не отменяется, как некоторые думают, в политике” [149].

Бухаринский протест отражал ухудшение положения в руководстве и в стране в целом. Разногласия между двумя фракциями Политбюро касались теперь даже судьбы некогда объединившего их противника. В середине января, вопреки резким протестам со стороны Бухарина, Рыкова и Томского, сталинское большинство проголосовало за высылку Троцкого за пределы Советского Союза. Депортация произошла 11 февраля, когда видный трибун был посажен под конвоем на пароход, направлявшийся в Константинополь, и навсегда покинул Россию [150].

Тем временем, по мере роста индустриальных амбиций Сталина сельскохозяйственный кризис все углублялся. В начале 1929 г. хлебозаготовки снова резко пошли на убыль. Росло число крестьянских выступлений. Новых решений проблемы у сталинского руководства не было. Усилилась кампания подстрекательства сельских работников на борьбу против кулака и „кулацкой агентуры”. Несмотря на возражения Бухарина и Рыкова, в важнейших зерновых районах начали проводиться под разными вывесками официально запрещенные „чрезвычайные меры”. От них было мало толку, поскольку лишь у немногих крестьян оставалось еще не конфискованное зерно. Рыночные отношения и вся система зернопоставок быстро приближались к состоянию полного развала [151].

Именно так обстояло дело, когда Сталин организовал решающее столкновение в руководстве. Предлогом послужило появление 20 января подпольной троцкистской брошюры, содержащей заметки Каменева об июльской беседе с Бухариным. Изобразив благородное возмущение, Сталин созвал совместное заседание Политбюро и ряда руководящих работников Центральной Контрольной Комиссии (партийного дисциплинарного органа, возглавляемого Орджоникидзе), чтобы осудить „фракционную деятельность” Бухарина. Это судилище, как охарактеризовал его Бухарин, открылось 30 января. Сталин с хором своих приближенных выступал в роли прокурора. Он обвинил „группу Бухарина” (но в первую очередь самого Бухарина) в оппозиции партийной линии, в „правооппортунистической, капитулянтской платформе” и намерениях „сколотить антипартийный блок с троцкистами”. По мере того как Сталин перечислял „преступления” своего оппонента, тон его делался все более угрожающим [152].

Запугать Бухарина не удалось, и пришел он хорошо подготовленный. Оправдывая свою встречу с Каменевым как необходимость, вызванную „ненормальными условиями” в партии, он ответил тридцатистраничным контробвинением сталинского поведения и сталинской политики. Очевидно, его дерзкое выступление застало Сталина врасплох; тотчас заседание Политбюро было отложено, и небольшая комиссия, состоявшая из Бухарина и сталинского большинства, приступила к разбору обвинений. 7 февраля она предложила „компромисс”, согласно которому против Бухарина не принималось дисциплинарных мер, взамен же он должен был признать, что совершил „политическую ошибку”, пойдя на встречу с Каменевым, отказаться от высказанных 30 января контробвинений и вернуться на свои посты. Бухарин не согласился на покаяние и отклонил компромисс. Затем он составил новое обвинение против Сталина, подписанное Томским и Рыковым, который зачитал его на заключительном заседании Политбюро 9 февраля [153]. По всей види-

мости, эта „платформа трех” была практически тождественна заявлению Бухарина от 30 января. Рассматривая их как один документ, можно сказать, что это было его важнейшее заявление в оппозиции и сильнейшее обвинительное заключение против Сталина и нарождающегося сталинизма, когда-либо составленное в Политбюро. Документ этот никогда не публиковался и известен исключительно из отрывочных свидетельств, по которым его можно реконструировать лишь частично.

Политический смысл документа заключался в том, что Сталин и его клика, прикрываясь лозунгами демократического правления, „насаждают бюрократизм” и устанавливают в партии режим личной власти. Официальная линия призывает к самокритике, демократии и выборам, „а где мы на самом деле видели выборного губернского секретаря? На самом деле элементы бюрократизации у нас в партии возросли”. Дошло до того, что „партия не принимает участия в решении вопросов. Все делается сверху”. Такое же положение существует в высших партийных органах: „...мы против того, чтобы единолично решались вопросы партийного руководства. Мы против того, чтобы контроль со стороны коллектива заменялся контролем со стороны лица, хотя бы и авторитетного” [154].

Затем Бухарин перечислил сталинские злоупотребления властью, в том числе грубые нарушения норм внутривнутрипартийной жизни, такие, как закулисная кампания против его сторонников, которым сталинские подручные, вроде „политкомиссара” Кагановича, устроили политическую бойню и которых они взяли в „организационное окружение”. В таких „ненормальных условиях”, писал он, невозможно обсуждать насущные проблемы. Стоит указать на хлебный кризис, как откормленные чиновники тут же устраивают виновнику „проработку”, обвиняя его во всех смертных грехах. Кроме того, Сталин бесцеремонно игнорирует официальные партийные резолюции. Например, несмотря на неоднократные единодушные решения оказать помощь крестьянам-единоличникам, проводилась совершенно иная политика, и директивы эти „оставались только литературными произведениями”. То же самое происходит и в Коминтерне, где политика пересматривается с полным пренебрежением к фактам и где сталинская тактика „расколов, отколов и групп” ведет к „разложению” международного коммунистического движения [155].

Обращаясь к внутренней политике, Бухарин обвинил Сталина в безответственном нежелании добросовестно руководить страной в условиях национального кризиса:

Серьезные больные вопросы не обсуждаются. Вся страна мучается над вопросом хлеба и снабжения, а конференции пролетарской господствующей партии молчат. Вся страна чувствует, что с крестьянством неладно. А конференции про-

летарской партии, нашей партии, молчат. Вся страна видит и чувствует перемены в международном положении. А конференции пролетарской партии молчат. Зато град резолюций об уклонах (в одних и тех же словах). Зато миллионы слухов и слухков о правых — Рыкове, Томском, Бухарине и т.д. Это маленькая политика, а не политика, которая в эпоху трудностей говорит рабочему классу правду о положении, ставит ставку на массу, слышит и чувствует нужды массы, ведет свое дело, слившись с массами [156].

Экономические меры, отстаиваемые сталинской группой, продолжал Бухарин, являются гибельным „переходом на троцкистские позиции”. Нельзя проводить индустриализацию, основанную на разорении страны, на развале сельского хозяйства и разбазаривания ресурсов, — „все наши планы грозят рухнуть”. Но наиболее резкие слова Бухарина были направлены против политики Сталина по отношению к крестьянству. Сталинисты списали со счетов крестьянина-единоличника и говорят только о коллективизации, однако „в ближайшие годы они (совхозы и колхозы) не смогут быть основным источником хлеба. Основным источником хлеба будет еще долгое время индивидуальное хозяйство крестьян” [157]. Затем Бухарин высказал „клевету”, которую ему никогда не забудут: он разглядел темные намерения за чрезмерным налогообложением и реквизициями в деревне и обвинил Сталина в том, что начиная с июльского пленума в 1928 г. тот проповедует индустриализацию, основанную на „военно-феодальной эксплуатации крестьянства”.

Что определяло фактически дальнейшую политику? ... речь товарища Сталина о дани. На XIV партсъезде тов. Сталин был изо всех сил Преображенского за колонии и эксплуатацию крестьянства. А на июльском пленуме он провозгласил лозунг дани, т.е. военно-феодальной эксплуатации крестьянства [158].

Драматическое столкновение 30 января — 9 февраля, отмеченное стойким поведением Бухарина и его контрастными поступками на Сталина, завершило раскол в Политбюро. Отвергнув „компромисс” 7 февраля, Бухарин отказался поддерживать видимость единства в Политбюро и впервые получил официальный выговор от сталинского большинства. Отметая призыв Бухарина вернуться к более дружелюбной политике для достижения мира с крестьянством и облегчения заготовительных трудностей, расширенное заседание Политбюро в закрытой резолюции от 9 февраля подвергло резкой критике его „фракционную деятельность” и его самую недопустимую клевету на ЦК, на его политику, внутреннюю и внешнюю, на его организационное руководство (Томский и Рыков тоже получили выговор, но в более мягких выражениях). Используя уже стандартную форму, этот документ

приравнял его оппозицию сталинской группе к оппозиции „партии и ее Центральному Комитету” [159].

Но несмотря на большую победу, Сталин, по всей видимости, столкнулся с сопротивлением среди своих собственных сторонников и добился от открытого столкновения меньше, чем надеялся. Имеются свидетельства того, что он хотел исключить своих противников из Политбюро, и в первую очередь — Бухарина [160]. Критическая резолюция, тон и формулировки которой были заметно менее резкими, чем сталинские, не только воздержалась от столь крутых мер, но и потребовала, чтобы Бухарин и Томский вернулись на свои посты. Двусмысленность ее углубилась и тем, что резолюцию не публиковали. В конце совещания Сталин недовольно заметил: „...мы ведем себя в отношении бухаринцев слишком либерально и терпимо... Не пришло ли время положить конец этому либерализму?” [161]

По-видимому, нескольких, а возможно, и большинство сторонников Сталина среди присутствовавших на совещании примерно двадцати двух высших руководителей беспокоили по меньшей мере два обстоятельства. Хотя они принимали руководящую роль Сталина и его план индустриализации, их, наверное, тревожила неопределенность его крестьянской политики и сложившееся в деревне серьезное положение. Несомненно, некоторые разделяли беспокойство Бухарина. Более того, те из сторонников Сталина, кто не относился к числу его личных поклонников (какими были, очевидно, Каганович и Молотов), все еще не хотели дать ему в руки бразды единоличного правления, которые он получил бы благодаря исключению Бухарина (единственной другой вершины „Гималаев”, еще оставшейся в Политбюро). Традиция и благоразумие склоняли их к коллективному руководству в высшем партийном органе, какой бы рудиментарный характер такое руководство ни носило, а не к выдвигению одного верховного лидера. Или, как доверительно заметил Калинин: „Вчера Сталин убрал Троцкого и Зиновьева. Сегодня хочет убрать Бухарина и Рыкова. Завтра — моя очередь” [162].

Тем не менее Бухарин и его союзники в Политбюро потерпели крупное поражение. Они находились в нелепом и странном положении. Поскольку происходившая борьба и сделанное им внушение не получили гласности, официально они все еще были в чести. Бухарина по-прежнему избирали в почетные президиумы партийных и торжественных собраний, встречали положенными „бурными овациями” и поздравляли с новоприобретенным членством в Академии наук, куда из виднейших политических деятелей избрали его одного [163]. Однако на закрытых партсобраниях и в коридорах они были жертвами „гражданской казни”, как выразился Бухарин, поскольку сталинисты с удвоенным усердием распространяли весть об их отступничестве. Одно-

временно усилилась кампания в печати против анонимной „правой опасности“. Официально (хотя и негласно) осужденные, обливаемые грязью в частных беседах, лишённые организационного влияния и, надо полагать, свободного доступа к прессе, Бухарин, Рыков и Томский сделались „пленниками Политбюро“ [164]. Стало сказываться нервное напряжение. Несмотря на то что 9 февраля трое правых проявили полную солидарность, Рыков снова начал колебаться. Если Бухарин и Томский становились все непреклонней, то Рыков забрал заявление об отставке, хотя продолжал выступать против политики Сталина на заседаниях Политбюро. Нарастающее напряжение и рост сталинского влияния лишней раз обнаружилось в начале марта, когда известный бухаринец Стецкий переметнулся к Сталину [165].

Теперь оставалось ждать первого открытого столкновения на глазах всего Центрального Комитета, следующий пленум которого был намечен на 16—23 апреля, то есть накануне XVI партконференции. А пока что публичные протесты бухаринцев все чаще выражались эзоповским языком и звучали поэтому все слабее, и трое правых пытались выступить в качестве лояльной оппозиции и оказывать „пассивное сопротивление“ в Политбюро [166]. В марте — первой половине апреля их критика сосредоточивалась на сталинском пятилетнем плане по промышленности, который должен был быть принят на предстоявшем пленуме и партконференции. Задачи пятилетки, выраженные в минимальных показателях, которые немедленно отбрасывались и заменялись сильно увеличенными оптимальными цифрами, выросли чрезвычайно. Теперь предусматривалось в три-четыре раза увеличить объем капиталовложений в государственном секторе, причем 78% затрат предназначались для тяжелой промышленности, и в течение пяти лет расширить производство средств производства на 230% [167].

Встревоженные Бухарин и Рыков пытались обуздать индустриализаторские амбиции Сталина. Рыков предложил дополнительный двухлетний план для ликвидации диспропорции между уровнем сельскохозяйственного производства и потребностями страны. План этот воплощал бухаринский принцип зависимости промышленности от сельского хозяйства и призывал к скорейшему выпрямлению „сельскохозяйственного участка“ за счет налоговых, ценообразовательных и агрономических мер. План Рыкова был без долгих церемоний отвергнут как уловка, рассчитанная на дискредитацию пятилетки. То же произошло и со сходными контрпредложениями и критическими замечаниями Бухарина. Убедившись, что даже символического компромисса достичь невозможно, Бухарин, Рыков и Томский воздержались, когда Политбюро официально голосовало по контрольным цифрам индустриализации 15 апреля [168].

Тем временем Бухарин стал применять в частных беседах

тактику, которой правая оппозиция до сего времени пользовалась лишь с большими колебаниями, от случая к случаю. Готовясь к заседанию ЦК, он собирал документальные доказательства того, что Сталин по своим личным качествам не соответствует должности генерального секретаря, которая теперь приравнивалась к посту главы партии. Вероятно, Бухарин намеревался дать новую жизнь предостережению Ленина, высказанному им в „Завещании” 1923 г.:

Сталин слишком груб... Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив, более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д. [169].

После шестилетнего соучастия в замалчивании ленинского „Завещания” Бухарин собирал свидетельства жертв сталинской „грубости”. Среди них был Эмбер-Дро, который вступил в столкновение со Сталиным в Коминтерне и которому Бухарин написал 10 февраля 1929 г.: „Пожалуйста, напишите мне, правда ли, что на заседании президиума во время обсуждения немецкого вопроса товарищ Сталин кричал Вам: „Подите к черту!” Эмбер-Дро подтвердил, что такой случай имел место [170].

Требовалось мужество, чтобы напомнить партии о последних желаниях Ленина в обстановке 1929 г., однако было уже слишком поздно, чтобы такой „мелочью”, как выразился Сталин, изменить ход политических событий [171]. Когда 16 апреля открылся пленум, бухаринцы оказались в окружении делегатов, которые, во главе со сталинистами, готовы были пригвоздить к позорному столбу и раздавить оппозицию. Изоляция оппозиционеров усугублялась тем, что ЦК заседал совместно с полным составом ЦКК, в результате чего в зале заседаний присутствовало более 300 человек, из которых сторонников Бухарина было человек тринадцать [172].

Верховный орган партии был впервые и полностью и без обиняков информирован о тянувшейся уже год борьбе, и его призвали осудить человека, который все еще был наиболее прославленным его членом. После того как сталинисты представили на утверждение пленума резолюцию Политбюро с резкой критикой Бухарина, а бухаринцы высказались в свою защиту, Сталин выступил со своей версией „правого уклона” и „предательской позиции” Бухарина. Эта версия шла значительно дальше резолюции от 9 февраля. По словам Сталина, Бухарин выступает за линию, абсолютно враждебную линии ЦК по всем важнейшим вопросам, от коминтерновских дел до внутренней политики; претворение бухаринской линии в жизнь означало бы „предать рабочий класс, предать революцию”. Утверждая, что „ошибки” Бухарина

не были случайностью, Сталин наносил удар по самым основам его авторитета в партии. В разделе своего выступления, озаглавленном „Бухарин как теоретик“, Сталин вытащил на свет божий дореволюционные разногласия Бухарина с Лениным по вопросу о государстве и объявил его репутацию как теоретика партии „гипертрофированной претенциозностью недоучившегося теоретика“. В своих обвинениях Сталин пошел еще дальше: он намекнул, что во время дискуссии по поводу мирного договора в 1918 г. Бухарин вступил в сговор с левыми эсерами, чтобы „арестовать Ленина и произвести антисоветский переворот“. В апреле 1929 г. эта злобная инсинуация предназначалась для придания большего веса сталинскому утверждению, что Бухарин (которого, как помнили собравшиеся, Ленин назвал „любимцем всей партии“) теперь возглавляет „самую неприятную и самую мелочную из всех имевшихся у нас в партии фракционных групп“ [173]. Девять лет спустя эта версия сделалась судебным обвинением в том, что Бухарин тайно пытался устроить покушение на жизнь Ленина.

Примечательно, что в этой погромной обстановке бухаринцы нашли в себе силу воли противостоять требованиям публично покаяться. Более того, они дерзко отвечали ударом на удар, особенно Бухарин, Томский и Угланов (Рыков, очевидно, вновь высказал свои оппозиционные взгляды в умеренном тоне) [174]. Опубликовано было лишь сталинское выступление, однако, если судить по цитирувавшемуся впоследствии отрывкам, Бухарин произнес на пленуме одну из своих сильнейших речей. Представляется, что он начал с нападок на недопустимое поведение Сталина и его „грубость“ и с возмущением отрицал, что он со своими союзниками составляет оппозицию „генеральной линии“ [175]. Скорее именно Сталин нарушает принятую линию, проводя политику, несовместимую с установкой на нэп. Большая часть аргументов Бухарина соответствовала его заявлениям в Политбюро 30 января и 9 февраля. Однако здесь, на заседании ЦК, он сконцентрировался на центральном моменте политической борьбы — на судьбе нэпа.

„Что-то подгнило“ в сталинской линии, воскликнул он, и линия эта завела страну в порочный круг. Когда сократились хлебазаготовки, усилилось возмущение в деревне, а в пограничных областях происходят открытые восстания, Сталин проповедует обострение классовой борьбы, новые „чрезвычайные меры“, необходимость „дани“ и „новые“ прямые формы смычки между государством и крестьянами. В этом „есть прямая переоценка возможности воздействовать на основные массы крестьянства без рыночных отношений“ и перспектива „чудовишно односторонних“ отношений с крестьянством. С точки зрения борьбы партии с троцкизмом это есть полная идеологическая капитуляция перед ним. Мы поддерживаем ускоренную индустриализа-

цию, но сталинский план подобен самолету без мотора и обречен на провал, ибо он основан на упадке сельского хозяйства и уничтожении нэпа: „Чрезвычайные меры и нэп противоречат друг другу; чрезвычайные меры означают конец нэпа”. Томский высказался столь же прямо: „Какая это новая форма смычки? ... ничего и здесь нового нет, а есть чрезвычайные меры и заборная книжка” [176]. Но чем закончится пленум, сомневаться не приходилось. Охарактеризовав взгляды Бухарина как несовместимые с генеральной линией партии, ЦК утвердил вынесенное ему взыскание и принял сталинский пятилетний план. Бухарин и Томский были освобождены от своих официальных постов в „Правде”, в Коминтерне и в профсоюзах и предупреждены, что продолжение „фракционной” деятельности повлечет за собой дальнейшие наказания [177]. Таким образом апрельский пленум довел до конца борьбу за власть, за руководство партией между Сталиным и бухаринцами. Обе стороны признавали ЦК последней инстанцией, и ЦК утвердил победу Сталина подавляющим большинством голосов.

И все же, как ни удивительно, результат борьбы вовсе не определился окончательно. Несмотря на резкое осуждение бухаринцев со стороны ЦК, Сталин снова не сумел добиться их полного политического уничтожения. Бухарин, Рыков и Томский все еще оставались членами Политбюро, хотя и не имели больше веса, а Рыков продолжал оставаться Председателем Совета Народных Комиссаров [178]. Более того, ни смещение Бухарина и Томского со своих постов, ни антибухаринская резолюция, формулировки которой снова были мягче сталинских, не были обнародованы. Если это означало, что ЦК все еще не хотел окончательно опозорить Бухарина и его друзей и исключить их из рядов руководства, то и его решения по экономическим вопросам, ратифицированные на XVI партконференции, открывшейся в день закрытия пленума, отражали аналогичную политическую сдержанность. Принятие сталинского плана индустриализации, начало которого задним числом отсчитывалось с октября 1928 г., ознаменовало резкий отход от бухаринской политики партии. Однако это отчасти компенсировалось сельскохозяйственными задачами апрельского плана, которые вполне соответствовали бухаринским наметкам. Коллективизация все еще рассматривалась как скромное вспомогательное начинание: через пять лет колхозы и совхозы должны были занимать 17,5% посевной площади по сравнению примерно с 3–5% в 1928–1929 гг. Таким образом, крестьянин-единоличник должен был оставаться опорой сельского хозяйства [179]. Весь план, как его ни толковать, ориентировался на сохранение нэпа.

Короче говоря, вопреки последовавшим через недолгое время бурным событиям и лживым утверждениям, сталинская победа над Бухариным в апреле 1929 г. не освящала ни личной

диктатуры Сталина, ни „революции сверху”. Иными словами, ЦК не отверг нэпа и не уничтожил политически его виднейшего защитника, но создал положение, которое было не по душе ни одной из сторон. Добровольные зернопоставки, бывшие основой нэпа, фактически прекратились, а сталинские заявления, поносившие крестьян-единоличников и узаконивавшие „чрезвычайные меры”, равно как и повышение плановых заданий индустриализации, не располагали к умеренной политике в нэповском духе [180]. Как бы то ни было, ограниченные полномочия, данные Сталину пленумом, были несоизмеримы с его политическими амбициями. Сразу же после пленума его свита начала угрожать бухаринцам исключением из партии и проповедовать в частных разговорах сталинский культ, который восемь месяцев спустя официально расцветет пышным цветом, когда станут говорить, что партия наконец обрела настоящего твердого вождя — товарища Сталина, единственного наследника Ленина [181].

Все это не предвещало Бухарину ничего хорошего. Двусмысленность его положения была очевидной на апрельской партконференции — последней перед началом „великого перелома”. Бухарин не проявил ни малейшего признака того, что склоняется перед сталинской волей и, по всей видимости, не присутствовал на заседаниях. Тем не менее его, Томского и Рыкова, сделавшего „послушный”, хотя и лишенный энтузиазма доклад по пятилетнему плану, со всем уважением избрали в члены почетного президиума. На закрытом заседании в середине конференции Молотов информировал делегатов о санкциях ЦК против бухаринцев, однако публично ни об их поражении, ни о разногласиях в руководстве не говорили [182]. Слышны были лишь слабые намеки на ту кампанию безудержной клеветы, которая вскоре обрушится на Бухарина. Хотя один за другим выступавшие призывали оказать безжалостный отпор правому оппортунизму, в воздухе витало ощущение неопределенности относительно зернового кризиса и судьбы Бухарина. Д. Рязанов, почтенный марксист и неукротимый критик нечистой политической игры, вероятно, имел в виду незавидное положение Бухарина, когда сказал: „В Политбюро марксисты не нужны” [183]. Как думали некоторые впоследствии, эти слова были эпиграфом к надвигающейся эпохе.

В отличие от разгрома левых поражение Бухарина имело огромные социальные последствия. С исторической точки зрения это была политическая прелюдия „революции сверху” и того явления, которое впоследствии получило название сталинизма. Поэтому причины и значение политической победы Сталина представляют собой вопрос большой исторической важности. Ответ на него отчасти кроется в природе спора между бухарин-

цами и сталинистами. В середине 1929 г. дискуссия эта, по всей видимости, часто шла, главным образом, вокруг различных путей достижения одних и тех же целей: обе стороны стремились превратить Советскую Россию в „страну металла”, обезопасить себя в экономическом и военном отношении во враждебном капиталистическом окружении, двигаясь при этом к социализму. В более дальней перспективе ясно, что они предлагали партии сделать решающий выбор не только между совершенно разными программами, но и между разными судьбами.

До 1928 г. Сталин был в экономической философии в основном бухаринцем, а в 1928–1929 гг. в своих попытках выработать, по существу, антибухаринскую политику он начал превращаться в сталиниста. Несмотря на свой пессимистический диагноз текущего экономического кризиса, он, однако, открыто не отвергал нэп, служивший основой бухаринизма. И в самом деле, на протяжении большей части 1929 г. выдвигавшиеся им конкретные предложения были немногочисленны и не носили законченного характера. Если оставить в стороне риторiku, они заключались в следующем: максимальные капиталовложения в тяжелую промышленность и создание колхозов и совхозов. Не считая своей концепции „дани” на крестьян и принципа постепенности, который Сталин все еще применял к коллективизации, он мало говорил о реальных источниках капиталовложений, о природе экономического планирования и о процессе обобществления сельского хозяйства, или вообще обходил эти вопросы. Эти упущения дали Бухарину повод утверждать, что у Сталина вообще нет долгосрочной экономической политики [184]. Радикальную выработываемую Сталиным программу делали не столько его конкретные предложения, сколько политические и идеологические доводы, с помощью которых они отстаивались. Аргументация его была по духу воинственной и врашалась вокруг идеи гражданской войны.

В большевизме всегда имелся легкий привкус воинственности. Программный документ движения — ленинская работа „Что делать?” — изобиловал военными аналогиями. Однако в отличие от компартий, впоследствии приходивших к власти в результате продолжительной партизанской войны, вплоть до 1918 г. большевизм оставался поразительно невоенным по духу. Большая перемена произошла в период гражданской войны, потребности которой вызвали глубокую милитаризацию норм партийной жизни. Затем нэп привел к обратному процессу демилитаризации, или демобилизации. Хотя милитаристские привычки приглушались в 20-е гг. реформистской, эволюционной атмосферой нэпа, они не исчезли окончательно. Живучесть их подтверждалась „административным произволом” и „остатками военного коммунизма”, которые регулярно критиковал Бухарин и другие руководители. Менее осязаемые, они жили

вместе с воспоминаниями о 1917 г., в большевистской „героико-революционной” традиции. Троцкисты периодически выражали их в литературной форме, однако именно Сталин в кризисной атмосфере 1928–1929 гг. возродил военную традицию, придал ей новый смысл и стал переделывать партию и государство в ее духе.

С начала зернового кризиса и после стремительной экспедиции Сталина в Сибирь и на Урал образы и аналогии гражданской войны и ссылки на ее вдохновляющий пример почти постоянно присутствовали в его публичных выступлениях и составляли в 1928–1929 гг. их главную программную тему. В ответ на снижение хлебозаготовок он призвал к мобилизации и предложил „бросить лучшие силы партии сверху донизу на заготовительный фронт”. Впоследствии, когда тон стали задавать Сталин и его окружение, официальное мировоззрение партии и ее методы подверглись неуклонной милитаризации. Области политики превратились во „фронты” — „зерновой фронт”, „плановый фронт”, „философский фронт”, „литературный фронт” — и к началу 30-х гг. включали такие экзотические поля сражений, как „фронт яровизации”. Политические задачи и проблемы сделались крепостями, которые надо было брать штурмом, и, как сказал Сталин в апреле 1928 г., „нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики” [185]. Если война есть продолжение политики чрезвычайными средствами, то средства, которые поначалу считались временными, „чрезвычайными мерами”, стали в нарождающемся сталинистском мировоззрении вполне законными и постоянными. Хотя Сталин редко вспоминал о 1917 г., прецедент гражданской войны неизбежно переплетался с прецедентом Октября, подтверждая идею, что „большевики все могут”, и делаясь в конце 1929 г. частью идеологической подкладки „революции сверху” [186]. Исходя из этого, например, сплошная коллективизация будет изображаться как „штурм старой деревни” и „деревенский Октябрь” [187].

Возрождение мышления времен гражданской войны было в какой-то мере естественной реакцией на те трудности, с которыми партия сталкивалась в 1928–1929 гг., однако главный вдохновитель этого возрождения — Сталин — придал ему особый смысл. Годы гражданской войны, которые он, страдая от зависти, провел в тени Троцкого в должности политкомиссара на фронте, психологически были, по-видимому, самым решающим периодом его жизни, и военные методы подхода к социальным проблемам вполне соответствовали его личности, которую характеризуют как „личность военную” [188]. Какие бы ни были на то психологические причины, именно Сталин подвел идеологическое основание под „мобилизацию” 1928–1929 гг. и подкрепил ее новым аргументом о том, что по мере приближения к

социализму сопротивление внутреннего противника и, следовательно, классовая борьба будут обостряться. Бухарин придерживался противоположной точки зрения: продвижение к социализму требует и предполагает ослабление классовых противоречий и общественной борьбы. Из этого разногласия вытекали абсолютно разные точки зрения на природу и пути развития советского общества [189]. Сталинская теория обострения классовой борьбы была по своему духу скорее военной, нежели в традиционном смысле марксистской, и явилась, пожалуй, его единственным вкладом в большевистскую мысль; она стала лейтмотивом его 25-летнего правления. В 1928 г. она была применена к кулакам, „шахтинцам” и непоименованным „контрреволюционерам” и обосновала сталинский тезис о существовании мощного внутреннего врага и „чрезвычайные” методы в духе гражданской войны. К началу 30-х гг. он преобразовал ее в тезис о наличии заговорщиков — „врагов народа” — и в идеологию массового террора [190]. Кровавые последствия этой теории стали очевидны для Бухарина, когда он впервые услышал о ней в июле 1928 г.: „Это идиотская безграмотность... в результате получается полицейщина” [191].

Милитаристские обертоны нарождавшегося сталинизма были центральным моментом борьбы между Бухариным и Сталиным. Они представляли собой полную противоположность основным доводам Бухарина о сотрудничестве между классами, гражданском мире и эволюционном развитии. Систематические „чрезвычайные меры” находились в прямом противоречии с дружелюбной, мирной политикой, которую Бухарин называл „методами нэпа”. Сталинская воинственность придавала его предложениям, которые вообще-то были весьма расплывчаты, целеустремленный экстремистский характер. Сложности экономического планирования игнорировались как „вульгарный реализм” и были низведены к штурму „крепостей”, а даже осторожная программа коллективизации, как предостерегал Бухарин еще в июле 1928 г., грозила превратиться в сумасбродные потуги „насильно вогнать мужика в коммуну” [192]. Poleмика между Сталиным и Бухариным отражала противоборство гражданской войны с гражданским миром. Бухарин обвинял Сталина в „военном коммунизме” и „военно-феодалных” методах, „ведущих к гражданской войне” [193]. Сталинисты же хвастались, „ что сдали в архив теорию мирного вранения кулака в социализм” и прочую „либеральную ерунду”, обвиняли Бухарина в том, что он превратил Ленина в „апостола гражданского мира”, и обрушивались на него за призывы к осторожности и „нормализации”, называя их недопустимыми в военное время „пораженчеством”, „пессимизмом” и проявлением демобилизующих настроений [194].

Хотя Бухарин резко критиковал внезапный переход своего

бывшего союзника на позиции „сверхиндустриализации” и политики эксплуатации крестьянства как полную идеологическую капитуляцию перед троцкизмом, он понимал, что в сталинских руках такие идеи, искаженные его милитаристским подходом и лишенные тонких аналитических форм, в которые облекали их левые, представляют собой куда большую опасность совсем иного порядка [195]. В ответ Бухарин снова сформулировал и обосновал политику и концепцию развития Советской России, выдвигавшиеся им в полемике против левых с начала 20-х гг.. Его взгляды и критика нового сталинского курса в 1928—1929 гг., имевшие в качестве стержня политические, экономические и моральные возражения против „волевых импульсов” и подкрепленные исправлениями и дополнениями, внесенными им в 1927 г., приобретают особое значение в свете последующих событий.

Как и прежде, в основе политических воззрений Бухарина лежало убеждение, что несдержанная политика в деревне подорвет оставшуюся в наследство от 1917 г. смычку между городом и деревней и приведет к фатальной гражданской войне с крестьянством. Бухарин больше не подразумевал под этим экономические уступки нарождавшейся деревенской буржуазии. Он продолжал поддерживать наступление на кулака, но в той форме, которую он выдвинул в 1927 г. — ненасильственными „методами нэпа”, сокращая накопление капитала у калача и кулацкое влияние, но никоим образом не затрагивая некулацкую массу [196]. Сталинская антикулацкая кампания, не устал повторять Бухарин, представляла собой нечто совершенно иное, а именно — войну против крестьянства в целом, каким бы эвфемизмом ее ни называть. Более того, теория Сталина об обострении классовой борьбы являлась хитроумным обоснованием мер, которые вызвали резкое возмущение деревни и создали „единый фронт села против нас”. Нараставшая волна крестьянских восстаний в деревне в середине 1928 г. лишней раз подкрепила убеждение Бухарина, что сталинская политика ведет страну к гражданской войне. По всей видимости, у него впервые появилось подозрение, что безжалостные репрессивные методы „Чингисхана” и в самом деле позволят партии выйти победительницей из открытого столкновения. В этом был скрытый смысл его замечания, что Сталину придется „залить кровью восстания”, но это неожиданное предчувствие не успокоило его и не ослабило его возражений.

Критика Бухариным сталинской политики в деревне содержала еще один аргумент, связанный с вышеизложенным. Хотя война уже не казалась больше столь же неминуемой, как в 1927 г., возможность нападения на Советский Союз была в числе опасностей, на которые сталинисты указывали для обоснования всестороннего развития тяжелой промышленности любой ценой.

Бухарин, хотя и ратовал за развитие оборонной промышленности, отвечал, что „доверие крестьян” является таким же решающим фактором обеспечения безопасности СССР. Активно враждебное или даже пассивно недовольное сельское население в случае войны составит опасность для правительства [197]. Эти вполне разумные опасения возродились в 30-е гг., когда опасность войны стала более реальной, и подтвердились во время катастрофы 1941 г., когда крестьянство западных областей поначалу встречало вторгшиеся немецкие войска как освободителей.

Не менее резко Бухарин выступал и против новой сталинской политики в области экономики, начиная с вопроса о продолжении нэпа и кончая характером планирования. Усматривая в зерновом кризисе 1928 г. симптом органического кризиса единоличного крестьянского хозяйства, Сталин косвенным образом ставил под сомнение господствующую бухаринскую точку зрения на нэп как на долгосрочную политику. Сталинский анализ кризиса отличался непоследовательностью. С одной стороны, он утверждал, что кулак процветает, набирает большую силу, пытается навязать правительству свою волю и припрятывает большие запасы зерна, объявляя, таким образом, войну нэпу и Советскому государству. С другой стороны, он указывал на неизменно низкую производительность и незначительные товарные излишки единоличных крестьянских хозяйств [198]. Эти два аргумента противоречили друг другу в оценке объема производства зерна, но приводились в качестве доказательства того, что сохранение индивидуальных хозяйств стало несовместимым с выдвигаемыми партией планами индустриализации.

Бухарин резко возражал, утверждая, что нехватка зерна вызвана не неким „железным законом” или органическими причинами, а „временными диспропорциями” и преходящими обстоятельствами. Он полностью отверг сталинские заклинания об „ужасно громадных” натуральных зерновых фондах ... никто больше этим рассказам не верит”. Настоящая проблема заключалась не в припрятанных запасах зерна, а в низком уровне зернового производства, обусловленном двумя серьезными, но поправимыми обстоятельствами. Одно из них состояло в том, что политика цен осуществлялась, как в „сумасшедшем доме”, волей-неволей создав положение, при котором производство зерна стало невыгодным по сравнению с производством других культур или несельскохозяйственными занятиями (промыслы и прочие занятия давали крестьянам почти половину доходов). Гибкая политика цен, оказывавшая предпочтение зерну, могла бы стимулировать увеличение его производства и (в сочетании с прогрессивным налогообложением и неуклонным улучшением положения с дефицитными промтоварами) формирование рыночных излишков. Второй

причиной отставания зернового производства, соглашался Бухарин, являлись примитивные методы ведения крестьянского хозяйства. Но он по-прежнему считал, что относительно скромная финансовая и агротехническая поддержка крестьян-единоличников даст значительное увеличение объема сельскохозяйственного производства [199].

Частной крестьянское хозяйство продолжало оставаться основной бухаринской сельскохозяйственной программы, однако в отличие от 1924–1926 гг. оно не было единственным элементом этой программы. Теперь Бухарин считал, что необходимо и возможно создать добровольный коллективный сектор, который, при надлежащей пропаганде и поддержке, постепенно разрастется, через пять–десять лет обеспечит примерно одну пятую товарного зерна и в конце концов, спустя целый исторический период, совершенно вытеснит частное крестьянское хозяйство. До середины 1929 г. Сталин официально придерживался примерно такого же плана. Но уже в мае-июне 1929 г. Бухарин увидел в его воинственном тоне и в манихейском пренебрежении к единоличному крестьянскому хозяйству и к сбытовым кооперативам намерение совершить губительный „резкий скачок”. В ближайшем будущем крестьянские хозяйства должны были дать основную часть производимого зерна, однако в результате сталинских, „чрезвычайных мер”, указывал Бухарин, крестьянское хозяйство „регрессирует”, ибо „основная масса крестьянства потеряла всякий стимул к производству”. Более того, марксисты по традиции полагали, что для здоровой коллективизации необходимы обученные работники, „известное накопление в сельском хозяйстве” и механизация, тогда как в советской деревне эти предпосылки отсутствовали: „... из 1000 сох нельзя сложить ни одного трактора”. Бухарин с возмущением вопрошал, не собирается ли Сталин провести коллективизацию „на нищете и раздроблении”. Это, добавил Рыков, было бы дискредитацией всей социалистической работы и гибелью всего дела [200].

Бухарин считал сталинский курс в деревне экономически бессмысленным именно потому, что он „запирает нам все входы и выходы”, уничтожая многообразие путей развития, которые обещал нэп. Его собственная сельскохозяйственная программа имела целью максимальное использование разнообразных возможностей и достижение „правильного сочетания колхозного и индивидуального накопления” [201]. Он призывал к разностороннему подходу: „Подъем индивидуального крестьянского хозяйства, особенно зернового, ограничение кулацкого хозяйства, строительство совхозов и колхозов при правильной политике цен, при кооперировании масс крестьянства...” [202]. В таком случае нэп (конкретно говоря, индивидуальное крестьянское хозяйство и рыночные отношения) будет и дальше служить делу

индустриализации Советского Союза. Такова была официальная политика партии еще в 1929 г., однако к концу года ее резко отвергли, а бухаринские доводы никем не опровергались и не проверялись на практике.

Аграрная программа Бухарина определила его оппозицию пропедуемому Сталиным безграничному расширению тяжелой промышленности, финансируемому весьма похожими на дань поборами с сельского населения. По всей видимости, теперь Бухарин понял, что „прикладная туган-барановщина” (паразитирующая промышленность, производящая почти исключительно себе на потребу) в руках современного Чингисхана действительно может оказаться успешной — ценой большой жестокости и лишь на какое-то время [203], но, как он снова доказывал в 1928—1929 гг., планомерная „здоровая” индустриализация возможна только на базе расширения рынка потребительских товаров и использования ресурсов процветающего сельского хозяйства. Такой подход свидетельствовал о более серьезном отношении к развитию тяжелой промышленности и связанным с ним затратам. Пересмотрев в 1926—1927 гг. свое отношение к данной проблеме, Бухарин и Рыков теперь стояли за значительные капитальные затраты, они смирились с неизбежностью временных, частичных диспропорций и понимали, что „придется некоторое время кое в чем поужаться” [204]. Однако капитальные затраты должны ограничиваться пропорциональными капиталовложениями в сельское хозяйство и производство потребительских товаров для крестьян, а также реально существующими ресурсами. Бухарин надеялся, что жертвы и диспропорции можно будет свести к минимуму, поощряя мелкую частную промышленность (особенно для утоления голода на потребительские товары), избегая чрезмерных инвестиций в дорогостоящие и долгосрочные проекты, а также сочетая индустриализацию с повышением производительности труда, научной организацией производства и использованием достижений научно-технической революции на Западе [205].

Этот экономический диспут неизбежно вылился и в столкновение между двумя разными точками зрения на планирование, в частности на первый пятилетний план. Сталинская группа в духе своих милитаристских понятий о политике избрала крайний вариант так называемого „телеологического” планирования. Этот подход, согласно которому волевые усилия способны преодолевать объективные препятствия, обратился под водительством Сталина в каскад хилиастических команд и постоянно растущих плановых заданий. В 1928—1928 гг. Бухарин, естественно, высказывал совершенно другие взгляды на планирование. Их можно вкратце суммировать следующим образом.

Во-первых, экономическое планирование означает рациональное использование ресурсов для достижения поставленных

целей; поэтому план должен быть основан на научных выкладках и объективной статистике, а не на своеволии и „акробатических сальто-мортале”. Во-вторых, целью планирования является избавление экономического развития от свойственных капитализму анархии производства и кризисов (нарушений равновесия). Поэтому план должен способствовать созданию „условий динамического экономического равновесия” и функционировать в их рамках, определяя правильные пропорции во всем народном хозяйстве и придерживаясь их, учитывая и обеспечивая резервы и устраняя „узкие места”. В-третьих, планирование, особенно в отсталых аграрных странах, должно быть гибким, допуская весьма значительные элементы не поддающейся учету стихийности, в том числе неустойчивость урожая или рынка, — оно не может быть 100-процентным планированием или, как заметил один бухаринец, „пятилетней Библией” [206]. И наконец, при планировании следует неуклонно избегать чрезмерной централизации и чрезмерной бюрократизации. В таких условиях издержки неправильных решений „могут быть не меньше, чем издержки от анархичности капитализма”, а искоренение гибкости и инициативы снизу ведет к „хозяйственному артериосклерозу”, к „тысячам маленьких и больших глупостей” и к тому, что Бухарин назвал „организованной бесхозяйственностью”. На самом деле:

...централизация имеет свои пределы и ... необходимо давать известную самостоятельность подчиненным инстанциям. В определенных рамках они должны быть самостоятельны и ответственны. Предписания из центра должны ограничиваться постановкой задачи исключительно в ее „идее”: конкретная расшифровка есть дело низших инстанций, которые действуют в зависимости от конкретных условий жизни [207].

Таким образом, вопреки сталинским легендам, борьба происходила не между сторонниками и противниками плановой индустриализации, а между различными подходами к данной проблеме. Дискуссия часто сосредоточивалась на степени: на уровне „выкачивания” из сельского хозяйства, уровне капитальных затрат и планируемых темпах роста. Но для Бухарина в этом как раз и заключалась разница между „более или менее безкризисным развитием” и „авантюризмом”. Он защищал установленный в начале 1928 г. весьма высокий уровень капиталовложений, предусматривавший почти 20-процентный ежегодный рост объема промышленного производства и отброшенный Сталиным как недостаточный. Бухарин настаивал на том, чтобы „сохранить (и не раздуть!) этот темп”, стремиться к реальному росту и не „создавать фетиша из темпа”. Бухарин предсказывал, что в отличие от политики „сумасшедшего дома” так можно будет обеспечить „наивысший длительный темп”

[208]. И в своем пересмотренном варианте экономическая философия Бухарина предусматривала сдержанность и сбалансированное развитие в противовес чрезмерным капиталовложениям, чрезмерному планированию, чрезмерной централизации и перенапряжению ресурсов. Если его экономические и плановые доводы кажутся ординарными, то это потому, что они получили широкое признание, в том числе даже в коммунистических странах. Более удивительно то, что их потом абсолютно игнорировали, а вслед за падением Бухарина даже официально предали поруганию как „чуждые” большевизму.

Острая враждебность Бухарина новому сталинскому курсу объясняется не только его тяжелыми политическими предчувствиями и экономическими соображениями. Основным фактором здесь оставалось его нравственное неприятие „чуждо-односторонней” политики по отношению к крестьянству как несовместимой с социализмом и историческими задачами большевиков. В своей полемике с Преображенским в середине 20-х гг. Бухарин особо настаивал на этической стороне индустриализации СССР. Он отстаивал ту же точку зрения и в споре со Сталиным: „...наша социалистическая индустриализация должна отличаться от капиталистической... Социалистическая индустриализация это не паразитарный по отношению к деревне процесс”. Это, в свою очередь, повлияло на его экономические доводы против принципа „производства производства” и в защиту „принципа развития массовых потребностей как основного хозяйственного принципа” советской индустриализации [209].

По мере того как росла тревога Бухарина по поводу сталинской политики „дани” с крестьянства, он начал выражать свой нравственный протест, пользуясь аналогиями с несколько иным периодом русской истории. В сентябре 1928 г. он гневно писал, что позор царской России заключался в „беспощадной эксплуатации мужика”; Сталин же хочет „поместить СССР в этом историческом ряду с старой Россией” [210]. Ничто не выразило сути этого исторического обвинения столь ярко, сколь данное им замечательное определение сталинской политики как „военно-феодальной эксплуатации”. Эта формулировка (либо ее варианты) имела особое звучание для русских революционеров. Она постоянно встречалась в сочинениях довоенных радикалов и либералов как бранный термин, характеризовавший необыкновенно деспотическую природу царистского государства, наследие монгольского завоевания и грабительского отношения к закрепощенным крестьянам [211]. Для Бухарина и его последователей сталинское „выбивание поборов с населения” и „политика татарских ханов” знаменовали возрождение этой традиции [212]. Таким образом, обвиняя генсека в „военно-феодальной эксплуатации крестьянства”, Бухарин клеймил его не только от имени большевистской революции, но и от имени предшество-

вавшей ей антицаристской интеллигенции. Поэтому его „злостную клевету” так никогда официально не забыли и не простили [213].

Дурные предчувствия Бухарина насчет возрождения царских порядков этим не ограничивались. Для него, как и для домарксистских русских революционеров, политической квинт-эссенцией царизма было чиновниче государство, деспотически правящее несчастным народом при помощи беззакония и произвола. Революция обещала покончить с этой традицией созданием нечиновничьего государства, народного государства для народа, которое Ленин называл государством-коммуной; Бухарин с надеждой смотрел на него как на противовес наметившемуся в новейшей истории сползанию к „новому Левиафану”. В начале и середине 20-х гг., отрешившись от своего непродолжительного энтузиазма по поводу „государственности”, Бухарин громко выражал озабоченность в связи с возможностью возникновения в советских условиях нового государства чиновников и нового официального беззакония. Он усматривал такую опасность в „монополистической философии” левых и в „волевых импульсах” и видел в партии слугу народа и защиту от естественных чиновных замашек и злоупотреблений государственного аппарата [214].

События 1928–1929 гг. превратили эту озабоченность в нескрываемую тревогу и подорвали его романтическую веру в партию. В затянувшихся сталинских „чрезвычайных мерах” он видел олицетворение „административного произвола” и нарождающейся системы официального беззакония, которую воплощал советский уполномоченный, выкладывающий наган на стол и выжимающий зерно из приведенных к нему крестьян. Вот почему Сталин презрительно заметил, что „Бухарин убегает от чрезвычайных мер, как черт от ладана” [215]. Хуже того, Бухарин знал, что партийные работники, выполняющие приказы сверху, являются не кем иным, как проводниками этого нового произвола. Его громкое возмущение „чиновниками советского государства”, которые „позабыли о живых людях”, свидетельствует о том, что он лишился иллюзий. Он говорил, что партийные кадры развращены властью и сами начали злоупотреблять ею, как „надворные советники при старом режиме”, проявляя „подхалимство” и „угодничество” перед начальством и капризность и чванство по отношению к народу [216]. „Партия и государство слились — вот беда... и партийные органы не отличаются ничем от органов государственной власти” [217]. Не объясняя, является ли это причиной или следствием нового сталинского курса, но сокрушаясь по поводу его схожести со „старой Россией” и опасаясь его возможных результатов, Бухарин зывал к ленинскому „государству-коммуне (от которой мы еще, к сожалению, очень, очень далеки)”, дабы подчеркнуть, что историчес-

кая тенденция сталинской политики уводит в сторону от государственного порядка, в котором не „народ для чиновника”, а „чиновник для народа” [218].

Полагая, что сталинская линия губительна для партии и для страны и несовместима с большевизмом, Бухарин испытывал сильнейшее возмущение, по остроте своей затмившее даже враждебность, которую он некогда испытывал по отношению к левым. Разумеется, историческое наследие всякой неудачной оппозиции в главных поворотных пунктах истории — это вопрос гадания задним числом о чем-то осязаемом, но на самом деле не поддающемся расчету; это относится и к тому ходу развития, который имел бы место, если бы возобладала бухаринская экономическая политика. Однако часть его доводов против нарождавшегося сталинизма скоро подтвердилась на практике. Еще в середине 1928 г., за полтора года до „революции сверху”, Бухарин разглядел в милитаристской политике Сталина (оставив в стороне вопрос о ее экономической целесообразности) перспективы „третьей революции”, гражданской войны в деревне, кровавых репрессий и „полицейского государства”. Другие, в том числе и сторонники генсека, не ожидали таких последствий. Одно это предвидение придало фигуре побежденного Бухарина особое значение в годы, оставшиеся ему в сталинской России, и оно же вызвало к нему особую ненависть Сталина.

Как же тогда объяснить не совсем еще уверенную победу Сталина над Бухариным? Среди нескольких обстоятельств, дававших перевес генсеку, важнейшим был узкий фронт борьбы между ними и ее скрытность. Бухарин, Рыков и Томский сами способствовали сохранению этой ситуации, ограничивавшей конфликт рамками партийной иерархии, где Сталин был сильнее всего, а сила бухаринской группы сводилась к нулю, поскольку она лежала за пределами партийного руководства и даже за пределами самой партии.

Дело в том, что, в отличие от левых большевиков, оставшихся до самого конца движением диссидентов в высшем партийном руководстве, не имевшим социальной базы, правая оппозиция располагала потенциальной массовой поддержкой по всей стране. Практически всем было ясно, что крестьянское большинство предпочитало политику правых в деревне. Это в равной степени понимали и бухаринцы, и сталинисты, и те, кто держался в стороне [219]. Кроме того, чистки, которые потрясли административные органы, начиная от наркоматов и кончая местными Советами и кооперативами, и отдавались эхом в длительной кампании в прессе против „правого уклона на практике”, свидетельствовали о том, что умеренные взгляды Бухарина широко распространены среди беспартийных работников, особенно свя-

занных с деревней и с отдаленными республиками [220]. Но взгляды Бухарина были популярны не только в деревне. Даже после того, как Томский попал в опалу, правые настроения среди рядовых членов профсоюзов (и, как можно думать, среди городского рабочего класса) упорно сохранялись и выражались, главным образом, в форме упрямого сопротивления сталинской политике в области промышленности. О размахе этих настроений можно судить по сплошной перетасовке фабрично-заводских комитетов в 1929–1930 гг.: в главных промышленных центрах — Москве, Ленинграде, на Украине, Урале — были заменены от 78% до 85% их членов [221].

Сторонники Бухарина пользовались скрытой поддержкой и в самой партии, о чем также можно судить по шумным нападкам на „правых оппортунистов” на всех уровнях. Помимо своих признанных последователей среди партийных администраторов и интеллигентов столицы, где, как выразился Фрумкин, „сотни и десятки тысяч товарищей” считали сталинскую линию „гибельной”, сильные настроения в пользу правых, видимо, существовали в парторганизациях по всей стране [222]. Как и можно было предположить, такие настроения пользовались наибольшей популярностью среди деревенских кадров, которые политически и, возможно, экономически приспособились к нэповским порядкам. Если во время партийной чистки 1929–1930 гг. из партии было исключено 170 тыс. человек, или 11% ее состава, то в деревне было исключено 15% коммунистов и столько же получило выговоры [223]. Не все пострадавшие от чистки были сторонниками Бухарина или даже сочувствующими, однако, с другой стороны, результаты ее не отражали в полной мере размаха внутрипартийной оппозиции сталинскому курсу. Точно не известное, но значительное число партийных работников подверглись исключению из партии в период „чрезвычайных мер” 1928 г., еще до начала официальной чистки. Что еще более важно, эти цифры не отражали „скрытых правых настроений”, которые, как часто сетовали сталинисты, были широко распространены в партии и в комсомоле. Запуганные яростной кампанией против правых, многие коммунисты официально поддерживали новую линию, в то же время тайно симпатизируя бухаринской оппозиции [224].

Поскольку за пределами ЦК соответствующего голосования не проводилось, невозможно, разумеется, точно измерить поддержку, которой пользовалась оппозиция. И, тем не менее, оценка — пусть даже и преувеличенная — одного из иностранцев подтверждает, что поддержка эта была весьма внушительной: „Страна и партия были в подавляющем большинстве правыми и приняли неожиданный сталинский курс с затаенным страхом”. Один из троцкистов, которого, следовательно, нельзя приписать к бухаринцам, придерживался того же мнения: „В

отдельные моменты она включала подавляющее большинство партийных и государственных работников и пользовалась симпатиями всей страны” [225].

Трагедия Бухарина и суть его политической дилеммы заключались в его нежелании апеллировать к этим широким настроениям. Когда речь идет о массах в целом, это нежелание легко объяснимо: оно проистекало из большевистской догмы, что политическая деятельность вне партии незаконна и потенциально (если не на практике) контрреволюционна. Эта точка зрения усиливалась опасениями, разделявшимися как большинством, так и оппозиционными группами, что обращение фракций к народу может привести к образованию „третьей силы” и таким образом погубить партию [226]. Из этого следовала аксиома, что внутрипартийные разногласия нельзя даже обсуждать перед беспартийной аудиторией. Как заметил один троцкист, объясняя затруднения левых, это было „делом партийного патриотизма: он толкал нас на бунт и в то же самое время обращал нас против самих себя” [227]. Так же дело обстояло и с правыми, которых притом сдерживал и разразившийся в стране кризис. Бухарин, Рыков и Томский были убеждены, что сталинский курс опасен своей непопулярностью и гибелен в хозяйственном отношении, но, тем не менее, хранили молчание перед народом. Общественное мнение участвовало в происходившей борьбе лишь косвенно, его учитывали лишь в постоянных дискуссиях о значении наводнявших центр писем с протестами против новой политики в деревне. Для бухаринцев они были „голосом масс”, а для Сталина — нетипичными проявлениями панических настроений [228].

Однако Бухарина сдерживало и другое соображение. В глазах марксиста социальные группы, которые, по-видимому, были наиболее восприимчивы к его политике (а именно, крестьянство и технические специалисты), являлись „мелкой буржуазией” и, следовательно, на них нельзя было ориентироваться большевисту. Когда они периодически выражали в 1928—1929 гг. пробухаринские настроения (например, *obiter dictum* доморощенного представителя беспартийной интеллигенции: „Когда Бухарин говорит от души, беспартийные попутчики справа могут молчать” [229]), сталинисты мигом хватались за их высказывания, которые, таким образом, наносили вред Бухарину. Именно предполагаемая социальная база бухаринцев в деревне побудила Сталина заклеить их как „правых”; эпитет этот был невыносим для всех левых и для Бухарина. Его отчаянные попытки отразить это обвинение связывали ему руки политически и стали причиной ряда бессмысленных маневров, включая его решение лично составить проект резолюции с осуждением „правого уклона” для важнейшего Пленума ЦК в ноябре 1928 г. „Должен же я был оповестить партию, что я не правый”, — сообщил он оше-

ломленному Каменеву [230]. И здесь Бухарин оказался в плену большевистских догм, частью мифических, а частью придуманных им самим.

Его нежелание выносить борьбу со Сталиным на суд широких партийных масс объясняется сдерживающими факторами того же порядка, так как политическая деятельность в партии за пределами ее руководства также стала вызывать подозрения и постепенно прекращалась. Увеличившись численно с 472 тыс. членов в 1924 г. до 1305 тыс. в 1928 г., партия перестала быть политическим авангардом революции и превратилась в массовую организацию с жестким расслоением, привилегиями и властью. В самом низу находились недавно принятые рядовые партийцы, готовые к безмолвному послушанию и в большинстве своем политически безграмотные, не отличавшие „Бабея от Бебея, Гоголя от Гегеля” и один „уклон” от другого. В середине стояли надутые чиновники, партийные „аппаратчики”, которых все оппозиционеры, как левые, так теперь и правые, считали „болотом” послушных бюрократов. Наверху восседало высшее руководство, присвоившее себе прерогативу определять мнение партии и выносить все решения [231]. Как предостерегал Троцкий и чего периодически опасался Бухарин, политическая жизнь в партии была задушена и заменена системой иерархического подчинения, вызванной и узаконенной нападками руководства на „фракционность”, то есть политическую деятельность за пределами его собственного узкого круга.

К 1929 г. Бухарин начал разделять большую часть критических взглядов Троцкого на внутренний режим в партии. Но, в отличие от Троцкого, он сам санкционировал создание этого режима и был потому его узником. Его оппозиционность в 1928 — 1929 гг. и сопровождающие ее призывы терпимо относиться к чужой критике регулярно получали отпор в виде цитат из его же собственных прежних филиппик против „фракционности” левых, а его нападки на сталинский „секретарский режим” наталкивались на язвительные выкрики: „...где ты это списал? У кого?.. У Троцкого!” [232]. Все же, несмотря на свое участие во внедрении запретительных норм, Бухарин испытывал соблазн обратиться ко всей партии. Он мучительно раздумывал над дилеммой: „По ночам я иногда думаю: „А имеем ли мы право промолчать? Не есть ли это недостаток мужества?.. Не есть ли вся наша „буза” онанизм?” [233]. Наконец, полагая, что партийная иерархия, которую он хотел перетянуть на свою сторону, уничтожит любого руководителя, вынесшего борьбу за ее пределы, Бухарин подчинился „партийному единству и партийной дисциплине”, подчинился узким правилам нетерпимой политической игры, созданию которых он сам содействовал. Он остерегался „фракционности” и потому вынужден был ограничиться бесплодными закулисными интригами (вроде его визита к Камене-

неву), которые легко использовались против него врагами [234]. Политически его позиция была нелепой: испытывая глубокое презрение к Сталину и к его политике, он все же оставался до конца скованным, колеблющимся оппозиционером.

Не считая публичных призывов, которые были слишком эзоповскими, чтобы возыметь какое-нибудь действие, Бухарин, Рыков и Томский оказались поэтому в сговоре со Сталиным, ограничив свой далеко идущий конфликт узкой ареной, на которой им предстояло быть „задушенными за спиной партии” [235]. Именно в этом контексте следует объяснить решающую победу Сталина. Обычно даваемое объяснение несложно: бюрократическая власть, накопленная им за шесть лет пребывания на посту генсека и усиленная рядом побед над инакомыслящими в партии, сделала его всесильным и неуязвимым, и он легко и неумолимо сокрушил Бухарина. Полная правда гораздо сложнее, поскольку, хотя такое объяснение подчеркивает важную сторону вопроса, оно преувеличивает организационную силу Сталина в 1928 г., приуменьшает силу правых и не учитывает ряда значительных обстоятельств, лежавших на чаше весов и повлиявших на исход дела.

Сталинский контроль над центральной партийной бюрократией был, разумеется, в числе важнейших факторов. Используя свою власть, Сталин выдвигал верных себе людей на самые различные партийные должности, особенно на посты провинциальных секретарей, являвшихся одновременно членами ЦК. Подобно московскому князю XIV в., он втягивал в свою орбиту партийные „княжества” и партийных „вассалов”, сделавшихся его главной опорой в 1928 – 1929 гг. [236]. Не менее важную роль играл аппарат центрального Секретариата, который являлся общенациональным теневым кабинетом генсека. С одной стороны, наличие у него непосредственных связей со всеми парторганизациями позволяло Сталину разъяснять политику, манипулировать партийным общественным мнением, устраивать „погромы” и в общем и целом противостоять влиянию бухаринской прессы. С другой – сеть подчиненных аппарату организаций, действовавших буквально как система сталинских ячеек в каждом учреждении, возглавляемом оппозицией или симпатизировавшими ей лицами. Эта сеть состояла из 139 – 194 тыс. кадровых секретарей [237], которые оказались достаточно вездесущими, чтобы задержать Бухарина, когда он возвращался из Кисловодска в ноябре 1928 г. Хотя сталинские ячейки в начале борьбы составляли меньшинство, они подрывали и заменяли правое руководство в таких различных местах, как московская парторганизация, профсоюзы, Институт красной профессуры и даже в заграничных компартиях [238]. Их коллективной властью была установлена в 1928–1929 гг. гегемония партийной бюрократии над „княжествами”, которые до тех пор находились вне ее

контроля, в том числе над рыковским государственным аппаратом.

Проводимая сталинистами политика кнута и пряника (от соблазна выдвижения на более высокий пост до угрозы репрессий) также влияла на голоса колеблющихся членов ЦК. Например, накануне июльского пленума 1928 г. Сталин снял Кагановича — вероятно, самого способного и вызывавшего наибольшее презрение из всех его приспешников — с поста генсека компартии Украины. Трехлетняя тирания Кагановича в Харькове приводила в ярость украинских делегатов, и они испытывали чувство благодарности за его снятие с поста [239]. Аналогичное великодушие было проявлено в отношении нового капитального строительства, предусмотренного пятилетним планом. Принципиальные партийные руководители, в том числе украинцы и ленинградцы, на которых рассчитывал Бухарин, хотели, чтобы подчиненные им области получили как можно большую часть ассигнований. Это одновременно настраивало их в пользу сталинской политики „максимальных капиталовложений” и напоминало им, что именно от Сталина зависит, куда пойдут эти капиталовложения. Напряженное соперничество между ними из-за ассигнований и его влияние на ход политической борьбы отмечались в речах Рязанова на апрельской партконференции 1929 г., где „речь всякого оратора” заканчивалась словами: „Дайте завод на Урале, а правых к черту! Дайте электростанцию, а правых к черту!” [240]. Кнут генсека обладал не меньшим эффектом: Сталин разгромил москвичей, имел полномочия расследовать деятельность парторганизаций, завел привычку использовать хранящиеся в Секретариате личные дела, чтобы вскрывать „компрометирующие обстоятельства”, и т.п. [241].

Все это стало „тяжелой дубиной Центра” [242] и, несомненно, дало Сталину огромное преимущество над Бухариным, который однажды охарактеризовал себя как „худшего организатора в России” [243]. Но триумф Сталина был обеспечен не только политической машиной. В том, что касается ЦК, она в основном обеспечивала ему преданность или благожелательный нейтралитет делегатов низшего и среднего звена, выдвинувшихся благодаря сталинской протекции. Как сказал о них один разочаровавшийся сталинист: „Мы победили Бухарина не аргументами, а партбилетами” [244]. Однако, несмотря на то что эти младшие партийные работники являлись членами ЦК, в 1928—1929 гг. роль их была второстепенной. По сути дела, они лишь утверждали решения, уже принятые более узкой, неофициальной группой старших членов ЦК — олигархией из двадцати—тридцати влиятельных лиц, таких, как высшие партийные руководители и главы важнейших делегаций в ЦК (представлявших, в первую очередь, Москву, Ленинград, Сибирь, Северный Кавказ, Урал и Украину) [245].

А среди этой олигархии избранных бюрократическая власть Сталина была гораздо менее внушительна. О ее истинных пределах свидетельствует наличие значительного числа правых в высших эшелонах власти (включая даже Секретариат и Оргбюро) и целого ряда колеблющихся руководителей, нерешительность которых держала под вопросом исход борьбы в течение нескольких месяцев. Ставили ей предел и сами члены олигархии, типичными представителями которой были Орджоникидзе, Куйбышев, украинцы С. Косиор и Г. Петровский и глава ленинградской парторганизации С. Киров, — „практические политики” партии, выдвинувшиеся на высокие „военно-политические” должности в период гражданской войны и с тех пор стоявшие во главе ключевых областей и ресурсов страны [246]. Как администраторы и политические деятели они были часто связаны с генсеком, однако в большинстве своем не были бездумными политическими креатурами, а сами являлись крупными, независимо мыслящими руководителями [247]. Решительные, прагматичные, они интересовались, главным образом, внутренними делами, и всех их больше занимали проблемы превращения Советской России в современную индустриальную страну. Соответствующие стремления усилились под влиянием угрозы войны в 1927 г. и зернового кризиса 1928 г. Борьба между Бухариным и Сталиным велась в значительной мере за завоевание их поддержки. И здесь реальные проблемы и „аргументы” имели важное значение.

В апреле 1929 г. эти влиятельные деятели предпочли Сталина и обеспечили ему большинство в высшем руководстве. Представляется очевидным, что они поступили так не столько из-за его бюрократической власти, сколько потому, что предпочли его руководство и его политику. В какой-то степени их выбор безусловно определялся тем, что они ощущали родство с генсеком как с волевым „практическим политиком”, тогда как мягкий, погруженный в теорию Бухарин по сравнению с ним мог, возможно, казаться „просто мальчиком” [248]. Но, кроме этого, их выбор отражал сомнения относительно дальнейшей эффективности бухаринской политики, а также их отрицательную реакцию на программную дилемму правых в 1928—1929 гг. Несмотря на то что Бухарин согласился с пересмотренными плановыми заданиями в области промышленности и сельского хозяйства, утвержденными XV съездом, обостряющийся зерновой кризис поставил его и его союзников в неудобное, двусмысленное положение. Они доказывали, что до „нормализации” ситуации в деревне невозможно провести какие-либо экономические программы, совместимые с одобренными съездом „нэповскими методами”, и постоянно призывали к временным уступкам крестьянству и к сдержанности в области индустриализации. Какими бы разумными ни были эти требования, они создавали

вокруг правых ореол пораженчества и пессимизма и придавали вес неустанно повторяемому утверждению Сталина, что Бухарин, Рыков и Томский неспособны к твердому руководству, страдают излишней робостью, находятся в плену устаревших взглядов и „теории постоянных уступок” и, хуже всего, готовы поставить под удар темпы индустриализации [249]. Ни далеко идущие, долгосрочные программы бухаринцев, ни их призывы делать различие „между оптимизмом и глупостью” [250] не развеяли этого впечатления, которое не меньше других обстоятельств способствовало их разгрому.

Дело в том, что важнейшей чертой политической обстановки в 1928–1929 гг. было растущее недовольство партийного руководства наставлениями правых о необходимости соблюдать осторожность и его все большая восприимчивость к настойчивой сталинской пропаганде героических традиций большевизма. Особенно заметно это было среди молодых, идущих вверх партийных работников и комсомольских руководителей, которые, несмотря на долгую связь Бухарина с их организацией, почти единодушно приняли сторону Сталина и в значительной мере способствовали его победе [251]. Но самое главное, это недовольство, которое господствовало среди наиболее влиятельных партийных руководителей. Их настроения и разочарование бухаринской группой обобщил Куйбышев: „Не дано нам историей тише идти... более робким шагом вперед...” Ему вторил Киров: „Одним словом, не торопиться... одним словом, правые за социализм, но без особых хлопот, без борьбы, без трудностей”. А Орджоникидзе, признавая за Бухариным благие намерения, выразил общую озабоченность: „...дело не в желании, а в политике. А политика т. Бухарина тянет нас назад, а не вперед” [252]. Полные решимости быстро „догнать и перегнать промышленный Запад и измученные текущим кризисом партийные руководители предпочли сталинский „оптимизм” „безнадежному пессимизму” правых [253].

Но сделав этот выбор, они голосовали не за то, что Бухарин называл „политикой авантюристов”, а скорее за более смелый, но все еще ориентированный на нэп курс, который Сталин противопоставлял линии правых и который был утвержден ЦК в апреле 1929 г. Этот курс утверждал перевес ускоренного промышленного развития и планирования над рыночным равновесием, однако не предусматривал событий, последовавших в действительности, — насильственной массовой коллективизации, раскулачивания и окончания нэпа [254].

Короче говоря, Сталин сколотил антибухаринское большинство и стал в руководстве первым среди равных не как безответственный автор „революции сверху”, а под обликом трезвого государственного деятеля, избравшего „трезвый и спокойный” курс между робостью правых и экстремизмом левых, — истин-

ного защитника линии XV съезда [255]. Несмотря на свою воинственную риторику, он победил в своей знакомой с 20-х гг. роли сторонника золотой середины, производившего выгодное впечатление на других администраторов своей прагматической деловитостью, „спокойным тоном, тихим голосом” [256]. Семь месяцев спустя он возьмет совершенно иной курс, с немислимыми задачами и риском, курс на „великий перелом”, который для многих большевиков, в том числе и для тех, кто поддерживал его в борьбе против Бухарина, станет Судным днем, придет, как тать в ночи.

Бурные месяцы между апрелем 1929 г., когда потерпел поражение Бухарин, и декабрем относятся к числу важнейших периодов русской истории. В этот промежуток времени произошли три важных, взаимосвязанных события: резкое ужесточение политической линии Сталина, сопровождавшееся появлением у него привычки принимать главнейшие решения единолично; дальнейшее ухудшение отношений между государством и крестьянством, а также начало официальной яростной кампании против правой оппозиции и лично против Бухарина, которая вылилась в отказ от политической умеренности вообще. Все эти события породили политику, к которой никогда не призвала ни одна из большевистских групп, включая левых оппозиционеров, к окончательному свертыванию нэпа и к началу сталинской „революции сверху”.

Ободренный своей решительной победой в ЦК, в течение лета и осени 1929 г. Сталин взялся переиначивать политическую линию партии. В первый раз он серьезно отошел от нее в Коминтерне. На десятом Пленуме ИККИ в июле, проходившем под председательством Молотова, решения, принятые всего год назад на VI конгрессе, были отброшены и заменены новым радикальным курсом, за который сталинисты выступали с 1928 г. Подверглось пересмотру определение „третьего периода”, который стал теперь означать конец стабилизации капитализма, рост боевитости пролетариата и неизбежность революционной ситуации на Западе. Социалистические партии, да и вообще все реформисты, были представлены как главный враг, а их „фашизация” была сочтена завершенной. Чистка умеренных элементов в Коминтерне принимала все более широкий размах, а заграничные компартии получили инструкции порвать связи с социал-демократическими движениями, разоблачить их „социал-фашизм” и организовать соперничающие профсоюзы, то есть, по сути дела, расколоть европейское рабочее движение [257]. Так началось гибельное скатывание Коминтерна к экстремизму, завершившееся катастрофой пять лет спустя, когда оно способствовало разгрому некогда мощного немецкого рабочего движе-

ния (как социалистической, так и коммунистической его партия) и тем облегчило приход Гитлера к власти.

Новый поворот Сталина влево во внутренней политике носил не менее крайний характер. В течение месяцев, последовавших за его утверждением в апреле-мае, плановые задания пятилетки по промышленности и сельскому хозяйству были резко увеличены, а общий характер плана подвергся переработке. Ободренная крутым ростом промышленного производства в течение лета и несмотря на растущее напряжение в экономике, сталинская группа внезапно превратила оптимальные цифры в минимальные, увеличив задание по годовому приросту с 22,5 до 32,5% и удвоив число предприятий, намеченных к строительству. К осени она требовала, чтобы весь пятилетний план был выполнен, а затем и перевыполнен, в четыре года. В результате первоначальный план приобрел категоричность, но потерял баланс и всякую последовательность [258]. То, что оставалось, было уже не планом, а калейдоскопом рвущихся вверх цифр, суррогатным оправданием головоломного развития тяжелой промышленности в последующие три года.

А положение в деревне все ухудшалось. В подтверждение предсказаний правых лето и осень принесли новую волну крестьянских волнений. Только в Московской области между январем и сентябрем было зарегистрировано 2198 случаев беспорядков в деревне, многие из которых сопровождались насилием [259]. Столь же серьезным — и вполне предсказуемым обстоятельством — было дальнейшее сокращение крестьянских посевов. Обострялась нехватка зерна и технических культур, а карточная система, введенная в 1929 г. впервые после гражданской войны, делалась все более жесткой.

В результате углублявшегося заготовительного кризиса плановые задания в промышленности ставились под угрозу, на что Сталин отреагировал новой серией принудительных и амбициозных мер. К осени 1929 г. „чрезвычайные меры” стали (как и опасался Бухарин) упорядоченной системой государственных реквизиций. В то же самое время Сталин строил все более грандиозные планы создания крупных колхозов. Плановики в центре и работники на местах получили инструкции рассматривать коллективизацию не как дополнение к единоличному хозяйству и сбытовой кооперации (как предусматривалось первоначальным планом), а как наиболее быстрое решение сельскохозяйственных затруднений в стране. Применяя все более насильственные методы, государственные уполномоченные наводнили деревню, добывая зерно, агитируя за колхозы и подстрекая против кулаков, и процент коллективизированных дворов значительно вырос: с 3,9% в июне до 7,6% в начале октября. Первые колхозы были небольшие, часто плохо стояли на ногах и все еще составляли незначительную долю от 25 млн.

крестьянских дворов. Однако даже такой рост, по всей видимости, воодушевил Сталина на сплошную коллективизацию. Центральная печать с надеждой заговорила о массовой коллективизации в отдельных районах, хотя признаков того мощного штурма, который начнется в декабре, еще не было [260].

Поначалу эти события не отразились на разгромленной оппозиции. Томского и его приверженцев официально удалили из профсоюзов в июне, а Бухарин со своими заграничными союзниками был выведен из Исполкома Коминтерна в июле [261]. В июне Бухарин был назначен заведующим научно-исследовательского сектора ВСНХ, руководившего сетью научно-исследовательских институтов. Хотя позднее эта должность послужит хорошей трибуной для распространения его взглядов, такое назначение явно не подходило для члена Политбюро и представляло собой политическую ссылку [262]. Правда, ни одно из этих перемещений не вышло за рамки апрельского решения ЦК снять Бухарина и Томского с высоких постов (что было, по сути дела, просто принятием их отставки), но оставить их членами Политбюро, официально все еще находящимися на хорошем счету. Соответственно с этим, несмотря на усиление кампании против правых в начале лета, открытых выпадов против Бухарина, Рыкова и Томского пока не было.

Они же, со своей стороны, избегали, по всей видимости, публичных выступлений, которые поставили бы под удар их и без того шаткое положение оппозиционного меньшинства в составе руководства. Для Рыкова, продержавшегося на посту председателя СНК до декабря 1930 г., это означало необходимость подписывать декреты, с которыми он не был согласен. Томский хуже умел приспособливаться, и для него это означало практически полное молчание. Бухарин же продолжал какое-то время высказываться, хотя возможностей для этого оставалось все меньше и приходилось все больше сдерживать себя. Выступая на съезде атеистов в июне, он в завуалированных выражениях протестовал против сгущавшейся атмосферы официальной нетерпимости и сталинских гребований беспрекословного партийного подчинения. Марксизм, отмечал он, есть умение критически мыслить, а не догмы и не мертвые формулы. Он рекомендовал помнить излюбленный девиз Маркса: „Подвергай все сомнению” [263]. Он косвенно выразил свое собственное критическое отношение к коминтерновской и хозяйственной политике Сталина в очерке, опубликованном двумя частями в мае и июне 1929 г. (это была его последняя статья, в которой он хотя бы с осторожностью мог высказать критические взгляды) [264]. Под видом критики западных теорий крупномасштабных организаций он вновь приводил свой довод о том, что стабилизация капитализма на Западе продолжается, а говоря о внутрен-

них вопросах, снова предупреждал об опасности чрезмерной централизации и безудержной бюрократизации.

Но несмотря на их сдержанность и попытки „легализации” своего оппозиционного статуса в Политбюро [265], к августу стало ясно, что Сталин твердо настроен уничтожить всех троих, и особенно Бухарина, как политических руководителей. Его экстремистский курс и волнения в деревне вели к взрывоопасной ситуации, и хотя они убедили многих высланных троцкистов разоружиться и вернуться („полуповешенными, полупрощенными”, по презрительному выражению Троцкого [266]), чтобы послужить сталинской кампании индустриализации, они также вызывали тревогу и брожение среди собственных сторонников Сталина [267]. В этих обстоятельствах побежденный, но не опозоренный официально Бухарин оставался грозным соперником, чьи предостережения и программа приобретали новую актуальность и чей политический вес все еще преграждал Сталину дорогу к верховному руководству.

Решение предать позору Бухарина и все, что он представляет, было принято явно по личной инициативе Сталина и являлось неотъемлемой частью „революции сверху”. Публичные нападки против него начались 21 и 24 августа, когда „Правда”, служившая теперь рупором генсека, поместила резкие обвинения в адрес Бухарина, назвав его „главным лидером и вдохновителем уклонистов” [268]. Эти обвинения были тотчас подхвачены практически всеми газетами и журналами и превратились в последние четыре месяца 1929 г. в систематическую кампанию политической травли, не знавшую себе равных в истории партии (она была беспрецедентна даже и в том, что в отличие от прежних оппозиционеров Бухарин не имел возможности ответить или предать гласности свои взгляды). В выходящих почти ежедневно статьях, выкопанных из архивов документах, брошюрах и книгах (многие из которых были составлены сталинскими „теоретическими бригадами” еще в 1928 г.) [269], вся политическая и интеллектуальная биография Бухарина клеймилась как немарксистская, антиленинская, антибольшевистская, антипартийная, мелкобуржуазная и прокулацкая. Ни один значительный эпизод или сочинение не избежали очернительства, от его разногласий с Лениным в эмиграции и принадлежности к „левым коммунистам” в 1918 г. до его оппозиции Сталину, от его очерков военного времени о современном капитализме и государстве („Экономики переходного периода” и „Теории исторического материализма”) до „Заметок экономиста” и „Политического завещания Ленина” [270].

Целью кампании была окончательная дискредитация Бухарина, подрыв его авторитета как вождя большевизма и особенно его репутации „любимца всей партии” и ее крупнейшего теоретика. Но она имела куда более далеко идущие последствия. В

отличие от Троцкого Бухарин оказывал сильнейшее интеллектуальное влияние на многие сферы партийной жизни. Его сочинения более десятилетия выражали официальную доктрину, и на них учились „сотни тысяч людей” [271]. Поэтому кампания „искоренения бухаринского влияния” превратилась в нападки на главные положения большевистской идеологии, на идеологические учреждения партии, на образ мышления целого поколения. Были оклеветаны и отброшены не только центральные принципы бухаринизма – сотрудничество классов, гражданский мир и сбалансированное, эволюционное развитие, но также философские, культурные и общественные взгляды, лишь отдаленно ассоциировавшиеся с ним. В ходе этой кампании на их месте утвердились в качестве официальной идеологии военные мотивы и политические установки сталинизма.

К ноябрю критика Бухарина, „правого уклона” и „примиренчества” превратилась в идеологический террор, направленный против политической умеренности в целом. Непосредственным политическим следствием этого террора, усугубленного чистой (жертвами которой стали все лица, известные своим сочувствием Бухарину, в том числе жена Ленина Н. К. Крупская и его сестра М. И. Ульянова) [272], явилось установление фанатичного единомыслия в партии, которая до сей поры оставалась по большей части непокорной. В числе прочего террор этот подавил широко распространенную враждебность по отношению к сталинской сельскохозяйственной политике и довел запуганных партийных работников до крайностей, вызвавших катастрофу в деревне зимой 1929–1930 гг. [273].

В более общем плане эта кампания означала официальный отказ от нэповских принципов относительной терпимости и примирения, которые теперь клеймились как „гнилой либерализм” или иногда „бухаринский либерализм” [274]. Она отражала глубокие изменения, происходившие в советской культурной и идейной жизни с середины 1929 г. Одновременно с преследованиями крестьян-единоличников, мелких торговцев, ремесленников и беспартийной интеллигенции многообразии культурной жизни приносилось в жертву „классовой борьбе на всех фронтах”. Следуя манихейскому духу своей военной политики, сталинская группа начинала с того, что возвышала одну из нескольких группировок или школ, чтобы заткнуть рот другим: диалектические философы использовались против механистов (запятнанных некоторой своей близостью с философскими теориями Бухарина), „пролетарские” писатели и художники – против попутчиков, любители шапкозакидательного планирования – против сторонников планирования научного и „красные” специалисты – против „буржуазных” спецов [275]. Однако конечной целью – и результатом – было просто-напросто подавление многообразия и насаждение монополистической ортодок-

сии, которая тогда находилась еще в стадии формирования. И здесь, так же как в хозяйственной жизни, шло наступление на принципы и основы нэпа.

Ни одна из этих кардинальных перемен второй половины 1929 г. не проистекала из официального решения, принятого партией. Они далеко выходили за рамки апрельских резолюций Пленума ЦК, который должен был быть созван снова 10–17 ноября, и проводились по инициативе Сталина и его главных приспешников, прежде всего Молотова и Кагановича, заправлявших теперь в исполнительных органах партии в Москве [276]. 7 ноября в статье, напечатанной в „Правде” и обладавшей для запуганных партработников силой закона, Сталин пошел еще дальше. Он объявил о „великом переломе” и изложил главный миф своей „революции сверху”. Противореча партийным документам (равно как и действительно сложившейся ситуации), он утверждал, что крестьянские массы, в том числе и середняки, добровольно отказываются от своих личных наделов и „пошли в колхозы, пошли целыми деревнями, волостями, районами” [277]. Это был призыв к немедленной сплошной коллективизации.

Три дня спустя собрался ЦК. До сих пор неясно, что в точности произошло на этом критически важном ноябрьском пленуме. Несмотря на серьезные сомнения даже среди сторонников Сталина [278], собравшиеся не могли больше, да и не особенно хотели, твердо сказать „нет” генсеку, когда он потребовал утверждения свершившихся фактов, связанных между собой, — политического уничтожения Бухарина и поворота к массовой коллективизации. 12 ноября, вслед за шквалом угроз со стороны сталинистов, требовавших, чтобы Бухарин, Рыков и Томский выступили с покаянием, не то их исключат из партии, те огласили на пленуме осторожное, но отнюдь не покаянное заявление, в котором, признавая определенные „успехи”, критиковали сталинские методы в деревне и указывали на их воздействие на уровень жизни в городах. Сталин и Молотов немедленно выступили против этого заявления, и 17 ноября Бухарина исключили из состава Политбюро [279].

Хотя публичное очернительство сделало дальнейшее пребывание Бухарина в руководстве невозможным, ЦК, по всей видимости, принял его изгнание без энтузиазма [280] (Рыков и Томский, которые подверглись в печати менее резким нападкам, временно сохранили свои посты.) Затем пленум одобрил призыв Сталина к массовой коллективизации, хотя и не без тревоги, внеся некоторые оговорки. Несмотря на требования сталинского резонера Молотова, чтобы сплошная коллективизация в ключевых районах была завершена в немыслимо короткие сроки — к лету 1930 г., пленум довольно неопределенно высказался о ее темпах, сделав двусмысленное заявление о том, что события поставили сплошную коллективизацию на повестку дня в „от-

дельных районах”. Все еще стремясь к некоему подобию порядка и умеренности, пленум также рекомендовал организовать особую комиссию для выработки конкретных директив [281].

Одна политическая победа не далась Сталину в руки на этом пленуме, да и то ненадолго: хотя деморализованные и сломенные сторонники Бухарина, еще остававшиеся в ЦК, публично покаяться на пленуме [282], Бухарин, Рыков и Томский с „чрезвычайным упорством” продолжали отказываться от покаяния [283]. Однако неделю спустя, 25 ноября, они наконец пошли на попятную и подписали краткое заявление с признанием своих политических ошибок, опубликованное на следующий день. Содержавший эту уступку абзац гласил:

Мы считаем своим долгом заявить, что в этом споре оказались правы партия и ее ЦК. Наши взгляды... оказались ошибочными. Признавая эти свои ошибки, мы, со своей стороны, [поведем] решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона [284].

Хотя это заявление не было тем самоуничтожительным покаянием, которого добивался Сталин, оно представляло собой политическую капитуляцию и конец бухаринской оппозиции.

Неясно, почему Бухарин подписал заявление, он был меньше расположен к этому, чем Рыков и Томский [285]. Что это не было искренней переменой убеждений или упадком духа, продемонстрирует его смелое поведение в последующие месяцы. Вероятно, какую-то роль в его решении сыграла тревога за судьбу его молодых последователей из „бухаринской школы”, в особенности Слепкова, Марецкого, Цетлина, Петровского, Зайцева и Айхенвальда. Выдерживая ссылку и чудовищное давление, они подражали Бухарину в его вызывающем неповиновении, отказавшись отречься от него и от своих антисталинских взглядов. Теперь им грозили еще худшие репрессии, включая арест. Бухаринская уступка, по-видимому, временно облегчила их положение или по крайней мере развязала им руки и позволила выступить с аналогичными заявлениями [286]. Другим соображением был, по всей вероятности, „партийный патриотизм”. Так или иначе страна стояла на краю грандиозных, рискованных пертурбаций, не лишенных героических обертонов. В таких условиях Бухарин видел свой долг в служении партии, что значило подчинение „партийной дисциплине”, соблюдение видимости единства и покаянный жест.

Каковы бы ни были ее причины, капитуляция Бухарина — крупнейшего представителя альтернативной „генеральной линии” — увенчала рывок Сталина к власти и утвердила его непрекаемое главенство. Она официально отмечалась совместно с рождением сталинского культа. 21 декабря, в день сталинского 50-летия, печать заполнилась льстивыми панегириками в его

адрес: он был назван „наиболее выдающимся продолжателем дела Ленина и его наиболее верным учеником, вдохновителем всех главнейших мероприятий партии в ее борьбе за построение социализма... общепризнанным вождем партии и Коминтерна”. В числе его заслуг упоминалось разоблачение „антипролетарской, кулацкой” сущности бухаринских идей [287]. В последние годы этот культ превратился в громогласнейшее прославление Сталина, которому будут приписаны все качества и достижения, ранее приписывавшиеся партии и ее руководству в целом. Тогда же закончилась карьера Бухарина (которому был всего 41 год) как вождя большевистской революции и „наследника Ленина”. Оставалась еще значительная „посмертная жизнь” в политике, но всего лишь посмертная жизнь, не более.

Как однажды заметил Вендел Филлипс, „революций не делают, революции наступают”. Революции „сверху”, однако, делают, что и произошло в СССР в декабре 1929 г. Игнорируя отчаянные сообщения о вопиющих беззакониях и нарастающем хаосе в деревне, Сталин теперь бомбардировал сельские кадры категорическими директивами с требованиями ускорить темпы коллективизации. Суть этих директив сводилась к следующему: „Каждый, кто не идет в колхоз, есть враг Советской власти”. Комиссия по коллективизации заседала с 8 по 22 декабря, и восемь ее подкомитетов выдвинули ряд предложений по процедуре и графику перехода к колхозам. Сталин категорически отверг все эти предложения и потребовал коллективизации „без всяких ограничений”. 27 декабря – снова без санкции партии – он объявил о последнем, кровавом аспекте коллективизации – о „ликвидации кулачества как класса”. Подкрепленное спешно выработанным понятием „подкулачники”, раскулачивание санкционировало насильственную коллективизацию 125-миллионного крестьянства страны и тотальную войну против каждого, кто ей противился [288]. То был погребальный звон по нэпу и конец целой эпохи.

ГЛАВА 10

ПОСЛЕДНИЙ БОЛЬШЕВИК

*Что-то надвигается — огромное,
неясное, грозное.*

Джек Лондон. Железная пята

*По вечным, железным
Великим законам
Все мы должны
Бытия своего
Круги завершить.*

Гете
(цитировано Бухариным в 1932 г.)

Чтобы понять последние восемь лет жизни Бухарина, следует понять природу и значение сталинской „революции сверху”. В разных формах она длилась десятилетие — с начала насильственной коллективизации в 1929 г. до 1939 г., когда кровавая сталинская чистка пошла на убыль. По любому критерию социальных изменений она явилась поистине грандиозным сдвигом, в корне преобразившим не только экономические и социальные основы советского общества, но и сущность политического строя. Именно в процессе этого сдвига в 30-е годы сформировался нынешний Советский Союз с его огромной военно-промышленной мощью и утвердилось новое политическое явление — сталинизм.

С 1929 по 1936 г. — период первой и второй пятилеток — сталинский „великий перелом” заключался, прежде всего, в экономической революции, бывшей смесью принуждения, достопамятного героизма, катастрофических просчетов и блистательных достижений. Лишь немногие из плановых задач первой пятилетки были решены в намеченный срок, однако то, что было построено тогда, упрочивалось и умножалось во время второй, более прагматической и скромной пятилетки и послужило фундаментом индустриального общества. К 1937 г. уровень производства в тяжелой промышленности превысил уровень 1928 г. в три—шесть раз (в зависимости от того, какие использовать показатели); производство стали выросло в четыре раза, угля и цемента — более чем в три раза, нефти — более чем в два

раза; производство электроэнергии возросло в семь раз. Одновременно с расширением и переоснащением старых заводов вырастали, нередко в ранее отсталых районах, новые города, отрасли промышленности, электростанции, сталелитейные комплексы и внедрялась новая технология. Число фабрично-заводских рабочих и городское население удвоились. Общее число учащихся выросло с 12 млн. до более чем 31 млн. К 1939 г. была ликвидирована неграмотность среди граждан моложе 50 лет [1].

Не менее поразительной оказалась и цена этого скачка в экономическую современность. Особенно для членов партии, но также и для многих рядовых граждан то было время неподдельного энтузиазма, лихорадочных усилий и добровольных жертв [2]. Для большинства, в том числе для нескольких миллионов тех, кому были уготованы высылка, исправительно-трудовые лагеря и смерть, то было время страха, репрессий и нищеты. Концентрация ресурсов в тяжелой индустрии, искоренение частной промышленности и торговли, практический развал сельского хозяйства в годы коллективизации и эпидемия бесхозяйственности, вызванная плохим руководством, постоянными поломками, работающим на износ, неправильно используемым оборудованием и неумелыми работниками, на долгие годы оставили в жизни советского общества свой губительный отпечаток. В городах, которые пострадали меньше, резко сократился жилой фонд, а потребление мяса, жиров и птицы на душу населения в 1932 г. составляло лишь треть от уровня 1928 г. Фабрично-заводские рабочие потеряли право менять место работы без официального разрешения и подвергались тяжелым наказаниям за прогулы, а реальная заработная плата уменьшилась, возможно, на целых 50% в начале 30-х гг. [3]. Карточная система и очереди сделались обыденным явлением; товары широкого потребления почти совсем исчезли, сфера обслуживания сошла на нет.

Гораздо более тяжелые удары обрушились на деревню во время четырехлетней гражданской войны, известной всем как коллективизация. Великие революции почти всегда избирают своей жертвой какой-то класс общества — в данном случае то были 25 млн. крестьянских семей. Большинство из них не хотелось расставаться со своими жалкими полосками земли, инвентарем и скотом и превращаться в колхозников. Их силой заставила сделать это партия-государство, которая в дополнение к налоговому и административному принуждению прибегала к беспрестанным конфискациям, массовым арестам, ссылкам и вооруженным нападениям силами сельских активистов, присланных из города рабочих, милиции и даже армейских частей. Крестьяне отбивались, часто вступая в ожесточенные стычки с властями, иногда поднимая массовые восстания, но в основном обращаясь к традиционной форме протеста — уничтожению урожая и забою скота [4].

Характер этой борьбы был определен в январе-феврале 1930 г. Подгоняемые угрожающими указаниями Сталина и чистой „правых“, местные власти обрушили массовый террор как на кулаков, так и на середняков и бедняков. К марту была коллективизирована половина всех дворов (более 10 млн. семей). Масштабы разгрома, однако, заставили Сталина объявить временную передышку, что он сделал в примечательной статье, где обвинил местное начальство в перегибах и нашел у него „головокружение от успехов“. Последовал массовый выход из колхозов, в результате чего процент коллективизированных дворов упал с 57,6% в марте до 23,6% в июне [5]. Однако отступление это произошло слишком поздно для того, чтобы предотвратить катастрофу. Опубликованные в 1934 г. цифры показывают, что тогда пало более половины имевшихся в стране 33 млн. лошадей, 70 млн. крупного рогатого скота, свиней, а также две трети из 146 млн. овец и коз; в основном это произошло в период, который в одном официальном труде по истории пренебрежительно называется „кавалерийской атакой“ января-февраля 1930 г. [6]. На аграрную страну вряд ли могло обрушиться большее несчастье. Двадцать лет спустя поголовье скота все еще было меньше, чем в 1928 г.

Позднее, в 30-х гг. правительство возобновило наступление, действуя на сей раз осмотрительнее, но почти с таким же насилием. Репрессии „чрезвычайного размаха“ все еще бушевали в деревне в 1933 г. [7]. К 1931 г. было снова коллективизировано 50% дворов, а к 1934 г. — 70%. За ними скоро последовали оставшиеся хозяйства. Неравная битва окончилась, когда сопротивление крестьян было наконец сломлено искусственно созданным голодом 1932–1933 гг., — одним из жесточайших в русской истории. Забрав в свои руки скудный урожай 1932 г., правительство отказалось предоставить зерно деревне. Очевидцы рассказывают об опустевших деревнях, сожженных избах, товарных вагонах, в которых везли людей, высланных на север, о толпах вымаливающих подаяние голодающих крестьян, о случаях людоедства и неубранных трупах мужчин, женщин и детей. Короче говоря, они рисуют картину совершенно разгромленной и опустошенной деревни [8]. В результате коллективизации погибло по крайней мере 10 млн. (а возможно, и много больше) крестьян. Примерно половина из этого числа погибла во время голода 1932–1933 гг. [9].

Когда все это закончилось, 25 млн. частных хозяйств были заменены 250 тыс. колхозов, находившихся под контролем государства и вынужденных поставлять ему значительную часть своего сильно уменьшившегося урожая по весьма низким ценам. Насильственная коллективизация была осью экономической революции Сталина и его крупнейшим нововведением. Никто из большевиков никогда не призывал к чему-либо, хотя бы

отдаленно напомиравшему произошедшее в 1929–1933 гг. Все они рассматривали коллективизацию как форму высокопроизводительного сельского хозяйства, развивающуюся на позднейших этапах индустриализации. Никто из них не представлял ее себе средством заготовок сельскохозяйственных продуктов и примитивным орудием ударной индустриализации [10]. (Восхищение, которое внушал Сталину Петр I, иногда наводит на мысль, что духовных предтеч его следует искать в истории царской России.) Почти любая иная сельскохозяйственная политика была бы более производительной и принесла бы намного меньше вреда. Но Сталин мог похвастаться одним достижением: он поставил под государственный контроль некогда самостоятельное крестьянство, составившее большинство населения, и сделал возможным нечто вроде самой настоящей „военно-феодальной эксплуатации“. Статистические данные 1933 г. достаточно красноречивы: хотя урожай зерновых был на 5 млн. тонн меньше, чем в 1928 г., хлебозаготовки выросли вдвое [11].

С худшими крайностями индустриализации и коллективизации было покончено к 1934 г., после чего последовали два года относительной передышки и укрепления экономики. Одновременно, в начале 30-х гг. произошли значительные политические перемены, направление которых приводит на память афоризм Ключевского, относящийся к истории царской России: „Государство пухло, а народ хирел“ [12]. Насилие и милитаризация сопровождалась ростом числа центральных бюрократических органов для управления расширяющимся государственным сектором экономики, надзором над множющимся населением исправительно-трудовых лагерей, контролем над деятельностью и передвижением граждан (была вновь введена паспортная система) и регламентацией интеллектуальной и культурной жизни. Началась также довольно странная трансформация идеологии партии-государства и социальной политики, по завершении которой было официально покончено с отмечавшими период 1917–1929 гг. революционным экспериментаторством, прогрессивным законодательством и равенством в области образования и права, в семейных отношениях, заработной плате и в общем социальном поведении. Их заменили традиционные, авторитарные нормы, знаменовавшие парадоксальный результат сталинской революции – создание строго консервативного, сильно стратифицированного общества. Все более заметными становились и другие черты зрелого сталинизма, такие, как культ личности Сталина и фальсификация истории партии, официальное возрождение русского национализма, обеление царистского прошлого и отказ от многих положений марксизма [13].

Однако, несмотря на все эти сдвиги, еще не произошло политических перемен, сравнимых по масштабу с экономической революцией 1929–1933 гг. Большевицкая партия – ее главные

органы и традиции — была по-прежнему центром системы; крупнейшие ее деятели (многие из которых были понижены в должности, но продолжали занимать ответственные посты) и ее по большей части досталинское руководство и кадровые работники еще оставались на сцене. В этом смысле кровавая чистка 1936—1939 гг. составляла вторую, политическую, стадию сталинской „революции сверху”. Трехлетний террор, сопровождавшийся массовыми арестами и казнями и направлявшийся Сталиным и его свитой через посредство НКВД, нанес жестокие раны советскому обществу. Было арестовано по меньшей мере 7—8 млн. человек, примерно 3 млн. из которых были расстреляны или умерли от бесчеловечного обращения. К концу 1939 г. число заключенных в тюрьмах и отдаленных концентрационных лагерях выросло до 9 млн. человек (по сравнению с 30 тыс. в 1928 г. и 5 млн. в 1933—1935 гг.). Пострадала каждая вторая семья. Избиению подвергся каждый слой правящей элиты: политический, хозяйственный, военный, интеллектуальный и культурный [14]!

Самый сильный удар был нанесен по партии. Из 2,8 млн. членов и кандидатов в члены, насчитывающихся в партии в 1934 г., был арестован по меньшей мере 1 млн. (антисталинисты наравне со сталинистами) и две трети из этого числа были расстреляны. Было уничтожено старое партийное руководство сверху донизу. Исчезли целые местные, областные и республиканские комитеты. Были арестованы 1108 из 1966 делегатов состоявшегося в 1934 г. XVII съезда партии, большинство из которых были расстреляны. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК в 1934 г. 110 были уничтожены или доведены до самоубийства. После убийства Троцкого в Мексике в 1940 г. из ближайшего окружения Ленина в живых остался один Сталин [15]. Официальное объяснение террора заключалось в том, что все его жертвы являлись врагами народа, участвовавшими в разветвленном антисоветском заговоре и прибегавшими к диверсиям, государственной измене и покушениям. Наиболее подробные эти насквозь ложные обвинения излагались на показательных процессах старых большевиков в 1936, 1937 и 1938 гг., из которых наиболее важным являлся последний — процесс Бухарина [16].

Кровавая сталинская чистка представляла собой революцию, „столь же глубокую, сколь любой предыдущий сдвиг в России, хотя и в замаскированной форме” [17]. Место уничтоженной большевистской партии заняла новая партия с иным составом и иным духовным обликом. Лишь 3% делегатов последнего съезда (1934 г.), состоявшегося до чистки, вновь появились на следующем съезде в 1939 г. 75% членов партии в 1939 г. вступили в нее после 1929 г., то есть уже при Сталине, и лишь 3% состояли в ней до 1917 г. [18].

К концу 30-х гг. советский политический строй перестал быть в каком-либо смысле правлением или диктатурой партии. Скрываясь за фасадом организационной преемственности и официально проповедуемой лжи, Сталин сделался самодержцем и низвел партию до роли одного из орудий своей личной диктатуры. Совещательные органы партии: съезды, Центральный Комитет, а в конце концов даже и Политбюро — после 1939 г. собирались крайне редко. Да что и говорить: до смерти диктатора в 1953 г. у партии почти не было власти, а официальных полномочий было меньше, чем у государства [19].

Если далеко идущие последствия сталинской „революции сверху” представляются вполне очевидными, то ее внутренняя политическая история остается куда менее ясной. Отчасти в связи с общественными потрясениями и опасностями 1929—1933 гг. политика в высшем руководстве делалась теперь почти в полной тайне. Разногласия и конфликты тщательно скрывались от общественности за фасадом восторженного единодушия. Это обстоятельство, равно как и насильственная смерть почти всех виднейших деятелей и строгая цензура всего, что касалось истории Советского Союза, не дают нам возможности получить более полные сведения о политической истории 30-х гг. Многие важные эпизоды и проблемы все еще остаются совершенно неясными. Появилось, однако, достаточно свидетельств, опровергающих господствовавшее одно время представление, что после поражения Бухарина в 1929 г. не было попыток выступлений против сталинской власти. Эти свидетельства показывают, что к 1933 г. развернулась приглушенная, но судьбоносная борьба в самом Политбюро между теми, кого можно назвать умеренным крылом, и сталинистами, и что ее исход решился лишь в период сталинских чисток 1936—1939 гг. [20].

Платформа умеренной (или, если использовать ругательный термин Сталина „либеральной”) группы сложилась в 1933 г. [21], но корни ее связаны с бедствием, постигшем деревню в начале 30-х гг. Даже в самом сталинском большинстве в Политбюро и ЦК разногласия возникли через несколько недель после изгнания Бухарина из рядов руководства. Источником их явился резкий отход Сталина от экономической платформы, благодаря которой он сколотил большинство и победил Бухарина. Сталинские мероприятия внезапно обратились серьезнейшей угрозой для режима со времен гражданской войны. Именно встревоженная группа членов Политбюро 2 марта убедила или заставила Сталина временно приостановить коллективизацию. Тогда некоторые члены Политбюро выступили против его попытки спасти свою репутацию, свалив всю вину за катастрофу на местных работников [22]. Они-то знали, что это Сталин и

его московские приближенные, а не местные кадры, заболели „головокружением от успехов” и затеяли яростное наступление на крестьянство.

Хотя эти первые трения в собственном сталинском Политбюро носили ограниченный характер, они отражали куда более широкое недовольство среди сталинистов, занимавших высокие партийные должности по всей стране, о чем свидетельствует разразившееся несколько месяцев спустя дело Сырцова—Ломинидзе. С. Сырцов был председателем СНК РСФСР и кандидатом в члены Политбюро, а Ломинидзе — членом ЦК и руководителем имевшей важное значение парторганизации Закавказья. Некогда они были яркими сторонниками Сталина в борьбе против Бухарина, однако теперь их сильно потрясли последствия его нового курса. В середине 30-х гг. они обсудили в частных беседах в Москве сложившееся „катастрофическое положение” и начали каждый по отдельности распространять записки и убеждать партийцев в официальных органах прекратить насильственную коллективизацию и сократить капиталовложения в промышленность. Их предложения и критика сталинской линии были удивительно схожи с бухаринскими доводами 1928—1929 гг. Сырцов подверг критике „чрезвычайную централизацию” и „вопиющий бюрократизм” и пренебрежительно отозвался о хваленых промышленных объектах как об „очковтирательстве” и „потемкинских деревнях”, а Ломинидзе, вторя Бухарину, обвинил режим в „барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян” [23]. Хотя Сталин легко разделался с обоими (в декабре из заклеили как „двурушников”, капитулировавших перед правым оппортунизмом, и сняли со всех постов), это не снижает значения их отчаянных протестов, которые явились знаком разочарования и недоверия, широко распространившихся среди первоначальных сторонников Сталина на всех уровнях [24].

Однако Политбюро, откуда были „вычищены” противники Сталина, стояло на его стороне и поэтому препятствовало изменению курса и переменам в руководстве. На протяжении всех общественных болезненных пертурбаций ближайших трех лет члены Политбюро поддерживали возобновление насильственной коллективизации и непрекращавшиеся сталинские репрессии (все еще бескровные) против инакомыслящих и „пассивных” партийцев. В дополнение к тому, что они уже были соучастниками его рывка к господству и его политических мероприятий, они, скорее всего, поддерживали Сталина в силу еще по меньшей мере трех обстоятельств. Они стояли за широкую индустриализацию. Они полагали, что и в политическом и в экономическом смысле уже поздно идти на попятную в деле сплошной коллективизации. Наконец, в момент, когда самому существованию режима угрожала настоящая гражданская война, они опа-

сались последствий открытого конфликта в руководстве, и тем более его смены [25].

В связи с этим все члены Политбюро громко пели хвалу Сталину, защищали „генеральную линию” и помогали предавать позору разгромленных оппозиционеров, прежде всего Бухарина, который стал для Сталина политическим идефиксом. Исподволь некоторые из них пытались направить сталинскую политику в более умеренное русло и как-то обуздать его растущий произвол. Орджоникидзе, например, выступил против терроризирования старой технической интеллигенции, вылившегося в два открытых процесса беспартийных „вредителей” в 1930–1931 гг., и взял под свою защиту тех из них, кого мог. В качестве наркома тяжелой промышленности он (вместе с другими руководителями) начал призывать к большому „реализму” и умеренности при выработке второго пятилетнего плана. В конце концов в 1933 г. он добился этой цели. Что самое важное, он и два других члена Политбюро — Киров и Куйбышев — начали защищать от сталинского гнева некоторых видных большевиков [27]. Именно в этой связи осенью 1932 г. стало очевидно, что в самом сталинском Политбюро Сталин начинает сталкиваться с целенаправленным сопротивлением.

В первой половине 1932 г. смещенный со своего поста секретарь одной из районных парторганизаций Москвы Рютин, к которому присоединились некоторые молодые бухаринцы, в том числе Слепков, Марецкий и Петровский, составил и тайно распространил документ на двухстах страницах с антисталинской платформой. Он представлял собой выдержанную в бухаринском духе резкую критику сталинской политики и называл Сталина „злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти” [28]. Сталин, безо всяких на то оснований, утверждал, что здесь содержится призыв к его убийству. Вопреки глубоко укоренившейся большевистской традиции не прибегать во внутрипартийных разногласиях к таким мерам, как смертная казнь, он потребовал, чтобы Рютина (и, возможно, его союзников) расстреляли. Сначала дело слушалось в ЦКК — дисциплинарном органе, который уже оскорбил Сталина, удовлетворив заявление о восстановлении в партии многих коммунистов, исключенных после 1930 г. [29]. ЦКК отказалась выносить решение и передала дело на рассмотрение в Политбюро, состоявшее из десяти членов. И там Сталин снова потребовал расстрела Рютина. Большинство членов Политбюро, а именно Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и, по всей вероятности, Косиор и Калинин, ответили ему отказом, и Рютина с единомышленниками исключили из партии и приговорили к 10 годам тюрьмы, но в 1938 г. расстреляли [30].

Так называемое „рютинское дело” явилось поворотным

пунктом политического развития 30-х гг. С одной стороны, сталинское поражение просто подтвердило священный принцип отказа от расстрела членов партии. С другой стороны, однако, оно продемонстрировало, что умеренное крыло Политбюро теперь твердо вознамерилось сопротивляться попыткам Сталина приобрести еще большую, если не вовсе бесконтрольную власть в партии и над нею. Возглавляемое руководителями ленинградской парторганизации Кировым — независимо мыслящим и популярным деятелем — и Орджоникидзе и пользующееся поддержкой и симпатией многих членов ЦК, это крыло к 1933 г. уже отстаивало общую политическую линию, отличную от той, которую предпочитали Сталин и его единомышленники в Политбюро: Каганович, Молотов и Ворошилов. В то же самое время, как стало ясно впоследствии, именно в связи с рютинским делом Сталин принял твердое решение избавиться от всех ограничений, которыми связывали ему руки тогдашняя большевистская партия, ее руководящие кадры и политические традиции [31].

Несмотря на то что эта умеренная группа Политбюро действовала втайне, характер ее был достаточно ясен. Члены ее, типичным представителем которых был Киров, в прошлом поддерживали Сталина в борьбе за верховную власть и энергично проводили „генеральную линию”. Их коллективная поддержка помогла ему взять верх над Бухариным в 1929 г. и благополучно выйти из кризиса, разразившегося в начале 30-х гг. Они не были антисталинистами в традиционном смысле слова. Они не стремились сместить Сталина или оспорить его главенство и умерить официальное восхваление его как верховного вождя (хотя некоторые из его сторонников стремились именно к этому и в январе 1934 г. проголосовали против переизбрания его в члены ЦК) [32]. Они, скорее, ставили себе две следующие цели. Во-первых, они стремились сохранить ленинскую практику коллективного, или олигархического, принятия решений в Политбюро и в меньшей степени в ЦК, чтобы предотвратить возможность автократического правления того типа, какой присвоил себе Сталин в первые месяцы коллективизации, когда он просто ставил других перед свершившимся фактом. Во-вторых, утверждая, что в индустриализации произошел решающий сдвиг, а массовая коллективизация по большей части закончена и худшее уже позади, они хотели внести коренные изменения в политическую линию и искали в том сталинской поддержки. Они призывали к новому курсу, основанному на прекращении государственного террора и общественной борьбы, на ослаблении создавшегося напряжения и примирении с населением и оппозиционерами внутри партии. Этот курс на примирение распространялся и на сферу внешней политики, в особенности в связи с необходимостью сплочения населения в свете новой опасности,

возникшей с приходом Гитлера к власти в Германии в январе 1933 г. [33].

Если сталинская „революция сверху” явилась возрождением одной из традиций российского управления, то умеренное крыло Политбюро возродило другую — традицию реформы сверху. Растущее влияние этого крыла проявилось в последовавших переменах. В середине 1933 г. прекратилась „вакханалия арестов” и высылка из деревень и начались уступки колхозному крестьянству, в том числе разрешили иметь небольшие приусадебные участки и облегчили эксплуататорскую систему заготовительных цен и плановых поставок. В 1934 г. в связи с пересмотром второго пятилетнего плана большее внимание было уделено повышению жизненного уровня и производству потребительских товаров; была отменена карточная система. Уменьшились преследования беспартийной интеллигенции и бывших оппозиционеров, и многие из числа последних получили назначения на видные, хотя и второстепенные посты (в этом смысле более всего символичен пример Бухарина). Тон и содержание официальных заявлений сделались менее воинственными, более примирительными. Были даны обещания обуздать произвол и провести конституционные реформы. К 1934 г. атмосфера изменилась настолько, что можно было думать о наступлении „советской весны” [34].

Политические успехи и популярность умеренного крыла со всей очевидностью проявились на XVII съезде партии, проходившем в январе-феврале 1934 г. Хотя на заседаниях формально превозносились сталинская политика и его мудрое руководство (в таком духе высказывались все выступавшие, в том числе и его критики), съезд отразил новое соотношение сил и новые настроения в партии. В отличие от Сталина представители умеренной группы, безусловно, высказывались в примирительном духе, а главный их трибун Киров удостоился чрезвычайно теплого приема, уступая в этом лишь Сталину (некоторые утверждали, что он оставил Сталина позади) [35]. Потерпевшие поражение оппоненты, среди которых следует особо отметить Бухарина, выступили перед собравшимися, и их выслушали вежливо, даже с одобрением [36]. Более того, на традиционном послесъездовском заседании ЦК Киров, в дополнение к своему ленинградскому посту и членству в Политбюро и Оргбюро, был избран в былую сталинскую вотчину — Секретариат. Его возвышение было явно рассчитано на то, чтобы помешать Сталину единолично использовать этот влиятельный орган и имевшуюся в его распоряжении агентурную сеть [37].

Реакция Сталина на появление фракции реформаторов в его собственном руководстве впоследствии дала Бухарину повод назвать его „гениальным [политическим] дозировщиком” [38]. Хотя Сталин не оставлял больших сомнений насчет своих соб-

ственных идей, выражавшихся в его часто повторяемом утверждении, что классовая борьба (то есть война с противниками внутри страны и теперь даже в самой партии) продолжает обостряться, он „прямо не возражал” против умеренной политической линии, а „только ослаблял практические выводы” из нее [39]. В то же самое время он создавал при помощи своего личного кабинета или Секретариата, разных отделов кадров и органов госбезопасности настоящую деспотическую машину, независимую от официальных политических органов. Для управления ею и пополнения рядов своих старых приверженцев он продвигал новое поколение своих личных сторонников, таких, как Н. Ежов, А. Поскребышев, А. Вышинский, А. Жданов, М. Шкирятов, Л. Берия, Г. Маленков, Н. Булганин и Н. Хрущев [40]. Некоторые из них остались серыми функционерами, другие же сделались впоследствии его политическими наследниками.

Таким образом, пока умеренное крыло Политбюро пыталось поставить партию на путь реформы и вело „борьбу за влияние на Сталина, — так сказать, за его душу”, сам Сталин готовился по-своему. В тот момент, когда политика этого крыла достигла наивысшего успеха, 1 декабря 1934 г. в Ленинграде от пули убийцы погиб Киров. Не приходится больше серьезно сомневаться в том, что это покушение подготовил с помощью своих агентов сам Сталин [42]. Одним ударом был убран с дороги его основной соперник и создан предлог для новой и более широкой волны террора. Во время официальных траурных церемоний, возглавлявшихся Сталиным, тысячи людей были арестованы по обвинению в прямом или косвенном соучастии в этом преступлении; среди них была группа бывших оппозиционеров, в том числе Зиновьев и Каменев. Первая волна террора скоро схлынула, однако в ближайшие годы десятки тысяч людей будут расстреляны за участие в покушении на Кирова. Все это дало одному из пострадавших во время большой чистки 1937 г. повод заметить: „Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го” [43].

В течение последующих двух лет умеренное крыло Политбюро и ЦК продолжало отстаивать свою политическую линию и кое-как сопротивлялось надвигавшемуся террору. Его временные успехи в 1935—1936 гг. скрывали то обстоятельство, что борьба между нерешительными, заблуждавшимися реформистами, полагавшимися на убеждение, и „гениальным дозировщиком”, настроенным на террор и державшим в руках орудия террора, делалась все более неравной. Один за другим исчезали со сцены видные представители умеренной фракции: в 1935 г. пал жертвой сталинских интриг А. Енукидзе; в том же месяце умер при таинственных обстоятельствах Куйбышев; пользовавшийся немалым влиянием Максим Горький был, по-видимому, умерщвлен в июне 1936 г., а Орджоникидзе покончил жизнь

самоубийством в феврале 1937 г., а возможно, был убит [44]. Перейдя в свою завершающую стадию, борьба обрела характер последнего столкновения между старой большевистской партией и сталинизмом [45]. Последней отчаянной попыткой умеренного крыла предотвратить террор явилось его усилия зимой 1936–1937 гг. отстоять Бухарина, которого обе стороны рассматривали как виднейшего представителя старого большевизма, как его символ. С провалом этих усилий и арестом Бухарина в феврале 1937 г. сталинское наступление на партию развернулось всерьез.

Вот в такой роли и прожил Бухарин оставшиеся ему восемь лет жизни — в роли действующего лица, символической фигуры и жертвы. Так же как и общая политическая история этого периода, важные моменты его поведения и его мысли между 1930 и 1938 гг. остаются пока неясными, и прояснятся они лишь тогда, когда наконец откроются двери советских архивов. До этого времени мы не в состоянии очертить образ Бухарина в 30-е гг. столь же подробно и определенно, как мы сделали это в отношении 20-х гг. Однако имеется достаточно данных, чтобы опровергнуть представление, будто после 1929 г. он был всего лишь приспешником Сталина и сталинизма. На самом деле, деятельность его в 30-е гг. была тесно связана с тремя стадиями скрытой борьбы внутри сталинского руководства, она была даже частью этой борьбы. Во время социальных пертурбаций 1930–1933 гг. Бухарин продолжал служить объектом официального посярмления, он был направлен на незначительную должность и не играл какой-либо заметной роли в государственных делах. В полосу передышки и примирения, наступивших в 1934–1936 гг. он снова занял видное официальное положение и вернул себе авторитет (хотя и не власть), сделавшись заметным выразителем и символом соответствующей политики. Когда же политика эта потерпела поражение, он стал главным обвиняемым на знаменитом московском процессе в марте 1938 г.

Важнейшее обстоятельство, определявшее характер каждой из чередующихся ролей, которые играл Бухарин в 1930–1938 гг., заключалось в том, что даже потерпев поражение, он по-прежнему продолжал пользоваться огромным авторитетом в партии [46]. Иногда думают, что в 30-е гг. главным воплощением антисталинизма для большевиков являлся Троцкий. В действительности же, несмотря на свои красноречивые нападки на сталинское руководство из заграничного далека и на наличие многочисленных последователей за рубежом, Троцкий и его идеи уже не имели в партии большого политического значения. В силу ряда причин такое значение имел Бухарин и то, что он отстаивал. Одна из них заключалась попросту в том, что в отличие от Троц-

кого (или другого соперника Сталина в 20-е гг. — Зиновьева) Бухарин всегда пользовался в партии большой личной популярностью, и, если поражение, возможно, ослабило эти симпатии к нему, оно не уничтожило их вовсе [47]. Другой причиной было его устойчивое интеллектуальное влияние. После нескольких месяцев антибухаринской кампании Сталин продолжал сетовать: „Бухаринская теория живет. Ее ростки, ее проявления обнаруживаются то там, то здесь на теоретическом фронте...” [48].

Важнейшее значение имел тот факт, что последствия сталинской политики полностью подтвердили бухаринские предсказания о гражданской войне, сельскохозяйственной катастрофе и хронических диспропорциях в промышленности, возродив, таким образом, притягательную силу бухаринской политики. В этом смысле следует толковать постоянные утверждения Сталина о том, что „правая оппозиция в ВКП(б) есть, бесспорно, самая опасная — сильнее огонь направо!” [49], равно как и то необыкновенное зрелище, которое представлял собой XVI партсъезд в июне—июле 1930 г., превращенный прежде всего в хорошо организованную кампанию нападок на возрождавшиеся бухаринские настроения и на „правый оппортунизм” в партийных рядах. Столь же важно, что буквально каждое оппозиционное течение в партии в начале 30-х гг. — включая авторов анонимных листовок и участников спорадических протестов, дело Сырцова—Ломинидзе в 1930 г., группу Рюгина в 1932 г. и возглавляемую А. Смирновым немногочисленную оппозицию государственных администраторов — разделяло бухаринское экономическое мировоззрение [50]. На XVI съезде один из ораторов-сталинистов с тревогой привел пример оппозиционных высказываний в провинции: „Политика Сталина ведет к гибели, нищете... мероприятия, какие предлагают Бухарин, Рыков и Угланов — единственно верные, ленински выдержанные, и только они... способны вывести страну из того тупика, в который Сталин завел” [51]. Даже большинство в ЦКК, бывшей некогда бастионом сталинизма, перешло, как сообщают, на бухаринские позиции, поскольку события убедили его в том, что „Бухарин прав, а Сталин губит страну” [52].

Все эти события не вернули Бухарину власти, однако они предоставили ему, даже после 1933 г., когда кризис кончился и доверие к Сталину возросло [53], единственное в своем роде положение представителя несталинского большевизма в партии. Это обстоятельство поможет объяснить ярость сталинских нападок на Бухарина в начале 30-х гг., важность роли, которую он сыграл в проповедуемой умеренным крылом „политике примирения”, и в конце концов выдвинутые против него обвинения. Оно также поможет понять его собственное двусмысленное поведение, и в особенности его решимость остаться в партии и послужить в ней движущей силой перемен.

С точки зрения обычных политических норм катастрофа, связанная с коллективизацией в начале 30-х гг., должна была низвергнуть сталинское руководство и вернуть к власти бухаринцев [54]. Вместо этого, поскольку партийные руководители — хоть и без великого энтузиазма — стояли за Сталина, очернение и преследование Бухарина и его сторонников усиливалось прямо пропорционально обострению существовавшего кризиса. Тем не менее Бухарин дважды ухитрился высказать партии свое мнение по поводу сельскохозяйственной политики Сталина. В статье, опубликованной в „Правде” 19 февраля 1930 г., пользуясь завуалированными фразами, которыми он теперь единственно мог выражаться, Бухарин высмеял официальный миф о том, что коллективизация представляет собой хорошо продуманное продолжение нэпа, основанное на растущей поддержке крестьянских масс. На самом деле, писал он, это есть насильственное прекращение нэпа: в коллективизацию „мы вошли... через ворота чрезвычайных мер и быстро развернувшийся кризис зернового хозяйства”. „Значительные издержки” коллективизации, добавил он, объясняются тем, что государство прибегло к „самым острым средствам внеэкономического принуждения” [55].

7 марта 1930 г., через пять дней после того, как Сталин внезапно обрушился на работников на местах, Бухарин в ответ, по сути дела, указал, на ком лежит настоящая политическая и нравственная ответственность за постигшее деревню бедствие. В рамках исторической полемики, будто бы направленной против недавней папской энциклики о большевизме, он провел тонкую, но вполне однозначную аналогию между „дисциплиной трупа”, „идеологической проституцией” и „беспринципным подхалимством”, насаждаемым иезуитским орденом Лойолы, и сталинизмом. Проведя эту аналогию, он заклеил сталинскую коллективизацию цитатой из критической, „гуманистической” истории папства:

Если они (папы. — Н.Б.) умерщвляют душу, то почему подобает им называться заместителями Христа? В чем сходство их учреждений? Он некогда сказал, обращаясь к Петру: „Паси овец моих”, а что делают папы? Не доводят ли они до голода христиан, истощенных папским грабительством, постоянно сдирают кожу и при стрижке обрезают до мяса свою паству [56].

Иными словами, сталинское ограбление крестьянства не имеет ничего общего с ленинскими заветами или с большевизмом.

Это резкое обвинение отрезало Бухарину доступ к центральной прессе. Лишь через три года ему позволят снова писать на политические темы для „Правды” и „Известий”. Поэтому сначала он обратился к новой форме протеста, окрещенной официальной

критикой бухаринским заговором молчания. В результате сложившегося из-за коллективизации кризиса заявление с признанием политических прегрешений, подписанное им, Рыковым и Томским в ноябре 1929 г., вскоре было сочтено неудовлетворительным. Теперь Сталин потребовал, чтобы Бухарин полностью осудил свою оппозиционную политику, отказался от своих обвинений и отрекся от своих последователей в стране и за границей [57]. Бухарин ответил отказом, и где-то в начале 1930 г., возможно, реагировал на это требование угрозой покончить жизнь самоубийством [58]. Неравная схватка между организованной печатью, громко требовавшей его покаяния, и вызывающе безмолвным Бухариным продолжалась почти весь 1930 г. и создала драматическую ситуацию на XVI съезде. В то время как оратор за оратором выдвигали требование, чтобы „великий молчалник” присоединился к кающимся перед собравшимися Рыкову и Томскому, Бухарин бойкотировал съезд, хотя тот и переизбрал его самым нелепым образом в Центральный Комитет. Как раздраженно заметил один из сталинистов, его девятимесячное молчание было „в высшей степени показательным” и многое говорило тем, кто разделял его взгляды [59].

10 ноября 1930 г., после длительных переговоров, Бухарин наконец подписал еще одно двусмысленное заявление [60]. Он снова в расплывчатой форме признал свои ошибки, открестился от „всяких попыток скрытой борьбы с центральным руководством” и призвал к „сплоченности вокруг ЦК”. Его главная уступка заключалась в отречении от „всех уклонов от [партийной] линии”, однако он не уступил требованию прямо осудить свои собственные политические установки или выдвинутые им в 1928—1929 гг. обвинения. Он демонстративно отказался изменить свою точку зрения на западноевропейский капитализм и, таким образом, свое негативное отношение к коминтерновской политике Сталина. Он не отдал дань обычаю превозносить генсека, он даже не упомянул его, дав этим понять, что идет навстречу ЦК ВКП(б), а не Сталину. Этот компромиссный документ был неохотно принят в качестве „минимума” и не очень содействовал поправке отношений между Бухариным и сталинской группой. Когда на состоявшемся в следующем месяце заседании ЦК Молотов заметил, что заявление все еще оставляет желать много лучшего, Бухарин презрительно ответил: „У вас власть, вы, если хотите, истолкуете это, как вам понравится”.

Однако в политической ситуации 1930 г. еще один, пусть даже формально покаянный жест Бухарина являлся значительным событием, деморализующим его сторонников и играющим на руку Сталину [62]. Ответ, почему Бухарин пошел на этот, хотя и минимальный шаг, снова приходится искать в имеющих-

ся на этот счет отрывочных данных. Его все еще тревожила участь его молодых протеже, однако главную роль здесь сыграли, видимо, иные соображения. Дело Сырцова—Ломинидзе убедительно продемонстрировало к началу ноября, что партийная олигархия не изменит Сталину и что поэтому какая-либо серьезная надежда на успех оппозиции совершенно исключена, во всяком случае на какое-то время [63]. Бухарин, лишившийся возможности обращаться непосредственно к партии или к стране, стоял, таким образом, перед выбором между молчаливым попустительством Сталину в какой-то форме и бессмысленным сопротивлением („скрытой борьбой”), а такой курс содержал риск исключения из партии и отказа от всякой роли в будущих событиях [64].

Помимо этого обстоятельства, но и в тесной связи с ним имелась более глубокая дилемма, с которой Бухарин неоднократно сталкивался в оставшиеся ему годы. Его яростно враждебное отношение к жестокости сталинской политики было очевидно; из соображений гуманности ему было жалко загнанного крестьянства, а на расточительные, дорогостоящие промышленные объекты он смотрел, „как на какие-то прожорливые чудовища, которые все пожирают, отнимают средства потребления у широких масс” [65]. В то же самое время он сохранил веру в революцию и в партию и был, таким образом, психологически и политически привязан к существующей системе. Более того, с какой бы жестокостью и расточительностью ни преследовал Сталин свои цели (индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства, технический прогресс, новые формы профсоюзной организации), цели эти разделялись всеми большевиками, включая Бухарина.

Если его оппозиция сталинизму в последние годы жизни приобрела поэтому какой-то трагический оттенок, она в то же время нередко представлялась безнадежно несостоятельной и жалкой. Как объяснил впоследствии Бухарин, это смешение предосудительных сталинских методов с общими для большевиков целями выработало у него „двойственную психологию”, своеобразное умственное раздвоение, еще более усугублявшееся положением в деревне, которое в годы коллективизации ставило под угрозу не только сталинскую политику, но и вообще власть большевиков. Если сталинское руководство подтвердило худшие опасения Бухарина, то последствия поставили его и его сторонников „буквально в 24 часа на другую сторону” как защитников возмущившегося крестьянства. Сопротивление крестьянства угрожало самому существованию Советской власти, и Бухарин опасался теперь, что его нельзя будет успокоить даже его собственной умеренной политикой [66].

Учитывая особое положение Бухарина, его преданность партии и революции и политическую ситуацию, ясно, что он не ви-

дел выбора. Некоторое время спустя он процитировал (явно имея в виду самого себя) высказывание Энгельса по поводу дилеммы, перед которой оказался Гете: „Существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать...” [67]. Подписав в 1930 г. компромиссное заявление, Бухарин занял „промежуточную позицию” между открытым сопротивлением, безудержным восхвалением сталинского руководства и малодушным покаянием, которые теперь становились политической нормой [68]. Он занимал эту позицию в течение двух последующих лет, предвзято свои нечастые публичные высказывания поверхностными реверансами в сторону „побед социализма”, избегая организованной оппозиции и советуя другим держаться от нее подальше, и предупреждал тех, кого он раньше отстаивал, например беспартийных специалистов, что он больше не в состоянии их защитить и что им тоже следует выбрать между „двумя лагерями” [69].

Эта политическая позиция не прекратила официальных выпадов против Бухарина и его политических установок — антибухаринизм стал теперь составной частью идеологии сталинизма. Однако она дала ему возможность энергично функционировать на протяжении пертурбаций 1930—1933 гг. в своей незначительной должности заведующего научно-исследовательским сектором в ВСНХ, а после его ликвидации в 1932 г. и во вновь созданном Наркомтяжпроме. Это в свою очередь позволило ему играть ведущую роль в Академии наук, возглавить советскую делегацию на Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне в середине 1931 г. (его выступление произвело большое впечатление на аудиторию, но сильно возмутило консервативную прессу, которая попыталась попрекать им лейбористское правительство), публиковать очерки на темы науки и культуры и основать и редактировать соответствующий журнал. Эта деятельность сделала его неофициальным, но видным выразителем взглядов советских научных кругов, представлявшим их перед настроенным подчас весьма прохладно начальством и приезжими иностранцами [70]. Несмотря на то что Бухарин продолжал оставаться в составе ЦК, его нынешние занятия по своей значимости не шли в сравнение с его прежней деятельностью. Как случалось и с другими людьми, отстраненными от власти, вынужденный досуг побудил его вернуться к частным занятиям, которыми он некогда пожертвовал ради политики — к живописи и к своему начатому еще в эмиграции обстоятельному исследованию о влиянии Маркса на современную мысль [71].

В этот же период Бухарин вновь обзавелся семьей; это, в принципе прозаическое, обстоятельство впоследствии обрело политическое значение. Он разошелся со своей первой женой,

Надеждой Михайловной Лукиной, в самом начале 20-х гг. Его второй женой, в 1920–1929 гг., была Эсфирь Исаевна Гурвич, также член партии, участница революции, сотрудница „Правды”, преподавательница, известный экономист. У них родилась дочь Светлана. В начале 1934 г. Бухарин, которому было тогда сорок пять лет, женился на Анне Михайловне Лариной, дочери старого большевика, девушке редкой красоты. В 1936 г. у них родился сын Юрий. Говорят, что Бухарин горячо любил молодую жену и сына. Тревога за их судьбу повлияла на его поведение в 1937–1938 гг. [72].

Так, начиная с 1930–1933 гг. Бухарин стал играть наименее значительную политическую роль со времени революции. Но он был видной фигурой, поэтому даже самая скромная его деятельность обретала известное значение. Например, в своих очерках на темы культуры, философии и науки, о Гете, Гейне, Дарвине, Маяковском и Брюсове он придерживался подлинно марксистского подхода в стране, где серьезный марксизм все больше подвергался пренебрежению и забвению [73]. Его большая статья „Учение Маркса и его историческое значение”, написанная в 1933 г. к 50-летию со дня смерти основоположника марксизма, была, возможно, последним документом классического марксизма, опубликованным в сталинской России. В числе прочего в ней выдвигался марксистский тезис о том, что основной функцией государственной власти является обеспечение процесса эксплуатации; напоминание об этом шло вразрез с официально проповедуемым в 30-х гг. этатизмом и незамедлительно вызвало соответствующую критику [74].

Однако больше всего Бухарина занимала наука и ее развитие в Советском Союзе. Будучи руководителем исследований в области промышленности, он организовывал новые научно-исследовательские учреждения, число которых неизмеримо возросло в начале 30-х гг., и много писал о соответствующих проблемах. В этот период в Советском Союзе впервые в мире была сделана попытка ввести планирование научных исследований и разработок, значение которого теперь признается повсеместно. Бухарин сыграл ведущую роль в этом новаторском предприятии, и его статьи и речи о методологических и теоретических аспектах планирования научных исследований, по мнению одного из западных историков науки, действительно были очень важны и „даже сейчас пригодились бы в качестве источника для научных администраторов, в том числе и в демократических странах” [75].

Помимо этого, многочисленные высказывания по вопросам науки и техники позволяли Бухарину без лишнего политического риска критиковать сталинскую пятилетку и отстаивать свои собственные взгляды, подвергнутые теперь поруганию. Он делал это двумя способами. Во-первых, в 1929–1933 гг. он не устал

доказывать, что основой подлинной коллективизации должна служить техническая революция, и поэтому "научно-исследовательская сеть должна расти быстрее, чем даже ведущие головные отрасли социалистической тяжелой индустрии" [76]. Это положение одновременно ставило под сомнение сталинский принцип преимущественного упора на тяжелую промышленность, отвергало владевшую им „гигантоманию” и доказывало важность преданных забвению „качественных показателей” промышленного развития. Другой критический прием Бухарина был связан с его определением „разумного планирования”, являвшимся попросту конкретным воплощением его общей концепции экономического планирования. План научных исследований, например, должен избегать „бюрократических извращений” путем сочетания централизованных заданий с децентрализацией и автономией, он должен быть основан на „гибкости и эластичности”, должен учитывать возможность непредвиденных обстоятельств и предусматривать „известный резерв” времени для своего выполнения. Не надо большого воображения, чтобы увидеть в этих рекомендациях и сопровождающей их бухаринской критике „пошехонско-бюрократическо-головотяпского метода планирования” продолжение его нападок на первую сталинскую пятилетку и предложения по второму пятилетнему плану [77].

По всей видимости, отношения Бухарина с появившейся в руководстве умеренной фракцией зародились именно в этой связи. Влиятельным членом умеренного крыла в Политбюро был Орджоникидзе, не терявший дружбы с разбитыми оппозиционерами. В 1930 г. он принял у Куйбышева руководство ВСНХ, а после организации в 1932 г. Наркомтяжпрома стал главой этого ключевого органа. В связи с этим, 1930—1933 гг. Бухарин был подчинен ему административно, и, когда Орджоникидзе начал свою успешную кампанию за более сбалансированный, реалистический второй пятилетний план, Бухарин стал занимать в этом наркомате все более видное положение и иногда даже официально представлял его в отсутствие Орджоникидзе [78]. К 1932 г. он стал членом коллегии наркомата и комиссии по разработке нового плана, что явилось замечательным поворотом для человека, чьи взгляды на планирование и индустрию Сталин окрестил враждебными [79].

Несколько месяцев спустя Бухарин предпринял шаг, который вскоре изменил и его положение в партии. Выступая перед ЦК в январе 1933 г., он отказался от своей „промежуточной позиции” и пошел дальше прежнего в покаянном признании своей „вины” и „совершенно неправильных установок” в 1928—1929 гг. Он привел две причины, побудившие его принять решение о том, что „промежуточная позиция” не является больше разумной и что всем партийным слоям необходимо сплотиться вокруг существующего руководства: „острые опасности”

грозили партии в связи с сопротивлением крестьянства и голодом, достигшим теперь своей наиболее губительной фазы, и событиями в Германии, которые через две недели привели к власти Гитлера [80].

Его поступок обуславливался и другой, неназванной причиной. За три месяца до этого, во время дела Рютина, умеренные члены Политбюро продемонстрировали свою способность и готовность пойти наперекор Сталину (среди замешанных в деле Рютина и спасенных благодаря их вмешательству партийцев, трое были личными протеже Бухарина) [81]. Теперь, на январском заседании ЦК, умеренная фракция начала поднимать голос и по более общим политическим вопросам [82]. Для Бухарина было очевидно, что партия и страна вступают в новую полосу неизвестности, но при этом увеличивается и возможность перемен в советской внутренней и внешней политике. Для того чтобы участвовать в этих событиях и оказывать на них влияние, ему тоже надо было поддерживать видимость единодушия и некритического принятия сталинского руководства, ибо за этим фасадом развернется глухая борьба по вопросу о будущем курсе страны. Первым бухаринским шагом в этом направлении и стало более полное покаяние в январе 1933 г. Несколько месяцев спустя впервые за три года в центральной печати снова стали появляться его статьи по важным политическим вопросам. В них осторожно выдвигалась идея об окончании жестокого периода „революции сверху” и начале „нового периода” [83].

Основные контуры (если не полная картина) бухаринских отношений с умеренной группой в сталинском Политбюро достаточно ясны. Скорее всего, сыграло роль то обстоятельство, что ни Киров, ни Орджоникидзе не были яркими противниками Бухарина в 1928–1929 гг., но первостепенное значение имело родство между их политической философией в 1934–1936 гг. и бухаринскими взглядами 20-х гг. Хотя условия в стране к этому времени изменились, проповедуемая умеренной фракцией политика примирения и гражданского мира перекликалась с бухаринской концепцией нэпа как „нормализации” советского строя после крайностей „военного коммунизма”. Напоминали эту концепцию и их доводы в пользу повышения жизненного уровня и зажиточности колхозного крестьянства, равно как и их главный аргумент, что угроза войны (теперь со стороны нацистской Германии) требует обеспечить готовность населения защищать Советскую власть. Эти параллели с дискредитированными бухаринскими идеями, разумеется, вслух не признавались [85]. Но они отразились в различных политических событиях. В одном случае, например, дело касалось молодого бухаринца, бывшего редактора „Ленинградской правды” П. Петровского, являвшегося последовательным противником

Сталина и замешанного в рютинском деле. В 1932 г. он был исключен временно из партии, но два года спустя снова появился в возглавляемой Кировым ленинградской парторганизации в качестве заведующего идеологическим отделом и опять занял пост редактора „Ленинградской правды” [86].

Но в глазах партии успехи умеренного крыла ассоциировались именно с возвращением Бухарина в политику, что произошло на XVII съезде партии в январе 1934 г., и речь его, сочетавшая обязательное одобрение сталинского руководства с (как мы увидим) критической оценкой его внешней политики, была встречена продолжительными аплодисментами собравшейся в зале партийной элиты [87]. На состоявшемся после окончания съезда заседании ЦК значение Бухарина в тайной схватке между умеренным крылом Политбюро и сталинистами стало еще более очевидным. Хотя он был переведен из членов в кандидаты ЦК, его назначили главным редактором „Известий”. Поскольку газета являлась вторым после „Правды” авторитетнейшим рупором официальной политики, назначение Бухарина приобрело особое значение [88]. Оно явилось красноречивым свидетельством успехов умеренной фракции и сделало его символом ее примирительной программы и ее блистательным выразителем.

Два последовавших затем события послужили новой иллюстрацией особой роли, которую играл Бухарин в политике реформистов. Первое — учредительный съезд Союза советских писателей, собравшийся с большой помпой в августе 1934 г., чтобы отметить создание новой организации, объединявшей всех советских писателей. Глядя ретроспективно, съезд этот представляется началом еще худшей, чем прежде, регламентации литературы, которой был навязан принцип социалистического реализма. В то время, после четырех лет яростной „классовой борьбы на литературном фронте”, писатели и художники радовались ему как началу официальной либерализации, как поводу для „великих надежд, прекрасных ожиданий” [89]. Одной из главных причин такого оптимизма явилось появление Бухарина в числе трех официальных ораторов. Он был известен как противник партийного диктата в литературе и даже, в 30-е гг., как заступник опальных писателей [90], и поэтому его присутствие на трибуне могло показаться оправданием надежд на примирение между режимом и творческой интеллигенцией.

Его яркая трехчасовая речь подкрепила такое впечатление и затмила официальное выступление Горького и будущего сталинского сатрапа в области культуры А. Жданова. Темой бухаринского выступления была советская поэзия, однако на самом деле он говорил об опасности того, что „обязательные директивы” партии в литературе после 1929 г. приведут к „бюрократ-

тизации творческих процессов” и сослужат „плохую службу всему делу развития искусств”. „Пересказ газетной статьи” и „рифмованный лозунг” (приятный сталинскому руководству), заявил он, „это, разумеется, уже не искусство”. Социалистическая культура нуждается в „могучем, богатом, многообразном искусстве”, одушевленном гуманизмом и охватывающем „весь мир эмоций, любви, радости, страха, тоски, гнева и т.д. до бесконечности — весь мир хотений и страстей...” Такое искусство, настаивал он, способно вырасти только из „многообразия и высокого качества”, из „широкой свободы соревнования в творческих исканиях”. Чтобы особо подчеркнуть свои доводы, он отверг официально признанных агитационных поэтов как устаревших и долго хвалил опальных лирических поэтов, и в особенности вызывающе аполитичного Бориса Пастернака [91].

Поразительная откровенность и либеральность бухаринских замечаний привели в бешенство „агитационных” писателей, но вызвали восторг подавляющего большинства аудитории, наградившей его приветственными возгласами. Сообщают, что „многие писатели буквально бросались друг другу в объятия и, захлебываясь от восторга, говорили о перспективах подлинного освобождения искусства” [92].

К сожалению, в итоге либерализация и культурная „оттепель”, символизовавшаяся бухаринским выступлением на съезде писателей, оказались недолговечными. Три года спустя умеренных членов Политбюро не будет в живых, Бухарин окажется в тюрьме, а многие из делегатов-писателей сами станут жертвами террора, и сталинская печать назовет бухаринскую речь злостной попыткой „дезориентировать советских поэтов и писателей” [93].

Другим важным событием, связавшим Бухарина с реформами сверху, явилось учреждение в 1935 г., в феврале, комиссии по составлению новой советской конституции. Она состояла из тридцати двух членов и формально возглавлялась Сталиным. Бухарин, тоже входивший в ее состав, доверительно сообщил позднее, что он один, при некотором содействии со стороны Радека, написал этот документ, „от первого до последнего слова” [94]. Поскольку в этой работе принимали участие юристы, а принятию конституции в декабре 1936 г. предшествовало длительное общественное обсуждение, это заявление, скорее всего, не отражает истины, хотя вполне вероятно, что Бухарин подготовил или отредактировал окончательный ее вариант. Во всяком случае, в то время было, видимо, широко известно, что он играл ключевую роль в разработке этого документа (официально названного Сталинской конституцией и остающегося в силе по сей день)* и в особенности в разработке содержащихся в нем положений о всеобщем и тайном голосовании, о возможности участия в выборах нескольких кандида-

тов и четко определенных гражданских правах [95]. И хотя мало кто, в том числе и сам Бухарин, серьезно относился к официальным утверждениям, о том, что конституция гарантирует настоящую „демократизацию”, она послужила для многих членов партии и беспартийных лишним доказательством наступления эры гражданского мира и законности: в новой конституции „народу отведена много большая роль, чем в прежней... Теперь с ним нельзя будет не считаться” [96].

Но какое бы значение ни имели съезд писателей и новая конституция (в конечном итоге оказавшиеся пустым звуком), видное положение и настоящее политическое влияние он приобрел в 1934—1936 гг. благодаря своему назначению редактором „Известий”. Впервые с 20-х гг. его подписанные статьи и неподписанные передовицы по насущным политическим проблемам стали регулярно появляться в газете, которую внимательно изучала правящая элита и образованная советская общественность. В течение нескольких месяцев он создал в редакции такую же товарищескую, интеллектуальную атмосферу, какая отличала его пребывание в „Правде”. Он приглашал талантливых авторов, в том числе своего друга детства Эренбурга и разоружившегося троцкиста Радека, и создал „Известиям” репутацию самой живой и наиболее критически настроенной советской газеты [97].

Естественно, что за это, равно как и вообще за повышение своих политических акций, Бухарину пришлось заплатить, и его покаяние, вновь повторенное на XVII съезде, было лишь частью цены. Как выразился один из переживших эту эпоху, Сталин „не только уничтожал честных людей, но и портил живых” [98]. Даже в относительно либеральный период 1934—1936 гг. участие в политике требовало исполнения ритуалов сталинского культа, фальсификации истории партии, очернения имен и идей оппозиционеров и искажения истории таких монументальных событий, как коллективизация.

Бухарин, будучи хотя и знаменитым, но не обладавшим реальной силой политическим деятелем и сделавшийся теперь редактором правительственной газеты, не мог не следовать этому ритуалу. Но он пытался ограничиться при этом какими-то рамками и придерживаться какой-то „политической этики” [99]. Так, подобно умеренным членам Политбюро, потакающим сталинской слабости к восхвалению и одновременно проповедывавшим свою собственную политическую линию, Бухарин согласился „курить фимиам Сталину”, однако нередко делал это в такой двусмысленной манере, что вызывал скептическое отношение [100]. Когда в феврале 1935 г. Сталин с помпой провел Всесоюзный съезд колхозников-ударников, дабы отметить „победу социализма в деревне”, Бухарин, который был известным противником насильственной коллективизации,

все же согласился выступить перед собравшимися, но речь его была выдержана в совершенно особом тоне. А когда был по-смертно развенчан Покровский и его в прошлом ортодоксальная историография, Бухарин присоединился к его критикам, однако в основном сетовал лишь на то, что Покровский подошел к трактовке русской истории слишком абстрактно [101]. В других случаях Бухарин попросту отказывался от уступок и не участвовал в неонационалистической реабилитации царизма или в переписывании истории партии [102]. И главное, он отказался клеймить большевиков, страдавших от сталинской мстительности. Когда другие бывшие оппозиционеры, включая Рыкова, в 1936 г. призвали суд не щадить Зиновьева и Каменева, Бухарин к ним не присоединился [103].

Наверное, цена, которую ему пришлось заплатить, представлялась Бухарину приемлемой, поскольку его публикации и участие в общественной жизни обеспечивали ему центральную и, как он надеялся, влиятельную роль в судьбоносной схватке между фракциями примирения и террора. По мнению Бухарина, на карту было поставлено многое — будущий ход большевистской революции, будущее страны и всего мира, и его статьи и передовицы 1934–1936 гг. составляли важную часть усилий умеренной фракции, направленных на то, чтобы убедить партию в необходимости гражданского мира и реформ [104]. Следует помнить, что это не означало, будто у Бухарина была свобода открыто писать об этих вопросах и о конфликтах в верхах. Подобно другим участникам закулисной борьбы, он был вынужден выражаться осторожным эзоповским языком, который иногда применялся в борьбе в партии в 20-е гг., а теперь стал главным средством публичных дебатов и политического диалога [105].

В этом эзотерическом способе общения не было ничего необычного или специфически советского. Язык зашифрованной полемики, аллегорических символов, метафорических намеков, кодовых слов и многозначительных выделений и умолчаний, равно как и чтение между строк, на протяжении всей истории составляли часть политической речи, особенно в авторитарных обществах, где насаждалась официальная цензура и преследовалась всякая ересь. Исследователи политической философии и даже библейских текстов привыкли разбирать эзопову речь, помня о том, что в иных исторических условиях кое-что остается недосказанным [106]. Интересующиеся политикой советские люди, выросшие в подцензурном климате царской России, были особенно хорошо подкованы в эзоповском языке, а уж тем более разбирались в нем большевики, чьи собственные революционные идеи распространялись некогда в такой конспиративной оболочке. В своей работе „Что делать?“, ставшей программным документом большевизма, Ленин писал:

В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомаleastшие ростки политического недовольства и протеста, — внезапно пробивает себе дорогу в *подцензурную* литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех „интересующихся” понятным языком [107].

Подобно инакомыслящим в царской России, Бухарин писал не прямо для „интересующихся” (прежде всего для членов партии) о том, что делать в сталинской России 1934—1936 гг. Проповедовавшиеся им идеи и политическая линия основывались на его общем анализе положения в стране, выводы из которого он пытался довести до своего читателя. Эти выводы имели особый вес, поскольку он пользовался репутацией противника сталинской политики. Бухарин доказывал, что прежние программы и тактика оппозиционеров потеряли практический смысл и устарели в свете событий 1929—1933 гг. Каковы бы ни были издержки и мудрость тех глубоких перемен, которые вызвала четырехлетняя сталинская революция сверху, эти перемены (отмена нэпа, коллективизация, развитие тяжелой промышленности и отрицание других путей развития) представляют собой необратимый факт. Советский Союз обрел совершенно новый облик, и нечего теперь говорить о возврате к положению, господствовавшему до 1929 г. Противникам Сталина следует поэтому прекратить оплакивать прошлое и начать изучение существующих тенденций развития. Конец первой пятилетки обозначил „новые перевалы” в истории СССР. Пришло время всем большевикам принять новое руководство, чтобы быть в состоянии взяться за решение двух взаимосвязанных проблем, стоящих перед ними в данный момент — борьба с фашизмом и необходимость реформировать новую общественную структуру, созданную в стране насильственной сталинской революцией [108].

Фашизм (как опасность со стороны германского нацизма и как новое политическое явление) занимал центральное место в мышлении Бухарина в 30-е гг. Приход Гитлера к власти камня на камне не оставил от коминтерновской политики Сталина. Хотя вопрос о том, предотвратило бы сотрудничество между немецкими коммунистами и социалистами в 1929—1933 гг. победу нацистов и была ли антисоциалистическая линия Сталина единственным препятствием к такому сотрудничеству, остается спорным, многие советские и зарубежные коммунисты ответили бы на него утвердительно [109]. Более того, Сталин отказался от своей дискредитированной политики неохотно и с большим запозданием; практически это произошло лишь в 1934 г., а

формально — на VII конгрессе Коминтерна в середине 1935 г., призвавшем к созданию единого фронта коммунистов и социалистических партий против фашизма. Этот запоздалый поворот явился частью общей переориентации советской дипломатии в сторону создания системы коллективной безопасности в Европе, направленной против Германии, что символизировалось вступлением СССР в Лигу наций в сентябре 1934 г. За кулисами, однако, в советском руководстве произошел резкий раскол по поводу политики в отношении новой Германии, сохранявшийся даже после решения выступить на стороне антифашистов в гражданской войне в Испании осенью 1936 г. [110].

Как подтвердил Молотов в одном из нечастых публичных откровений в 1936 г., дискуссия развернулась между сторонниками полной непримиримости к фашизму и конкретно к нацистской Германии и сталинской группой, стремившейся к улучшению советско-германских отношений [111]. Как и большинство европейских государственных деятелей, советские руководители имели самые разные и зачастую расплывчатые представления о фашизме. Все они видели в нем порождение кризиса капиталистического общества и острой потребности буржуазии в открытой (в отличие от замаскированной парламентской) „диктатуре капитала”. Однако это положение оставляло место для весьма различных толкований. Для Сталина оно означало, что появление нацизма — всего-навсего иной разновидности капиталистического режима — не обязательно должно положить конец особым отношениям, завязавшимся в 1922 г. между двумя изгоями послевоенной Европы — Советским Союзом и Германией. Он подчеркнул это обстоятельство для партийцев (и для Гитлера) в своей речи на XVII съезде в январе 1934 г.: „Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной” [112]. Неясно, предвидел ли Сталин уже в 1934 г. возможность договора о сотрудничестве типа заключенного в 1939 г. пакта между нацистской Германией и Советским Союзом. Ясно одно, что даже в период прозападной ориентации Советского Союза в середине 30-х гг. он предпочитал советский вариант политики умиротворения Гитлера и наилучшие с ним отношения, для достижения чего прибег к методам тайной дипломатии [113].

Бухарин был выразителем противоположной точки зрения. Он был с самого начала убежден, что гитлеризм „отбрасывает на мир черную, кровавую тень” [114], и стал ярким защитником бескомпромиссного антифашизма и коллективного сопротивления нацистской Германии. На том же партсъезде, где произошло его возвращение на политические вершины, он окольным образом отверг утверждение Сталина о том, что природа фашизма не играет никакой роли. Он утверждал, что к фашистской

идеологии, примером которой является гитлеровская „Майн кампф“, следует отнести со всей серьезностью. Проповедуемые в ней „открытый разбой, открытая скотская философия, окровавленный кинжал, открытая поножовщина“ уже практикуются в самой Германии. Яркий антибольшевизм Гитлера, его требования жизненного пространства для Германии за счет России и открытый призыв „разбить наше государство“ делают его внешнеполитические намерения „совершенно ясными“. Немецкие аппетиты в отношении западных территорий Советского Союза и японские амбиции в Сибири, отметил Бухарин с пророческим юмором висельника, очевидно, означают, „что где-то на одной из доми Магнитки нужно поместить все 160-миллионное население нашего Союза“. Он завершил свое выступление опровержением правомерности сталинского принятия нацистского режима: „Вот это звериный лик классового врага! Вот кто стоит перед нами и вот с кем мы должны будем, товарищи, иметь дело во всех тех громаднейших исторических битвах, которые история возложила на наши плечи“ [115].

На протяжении последующих трех лет в частных разговорах, в публичных выступлениях и на страницах „Известий“ Бухарин настойчиво проводил мысль о неизбежности войны с Германией и „политике безопасности“ совместно с западными правительствами. Для тех из советских руководителей, кто стоял за умиротворение Гитлера, он подчеркивал коренную несовместимость между природой коммунизма и „скотством и расизмом“ фашизма, равно как и непримиримость к гитлеровской Германии, сделавшей войну основой внешней политики, а захват Советской России — своей целью. Он напоминал большевикам, что западные демократии есть „добро“ по сравнению „со средневековым и фашизмом“ [116]. Для сторонников умиротворения нацизма на Западе он подчеркивал „исторические уроки“ 1914 г. и ту общую опасность, которую представляют собой нацисты для Англии, Франции, Австрии, прибалтийских государств, Финляндии и даже США. Он предостерегал в 1935 г., что в случае победы Германии над СССР Гитлер получит „мощную сырьевую базу“ и начнет „второй тур операций „немецким мечом“, на этот раз на Западе“ [117].

Прозорливость Бухарина не нуждается в комментариях. Ее достаточно, чтобы поместить его в один ряд с горсткой крупных политических деятелей, с самого начала осознававших чудовищную опасность со стороны нацистской Германии и услышанных слишком поздно. Но антифашизм являлся для него не только внешнеполитической стратегией, он занимал видное место в его размышлениях о событиях в самом Советском Союзе. Разумеется, эти два аспекта связывались в его сознании прежде всего с необходимостью подготовки к войне, для чего надо было положить конец „огромному недовольству ... населения“, особенно

крестьянства [118]. Сопrotивление германскому фашизму и реформы в Советской России (в особенности в направлении „зажиточной жизни” и демократизации) составляли, по его мнению, одно целое, и в 1934—1936 гг. он регулярно связывал их воедино [119].

Но выход нацистской Германии на сцену оказал более сложное влияние на мысли Бухарина о тенденциях внутреннего развития СССР. Параллели между партийными диктатурами в гитлеровской Германии и в сталинской России, сделавшиеся уже предметом обсуждения за границей, не ускользнули от его внимания. Разумеется, ему приходилось формально опровергать их как чисто поверхностное сходство между двумя диаметрально противоположными системами, однако в своих статьях и в частных беседах он сигнализировал „интересующимся” о тревожной и менее однозначной оценке сложившейся ситуации. В отличие от многих марксистов Бухарин признавал нацистский порядок качественно новым явлением. Он думал, что это есть реализация „нового Левиафана”, государства „Железной пяты” Джека Лондона, о кошмарной возможности появления которого в современном обществе он размышлял в 1915 г. [120]. И как можно судить по его изображению нацистской Германии, ее тоталитарного строя, „этатизма и цезаризма”, а также по его признаниям, сделанным в частном порядке в 1934—1936 гг., Бухарин опасался, что сталинская политическая линия и его действия после 1929 г. приведут к таким же последствиям в Советском Союзе.

В отличие от некоторых мыслителей (включая русского философа Н. Бердяева, чью книгу о „процессе обезличивания” в обоих „новых Левиафанах” он подверг критике, одновременно признав ее замечательно интересной [121]), Бухарин не возлагал ответственности за это зло на огромные современные организации. Он скорее усматривал его корни в „идее насилия, как постоянного фактора воздействия власти на общество, на человеческую личность”, в террористических диктатурах, основанных на „постоянном насилии” и в „реальной пропасти между ... кучкой господствующих эксплуататоров и массой эксплуатируемых”. Такой режим „со всеми его организационными потугами создает обезличенную массу, со слепой дисциплиной, с культом иезуитского послушания, с подавлением интеллектуальных функций” [122]. Он применил эту характеристику к Германии, но подал это так, что можно было сделать вывод и о ее применимости к нарождавшемуся в Советском Союзе культу Сталина, русской государственности и железной дисциплины:

Фашизм ... создал всеильное, „тотальное государство”, которое обезличивает все и вся, кроме начальства и „высшего начальства”. Обезличивание масс прямо пропорционально

здесь восхвалению „фюрера“... Так подавляющее большинство народа превращается в функционеров государства, скованных вторгающейся во все области жизни дисциплиной... Все доминируется тремя этическими нормами: преданностью „нации“ или „государству“, „верностью фюреру“ и „казарменным духом“ [123].

Бухарина и раньше тревожила возможность вырождения большевистской революции в новый эксплуататорский строй. Но существующая теперь потенциальная возможность порождения сталинизмом советской системы „постоянного насилия“, наверное, казалась ему до ужаса реальной. Выступая с протестами, он, очевидно, думал, что предотвратит повторение в СССР ситуации нацистской Германии все еще возможно. Этой надеждой, определявшей его горячую поддержку реформ умеренной фракции, вдохновлялась бухаринская концепция „пролетарского“, или „социалистического“ гуманизма. Гуманистические лозунги, отождествлявшиеся в основном с традицией беспартийных писателей, в 1929—1930 гг. получили (вместе с „гнилым либерализмом“) от сталинского руководства ярлык „одного из проявлений метаний и паники... среди групп, которые не могут поспеть за напором событий, не могут найти свое место в рядах борцов за социализм“ [124]. И все же к 1934 г. Бухарин сделал „социалистический гуманизм“ наряду с антифашизмом одной из двух своих главнейших тем [125].

Переключаясь с его нравственными возражениями против антикрестьянской политики, эта концепция представляла собой откровенно этический взгляд на вещи. „Принцип социалистического гуманизма“, пояснил Бухарин, означает „заботу о всестороннем развитии, о многогранной („зажиточной“ материальной и духовной) жизни“. Он означает такое общество, в котором „машина есть лишь средство, помогающее расцвету богатой, многообразной, яркой и радостной жизни“, в котором люди, „их потребности, их рост, расширение и обогащение их жизни и есть задача социалистической экономики“, в котором „критерием является свобода максимального развития максимального числа людей“ [126]. Сформулировав „социалистический гуманизм“ как принцип, „по всему фронту противостоящий фашистскому скотству“, Бухарин также стремился убедить недоверчивых западных критиков объединиться с Советским Союзом „против антигуманистического нацизма“ [127]. Но главная его забота была, очевидно, о самом советском обществе, а настоящей его аудиторией была большевистская партия.

В каком-то смысле в его гуманистической доктрине не было ничего примечательного: она в основном вновь излагала чаяния первоначального социализма. Однако в советских условиях 30-х гг. она выростала в радикальную критику, в настоящий манифест, в призыв к гуманному социализму, который два

десятилетия спустя подхватят коммунистические реформаторы. На фоне сталинской „революции сверху”, меж официальных возвеличиваний того, что Бухарин называл „моментами *военного порядка*”, перед лицом иерархической, бюрократической власти и жестокого провинциального бескультурья он напоминал партии, что миссия социализма состоит в создании новой культуры, сохраняющей и превосходящей высшие достижения и ценности современной эпохи [128]. Казалось, он хотел сказать, что фашизм наряду со сталинизмом таит опасность для этих ценностей своей опорой на насилие и презрением к достижениям человечества, олицетворяемым для него словами: „Когда я слышу слово культура, я спускаю предохранитель своего браунинга” [129]. Он напоминал партии, чьи горизонты и мировоззрение были искажены семнадцатью годами гражданской войны, жестоких внутренних распрей и насильственной индустриализации и коллективизации, что ”творческое, счастливое человеческое общество для нас — цель в себе...” [130].

Как поведал Бухарин в частной беседе, его больше всего тревожило ожесточающее действие на партию коллективизации — „хладнокровного уничтожения совершенно незащитных людей, женщин и детей”. Некоторые коммунисты остались равнодушны, другие взбунтовались, третьи, включая жену самого Сталина, Н. Аллилуеву, в знак протеста покончили жизнь самоубийством. Многие тем не менее приспособились к насилию и подчинились ему как нормальному методу управления, превратившись, чего и опасался он, в „зубчики страшной машины... „железной пяты”. Пропаганда социалистического гуманизма, очевидно, была для Бухарина способом предостережения партии об опасности и такой патологии. Он продолжал сохранять надежду, что партийцы поступали плохо „не потому, что они плохи, а потому, что у них плохое положение... Их следует убедить, что страна вовсе не настроена против них и что им нужно только переменить тактику” [131]. Так, его статьи 1934—1936 гг. призывали партийцев согласиться примерно со следующими реформами: окончание террора в деревне и отмена карточной системы, большие ассигнования на сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления и социальное обеспечение, культурная оттепель, которую обещал первый съезд писателей и утверждение законности и демократизации, провозглашенных новой конституцией; эти реформы обеспечат „начальный расцвет социалистического гуманизма”, ознаменовав момент, когда „идеология может уже реализоваться в жизненной практике”. По-видимому, он звал к тому, чтобы социалистический гуманизм, а не сталинизм „стал *идейной осью нашего времени*” [132].

Трудно сказать, насколько реален был бухаринский оптимизм относительно возможности решительных реформ и сопро-

тивления сталинизму, или точно установить, когда этот оптимизм сменился отчаянием. Его возвращение к метафорическому образу „железной пяты”, которая всегда означала всемогущий деспотизм, коренящийся в социальных условиях, подсказывает, что скрытый пессимизм не покидал его. Более того, даже полоса успехов и популярности реформ и антифашизма сопровождалась регулярными проявлениями истинных сталинских намерений и произвола. Убийство Кирова в декабре 1934 г. привело Бухарина в состояние шока, и вполне возможно, что он уже тогда подозревал, кто стоит за этим [133]. Как бы там ни было, он знал о том, что в последующие недели Сталин всюду стал применять расстрелы в политических целях и, скорее всего, слышал о его тайных директивах (некоторые из них содержали косвенные обвинения в адрес самого Бухарина), направленных против затаившихся в партии „врагов”. Дальнейшие события 1935 г. — первые процессы Каменева и Зиновьева, ликвидация Общества старых большевиков и изъятие из библиотек книг нескольких бывших оппозиционеров — явно были чреваты угрозой для позиции умеренной фракции и для старой большевистской партии [134].

В дополнение к этому, несмотря на то что политическая судьба вновь улыбнулась Бухарину, лично Сталин продолжал оценивать его „на три с минусом” [135]. Единственным его контактом с окружением Сталина в начале 30-х гг. была, по-видимому, его близкая дружба с молодой женой Сталина [136]. Ее бухаринские взгляды на коллективизацию и ее самоубийство в ноябре 1932 г. только ухудшили положение Бухарина. Он также, скорее всего, не мог разделять серьезно оптимистического мнения умеренных членов Политбюро, что „курение фимиама Сталину” может завоевать его доверие. Как и в 1928 г., он ощущал психологическую и политическую одержимость генсека. Сталин, объяснял он, „даже несчастен от того, что не может уверить всех, даже самого себя, что он выше всех..., и за это самое свое „несчастье” он не может не мстить людям, всем людям, а особенно тем, кто чем-то лучше, выше него...” Бухарин отдавал себе отчет в том, что его собственное положение в партии делает его главной мишенью этой мстительности и что грозящая ему лично опасность растет одновременно с ростом популярности представляемой им политической линии [137]. Публично Сталин иногда вел себя вполне по-дружески, как, например, на банкете в 1935 г., когда он заявил: „Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича Бухарина, все мы его любим и знаем, а кто старое помянет — тому глаз вон” [138]. Одновременно с этим агенты госбезопасности уже готовили досье о бухаринском „прошлом”. А 10 февраля 1936 г. орган сталинистов „Правда” впервые за несколько лет выступила с критикой его взглядов, что не могло не служить зловещим предзнаменованием [139].

Две недели спустя, „зная наверняка, что он пожрет нас”, что Сталин лишь дожидается подходящего момента [140], Бухарин отправился с женой в Париж, в свою последнюю заграничную поездку. Он поехал туда в составе советской делегации, чтобы приобрести уникальные архивы разгромленной социал-демократической партии Германии*. Архивы эти, содержащие рукописи Маркса, хранились у меньшевика, историка-эмигранта Б. Николаевского, жившего в Париже и помогшего тайком вывести их из нацистской Германии. Бухарин провел за границей два месяца, включая остановки в Праге и в Берлине и экскурсию в Копенгаген. Скоро стало ясно, что в эту поездку (которая, как он и подозревал, оказалась последней) Бухарин поехал „с мыслью о будущем некрологе” [141].

С друзьями и с политическими противниками он разговаривал с поразительной откровенностью и небрежением к партийной традиции политической секретности. Во время непредусмотренного посещения лидера находившейся в эмиграции партии меньшевиков Ф. Дана он высказался о Сталине с нескрываемыми „страхом и злобой” („это маленький злобный человек, нет, не человек, а дьявол”). Прогуливаясь с Андре Мальро по Пляс-дель-Одеон, он сказал ему „отрешенным голосом: „А теперь он меня убьет...” [142].

Он избрал Николаевского, чтобы („с мыслью о будущем некрологе”) поделиться с потомками своими взглядами на исторические факты. Несмотря на меньшевизм Николаевского, он доверял ему, возможно, из-за его репутации архивного работника и марксистского историка, а также из-за того, что тот приходился дальним родственником Рыкову. Сначала Бухарин осторожно беседовал с ним об общих знакомых, о далеких событиях и философских вопросах. Но их частные разговоры растянулись на весь март и апрель, сделались более интимными, и, наконец, Бухарин, иногда колеблясь и обиняками, стал рассказывать о важнейших сторонах борьбы в советском руководстве после дела Рютина, о своей собственной роли и поделился взглядами на внутреннюю и внешнюю политику. Основываясь на этих разговорах (и, возможно, позднейших сообщениях Бухарина), Николаевский анонимно опубликовал восемь месяцев спустя знаменитое „Письмо старого большевика”, примечательнейший документ и источник большей части имеющихся у нас сведений о политической борьбе в Советском Союзе в 30-е гг. [143]. У Николаевского и у некоторых других, включая старого товарища по Коминтерну, советовавшего Бухарину остаться за границей и организовать антисталинскую газету, осталось впечатление, что Бухарин с отчаянием смотрел на свою собственную судьбу и на будущее Советского Союза под властью Сталина. Зачем же он тогда возвращается назад, спрашивали они. Из ответов Бухарина можно было понять, что он полон

решимости сыграть до конца свою политическую и символическую роль в партии: „Как не вернуться? Стать эмигрантом? Нет, жить, как вы, эмигрантом, я бы не мог, нет, будь, что будет...” [144].

Бухарин вернулся в Москву в конце апреля 1936 г., когда сталинская подготовка к большому террору близилась к завершению. Террор должен был начаться с процесса и расстрела Зиновьева и Каменева, уже находившихся под арестом по обвинению в организации „троцкистско-зиновьевского террористического центра”, совершившего покушение на Кирова и готовившего убийства членов сталинского руководства. В своей первой статье в „Известиях” по возвращении из-за границы Бухарин привлек внимание „интересующихся” к отчаянному положению. Статья эта, посвященная якобы всенародному обсуждению новой конституции, начиналась с цитаты из Макиавелли (знакомый эзоповский прием) и затем переходила к теме: все фашистские режимы действуют за фасадом „политической фикции, обманной идеологической декорации” [145]. 18 июня Горький, который был влиятельным противником надвигающегося террора, умер при весьма загадочных обстоятельствах. В своем некрологе Бухарин оплакивал кончину „великого пролетарского гуманиста” и „певца разума” [146]. В последующие недели обвиняемые по „делу” Зиновьева и Каменева начали в ходе следствия сознаваться в выдуманных преступлениях.

6 июля Бухарин напечатал статью, которая, как он, очевидно, знал, станет последней. Заглавие статьи („Маршруты истории — мысли вслух”) снова привлекло внимание читателей к ее исключительному значению как своего рода завещания Бухарина [147]. В ней неоднократно поднималась тема об „истинном” направлении событий в стране и за рубежом. Бухарин начал с анализа. „Сейчас все говорят о сталинской конституции”, однако подлинное значение имеет закулисное „сплочение, консолидация” сталинского режима и грядущее уничтожение всех, сопротивляющихся ему. Чтобы ни у кого не сложилось неверного впечатления о том, что его тезис о связанном с фашизмом „зверском мордобое, угнетении, насилии, войне” относится только к Германии, Бухарин снова отметил: „Сложная сеть декоративного обмана (в словах и в действиях) составляет чрезвычайно существенную черту фашистских режимов всех марок и всех оттенков”.

Политическое завещание должно быть обращено к будущему. И здесь наряду со своим отчаянием по поводу настоящего Бухарин, по-видимому, хранил надежду на благополучный исход будущих событий. Из Европы он возвратился с вдвойне укрепившимся убеждением в стабильности нацистской Германии и исходящей от нее опасности, а также в необходимости ориентировать советскую дипломатию на Англию [148]. Он

давал понять, что Сталин готовится теперь отказаться от антифашизма и во внешней политике; однако эти „авантюристские иллюзии” не могут предотвратить неизбежного столкновения с Германией, и Советскому Союзу все равно суждено послужить оплотом борьбы „против фашистской войны и фашистской контрреволюции”. В грядущей „великой исторической драме” каждый советский гражданин должен сохранить преданность социализму и уверенность в его победе в Советском Союзе, победе, как Бухарин, очевидно, продолжал надеяться, сталинизм не может помешать.

Режимы сталинского типа, как, видимо, предсказывал Бухарин, обречены „парадоксом истории”. Они основаны на „идеологии ненависти к массе... для всех них масса — это „Untermenschen,” „подчеловеки”, „низшие”...” Но „массы уже вышли на историческую арену, и загнать их в подполье целиком нет никакой возможности”. Таким режимам надо поэтому, „создать иллюзию соучастия масс во власти... но было бы крайней близорукостью не видеть исторических пределов этого организованного обмана... этот обман рано или поздно должен вскрыться”. „Русская революция заложила „базис социализма” и произвела огромные перемены во всей внутренней структуре страны и ее жизни”. Невзирая на сталинский режим, простые люди достигают уже политической, экономической и культурной зрелости и перестают быть „простыми „instrumenta vocalia” („орудиями с голосом”, как называли в Риме рабов)”, они становятся „сознательной массой сознательных личностей”. В этом гарантия социализма, ибо „живая история” творится „живыми людьми, миллионами этих живых людей”. На пороге своей собственной гибели Бухарин сохранил веру в народ и в историю. Так, он сказал Николаевскому: „Человека спасает вера в то, что развитие всегда идет вперед... как поток... Он течет по самым неудобным местам, но все равно пробивает себе дорогу вперед... А народ растет, крепнет на таком пути и строит новое общество” [149].

Процесс Зиновьева, Каменева и 14 обвиняемых начался 19 августа и быстро показал, что, помимо сидящих на скамье подсудимых, Сталин нацеливается и на другие жертвы. Хорошо вышколенные его следователями подсудимые незамедлительно дали показания о причастности Бухарина, Рыкова, Томского и ряда бывших троцкистов к якобы совершенным ими „контрреволюционным преступлениям”. 21 августа сталинский прокурор Вышинский, дирижировавший на суде хорошо отрепетированными признаниями, объявил о начале следствия по делу Бухарина и других лиц, скомпрометированных показаниями подсудимых [150]. На следующий день, прочитав об этом в газете, Томский, руководитель советского профсоюзного движения, еще остававшийся кандидатом в члены ЦК, покончил

жизнь самоубийством. Он хотел избежать оскорблений и унижений, которым подверглись Зиновьев и Каменев. Как написал его друг за границей, он предпочел „достойный конец” [151]. 24 августа все шестнадцать обвиняемых на зиновьевском процессе были признаны виновными, и несколько дней спустя их расстреляли. Газеты тем временем публиковали письма „трудящихся” с требованиями раскрыть до конца бухаринские связи с „физически уничтоженными двурушниками, убийцами и шпионами, лютыми врагами рабочего класса” [152].

Противники террора в Политбюро, главным образом Орджоникидзе и, по всей видимости, украинцы Косиор, Чубарь и П. Постышев, сделали последнюю попытку к сопротивлению. Они, вероятно, в свое время нехотя согласились на процесс над Каменевым и Зиновьевым, дважды уже приговоренным к тюремному заключению, поскольку Сталин дал обещание, что подсудимых не расстреляют. Он жестоко обманул их, и теперь они принялись спасать Бухарина и Рыкова, которые были более популярными и значительными политическими фигурами [153]. На нескольких заседаниях руководства (возможно, членов ЦК, но, скорее всего, Политбюро) в конце августа—начале сентября они добились ряда важных решений. Одно, очевидно, санкционировало вмешательство Советского Союза в гражданскую войну в Испании. Другое прекращало следствие по делу Бухарина и Рыкова. 10 сентября „Правда” объявила, что ведомство Вышинского, „не установив юридических данных”, закрывает дело [154].

Хотя Бухарин оставался на воле и даже мог свободно передвигаться по стране, полученная передышка вряд ли принесла ему утешение. Он знал, конечно, что стоит первым среди тех, у кого, как много лет спустя написал поэт Евтушенко, „внутри светился смертный приговор, как белые кресты на дверях гугенотов” [155]. Хотя до 16 января 1937 г. Бухарин числился редактором „Известий”, он утратил над газетой контроль (наверное, в августе) и вернуть его больше не смог [156]. А сталинские интриги с окончанием следствия не прекратились. В конце сентября Сталину удалось заменить главу НКВД Ягоду, чьи связи с бухаринцами в 1928–1929 гг. не располагали его к преследованиям против них, поборником террора Ежовым, которому предстояло провести главное наступление генсека на партию в 1937–1938 гг. Назначение Ежова ускорило подготовку ко второму открытому процессу старых большевиков, включавших на этот раз друзей Бухарина, Пятакова и Радека. Они обвинялись также в шпионаже и диверсиях [157]. Бухарина окружала теперь атмосфера „неослабевающего террора”, которым управлял „гений дозировки” [158]. 7 ноября он с женой наблюдал за праздничными торжествами со скамей для зрителей, а не с трибуны Мавзолея, отведенной для высшего руководства.

Тут к ним подошел часовой. Как вспоминает жена Бухарина: „Я решила, что он предложит Н. И. уйти с этого места или идет арестовать его, но часовой отдал честь и сказал: ”Товарищ Бухарин, товарищ Сталин просил передать Вам, что Вы не на месте стоите, и просит Вас подняться на Мавзолей” [159]. Через месяц Бухарина не включили в состав комиссии по разработке окончательного варианта конституции, и печать снова начала намечать на его связи с „врагами народа” [160].

Процесс Пятакова, Сокольников, Радека и 14 других начался 23 января 1937 г. Подсудимые снова немедленно дали заготовленные показания, изобличающие Бухарина и Рыкова; на этот раз им вменили в вину диверсии и измену родине, равно как и убийства. Через семь дней фальсифицированных обвинений и фанатических показаний суд признал всех 17 подсудимых виновными и не приговорил к смертной казни (временно) лишь Радека, Сокольников и двух других [161]. В течение следующих недель несколько менее видных бухаринцев были „подвергнуты соответствующей обработке” в подвалах НКВД, а „показания” их были доставлены Бухарину, с целью своего рода „душевной пытки”. Бухарин, который, скорее всего, практически уже стал пленником в своей кремлевской квартире, начал голодовку; этот печальный протест должен был придать дух противникам террора в ЦК, собиравшимся встать на защиту этого последнего рубежа [162].

С 1917 г. это был самый судьбоносный Пленум Центрального Комитета. Он был созван 23 февраля 1937 г. Противники террора отдавали себе отчет в том, что для его предотвращения им надо было не допускать исключения Бухарина из партии и его ареста, все еще являвшихся прерогативой ЦК. Если бы Бухарина заклеили как врага народа, то никто не смог бы чувствовать себя в безопасности. По той же самой причине Сталин тщательно подготовился к решающему столкновению. За пять дней до этого Орджоникидзе, бывший наиболее влиятельным противником террора, был убит или принужден покончить жизнь самоубийством. Поэтому после открытия пленума либеральная фракция, ряды которой сильно поредели, боролась с осмелевшими сталинистами за завоевание уже запуганного большинства ЦК. Намечалось обсудить несколько вопросов, однако „на самом деле в повестке дня был всего лишь один пункт — исключение Бухарина и Рыкова” [163]. Оба оставались еще кандидатами в члены ЦК и присутствовали на пленуме.

Раздав делегатам составленные НКВД материалы по делу Бухарина и Рыкова, Сталин и его приспешники выступили с требованием их ареста как „наемных убийц, вредителей и диверсантов, находящихся на службе фашизма”. По утверждению Сталина и его союзников, выдвинутый им десять лет назад тезис об обострении классово-борьбы по мере приближения

к социализму получил блестящее подтверждение в результате разоблачения этих заговорщиков, „прикрывающихся партбилетом и маскирующихся большевиками”. Их требования вызвали примечательный диалог между Бухариным и Молотовым. Бухарин: „Я не Зиновьев и не Каменев и лгать на себя не буду!” — Молотов: „Не будете признаваться — этим и докажете, что вы фашистский наймит, они же в своей прессе пишут, что наши процессы провокационные. Арестуем — сознаетесь!” [164]. Зная, что арест неминуем, по возвращении домой с этого заседания Бухарин составил письмо к „Будущему поколению руководителей партии” и попросил жену выучить его наизусть.

„Чувствую свою беспомощность, — начал он, — перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно...” Сталинский НКВД, продолжал он, это „переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина... любого члена ЦК, любого члена партии эти „чудодейственные органы” могут стереть в порошок, превратить в предателя, террориста, шпиона”.

Бухарин заявил о своей полной невинности и писал, что называть его врагом революции и агентом капитализма — все равно как обнаружить, что последний царь „всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции”. Он обращался к будущему поколению руководителей партии,

...на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, которые в эти страшные дни становятся все грандиознее, разгораются, как пламя, и душат партию... В эти, может быть, последние дни своей жизни, я уверен, что фильтр истории, рано или поздно, неизбежно смоем грязь с моей головы... Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на Пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии. Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови [165] *.

Когда Пленум ЦК возобновил работу, Бухарин зачитал гневное, эмоциональное заявление от своего имени и от имени Рыкова. Согласно ходившему по Москве тексту, большая часть которого подтверждается другими источниками, Бухарин согласился с тем, что „чудовищный заговор” существует, только возглавляют его Сталин и Ежов, стремящиеся к установлению личной диктатуры, основанной на полицейской власти „над партией и страной... Вот почему нас надо уничтожить”. Обращаясь к Сталину, он утверждал: „Политическим терроризмом и пытками

невиданного еще масштаба вы заставили старых членов партии дать „показания”... У вас в распоряжении толпа платных доносчиков... Вам нужна кровь Бухарина и Рыкова, чтобы совершить переворот, который вы давно уже планируете...”

Настаивая на том, что речь идет не о его собственной участи, а о судьбе страны, Бухарин призывал членов ЦК „вернуться к ленинским традициям и призвать к порядку полицейских заговорщиков, прикрывающихся авторитетом партии. Страной сегодня правит не партия, а НКВД. Переворот готовят не сторонники Бухарина, а НКВД” [166].

Когда он потребовал расследования действий НКВД, Сталин бросил: „Ну вот мы тебя туда пошлем, ты и посмотришь” [167].

Выбор был ясен, и тут от имени противников террора выступил кандидат в члены Политбюро Постышев: „Лично я не могу поверить, что ...честный член партии, прошедший долгий путь непреклонной борьбы с врагом, за партию, за социализм, может оказаться теперь в стане врага. Не могу в это поверить...” Здесь, как говорят, Сталин прервал его таким угрожающим тоном, что решимость Постышева поколебалась; он и другие ораторы — его единомышленники пошли на попятную, начали пересматривать свои взгляды (хотя так поступили, очевидно, не все они), и Сталин, увидев, что перевес на его стороне, перешел к своей знакомой тактике: изображая нейтралитет, он предоставил нападать на Бухарина и Рыкова своим подручным по террору и назначил для решения их судьбы комиссию, где заправляли те же самые его приверженцы [168].

Комиссия сообщила свое заключение на заседании, состоявшемся 27 февраля: „Арестовать, судить, расстрелять”. Оно было утверждено большинством ЦК, 70% которого сами погибли в ближайшие месяцы. Бухарина и Рыкова арестовали на месте и отвезли на Лубянку [169]. Тринадцать месяцев спустя они появились в качестве главных обвиняемых на последнем и важнейшем из московских показательных процессов.

История подчас помнит своих главных актеров не за то, за что следовало бы. В течение многих лет после смерти Бухарина он ассоциировался в западном политическом сознании не с его ролью в большевистской партии и не с тем, что он представлял в советской истории, а почти исключительно с показательным процессом 1938 г.

Жуткая притягательная сила, которой обладало зрелище очернения одного из виднейших основателей Советской республики и его гибели как ее „заклятого врага”, вполне понятна. Это впечатление, однако, еще больше укреплялось господствующим заблуждением, будто Бухарин с готовностью сознался в чудовищных немислимых преступлениях, чтобы отречься от

своих собственных взглядов, искренне покаяться в своем противоборстве сталинизму и таким образом выполнить „последнее поручение” партии и поддержать миф о ее непогрешимости. Эта точка зрения проистекала из неверного толкования поведения Бухарина на процессе и приобрела популярность после опубликования в 1940 г. знаменитого романа Артура Кестлера „Слепящая тьма”. Вымышленный герой романа Рубашов, старый большевик, сделавшийся жертвой чисток и списанный в большой степени с Бухарина, поддается уговорам следователя (и своим собственным) о необходимости признаться и тем самым выполнить свое „последнее партийное поручение”. В основном благодаря художественной силе кестлеровской книги, этот образ Бухарина—Рубашова как кающегося большевика и потерпевшего нравственный крах интеллигента господствовал на протяжении двух поколений [170]*. В действительности же, как некоторые понимали в то время и как в конце концов поняли многие другие, Бухарин не сознался в предъявленных ему обвинениях [171].

Его поведение в зале суда следует толковать в свете политического значения самого процесса и тяжелых решений, которые стояли перед ним во время годичного следствия. Тянувшаяся одиннадцать дней пародия на правосудие в каком-то смысле представляла собой всего-навсего расширенный вариант двух предыдущих процессов. Суд начался 2 марта 1938 г. в изысканно убранном Октябрьском зале Дома Союзов, бывшего Благородного собрания, в присутствии состоявшей из трех человек военной коллегии Верховного суда Союза ССР. На нем опять заправляли, в качестве председательствующего и прокурора, одиозные юридические оформители сталинского террора Ульрих и Вышинский. Кроме Бухарина и Рыкова, на скамье подсудимых сидели 19 обвиняемых, в том числе смещенный глава органов госбезопасности Ягода, видные большевики и бывшие троцкисты Н. Крестинский и Х. Раковский, пять наркомов и „капитанов” индустрии, не замешанных ни в каких оппозициях, и трое руководителей республиканского и государственного масштаба. Остальные к политическим фигурам не относились и якобы служили орудием главных заговорщиков: агроном, профсоюзный работник, служивший ранее в Берлине, личные секретари Ягоды и покойных Горького и Куйбышева, а также три престарелых кремлевских доктора. Показания их были вырваны под пыткой и подогнаны под совершенно фантастическое обвинительное заключение. Снова все было хорошо отретипировано, в том числе и поведение примерно трехсот зрителей, состоявших, за исключением иностранных корреспондентов и нескольких иностранных дипломатов, в основном из работников госбезопасности, изображавших возмущенных граждан [172].

С точки зрения масштаба и политической значимости, все-таки этот процесс существенно отличался от предыдущих. Согласно обвинительному заключению, составленному под личным наблюдением Сталина, который затем следил за ходом процесса из-за занавешенного окошечка над залом [173], подсудимые участвовали в разветвленном преступном заговоре, охватывающем буквально всех бывших и нынешних оппозиционеров или хотя в чем-то отклонившихся от официальной линии большевиков. Главари его являлись правые большевики, возглавляемые Бухариным, и левые большевики, направляемые из-за границы высланным Троцким. Такая идея сваливания в одну кучу большевиков всех оттенков и подсказала официальное название процесса: „Дело антисоветского „право-троцкистского блока“”. Согласно обвинительному заключению, подсудимые несли ответственность не только за всевозможные террористические и диверсионные акты и шпионаж, в которых они обвинялись на прошлых процессах, но и за еще более чудовищные преступления, включавшие увенчавшийся успехом заговор с целью убийства, в частности Куйбышева и Горького, и безуспешные планы покушения на Сталина и „его замечательных соратников“, подрыв безопасности Советского Союза и открытие границ страны для Германии и Японии, передача части советской территории различным иностранным державам, экономический саботаж и восстановление капитализма.

Отдельные пункты обвинительного заключения преследовали различные цели. Некоторые приписывали соперникам Сталина преступления, в которых подозревали его самого, например убийство Кирова. Другие были явно сфабрикованы для того, чтобы свалить на других грандиозные провалы сталинского руководства после 1929 г., как, например, обвинение в том, что Бухарин и другие подсудимые организовывали „кулацкие восстания” и травили скот во время коллективизации, а также створились оставить население городов без товаров, в числе прочего приказав своим агентам подмешивать битое стекло в пищевые продукты [174]. Однако общей целью этих обвинений и самого процесса была дискредитация и осуждение на веки вечные всех антисталинских идей и всего старого большевистского руководства, исключая Сталина (и, скрепя сердце, Ленина), как „зловонной кучи человеческих отбросов”, то есть, по сути дела, мрачная коронация Сталина и сталинизма. Сталинские слова по поводу ареста Бухарина в 1937 г. сделались (уста-ми его резонера — прокурора Вышинского) политическим обвинением на этом процессе:

Историческое значение этого процесса заключается раньше всего в том, что на этом процессе... показано ...что правые, троцкисты, меньшевики, эсеры, буржуазные националисты и т.д. и тому подобные являются не чем иным, как бесприн-

ципной, безыдейной... бандой убийц, шпионов, диверсантов и вредителей...

Троцкисты и бухаринцы, т.е. „право-троцкистский блок”... это не политическая партия, политическое течение, это банда уголовных преступников, и не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам, преступников, которых даже уголовники третируют, как самых падших, самых последних, презренных, самых растленных из растленных [175].

Согласно сталинскому плану, Бухарину предстояло сыграть ведущую роль в представлении доказательств этих обвинений против старых большевиков. Он являлся крупнейшим символом досталинского большевизма и виднейшим из руководителей партии, представших перед судом (Троцкого судили и приговорили заочно), и поэтому был для членов партии и осведомленных граждан центральной фигурой на этом процессе [176]. Его виновность, служившая предметом разбирательства в большей части восьмисотстраничного судебного дела, должна была символизировать виновность большевизма. Как вспоминает один из очевидцев, Бухарину „отводилась роль князя тьмы... Он стоял за каждым злодейством, рука его ощущалась в каждом заговоре. Черня себя, каждый заключенный не забывал очернить и Бухарина... Затаенные воспоминания о славном прошлом стирались начисто”. С помощью послушных подсудимых Вышинский использовал любую возможность, чтобы изобразить всю политическую биографию бывшего „любимца” партии как „верх чудовищного лицемерия, вероломства, иезуитства и нечеловеческой подлости”. Как заключил прокурор, „лицемерием и коварством этот человек превзошел самые коварные, чудовищные преступления, какие только знала человеческая история” [177]. Наконец, лишь одному Бухарину было инкриминировано преступление из преступлений — попытка отцеубийства, а именно, замысел убийства Ленина в период дискуссии по Брестскому миру в 1918 г.

В течение года, проведенного Бухариным в тюрьме, Сталин и его следователи требовали от него полного сотрудничества (признания и участия в судебном заседании) в этой жуткой инсценировке. На всем протяжении большого террора, да и вообще до самой смерти Сталина, подобные требования предъявлялись к тысячам столь же безвинных заключенных. Уже не секрет, почему столь многие из них во всем сознались. В 1937 г. в советских политических тюрьмах широко практиковались жесточайшие пытки, многодневные изнуряющие допросы („конвейер”) и бесчисленные расстрелы без суда. Над мужчинами и женщинами чинились дичайшие расправы. Один из советских историков назвал этот период самой ужасной страницей русской истории [178]. Многим заключенным как-то

удавалось держаться до конца, и их пытали до смерти или расстреливали, не добившись признания. Те, кто „сознался”, сделали это по понятной причине: их вынудили к этому физическим или иным давлением. Некоторые большевики признались, быть может, в силу мотивов, сходных с рубашовскими, однако, как сообщил нам один из прошедших через все это, для подавляющего большинства страдальцев сталинских застенков „Спящая тьма” „явилась бы объектом издевки” [179].

В такой вот атмосфере Бухарин, которого, как сообщают, не пытали, держался три месяца „с замечательной решимостью”, несмотря на бесконечные угрозы и допросы, которыми управлял Ежов в соответствии со сталинскими указаниями. Примерно 2 июня он, наконец, уступил „лишь после угрозы следователя уничтожить его жену и только что родившегося сына” [180]. Это не было пустой угрозой. „Жен врагов народа” с детьми весьма часто арестовывали и держали заложниками (особенно, когда речь шла о видных большевиках, которых намечалось выставить на показательных процессах), приговаривали к длительным срокам заключения или расстреливали. В июне 1937 г. жену Бухарина сослали вместе с родственниками других „политиков” в Астрахань [181]. Чтобы спасти ее и новорожденного сына (следующие двадцать лет она провела в лагерях, а сын жил у приемных родителей и в детдомах), ему пришлось „сознаться” и выступить на суде.

В то же самое время у Бухарина была (или скоро появилась) еще одна причина для появления на суде. Спасение собственной жизни роли не играло; он знал, что, как он себя ни поведет, хорошо ли, плохо ли выполняя порученную роль, его все равно расстреляют, по суду или без суда, ибо этого требует сталинский сценарий [182]. Таким образом, как он косвенно объяснил на суде, перед ним встал вопрос: „Если ты умрешь, ради чего ты умрешь?” И тогда представляется вдруг с поразительной ясностью абсолютно черная пустота” [183]. Он понял, что суд явится его последним публичным выступлением и возможностью придать какой-то смысл своей смерти, для себя и других. Он возьмет на себя символическую роль обобщенного большевика: „Я несу ответственность за блок”, то есть за большевизм [184]. В зале судебного заседания он воспользуется любым случаем (в последний раз эзоповым языком), чтобы придать своей роли смысл и „историческое значение”, отличные от тех, которые предназначает ей Сталин.

Бухаринский план, как отмечает один автор, заключался в том, чтобы превратить свой процесс в суд над сталинским режимом (подобная практика была широко известна среди русских революционеров), а свое обвинительное заключение — в обвинительное заключение против Сталина как палача большевизма [185]. Вкратце, выбранная им тактика должна была состоять

в том, что он разом признается в „политической ответственности” за все на свете, тем самым спасая семью и подчеркивая символичность своей роли, и в то же самое время будет категорически отрицать или тонко опровергать свою причастность к какому-либо конкретному преступлению, и действительный политический смысл обвинений станет тогда ясен для „интересующихся”. Сталинский суд автоматически признает его виновным. Но Бухарин будет давать на процессе показания перед иным, высшим судом, судом истории и „будущего поколения”, которому он адресовал свое последнее письмо. Или, как он сказал в зале суда: „Мировая история есть мировое судилище”, и только оно имеет значение [186].

Со сталинской точки зрения вполне предсказуемый риск, связанный с предоставлением Бухарину последней публичной трибуны, перевешивался, по-видимому, тем обстоятельством, что без него задуманный процесс просто не получился бы [187]. Поэтому подготовка Бухарина к суду превратилась в длинную и мучительную серию переговоров. Увидав сталинские исправления в тексте своего первоначального признания, о котором они договорились в июне с Ежовым и сталинским эмиссаром Ворошиловым, Бухарин от него отказался. Следователям пришлось начать все сначала, и они трудились „день и ночь”. Окончательный вариант сценария все еще переделывался накануне суда. Все это время сталинские агенты пытались предотвратить неожиданные шаги, которые мог бы планировать Бухарин. Например, стремясь развеять всякую надежду на то, что ему удастся тайно сигнализировать о вздорности предъявленных ему обвинений, они показали ему новую книгу Лиона Фейхтвангера, описывающую его наблюдения на процессе 1937 г. и содержащую уверения в справедливости обвинений и подлинности сделанных там признаний. Так, на протяжении всего следствия и самого процесса сильнейшим сталинским доводом оставалась судьба бухаринской семьи [188]. Тем не менее Бухарин категорически отказался признать некоторые обвинения, особенно шпионаж и попытку убить Ленина, поскольку они были несовместимы с его намерением предстать перед судом в качестве символического большевика. А тем временем он сам готовился в тюрьме, „работал, занимался, сохранил голову” [189].

Процесс начался в ослепительном свете прожекторов утром 2 марта. С самого начала сделалось ясно, что Вышинский хочет оттянуть бухаринские показания по возможности как можно дольше, и у него были на то веские причины. Три дня подряд он дирижировал показаниями подсудимых, клеймивших самих себя и Бухарина. Как вспоминает один из присутствовавших, пока „Бухарин не принимал в судебном следствии никакого участия”, все шло по плану. Однако, когда ему наконец дали

высказаться — во время упорного перекрестного допроса, которому он подверг свидетелей обвинения и других подсудимых, во время его собственного допроса Вышинским 5 и 7 марта и в его последнем слове 12 марта — „дело пошло не так гладко” [190]. Используя ошеломительный набор двусмысленностей, уверток, кодированных слов, завуалированных намеков, логических хитросплетений и упорных опровержений, Бухарин регулярно перехватывал инициативу у Вышинского, все больше сбивая его с толку и камня на камне не оставляя от обвинений истинного прокурора — Сталина.

Стратегия Бухарина стала очевидна с того момента, как начался его допрос: „Я признаю себя виновным... за всю совокупность преступлений, совершенных этой контрреволюционной организацией независимо от того, знал я или не знал, принимал или не принимал прямое участие в том или ином акте”. Для тех, кто не разглядел, что вторая часть этого заявления превращает первую в бессмыслицу, Бухарин позднее полностью обесценил все свои признания одним-единственным замечанием: „Признания обвиняемых есть средневековый юридический принцип” [191]. В ходе дальнейшего процесса он не забывал (ради семьи) подчеркивать нелепое признание своей ответственности за „все преступления блока”, но в то же самое время так или иначе отрицал свое участие в каком-либо из них конкретно. Как видно из следующих диалогов, от наиболее несуразных обвинений он просто отмахивался сразу:

Вышинский: О вредительстве тоже с ним (подсудимым Икрамовым) говорили?

Бухарин: Нет, не говорил.

Вышинский: А в последующие годы о вредительстве и диверсиях говорили с Икрамовым?

Бухарин: Нет, не говорил.

Вышинский: Повторяю, расскажите о связях вашей заговорщической группы с белогвардейскими кругами за рубежом и немецкими фашистами...

Бухарин: Мне это неизвестно. Во всяком случае я не помню.

Вышинский: Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?

Бухарин: Я не признаю.

Вышинский: А Рыков что говорит, а Щарангович что говорит?

Бухарин: Я не признаю.

Вышинский: Я еще раз спрашиваю на основании того, что здесь было показано против вас: не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы — английской, германской или японской?

Бухарин: Никакой.

Вышинский: А насчет убийства товарищей Сталина, Ленина и Свердлова?

Бухарин: Ни в коем случае.

Вышинский: План убийства Владимира Ильича был?

Бухарин: Отрицаю.

Бухарин: Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова [192].

Некоторые обвинения и показания Бухарину приходилось опровергать более тонко. Во время перекрестного допроса одного из подсудимых, чьи показания указывали на его причастность к диверсионной деятельности, Бухарин заставил его привести даты, которые противоречили самому обвинительному заключению. Что же касается подсудимых Иванова и Шаранговича, божившихся, что Бухарин направлял совершенные ими акты саботажа и шпионажа, то это, сказал он, „два провокатора”. Как-то из тюремного застенка был доставлен „странный, похожий на мертвеца” свидетель, старый эсер В. Карелин, чтобы дать показания о заговоре для убийства Ленина. Когда Вышинский спросил Бухарина, знаком ли ему этот свидетель, он ловко намекнул, что человек этот был сломлен пытками: „...он настолько изменился, что я не сказал бы, что это тот Карелин”. В другом случае Бухарин нанес удар по самой версии заговора, на которой строился весь процесс, настаивая, что он в глаза не видел и пяти из заговорщиков и не слышал о них ни разу, а ведь „члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой”. А сославшись на то, что Вышинский „называет логикой”, он пофилософствовал: „Это будет то, что называется в элементарной логике тавтологией, то есть принятие за доказанное то, что нужно доказать” [193].

Главной целью Бухарина было ограждение исторического наследия большевизма путем опровержения обвинительного заключения. Он пытался использовать свои показания, данные в зале суда, чтобы сделать свое последнее политическое заявление по двум важнейшим проблемам, стоявшим перед страной, — о войне с Германией и о возрождении террора сталинизма. Обвинение приветствовало его комментарии по первому пункту, так что тут затруднений не было. „По случайным обрывкам действительности,” доходившим до его камеры, Бухарин мог сделать вывод, что кризис в Европе все углубляется, а война подступает все ближе. Поэтому, выступая на суде, он, как и прежде, призвал недовольных советских граждан отбросить пораженческие настроения и защищать Советский

Союз как „ величайший могучий фактор” борьбы против немецкого фашизма. Выбор между сталинской Россией и нацистской Германией может быть только однозначным [194] .

Но, выступая от имени большевизма и обращаясь к будущим поколениям, Бухарин считал столь же необходимым опровергнуть создаваемый в ходе этого процесса миф о том, что Сталин и сталинизм являются подлинными наследниками и кульминацией революции. Он неоднократно давал понять, что в его терминологии „антисоветский блок”, „контрреволюционная организация” или „силы контрреволюции” на самом деле означают старое большевистское движение или партию, а „нелегальная”, подстрекательская и „заговорщическая” деятельность — законную оппозицию Сталину или просто неофициальные собрания [195] . Таким образом, ему без труда удалось демонстрировать на протяжении всего процесса, что истинное „историческое значение” сталинской чистки, в которой данный процесс является лишь верхушкой айсберга, заключается в уничтожении большевистской партии — „внутреннем разгроме сил контрреволюции” [196] .

Обрисовать истинные идеалы и программу большевизма было сложнее, потому что Ульрих и Вышинский постоянно прерывали его экскурсы в „идейно-политические установки преступного „право-троцкистского блока” [197] . Тем не менее Бухарину удалось высказаться: „...в отношении экономики — государственный капитализм, хозяйственный мужик-индивидуал, сокращение колхозов, иностранные концессии, уступки монополии внешней торговли и результат — капитализация страны”. Вышинский прервал Бухарина, когда тот попытался „раскрыть скобки одной формулы — что такое реставрация капитализма”, но значение этой формулы было ясно и так [198] . Лично Бухарин и большевизм в целом стояли за переход к социализму через нэп. Навязанная „сверху” революция, „военно-феодалная эксплуатация крестьянства”, с вытекающими из нее последствиями, представляют собой не большевизм или ленинизм, а сталинизм.

В свете всего этого трудно понять, как кто-либо из читавших ежедневные сообщения из зала суда в газетах или стенограмму процесса, опубликованные огромным тиражом на иностранных языках, мог не заметить драматическую борьбу, которую вел Бухарин. Сталин и Вышинский понимали, разумеется, что у него имеется какая-то „система, тактика” и что он пытается придать процессу „свой особый смысл” [199] . Встревоженные и обозленные его „цирковой акробатикой”, Вышинский и Ульрих использовали все имевшиеся в их распоряжении средства запугивания, чтобы спасти сценарий, и в одном случае угрожали вообще лишить Бухарина слова, если он не прекратит „придерживаться определенной тактики... прикрываться потоком слов,

крючкотворствовать, отступать в область политики, философии, теории и т.д. ..." [200].

Сообщения очевидцев убедительно свидетельствуют о том, что Бухарин „сражался за свою репутацию в мире и за свое место в истории". Ему было сорок девять лет, он выглядел постаревшим, небольшая борода его поседела, и своим обликом и манерами он „странным образом походил на Ленина" [201]. Бухарин обращался с Вышинским с нескрываемым презрением; он „явно наслаждался своей боевитостью" и „находился в непрерывном движении, зачитывая замечания из записей, которые он тщательно вел на протяжении всего процесса", и обрушивая на своих обвинителей „удары блистательной логики и потоки презрения, ошеломлявшие суд". После того как Вышинский суммировал обвинение, изобразив при этом Бухарина „проклятой помесью лисы и свиньи", тот произнес свое последнее слово. Снова сознавшись во всех обвинениях, он затем „пошел крушить их одно за другим; на этот раз его не прерывали, и Вышинский, бессильный ему помешать, сидел на своем месте с беспокойным, смущенным видом и делал вид, что зевает" [202]. Когда Бухарин кончил, американский корреспондент записал:

Один Бухарин, который, произнося свое последнее слово, совершенно очевидно знал, что обречен на смерть, проявил мужество, гордость и почти что дерзость. Из пятидесяти четырех человек, представших перед судом на трех последних открытых процессах по делу о государственной измене, он первым не унизил себя в последние часы процесса...

Во всей бухаринской речи не было и следа напыщенности, язвительности или дешевого краснобайства. Это блестящее выступление, произнесенное спокойным, безучастным тоном, обладало громадной убедительной силой. Он в последний раз вышел на мировую арену, на которой, бывало, играл большие роли и производил впечатление просто великого человека, не испытывающего никакого страха, а лишь пытающегося поведать миру свою версию событий [203].

Тридцать лет спустя американский специалист напишет, что процесс Бухарина, „унизительный во всех отношениях, по справедливости можно назвать его звездным часом" [204]. Бухарин надеялся, что таковым будет и приговор истории; он знал, что суд вынесет другой приговор. С требованием Вышинского, чтобы Бухарина и других расстреляли „как поганых псов", переключались ежедневные передовицы „Правды" по поводу процесса: „Уничтожив безо всякой пощады шпионов и провокаторов, вредителей и диверсантов, Советская страна еще быстрее пойдет по сталинскому маршруту, еще богаче расцветет социалистическая культура, еще радостнее станет жизнь советского народа" [205]. В соответствии с этим Ульрих, проведя

для приличия шесть часов в совещательной комнате, возобновил в половине пятого утра 13 марта судебное заседание и огласил приговор: Бухарин, Рыков и 16 других обвиняемых приговорились к расстрелу. 15 марта 1938 г. Советское правительство объявило, что приговор приведен в исполнение. По мрачной иронии судьбы сообщение о расстреле Бухарина было отодвинуто на второй план известием о вторжении Гитлера в Австрию тремя днями раньше [206].

Достоверного описания расстрела Бухарина не существует. Согласно рассказу, ходившему по Москве, „Бухарин и Рыков умерли с проклятьями Сталину на устах. И они умерли стоя, не ползая по полу подвала и не умоляя с рыданиями о пощаде” [207].

Правдива эта версия или нет, она принесла утешение тем в Советском Союзе и за его пределами, кто оплакивал кончину Бухарина и русского большевизма.

ЭПИЛОГ

БУХАРИН И БУХАРИНИЗМ В ИСТОРИИ

Можно кратко обрисовать, какую репутацию получил после смерти Бухарин в официальном советском обществе. Через пять месяцев после его расстрела вышел новый официальный труд по истории партии и революции, в течение последующих лет известный миллионам читателей по своему подзаголовку — „Краткий курс”. Он изображал все развитие Советской России как победоносную борьбу добродетели, персонифицируемой Сталиным, с „бухаринско-троцкистскими шпионами, вредителями, изменниками родины” [1]. Мало кто выжил из тех, кто мог лично засвидетельствовать лживость этой манихейской басни. Ко времени гитлеровского вторжения в 1941 г. большинство старых большевиков (независимо от того, участвовали они в оппозиции или нет), как и их политические сторонники и друзья, были расстреляны или отправлены на смерть в сталинские концлагеря (по имеющимся сведениям, из личных приверженцев Бухарина выжил только один — В. Астров) [2]. Многие советские граждане более старшего возраста знали, разумеется, правду [3]. Однако вплоть до смерти Сталина в 1953 г. террор держал советское общество в состоянии немоты, и слышен был лишь один официальный голос. Имена Бухарина и других первоначальных большевистских вождей были преданы анафеме и проносились публично только в сочетании с проклятиями в адрес „банды врагов народа” [4].

После смерти Сталина и прекращения террора началась реформация советского общества, известная под названием десталинизации; она сопровождалась медленным (и до сих пор не завершённым) пересмотром официальных оценок в отношении Бу-

харина и других большевиков, ставших жертвами репрессий*. Во время возвышения Хрущева его стремление вернуть партии главенствующую роль побудило его выступить с широкими разоблачениями и осуждением сталинских преступлений против партии. В своей знаменитой речи на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 г. Хрущев, хотя и не преминул оправдать политический разгром бухаринской оппозиции в 1928–1929 гг., все же резко осудил сталинский террор 30-х гг. и тем самым косвенно обелил его жертвы [5]. В конце 50-х – начале 60-х гг. история партии подвергалась непрерывному пересмотру, и тысячи жертв сталинских репрессий были реабилитированы. Однако большинство посмертно реабилитированных составляли либо бывшие сталинские приверженцы, погибшие в полосу повального террора, либо мелкие оппозиционеры. Среди них не было ни Бухарина, ни других видных соперников Сталина в 20-е гг.

В начале 60-х гг. Хрущев выдвинул на первый план вопрос о Бухарине, являвшемся олицетворением антисталинизма в партии. В руководство поступали заявления с призывом к полной реабилитации Бухарина, в том числе письмо в Политбюро ЦК партии от четырех старых большевиков, оставшихся в живых: „Человек, названный Лениным *законным любимцем партии*, не может оставаться в списке предателей и отверженных от партии” [6]. В 1961 и 1962 гг. вдова Бухарина, которой разрешили вернуться с сыном в Москву после почти двадцати лет, проведенных в лагерях и ссылке, обратилась лично к Хрущеву с просьбой официально снять с Бухарина предъявленные ему на суде обвинения и вернуть ему доброе партийное имя. Хрущев удовлетворил первую часть просьбы и, как можно было понять, склонялся к выполнению второй [7]. В декабре 1962 г. официальный представитель отбросил уголовные обвинения краткой фразой: „Ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были” [8].

Несмотря на все это и на непрекращавшиеся просьбы семьи, политическая реабилитация не состоялась. „Бухаринский вопрос”, который неизбежно затрагивает законность насильственной коллективизации и всей структуры современного советского общества, сделался, очевидно, источником разногласий между Хрущевым и его противниками в советском руководстве. С его смещением в 1964 г. и приходом к власти консервативного руководства, намеревавшегося ограничить реформы и хотя бы отчасти предать забвению сталинские годы, вопрос о реабилитации Бухарина оказался закрытым. Уголовных обвинений против него больше не упоминается, и имя его иногда появляется без уничижительных комментариев [9], однако, хотя со дня гибели Бухарина прошло уже много лет, его все еще игнорируют советские энциклопедии и имя его продолжает оставаться объектом официального посярмления: его называют „антиле-

нинцем”, „псевдобольшевиком”, чьи политические идеи и „правый оппортунизм” ставили революцию под угрозу и таили опасность реставрации капитализма в Советском Союзе [10]*.

Однако отношение официальной советской литературы к Бухарину не отражает того положения, которое занимают его идеи в современном коммунистическом мире. Со времени смерти Сталина центральным вопросом в Восточной Европе является реформа сталинистского порядка, созданного в Советском Союзе в 30-е гг. и насаждавшегося в странах, оказавшихся под советским влиянием после второй мировой войны. Когда в какой-либо из этих стран реформаторы-антисталинисты становятся действенной силой (независимо от того, находятся они у власти или нет), там происходит возрождение идей и политических установок, сходных с бухаринскими. Коммунистические реформаторы в Югославии, Венгрии, Польше и Чехословакии сделали сторонниками рыночного социализма, сбалансированного планирования и экономического роста, эволюционного развития, гражданского мира, смешанного сельскохозяйственного сектора и терпимого отношения к социализму и культурному плюрализму в рамках однопартийного государства. „Социалистический гуманизм” стал для многих лозунгом и мечтой [11]. В некоторых из этих стран официальная бухаринская репутация значительно поднялась [12]. Однако будет ошибкой думать, что современные реформаторские идеи вдохновляются непосредственно памятью о Бухарине и его сочинениями. Эти идеи (как и новый интерес к нэпу и 20-м гг. в Советском Союзе) возникли скорее как естественный результат поисков такого коммунистического общественного устройства, которое будет свободным от сталинизма, и в этом смысле они служат не менее убедительным свидетельством непреходящего значения Бухарина [13].

То же самое относится и к самому Советскому Союзу. В разгар реформистской политики Хрущева и либерализации цензуры в 1959—1964 гг. далеко идущая критика сталинской историографии и практики вызвала всплеск того, что можно назвать бухаринизмом под псевдонимом,— возрождение бухаринских идей и установок, которые нельзя было открыто отождествлять с именем Бухарина. Можно привести немало примеров. Само хрущевское руководство отвергло сталинский тезис об обострении классовой борьбы и взяло на вооружение вариант бухаринской теории о необходимости мирного развития советского общества, необходимости его „врастания” в коммунизм [14]. Плановики и экономисты из числа реформаторов начали вторить известным рекомендациям Бухарина, касавшимся научно обоснованного планирования, пропорционального развития, полезности рынка и общественного потребления [15]. Сторонники либерализации в области культуры представляли в качест-

ве образца политику партии в годы нэпа и партийную резолюцию о литературе 1925 г., написанную Бухариным [16]. В то же самое время сторонники пересмотра существующей историографии из числа советских историков, освобожденных от сталинской мифологии и начавших получать доступ в архивы, разработали критический взгляд на крестьянское хозяйство при нэпе и сталинскую политику в области коллективизации, замечательно сходный с бухаринским; так же поступили историки сталинской индустриализации и (в меньшей степени) его коминтерновской политики [17]. Хотя переоценивать этого обстоятельства не следует, справедливо будет заключить, что спустя три десятилетия антисталинский коммунизм снова оказался в значительной степени бухаринским по духу (в то время как само имя Бухарина не называлось) [18].

После падения Хрущева критический разбор сталинизма в официальном порядке по большей части прекратился. Тем не менее бесповоротное разоблачение внедрявшегося 25 лет мифа о том, что сталинизм является синонимом большевистской революции, дает основания полагать, что официальный мораторий на критический пересмотр истории вряд ли продлится долго. Возможно, в конце концов, когда со сцены сойдет нынешнее поколение советских руководителей, чье мировоззрение сложилось в сталинские годы, цензура в исторической области будет отменена, и советские авторы, у которых будет больше данных и проницательности, чем у нас, смогут открыто разобраться в великих проблемах и альтернативах, стоявших перед партией в судьбоносные 20-е и 30-е гг. Как и западные исследователи советского периода, они разойдутся во мнениях по кардинальным вопросам и станут спорить о том, существовала ли разумная большевистская альтернатива сталинской „революции сверху“, соответствовала ли политика Бухарина в области сельского хозяйства нуждам растущего населения и потребностям промышленного развития страны, совместимо ли было бы в конечном итоге воздействие его концепции социализма и его программы с политической монополией партии и хуже или лучше была бы подготовлена страна, руководимая бухаринцами, ко второй мировой войне (этот вопрос занимает центральное место в советском политическом мышлении). И подобно своим западным коллегам многие советские исследователи скорее всего придут к выводу, что бухаринизм в той или иной форме оказался бы вполне жизнеспособным и более предпочтительным и что если бы сталинский курс привел к потрясающим достижениям, купленным потрясающей ценой, то бухаринский привел бы к подобным достижениям и не обошелся бы в такую цену; он дал бы менее грандиозные результаты, однако был бы и менее болезненным, а поэтому более успешным и более приемлемым [19].

Вывод о том, что взгляды Бухарина займут когда-нибудь гос-

подствующее положение в кругах советских историков, поддается не только общим направлением пересмотра истории во времена Хрущева, но и растущим числом неподцензурных изданий. Критический разбор сталинизма, являющийся частью попыток реформаторов отыскать в прошлом Советского Союза подлинную несталинскую традицию, продолжается со второй половины 60-х гг. именно в таких публикациях. Неказенно мыслящие марксисты-ленинцы, к числу которых принадлежат и дети нескольких погибших бухаринцев и других большевиков [20], возродили и здесь бухаринскую традицию. Иные из них категорически утверждают, что политика Бухарина в области сельского хозяйства была „единственно правильной в противовес неправильной политике Сталина” [21]. Другие просто вторят его критике „нереалистической и авантюристской” политики Сталина, клеймят сталинский „казарменный коммунизм” и заключают вслед за Бухариным, что „без Сталина мы, несомненно, смогли бы достигнуть значительно больших успехов” [22].

Хотя эти вопросы относятся к области истории, они, как мы видим, и сегодня имеют большое значение. С политической точки зрения будущее репутации Бухарина и всего того, что он представлял в большевистской революции, зависит в основном от судьбы коммунистических реформаторов, особенно в Советском Союзе. Если реформы будут отвергнуты, о бухаринизме будут скорее всего вспоминать как об изолированном всплеске в истории революции, о неудачной альтернативе сталинизму в деле модернизации и формирования Советской России. Если, с другой стороны, реформам дано будет создать более либеральный коммунизм, „социализм с человеческим лицом”, взгляды Бухарина и отстаивавший им нэповский порядок покажутся, в конце концов, истинным прообразом коммунистического будущего — альтернативой сталинизму после Сталина.

ПОЯСНЕНИЯ К ИЗБРАННОЙ БИБЛИОГРАФИИ И К ПРИМЕЧАНИЯМ

Библиография к книге „Бухарин. Политическая биография” — избранная в том смысле, что она включает в себя не все материалы, использованные в работе над книгой, и даже не всю литературу и источники, указанные в примечаниях. Стремясь ограничить ее объем разумными пределами, я перечисляю лишь те работы, которые оказались наиболее полезными или цитируются чаще всего. В частности, приведены не все публикации Бухарина в периодических изданиях (главным образом в „Правде” и „Известиях”), число которых достигает нескольких сотен. Читателю, интересующемуся полной аннотированной библиографией работ Бухарина между 1912 и 1929 гг., следует обратиться к книге Сидни Хайтмана (H e i t m a n S i d n e y. Nikolai I. Bukharin: A Bibliography, Stanford, California, 1969). Эта книга, превосходная во всех прочих отношениях, недостаточно полна в той части, где речь идет о публикациях и речах Бухарина в 1930—1936 гг., поэтому интересующимся данным периодом следует пользоваться ею в сочетании с моими примечаниями к главе 10-й настоящей работы.

Вся библиография разделена на две части: источники на русском языке (с № 1 по № 283) и источники на иностранных языках (с № 301 по № 466). Обе библиографии составлены в алфавитном порядке.

Чтобы сократить объем примечаний, все публикации в них (включенные в библиографию) даются под соответствующим номером в круглых скобках: (...).

В примечаниях и в библиографии даны следующие сокращения:

БСЭ — Большая Советская Энциклопедия, 1-е изд. в 66-ти томах. М., 1926—1947.

ВКА — „Вестник Коммунистической академии”.

МСЭ — „Малая Советская Энциклопедия”.

ПЗМ — „Под знаменем марксизма”.

Inprecor — International Press Correspondence.

T — The Trotsky Archives, Houghton Library, Harvard University (неопубликованные материалы).

Более подробные примечания к материалу, изложенному в главах 1—7 этой книги, можно найти в моей докторской диссертации: “Bukharin and Russian Bolshevism, 1888—1927”, Columbia University, 1969.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ

1. См., напр., Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 16-17; Иллеш Е. В бывшем городе Брежнев, „Советская культура”, 7 июня 1988 г.; Воскресенский Л. Знайте, товарищи..., „Московские новости”, 6 декабря 1987 г.; Карпинский Л. Возвращение Николая Бухарина, „Московские новости”, 21 февраля 1988 г.; Шатров М. Дальше... дальше... дальше!, „Знамя”, 1988, № 1.; „Бухарин на сцене”, „Московский комсомолец”, 12 мая 1988 г.; Евтушенко Е. Вдова Бухарина, „Известия”, 25 марта 1988 г.; Белых В. Запечатленное время, „Труд”, 29 мая 1988 г.; Амлинский В. На заброшенных гробницах..., „Юность”, 1988, № 3; Лиходеев Л. „Поле брани (повести о Н. И. Бухарине)” принято к публикации в „Дружбе народов” в 1989 г.; Афанасьев Ю. Нелепо бояться самих себя, „Московские новости”, 13 сентября 1987 г.; Латышев А. „Бухарин – известный и неизвестный”, „Неделя”, 1987, № 51; Шкаренков Л. К. Николай Иванович Бухарин, „Вопросы истории”, 1988, № 7. В 1988 г. в советских газетах и журналах появилось также много писем читателей и статей о Бухарине; не обошло его внимание и советское телевидение – ему было посвящено несколько телепередач.

2. Опубликована в Соединенных Штатах и Англии в 1985 г. издательством „Оксфорд юниверсити пресс”. Пять ее глав называются соответственно: „Советология как профессия”, „Большевизм и сталинизм”, „Бухарин, нэп и идея альтернативы сталинизму”, „Сталинский вопрос после Сталина”, „Друзья и недруги перемен: советский реформизм и консерватизм”. В Соединенных Штатах был опубликован и русский перевод: „Переосмысливая советский опыт (политика и история с 1917 года)”, „Чалидзе паббликейшн”, 1986 г. Реферат книги см. в „SS NA”, 1986, № 2, с. 97-104; глава третья опубликована в „Эко”, 1988, № 9.

3. Примеры первой точки зрения см. в Морозов Л. Ф. Ленинская концепция кооперации и альтернативы развития, „Вопросы истории КПСС”, 1988, № 6; Волкогонов Д. Феномен Сталина, „Литературная газета”, 9 декабря 1987 г.; Соловьев А. И. Сталин, В. Туманов, А. Рекунков и другие, „Книжное обозрение”, 24 июня 1988 г.; Кузнецов П. Вопросы истории, „Правда”, 25 июня 1988 г.; Андреева Н.

Не могу поступаться принципами, „Советская Россия”, 13 марта 1988 г.; „Подмена”, „Молодая гвардия”, 1988, № 6, с. 257. Примеры в пользу бухаринской альтернативы или нэпа см. в Л а ц и с О. Проблема темпов в социалистическом строительстве, „Коммунист”, 1987, № 18, с. 19-90; Тихоно в А. Уроки прошлого, „Аргументы и факты”, 1988, № 14; Данилов В. Феномен первых пятилеток, „Горизонт”, 1988, № 5; А ф а н а с ь е в Ю. Перестройка и историческое знание, „Литературная Россия”, 17 июня 1988 г. и его же „Ответы историка”, „Правда”, 26 июля 1988 г.; Ш м е л е в Г. И. Не смеет командовать!, „Октябрь”, 1988, № 2; М о ж а е в Б. Заботы и тревоги, „Литературная газета”, 6 апреля 1988 г.; Ка п у с т и н М. П. От какого наследства мы отказываемся?, „Октябрь”, 1988, № 5; С е л ю н и н В. Истоки, „Новый мир”, 1988, № 5; Н у й к и н А. Идеалы или интересы?, „Новый мир”, 1988, № 2; „Коллективизация: как это было”, „Правда”, 26 августа 1988 г. Полный драматизма диалог между „бухаринистом” и „сталинистом” накануне отмены нэпа см. в Б у р л а ц к и й Ф. Политическое завещание, „Литературная газета”, 22 июля 1987 г. В письме одного из читателей, опубликованном в „Советской культуре” 7 мая 1988 г., говорилось: „На историю глядя, никто не знает, на чьей стороне правда: на стороне сталинизма или на стороне бухаринизма”. Примеры центристской позиции см. в „Историко-партийная наука: пути перестройки и дальнейшего развития”, „Вопросы истории КПСС”, 1987, № 7; Сидоровский Л. Бухарин и Рыков, „Смена”, (Л.) 13 февраля 1988 г.; Горелов И. и Осипов А. Николай Иванович Бухарин, „Агитатор”, 1988, № 5; Ш к а р е н к о в Л. К. Николай Иванович Бухарин.

4. Такер написал несколько хорошо известных книг о марксизме и о советской политике и истории. Его основной исторический труд – биография Сталина в трех томах. Первый том, посвященный периоду до 1927 г., уже вышел в свет.

5. См. „Огонек”, 1987, № 48 и 1988, № 17; а также „Знамя”, 1988, №№ 10-12.

6. Гнедин Е. Катастрофа и второе рождение. Записки дипломата, „Нева”, 1989.

7. Николаев А. Пакостник из Нью-Йорка, „Литературная газета”, 1 июля 1981 г. См. также, напр., О в ч а р е н к о Н. Е. XXV съезд КПСС и вопросы борьбы с современным правым ревизионизмом, „Вопросы истории КПСС”, 1977, № 1, с. 110.

8. „Московский комсомолец”, 27 июля 1988 г.

9. Яковлева Т. Первый редактор, „Комсомольская правда”, 24 мая 1988 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ 1973 г.

1. Помимо моей докторской диссертации, исследования о Бухарине включают две монографии и две неопубликованные докторские диссертации: (405); (414); (374) – неопубликованная докторская диссертация, Нью-Йоркский университет, 1954 и (384) – неопубликованная докторская диссертация, Колумбийский университет, 1963. Хайтман опубликовал весьма ценную библиографию (см. Пояснения к избранной библиографии и к примечаниям). О Бухарине также идет речь в более общих исследованиях по данному периоду, включая (366); (347); (85); (410) и многотомную „Историю Советской России” Э. Х. Карра, соответствующие тома которой приводятся в библиографии.

2. Leigler Waagen в *The Russian Review* (April 1969), p. 202.

3. (353), гл. IX, Рудольф Шлезингер ранее справедливо отмечал, что работа Карра ознаменовала разрыв с „традициями междоусобицы между Сталиным и Троцким”. См. (445), 1960, April, p. 393.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОКСФОРДСКОМУ ИЗДАНИЮ

1. Я рассмотрел это подробнее в „The Stalin Question After Stalin,” в *Political Diary*. Ed. Stephen F. Cohen (New York, 1980).

2. „Bolshevism and Stalinism,” в *Stalinism: Essays in Historical Interpretation*. Ed. Robert C. Tucker (New York, 1977), p. 3-29.

3. См., напр., Овчаренко Н. Е. XXV съезд КПСС и вопросы борьбы с современным правым ревизионизмом, „Вопросы истории КПСС”, 1977, № 1, с. 110; и Ваганов Ф. М. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром (1928-30 гг.), 2-ое изд., М., 1977, с. 11.

4. Pachtel Henry. Bukharin—History and Legend, *Dissent* (Fall 1974), p. 572-579; Meyer Alfred G. The Coming of the Iron Age, *Soviet Union*, II, 1 (1975), p. 89-93. Более интересное изложение этой общей точки зрения см. в Hook Sidney. The Case of Comrade Bukharin, *Encounter* (December 1974), p. 81-92.

5. См., напр., Carr E. H. The October Revolution: Before and After (New York, 1969), которая содержит анализ работы Дейчера. О критике позиции Дейчера—Карра см.: Tucker Robert C. Stalinism as Revolution from Above, *Stalinism*, p. 84-89.

6. Carr E. H. The Legend of Bukharin, *The Times Literary Supplement* (September 20, 1974), p. 989-991; Deutscher Tamara. Bukharinism vs. Trotskyism, *Monthly Review*, vol. 26, N 11 (April 1975), p. 48-56.

7. См., напр., Boffa Giuseppe. Bukharin e Stalin, *L'Unita* (December 24, 1975); Mirski Michael. A Few Thoughts on a Certain Book Review, *Canadian Jewish Outlook* (January 1976), p. 13-16 and (February-March 1976), p. 10 и Р. Медведев, см. ниже прим. 20.

8. „Bukharinism, Revolution and Social Development” в *The Socialist Register 1975*. Ed. Ralph Miliband and John Saville (London, 1975), p. 75-94.

9. Помимо работ Карра и Т. Дейчер см.: Breiman George. Bukharin and the Russian Revolution, *The Militant* (June 7, 1974); Crawford John. A Liberal Apologist for Bukharin, *Workers Press* (July 29, 1974), Sedgwick Peter. The Return of Bukharin, *International Socialism* (February 1975), p. 16-20; и как пример другого направления Hayes Mike. The Resurrection of Bukharin, *International Socialism*, N 2 (Autumn 1978), p. 11-34.

10. Тамара Дейчер с одобрением цитирует Карра в своей рецензии (см. прим. 6 к данному предисловию).

11. *Foundations of a Planned Economy, 1926-1929*. Vol. 2 (New York, 1972), Chapter 41.

12. См., напр., следующие работы, вышедшие на Западе и основанные частично на современных советских источниках: Lewin Moshé. Political Undercurrents in Soviet Economic Debates: From Bukharin to the Modern Reformers (Princeton, 1974); Hunter Holland. The Overambitious First Soviet Five-Year Plan, *Slavic Review*, vol. 32, N 2 (June 1973), p. 237-257; Millar James R. Mass Collectivization and the Contribution of Soviet Agriculture to the First Five-Year Plan: A Review Article, *Ibid.*, vol. 33, N 4 (December 1974), p. 750-766.

13. Lewin M. Political Undercurrents in Soviet Economic Debates p. 68-72. См. также новые работы о Троцком: Day Richard B. Leon Trotsky and the Politics of Economic Isolation (Cambridge, England, 1973); Knei-Paz Baruch. The Social and Political Thought of Leon Trotsky (Oxford, 1978); Howe Irving. Leon Trotsky (New York, 1978). Школа Дейчера—Карра также возражала против моего вывода о том, что партийное недовольство после переворота 1929-1930 гг. было в идейном плане более бухаринским, чем троцкистским. В связи с этим я хочу добавить свидетельство бывшего троцкиста, которое не попало мне раньше. Он говорит, что бухаринская оппозиция „пользовалась поддержкой народных масс и даже партийного большинства в течение 1932-1934 гг. ... Серж Виктор. Жизнь и смерть Троцкого (франц., Париж, 1951, с. 213).

14. В плане более полной дискуссии см. мою работу „Bukharin and the Eurocommunist Idea” в *Eurocommunism Between East and West*. Ed. Vernon Aspaturian, Jiri Valenta and David P. Burke (Bloomington, 1980).

15. Lewin M. *Political Undercurrents in Soviet Economic Debates*, p. xiii.

16. *V revoluci a po revoluci*. Ed. F. Janacek and J. Sladek (Prague, 1967), p. 9, 281. (Эти цитаты были предоставлены мне и переведены М. Краусом.) О более систематических высказываниях венгерских экономистов см.: Szamuely Laszlo. *First Models of the Socialist Economic Systems* (Budapest, 1974).

17. См. выше, прим. 3.

18. „Хроника защиты прав в СССР (Нью-Йорк), № 27 (июль-сент. 1977), с. 16-17. Для сравнения см. мою статью: „Why Bukharin's Ghost Still Haunts Moscow”, *New York Times Magazine* (December 10, 1978), p. 146-150, 153-158.

19. В числе других опубликованных материалов см.: *Khrushchev Remembers* (Boston, 1970); Alliluyeva Svetlana. *Twenty Letters to a Friend* (New York, 1967); Mandelstam Nadezhda. *Hope Against Hope* (New York, 1970) and „*Hope Abandoned*” (New York, 1974); Катанян Василий. Из воспоминаний, „Россия”, 1977, № 3, с. 177-182; Гнедин Евгений. Катастрофа и второе рождение (Амстердам, 1977); Копелев Лев. И сотворил себе кумира (Анн Арбор, 1978); „*Политический дневник*” (Амстердам, 1972), с. 546-548.

20. Первое высказывание также из книги Роя Медведева „Н. И. Бухарин. Последние годы жизни”, М., рукопись, с. 1, 116. Книга вышла на итальянском языке в Риме в 1979 г., а также на английском, сербско-хорватском, японском и испанском языках.

21. К числу таких научных исследований принадлежат: Ragionieri E. Il problema Bucharin, *Studi Storici*, N 1 (1972), p. 209-231; Stehr Uwe. Kapitalismus zum Kommunismus. Bucharins Beitrag zur Entwicklung einer sozialistischen Theorie und Gesellschaft (Düsseldorf, 1973); Dallemagne J. L. Justice for Bukharin, *Critique*, N 4 (Spring 1975), p. 43-59; Day Richard B. Dialectical Method in the Political Writings of Lenin and Bukharin, *Canadian Journal of Political Science*, IX, 2 (June 1976), p. 244-260; Buchanan H. R. a y. Lenin and Bukharin on the Transition from Capitalism to Socialism, *Soviet Studies*, XXVIII, 1 (January 1976), p. 66-82; Gransow Bettina and Gransow Volker. Ursprünge der Politischen Ökonomie des Sozialismus, *SOPO*, 43 (March 1978), p. 54-74. Пьеса Э. Максмиа „Бухарин” была поставлена в августе 1978 г. в Королевском театре в Лондоне. Л. Дель Фра подготовил фильм о Бухарине для итальянского телевидения.

22. Письмо Ларина к Энрико Берлингуэру появилось во многих газетах, включая „Нью-Йорк таймс” от 7 июля 1978 г. См. ответ Spriano Paolo – Il Caso Bucharin, *L'Unita* (June 16, 1978). Об этой кампании см. Coates Ken. The Case of Nikolai Bukharin (Nottingham, 1978); Cohen S. Why Bukharin's Ghost Still Haunts Moscow; „*Dossier on Bukharin*” (Nottingham: Bertrand Russell Peace Foundation Mimeograph, 1978); and Blanc Yannick and Kaisergruber David. *L'Affaire Boukharine* (Paris, 1979).

23. „A Victim, Not a Hero,” *The Times* (July 28, 1978). Редакционная статья цитирует Карра, который активно выступает против того, чтобы считать Бухарина „легендарным потерпевшим поражение лидером”. О подобной же оценке американских консерваторов см. „Bukharin and Hope,” *National Review* (January 5, 1979), p. 17. Термин „опасные иллюзии” взят в Liebm an. *Bukharinism, Revolution and Social Development*, p. 93.

24. Анин Давид. Актуален ли Бухарин?, „*Континент*”, 1972, № 2, с. 313-314.

25. Там же; кроме того, Солженицын А. И. Архипелаг Гулаг,

тт. 1 и 2. (на англ., Нью-Йорк, 1974, с. 412-418). См. также Штурман Дора „Николай Бухарин — любимец партии”, журнал „Время и мы”, № 39 (март 1979), с. 130-146, и № 40 (апрель 1979), с. 120-135.

26. См.: Анин Д. Актуален ли Бухарин?; Шрагин Борис. Николай Иванович Бухарин (Семинар радиопередач радио „Свобода”, № 38, 1978); *Khrushchev Remembers*, p. 74.

ГЛАВА 1

1. Легенда также критикуется в (347), с. 4-8. Дэнниел вместо этого выдвигает дуалистический взгляд на большевизм, который я, как будет ясно из нижеследующего, не разделяю.

2. Бухарин в (119), с. 230.

3. (105), с. 4.

4. См. напр. Кепнан George F., *Russia and the West Under Lenin and Stalin* (Boston, 1960), Chapter xvii.

5. Господствующая точка зрения была высказана бывшим большевиком Виктором Сержем, которому полагалось бы знать, как обстояло дело в действительности: „Умы революции... говорили на одном и том же марксистском языке”. (436), с. 135. В таком же духе см. (353), с. 12.

6. Существовали даже разногласия по поводу того, приложимы ли Марксовы экономические категории к послекапиталистической Советской России. См. дискуссию в ВКК, книга II, 1925, с. 292-346.

7. Utechin S. V. *Bolsheviks and Their Allies After 1917: The Ideological Pattern*, *Soviet Studies* (October 1958), p. 113.

8. (33), с. 11.

9. (450), с. IX. Или, как заметил, говоря об Америке, Джон Адамс: „Можно сказать, что принципы Американской революции были столь же разнообразны, сколь прошедшие через нее тринадцать штатов, и в каком-то смысле столь же разноречивы, сколь действовавшие в ней люди”. Цит. по Greene Jack P. *The Ambiguity of the American Revolution* (New York, 1968), p. 2.

10. За исключением особо оговоренных моментов, изложение фактов из жизни Бухарина до 1905 г. основано на (17). Краткие биографические очерки о Бухарине включают следующие работы: (172) с. 271-284.; (177), с. 912-925.; (90), с. 631-634 и (130), с. 173-176. Ценные сведения о семье Бухарина, отсутствующие в других источниках, содержатся в досье царской полиции, опубликованном в (15), с. 186-187.

11. (15), с. 186-187.

12. (370), с. 6.

13. Хотя отец Бухарина не поощрял революционной деятельности сына, он, по всей вероятности, относился к ней терпимо и подчас даже позволял использовать квартиру для партийных собраний. См. (376), с. 137.

14. (17), с. 52-53 и слова Бухарина, цитируемые в (422), с. 15.

15. (466), с. 62; (302), с. 31 и (422), с. 14-15.

16. (371), с. 198. См. также (162), с. 200. Примеры его политических карикатур приведены в (391) и (390), фронтиспис с. 129, 284.; и в (388), с. 39, 197, 199.

17. (17), с. 52-54; (172), с. 275.

18. (17), с. 54. О гимназии см. также Бухарин Н. Воспитание смежных в кн.: „Каким должен быть коммунист — старая и новая мораль”. Сборник под ред. А. Борисова, 2-е изд., М., 1925, с. 23. См. также в (365), с. 30-34.

19. (17), с. 54, и статья Бухарина „Профессор с пикой”, „Правда”, 25 октября 1928 г.

20. (172), с. 271 и (124), с. 19-22.

21. (17), с. 54.

22. (402), гл. V-VII.
23. Бухарин. Михаил Иванович Калинин: к 60-летию со дня рождения. М., 1936, с. 10.
24. В г о и д о Е в а. *Memoirs of a Revolutionary* (London, 1967), p. 122; (365), с. 36.; (209), с. 156-157. Бухарин и Эренбург в детстве были большими друзьями. Бухарин упоминается в мемуарах последнего лишь как „Николай“.
25. (172), с. 275.
26. (365), с. 37.
27. (282), с. 295.
28. (365), с. 37.
29. (172), с. 271; (17), с. 54.
30. (365), с. 46. О том же см. (124), с. 20-21.
31. Об этой деятельности см. (172), с. 271; (365), с. 39; (124) цитировано выше, см. прим. 30.; с. 47-55.; (276) с. 636, и автобиографию Сокольникова в (120), III, с. 74.
32. (172), с. 271; (17), с. 54; (365), с. 43.
33. (172), с. 272; (17), с. 54.
34. Автобиография Осинского в (120), II, с. 92. См. также в К h e g a s k o v I v a n. *Reminiscences of the Moscow Student's' Movement, The Russian Review* (October 1950), p. 223-232.
35. (17), с. 54; автобиография Осинского в (120), II, с. 93; (172), с. 276.
36. (17), с. 54; (172), с. 272; (167), т. XXIII, с. 601-602.
37. (17), с. 55; (172), с. 272.
38. (433), с. 101 и (464) с. 478. См. также „Годы реакции (1908-1910)“, т. 1, под ред. В. И. Орлова, М., 1925.
39. (172), с. 272; (205).
40. (464), с. 540; (437), с. 114-115.
41. Эти события несколько туманны. Данное изложение основано на (17), с. 55; (172), с. 272 и (15), с. 187.
42. См. кое-какие воспоминания о Бухарине до 1917 г. выше, прим. 30; Роза Мейер-Левин в *Rosa Luxemburg and Nikolai Bukharin. Imperialism and the Accumulation of Capital*, ed. Kenneth J. Tarbuck (1972), p. 8; (414), с. 27, 147, 149, 279; (388), с. 49; (371), с. 198-199 и III у б Д. Из давних лет, (189), 1971, № 101. Мнение еще одной женщины см. *Sh e r i d a n C l a i r e. Russian Portraits* (London, 1921), p. 88. Полицейское описание см. в (15), с. 186-187.
43. (17), с. 55.
44. О первой статье, появившейся в студенческом журнале см. в (172), с. 275-276. О второй см. (19), с. 25-50. Бухарин всегда считал политическую экономию „областью науки, с которой я наиболее знаком“. См. (56), с. 253.
45. (172), с. 276.
46. (17), с. 54.
47. О Богданове и философской дискуссии см. *Utechin S. V. Philosophy and Society: Alexander Bogdanov* в *Revisionism: Essays on the History of Marxist Ideas*, edited by Leopold Labedz (New York, 1962), p. 117; 125, См. также: (464), гл. XXIX.
48. „А. А. Богданов“, (210) 8 апреля 1928 г. Их интеллектуальные отношения разбираются ниже, в гл. IV.
49. Об Осинском и Смирнове речь пойдет ниже, а о других молодых москвичах – в главе 2. Об их ранней деятельности сведений мало. Кое-что можно почерпнуть в подвргшихся сильной редакторской правке воспоминаниях их подруги и современницы Полины Виноградской: „События и памятные встречи“, М., 1968, и в ее очерке „Октябрь в Москве“, „Новый мир“, 1966, № 4, с. 143-186. В последней публикации (с. 163) она относит создание группы к 1905 г.
50. Лукина родилась в 1887 г., вступила в партию в 1906 г. и работала

в московской организации до своей эмиграции, по всей видимости, в 1911 г. Очевидно, они разошлись с Бухариным в 20-х гг. Она была арестована в 1937 г. и умерла в 1940 г., по-видимому, в лагере. См. (119), с. 912-913; (94), с. 296; (167), т. XXIX, с. 129, а также (162), с. 118. О ее брате Николае см. Лукин Н. М. Избранные труды, I, М., 1960, с. 5-12.

51. См. автобиографию Осинского в (120), II, с. 90-98; (218), III, с. 205; (167), т. XXII, с. 651 и Бухарин. К вопросу о закономерностях переходного периода, (210), 7 июля 1926 г. О „тройке” см. (218), I, с. 241.

52. (365), с. 50.; Бухарин в (212), 1922, 12 дек., с. 3. Более старый член партии отозвался о бухаринском поколении как о „сопляках, играющих в революцию”. Нит. в Elwood Ralph Carter. Trotsky's Questionnaire, *Slavic Review* (June, 1970), p. 299.

53. „Годы реакции (1908-1910)”, т. I, под ред. В. И. Орлова, М., 1925, с. 270.

54. (172), с. 273.

55. (17), с. 55.

56. Пять из его эмигрантских статей были перепечатаны в (19), с. 1-88. Обе книги были впервые опубликованы полностью после революции: (60) и (39), изданная первый раз в Петрограде в 1918 г. (Все ссылки даются на изд. М.-Л. 1923 г.). Сокращенный вариант второй книги появился в большевистском сборнике (151).

57. См. его замечания в статьях „Кризис буржуазной культуры”, (210), 7 ноября 1922 и „Ленин и задачи науки в социалистическом строительстве”, (210), 20 января 1929 г.

58. (172), с. 272; статья Бухарина, „Орлица”, (210), 5 июля 1927 г. и (162), с. 200.

59. (162), с. 201; (370), с. 82; (437), с. 119-120; (464), глава XXXI и (374), с. 8.

60. (166), т. 49, с. 194.

61. См. его статью „Памяти Ильича”, (210), 21 января 1925 г. и слова Бухарина, приведенные в (422), с. 12.

62. (167), т. XXI, с. 546, и т. XXIII, с. 601; (172), с. 272; (169), т. XIII, с. 212; с. 253. Первая статья Бухарина появилась в „Просвещении”, 1912, № 8-9. О ленинском визите см. (162), с. 204.

63. (60), с. 3-9.

64. Там же, с. 7; (17), с. 55. О разногласиях маргинализма с ортодоксальным марксизмом см. (378), с. 174-184.

65. См. его статьи о Петре Струве, Туган-Барановском, Бем-Баверке и Франце Оппенгеймере, перепечатанные в (19).

66. (60), с. 4, 17-27; (385).

67. См. рецензию Германа Данкера в (392), X (1930), № 33, с. 607. См. также Schlesinger Rudolf. A Note on Bukharin's Ideas, в (445) за апрель 1960, с. 419-420.

68. (14), 1924, № 10, с. 87-89; см. также (172), с. 279 и (177), с. 914.

69. См., напр., (73) и (77), с. 9-99. Последняя публикация была, очевидно, частью большой рукописи, над которой он работал в 30-е гг. По сведениям из одного источника, он все еще трудился над нею в последний год своей жизни в тюрьме. (304), с. 24.

70. (60), с. 4-5, 185-186; (19), с. 51, 77. О современной социальной истории и марксизме см. (389), гл. III и (77), с. 16-17.

71. Его (73), разбираемая в гл. IV, была в большой степени попыткой ответить современным социологам. См. его восхищенные отзывы о Вебере в (73), с. 173-174., и также (77), с. 54; (43), с. 174 и (321), с. 22.

72. См. (412), часть V, гл. VII.

73. Позднее Бухарин считал, что они были лучшими из дурной компании. См., напр., (314), с. 2-6. Они, очевидно, относились к нему так же. См. (372), с. 279. Разные взгляды Ленина и Бухарина на Гильфердинга разбираются ниже.

74. (166), т. 48, с. 242, 263, 403, сн. 272. Уступая давлению, Ленин в конце концов разрешил следственной комиссии разобраться в выдвинутых против Малиновского обвинениях. Бухарин давал показания. Снова, однако, Ленин „облачился в броню своей сталиной воли” и отказался поверить обвинениям. См. версию Бухарина в (210), 21 января 1925 г.; (162), с. 212-213 и (464), с. 500-501.

75. (166), т. 25, с. 458. Некоторые авторы – Троцкий в (453), с. 157-158 и Вольф в (464), с. 581-582 – предполагают, что Бухарин сыграл большую роль в подготовке сталинской статьи. Мне не удалось обнаружить свидетельств, подтверждающих эту точку зрения. Нет также и доказательств в пользу распространенного мнения, что между Бухариным и Лениным уже существовали разногласия по национальному вопросу.

76. (177), с. 913; (172), с. 272 и (60), с. 3.

77. (210), 7 июля 1927 г. См. также (210), 21 января 1925 г.

78. (377), с. 136-137; (60), с. 3 и (167), т. XXIX, с. 129.

79. См. воспоминания Евгении Бош в (377), с. 180-181; (169), XI, с. 135, и (180), с. 241.

80. (169), XI, с. 135; (162), с. 230, и письмо Бухарина, цит. в (8), с. 23.

81. (162), с. 230 и слова Бухарина, приводимые в (8), с. 23.

82. Так, следуя ленинским инструкциям, Бюро ЦК объяснило Бухарину, что решения о таких начинаниях должны приниматься „коллективно”, а „не только несколькими товарищами”. Цит. в (180), т. I, с. 240. О Розмирович и о деле Малиновского см. (464), с. 548-550.

83. Поскольку речи Бухарина на конференции остаются неопубликованными, его аргументация известна лишь из позднейших искаженных советских изложений. См. (14), 1920, № 15, с. 86-88, и (7), с. 38. Его тезисы и резолюции божийской группы перепечатаны в (377), с. 187-191.

84. Последующие советские версии, которым, как правило, следовали западные историки, были вдохновлены самим Лениным, который год спустя искажил позицию Бухарина на Бернской конференции. См. ленинские письма в (377), с. 241-242, 245. До 1929 г. советские историки не придавали большого значения их разногласиям в Берне. См., напр., (9), с. 366, 444, т. I. Однако после падения Бухарина в 1929 г. его позиция в Берне изображалась как ультралевая, антиленинская и фракционная. См., напр., новую версию Баевского в (8), с. 18-46, и в (7), с. 12-48.

85. (377), с. 174, 179, 181-188.

86. (377), с. 181; (180), с. 241.

87. (17), с. 55.

88. (162), с. 247. Дата остается неясной.

89. (162), с. 237; (377), с. 215.

90. (172), с. 273; (146), с. 690; (376), с. 91.

91. Сокращенный вариант бухаринского исследования вышел в свет в сентябре 1915 г. См. выше, прим. 56. Ленин получил рукопись книги в конце 1915 г. Он написал датированное декабрем 1915 г. хвалебное предисловие, которое было отправлено в Россию вместе с рукописью для публикации. И то, и другое пропало во время налета полиции. Бухаринская книга в конце концов была напечатана в 1918 г., но ленинское предисловие нашлось лишь позже. Впервые оно появилось в „Правде”, 21 января 1927 г. Ленин начал подбирать материалы для своей книги „Империализм, как высшая стадия капитализма” в конце 1915 г. и закончил книгу в июне 1916 г. См. (162), с. 245 и (370), с. 95. Опубликованное издание содержало ссылку на бухаринскую рукопись, см. (167), т. XIX, с. 104, 463, сн. 76. Кроме того, указания на то, что Ленин использовал рукопись Бухарина в разработке своего собственного исследования, содержатся в (169), т. XXVII, с. 162, 188, 198.

92. (107). По-русски книга была издана впервые в 1912 г. и до 1923 г. выдержала четыре издания. Несмотря на то, что впоследствии, после 1917 г. Гильфердинг встал на позиции антибольшевистского „реформиз-

ма", он оказал огромное влияние на советских исследователей империализма.

93. Там же, с. 332.

94. Winslow E. M. The Pattern of Imperialism: A Study in the Theories of Power (New York, 1948), p. 159. Гильфердинг разбирает империализм лишь в заключительном разделе своего (107), с. 438-553.

95. Он подчеркивал, что является должником Гильфердинга. См. (39), с. 25, 54, 61, 100, 119, 132-133, 139.

96. Там же, с. 76-77, 96-97, 109, 137-138 и гл. X.

97. Там же, с. 87-88, 96, 116-117, 128-129, 136-137, 140. Гильфердинг, с другой стороны, хотя и доказывал, что милитаристская политика является неизбежным следствием империализма, тем не менее, не исключал, видимо, возможности того, что радикальные политические действия могут предотвратить войну. №107, гл. XXV.

98. В своей работе „Империализм, как высшая стадия капитализма" Ленин предварил разбор империализма и колониализма анализом монополистического капитализма. Однако сделал он это мимоходом и к теории Гильфердинга ничего значительного не добавил. Его интересовал, главным образом, международный аспект. Одним из показателей того, что интересы Бухарина и Ленина лежали в разных плоскостях, является огромное значение, которое Ленин придавал гобсоновскому „Империализму" (изд. 1902 г.), посвященному исключительно проблемам империализма. Бухарин же о Гобсоне вообще не упоминает, для него главным источником был Гильфердинг.

99. (39), с. 62-65, 101-102, 113-116 и гл. XIII. Хотя термин этот уже употреблялся, в первую очередь в связи с военной экономикой Германии, большевистские авторы часто считали заслугой Бухарина разработку марксистского понимания государственного капитализма. См., напр., рецензию Осинского в (152), 1918, № 2 с. 24 и (161), с. 19. Бухарин утверждал, что является создателем термина „государственно-капиталистический трест". См. (79), с. 10.

100. (39), с. 118-125, 145-147, 149, 155-156.

101. Хотя выдержки из нее и изложения аргументации появлялись в 1916-1917 гг., сама статья целиком (минус утерянная заключительная часть) не публиковалась до 1925 г. (36), с. 5-32.

102. Там же, с. 6-14.

103. Там же, с. 15-18, 21-22, 25, 27.

104. Там же, с. 18, 28, 30.

105. (39), с. 115-116, 132.

106. См., напр., (172), с. 276-277; (315) и его „Государственный капитализм и марксизм" в (189), 1916, 2 декабря, с. 4-6.

107. (79), гл. I-III, и две его статьи от мая-июня 1929 г., перепечатанные в (43), с. 168-169.

108. (315), с. 238; также (39), с. 125.

109. Опубликованный в 1908 г. роман Дж. Лондона был хорошо известен в социалистической среде. В последующие годы Бухарин ссылался на него неоднократно. Впервые он использовал выражение „железная пята" в (39), с. 51 и часто пользовался им в дальнейшем. О Лондоне и Оруэлле см. предисловие Макса Лернера к „Железной пяте" (413).

110. (36), с. 31.

111. Другие социальные институты, писал он, „обладают тенденцией сливаться друг с другом и превращаться в единую организацию правителей... Так складывается единая, всеохватывающая организация — современное пиратское империалистическое государство, всесильная организация буржуазного господства с бесчисленными функциями, с гигантской властью, с духовными... и также материальными средствами..." (315), с. 238.

112. (39), с. 157, сн. 1; (47), с. 35. О двух его других подходах к вопросу см. (36), с. 26, и (29), с. 82.

113. Она часто обсуждалась в связи с нацистской Германией и сталинской Россией. См., напр., (428), с. 200-225 и Neumann Franz. *Ve-hemoth* (New York, 1966), p. 221-234. Вдохновитель позднейших марксистских дефиниций государственного капитализма Гильфердинг оспаривал применимость этого понятия к Германии и Советской России. См. (386), с. 445-453.

114. (36), с. 17, 25; (39), с. 41-42, 115-116, 119-120, 164.

115. (39), с. 41-42; 79-80, 99-100, 114-116, 119-120.

116. Там же, с. 164-167; (315), с. 239.

117. (36), с. 30-32.

118. См. выше, прим. 91.

119. То есть, иными словами, оба относились к числу обязательной литературы в системе партийного образования. См. также вводные примечания И. И. Скворцова-Степанова к (107), с. V.

120. Следует отметить, что в своих высказываниях о монополистическом капитализме Ленин был не всегда последователен. См. (167), т. XIX, с. 84-85, 89, 92, 100, 141-142, 151, 171-172. Однако степень их разногласий по данному вопросу стала вполне очевидной в 1920 г., когда Бухарин напечатал „Экономику переходного периода”. В ней он писал: „Финансовый капитал уничтожил анархию производства внутри крупных капиталистических стран”. Ленин поправил его: „не уничтожил”. (169), т. XI, с. 350. Начиная с 1929 г., эти расхождения между ними в понимании монополистического капитализма сделались основой сталинских нападок на бухаринскую теорию современного капитализма. См., напр., Й о э л ь с о н М. Монополистический капитализм или „организованный капитализм”? (14) 1929, № 18, с. 26-43.

121. (39), с. 115-116, 140-141; см. также его „Где спасение маленьких наций?”, (190), от 20 декабря 1916 г., с. 4. Он думал, что дальнейшее независимое существование Бельгии находится под большим вопросом.

122. (167), т. XVIII, с. 232-233 и т. XIX, с. 149, 171-172. Бухарин признавал феномен неравномерного развития, но был больше склонен подчеркивать „экономическую нивелировку”. (39), с. 99.

123. (167), т. XIX, с. 324.

124. (377), с. 215-216.

125. Документы перепечатаны там же, с. 219-233.

126. Там же, с. 221; (167), т. XXX, с. 251, и (166), т. 49, с. 214.

127. См. (162), с. 253 и мнение Ленина о том, что, несмотря на разногласия, с Бухариным можно работать, (166), т. 49, с. 253.

128. Шляпников и, по меньшей мере, в одном случае Зиновьев пытались выступить посредниками в этом споре. См. (377), с. 249; (166), т. 49, с. 231.

129. (166), т. 49, с. 194; см. также с. 205, 246-248. Письма Бухарина к Ленину по вопросу о самоопределении опубликованы не были. Об их содержании можно судить по ленинским письмам и черновику статьи в (167), т. XXX, с. 250-256.

130. (162), с. 258; (377), с. 239 и письмо Бухарина к Зиновьеву, опубликованное в (14), 1932, № 22, с. 86.

131. О Бухарине в Скандинавии см. в (376). Хорошим примером является ленинская критика благожелательного отзыва Бухарина о программе голландских левых, (167), т. XXX, с. 251-256.

132. (166), т. 49, с. 194; см. также отеческий призыв Ленина (который сам редко следовал таким пожеланиям) терпимее относиться к заблуждающимся молодым марксистам в (167), т. XIX, с. 294-297. Замечания Бухарина см. в его неопубликованном письме, цитируемом в (7), с. 37.

133. Wolfe Bertram D. *Leninism, Marxism and the Modern World*, edited by Milorad N. Drachkovitch (Stanford, Cal., 1965), p. 51.

134. Из неопубликованного письма, цитируемого в (167), т. XXIX,

с. 261; см. также его позднейшее письмо 1916 г., напечатанное в (14), 1932, № 22, с. 87-88.

135. (167), т. 49, с. 220, 260; и снова он отзывается о Бухарине желчно (с. 254, 255, 283).

136. Там же, с. 222.

137. (36), с. 13.

138. Вопрос о том, как марксизм по очереди дерадикализовался и снова радикализовался, разбирается в (456), гл. VI. В этой связи Бухарин хвалебно отзывался о Хеглунде и о Паннекуке. См. (36), с. 30 и его письмо Ленину в октябре 1916 г. в (14), 1932, № 22, с. 87. Он дружил с Хеглундом и писал в его журнале "Stormklockan". См. (316), с. 91-92 и (172), с. 273.

139. (166), т. 49, с. 271, 287, 293-294.

140. Некоторые относящиеся к этой полемике письма, в том числе ленинские, опубликованы не были, как явствует из (166), т. 49, с. 297, 478, 541, сн. 378 и (14), 1932, № 22, с. 88, сн. 1 и 4. О содержании отсутствующих писем, впрочем, можно судить по письмам, опубликованным в этом номере „Большевика“, с. 86-93 и по ленинскому письму от 14 октября в (166), т. 49, с. 306-310.

141. (166), т. 49, с. 293-294 и нападки Ленина на Бухарина в (167), т. XIX, с. 295-296.

142. (14), 1932, № 22, с. 86-87. Девять лет спустя он объяснил в сноске к своей первоначальной статье причины своего решения бросить вызов Ленину и публично изложить свои взгляды. (36), с. 5.

143. См. воспоминания Шляпникова в (377), с. 250.

144. (166), т. 49, с. 302.

145. (14), 1932, № 22, с. 87-88.

146. (166), т. 49, с. 305, 306-310; (14), 1932, № 22, с. 93.

147. (36), с. 32; см. также (39), с. 166 и (190), 1916, 2 декабря, с. 4, 6.

148. (14), 1932, № 22, с. 88. Так называемый анархизм Бухарина и неверное толкование Ленина разбираются в (383), с. 39-53.

149. (167), т. XIX, с. 296.

150. В письмах к Александре Коллонтай и Инессе Арманд, (166), т. 49, с. 388, 390-391.

151. Бухарин присвокупил сообщение об этом к публикации своей статьи в 1925 г., (36), с. 5, сн. 1. Его версия о переданных Крупской словах никогда не ставилась под сомнение. Даже в 1929 г. Сталин думал: „Вполне возможно, что Надежда Константиновна в самом деле говорила Бухарину о том, о чем здесь пишет Бухарин“. Однако, объяснил Сталин, это значило лишь то, что, по мнению Ленина, Бухарин изменил свои взгляды. (243), 12, с. 77-78. Бухарин мог знать о перемене ленинских взглядов еще до сообщения Крупской либо из различных ленинских работ после Февральской революции, либо от Коллонтай, которая тоже находилась в Нью-Йорке. Да, может быть, и сам Ленин сообщил ему об этом в письме от 17 февраля 1917 г., оставшемся неопубликованным. См. (166), т. 49, с. 479.

152. (167), т. XXI, с. 385, 388, 406, 411, 444 и т.д. Эта работа, озаглавленная „Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции“, выросла из замысла Ленина написать статью по этому вопросу в декабре 1916 г.

153. См. замечания Бухарина в (39), с. 166 и в (19), с. 268.

154. До 1929 г. в Советском Союзе широко признавалось, что Бухарин первым возродил антигосударственные воззрения Маркса и что это его начинание вызвало последующие ленинские формулировки. См., напр., (169), т. II, с. 284, сн. 7. Марецкий заявил об этом в написанном в 1926 г. биографическом очерке о Бухарине — (172), с. 276-277, и это утверждение никем не оспаривалось до того времени, пока Бухарин не был отстранен от власти, после чего право первенства присваивалось Ленину или иногда Паннекуку. См. (7), с. 42. Однако даже после 1929 г. то хорошо

окументированное обстоятельство, что Ленин являлся должником Бухарина, приходилось иногда признавать, хотя и скрепя сердце и в весьма освещенной форме. См. (167), т. XIX, с. 479, сн. 155. В середине 20-х гг., вспоминая эту полемику и первоначальные „неправильные” взгляды Ленина, Бухарин отдавал ему должное за разработку „конкретной” формы диктатуры пролетариата. (36), с. 5, сн. 1; (19), с. 267-270. По тому вопросу см. также: (350), с. 113-126.

155. (17), с. 55; (253), т. 1 гл. XXII.

156. (172), с. 273; (361), с. 76-77.; Шу б Д. Из давних лет, „Новый журнал”, 1971, № 102, с. 202. См., напр., полемику между ним и С. Новомирским в (190) от 23 ноября, 2 и 12 декабря 1916 г. См. список его статей в (190) и в Heitman Sidney and Knirsch Peter. N. I. Bukharin (Berlin, 1959), p. 19-23.

157. (190), 1917, 28 февраля, с. 5; (166), т. 49, с. 387; (205), без указ. страниц.

158. Так он будет думать в 20-е гг., размышляя о вероятности революции в Америке.

159. (253), т. 2, гл. XXII. Вообще говоря, написанный задним числом рассказ Троцкого об их взаимоотношениях, которые будут рассматриваться в главах 5 и 8, не вызывает доверия.

160. См.: (361), с. 80-85 и Loge Ludwig. One Year of Revolution (New York, 1918), p. 7-8; Sen Katayama в *The Revolutionary Age*, July 26, 1919, p. 6.

161. „Перспективы революции” в (190) от 27 марта 1917 г., с. 4; см. также его (326), с. 14-21. О его ранних воззрениях см. (17), с. 55 и (172), с. 276-277.

162. См. (361), с. 85; (17), с. 55 и „Справочная книжка журналиста”, М., 1924, с. 289. Иногда указывают, что он приехал в Москву в конце апреля.

ГЛАВА 2

1. Несмотря на растущее число советских и западных монографий, удовлетворительного исследования по социальной истории революции 1917 г. пока еще нет. Достаточно ценной, хотя и несколько устаревшей работой является (340). См также *Revolutionary Russia*, edited by Richard Pipes (Cambridge, Mass., 1968); о партии (349).

2. (282), с. 72.

3. См. Апрельские тезисы, явившиеся кратким изложением неопубликованной речи, произнесенной Лениным по возвращении, в (167), т. XX, с. 87-90. О реакции на них социал-демократов см. (447), I, с. 286-287.

4. (447), I, гл. XII; и (19), с. 269.

5. (349), с. 65. Более подробно о различных взглядах в партии и о борьбе Ленина за ее радикализацию и объединение в 1917 г. см. Rabinowitch Alexander. *The Bolsheviks Come to Power* (New York, 1976).

6. См. рецензию Бухарина на „Государство и революция” в (152), 1918, № 1, с. 19 и в (17), с. 55.

7. (17), с. 55; (282), с. 99-105. Речь Бухарина о „Воине и международном положении”, по-видимому, являлась главным докладом на съезде*.

8. Рыков, цит. в (251), в т. 2, ч. 2, с. 167.

9. (167), т. XX, с. 650, сн. 136.

10. (259), гл. I и дальше; (92) 1957, № 10, с. 15.

11. Ни Бухарин в своей автобиографии, ни Марецкий в его официальной биографии не упоминают о членстве Бухарина в Бюро, как можно предположить, из-за той роли, которую этот орган играл потом в оппозиции левых большевиков. Доказательства того, что он не только состоял в Бюро, но и был членом узкого круга его руководителей, см. в ст.

Г. Ломова „В дни бури и натиска”, (213), 1927, № 10, с. 166-167; в воспоминаниях Стукова в (194) под ред. Овсянникова, с. 40 и (434), с. 108.

12. (347), с. 41. Удовлетворительно написанной истории политическое развитие московской парторганизации нет. В дополнение к цитируемым в настоящей главе статьям, воспоминаниям и монографиям см (199), гл. VI и „Октябрь в Москве”. М., 1967.

13. (213), 1922, № 20, с. 473-474. Разногласия проистекали от того, что полномочия трех московских партийных организаций: городской, районной и областной, частично совпадали. См. „Москва в двух революциях” М., 1958, с. 394.

14. В разные периоды в 1917 г. в Бюро входили другие видные руководители, такие как А. Бубнов (р. 1883) и Г. Сокольников (р. 1888). Эти семеро, однако, составляли ее руководящее ядро. См. автобиографию Ломова в (120), 1, с. 339; его воспоминания в (213), 1927, № 10, с. 166-168; воспоминания Стукова в (194), с. 40-45 и Яковлевой в (213), 1922, № 10, с. 302-306. Среди руководителей Московского комитета, не все из которых придерживались умеренной линии, были В. Ногин (р. 1878), М. Ольминский (р. 1863), И. Скворцов-Степанов (р. 1870), П. Смидович (р. 1874), И. Теодорович (р. 1875), Н. Л. Мещеряков (р. 1865), М. Ф. Владимирский (р. 1874) и М. Покровский (р. 1868). См. биографические очерки о некоторых из них в „Герои Октября. Книга об участниках Великой Октябрьской социалистической революции в Москве”, М., 1967.

15. Смидович, цит. в (92), 1967, № 12, с. 49.

16. Яковлева в (213), 1922, № 10, с. 304; она же, цит. в (137), 1935, № 5, с. 6, с. 16. См. также: (213), 1922, № 10, с. 471-476 и 1927, № 10, с. 166-168.

17. (120), 11, с. 96. См. также: замечания Ломова в (213), 1927, № 10, с. 167-168.

18. (411), с. 172. О Яковлевой и ее брате см. (120), 111, с. 274-280. Бухарин посвятил свою (73) памяти Николая, убитого во время гражданской войны.

19. См. (167), т. XXVII, с. 592; (282), с. 451 и „Шестой съезд”, 1934, с. 331-332.

20. „Октябрь в Москве”, с. 143; (92), 1967, № 8, с. 63.

21. (217), 1, с. 241; (283), с. 223. См. также: (213), 1924, № 4, с. 137; (17), с. 55 и (172), с. 273. В течение всего года захват ими печати оставался источником больших трений среди руководящих партийцев.

22. (17), с. 55; (172), с. 273; (167), т. XXII, с. 517, сн. 45; (260), с. 66.

23. (215), с. 6.

24. См. Сборник его речей 1917 г. (40). Его кипучая деятельность в 1917 г. засвидетельствована в различных воспоминаниях, документах и исторических работах, приведенных выше в настоящей главе. См. также: (89), III, с. 59, 65, 169, 233; IV, с. 127, 251, 265, 291, и VI, с. 89.

25. (363), с. 353; (194), с. 56-57; (429), с. 253.

26. Ни „Социал-демократа”, ни „Спартака” обнаружить не удалось*. Некоторые из его статей собраны в (40). В 1917 г. он часто писал под именем К. Твердовского.

27. (60), с. 5-6.

28. Бухарин Н. Классовая борьба и революция в России, М., 1917. В начале 1918 г. вышло продолжение, потом обе части были напечатаны вместе (55). Слова рецензента см. в (213), 1922, № 10, с. 496.

29. См. (92), 1967, № 9, с. 93; (251), т. 2, ч. 2, с. 161 и (349) с. 56, 65, 90.

30. В дополнение к вышеприведенным материалам о Москве см. „Московский военно-революционный комитет: октябрь-ноябрь 1917 г.”, М., 1968 и (176), с. 277-373.

31. (172), с. 273-274; (213), 1922, № 10, с. 165, 313; Бухарин в (210)

25 октября 1928 г., с. 5; (89), V, с. 173; (194), с. 23, 39, (237); (176), с. 281.

32. (89), VI, с. 89; (194), с. 44-45; (40), с. 170-173.

33. Молодые москвичи приобрели, по всей видимости, привычку неофициально собираться, минуя обычную партийную процедуру, см. (213), 1922, № 10, с. 304-305. 320 и 1927, № 10, с. 168.

34. Бухарина, видимо, недолюбливали меньше других, но и ему достается впоследствии; см., напр., яростные нападки Ольминского на него в (159), 1921, № 1, с. 247-251, которые будут рассматриваться в гл. 3.

35. См., напр., ленинские Апрельские тезисы и его статью „К пересмотру партийной программы“, написанную меньше, чем за три недели до переворота, (167), т. XX, с. 89 и XXI, с. 312. Партийная программа до 1917 г., по сути дела, состояла из ленинских Апрельских тезисов*. См. статью Бухарина „Программа Октября“, (210), 23 марта 1929 г.

36. См., напр., слова Осинского о двойственности лозунга рабочего контроля, цит. в (33), с. 60.

37. (447), I, с. 284 и II, с. 420-421, 554-555.

38. (167), т. XXVII, с. 401; см. также: XXI, с. 312, где он за какие-то недели до переворота предупреждает, чтобы Бухарин и Смирнов не хвалились, „едучи на рать“.

39. (377), с. 230, 231, 398.

40. См. выше его примечания в (39), с. 58-59, 134-135; (40), с. 144-147. Как он вспоминал впоследствии, по сравнению с западными городами „Москва произвела на меня впечатление захудалой деревушки“, (210), 15 января 1927 г.

41. (190), 27 марта 1917 г., с. 4.

42. (40), с. 146; (54), с. 7 и *The Class Struggle* (New York), N 1 (1917), p. 21; (55), с. 71.

43. (282), с. 104-105.

44. Революционная война, к которой Ленин призывал в Апрельских тезисах, была записана в программу партии на состоявшемся в июле VI съезде**. Из большевиков один лишь Сталин ставил под сомнение ее осуществимость и последствия для России. Там же, с. 250.

45. Что явствует из его статьи о современном капитализме в „Спартаке“ в мае-сентябре 1917 г. „Спартак“ отыскать не удалось, однако статьи его широко обсуждались и цитировались. См., напр., (14), 1929, № 18, с. 27-29, 37.

46. (282), с. 103. О том же см. слова Бухарина, цит. в (165), с. 12.

47. (282), с. 102-103, 138.

48. (429), с. 248; см. также (176), с. 316.

49. Разногласия между ними были улажены, когда в 1919 г. была, наконец, составлена и принята новая программа. Предложения Бухарина были выдвинуты в „Спартаке“ (№ 4 за 1917), который не удалось отыскать. Ленинские взгляды и разбор соперничающих предложений см. в (167), т. XXI, с. 297-318. О дискуссии 1917-1919 гг. по поводу программы см. также (169), т. XIII, с. 35-40.

50. (282), с. 103, 137, 202.

51. (213), 1922, № 10, с. 319.

52. (40), с. 144-147. Следует также упомянуть о компромиссном предложении Бухарина по поводу предстоящего Учредительного собрания. 29 ноября (12 декабря) он предложил, вместо того чтобы срывать созыв собрания, изгнать из него кадетов, дабы революционные партии заседали „революционным конвентом“. Он надеялся, что большевики вместе с левыми эсерами составят большинство и таким образом не обманут ожиданий широких масс, поддержавших созыв Учредительного собрания. См. (215), с. 149-150.

53. (349), с. 207; (92), 1967, № 6, с. 21.

54. (193), с. 45.

ГЛАВА 3

1. Осинский в (118), с. 115.
2. (347), с. 63-69.
3. (214), с. 160-161. См. также (213), 1922, № 10, с. 476, 485.
4. (99), с. 25, 29.
5. „Декреты Октябрьской революции”, в 2-х томах. М., 1933, 1, с. 226. Городецкий Е. Н. Рождение Советского государства: 1917-1918 гг. М., 1965, с. 242-243. Соавтором документа был М. Савельев. См. также (333), 11, с. 73-74.
6. (167), т. XXII, с. 289; (333), 11, с. 74-75, 86; (120), 1, с. 339 и 11, с. 96. А также (136), с. 49.
7. См., напр. (167), т. XXII, с. 596, сн. 80.
8. (166), т. 49, с. 383, 691, сн. 612; (215), с. 152-153; (167), т. XXII, с. 588, сн. 49 и (210), 5 мая 1922 г.
9. (136), с. 207.
10. По истории „левого коммунизма” см. (434), гл. VI, VIII и (347), гл. 111.
11. (229), с. 24-40. Сам Бухарин, его современники и советские и западные историки согласны в том, что он играл ведущую роль.
12. (434), с. 100-101, 130; (347), с. 75-77; (283), IV, с. 299; (253), т. 2, с. 111.
13. (255), с. 82.
14. Ступоченко Л. В Брестские дни. (213), 1923, № 4, с. 97.
15. См., напр., его неопределенные высказывания в (229), с. 247-248. Что между началом января и серединой февраля его позиция отчасти изменилась, отмечал также Ленин. См. (105), с. 21.
16. (229), с. 34, 229.
17. (16), с. 651.
18. (152) начал печататься в Петрограде, где между 5 и 19 марта вышло его 11 номеров под редакцией Бухарина, Урицкого и Радека. Как „орган Московского бюро” он был заново создан в Москве, где между 20 апреля и началом июня вышло 4 номера.
19. (244), с. 427-428; (167), XXII, с. 609, сн. 128; (434), с. 135; (169), XI, с. 46.
20. (169), т. XI, с. 47, 48 и Бухарин в (210), 21 января 1925 г. Когда Ленин назвал „левых коммунистов” „недоношенными левыми эсерами”, Бухарин ответил: „Тогда Ленин – наш папаша”. (169), т. XI, с. 85.
21. См. разные рассказы об этом тяжелом эпизоде в (210), 3 января 1924 г. и (434), с. 117, 142-144.
22. Цит. в Volin e. Nineteen Seventeen: The Russian Revolution Betrayed (New York, 1954), p. 97-98.
23. См., напр., возражения Осинского Бухарину в (282), с. 107-108. К тому же Бухарин явно не разделял намерения Ломова отстранить Ленина от власти и желал Урицкого связать полемику с прошлыми разногласиями. См. их высказывания в (229), с. 243, 249, 267. Наконец, см. замечания Бухарина и Зиновьева в (229), с. 44-45, 248.
24. (251), III, с. 392-393. См. также Бухарин в (229), с. 31.
25. (229), с. 32-38; также с. 25-26, 104.
26. Там же, с. 24, 31.
27. Там же, с. 27-29, 261, 263.
28. (251), т. 2, ч. 2, с. 433-434; (411), с. 24, 69; (429), с. 125.
29. (229), с. 26, 31-32, 35, 106, 243, 248, 292, 321.
30. Там же, с. 263-264; (253), т. 2, с. 118.
31. (229), с. 24, 29.
32. „Международное хозяйство и борьба государств”, (190) за 17 августа 1917 г., с. 4. Бухарин постоянно обращался к этой теме в своих сочинениях. См., напр., статью „Кризис буржуазной культуры” в (210), 7 ноября 1922 г.

33. (229), с. 109; также см. его речь на этом съезде, с. 7-24.
34. Цит. в Сорин В. Партия и оппозиция: из истории оппозиционных течений (фракция левых коммунистов). М., 1925, с. 72.
35. (229), с. 26, 29-31, 34-35, 104-105, 266.
36. Там же, с. 26, 33-35, 105, 107-109, 261.
37. Еггертсон Джон. The Soviet Hight Command (New York, 1962), с. 27, 676 п. 11; и также в (351), с. 388. Позже, скорее всего, по политическим соображениям, Бухарин сказал, что Ленин был прав насчет преимуществ передышки, (210), 11 октября 1918 г.
38. (333), 11, с. 35, 55-88; (356), гл. 11.
39. См. его статью в (167), т. XXII, с. 35, 55-88, где подробно излагаются предложения, сделанные 4 апреля, и его ответы критикам на с. 469-498, 505-528.
40. Там же, с. 482, 483.
41. Ленинские тезисы, составленные 4 апреля, напечатаны под заглавием „Тезисы о текущем моменте” в (152), 1918, № 1. Они перепечатаны в (167), т. XXII, с. 561-571.
42. См., напр., (20), с. 133-134 и его замечания в (392), VIII, 1928 г., с. 988.
43. „Некоторые основные понятия современной экономики” в (152), 1918, № 3. Этот номер оказался недоступен, однако бухаринская статья широко цитируется в других местах и будет разбираться ниже.
44. (62) и (382), с. 80.
45. Это толкование противоречит интерпретациям большинства советских и западных историков, изображающих Бухарина лидером экономической оппозиции. Оно, однако, подтверждается (хотя и невольно) основным советским источником. См. А. Сидоров (235).
46. См. там же, № 6 (80), 1929, с. 57-58; автобиографию Осинского в (120), 11, с. 96; (244), с. 414. См. также (196); речь Н. Осинского в (258), с. 56-64 и его „Прямые ответы” в (152), 1918, № 2, с. 16-18.
47. См., напр., Н. Бухарин, (62), с. 13-14, 31-32; „Анархизм и научный коммунизм”, (210), 25 января 1918 г. и цитаты из Бухарина в (167), т. XXII, с. 494, 519.
48. (167), т. XXII, с. 492.
49. Тезисы появились за подписью „редколлегии” (152), то есть Бухарина, Осинского, Смирнова и Радека.
50. (169), т. XI, с. 54; (258), с. 7.
51. Их разногласия по поводу новой партийной программы, к примеру, разрешились вновь, однако разрешились путем взаимного компромисса. См. (229), с. 148-153, 160-161, 163.
52. (62), с. 22-23, 24-25; (40), с. 145-146; (214), с. 233; (258), с. 7.
53. (62), с. 27; (152), 1918, № 1, с. 20; слова Бухарина, цитируемые Осинским в (196), с. 25.
54. (62), с. 27.
55. (333), 11, с. 396.
56. См. там же, с. 59-60; (40), с. 145-466 и (62), с. 30-35.
57. (214), с. 233-234; (167), т. XXII, с. 494.
58. См. рецензию Бухарина на „Государство и революция” в (152), 1918, № 1, с. 19; (167), т. XXI, с. 446, 451. См. также новые подтверждения Лениным тех же идей в (229), с. 143-144.
59. (62), с. 17; (347), с. 86.
60. (214), с. 234.
61. См., напр., его замечания в (99), с. 26.
62. Цит. в (79), с. 106 и в (213), 1929, № 11/94, с. 46-47. см. также прим. 43.
63. (79), с. 107. Как признавал позднее Бухарин, они с Лениным никогда не могли договориться о понятии государственного капитализма. См. (159), 1925, № 4, с. 265.
64. (213), 1929, № 11/94, с. 49; см. также (165), с. 62-63.

65. (167), т. XXII, с. 513.
66. (19), с. 259-260.
67. См., напр., замечания Ленина в (167), т. XXIII, с. 40.
68. (210), 25 октября 1928 г.
69. (92), 1967, № 1, с. 60.
70. (333), 11, с. 51, 53, 98; (356), с. 58, 59; (433), с. 188.
71. (436), с. 117. См. также (333), 11, с. 147-268.
72. (433), с. 191.
73. (18), с. 149. См. также речь Бухарина в (94), с. 165 и (118), с. 137-138.
74. "The International Bourgeoisie and Karl Kautsky, Its Apostle", *Inprecor*, V (1925), p. 291.
75. (73), с. 263 и (210), 23 марта 1929 г. Лучшим советским исследованием данного периода является опубликованная вскоре после этого работа (161).
76. (347), с. 93, 104-115; (434), гл. XIII и (134), с. 388-420.
77. (118), с. 135-139.
78. О бухаринской отставке см. (229), с. 265, 269.
79. (210), 11 октября 1918 г. См. также (219), с. 594-595.
80. (210), 11 октября 1918 г.
81. Они обсуждались на партсъезде в марте 1919 г. См. (97) и особенно с. 45-48, 107-110. По поводу компромиссов при разработке программы партии см. (169), т. III, с. 458-459 и т. XIII, с. 56-58.
82. (459), с. 360; (370), с. 222. Есть кое-какие основания полагать, что в это время Бухарин из большевистских вождей был ближе всех к ленинской семье. См. (263), с. 86. Он был особенно близок с сестрой Ленина Марией Ильиничной. См. гл. VIII.
83. (166), т. 50, с. 87-88.
84. (255), с. 106. По словам Троцкого, его цитата впоследствии вызвала бурю в послеленинском руководстве: „Сталин, Зиновьев и Каменев почуствовали себя кровно обиженными моей справкой... Факт остается фактом: Ленин назвал только Свердлова и Бухарина". (253), т. 2, с. 60.
85. (434), с. 367; (97), с. 341; (94), с. 221; (167), т. XXV, с. 604, сн. 63.
86. См., напр., (210), 5 мая 1927 г. и переписку Ленина в (166), т. 50, с. 291, т. 51, с. 203, 225, 251, 272 и т. 54, с. 291.
87. „Памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург". Сб. статей. Пг., 1919, с. 26; (172), с. 274.
88. (166), т. 51, с. 229; также разбор Бухариным документа в (201), с. 75-85.
89. „Рассказ „товарища Томаса", (240), № 13, апрель 1964, с. 132, 141, сн. 16; (154), с. 98; (308), с. 163-165.
90. (117).
91. См., напр., (443), 11, с. 46; (166), т. 51, с. 47, 385; (422), с. 18 и (118), с. 70, 233, 247, 448-461.
92. (119), с. 293-294; (117); Mc Bride Isaac. *Barbarous Soviet Russia*, (New York, 1920), p. 108.
93. (169), т. XIII, с. 31; (19), с. 203.
94. Бухарин в (248), с. 126.
95. (97), с. 49.
96. (240), 1925, № 9, с. 106; *The Militant* (October 15, 1929), p. 6.
97. (18), с. 5, 6 и гл. XIV.
98. Там же, с. 14.
99. См. бухаринскую статью „По поводу порядка дня партийного съезда", (210), 25 января 1923 г.; предисловие Сидни Хайтмана к переизданию „Азбуки" (Анн Арбор, Мичиган, 1966). (355), с. 299 и (414), с. 115.
100. (172), с. 282; Mackenzie F. A. *Russia Before the Dawn* (London, 1923), p. 35.

101. См. замечания Ольминского об „общеобязательном характере” Азбуки” в (159), 1921, № 1, с. 247 и карикатуру, свидетельствующую о библейском статусе, в (212), 1923, № 8, с. 26.

102. См. (400) (неопубликованная докторская диссертация, Лондонский университет), с. 94, 232, 347, 440, 568; (117) и предисловие Бухарина к очерку И. Подволоцкого „Марксистская теория права” (М., 1923). См. также его доклад о подготовке партийных кадров в (94), с. 156-168.

103. См. Николаевский Б. Внешняя политика Москвы в (189), 1942, № 1 и замечания Бухарина в (210), 23 марта 1929 г.

104. См., напр., Page Stanley W. Lenin and World Revolution New York, 1959), p. 128; (19), с. 99; (201), с. 84 и речь Бухарина, перепечатанная в „The Second Congress of the Communist International as Reported and Interpreted by the Official Newspapers of Soviet Russia” (Washington, D. C., 1920), p. 133-134.

105. (97), с. 36, 40.

106. (19), с. 95, 111; также, (18), с. 60.

107. (19), с. 111; и также, (118), с. 217, 418.

108. (118), с. 215-216, 260-261; (19), с. 89-114.

109. См., напр., его „Экономика диктатуры пролетариата”, (210), 19 декабря 1918 г.; (19), с. 112; „Съезд совхозов”, (210), 22 января 1920 г.

110. (97), с. 44, 114; (201), с. 82; „Сельскохозяйственные коммуны или хлебные фабрики?”, (210), 20 декабря 1918 г.; (18), с. 246; „Съезд земотделов, коммун, комбедов”, (210), 22 декабря 1918 г.; (118), с. 215.

111. См. (356), с. 61.

112. (167), т. XXIV, с. 536. См. также его позднейшее признание, что руководство в целом верило в эффективность его политики. Там же, т. XXVII, с. 29. Подборку партийных взглядов в период „военного коммунизма” см. в сб. „Октябрьский переворот и диктатура пролетариата”. М., 1919.

113. (19), с. 104.

114. См. (79), с. 5, 6, 123, сн. 1: совместный ответ Бухарина и Пятакова ее критикам — (30), с. 256-274.

115. ВКА, XXVI (1928), с. 12-14. Двумя другими были „Государство и революция” Ленина и (161) Крицмана. О влиянии „Экономики” см. (401), с. 244-245, 248.

116. См. гл. 1-3, 7, 9.

117. См., напр., статью Ленина „Пролетарская революция и ренегат Каутский”, (167), т. XXIII, с. 331-412; и „Терроризм и коммунизм” Троцкого, (Пг., 1920).

118. „Диктатура пролетариата в России и мировая революция” в (155), 1919, № 4, с. 487-488; (73), с. 268-269.

119. (79), гл. III, IV и с. 63-64.

120. Там же, с. 48, 97, 98.

121. О Гильфердинге см. там же, с. 47; ВКА, XXVI (1928), с. 13. Бухарин так обрисовал господствующие социал-демократические представления: „Пролетариат снимает командующую в производственном процессе „верхушку”, говорит ей: „Пошли вон, дураки”; „дураки” уходят, более или менее подталкиваемые пролетариатом, который в целостности и неврежденности получает готовенький, вызревший до конца в лоне капиталистического Авраама общественный аппарат производства. Над ним пролетариат ставит свою „верхушку” — и дело в шляпе”. (73), с. 262.

122. См. статью неревизиониста „О книге тов. Н. Бухарина (ответ тов. М. Ольминскому)”, (159), 1921, № 1, с. 254-255.

123. См. замечания Бухарина и Пятакова в (159), 1921, № 1, с. 257, 272; слова Покровского о том, что она представляет собой поворотный пункт в политической экономии, ВКА, XXVI (1928), с. 13-14; (161), с. 19, сн. 2, с. 167, сн. 144; (159), 1921, № 1, с. 254; (172), с. 280, 282.

124. (79), с. 52-56.
125. Там же, с. 60; также см. с. 58.
126. Концепция равновесия подразумевается во втором томе „Капи тала”, где Маркс прибегнул к статической и динамической моделям для разбора капиталистического накопления, и конкретно рассматривается в гл. XVI (107). Важность этой концепции для экономических воззрений Бухарина разбирается в (405).
127. (79), с. 127-128, с. 129-130, сн. 1.
128. Там же, с. 56, 113; о процессе „огосударствления” и милитаризации см. особенно гл. VI-VIII.
129. Там же, с. 108-109. Аргумент упоминается неоднократно. См. с. 63-64, 71-72, 83-84.
130. Там же, с. 84, 138-139.
131. Как и сделали его критики в партии. См. нападки Ольминского в (159), 1921, № 1, с. 247-251.
132. (79), с. 7-8.
133. Lange Oskar. Political Economy, I (New York, 1953), p. 84, p. 46; и (401), с. 248. Для подтверждения того, что это было мнением большинства большевиков, см. (213), 1929, № 12, с. 178. См. также дебаты по этому поводу в ВКА, XI (1925), с. 257-346.
134. (79), с. 124-125, 134-135.
135. Оба обвинения были выдвинуты Ольминским в (159), 1921, № 1, с. 247-251 и отчасти также старшей сестрой Ленина А. И. Елизаровой. См. разбор имеющейся в архивах копии ее рецензии 1921 г. в (92), 1972, № 1, с. 118-122.
136. См., напр., (79), с. 138-139 и его замечание о роли принуждения в создании коммунистического человека, с. 146.
137. Там же, с. 62-63, 101-103, 132-133, и гл. VIII.
138. Там же, с. 132-133. Позднее, когда взгляды Бухарина изменились, его критики цитировали это место как свидетельство того, что он когда-то понимал неприложимость равновесия к переходному периоду. См. (171), с. 41.
139. (79), с. 82-85, 146, и гл. V.
140. Там же, с. 85-87.
141. Там же, с. 151.
142. Гроцкий Л. Соч., XII. М.—Л., 1925, с. 413, сн. 19. Данные о том, что некоторые места книги оказали влияние на меньшевиков см. у Чауанова А. V. The Theory of Peasant Economy (Homewood, Ill, 1966), p. XIII-XIV; см. также слова Чауанова, цит. Бухариным и Пятаковым в (159), 1921, № 1, с. 272-273.
143. См. нападки Ольминского и защиту Бухарина и пишущего под псевдонимом автора в (159), 1921, № 1, с. 247-251, 252-274. Ольминский, очевидно, сперва планировал изложить свои возражения в письме в ЦК, но потом решил высказать их в печатной рецензии. Она датируется апрелем 1921 г. и написана чуть позже введения нэпа. Ольминский был особенно озабочен тем, какое влияние книга окажет на подрастающее поколение. Его поддерживала старшая сестра Ленина. См. (91), 1964, № 5, с. 23-24; и выше, прим. 135.
144. (169), т. XI, с. 347-403.
145. Там же, с. 355, 356, 359, 360, 361, 369, 371, 372, 385, 387, 400, 401.
146. В начале своей деятельности Ленин тоже прибегал к „социологическому” языку. См., напр., (167), т. 1, с. 55-115. Но его острые философские (и политические) разногласия с Богдановым в 1909 г. и позже, видимо, породили у него недоверчивое отношение к современной западной общественной мысли и особенно к попыткам обогатить с ее помощью марксизм. Разные мировоззренческие установки лежали в основе часто повторявшихся стычек между Лениным и Бухариным по поводу работы Богданова. Например, в сентябре 1920 г. Бухарин выступил с протестом

против злой статьи В. Невского о Богданове, которая нравилась Ленину (была напечатана при его поддержке. Бухарин говорил, что дело не в том, правильны ли богдановские идеи, а в том, чтобы их понять, тогда сак „этого минимума у Невского нет“). (169), т. XII, с. 384-385.

147. (169), т. XI, с. 396, 402.

148. (210), 25 октября 1928 г.

149. Hoffer Eric. The True Believer (New York, 1960), p. 20.

150. Как будет признано (хотя и обиняками) в некоторых позднейших официальных версиях. См., напр., А. Айхенвальд, (2), с. 31 и (236), с. 15.

151. Бухарин Н. Съезд совхозов, (210), 22 января 1920 г.

152. Об этом периоде см. (303), гл. 1.

153. См. Л. Троцкий, (254), с. 57-58; (351), с. 496-498.

154. Что касается предложений Осинского, см. его „Государственное регулирование крестьянского хозяйства“ (М., 1920); и (120), 11, с. 93. О дискуссии в Политбюро и Ленине см. (333), 11, с. 280-281; (141), кн. 1, с. 47, 49.

155. Бухарин Н. О ликвидаторстве наших дней, (14), 1924, № 2, с. 4.

156. См. слова Бухарина о Гейне в (392), с. 158.

157. Ransome Arthur. Russia in 1919 (London, 1920), p. 82-83.

158. (115), с. 181; и Бухарин в (342), 1921, № 6, с. 73.

159. Об этих событиях см. (117); (422), с. 18 и (411), с. 70. О Бухарине и ЧК см. также (166), т. 51, с. 47.

160. „Взрыв 25 сентября 1919 г.“, М., 1920, с. 19, 20.

161. (79), с. 147; см., напр., обсуждение им в гл. IV вопроса о том, как техническая интеллигенция втягивается в социалистическое строительство.

162. Там же, с. 42.

163. (18), с. 148.

164. „Рабочая аристократия или сплочение рабочих масс?“, (210), 14 сентября 1919 г. Другие примеры его высказываний о советской бюрократии см. в (210), 19 декабря 1918 г. и от 21 ноября.

165. (229), с. 25.

166. (79), с. 52, 58, 64, 142-143; см. также (97), с. 43.

167. (119), с. 221, 224, 225.

168. (210), 22 января 1920 г.; (210), 18 февраля 1920 г.; (247), с. 5-6; (210), 30 мая 1920 г.; (248), с. 38-44, 50, 52, 57.

169. (63), с. 7, 11-12; Farbman Michael. Bolshevism in Retreat (London, 1923), p. 266.

170. (248), с. 52; (63), с. 7, 11-12.

171. Цит. в (213), 1929, № 12, с. 16.

172. См. (434), гл. XIV-XVII и (347), гл. V.

173. Основные платформы перепечатаны в (167), т. XXVI, с. 540-578.

174. „К выборам на Московскую конференцию“, (210), 15 ноября 1920 г.

175. (274), с. 398.

176. (122), с. 78-80; (167), т. XXVI, с. 132.

177. (167), т. XXVI, с. 114, 569-573; (122), с. 78-81; и слова Бухарина, цит. в (283), IV, с. 438 и в (213), 1929, № 12, с. 14.

178. (167), т. XXVI, с. 63-81, 92-93, 113-145.

179. (166), т. 45, с. 345.

180. (167), т. XXVI, с. 93; см. также (119), с. 380.

181. Бухарин Н. Синдикализм и коммунизм, (210), 25 января 1921 г. Об их совместной платформе см. (167), т. XXVI, с. 55. Ее подписали многие, в том числе восемь членов ЦК.

182. (167), т. XXVI, с. 558; и слова Бухарина, цит. в (213), 1929, № 12, с. 34.

183. „Гром не грянет, мужик не перекрестится“, (210), 15 февраля 1921 г.

184. (236), с. 15.
185. Об этих событиях и о восстании см. (303).
186. (119), с. 403-415.
187. Драбина Е. Зимний перевал, „Новый мир”, 1968. № 10 с. 39.
188. (119), с. 328.

ГЛАВА 4

1. (14), 1924, № 2, с. 3-4.
2. (119), с. 230.
3. Важнейший пример западной точки зрения содержится в (305), гл. 2. См также (462), с. 143-149. Образцы доводов с советской стороны см. в статье Луппола „К вопросу о теоретических корнях правого уклона”, (14), 1929, № 18, с. 11-25; и у Гессена и И. Подволоцкого в „Философских корнях правого оппортунизма”, ПЗМ, 1929, № 9, с. 1-29.
4. (73). М., 1921 (Все ссылки на изд. 1923 г., М.-Пг.).
5. (397), с. 48, 54, 56 и гл. III.
6. См. рецензию В. Сарабьянова в ПЗМ, 1922, № 3, с. 62-76; и Бухарин (58), с. 275-289.
7. О Троцком см. (397), с. 97-100; о Преображенском см. его „Проблема хозяйственного равновесия при конкретном капитализме и в советской системе”, ВКА, XVII (1926), с. 35-76, и XVIII (1926), с. 63-84.
8. Рыков, цит. в (397), с. 40.
9. (73), с. 5-6; Бухарин Н. К постановке проблем теории исторического материализма (беглые заметки), (19), с. 115-116.
10. См. рецензию Питирима Сорокина в „Экономист”, 1922, № 3, с. 148.
11. (73). гл. I-II, VI и с. 68-71, 225-226, 270.
12. Там же, с. 205-206, 264-265; см. также (159), 1923, № 1, с. 287-288.
13. (73), с. 164-165, 226-228, 258-259; см. также (79), с. 62.
14. (73), гл. VIII. Бухарин перечислил то, что он считал своими удачными нововведениями, в (19), с. 115-127.
15. См., напр., обсуждение Бухарина как теоретика у В. Полонского в (206), гл. VIII.
16. Цит. в (389), с. 79. В дополнение к Хьюзу (гл. III, VIII) см. о влиянии марксизма на раннюю социологическую мысль в (310), с. 29-48.
17. В дополнение к прим. 16 см. (309), с. 11-24; (345), ч. 1 и A r o n R a u t o n d. Main Currents in Sociological Thought I (Garden City, N.Y., 1968), p. 145-236.
18. (389), с. 74.
19. В официальном английском переводе (Нью-Йорк, 1925) имелся более пышный подзаголовок: „Система социологии”.
20. (73), с. 10-12.
21. Там же, с. 8-10; см., напр., его попытку дать ответ на теории элиты Михельса и Парето, с. 313-316.
22. (309), с. 39-45; (412), с. 305.
23. История русской и советской социологической мысли еще не написана. Среди существующих – довольно фрагментарных – исследований упомянем следующие: (441), с. 57-69 и (444).
24. (167), т. 1, с. 62.
25. (166), т. 49, с. 294.
26. (444), с. 19; см. также дискуссию в (137), 1929, № 11, с. 189-213.
27. См., напр., ПЗМ, 1922, № 3, с. 62-63 и 1922, № 11-12, с. 172-173. Бухарин сетовал, что „некоторые товарищи считают, что теория исторического материализма ни в коем случае не может рассматриваться как марксистская социология”, (73), с. 12.
28. (153), 1930, № 2, с. 20.

29. (206), с. 178. По поводу Сорокина см. „Экономист”, 1922, № 3, с. 148.

30. См. предисловие Сеймура Мартина Липсета к Michels Robert. Political Parties (New York, 1962), p. 27, n. 22.

31. О разногласиях между Марксом и Энгельсом см. (398); О Ленине см. его „Философские тетради”. М., 1933; а о Деборине см. Ahlberg R e n e. The Forgotten Philosopher: Abram Deborin, *Revisionism*, ch. ix.

32. (19), с. 116, 118; (73), с. 67.

33. (73), с. 216, 279; (19), с. 118, 121.

34. Это общее положение проходит через несколько глав, особенно III, V, VI и VIII.

35. (73), с. 56, 64-67.

36. (73), с. 66, 69-71, 240.

37. Там же, гл. V-VI; (19), с. 119.

38. (73), с. 243-251, 264-265.

39. Там же, с. 71-75.

40. (79), с. 36, 44, 87-89 и гл. X.

41. См., напр., М. З. Селектор, (232). После 1917 г. Бухарин регулярно выступал против богдановских теорий и политических установок, полагая, что они составляют одно целое. В одном знаменитом теоретическом диспуте по поводу возможности существования пролетарской культуры он согласился с Богдановым и разошелся с Лениным. Тем не менее он выступал за подчинение непокорного богдановского „Пролеткульта” партии. А когда в 1921 г. несколько молодых большевиков взяли на вооружение богдановские идеи, Ленин поставил Бухарина во главе идеологического контрнаступления. См. Бухарин Н. К съезду Пролеткульта, (210), 22 ноября 1921 г.; (166), т. 44, с. 266. Хотя Бухарин восхищался Богдановым, он стал считать его неполноценным марксистом, чье „расхождение с марксистской ортодоксией и с большевизмом” сделалось для Богданова „личной трагедией”. (210), 8 апреля 1928 г.

42. (19), с. 120.

43. „Экономист”, 1922, № 3, с. 146.

44. Богданов цит. в Bailes Kendall E. Philosophy and Politics in Russian Social Democracy: Bogdanov, Lunacharsky and the Crisis of Bolshevism (неопубликованный очерк Русского института Колумбийского университета, 1966, с. 86) и (73), с. 6.

45. Сорокин в „Экономист”, 1922, № 3, с. 146.

46. См. (73), с. 78-79, 91, 96, 144-145, 206-207, 217-218, 257-258.

47. См. его „Заметки экономиста” в (210), 30 сентября 1928 г.

48. См., напр., (107), гл. XVI и (232), гл. IX, особенно с. 169-170.

49. (73), с. 67; см. также (79), с. 129-130, сн. 1.

50. (73), с. 69, 70; на с. 233, однако, он настаивает, что „не существует общества „вообще””.

51. Там же, с. 107; (210), 3 июля 1926 г.

52. См., напр., (346), с. 115-127; (309) и Coser Lewis A. The Functions of Social Conflict (Glencoe, Ill., 1956), ch. i. [Cynthia Eagle Russett], The Concept of Equilibrium in American Social Thought (New Haven, Conn., 1966), p. 53.

53. См., напр., Бруйков В. С. Марксизм и теория равновесия. М., 1965.

54. (79), с. 130; (73), с. 240-241.

55. (73), с. 79-80; (19), с. 150.

56. (73), с. 218.

ГЛАВА 5

1. Крицман, цит. в (303), с. 8.

2. См. (333), гл. XVIII-XIX; и замечания Бухарина в (14), 1925, № 8, с. 4-5.

3. На 1923 г. см. Вауков Alexander. The Development of the Soviet Economic System (New York, 1947), p. 107.

4. Лучшим исследованием крестьянского общества в годы нэпа является книга М. Левина (410).

5. См. резолюции в (119), с. 571-576; и (347), с. 146-153.

6. (252).

7. (254), с. 53.

8. (336), с. 9 в т. 1.

9. (52), с. 77 и его статья „Эпоха великих работ“, (210), 24 декабря 1920 г.

10. (119), с. 324.

11. (167), т. XXVI, с. 338.

12. „Наши задачи“, (14), 1924, № 1, с. 3; о настроениях более скептических см. бухаринское изложение взглядов Каменева и Зиновьева в 1925 г. (274), с. 135-136.

13. Цит. в Валентинов Н. От нэпа к сталинской коллективизации. (189), 1963, № 72, с. 242.

14. (119), с. 230-231; см. также его высказывания в (210), 28 августа 1921 г.

15. (210), 25 января 1923 г.

16. См., напр., (167), т. XXVII, с. 84; и Бухарин, (19), с. 254, 263.

17. Первые два термина принадлежат Ленину, (167), т. XXVI, с. 58, 137; о прочих см. (265), с. 107.

18. См. (305), с. 14-15.

19. О Троцком как революционном герое см. трехтомную биографию И. Дейчера и описание в (336), 1, с. 139-152. См. соответствующие цитаты в (353), с. 24, 44 и Trotsky Leon. Literature and Revolution (New York, 1970), p. 190-191. См. также его „Уроки Октября“ в (126), с. 433-486; и (254).

20. (211), с. 45-46 и (366), с. 37.

21. Валентинов Н. Суть большевизма в изображении Ю. Пятакова, (189), ЛП (1958), с. 140-161. Я цитирую здесь из более пространный варианта этих воспоминаний – Вольский (Валентинов) Н. Н. Воспоминания (неопубликованная рукопись, Russian and East European Archive, Columbia University, 1956).

22. Y u g o w A. Russia's Economic Front for War and Peace (New York, 1942), p. 5-6 и (153), 1929, № 10-11, с. 96.

23. Thomson David. Democracy in France (London, 1960), p. 19; В ul l o c k A l a n. Hitler (New York, 1964), p. 284-309.

24. Такие мысли ассоциировались в основном с Лариным. О его и других версиях см. замечания Бухарина в (19), с. 276; в (14), 1925, № 9, 10, с. 7, 13; и (273), с. 185-186.

25. Бухарин Н. Пролетарский якобинец. Памяти Ф. Э. Дзержинского. М., 1926; Sorokin Pitirim. Leaves From a Russian Diary (New York, 1924, p. 93) и перевод статьи Матгеза 1920 г. в Dissent (Winter 1955), p. 77-86.

26. (433), с. 290.

27. Farbman Michael. After Lenin (London, 1924), p. 3; (265), с. 41-46 и слова Бухарина о меньшевике Маргове в (217), 1, с. 80-81 и 11, с. 118.

28. (256), с. 151; см. также (253), т. 2, с. 255. Этим зиновьевцем был Петр Залуцкий. См. (274), с. 358 и (188), с. 45.

29. См., напр., Бухарин Н. Новый курс экономической политики, перепечатано в (18), с. 309; слова Бухарина в (222), с. 109-110, 112-114; (411), с. 94-95.

30. Это был В. Ломинидзе. См. (188), с. 163.

31. (167), т. XXVI, с. 305-306, 321-325, 408 и (167), т. XXVII, с. 50-51, 65, 342-345, 525; (193), с. 23-27.

32. (167), т. XXVII, с. 79, 80, 323. О реформаторском наследии Ленина см. также (85), с. 14-15.

33. См. (59), с. 7-8. На самом деле концепцию эту выдвинул Маркс; см. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 29. М., 1962, с. 37.
34. (126), с. 373 и (42), с. 48.
35. Напр., (210), 24 августа 1929 г., цит. в (134), с. 512. А впоследствии критики-сталинисты будут приравнивать бухаринизм к социал-демократическому реформизму. См., напр., Петровский Д. Борьба компартии с реформизмом. Л., 1929.
36. Gneuss Christian. The Precursor: Eduard Bernstein, *Revisionism*, p. 33-36.
37. (210), 21 января 1925 г. Бухарин называл их так постоянно, в том числе и в своей знаменитой речи „Политическое завещание Ленина” (59). См. ленинские статьи в (167), т. XXVI, с. 387-418.
38. См., напр., (211), с. 255-256, 260; (454), с. 31-32. Свидетельство Валентинова в (189), ЛП (1958), с. 149 и Бухарин Н. Экономические перспективы в деревне, (210), 5 ноября 1927 г.
39. (167), т. XXVI, с. 321-352 и т. XXVII, с. 395.
40. Как он признал там же, т. XXVII, с. 62. См. также (92), № 1, 1967, с. 61-62.
41. (193), с. 139-141; (159), 1925, № 4, с. 265.
42. См. (169), т. IV, с. 384-385 и III, с. 21.
43. (167), т. XXVI, с. 388, 391, 393-394 и т. XXVII, с. 29-30, 44-46, 83; и (193), с. 13-21, 32.
44. (167), т. XXVI, с. 336 и т. XXVII, с. 303-304, 348-349. О кооперативах см. (333), т. 1, с. 120-125.
45. (167), т. XXVII, с. 366; (266), с. 18.
46. (167), т. XXVII, с. 387-390, 398, 401, 405.
47. Там же, с. 392-394.
48. Там же, т. XXVI, с. 336 и т. XXVII, с. 391, 396. См. интересную попытку примирить две точки зрения Ленина в (92), 1966, № 12, с. 44-55.
49. (167), т. XXVII, с. 396-397, 414, 417-418. О последних месяцах жизни Ленина см. (409).
50. См., напр., (210), 28 августа 1921 г. Также см. предисловие Сидни Хайтмана к (67), с. 36-37.
51. (14), 1924, № 2, с. 3.
52. См. (169), т. IV, с. 380-385; и (98), № 2, 20 декабря 1921 г., с. 50.
53. Протоколы Десятой Всероссийской конференции РКП(б). М., 1933, с. 100. Статья появилась в (210), 6 августа 1921 г. и была перепечатана в издании (18), 1925 г., с. 301-309.
54. (119), с. 224-225; „Третий Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала”, с. 264-268, 379-382; (18), с. 301-309 и *The New Policies of Soviet Russia* (Chicago, 1921?), p. 43-61.
55. (159), 1921, № I, с. 269; (18), с. 306-307.
56. (18), с. 301, 307.
57. (271), с. 192; и (98), № 2 от 20 декабря 1921 г., с. 49, 51.
58. (19), с. 216-241; (172), с. 283.
59. (19), с. 219-232; см. также (65), с. 17-22 и „Проблема культуры в эпоху пролетарской революции”, (135), 15 декабря 1922 г.
60. (19), с. 222, 227, 232-236; (65), с. 33; (210), 28 августа 1921 г.
61. Как он указывал впоследствии. См. его (75), с. 35.
62. (19), с. 237-240; (65), с. 46-47.
63. См., напр., его „Краткий курс экономической науки”, 15-е изд. М., 1924, с. 24-27, 41, 106, 331-332, 339-341. См. также Карев Н. О группе „Рабочая правда”, (14), 1924, № 7-8, с. 32-34.
64. (19), с. 227; (65), с. 23; (210), 23 ноября 1921 г.
65. (73), с. 314-315; (19), с. 239-240. См. также (135), 15 октября 1922 г.
66. См., напр., его замечания в (217), 11, с. 117-118.
67. См., напр., (52), с. 75-77; (126), с. 292; (274), с. 824 и его (67), с. 71. По поводу его скептического отношения к аналогии с термидором

см. „На пороге десятого года”, (210), 7 ноября 1926 г.

68. Хотя немногочисленные публичные высказывания Бухарина о Кронштадтском мятеже содержали выпады против политических сил, которые будто бы были в нем замешаны, они были окрашены скорее печалью, нежели злобой. См. (119), с. 224-225 и неподписанные передовицы в (210), 25 марта 1921 г. и 22 мая 1921 г. (о его авторстве говорится у Ленина, (167), т. XXVI, с. 661, 671). Сообщают, что позднее он заявил делегатам III конгресса Коминтерна в 1921 г.: „Кто говорит, что Кронштадтский мятеж был белогвардейским? О нет. Ради идеи, ради нашей задачи нам пришлось подавить восстание наших заблуждающихся братьев. Мы не можем рассматривать кронштадтских матросов как врагов. Мы любим их как настоящих братьев своих, плоть от плоти и кровь от крови нашей...”. (301), с. 203.

69. (119), с. 322-323; „Третий Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала”, с. 382; (28), с. 321-322.

70. Более ранний пример см. в (210), 28 августа 1921 г.

71. (131). II. М., 1924, с. 255-259; (52), с. 16, 36-37. Организации раб-
коров и селькоров сделались его излюбленным примером.

72. „Влияние нэпа и „уклоны” в рабочем движении”, (210), 25 марта 1923 г.; (341), 1923, № 25, с. 13; „Крестьянство и рабочий класс в ближайший исторический период”, (210), 28 сентября 1923 г. Это мнение основано на выступлении Бухарина на XII партсъезде в апреле 1923 г., где он разбирал основные вопросы дня — индустриальную политику, линию в национальном вопросе и международное движение. Его позиция в каждом случае отражала то, что начинали называть „прокрестьянской ориентацией”. См. (114), с. 169-176, 561-565 и его (35).

73. (131), II, с. 254-255.

74. (210), 28 сентября 1923 г.; (19), с. 279. См также (210), 25 января 1923 г. и от 25 марта 1923 г.

75. (271), с. 192-193; точно так же см. „Р.С.Ф.С.Р.”, (210), 3 декабря 1922 г.

76. (210), 25 января 1923 г.; (131), II, с. 264.

77. См. (210), 3 декабря 1922 г.; (19), с. 240; и (271), с. 190.

78. „Критика и критика”, (210), 30 июня 1923 г.; (210), 28 сентября 1923 г.

79. См. (241), с. 169-203.

80. (271), с. 191.

81. (25), с. 37.

82. (14), 1924, № 2, с. 6. И на самом деле, вся дискуссия по поводу новизны лозунга построения „социализма в одной стране” в какой-то степени не отражает действительного положения вещей. Бухарин и партийное руководство думали, что „военный коммунизм” приведет к социализму вне всякой связи с перспективами революции в Европе. Даже до Сталина некий Петров ссылался в июне 1924 г. на Ленина, оспаривая утверждение Богданова, что социализм не может восторжествовать в одной отдельно взятой стране. (14), 1924, № 5-6, с. 99-100. И наконец, левый экономист Преображенский сформулировал свой „закон первоначального социалистического накопления” не без намерения использовать его как способ построения социализма в изолированной отсталой стране.

83. Молчанов Ю. Л. Коминтерн. У истоков политики единого пролетарского фронта. М., 1969, с. 115-119; высказывания Бухарина в (221), т. 2. М.—Л., 1925, с. 275; (210), 7 ноября 1922 г. и (213), с. 3.

84. (271), с. 196.

85. (114), с. 169; (210), 13 мая 1923 г.; (223), с. 246; (246); (35), с. 24.

86. (35), с. 25, 81-82; см. также (341), 1923, № 25, с. 16 и (210), 8 сентября 1923 г.

87. (341), 1923, № 25, с. 16.

88. См. замечания Петровского в (274), с. 168 и (254), с. 48-49.

89. См. историю триумvirата в (347), гл. VIII-IX и (353), гл. II.
90. Зиновьев Г. Соч., XI. М.—Л., 1929, с. 390; (166), т. 45, с. 345.
91. Morizet Andre. Chez Lenine et Trotski: Moscou 1921 (Paris, 1922), p. 63. См. также (240), 8 сентября 1922 г., с. 4. До смерти Ленина полными членами Политбюро были: он сам, Троцкий, Зиновьев, Каменев. Сталин, Рыков и Томский, причем последние двое являлись второстепенными фигурами. Ленин в своем „Завещании“ упомянул лишь Троцкого, Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина и Пятакова, который постоянно выступал в качестве оппозиционера. (166), т. 45, с. 344-345.
92. Eastman Max. Since Lenin Died (New York, 1953), p. 30. (166), т. 45, с. 345; слова Сарабьянова в ПЗМ, 1922, № 3, с. 63; (4), с. 55 и (175), с. 148-149.
93. (104), с. 115.
94. См. (167), т. XXVII, с. 277-280, 537, 538 и (422), с. 10.
95. (167), т. XXVII, с. 379-382; (100), с. 290.
96. (166), т. 45, с. 345.
97. (169), т. XX, с. 353; см. также т. XXIII, с. 33 и (166), т. 45, с. 524. Последняя цитата взята из (117). Эту историю мне рассказал также Б. И. Николаевский, сообщивший, что слышал ее от Крестинского.
98. См., напр., (166), т. 45, с. 145-146 и т. 54, с. 141, 524.
99. См. бухаринский рассказ об этих встречах в (422), с. 12-13. Дополнительные доказательства того, что Бухарин регулярно посещал Ленина в течение примерно года до его смерти, можно найти в (117). См. (436), с. 176; Бухарин Н. Ильич, (210), 24 сентября 1922 г.; (266), с. 42 и (166), т. 45, с. 682, 686, 693, 716. По сообщению советского историка Роя Медведева, Ленин в это время относился к Бухарину с „большой любовью“. См. (175), с. 153. См. также Роу М. N. Memoirs (Bombay, 1964), p. 498. Рой говорит, что Ленин рассматривал Бухарина как „своего духовного сына“. Бухарин вне всякого сомнения полагал, что Ленин считает его человеком, „наиболее способным понять его мысли. Он беседовал с Бухариным, чтобы тот писал вещи, о которых сам Ленин не высказывался“. (422), с. 13. С другой стороны, некоторые из последних работ Ленина поддерживают призыв Троцкого к расширению промышленного планирования.
100. О грузинском деле см. (409); (269) и (166), т. 45, с. 356-362 и т. 54, с. 329-330. О Троцком см. также (353), с. 91-93.
101. См. (269), с. 348, 351-356, 369. На съезде его шути называли „почетным грузином“. (114), с. 564.
102. (114), с. 561-565; (35), с. 33, 63.
103. Бухарин Н. Итоги XII съезда РКП(б), в (155), 1923, № 25. Более поздний пример см. (210), 2 февраля 1927 г.
104. Цит. М. Шахтманом в его предисловии к (256) (2-е изд. Нью-Йорк, 1962, с. XIV). См. также высказывание Бухарина о нормах внутрипартийной жизни в (119), с. 217-233 и его тезисы на с. 644-651.
105. См. (250), с. 147-148.
106. Версия Троцкого о зависимости Бухарина от него, однако, явно апокрифична. См. (253), II, с. 205-208. См. также (353), с. 82-83.
107. (117).
108. (274), с. 398-399, 455-456.
109. См., напр., (182), с. 67.
110. (353), с. 35-37 и Сталин, цит. в (133), с. 349.
111. Она известна как „платформа сорока шести“ и перепечатана в (335), с. 367-373.
112. (210), 3 января 1924 г.
113. См. (335), гл. III-IV; (353), с. 99-104.
114. В течение многих месяцев он пытался бороться с „психологической деморализацией“ и „пессимизмом“, произведенными нэпом; оппозиция же откликнулась на такие настроения и апеллировала к ним. См. (222), с. 112; (131), II, с. 263; (210), 25 марта 1923 г. и 30 июня 1923 г.

115. „Долой фракционность!”, (33), с. 10-11, 20, 31, 43.
 116. Там же, с. 7-43. Сначала она появилась в (210), 28-30 декабря 1923 г. и 1 и 4 января 1924 г.
 117. (126), с. 333; (33), с. 9; (57), с. 85.
 118. (34), с. 4-5; речь Бухарина в (168), с. 86-88; письмо Троцкого к Бухарину, 9 января 1926 г. (Т 2976) и (44), с. 294-295. Сталин, видимо, выступил против их требования.
 119. См. несколько превратную версию в (353), с. 257-258. Об этом речь пойдет в гл. 7.
 120. (86), с. 91.
 121. (19), с. 242-284. Наиболее известным примером является сталинская работа „Об основах ленинизма”, основанная на лекциях, прочитанных в Университете им. Свердлова в начале апреля 1924 г.
 122. Ср., напр., с. 271 там же со сталинскими (241), с. 115.
 123. (19), с. 274-275; (126), с. 287.
 124. (19), с. 275-276.

ГЛАВА 6

1. См., напр., (126) и (158), II, с. 163-172.
 2. (126), с. 285. „Закон” Преображенского впервые был изложен в его статье „Основной закон социалистического накопления”, ВКА, 1924, VIII, с. 47-116; а затем во второй главе его „Новой экономики” (211).
 3. (158), II, с. 116-126; (226), I, с. 249-275.
 4. (247), гл. XI.
 5. Политические установки Бухарина в середине 20-х гг. будут разбираться в гл. 7.
 6. Наиболее полно взгляды Бухарина были выражены в (67). Это было, однако, популярное изложение, не обладавшее теоретической глубиной других его произведений. Позднее он приступил к более полному теоретическому обоснованию своих положений, но так его и не завершил. См. (210), I, 3 и 7 июля 1926 г.
 7. (211), гл. 2. Наиболее полно идеи Преображенского разбираются в книге Эрлиха (366), которой я широко пользовался.
 8. (211), с. 93-94, 98-99, 138.
 9. Там же, с. 95-98. См. также (173), части VII-VIII.
 10. ВКА, 1924, VIII, с. 79; (211), с. 122-124.
 11. (211), с. 152-163, и гл. 1 и 3.
 12. Между ноябрем 1924 г. и январем 1925 г. Бухарин опубликовал три важнейших работы по экономической политике: „Хозяйственный рост и проблема рабоче-крестьянского блока”, (14), 1924, № 14, с. 25-26, перепечатано в его (42); „Новое откровение о советской экономике, или как можно погубить рабоче-крестьянский блок”, (210), 12 декабря 1924 г., перепечатано в (126); и „К критике экономической платформы оппозиции (уроки октября 1923 года)”, (14), 1925, № 1, также перепечатано в (42). Все они представляли собой нападки на Преображенского, хотя в первой статье он не был назван по имени.
 13. (57), с. 52.
 14. (219), с. 593; (42), с. 53; (25), с. 18; (126), с. 311-312.
 15. „Теория перманентной революции”, в (126), с. 347-348; (68), с. 8; (59), с. 7-8; (27).
 16. См., напр., (75), с. 26; (34), с. 47; (126), с. 298-299, 341-349; и (66), с. 18-19.
 17. См., напр., (126), с. 298; (66), с. 28; (159), 1925, № 4, с. 263, 267.
 18. (353), с. 234.
 19. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 19, с. 19-20; разбор вопросов см. в Tucker Robert C. Philosophy and Myth in Karl Marx (Cambridge, England, 1961).

20. (60), с. 183, 193; см. также (19), с. 69.
21. (216), с. 139, 144; (19), с. 215; (66), с. 92.
22. (126), с. 292, 297; слова Бухарина, цит. в (158), II, с. 558; и (211), с. 253-254.
23. (126), с. 351, 352; (29), с. 121, 131; (14), 1925, № 3-4, с. 6-8, 16, 17; (223), с. 305-306, 528.
24. (14), 1925, № 3-4, с. 17; (126), с. 351, 353; (20), с. 198-199.
25. (126), с. 287, 251; (14), 1925, № 3-4, с. 8.
26. (66), с. 13-14; (52), с. 60; (223), с. 312; „Международное положение и задачи Коминтерна“, (210), 26 марта 1925 г.
27. (126), с. 296; (34), с. 45; (392), 1928, VIII, с. 1270-1271; (66), с. 5-6.
28. (173), I, с. 713-714, 760; (29), с. 106; Н. Бухарин, „На тему дня“, (210), 27 мая 1928 г. См. также его замечания в „Правде“ от 7 июля 1926 г.
29. (210), 27 мая 1928 г.; (66), с. 12, 89; „Учительство и комсомол“, (210), 4 февраля 1925 г.
30. „Заметки экономиста“, (210), 30 сентября 1928 г. См. (126), с. 288-292; (420), с. 8-9.
31. (210), 30 сентября 1928 г.; (210), 4 февраля 1925 г.
32. (25), с. 23; (71), с. 8. См. также (75), с. 26.
33. (213), с. 47; (159), 1925, № 4, с. 268; (14), 1925, № 9-10, с. 6.
34. (126), с. 290-292, 315-317. см. также (42), с. 8-9.
35. (210), 30 сентября 1928 г.; (42), с. 6.
36. „Вестник труда“, 1925, № 12, с. 5-6; (392), 1927, VII, с. 423, 431; (210), 30 сентября 1928 г.
37. Хотя Бухарин косвенно называл эту проблему „принципиальной“. См. (42), с. 8.
38. (210), 30 сентября 1928 г.; (43), с. 184, 197; (392), 1927, VII, с. 199. Бухарин подробно обосновывает этот довод в (42), с. 3-13, 45-85.
39. (72), с. 17.
40. Здесь Бухарин, как и Преображенский, приветствовал иностранные кредиты, но сомневался, что поступит больше „капли в море“. См. его статью „О партийном руководстве рабселькорами“, в (210), 28 мая 1926 г. и (14), 1925, № 8, с. 4.
41. (57), с. 61-62. См. также (126), с. 280 и (210), 7 июля 1926 г.
42. (29), с. 66, 78 и в главе III. Составляющие книгу статьи первоначально появились в конце 1924 г. – начале 1925 г. Главной их мишенью была теория кризисов капитализма Розы Люксембург. О Туган-Барановском см. (449), с. 158-172.
43. „Коммунистический Интернационал“, 1928, № 31-32, с. 35. См. критический разбор бухаринского подхода к Туган-Барановскому в (366), с. 18-21.
44. (42), с. 5-6, 60. См. также (210), 7 июля 1926 г. и (210), 30 сентября 1928 г.
45. (66), с. 41; (42), с. 5.
46. (42), с. 52; (14), 1925, № 9-10, с. 3; (126), с. 303, 371; (66), с. 3, 41.
47. (42), с. 6; (168), с. 105; (14), 1925, № 8, с. 7; (72), с. 13.
48. (42), с. 51-54, 76.
49. (14), 1925, № 9-10, с. 3; (66), с. 31, 41-42; (168), с. 99.
50. (168), с. 98; (75), с. 16-18, 20.
51. См., напр., его (50).
52. (42), с. 4, 6, 12, 76; (72), с. 20-22; (14), 1925, № 9-10, с. 5, 14.
53. (14), 1925, № 9-10, с. 4-5.
54. (20), с. 147; (72), с. 35. Ему пришлось отказаться от этого лозунга еще в двух случаях в 1925 г. См. (188), с. 47; и „Заявление тов. Бухарина“ в (210), 13 декабря 1925 г.
55. (72), с. 13, 16; (66), с. 45.

56. (14), 1925, № 9-10, с. 4; (72), с. 13; (42), с. 9-10. См. также (366), с. 13-14.
57. (42), с. 54, 66.
58. Там же, с. 63-71, 77-85; (126), с. 299-305; (66), с. 44-45; (57), с. 57.
59. (126), с. 308-309; (42), с. 77.
60. (57), с. 57-58; см. также (126), с. 306-310.
61. (126), с. 307; (392), 1927, VII, с. 199; (43), с. 191; (210), 12 июня 1929 г.
62. См., напр., (126), с. 305; (42), с. 77-84; (25), с. 32-33 и (57), с. 62-64.
63. (231), с. 255.
64. Преображенский, цит. в (353), с. 415.
65. (168), с. 103.
66. См., напр., там же, с. 102 и (72), с. 5.
67. (168), с. 91.
68. См., напр. (392), 1925, V, с. 987, 1025; (72), с. 15 и (126), с. 371.
69. (72), с. 16.
70. (66), с. 54, 66; (14), 1925, № 8, с. 8-9, 14.
71. См. слова Бухарина в (42), с. 57 и (333), II, гл. XX и (336), I, гл. X.
72. (14), 1924, № 2, с. 4-5; (42), с. 60-62; (66), с. 30; (126), с. 337-338; (223), с. 372-374.
73. (14), 1924, № 2, с. 5 и 1925, № 8, с. 9; (324), с. 24; (42), с. 3; (223), с. 374; (57), с. 47; (210), 3 июля 1926 г.
74. (126), с. 310; (210), 7 июля 1926 г.
75. (72), с. 4, 17-18. Также см. (210), 24 октября 1924 г.
76. (14), 1925, № 8, с. 14; (19), с. 205.
77. (14), 1925, № 8, с. 3-4; (72), с. 12-13.
78. (33), с. 20; (126), с. 287; (75), с. 27.
79. (274), с. 135. В другом месте Бухарин доказывал, что мысль о построении социализма „медленными, черепашими шагами” можно найти в последних ленинских статьях 1923 г. (34), с. 22. См. другое толкование использования им этой метафоры в (366), с. 78-79.
80. (57), с. 64; (66), с. 42, 45.
81. См. слова Бухарина в (19), с. 128 и (250), с. 316.
82. Примеры принадлежат Бухарину. См. (210), 28 мая 1926 г.; (72), с. 39-40; (273), с. 189 и (222), с. 113-114.
83. (59), с. 10.
84. (250), с. 526. См. также его „Enchmeniadа” в (19), с. 128-170.
85. Г о т s k y Л е о п. The Revolution Betrayed (New York, 1945), p. 29.
86. (14), 1925, № 8, с. 8.
87. (25), с. 21; (210), 7 июля 1926 г. См. также (217), II, с. 116 и (42), с. 47.
88. См., напр., (223), с. 364; (25), с. 10-11, 34 и (34), с. 31.
89. Устрялов, цит. в (20), с. 148. На самом деле Бухарин имел в виду левых большевиков. См. (392), 1927, VII, с. 1603.
90. Цит. в F a g b m a n, Bolshevism in Retreat, p. 304.
91. (222), с. 113-114.
92. Зиновьев в (274), с. 101, 103; и Бухарин в (168), с. 110.
93. (75), с. 34; (14), 1924, № 2, с. 8.
94. (78), с. 137.
95. См. Зиновьев и Каменев, цит. в (92), 1967, № 8, с. 78 и изложение Бухариным их взглядов в (274), с. 135-136.
96. См., напр., замечания Бухарина в (25), с. 36.
97. См. (85), с. 52-53, 60 и (355), с. 299. Формальное авторство доктрины участникам дискуссии было не всегда ясно, и оппозиционеры иногда приписывали его Сталину, иногда — Бухарину, а иногда им обоим. См., напр., слова оппозиционеров, цит. в (336), II, с. 43, сн. 3 и (348), II, с. 13.
98. (72), с. 4-6, 9-12.

99. Как тщательно документировал Троцкий. См. его (251), т. 2, часть вторая, с. 442 и (454), с. 37-39.
100. (72), с. 9.
101. (274), с. 135-136. См. другие его важные заявления по поводу „социализма в одной стране” в 1925-1926 гг. в (72), с. 4-6, 9-12; (66), с. 100-106; (34), с. 16-24; (20), с. 188-198 и (217), II, с. 110-117.
102. (34), с. 22; (20), с. 189-191, 197; (217), II, с. 111.
103. (223), с. 378; (34), с. 24.
104. (72), с. 5-6.
105. (25), с. 15-16, 46; (392), 1927, VII, с. 1423; (72), с. 5-6. См. также (66), с. 39, 82, 103-104.
106. См. (167), т. XXVII, с. 405; (336), I, гл. 111.
107. О проблемах, связанных с расслоением крестьян и его значением для политической жизни, см. (410), гл. II-III; (336), I, гл. III, V и L e w i n M. Who Was the Soviet Kulak?, *Soviet Studies* (October 1966). См. мнение о том, что старый кулак сошел со сцены, у В. Богушевского, „О деревенском кулаке, или о роли традиции в терминологии”, (14), 1925, № 9-10, с. 63-64. Цифру в 14% привел Каменев. См. (209), выпуск 2, с. 160.
108. См., напр., Майзлин (В. Смирнов) в (14), 1926, № 18, с. 108-111 и (427), с. 25-34.
109. См., напр., (131), II, с. 254-255; (52), с. 61-62, 66 и (57), с. 48-50.
110. (34), с. 53.
111. Как отметил Бухарин в (59), с. 22. Замечания Ленина см. в (167), т. XXIII, с. 207-208.
112. См., напр., (274), с. 151.
113. См., напр., (14), 1925, № 9-10, с. 5; (273), с. 182-183; (210), 13 декабря 1925 г.; (168), с. 107 и (75), с. 3, 23.
114. (66), с. 13; (14), 1925, № 9-10, с. 4 и Бухарин, цит. в (372), с. 543-544. См. доводы, которые он не развил до конца, в (72), с. 25-26.
115. (14), 1925, № 8, с. 13-14; (66), с. 49-50.
116. (42), с. 11; (75), с. 20-21; (34), с. 48-49; (25), с. 29-30; (167), с. 111.
117. (66), с. 27.
118. Там же, с. 47; (72), с. 24. Обвинения оппозиции см. в (168), с. 111 и в (34), с. 47.
119. См., напр., (52), с. 61; (66), с. 47-48; (75), с. 3, 25-26; (274), с. 148-149 и (34), с. 47-48.
120. (34), с. 43-45; (168), с. 112; (25), с. 18-23; (57), с. 42, 60; (210), 6-7 ноября 1927 г.
121. (66), с. 99; (210), 6-7 ноября 1927 г.
122. (66), с. 70, 99.
123. (19), с. 279; (126), с. 290, 312; (210), 7 июля 1926 г. См. также (42), с. 4, 46-51, где Бухарин доказывает, что эта теория была намечена Лениным.
124. (25), с. 14-15. См. позднейшую нападку на теорию двух классов у А. Сольца, „О теории двухклассового общества и рабоче-крестьянском союзе”, (210), 28 ноября 1929 г.
125. См. (188), с. 144-193.
126. См. (75), с. 28-32; (34), с. 32-42.
127. (20), с. 129.
128. (336), I, с. 216-222 и слова Бухарина в (273), с. 181-189.
129. (210), 28 августа 1929 г.
130. (223), с. 319; (66), с. 47.
131. (210), 6 марта 1925 г.
132. (174), с. 222. Повторные высказывания см. в (14), 1925, № 9-10, с. 12; (273), с. 188 и (72), с. 29.
133. (174), с. 220-221. Также см. (126), с. 294 и (14), 1925, № 9-10, с. 13.

134. (75), с. 33. См. его замечания о ленинском кооперативном „плане” также в (126), с. 287, 293, 371; в (14), 1925, № 9-10, с. 9.
135. (72), с. 36; (210), 19 июня 1925 г. Полное изложение взглядов Бухарина на кооперативы см. в (66), гл. VI-IX.
136. (14), 1925, № 9-10, с. 12; (75), с. 27. См. также (66), с. 31-33.
137. (392), 1925, V, с. 1025; (25), с. 23; (66), с. 58; (75), с. 27.
138. (273), с. 187; (66), с. 58.
139. (126), с. 294, 299; и Веременичев, „О кооперативном плане тов. Бухарина”, (210), 12 октября 1929 г.
140. См., напр., (126), с. 293-296; (14), 1925, № 9-10, с. 8-13; (273), с. 182-187; (72), с. 30-35 и (66), с. 34-38.
141. Цит. в (232), с. 265.
142. (210), 1 июля 1926 г.; (392), 1928, VIII, с. 986; (72), с. 34-35; (14), 1925, № 9-10, с. 8; (273), с. 182-183.
143. (72), с. 23; (66), с. 57; (25), с. 22-23; (20), с. 124.
144. (392), 1925, V, с. 998. См. также (210), 6 марта 1925 г.
145. (66), с. 49. Ранние заявления Бухарина см. в (273), с. 187 и в (72), с. 35.
146. (42), с. 47.
147. (210), 7 июля 1926 г.; (42), с. 46-51.
148. См. (42), с. 48-49; (14), 1924, № 2, с. 5-6 и 1925, № 8, с. 9, 14; (159), 1925, № 4, с. 266-268; (273), с. 186-188 и (66).
149. (25), с. 11-12; (42), с. 48; (66), с. 54.
150. (159), 1925, № 4, с. 266; (273), с. 187 и Бухарин, цит. в (336), I, с. 261.
151. Цит. в (171), с. 68.
152. (66), с. 64-65; (392), 1925, V, с. 1025.
153. (57), с. 49-51; (392), 1925, V, с. 990.
154. (14), 1925, № 8, с. 9; (126), с. 308-309.
155. (32), с. 83-84; (66), с. 64.
156. (25), с. 8. О его теме гражданского мира см. также (42), с. 47-48 и (66), с. 51-52.
157. (210), 28 мая 1926 г.
158. (159), 1925, № 4, с. 267; (66), с. 18, 70-71; (223), с. 371.
159. (72), с. 38; (430), с. 77, 96.
160. См., напр., его (52) и (327), 1927, VII, с. 1528.
161. (42), с. 48; (66), с. 68; (392), с. 921.
162. (203), 1925, № 3, с. 8; (392), 1925, V, с. 923; (230), с. 21. В последнем пункте он, видимо, был прав. См. (369), с. 117.
163. (66), с. 53-54; (52), с. 65-66.
164. (42), с. 12.
165. (210), 24 октября 1924 г. и 4 февраля 1925 г.; (66), с. 79; (274), с. 824.
166. (42), с. 12.
167. (66), с. 80-81; (52), с. 69. Он постоянно возвращался к вопросу о необходимости убеждения. См. его характеристику „военного коммунизма” в партии в (66), с. 78.
168. (210), 4 февраля 1925 г. См. также (274), с. 820-821.
169. (57), с. 71-72.
170. (66), с. 78; (42), с. 13; (223), с. 370.
171. (57), с. 75. О кампании „оживления” см. (336), II, гл. XXII.
172. (336), II, гл. XIV; (311), гл. III и о резолюции – с. 235-240. Формулировки и доводы резолюции очень походили на бухаринские во время обсуждения. См. (144), с. 35-39 и (159), 1925, № 4, с. 263-272.
173. См., напр., его „Первая ласточка”, (210), 12 января 1923 г.; „Рычи, Китай!” в театре Мейерхольда”, (210), 2 февраля 1926 г. и его замечания в (144), с. 36 и в (159), 1925, № 4, с. 263-265. Он был менее терпим во время гражданской войны, когда выступал за пролетарскую культуру. См., напр., его нападки на „белогвардейские” влияния в „ста-

ром театре" в (210), 16 октября 1919 г. Однако к 20-м гг. он уже цитировал поговорку: *De gustibus non est disputandum* [О вкусах не спорят.]. См. его предисловие к весьма пролетарскому роману Ильи Эренбурга „Необычайные похождения Хулио Хуренито", М.-Л., 1927, с. 5. Как мы увидим, он также защищал опальных писателей и поэтов, таких, как Осип Мандельштам и Борис Пастернак.

174. (144), с. 36-38; (159), 1925, № 4, с. 271-272.

175. (159), 1925, № 4, с. 263, 269, 272; (144), с. 36-38.

176. (168), с. 101-102; (274), с. 824; Бухарин, цит. в (85), с. 23; (66), с. 79.

177. Бухарин регулярно протестовал против произвола советских властей. См., напр., (66), с. 78-81; (42), с. 12-13; (274), с. 151; и выше, прим. 165.

178. (231), с. 256-257; (159), 1925, № 4, с. 270. См. также (210), 4 февраля 1925 г.

179. (274), с. 824.

180. См., напр., (131), II, с. 256-257, с. 8-9, 12, 16-25, 34-40, 68, 75-77 и (210), 29 мая 1926 г.

181. Или, как он выразился, „рост того, что я здесь условно называю советской общечеловечностью". (131), II, с. 256-259. См. также (14), 1924, № 7-8, с. 22-24.

182. (52), с. 74-77. См. также, напр., (72), с. 38; (210), 19 июня 1925 г. и (181), 1926, № 2, с. 89.

183. См. его (52), особенно с. 8-9, 18-25, 34-40, 51-57, 61-63; (210), 28 мая 1926 г. и 29 мая 1926 г. О рабселькорах см. (336), I, с. 195-198.

184. Об этом обвинении см. (127), с. 81-85, 108-110 и „Против оппортунизма в рабселькорском движении", (210), 11 декабря 1929 г. См. ответ Бухарина в (59), с. 25 и его гневное выступление против бюрократизации в (210), 2 декабря 1928 г.

185. См., напр., (52), с. 15-16, 56.

186. (72), с. 37.

187. Выражение принадлежит Демьяну Бедному, цит. в (336), с. 79.

188. (126), с. 294, 296, 317.

189. См. слова Бухарина в (14), 1925, № 9-10, с. 5 и (274), с. 824.

190. (211), с. 333.

191. Термин принадлежит И. Смилге. См. ВКА, 1926, XVII, с. 199.

192. Это изложение критики левых основано на (336), с. 30-59.

193. (25), с. 3; (75), с. 17; (42), с. 7. О промышленных показателях см. Попов (208), Вып. 2, с. 170.

194. (231), с. 255; (168), с. 114. В декабре 1925 г. он отмечал, что промышленность производит „недостаточное количество товаров", однако не отнесся к этой проблеме серьезно. (75), с. 19.

195. (366), с. 38. О Бухарине см. (223), с. 369-370 и (14), 1925, № 9-10, с. 4.

196. Во время дебатов большевики помнили об аграрных реформах, проведенных в царское время Столыпиным, который назвал их „ставкой не на пьяниц и слабых, а на трезвых и сильных — на крепких единоличных собственников". Цит. в *Chaque s Richa rd. The Twilight of Imperial Russia* (London, 1965), p. 177-178. Поэтому Бухарин постоянно отрицал свою „ставку на кулака".

197. Это — главная тема (410).

198. См. разбор Левина в (445) за октябрь 1965 г., с. 163-164 и (366), с. 34-36. Среди исследователей идут споры о количестве зерновых излишков, поступавших на рынок в 20-е гг. Некоторые склонны отстаивать официальные цифры, использовавшиеся Сталиным, согласно которым в 1926-1927 гг. товарное зерно составляло 13,3% урожая, по сравнению с 26% в 1913 г. Другие доказывают, что эти цифры неточны и что разница между 1913 и 1926-1927 гг. была куда менее значительна. См. *Karcsz Jerzy F. Thoughts on the Grain Problem, Soviet Studies* (April 1967),

р. 399-434; Davies R. W. A Note on Grain Statistics, *Soviet Studies* (January 1970), p. 314-329. Даже если принять более оптимистические цифры, проблема все равно оставалась весьма серьезной.

199. (336), I, с. 290-297.

200. См. разбор Левина в (445) за октябрь 1965 г., с. 162-197.

201. (72), с. 11.

202. (57), с. 58.

203. См. (366), гл. IV.

ГЛАВА 7

1. О конце триумvirата см. в (347), с. 253-257 и (336), II, гл. XIII. Данные о постепенном складывании союза между Сталиным и Бухариным см. в (274), с. 136, 397-398, 459-460, 502 и в (336), II, с. 43-45. Ведущее положение Сталина и Бухарина в 1925-1927 гг. подчеркивалось разными приемами как окольно, так и официально. См., напр., на каких местах они помещены на официальной фотографии ЦК в декабре 1927 г. („Огонек” от 1 января 1928 г.)

2. (34), с. 4.

3. Термин „группировка” принадлежит Бухарину, там же. См. также замечание Лашевича о том, что Политбюро на самом деле не представляет собой коллектива вождей, а есть набор „комбинаций”, (274), с. 181.

4. О растущей организационной власти Сталина см. (336), II, с. 196-214 и (347), с. 165-171, 193-198. В 20-е гг. термин „княжество” всегда использовался с критическим оттенком в этой связи. См., напр., (25), с. 53 и (277), с. 749.

5. (412), с. 476. В 1929 г. Бухарин назовет это „секретарским режимом”. Цит. в (105), с. 196.

6. (436), с. 211; (274), с. 524; (132), с. 155-200.

7. См. (274), с. 149; (210), 13 декабря 1925 г., (75), с. 3-4. См. также (172), с. 278; (336), I, с. 269 и (85).

8. В этом заключалась суть жалоб Зиновьева на XIV партсъезде. См. (274), особенно с. 101-109.

9. (223), с. 528-544. Первоначально они появились за подписью Бухарина в (210), 1 апреля 1925 г. и содержали практически все его теоретические нововведения относительно построения социализма в крестьянской стране. Позднее они сделались предметом дискуссии, когда сталинцы пытались отрицать, что бухаринизм когда-то был официальной политикой. См., напр., Ярославский Е. Об одной фальшивой ссылке, (210), 17 ноября 1929 г. Позднейшие взгляды Бухарина на мировую революцию и коминтерновскую политику разбираются в главе VIII.

10. Роберт Дэниеле писал о союзе Сталина с бухаринцами: „В вопросах политики и доктрины он руководствовался их линией, а в вопросах организационных поддержкой им служила его власть.” См. „Stalin's Rise to Dictatorship, 1922-1929,” *Politics in the Soviet Union: Seven Cases*, edited by Alexander Dallin and Alan F. Westin (New York, 1966), p. 27.

11. См., напр., (274), с. 494, 503-504.

12. Этот вопрос разбирается в (367), с. 81-99 и в (85), с. 81-85. Иную точку зрения см. в Schlessinger Rudolf. A Note on the Context of Early Soviet Planning, *Soviet Studies* (July 1964), p. 22-44.

13. (274), с. 254, 494. Смотри сходные оппозиционные воззрения в заявлениях Смилги и Радека, в ВКА, 1926. XVII, с. 199, 247 и Каменева в (274), с. 255-256, 269-270.

14. (14), 1924, №1, с. 3.

15. См. (366), II, с. 55 и „Вестник Ленинградского университета (История-язык-литература)”, 1971, №2, с. 26.

16. „Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма”, ч. 1, М., 1961, с. 76; (160), 1926, № 4, с. 7. См. также

„Вестник Ленинградского университета (История-язык-литература)”, 1968, № 2, с. 26.

17. (274), с. 254. См. также жалобу Зиновьева там же, с. 113-117.

18. (154), с. 261-262; „Власть Советов за десять лет. 1917-1927”, Л., 1927, с. XXXVII.

19. В числе прочих А. Слепков, В. Астров, А. Айхенвальд и Е. Гольденберг, видные молодые бухаринцы-партийцы, после 1925 г. иногда работали в аппарате Коминтерна. Бухарин, напр., устроил в Политический Секретариат Коминтерна Слепкова, рекомендовав его как „превосходного организатора”. (390), с. 285. Два менее известных бухаринца, Грольман и Идельсон, по всей видимости, руководили советской партией в Исполнительном комитете. См. (210), 22 ноября 1929 г. и 16 декабря 1929 г. Особенно близок к Бухарину был швейцарский делегат и ведущий деятель коминтерновского аппарата Эмбер-Дро. О нем и о других коминтерновцах речь пойдет в главе 9.

20. См. слова Покровского в ВКА, 1925, XI, с. 320 и Вольфсона в „Литературной энциклопедии”, I, М., 1929, с. 634. См. также (363), с. 353-354 и „Нью-Йорк таймс”, 4 ноября 1926 г., с. 12.

21. См. нападки Бухарина на Зиновьева в (274), с. 136-151; по поводу его ленинградских речей см. (168) и (25). Преображенский отзывался о Бухарине как о своем „наиболее ученом” и „главном оппоненте”. (211), с. 13, 324.

22. Нападки начались в Ленинграде в начале 1925 г. и достигли наибольшего накала на съезде в декабре. См. (188), с. 11, 64-65, 176 и (274). См. также слова Сафарова, цит. в (265), с. 225 и (211), с. 308.

23. (274), с. 109, 165, 254, 274.

24. См., напр., Троцкого в (82), № 12-13, 1929, с. 18 и Смилга И. Платформа правого круга ВКП(б), (Т 2825), с. 3. О нападках сталинистов см. (210), 18 сентября 1929 г. и 20 октября 1929 г.

25. ПЗМ, 1922, № 3, с. 85. Как указывал Бухарин, на самом деле они начали формировать в 1919-1920 гг. (244), с. 344.

26. „Меморандум Бухарина-Каменева” (Т 1897) и (244), с. 346. О комсомольской карьере Цетлина см. его воспоминания в „Юношеское движение в России” под ред. А. Кирова и В. Далина, 2-е изд., М.—Л., 1925, с. 235-236 и „ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций. 1918-1928”, М.—Л., 1929, с. 7.

27. Сначала Зиновьев, а потом и Сталин, напр., пытались привлечь в свои собственные секретариаты наиболее способных молодых бухаринцев. См. (210), 24 июля 1927 г.; (14), 1927, № 11-12, с. 38-39 и (4), с. 318. О Сталине см. „Голоса советской оппозиции”, под ред. Джоджа Саундерса (Нью-Йорк, 1974), с. 149. /англ. яз./

28. (304), с. 24. См., напр., (172).

29. (131), 11, с. 259.

30. (128), с. 101. См. также выше, гл. 5, прим. 92.

31. Об этом институте см. (400) и А. Алымов „Десять лет ИКП”, ВКА, 1931, № 12, с. 13-18; (139), 1958, № 6, с. 73-90; (304), гл. 1, III-V, X и Гукковский А. И. „Как я стал историком”, „История СССР”, 1965, № 6, с. 76-99.

32. См., напр., (177), с. 914; (436), с. 163 и (376), с. 142 и воспоминания, цит. на всем протяжении книги (414). О замечании Троцкого см. *Writings of Leon Trotsky (1937-38)* (New York, 1970), т. 166.

33. (167), т. XXVI, с. 121. См., напр., (119), с. 293 и (274), с. 223, 461.

34. (167), т. XII, /с. 25 по амер. изд./

35. (177), с. 914.

36. Рейхенбах Бернард, Москва 1921 в (448), № 53 (1964), с. 17. /англ. яз./ и Mc Carthy Margaret, *Generation in Revolt*, (London, 1953), с. 112. О (210) см. воспоминания в (264), с. 186.

37. См. посвящение Бухарину в (66).

38. См. ниже, Эпилог, прим. 2.
39. (240), 18 июля 1927, с.14. О Петровском см. ниже, гл. 10, прим. 86. О Стецком см. „Герои Октября”, II, Л., 1965, с. 444-445 и (282), с. 466. Астров позднее написал два романа, в которых в достаточно прозрачной форме повествуется и о нем самом, и о молодых бухаринцах. См. его (5) и (4).
40. См. „Руль”, 7 ноября 1929 г., с. 3 и (210), 18 ноября 1929 г. О Гольденберге см. (210), 21 июля 1929 г.
41. См. Слепков А. Классовые противоречия в 1-ой Думе, М., 1923 и Астров В. Экономисты – предтечи меньшевиков. Экономизм и рабочее движение в России на пороге XX века, М., 1923. См. также исследование Д. Марецкого об австрийском маргинализме в (257), с. 247-275. Астров и Слепков продолжали печататься как историки в 20-е гг. Айхенвальд и Гольденберг регулярно публиковались в экономических журналах. Главнейшей работой первого была работа „Советская экономика”.
42. Зиновьев сетовал на то, что молодые бухаринцы „наполняют наши центральные органы своими статьями”. (274), с. 117. Библиография их работ заняла бы много страниц. Достаточно будет сказать, что в 1925-1927 гг. редкий номер „Правды” или „Большевика” не содержал статей по меньшей мере одного из них. См., напр., следующие сборники: (188), (292) и „Партия против оппозиции”, сб. статей и документов под ред. Л. Робинского и А. Слепкова, М.–Л., 1927. В качестве примера их монографий. выдержанных в бухаринском духе, см. Слепков А. О пропаганде ленинизма и рабочей партийной школе, М., 1925 и „Пролетариат и крестьянство в революции”, 2-е изд., Харьков, 1925; Марецкий Д. Так называемый „гермидор”, М., 1927 и Зайцев А. (129). См. примеры их публичных выступлений в ВКА, 1925, XI, с. 322-327, 332-334 и 1926, XVII, с. 236-241, 247, 249-254, 261-265.
43. См., напр., Зайцев в ПЗМ, 1924, № 6-7, с. 280-291; Марецкий Д. в (14), 1925, № 5-6, с. 106-110 и (172).
44. (210), 18 сентября 1929 г. и 20 октября 1929 г.
45. Ярославский в (210), 24 июля 1927 г., См. опровержения Бухарина в (75), с. 3 и (274), с. 823.
46. (83), с. 143.
47. См. (274), с. 504; (92), 1967, № 6, с. 58 и (101), II, с. 358.
48. Дубровин В. Повесть о пламенном публицисте (С. М. Киров и печать), Л., 1969, с. 201, 204 и (4), с. 392-393, 399, 419, 473.
49. См. выше, прим. 19. Слепков играл видную роль в корреспондентском движении, см. (210), 25 мая 1926 г.
50. См., напр., (210), 13 ноября 1929 г. и 18 ноября 1929 г.; (1), с. 252-253 и (83), гл. IV-V. (2) – учебник бухаринского направления, опубликованный в 1927 г., к 1929 г. выдержал пять изданий общим тиражом 100 тыс. экземпляров на русском и украинском языках. См. (14), 1929, № 18, с. 131-136 и (240), 8 марта 1929 г., с. 13.
51. (210), 21 июля 1929 г.
52. (274), с. 1003; (198), II, с. 316-321; (219), с. 838 и (220), II, с. 1534.
53. ВКА, 1925, XI, с. 326.
54. (14), 1925, № 9-10, с. 59-64.
55. См. слова Бухарина в (168), с. 89; обсуждение в (274), с. 187, 204, 408, 417 и (14), 1930, № 7-8, с. 104-105. Несмотря на скандал, Богушевский сделал исключительную карьеру, став ведущей фигурой среди сталинских индустриализаторов и редактором и автором официальной истории первой пятилетки. См. (13), с. 461-537. Неясно, кто именно ему протезировал, но, скорее всего, это был В. Куйбышев. См. (164), с. 313.
56. (274), с. 335; См. также М и к о я н А. Из воспоминаний о Ленине, „Юность”, 1970, № 4, с. 46. Роберт Такер убедительно доказывает, что Ленина лучше всего рассматривать как своего рода „харизматического вождя”, (458).

57. „Товарищ” в „Владимир Ильич Ленин.” Сборник, Иваново-Вознесенск, 1924, с. 15; (210), 27 февраля 1929 г., с. 3. Хотя Бухарин не называл Сталина по имени, он, как и Сокольников в приведенной выше цитате, указывал на контраст между авторитетом Ленина и генсека.

58. (274), с. 173, 179 и (75), с. 40.

59. Выражение принадлежит Зиновьеву, (274), с. 460.

60. См., напр., (240), 14 ноября 1928, с. 14.

61. Меморандум Бухарина-Каменева (Т 1897). Из тактических соображений в 1925 г. Сталин доказывал совсем иное, см. (274), с. 506.

62. Термин „авторитетнейший деятель” или „авторитетный представитель партии” регулярно использовался в 20-е гг. См., напр., (177), с. 913 и ВКА, 1926, XVII, с. 247.

63. Меморандум Бухарина-Каменева (Т 1897). См. также (355), с. 290.

64. (253), т. 2, с. 265.

65. Никому, напр., не пришло бы в голову испрашивать сталинского мнения во время литературной дискуссии в 1924-1925 гг. О внешнеполитической области см. (451), с. 169.

66. (466), с. 102.

67. (403), с. 10-11. См. также (166), т. 45, с. 346 и т. 54, с. 329-330.

68. Об М. И. Ульяновой см. (264). По всей видимости, они с Бухариным подружились в Москве еще до 1910 г. О том, что они были близки в 1918 г., указывается в (263), с. 86. В 1929 г. Сталин изгнал ее из „Правды” так же, как и Бухарина, см. (264), с. 259. Об этом вопросе см. также „Дневники Троцкого в ссылке: 1935” (Нью-Йорк, 1963), с. 33 (англ. яз).

69. (274), с. 158-166, 299.

70. (341), 1926, № 4, с. (14).

71. Р а з у м о в с к и й И. П. Курс теории исторического материализма, 2-е изд., М.-Л., 1927, с. 511-512.

72. (379), с. 92, 95, 114.

73. (242), с. 48.

74. См. официальную биографию Рыкова в (126), II, с. 223-230; (87) и (267), с. 34-39. О Томском см. (126), III, с. 146-150 и (149).

75. Устное сообщение Б. Николаевского — дальнего родственника Рыкова. См. об этом периоде (228).

76. (87), с. 22-23.

77. Цит. в (85), с. 21. Рыков является центральной фигурой в воспоминаниях Валентинова (Вольского) — (86) и в книге Резвика — (430). О его антипатии к Троцкому см. его предисловие к (126), с. 3-8.

78. О его взглядах см. (249), с. 6-20; Рыков в А. И. Деревня, новая экономическая политика и кооперация, М.-Л., 1925; (273), с. 143-144 и (274), с. 408-417.

79. (439), с. 90. См. о том же (219), с. 669 и (427), с. 65.

80. Томский в (392), 1930, X, с. 687 и (105), с. 209-210. О профсоюзах и руководстве Томского в 20-е гг. см. (440) и (354) и (101), 11, с. 201-202.

81. (333), II, с. 190-191, 221-223; (149), с. 81-84.

82. (105), с. 202.

83. См. (354), с. 76-79 и замечания Козелева в „Вестнике труда”, 1925, № 11, с. 35. Взгляды Томского разбираются в гл. IX.

84. Н и к о л а е в с к и й Б. Сорок лет тому назад, (240), февраль-март 1961, с. 27 и его „Революция в Китае, Япония и Сталин”, (189), VI, 1943, с. 241-244.

85. См. (336), III, гл. XXXVI; Томский М. Статьи и речи, I, М., 1928; Ф р е й д л и н Б. Союзы СССР в борьбе за единство профессионального движения, М., 1925 и L a n g s a m D a v i d E. Pressure Group Politics in NEP Russia: The Case of the Trade Unions (Princeton University, 1973), (неопубликованная докторская диссертация), гл. IV.

86. (274), с. 277-279; (219), с. 294. Официальный профсоюзный журнал „Вестник труда” также вдруг стал отводить Бухарину особое место. См. рецензию на его книгу в 1925, № 11, с. 216-218 и его статью в 1925, № 12, с. 5-8.

87. Резвик в (430) предполагает, что они составляли группу еще в 1924-1925 гг.

88. (274), с. 289, 418. Их высказывания имели особое значение, поскольку Каменев предостерег съезд, что выход Сталина на первые роли отражает „теорию вождя”, что это „создает вождя”, там же, с. 274-275. О тех, кто выдвигал Сталина, см. выступления Ворошилова и Куйбышева, там же. с. 397, 628.

89. (430), с. 116-120, 150. В одном из писем 1921 г. Сталин насмехается над „обывательским „реализмом” ... Рыкова... по уши погрязшего в рутине”. (243), V, с. 51.

90. (243), XI, с. 220; (105), с. 209-210.

91. (336), III, с. 500, 585-588, 592-593; (240), 16 января 1925 г., с. 8-10, 15.

92. (240), 15 января 1927 г., с. 15 и 8 июля 1927 г., с. 14.

93. См., напр., (230), с. 19-23 и (210), 2 декабря 1928 г.

94. Разумеется, все стороны утверждали, что являются настоящими „левыми”, а от ярлыка „правых” бежали, как черт от ладана. В контексте большевизма термины „левый”, „правый” и „центр” не обладают своим обычным значением и употребляются здесь лишь как указания на относительное расположение той или иной группы в политическом спектре левой большевистской партии. О том, как Сталин пытался привлечь на свою сторону центр, см. в (355), с. 295-297. Пятаков, цит. в (86), с. 164.

95. Цит. в меморандуме Бухарина-Каменева (Т 1897).

96. Колларц, Вальтер. Россия и ее колонии (Нью-Йорк, 1955), с. 9-10, 18. /англ. яз./ С другой стороны, некоторые беспокоились, что победа правых породит „надгосударственный русский шовинизм”, (304), с. 71. Согласно частному сообщению Б. Николаевского автору, Бухарин, Рыков и Томский имели прозвище „Ивановичи” – намек на их русское происхождение, несмотря на то, что отчество Томского было Павлович.

97. Валентинов в (189), 1964, № 75, с. 174; (404); (430), с. 84-96.

98. (404), с. 49.

99. См. ниже, гл. IX, прим. 3.

100. О меньшевиках см. (86) и (395). Оба автора разбирают также и эсеров, которых привлекала аграрная политика Бухарина, тогда как меньшевикам были по душе его взгляды на планирование. О Рыкове см. также (411), с. 64-68.

101. (121), II, с. 349; см. также с. 83-84. Его руководству Советом посвящается значительная часть воспоминаний Валентинова (86).

102. См. воспоминания Валентинова (Вольского) в (189), 1963, № 74, с. 197, 202 и 1964, № 75, с. 170-171 и (268), с. 48-49.

103. См. его автобиографию в (126), III, с. 165-176 и его биографию в „Известиях”, 30 ноября 1928 г., а также слова Ворошилова в (274), с. 394.

104. О московском руководстве см. (210), 15 декабря 1925 г. и (101), II, с. 196-198. В 1928 г. оно было несколько иным. Рютин, Пеньков, Куликов и Яковлев были секретарями райкомов, Мороз – секретарем Московской контрольной комиссии, а Мандельштам заведовал в МК агитпропом. Все были членами узкого Бюро, возглавлявшегося Углановым и Котовым. Их роль разбирается и в главе 9.

105. (132), с. 36, 75; (336), I, с. 154 и (11), с. 52-59.

106. (199), с. 395, 429-430, 439; (336), I, с. 344-345, 376.

107. (283), II, М., 1933, с. 296.

108. (126), II, с. 165-176.

109. (105), с. 209.

110. (193), с. 837; (210), 15 декабря 1925 г.; (126), II, с. 27-32; (336), II, с. 56-57.

111. (213), 1922, № 10, с. 320. О том, что было названо именем Бухарина, см., напр., (101), II, с. 116, 278, 308, 488 и III, с. 611. О Московском Совете см. (210), 13 мая 1923 г. и 17 марта 1929 г.

112. Подсчет основан на речах, собранных в (243); см. также т. IX, с. 159.

113. (75), с. 15-40.

114. Эти документы опубликованы в (188), с. 36-40, 44-50. Они вторили Бухарину и во многих других отношениях. По всей видимости, молодые бухаринцы были особенно активны в отделах пропаганды Московской парторганизации, либо через посредство „Правды” и „Большевика”, либо Института красной профессуры, работавшего в тесной связи с московскими партияцами. Об этой последней связи см. Зейдаль В. и Поспелов П. ИКП и борьба за генеральную линию партии, (210), 1 декабря 1931 г. и (4), с. 77, 194, 220. На связь Бухарина с москвичами указывает также Рудольф Шлезингер в (445) за апрель 1960, с. 406.

115. выступление Угланова в (274), с. 193. Помимо него самого, Котов, Куликов, Михайлов и К. В. Уханов были членами ЦК, избранного в декабре 1927 г. К декабрю 1927 г. Рютин и еще один москвич, В. И. Полонский, тоже входили в состав ЦК.

116. Угланов в (219), с. 633. См. также рютинскую похвалу в адрес Бухарина в (274), с. 154-156.

117. (181), 1926, № 2, с. 86; (392), 1927, VII, с. 200; „Ленинизм и проблема культурной революции”, (210), 27 января 1928 г.

118. (250), с. 526.

119. См., напр., ВКА, 1925, XI, с. 292. Отвергая такие тенденции, он писал в 1927 г.: „Дискуссии можно и должно вести, но не этими методами, которые и по существу мало соответствуют действительности и явно вредоносны политически. Это — мое личное мнение”. Цит. в (210), 24 августа 1930 г.

120. О его постоянной роли „заступника” см. ниже, глава 10, прим. 90.

121. „Злые заметки”, в его (80), с. 204, 207-208. Они сначала появились в (210), 12 января 1927 г.

122. Цит. в письме Троцкого Бухарину, датированном 6 января 1926 г., (Т 2976).

123. (274), с. 149-150; (281), с. 243; Бухарин, цит. в письме Троцкого, см. (Т 2976).

124. О его частных записках на эту тему см. (4), с. 294-295, 310-312, 317.

125. (168), с. 108 и (34), с. 4-5.

126. Единственное свидетельство этой переписки, на котором основано мое изложение, содержится в копиях трех писем Троцкого к Бухарину, датированных 8 января, 14 марта и 19 марта 1926 г. и находящихся в Архиве Троцкого (Т 2976, 868, 869).

127. Позднейшие уверения Троцкого, что „Сталин категорически запретил ему это делать”, полностью противоречат имеющимся данным. См. выступления Бухарина против советского антисемитизма в (210), 2 февраля 1927 г. и 24 ноября 1927 г.; в (95), с. 24.

128. (451), с. 169; (45), с. 67-69.

129. (57), с. 79, 89; (219), с. 42; (34), с. 63.

130. (219), с. 599, 601. За одиннадцать месяцев до этого он сказал: „Мы никогда не требовали от тов. Зиновьева: откажись публично от своей ошибки” — (274), с. 150. Дейчер назвал это „странным, почти злобным поступком Бухарина”, (353), с. 305.

131. См. слова Бухарина в (210), 15 января 1927 г. Есть кое-какие данные о том, что Сталин пытался исключить левых из партии летом или осенью 1927 г., но натолкнулся на сопротивление со стороны правых в Политбюро и потерпел неудачу. См. (433), с. 355-356 и (353), с. 355-356.

См. также любопытное письмо Сталина от 8 октября 1926 г., критикующее Слепкова за слишком снисходительное отношение к Троцкому во время недавней дискуссии. (243), VIII, с. 206-208.

132. Сведения о таком плане были предоставлены мне в 1965 г. ныне покойным Б. Николаевским. Он получил их от бывшего коммуниста, жившего в Советском Союзе в 20-е гг. Недавно появились столь же косвенные и не более неопровержимые данные, см. (4), с. 217 и (175), с. 219. Астров был видным бухаринцем и вполне мог находиться в курсе дел, однако его данные представляются менее убедительными из-за того, что содержатся в романе, в котором реальные факты нередко подаются в искаженном виде. Медведева следует считать весьма надежным источником, однако здесь он ссылается лишь на „некоторые сведения”. Ни тот, ни другой не упоминают в этой связи Бухарина, однако, если бы подготовка к такому шагу имела место в действительности, он, безусловно, был бы в ней главным участником.

133. См. (274), с. 503-504 и (243), VII, с. 153-155.

134. (274), с. 47-48, 504-505.

135. (231), с. 257.

136. Цит. в (253), II, с. 165, 184. См. другие точки зрения там же, с. 512 и (453), с. 393. В неофициальных беседах Сталин уже намекал, что считает себя „единственным человеком”, стоящим „во главе государства”. Цит. в (175), с. 628.

137. Меморандум Бухарина-Каменева (Т 1897).

138. (33), с. 3; (274), с. 133, 134; (20), с. 241.

139. (274), с. 181.

140. (240) за июль-август 1962 г., с. 119. См. также (442), с. 426.

ГЛАВА 8

1. См., напр., слова Бухарина в (210), 28 мая 1926 г. и резолюцию в (158), II, с. 258.

2. См., напр., (168), с. 114 и (219), с. 12, 19-20. Он повторил этот довод против Сталина в 1928 г. См. (210), 30 сентября 1928 г.

3. (20), с. 159-160; (392), 1927, VII, с. 195. С тех пор он регулярно подчеркивал трудности, которые ждут впереди.

4. (20), с. 225; см. также с. 223-224. См. его предостережения против замораживания ресурсов также в (210), 24 ноября 1927 г. и его (366), с. 80-83.

5. О мелком производстве см. слова Бухарина, цит. в (220), II, с. 1370 и (366), с. 84-85.

6. См., напр., его „Ленинизм и строительный период пролетарской революции”, (210), 21 января 1927 г.

7. (219), с. 471, 585, 775.

8. (20), с. 198.

9. См., напр., (210), 15 января 1927 г., 18 июня 1927 г. и 5 июля 1927 г.; см. также (45), с. 4-5.

10. (20), с. 197.

11. (392), 1927, VII, с. 1421; (20), с. 224-225.

12. См., как он охарактеризовал сталинскую политику в 1928 г., в (210), 2 декабря 1928 г.

13. (210), 24 ноября 1927 г. См. также (20), с. 159, где он назвал ее „крепким орехом”.

14. См., напр., (210), 28 мая 1926 г., 2 февраля 1927 г. и 24 ноября 1927 г.; (69), с. 62-63 и (20), с. 224, 226-228.

15. См. (210), 15 января 1927 г. и 2 февраля 1927 г.

16. О первом см. его „На пороге десятого года”, (210), 7 ноября 1926 г.; (20), с. 210-211, 215, 229 и (210), 23 ноября 1927 г. О втором см. (231), с. 255; (20), с. 224 и (366), с. 86.

17. См., напр., (210), 28 мая 1926 г. и (392), 1927, VII, с. 1421.
18. (210), 24 ноября 1927 г.
19. Как Бухарин охарактеризует сталинских плановиков в 1928 г., см. (210), 30 сентября 1928 г.
20. (392), 1927, VII, с. 1369, 1421; (20), с. 219-225; (210), 24 ноября 1927 г. Цель „более или менее бескризисного развития” была выдвинута XV партсъездом и отстаивалась Бухариным в 1928 г. См., напр., (210), 30 сентября 1928 г., где он подробно останавливается на значении „основных хозяйственных пропорций”.
21. См. (211).
22. (210), 3 июля 1926 г. О том, как эта идея развивалась в мировоззрении Бухарина, см. выше, гл. 5 и (126), с. 310. Она была почерпнута из замечаний в одном из писем Маркса. См. М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 32, с. 160-161. О ее значении в бухаринизме можно судить по отношению к ней Айхенвальда в его (2), гл. XXII.
23. (210), 30 сентября 1928 г.
24. Речь на июльском пленуме 1928 г. (Т 1901).
25. См., напр., (219), с. 604; (392), 1927, VII, с. 197-200, 1420 и в (20), с. 213.
26. Бухарин выдвинул этот лозунг в речи 12 октября. (392), 1927, VII, с. 1422. Он подробнее остановился на нем двумя неделями позже, см. (20), с. 202-211, 215, 228-231. Хотя решение было, очевидно, принято руководством коллективно, формулировка, кажется, принадлежала самому Бухарину и застала некоторых руководителей врасплох. См. слова Калинина в (220), II, с. 1229-1231.
27. (452), с. 11.
28. См. объяснения Бухарина, цит. выше, прим. 26.
29. Там же. См. также (210), 6-7 ноября 1927 г. и (76), с. 84, откуда взяты эти цитаты.
30. (20), с. 224-225; (210), 27 января 1928 г. См. также (366), с. 84.
31. См., напр., (392), 1927, VII, с. 1423; (20), с. 201, 229 и (210), 5 ноября 1927 г., 6-7 ноября 1927 г. и 23 ноября 1927 г.
32. Разбор и оценку см. в (366), с. 87-89.
33. См., напр., (20), с. 226-228; его (53), с. 17-22 и его статью о ленинизме и проблеме культурной революции в (210), 27 января 1928 г.
34. Идея проф. Александра Эрлиха.
35. (217), II, с. 7.
36. См., напр., (19), с. 185-195; (226), с. 368; (210), 19 июня 1925 г. и (392), 1927, VII, с. 1348-1350.
37. См. основные высказывания Бухарина по этому поводу в (14), 1925, № 3-4, с. 3-17; в (223), с. 304-328, 528-544. См. также (210), 24 октября 1924 г. и 19 июня 1925 г. и (20), с. 5.
38. О ранних проектах см. (19), с. 285-303 и “Program of the Communist International” [Bertram Wolfe], *New York Public Library* – экземпляр Бертрама Вулфа.
39. См., напр., длинные выступления Бухарина в (217), I, с. 30-112; (220), I, с. 623-693, 819-842.
40. Впервые Бухарин высказался недвусмысленно в (220), I, с. 626-633, 823-830. См. его раннюю трактовку в (219), с. 16-17, 93.
41. Цитаты из двух статей Бухарина, опубликованных летом 1929 г. и суммирующих его взгляды на современный капитализм. Они перепечатаны в (43), с. 168-199. Он доказывал то же самое (хоть и не в такой недвусмысленной форме) в 1926-1928 гг.
42. Там же, с. 183-184; (220), I, с. 630-632, 823-828; (392), 1928, VIII, с. 727, 730.
43. (43), с. 168, 183.
44. (392), 1928, VIII, с. 1305.
45. (43), с. 185.
46. Там же, с. 176-177, 195-196; (220), I, с. 632-633.

47. Цит. в (171), с. 125. См. также замечания Бухарина в (59), с. 12.
48. См., напр., (220), I, с. 832, 834 и (392), 1928, VIII, с. 728, 865, 874.
49. (219), с. 29; (217), I, с. 48.
50. См. высказывания Бухарина по большей части о событиях в Китае в (61), 2-е изд., М., 1927; (217), I, с. 48-49, 83-91; (219), с. 23-29; (392), 1927, VII, с. 874-876, 897-899; (45), с. 36-53; (220), I, с. 659-674.
51. (217), I, с. 30; (45), с. 46; (59), с. 12. Б. Николаевский отмечает, что национальная революция сделалась для Бухарина не только тараном для осады империализма, но и „вещью в себе”. (189), III, 1942, с. 190.
52. (61), с. 7; (45), с. 39-46; (392), 1927, VII, с. 1370.
53. (210), 12 сентября 1928 г.
54. Lin Pia o. Long Live the Victory of People's War! (Peking, 1966), p. 47.
55. См. высказывания Бухарина о „сверхприбылях” на VI конгрессе Коминтерна, (279), I, с. 41 и III, с. 139-143.
56. См., напр., его слова там же, I, с. 601-604.
57. См. выше, прим. 50; (210), 26 марта 1925 г.
58. См., напр., его высказывания об английских профсоюзах в (392), 1926, VI, с. 83-84, 850-852; (47), с. 15-18; (280), с. 203, 206, 208 и (219), с. 37-39, 89-93. И его высказывания об их европейских собратьях в (155), 1926, № 3, с. 92-93; (217), I, с. 102-103 и (20), I, с. 653-658, 676, 679.
59. (210), 12 сентября 1928 г. Об этой „трагедии рабочего класса”, которую „Джек Лондон ... отлично понимал”, см. (271), с. 181-182. Также см. (210), 28 апреля 1927 г. и (279), III, с. 142.
60. Этот вопрос подробно разбирается в (362), с. 91-137.
61. (392), 1928, VIII, с. 1269; (210), 12 июня 1927 г.
62. (35), с. 29; (217), I, с. 48; (47), с. 47-48.
63. (210), 2 февраля 1927 г.
64. (220), I, с. 670. См. заявления Бухарина во время этих событий в (451), с. 45-50; (210), 18 июня 1927 г.; (392), 1927, VII, с. 874-876, 897-899, 927-930 и (45), с. 36-53. О коминтерновской политике в Китае см. (435) и Brandt Conrad. Stalin's Failure in China (New York, 1966).
65. (45), с. 47, 51.
66. (392), 1926, VI, с. 831-834; (47), с. 15-19 и его „Великая борьба” в (210), 1 мая 1927 г.
67. (220), I, с. 656, 658.
68. См., напр., (451); (256), с. 165-179 и (427), с. 77-96.
69. Ср. его высказывания в (67), с. 41 и (45), с. 5-6.
70. (76), с. 24-25; (220), II, с. 1094. См. также (410), с. 178-186.
71. Рыков, цит. в (454), с. 282.
72. Chamberlin William Henry. Russia's Iron Age (Boston, 1934), p. 355.
73. Об этих событиях см. (347), гл. XII и (442), с. 440-472.
74. Выражение принадлежит левому оппозиционеру Зорину. См. его письмо к Бухарину в (240), 12 января 1928 г., с. 14. См. о таких сообщениях выше, гл. 7, прим. 131.
75. (20), с. 260; (69), с. 259.
76. Цит. в (353), с. 428.
77. (243), XIII, с. 41. См. также (334), I, с. 865-874.
78. См. косвенные свидетельства в (92), 1967, № 12, с. 75-76 и в (141), IV, с. 524-525. См. также (208), вып. 2, с. 231 и слова Ворошилова в (278), I, с. 516.
79. (220), II, с. 1441-1468.
80. См. (410), гл. VIII.
81. (220), I, с. 51, 63.
82. Бухарин не высказывался на съезде по внутривластическим вопросам. См. замечания Рыкова, особенно в (220), II, с. 870-871, 1423.
83. Там же, I, с. 693-705, 722-731.

84. Возможно, что Сталин предпринимал и другие тонкие ходы против правых, особенно против Рыкова. См. Троцкий, (256), с. 32-33. В то же время правые в Политбюро, очевидно, прибегли на съезде к своим собственным маневрам, когда Рыков предложил, чтобы в стенограмму съезда были включены последние, антисталинские произведения Ленина. См. (220), I, с. 623. Предложение было принято, однако произведения эти появились лишь в еженедельных бюллетенях. См. (175), с. 65-66.

85. Бухарин использовал это выражение, чтобы охарактеризовать обращение, которому он сам подвергся в 1928-1929 гг. Цит. в (243), XII, с. 103.

86. См. его высказывания в (392), 1928, VIII, с. 218; (20), с. 3 и Бухарин, цит. в (436), с. 232.

87. Бухарин сказал в январе 1928 г.: „Где написано, что в большевистской партии никогда нельзя было затыкать рот?“ (34), с. 62.

88. (69), с. 259.

89. Письмо к Бухарину, датированное 8 января 1926 г. (Т 2976).

90. Меморандум Бухарина—Каменева (Т 1897); Троцкий, цит. в (353), с. 315. Хотя пробные шары Бухарина адресовались Зиновьеву и Каменеву, они были явно рассчитаны и на Троцкого и были именно так истолкованы.

91. Письмо от Зорина, опубликованное в (240), 12 января 1928 г., с. 14.

ГЛАВА 9

1. Как указывается в (140), с. 191.

2. Статистика ремесленного производства относится к Российской Федерации (1928-1929 гг.). См. (92), 1971, № 7, с. 83-84 и (334), I, с. 390.

3. (277), с. 458. Как мы видели, в Наркомземе главенствовали бывшие эсеры, а в ВСНХ — бывшие меньшевики. В 1924 г. из 527 служащих Госплана лишь 49 состояли в партии. В том же году 88% рядовых работников центральных кооперативных органов и большинство заведующих отделами были беспартийными. См. (92), 1967, № 3, с. 55 и 1970, № 10, с. 81-82. В последние годы нэпа подобное же положение существовало и в других крупнейших ведомствах. См. (220), I, с. 446-447.

4. Harper Samuel Northrup, *Civic Training in Soviet Russia* (Chicago, 1929), p. 263. Так же в 1928 г. из всех инженеров, работавших в государственной промышленности, только 139 являлись членами партии. См. „Ленинградские рабочие в борьбе за социализм“. Л., 1965, с. 49.

5. Напр., из 152 работников центрального печатного органа ленинградской партийной организации в 1926 г. в партии состояли лишь 28. См. „Вестник Ленинградского университета (История-язык-литература)“ 1971, № 2, с. 31.

6. Эти цифры относятся к РСФСР в 1926-1927 гг. Bernstein „Leadership and Mobilization“, p. 213. По всей стране процент председателей-коммунистов вырос к 1928-1929 гг. до 37,7%. См. Male D. J. *Russian Peasant Organization Before Collectivization: A Study of Commune and Gathering 1925-1930* (New York, 1971), p. 128.

7. (433), с. 343. О различных аспектах партийной мысли см. (397); (305) и (373). К числу наиболее интересных партийных журналов относились (88) и (204).

8. В 20-е гг. наркомом, ответственным за управление „культурным фронтом“, был А. Луначарский, известный своим либеральным подходом и ненавязчивым руководством. См. (373). Начальные главы воспоминаний Эренбурга передают ощущение культурного подъема и брожения в нэповские годы. Вот один пример того, как тогдашние писатели пользовались поддержкой конкурирующих секторов: в 1927 г. частные книго-

издатели выпускали всего 6% общего тиража публикуемых книг, но 25% всех названий. См. *The Soviet Union: Facts, Descriptions, Statistics* (Washington, D. C., 1929), p. 196.

9. О различных аспектах культурной жизни времен нэпа см. (417); *Slonim Marc. Russian Theater from the Empire to the Soviets* (Cleveland, 1961), ch. VIII-IX; *Kopp Anatole. Town and Revolution: Soviet Architecture and City Planning, 1917-1935* (New York, 1970); *MacDonald Dwight. On Movies* (New York, 1971); Part IV; *Freeman Joseph. et al. Voices of October* (New York, 1930); *Art in Revolution: Soviet Art and Design Since 1917* (London, 1971).

10. Подобные случаи иногда освещались и подвергались осуждению в официальной печати. К числу людей, имевших большие (но еще преодолимые) трудности в 20-е гг., относился известный поэт Осип Мандельштам. См. (418), с. 35, 138, 173.

11. Начиная с 1929 г. сталинский режим начал яростные нападки на „гнилой либерализм”, иногда называвшийся еще „буржуазным либерализмом”, который определялся им как „примиренческое, терпимое отношение не только к оппортунизму, но и к прямо враждебным идеям”, (209), II, с. 433-434. См. также „Глашатаям либерализма нет места в большевистской партии”, (210), 21 ноября 1929 г. и „Против буржуазного либерализма в художественной литературе”. Дискуссия о „Перевале” (апрель 1930). М., 1931.

12. Я поэтизировал эту идею из высказываний М. Хейварда о литературном брожении в Советском Союзе, которые подтверждаются историей, рассказанной Эренбургом в (364), с. 76. См. *Blake and Hayward, eds., Dissonant Voices in Soviet Literature* (New York, 1962), p. XVII.

13. *Schlesinger Rudolf. The Family in the U.S.S.R* (London, 1949), p. 1

14. *DeWitt Nicholas. Education and Professional Employment in the U.S.S.R.* (Washington, D.C., 1961), p. 577; *The Soviet Union*, p. 197; *Semashko N. A. Health Protection in the U.S.S.R.* (London, 1934). Грамотность среди лиц старше девяти лет составляла 24% в 1897 г. и 51,1% в 1926 г. Невозможно судить о том, в какой мере этот прирост объяснялся усилиями советских властей.

15. *Male. Russian Peasant Organization; Taniuchi Yuzuru. The Village Gathering in Russia in the Mid-1920s* (Birmingham, England, 1968). О жизни деревни в нэповские годы см. также (410). В 1927 г. на каждые 10 000 городского населения было 319 членов партии, а на каждые 10 000 деревенского – всего 25. В трех четвертях советских деревень не было вообще никакой организованной партийной деятельности. (341) (Лондон, 1928), с. 499, 504.

16. *Borders Karl. Village Life Under the Soviets* (New York, 1929), p. 132-133, 183, 191; *Male. Russian Peasant Organization*, p. 129, 209, 212; *Fainso d. Smolensk*, p. 138-141.

17. (433), с. 332; (334), 1, гл. XXII, XXVII; (439), гл. IX, XI и „The Soviet Union”, с. 184-185 (см. выше, прим. 8 к гл. 9). Плохие условия труда на заводах регулярно фиксировались и подвергались критике в печати. Вызванная войной разруха, рост населения и отставание жилищного строительства уменьшили количество жилплощади, приходящейся на среднего горожанина, с 7 м² в 1913 г. до 5,8 м² в 1928 г. См. *Godsen A r v i d. The Soviet Worker* (New York, 1966), p. 113.

18. Идею, связанную с воздействием нового высокого статуса („революцией статуса”, как он ее называет), я взял у Д. Шенбаума в *Hitler's Social Revolution* (Garden City, N.Y., 1967), ch. VIII-IX.

19. Советские невозвращенцы, представлявшие собой, скорее всего, нерепрезентативную группу, позднее вспоминали о нэпе как о „чем-то вроде золотой эры советской истории”. См. *Bauer Raymond A., Inkeles Alex, Kluckhohn Clyde. How the Soviet System Works* (New York, 1960), p. 138. Как бы то ни было, потребление продуктов пи-

тания на душу населения в деревне резко упало между 1928 и 1932 гг. См. (183), с. 136.

20. Население Москвы, напр., в течение двух лет выросло на 204 тыс. человек, 156 тыс. из которых приехали туда из других мест, (392), IX, (1929), с. 153.

21. Рыков надеялся, что в результате этого проблему перенаселения и безработицы в деревне можно будет решить за пять лет. (220), II, с. 874.

22. Живую картину жизни в Советской России в 20-е гг. рисует знаменитая документальная лента Дзиги Вертова „Человек с киноаппаратом” и его более ранняя серия короткометражных фильмов „Кино—Правда”. Также небесполезно прочесть Stuart Chase, Robert Dunn and Rexford Guy Tugwell, eds. *Soviet Russia in the Second Decade* (New York, 1928).

23. См. высказывания Бухарина в 1928 г. о все еще имевшем место „величайшем предрассудке” в (95), с. 31. Такой дух часто выражался в романах этого периода. К числу наиболее известных примеров относится „Цемент” Ф. Гладкова.

24. См. сообщения очевидцев в (436), с. 196-199; (364), с. 66-70; (430), с. 53-54, 56, 231 и Duranty Walter. *I Write as I Please* (Нью-Йорк, 1935), с. 145-149. Писатель Ю. Либединский говорил о „неистовых ревнителях” в рядах партийных авторов; это выражение послужило названием книги С. Шескулова: „Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы в 20-х годах”. М., 1970, с. 3-4.

25. Trotsky Leon. *On Literature and Art* (New York, 1970), p. 63-82.

26. Даже через два года после отмены нэпа сталинский режим все еще официально заявлял о его существовании. „Нэп еще не закончен”, (210), 21 марта 1931 г.

27. Карикатуры на вождях регулярно появлялись в журналах (212) и „Огонек”. См. также, напр., Ефимов Б. Карикатуры. М., 1924, с. 153. С победой Сталина в 1929 г. „дружеские шаржи” такого рода больше не позволялись. См. (264), с. 199-201.

28. См. прямые упоминания об использовавшей эзоповский язык дискуссии в (171), с. 52; „Об ошибках и уклоне тов. Бухарина”, (210), 24 августа 1929 г. и (158), II, с. 563. Разумеется, вожди в 20-е гг. спорили „символами” еще до того, как дискуссия сделалась публичной. См. признание Бухарина в (274), с. 133.

29. Как отмечал Ворошилов. Цит. в (83), с. 175. О том, как воспринимали борьбу в середине 1928 г. рядовые члены партии, см. „Информационную справку” от 21 июля 1928 г. (Т 2021).

30. (277), с. 523.

31. Статья № 107 была внесена в УК в 1926 г., однако до сего времени не применялась. (156), с. 98-99. Из заявлений Рыкова и И. Варейкиса можно сделать вывод, что первоначальное решение было принято единогласно и что правые не предусмотрели его последствий. См. выступления Рыкова на июльском пленуме 1928 г. (Т 1835) и (83), с. 149.

32. (410), гл. X; (156), с. 119 и (110), с. 42. Особая роль генсека в этой кампании превозносилась впоследствии как начало „большого стратегического плана, задуманного Сталиным”. (13), с. 463.

33. См. образец непосредственных сталинских заявлений местным работникам в (243), 11, с. 1-9, 16. См. (410), с. 217 и „Первые итоги хлебозаготовительной кампании и задачи партии” в (210), 15 февраля 1928 г., где обсуждается директива от 6 июля.

34. (156), с. 119; Каганович Л. Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов. М., 1933, с. 13. По всей видимости, из правых в этом участвовал один Угланов, да и тот весьма непродолжительное время. Молотов В. На два фронта, (14), 1930, № 2 (31 января), с. 21.

35. Выдержки из сталинских заявлений в Сибири были опубликованы двадцать лет спустя в (243), 11, с. 1-9; о его маршруте см. с. 369-370. См. также (185), с. 25.

36. Об этом заседании Политбюро см. (347), с. 325. Угланов еще 31 января намекал на участие Сталина в перегибах. См. (210), 4 февраля 1928 г. И см. (226) и (76), с. 5-41. Сравни это со сталинскими высказываниями в (243), 11, с. 1-9, 48-49.

37. (410), с. 231; (243), 11, с. 10-19. Даже резко антикулацкая переодвица, (210), 15 февраля 1928 г., осудила „перегибы”.

38. (334), I, с. 58. Поставленный на место Смирнова Н. А. Кубяк скоро вступил в столкновение со Сталиным по вопросу о судьбе частного землевладения. (243), 11, с. 268.

39. (110), с. 42; (277), с. 387.

40. Политбюро обычно собиралось раз в неделю, по четвергам, и заседало пять часов. (133), с. 362. Как пишет один коммунист, „в течение остальных шести дней Сталин контролировал партию через свой аппарат”. (430), с. 58.

41. Куйбышев, цит. в Кузьмин В. И. Исторический опыт советской индустриализации. М., 1969, с. 40. Об Угланове см. (199), с. 445. В таком же духе высказывались и другие московские руководители. См. (105), с. 187-188.

42. Бухарин Н. Ленинизм и проблема культурной революции, (210), 27 января 1928 г. Астров В. Ленин — хранитель ортодоксии, (210), 21 января 1928 г.; Слепков А. Ленин и проблемы культурной революции, (210), 21 января 1928 г.

43. О московском инциденте см. (243), 11, с. 257 и (199), с. 445. Маловразумительный рассказ об эпизоде в ИКП напечатан в Зеймалъ В. и Поспелов П. Ячейка ИКП в борьбе за генеральную линию партии, (210), 1 декабря 1931 г. В феврале Бухарин резко критиковал как путчизм кантонское восстание (декабрь 1927 г.), в котором Ломинидзе и Г. Нейман выступили подстрекателями (как считали некоторые, по приказу Сталина). См. (279), IV, с. 319-324. Западная политика Томского подверглась нападкам на IV конгрессе Профинтерна, открывшемся 17 марта. См. Троцкий. Дорогой друг, июнь 1928 г. (Т 1588); (278), II, с. 781-787, 1167.

44. О рыковском предложении см. (83), с. 113-114 и (141), IV, кн. 1, с. 551. Теперь пошли слухи о борьбе между Рыковым и Сталиным.

45. (240), 21 марта 1928 г.; (210), 13 мая 1928 г.

46. О том, как Сталин использовал шахтинское дело, см. (243), 11, с. 53-63 и 12, с. 10-19; (304), с. 28-30; (240), 18 мая 1928 г., с. 12 и (430), с. 246.

47. Одним из них был Куйбышев. См. (164), с. 290-291; (334), I, с. 585-586. О сталинской репутации см. Флаксерман Ю. Н. Глеб Максимилианович Кржижановский. М., 1964, с. 171-172.

48. (83), с. 102; (278), I, с. 568.

49. См., напр., (76), с. 42-53; (226), с. 40-51 и Цетлин Е. По белому болоту, (210), 27 марта 1928 г.

50. (13), с. 409-500.

51. Там же, с. 507; (243), 11, с. 27-38, 98-99, 127-138; (158), с. 94-98.

52. См., напр., высказывания Астрова, Угланова и Слепкова в (210), 20 апреля 1928 г., 26 апреля 1928 г. и 17 июня 1928 г. А также см. „Тезисы тов. Слепкова о самокритике”, „Комсомольская правда”, 19 апреля 1929 г.

53. (158), II, с. 492-510; (410), с. 296-297. Свидетельства того, что выступавшие на пленуме, возможно, были в резком несогласии друг с другом, см. в (83), с. 125, 139-140.

54. Троцкий. Дорогой друг, июнь 1928 (Т 1588). Сообщение Троцкого как будто бы подтверждается Вагановым в (83), с. 102, а также в (14), 1930, № 21 (15 ноября), с. 35 и в (243), XIII, с. 13.

55. (243), 11, с. 27-64. Примерно в то же самое время Сталин сделал неудачную попытку изменить правила землепользования в ущерб частному хозяйству. (433), с. 363.

56. (76), с. 32-33. То, что Бухарин имел в виду Сталина и его окружение, впоследствии было подтверждено Астровым в (210), 3 июля 1929 г.

57. (334), I, с. 63-66. См. также (156), с. 120.

58. Это было центральной темой бухаринского доклада на апрельском пленуме (76); он возвращался к ней в течение всего года. См., напр., „Заметки экономиста” и (83), с. 139-140.

59. См., напр., (243), 11, с. 81-98, 101-115 и позднейшие сталинские высказывания относительно его ранних разногласий с бухаринцами, (243), 12, с. 10-19.

60. Там же; (13), с. 479. См. также о критике бухаринцев идей сталинистов, цит. ниже, прим. 66.

61. (13), с. 476-482 и (334), I, с. 876-879.

62. Томский в (234), с. 249.

63. См., напр., (76), с. 29-31; Астров В. К текущему моменту, (210), 1 июля 1928 г. и примечание редакции к статье Крицмана в (210), 7 июля 1928 г.

64. Из записок Бухарина в Политбюро и письма Сталину в мае-июне 1928 г., цит. у Ваганова в (83), с. 112, 140.

65. (95), с. 13-14, 21-26, 30; (210), 27 мая 1928 г.

66. Марецкий Д. Фальшивая нота, (210), 30 июня 1928 г.; Астров в (210), 1 июля 1928 г. и 3 июля.

67. Ср., напр., их речи на VIII съезде ВЛКСМ в мае. (95), с. 13-16, 18-41 и (243), 11, с. 66-67.

68. Частичное изложение сталинского выступления содержится в его (243), 11, с. 81-97. См. рассказ очевидца в (304), гл. 1. См. также (347), с. 328. В программном отношении важность его заключается в том, что Сталин необыкновенно резко изменил официальные партийные установки в отношении сельского хозяйства. Вместо того чтобы поставить вопрос (как требовал обычай) об улучшении частного крестьянского хозяйства раньше вопроса о создании колхозов и совхозов, он отодвинул единоличное хозяйство на последнее место. Уступая политическому давлению, он впоследствии вернулся к господствующим установкам, однако после своей победы над Бухариным в апреле 1928 г. он снова изменил очередность задач. Наконец, 27 декабря 1929 г. он совсем отказался от двуступенчатой системы и объявил, что коллективизация является единственным „выходом”. (243), 11, с. 207-208, 262 и 12, с. 58-59, 145-146.

69. (83), с. 112, 140-141, 144-145; меморандум Бухарина-Каменева (Т 1897); (243), 11, с. 319-320 и (393), с. 902.

70. Об этих событиях см. (83), с. 141-142, 144-145; (243), 11, с. 116-126 и меморандум Бухарина-Каменева (Т 1897).

71. Eudin Xenia Joukoff and Slusser Robert M., eds., Soviet Foreign Policy 1928-1934: Documents and Materials (2 vols; University Park and London, 1966-1967), vol. I, p. 175.

72. По всей видимости, углановское руководство начало выступать на стороне правых в начале 1928 г. См. заявление Пенькова в (278), I, с. 644-646; (782), с. 244-258; (83), с. 153-156 и Троцкий Д. Дорогой товарищ, сентябрь 1928 (Т 2442).

73. Профработник Козелев, цит. в (195), т. 2, с. 245. См. также „Заявление Б. Козелева”, (210), 6 июля 1930 г.; „Комсомольская правда”, 19 апреля 1929 г.; (278), II, с. 1134-1135; (210), 1 декабря 1931 г.; Троцкий Д. Дорогой друг, июнь 1928 (Т 1588).

74. См. выше, прим. 72. Бухарин также обрабатывал делегатов из провинции, это явствует из своеобразных показаний в (244), с. 111, 119-120.

75. Троцкий Д. Дорогой друг (Т 1588). О Стецком и Петровском см. (198), II, с. 316.

76. Меморандум Бухарина-Каменева (Т 1897); Козелев в (210), 6 июля 1930 г. и Угланов в (278), II, с. 1299. См. также (105), с. 198.

Как сказал Угланов, „Сталин сидит на шее у партии, и нам следует от него избавиться”. Цит в (347), с. 333.

77. Меморандум Бухарина—Каменева (Т 1897).

78. Можно понять, почему правые рассчитывали на Калинина, расположенного в пользу крестьян. Глава вооруженных сил Ворошилов был старым приятелем Сталина, однако говорили, что он был встревожен тем, какое действие окажет сталинская политика в деревне на Красную Армию, состоявшую почти целиком из крестьян. Что касается Куйбышева и Рудзутака, то из слов Бухарина о „семерке” Политбюро можно сделать вывод, что в данный период они либо воздерживались от голосования, либо голосовали нерегулярно. См. там же. О Ворошилове и Калинине см. (334), I, с. 57; (240), 10 октября 1929 г., с. 14; (393), с. 903.

79. В июле Бухарин сообщал: „Оргбюро наше”, см. меморандум (Т 1897). Это подтверждается в (83), с. 144. Секретариат состоял из Сталина, Молотова, Косиора, Угланова и Александра Смирнова. Последние двое поддерживали правых.

80. Твердый блок примерно из 15 голосов, с которым начинал Бухарин, включал в себя московских и профсоюзных делегатов, трех правых членов Политбюро и Стецкого, Осинского и Сокольниково. В это число не входят Ворошилов и Калинин, которые вскоре переметнулись к Сталину, и Крупская с Кубяком, которые в конечном итоге поддерживали правых. Результаты голосования в ЦК не публиковались.

81. (83), с. 144.

82. Меморандум Бухарина—Каменева (Т 1897). В дополнение к этому Бухарин сообщил на июльском пленуме (Т 1901), что Ягода предоставил ему сведения о крестьянских восстаниях, которые он не мог получить по обычным каналам. См. также выступление Менжинского на пленуме (Т 1901) и показания Бухарина и Ягоды в (244), с. 345-346, 502, 610. Сообщают, что работники ОГПУ, которым приходилось заниматься волнениями в стране, были обеспокоены нарастающей волной крестьянских восстаний. Возможно, роль тут сыграла и личная дружба с правыми. См. (465), с. 43-56. Триллиссера убрали из ОГПУ в 1929 г. См. (135), 30 октября 1929 г. А Ягода сделался главой сталинских органов госбезопасности, потом был осужден и погиб вместе с Бухариным и Рыковым в 1938 г.

83. (83), с. 144; (240), июль-август 1962 г., с. 119.

84. Из восьми членов Политбюро с совещательным голосом правых поддерживал только Угланов.

85. См., напр., (304), с. 48, 54; и слова Пенькова о „двух московских комитетах” — официальном МК Угланова и комитете, стоящем на стороне Сталина. См. (278), I, с. 646. См. также (410), с. 278.

86. Ягоде, например, „ясно было, что правые идут к власти”. (244), с. 610. Такое же впечатление сложилось в начале лета 1928 г. и у Троцкого. См. (353), с. 412, 428.

87. (353), с. 428. Резолюции см. в (158), II, с. 511-524.

88. Частичная стенограмма заседаний содержится в архиве Троцкого под номерами (Т 1832-6) и (Т 1900-1). Дополнительный материал имеется у Троцкого в (Т 2442). Опубликованы были одни сталинские речи. (243), 11, с. 141-196.

89. Меморандум Бухарина—Каменева (Т 1897).

90. Там же. О положении в деревне беспокоились даже те, кто в конце концов поддержал Сталина. См., например, высказывания Андреева и украинцев Косиора и Чубаря (Т 1835, Т 2442). Ворошилов доказывал свою преданность тем, что прерывал выкриками речь Бухарина (Т 1901).

91. По словам Рыкова (Т 1835), Молотов (Т 833) возражал против нападок бухаринской прессы на чрезвычайные меры. См. выше, прим. 66 и прим. редакции к статье Крицмана в (210), 7 июля 1929 г.

92. Речь Бухарина (Т 1901).

93. (243), 11, с. 157-196 и меморандум (Т 1897).

94. Меморандум (Т 1897).

95. Там же. Сокольников, сопровождавший Бухарина, назначил встречу на 9 июля — день сталинской речи о „дани“ на пленуме. Бухарин и его секретарь Цетлин, у которого были свои собственные неофициальные контакты с лагерем левых, впоследствии утверждали, что записи Каменева искажают суть дела и имеют односторонний характер. Они, однако, не отрицали в принципе их подлинности. (393), с. 889, 893-894, 897-898.

96. Об их последующих встречах см. „Внутри право-центристского блока“, (82), № 1-2, 1929, с. 15-17.

97. См. выше, прим. 43. Пленум Исполкома объявил политику „классовой борьбы“ и приказал, чтобы английская и французская партии повернули влево, однако предостерег против крайностей. См. выступление Бухарина (319), с. 213-218. См. противоречивые и двусмысленные резолюции Профинтерна в „Резолюции и постановления IV конгресса Профинтерна“. М., 1928.

98. Меморандум (Т 1897).

99. Сталин и его сторонники впервые наметили свою новую линию в декабре 1927 г. Они разработали ее на закрытых заседаниях до и во время конгресса Коминтерна. См. позднейшую сталинскую версию в (243), 12, с. 19-26 и Куусинен О. В. Новый период и поворот в политике Коминтерна (под руководством тов. Сталина) в (155), № 2, 24 января 1930 г., с. 3-19.

100. Гольденберг Е. Германская проблема, (14), № 5, 15 марта 1928 г., с. 35. Автор был известным бухаринцем. От редакции сообщается, что в статье поднимаются спорные вопросы.

101. В этой связи взгляды Бухарина оставались без изменений. Несмотря на все свои компромиссы, он снова повторил их на VI конгрессе Коминтерна. См. его основные речи в (279), I, с. 26-64, 587-615; III, с. 7-32, 122-155.

102. (243), 6, с. 202. О происхождении и истории понятия „социал-фашизм“ см. (360), с. 29-42. По словам Дрейпера, Зиновьев начал распространять эту идею в 1924 г., но скоро от нее отказался. Позднее Сталин взял ее на вооружение.

103. Из его речей на конгрессе Коминтерна можно заключить, что на закрытых заседаниях идет жаркая дискуссия. См. (279), III, с. 30-31, 137-138, 143-145 и V, с. 130.

104. Там же, III, с. 144-145. Точно так же он настаивал в декабре 1927 г., что поворот влево „не исключает предложения единого фронта и голосования в отдельных случаях за социалистических кандидатов, когда могут пройти реакционные кандидаты“. (220), I, с. 658. Столь же важное значение имеет крупное исследование о социал-демократии, опубликованное в 1928 г. двумя ведущими молодыми бухаринцами. Хотя книга содержала критику социал-демократии, в ней не было и намек на понятие „социал-фашизма“. См. (6).

105. Об этих событиях см. (243), 12, с. 20-21; (359), гл. XIV; (393), с. 900; (158), II, с. 558-559 и *Revolutionary Age*, November 1, 1929, с. 15.

106. (359), гл. XI-XIV; *Sprignano Paolo. Storia del Partito comunista italiano. Vol. II* (Turin, 1969), с. 175.

Хотя официальным вождем германской партии являлся сторонник Сталина Эрнст Тельман, „громадное большинство“ ее ЦК стояло ближе к бухаринской позиции. См. (278), II, с. 779. См. другой пример в книге *Macfarlane L. J. The British Communist Party* (London, 1966), ch. IX-X.

107. См. ключевые резолюции и программу в (279), II, с. 7-161, 192-193 и особенно разделы, посвященные „третьему периоду“, фашизму и социал-демократии, профсоюзной тактике и „правому уклону“. См. указания на завуалированные компромиссы в (393), с. 495; а также намеками в (209), с. 238-239.

108. См., напр., (344) и высказывания Бертрама Д. Вульфа в *Revolutionary Age*, November 15, 1929, p. 3-4.

109. (390), с. 348-349. По сообщению Эмбер-Дро (с. 240), после кон-

гресса Бухарин никогда больше не возвращался в штаб-квартиру Коминтерна.

110. (347), с. 336-337. См. высказывания Бухарина и соответствующие резолюции в (279), I, с. 58-60, 610-614 и II, с. 80.

111. См. выше, гл. 8, прим. 4.

112. (348), I, с. 309-313.

113. (243), 11, с. 246-248.

114. „Заметки экономиста (к началу нового хозяйственного года)”, (210), 30 сентября 1928 г.

115. (83), с. 161-163, 174-175.

116. См., напр., (268), с. 65; „Очерки истории Коммунистической партии Туркменистана”, 2-е изд., Ашхабад, 1965, с. 361-363; (243), 11, с. 220 и (334), I, с. 554. По всей вероятности, уже ходили слухи о том, что Сталин хочет сместить Томского. См. высказывания Козелева в (210), 6 июля 1930 г.

117. Как явствует из односторонней версии Ваганова (83), с. 153-173; (182), с. 258-298.

118. Т р о ц к и й. Дорогой товарищ (Т 2442); (304), гл. IV-VI. О событиях в Коминтерне см. (210), 22 ноября 1929 г.; (391), с. 256-259 и (83), с. 197-198.

119. (393), с. 898.

120. (83), с. 143-144; см. также Т р о ц к и й. Дорогой товарищ, (Т 2442). Имена новых редакторов (14) были объявлены в номере от 15 августа 1928 г. Хотя сообщают, что Бухарин мог еще 23 сентября (см. Тетюшев, с. 10) влиять на содержание передовиц (210) или даже писать их, настоящими редакторами были теперь Ярославский, М. Соловев и Г. Крумин.

121. См., напр., передовые статьи об июльском пленуме в (210), 13 и 14 июля 1928 г., чье авторство приписывается Бухарину. (245), с. 10.

122. Публичная кампания против правых началась в передовицах (210), 15 и 18 сентября 1928 г. О закулисных напаках на Бухарина см. его высказывания в (393), с. 899, 901 и (83), с. 175.

123. См., напр., Мандельштам в (210), 11 августа 1928 г.; Угланов в (210), 21 сентября 1928 г. и замаскированную критику Рютина в адрес Сталина в „Руководящие кадры ВКП(б)”, (14), № 15, 15 августа 1928 г., с. 18-29.

124. (82), № 1-2, 1929, с. 15.

125. См. об этих событиях в (347), с. 337-344; (182), с. 279-298; (83), с. 160-173 и (243), 11, с. 222-238.

126. (210), 28 ноября 1928 г.; Козлова Л. Московские коммунисты в борьбе за победу колхозного строя. М., 1960, с. 46-47. Угланов утратил голоса большинства в Бюро и контроль в Московской контрольной комиссии и в агитпропе после снятия Мороза и Мандельштама 19 октября. См. (210), 20 октября 1928 г.

127. (163), с. 53-54, 159-161; „Большевики Москвы 1905 года”. М.—Л., 1925, с. 16-17.

128. В о с к р е с е н с к и й Ю. В. Коммунисты во главе политического и трудового подъема (1926-1929 гг.). Тула, 1958, с. 26 и, напр., „Очерки истории Коммунистической партии Туркменистана”, с. 362 (прим. 116).

129. (82), № 1-2, 1929, с. 15-16. На приближительную дату его возвращения указывает речь в (210), 10 ноября 1928 г. и (393), с. 542.

130. Об этих событиях см. (82), № 1-2, 1929, с. 15-16; (83), с. 115, 176-178; (158), II, с. 566 и (393), с. 542. В числе прочего Бухарин потребовал удаления двух сталинистов: Крумина из „Правды” и Неймана из Германской компартии. См. также (243), 12, с. 25-26.

131. Общая сумма капиталовложений (две трети которой предназначались для тяжелой промышленности) была определена в 1650 млн. руб. против 1330 млн. в 1927-1928 гг. См. (83), с. 178. Надо полагать,

что Бухарин, Рыков и Томский выступали за капиталовложения в сумме, близкой к намеченной в 1927-1928 гг.

132. Назначение было сделано 29 ноября 1928 г., через два дня после снятия Угланова с поста секретаря Московской организации. (135), 30 ноября 1928 г. Решение было принято в последнюю минуту, если судить по празднованию десятилетнего „юбилея” Шмидта на посту наркома земледелия всего за двенадцать дней до этого. (135), 17 ноября 1928 г. Шмидт был назначен одним из заместителей Рыкова в августе и, по всей видимости, пребывал какое-то время на этом посту. См. (135), 14 августа 1928 г.

133. (83), с. 180-188.

134. (243), 11, с. 245-290; (158), II, с. 525-548.

135. (83), с. 184. Рыков и Томский, как сообщают, показывались там редко.

136. (243), 11, с. 294-310.

137. (341), т. 3 (Лондон, 1965), с. 27; (359), гл. XVII. См. протесты Бухарина в (84), с. 75; (243), 12, с. 25-26; (390), с. 340.

138. Яглом, цит. в (278), II, с. 1194. См. о нападка в (277), с. 783, сн. 78. О падении Томского см. также (347), с. 344-348.

139. (105), с. 210; см. неопубликованную докторскую диссертацию L a n g s a m D a v i d E. Pressure Group Politics in NEP Russia: The Case of the Trade Unions (Princeton University, 1973).

140. (96). В дополнение к речам Томского (с. 3-6, 24-25, 186-207) см. высказывания Рыкова, Шмидта, Угарова, Козелева и Яглома. См. также (105), с. 203; Н е д а ч и н Л. Аполитичность в профработе недопустима, (210), 12 декабря 1928 г. и (278), II, с. 1134.

141. (347), с. 347-348; (105), с. 175-176; (84), с. 71; (210), 6 июля 1930 г. и (83), с. 193.

142. (278), I, с. 122.

143. (209), вып. 2, с. 245-246; (158), II, с. 557-558.

144. Меморандум (Т 1897).

145. „Текущий момент и задачи нашей печати”, (210), 2 декабря 1928 г.

146. „Ленин и задачи науки в социалистическом строительстве”, (210), 20 января 1929 г.

147. Она появилась в (210) и в (135), 24 января 1929 г. Все ссылки даются на отдельное издание, (59).

148. Постышев, цит. в (83), с. 198; (171), с. 85. См. пример позднейших нападок в (270).

149. (59), с. 27.

150. (353), с. 469-471; (393), с. 648.

151. „О перевыборах Советов”, (210), 1 января 1929 г.; (83), с. 127-128; (334), I, с. 100-105.

152. Весьма отрывочная стенограмма заседания, скорее всего, взятая Таской у бухаринского секретаря Цетлина, помещена в (393), с. 889-905. Впоследствии – двадцать лет спустя – были напечатаны лишь сталинские высказывания, да и то в сокращенном виде. (243), 11, с. 318-326. См. также (158), II, с. 556-565.

153. См. об этих событиях (82), № 1-2, 1929, с. 17; (393), с. 897-898; (83), с. 199-202 и (278), I, с. 578-580. По словам Ваганова, в комиссию входили Бухарин, Киров, Коротков, Рудзутак, Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе и Ярославский. Последние четверо почти наверняка были надежными сталинистами.

154. Реконструировано из цитат в (158), II, с. 560; (82), № 1-2, 1929, с. 17 и (278), I, с. 157, 363, 578.

155. Реконструировано из цитат в (393), с. 899, 901; (158), II, с. 562-563. См. (83), с. 115, 198.

156. Цит. в (278), I, с. 577-578.

157. Реконструировано из цитат, см. там же, с. 363 и (83), с. 105, 118, 200, 202-203.

158. Цит. в Молотов. На два фронта в (14), № 2, 31 января 1930, с. 14. См. также (158), II, с. 558-559.

159. (158), II, с. 556-567.

160. Ходили слухи, что теперь Сталин твердо вознамерился изгнать их на предстоящем апрельском пленуме. См. (82), № 1-2, 1929, с. 15 и (240), 4 мая 1929, с. 3.

161. (243), 11, с. 325.

162. (393), с. 903. Возможно, соображения такого рода обусловили неудачный компромисс 7 февраля. См. высказывания Орджоникидзе годом позже, когда он извиняющимся тоном говорил о том, что „мы делали все возможное для того, чтобы сохранить тт. Рыкова, Бухарина, Томского, Угланова на руководящих постах в партии”. Это было сказано в ответ непоименованным партийцам, тревожащимся, что „вышибли Зиновьева, Каменева и Троцкого, теперь собираются вышибить Рыкова, Бухарина и Томского”. См. „Отчеты ЦК, ЦКК и делегации ВКП (б) и ИККИ XVI съезду ВКП (б)”. М.—Л., 1930, с. 291.

163. „Огонек”, 24 февраля 1929, без указ.стр.; (210), 8 марта 1929 г. и 17 марта 1929 г.; (379), с. 92, 95, 103.

164. Выражение принадлежит Левину, см. (410), с. 325. См. сетования Бухарина на то, что их „прорабатывают” и предают „гражданской казни”, в (243), 12, с. 103.

165. О Рыкове см. (243), 11 и высказывания Ворошилова в (278), I, с. 516. Его отступление отразилось в резолюции от 9 февраля, критиковавшей его в куда более мягких выражениях, чем Бухарина и Томского. О Стецком см. (210), 8 марта 1929 г. и его статью в (210), 17 марта 1929 г.

166. (82), № 1-2, 1929, с. 15. Бухарин высказывался против Сталина еще четыре раза в феврале-марте, однако с каждым разом использовал все более завуалированные выражения. См. (210), 27 февраля 1929 г., 12 марта 1929 г., 17 марта 1929 г. и 23 марта 1929 г.

167. (334), I, гл. XXXVII.

168. (277), VIII-IX, XIII, с. 795, сн. 135; (141), кн. 1, с. 563; (83), с. 209-210; (243), 12, с. 81-82.

169. (166), т. 45, с. 346.

170. (390), с. 356 и факсимиле на фронтисписе. Две недели спустя, явно имея в виду Сталина, Бухарин напомнил партии, что Ленин занимал в ней главенствующее положение, поскольку его любили и уважали, а вовсе не потому, что он прибежал к „командованию” и „администрированию”. (210), 27 февраля 1929 г.

171. (243), 12, с. 1.

172. Сообщают, что резолюция с осуждением Бухарина прошла с десятью голосами *против* и при трех воздержавшихся. (277), с. IX. В дополнение к трем правым в Политбюро противники ее должны были включать Сокольников, Угланова, Котова, Куликова, Шмидта, ленинградского профсоюзного руководителя Угарова и Розита, члена ЦКК и бухаринца. Крульская могла быть одной из остальных трех. В январе она поддержала бухаринское утверждение о том, что знаменитая статья Ленина о кооперации говорила о сбытовых кооперативах, а не о колхозах. „Ильич о колхозном строительстве”, (210), 20 января 1929 г.

173. (243), 12, с. 1-107.

174. О том, что Рыков говорил в более умеренном тоне, можно судить по цитатам из его выступления. См. также (304), с. 128-129 и (243) 12, с. 2-3. Об Угланове см. (14), № 2, 31 января 1930, с. 19.

175. См. сталинские слова об „обвинениях личного порядка”. (243), 12, с. 1.

176. Высказывания Бухарина реконструированы из цитат, содержащихся там же, с. 83, 103; (278), I, с. 327; (277), с. 803, сн. 236; (83), с. 217 и (14), № 2, 31 января 1930, с. 18. Замечание Томского см. в (277), с. 803, сн. 215.

177. (158), II, с. 549-567.

178. Кроме того, после партконференции Угланов был выведен из Политбюро и из Секретариата. Через месяц Рыкова заменили С. Сырцовым на посту председателя СНК РСФСР (он занимал этот пост одновременно с постом председателя СНК СССР). Сообщение об этом не содержало, однако, указаний на то, что Рыков попал в опалу; в нем говорилось лишь, что совмещение этих двух должностей сделалось слишком обременительным для одного лица. См. (135), 19 мая 1929 г. Следует отметить, что смещение Бухарина и Рыкова с их постов пленумом всего-навсего оформило их отставку. Из сталинского тона и обвинений на пленуме напрашивался вывод о куда более строгих санкциях. Через двадцать лет была опубликована версия его речи, выдаваемая за „стенограмму”, но, скорее всего, ею не являвшаяся. В ней записано, что Сталин не соглашался с теми „некоторыми товарищами”, которые требовали исключения Бухарина и Томского из Политбюро. „Товарищи” эти почти наверняка были его сторонниками, и его возражения, странным образом помещенные в самый конец его речи, были, очевидно, дипломатической уступкой сопротивлению, на которое натолкнулась „такая крайняя мера”. (243), 12, с. 1.

179. (158), II, с. 569-589; (410), с. 350-358. Доля продукции общественного сельского хозяйства должна была увеличиться с 2% в 1927 г. до 21,9% в 1932-1933 гг., (334), I, с. 253.

180. См. выше, прим. 68; (243), 12, с. 86-92.

181. (304), с. 133-136.

182. (277), с. 3, 5-24, 666.

183. Там же, с. 440.

184. (393), с. 900. О том же см. Угланов в (14), 1930, № 2, с. 19.

185. О мотиве гражданской войны у Сталина см. (243), 11, с. 11, 58, 68-69, 75, 81, 217-218, 224 и 12, с. 38, 215. О „фронте яровизации” см. Лысенко, цит. в *Medvedev Zhores A. The Rise and Fall of T. D. Lysenko* (New York, 1969), p. 17.

186. Ворошилов в (278), I, с. 513.

187. (157), с. 58; (153), № 22-23, декабрь 1929, с. 66.

188. См. (457), с. 40-41; (458).

189. Сталин огласил свою теорию на июльском пленуме 1928 г. (243), 11, с. 170-171. С кое-какими ограничениями она была официально одобрена в апреле 1929 г. (158), II, с. 552. В наиболее полной форме Бухарин повторил свою точку зрения в (59), с. 9-10, 20-23. Она разделялась Рыковым. (234), с. 209. Как вполне справедливо доказывал Сталин, в основе дискуссии лежал вопрос о классовой борьбе. (243), 12, с. 10-19, 28-39.

190. См. предисловие Такера к (381), с. XV-XVI.

191. Меморандум Бухарина—Каменева (Т 1897).

192. Пленум ЦК, июль 1928 г. (Т 1901). Далее Бухарин предостерег против „искусственного насаждения коммунизма в деревне”. Цит. в Ключеве в З. И. Идейное и организационное укрепление коммунистической партии в условиях борьбы за построение социализма в СССР. М., 1970, с. 256. О „вульгарном реализме” см. (334), I, с. 323 и заявление о том, что, хотя аргументация Бухарина по поводу планирования является „математически” верной, она, как доказала победа Красной Армии, неуместна. (392), XI (1929), с. 972.

193. См. его обвинения по поводу „военного коммунизма” в неподписанной передовице в (210), 14 июля 1928 г. Остальные обвинения цит. выше.

194. (210), 24 апреля 1929 г.; (135), 23 апреля 1929 г. См. также Постышев, цит. в (139), 1962, № 2, с. 193 и (210), 4 октября 1929 г. Каганович обвинил бухаринцев в стремлении „демобилизовать партию”. Пленум ЦК, июль 1928 г. (Т 1835).

195. Как он сообщил Каменеву в июле 1928 г. Меморандум (Т 1897).

196. См., напр., его речь на июльском пленуме 1928 г. (Т 1901);

его неподписанную передовицу в (210), 14 июля 1928 г. и (210), 30 сентября 1928 г. Он доказывал к тому же, что к пассивным противникам режима следует применять только ненасильственные методы. (210), 10 ноября 1928 г.

197. (59), с. 12-16; см. также (279), III, с. 150-152. Он уже высказывал такую точку зрения ранее в полемике с левыми. См. (45), с. 30-31.

198. Ср., напр., его высказывания в (243), т. 11.

199. (210), 30 сентября 1928 г.; неподписанная передовица в (210), 23 сентября 1928 г., чье авторство приписывается Бухарину Тетюшевым, с. 10; его высказывания на июльском пленуме 1928 г. (Т 1901); (76), с. 12-16 и (210), 27 января 1928 г.

200. Высказывания Бухарина см. в (210), 30 сентября 1928 г.; (83), с. 112, 115; (95), с. 29-32; (278), II, с. 1015; (279), III, с. 27-29 и (210), 17 марта 1929 г. См. также передовицу в (210), 24 мая 1928 г. Рыков, цит. в (334), I, с. 215-216.

201. См. (83), с. 127-128 и Марецкий в (210), 30 июня 1928 г.

202. (210), 30 сентября 1928 г. См. также (76), с. 29-31; речь Бухарина на июльском пленуме 1928 г. (Т 1901); (210), 2 декабря 1928 г. и (210), 12 марта 1929 г.

203. См., напр., его предсказания насчет „рабовладельческого хозяйства“ в (155), 1928, № 31-32, с. 35 и ранее., в (39), с. 157, сн. 1. Несмотря на то что Бухарин предсказывал катастрофу, в его „Заметках экономиста“ проскальзывала также мысль о возможном успехе „прикладной туганбарановщины“. (210), 30 сентября 1928 г.

204. Рыков в (220), II, с. 870; (336), гл. IV.

205. Наиболее полно его пересмотренные взгляды на политику в области промышленности и его возражения против сталинской индустриальной политики излагаются в „Заметках экономиста“, (210), 30 сентября 1928 г. См. также (76), с. 37-38; его речь на июльском пленуме 1928 г. (Т 1901); (210), 2 декабря 1928 г. и от 20 января 1929 г.; а о преимуществах научной организации труда – (43), с. 168-199.

206. В. А. Писарев, цит. в (210), 29 августа 1929 г.

207. Наиболее полно взгляды Бухарина на планирование изложены в „Заметках экономиста“, (210), 30 сентября 1928 г. См. также (76), с. 7-14; его речь на июльском пленуме 1928 г. (Т 1901) и (155), № 31-32, 13 августа 1928, с. 32-40. Об опасностях чрезмерной централизации и взваливания на себя непосильных задач см. также (392), VIII (1928), с. 1272; (210), 20 января 1929 г. и (43), с. 183-199.

208. (210), 30 сентября 1928 г. О том же см. (210), 10 ноября 1928 г. и (210), 2 декабря 1928 г. О Рыкове см. (83), с. 98, 215. В своем заявлении в Политбюро 30 января 1929 г. Бухарин предостерегал: „Мы можем заколачивать громаднейшие средства на индустриализацию, но в один прекрасный день с удивлением увидим, что нужно резать по живому месту, сокращать, закрывать и т.д.“ Цит. в (83), с. 118.

209. (210), 30 сентября 1928 г.; (43), с. 184, 197. См. также (210), 27 мая 1928 г.

210. (210), 30 сентября 1928 г. На эзоповском языке Бухарина обвинение было направлено против „сверхиндустриализаторов троцкистского толка“.

211. См., напр., М и л ю к о в П. Очерки по истории русской культуры, ч. 1, 5-е изд. СПб, 1904, с. 141-143; П л е х а н о в Г. В. История русской общественной мысли, т. 1, изд. 2-е, М.—Л., 1925, с. 51-55 и С и д о р о в А. Л. В. И. Ленин о русском военно-феодалном империализме, „История СССР“, № 3, май-июнь 1961, с. 47-70.

212. Эти выражения приписываются молодым бухаринцам. (210), 21 ноября 1929 г. Один из них говорил: „В связи с политикой военно-феодалной эксплуатации крестьянства можно переименовать СССР в Золотую Орду“. См. (1), с. 114-115.

213. Этим обвинением он задел сталинистов за живое. См. их немед-

ленную реакцию в (243), 12, с. 49-56; Б о я р с к и й П. Легенда о „военно-феодалной эксплуатации крестьянства“, „Спутник коммуниста“, № 8, апрель 1929, с. 8-16 и Каганович в „Комсомольской правде“, 28 ноября 1929 г. Официальная советская литература до сих пор не может простить его Бухарину.

214. См., напр., его призыв в (210), 2 декабря 1928 г.

215. См. неподписанную передовицу Бухарина в (210), 14 июля 1928 г.; рассказ Астрова о процессе реквизиции в (210), 3 июля 1928 г. и (243), 12, с. 61.

216. (210), 2 декабря 1928 г. и (210), 12 июня 1929 г.

217. Меморандум (Г 1897) и (210), 2 декабря 1928 г.

218. (59), с. 27; (43), с. 191; (210), 12 июня 1929 г. См. также (210), 30 сентября 1928 г.

219. Сталинисты в своих заклинаниях клеймили правых как „кулацких агентов“ в партии. В моменты просветления они, однако, утверждали, что бухаринцы представляют „мелкобуржуазные элементы“ в стране, то есть крестьянство. См., напр., Варейкис в (278), I, с. 244-245 и, в таком же духе, „Партийное строительство“, № 2, декабрь 1929, с. 3. См. суждения бухаринцев и нейтральных партийцев ниже, прим. 228 и 225.

220. См., напр., (153), № 18, сентябрь 1929, с. 27-39; „Партийное строительство“, № 1, ноябрь 1929, с. 39-51; (14), № 9, 15 мая 1930, с. 18, 22-23 и (210) и (135), регулярно, на всем протяжении второй половины 1929 г. О чистке госаппарата, по которой полных цифр нет, см. И к о н н и к о в С. Н. Создание и деятельность объединенных органов ЦКК-РКИ в 1923-1934 гг. М., 1971, с. 284-293.

221. Т р а п е з н и к о в С. П. Коммунистическая партия в период наступления социализма по всему фронту. Победа колхозного строя в деревне (1929-1932 гг.), 2-е изд. М., 1961, с. 40-41. См. свідательства сохранения правых настроений на фабриках в „Партийном строительстве“, № 1, ноябрь 1929, с. 39-41; (210), 11 декабря 1929 г. и в „Бюллетене Третьей ленинградской областной конференции ВКП(б)“, № 9. Л., 1930, с. 5-8. Сталинист Шверник, заменивший Томского на посту руководителя профсоюзов, сетовал в ноябре 1928 г.: „Рабочие еще недостаточно представляют себе всей опасности, вытекающей из правого уклона“. Цит. в (83), с. 187.

222. Фрумкин, цит. в (105), с. 179. Свидетельства того, что в партии широко распространены правые настроения, регулярно представлялись самими сталинистами. См., напр., „Партийное строительство“, № 1, ноябрь 1929, с. 39-51; (14), № 16, 31 августа 1929, с. 39-62; (277), с. 300-301, 384 и (210), регулярно на всем протяжении 1929 г. Советские историки не высказали большого желания документально подтвердить их масштабы, однако их существование косвенно подтверждается во многих провинциальных пособиях по истории партии, опубликованных после смерти Сталина. См., напр., Н е к р а с о в К. В. Борьба коммунистической партии за единство своих рядов в период между XV и XVI съездами ВКП(б). Вологда, 1955, с. 35; Ш а р о в а П. Н. Коллективизация сельского хозяйства в центрально-черноземной области. 1928-1932. М., 1963, с. 80; „Очерки по истории Коммунистической партии Туркменистана“, с. 361-363; „Очерки истории Коммунистической партии Грузии“, ч. II. Тбилиси, 1963, с. 85-86. См. также (369), с. 54-55, 211-212.

223. R i g b y T. H. Communist Party Membership in the USSR, 1917-1967 (Princeton, N. J., 1968), p. 176-181; B e r n s t e i n T h o m a s P a u l. Leadership and Mobilization in the Collectivization of Agriculture in China and Russia. Columbia University, 1970, p. 246-247. Последняя работа — неопубликованная докторская диссертация. Сталинисты часто жаловались, что „в деревне значительная часть коммунистов“ настроена против новой политики и представляет собой „подкулачников с партбилетами“. См. (163), с. 202; (105), с. 230.

224. См. комментарии по поводу этого явления у Косарева, (157), с. 17; (278), I, с. 207; и Бухарин, цит. в (1), с. 132.

225. (415), с. 152; (436), с. 253. См. то же в книге Seibert Theodore of Red Russia (London, 1932), p. 129, 348.

226. О призраке „третьей силы” см. бухаринские высказывания задним числом в (234), с. 124-125 и Томский в (278), I, с. 264. Хотя запрет на обсуждение партийных разногласий на собраниях беспартийных нередко нарушался, он стал „традицией”. См. высказывания Бухарина на встрече с делегацией немецких рабочих 9 января 1927 г. (неопубликованная стенограмма, хранящаяся в Амстердаме в International Institut voor sociale Geschiedenis).

227. (436), с. 245.

228. См. Астров в (210), 1 июля 1928 г. и его редакционное примечание в (210), 7 июля 1928 г.; высказывания Рыкова и Бухарина на июльском пленуме 1928 г. (Т 1835) и (Т 1901); Бухарин в (210), 30 сентября 1928 г. и Сталин (243), 12, с. 91.

229. Н. Устрялов, цит. в (171), с. 5.

230. (82), № 1-2, 1929, с. 16. Напомним, что ранее он поддержал резолюцию Коминтерна против „правого уклона”. Однако на том же самом конгрессе он пытался доказывать, что вопрос не в том, правая политика или левая, а в „ее неправильности; соответствии или несоответствии объективному положению”. (279), I, с. 47.

231. См. официальные сетования по поводу политической неграмотности среди комсомольцев, в равной степени распространенной среди партийцев, (157), с. 41. О том же говорит анекдот, сообщаемый официальным пособием по истории. У комсомольца спрашивают об уклонах в партии. Он отвечает, что уклонов три: правый, левый и центральный. Правый, поясняет он, стоит за медленное промышленное развитие, левый — за быстрое, а центральный — за среднее. „А кто же в центральном уклоне?” — спрашивают его. „Наша партия, ЦК”. См. (1), с. 210-211. Бухаринский анализ партийной бюрократии в 1928-1929 гг. весьма походил, разумеется, на анализ троцкистов. Даже один из разочаровавшихся сталинистов заключил, что партийные чиновники являют собой „политическое болото”, состоящее „из обывателей”. См. Шацкий и Л. Долой партийного обывателя! „Комсомольская правда”, 18 июня 1929 г.

232. Цит. в (82), № 1-2, 1929, с. 17. См. также (261). Другие вожди правых тоже столкнулись с противоречием между своей былой нетерпимостью и теперешними призывами к свободе для лояльных инакомыслящих. О Томском и московских руководителях см., напр., (105), с. 197-198 и (83), с. 157-158.

233. Меморандум (Т 1897).

234. (209), вып. 2, с. 240-241. Он был столь же сдержан со своими сторонниками в Коминтерне. См. (414), с. 327, 365. И к 1929 г. его встречи с ними были так же конспиративны и бесполезны, как и свидания с Каменевым. См. об одной из таких встреч в (393), с. 653-659. Томский позднее в печальных тонах описывал затруднительное положение правых и ограничения, накладываемые на них „единством партии и партийной дисциплиной”. (234), с. 250; а также (278), I, с. 260.

235. Смилга, цит. в (353), с. 451.

236. Следующие лица, например, относились к числу провинциальных партийных секретарей в 1928-1929 гг., ранее работавших в сталинской центральной бюрократии: Бауман (Москва), Каганович (Украина), И. Варейкис (Центрально-черноземная обл.), С. Сырцов (Сибирь), Б. Шиболдаев (Нижнее Поволжье), Н. Шверник (Урал), М. Хатаевич (Среднее Поволжье) и Ст. Косиор (Украина).

237. (433), с. 444-445.

238. Или как Сталин грозил пробухаринскому руководству американской компартии в мае 1929 г.: „Пока что у вас есть формальное большинство. Но завтра никакого большинства не будет и вы окажетесь в полной

изоляции...” См. Eudin and Slusser. Soviet Foreign Policy, I, p. 177. (См. прим. 71.)

239. Меморандум (Т 1897). См. также (197), с. 376-377 и Марьягин Г. Постышев. М., 1965, с. 79.

240. (277), с. 214. Об украинцах и ленинградцах см. (268), с. 67-68; Дробинцев В. и Думова Н. В. Я. Чвбарь. М., 1963. с. 48-50 и Стецкий в (210), 17 марта 1929 г.

241. Последнее обстоятельство вполне могло быть теми „особыми цепями”, которыми, по мнению Бухарина, Сталин держал Ворошилова и Калинина. См. (347), с. 329 и Writings of Leon Trotsky (1937-1938), (New York, 1970), p. 167-168; О полномочиях Сталина обследовать парторганизации см. высказывания Кагановича в (278), I, с. 153.

242. Один из грузинских большевиков в 1921 г., цит. в (269), с. 218.

243. Бухарин, цит. в (388), с. 208. Хотя это, вне сомнения, преувеличение, Бухарин, по всей видимости, сильно манкировал своими организационными обязанностями. См., напр., сетования Эмбера-Дро на то, что у Бухарина мало времени на коминтерновские дела. См. (391), с. 242.

244. Шацкий в The Revolutionary Age (New York), N. 7 (November 1, 1929), p. 16. То, что старшие члены ЦК видели расслоение в этом органе, ясно из бухаринских высказываний в меморандуме Бухарина-Каменева (Т 1897).

245. То, что это были ключевые парторганизации, можно понять из статьи „Подчиниться партии или капитулировать перед мелкобуржуазной стихией”, (210), 23 апреля 1929 г.; эта сталинская статья хвалила их за то, что они официально отвергли правых. Напомним, что кроме москвичей, Бухарин надеялся также на поддержку ленинградцев и украинцев. Он также относил к числу возможных союзников Андреева, секретаря на Северном Кавказе. См. меморандум. Сырцов, бывший партийным начальником в Сибири, где Сталин впервые применил свои „чрезвычайные меры” в 1928 г., в мае 1929 г. заменил Рыкова на посту председателя СНК РСФСР. См. выше, прим. 178. По-видимому, эта неофициальная олигархия формально собиралась вместе лишь один раз — на расширенном заседании Политбюро в январе-феврале 1929 г., осудившем оппозицию.

246. См., напр., характеристику Кирова как „военно-политического деятеля” в „Посланцы партии. Воспоминания” (М., 1967, с. 181) и заявление Молотова о том, что „подавляющее большинство из нас — не теоретики, а практики” ((14), № 3, 15 февраля 1931, с. 20). Многие из них были, как и Сталин, кавказцами, жесткими, крепко сбитыми усачами, немало пережившими в годы гражданской войны. Об их политическом облике и характере см. Микоян А. И. Дорогой борьбы, т. 1., М., 1971. Многие другие, в том числе Киров, выдвинулись в Закавказье и отчасти отождествлялись с ним.

247. Благодаря своей политической роли и гибели от руки убийцы Киров служит важным примером. До того, как он возглавил ленинградскую парторганизацию после поражения Зиновьева в 1926 г., Киров руководил азербайджанской партийной организацией и имел тесные связи с закавказскими сторонниками Сталина. Обычно считают, что он был верным сталинистом и что в 20-е гг. ленинградская парторганизация твердо стояла за генсека. Эта точка зрения представляется менее убедительной в свете данных о том, что в 1926 г. Киров сопротивлялся попыткам Секретариата диктовать кадровую политику в Ленинграде. (См. „Вестник Ленинградского университета”, 1968, № 8, с. 82-83.) Можно понять надежды Бухарина на ленинградцев в 1928 г. ввиду видного положения его сторонников в Ленинграде, особенно Стецкого, Петровского и профсоюзного руководителя Ф. Угарова, а также ввиду поразительного отсутствия каких-либо указаний на то, что сам Киров играл какую-то роль в антибухаринской кампании до апреля 1929 г., когда исход борьбы уже вполне определился (у меня, однако, не было доступа к ленинградской печати). Вместо этого Киров, по-видимому, стоял в стороне от конфликта на про-

тяжении критических месяцев его развития. Хотя относительно его взглядов в 1928 г. ясности нет, известно, что он назвал индустриальный план Сталина „нереальным”. (139), с. 109. По всей видимости, сталинское недовольство выразилось в двух неожиданных нападках на ленинградскую парторганизацию (и, естественно, на самого Кирова) — одной на ее газету и второй — на ее Контрольную комиссию в 1928 и в 1929 г. См. речь Куйбышева в (210), 25 сентября 1929 г.; Кр а с н и к о в в С. В. С. М. Киров в Ленинграде. Л., 1966, с. 49-56. и (210), 4 сентября 1929 г.

248. (4), с. 220. Сталинисты не без оснований регулярно изображали Бухарина „главным лидером и вдохновителем оппозиции”. (210), 19 ноября 1929 г. Их утверждения о том, что правые „пытались сделать тов. Бухарина вождем нашей партии”, представляются менее убедительными. См. „Бюллетень Третьей ленинградской областной конференции ВКП (б)”, № 3 (Л., 1930), с. 14. Несмотря на свое более видное положение, Бухарин никогда не старался возвыситься над Рыковым и Томским, которые сами были „практиками”. Как можно судить по его пробным шарам в адрес Зиновьева и Каменева, он все еще мыслил понятиями коллективного руководства.

249. О его обвинениях по поводу „постоянных уступок” см. (163), с. 159-170. Предложение Рыкова и Бухарина о ввозе зерна для облегчения кризиса было особенно непопулярным и подверглось критике как „сильнейший удар по нашим темпам индустриализации”. (83), с. 106; (92), № 5, май 1969, с. 30.

250. Бухарин в (279), I, с. 33. Или, как выразился бухаринец Айхенвальд, „лучше быть правым уклонистом, чем безнадежным идиотом”. Цит. в (210), 3 ноября 1929 г. В другом месте Бухарин ответил призывом к „земному оптимизму”. (210), 12 июня 1929 г.

251. Квинтэссенцией союза между Сталиным и молодыми партийно-комсомольскими лидерами являлась группа радикальных противников Бухарина, называвшаяся иногда „молодыми сталинскими левыми”, (436), с. 259. Они были сталинскими протеже с начала 20-х гг. Наиболее известны среди них: Ломинидзе, Шацкий и Ян Стэн; кроме того, к ним принадлежали коминтерновские союзники вроде Г. Неймана. Некоторые из них вскоре разочаруются и порвут со Сталиным. См. (210), 1 декабря 1931 г.; и В u b e r-Ne u m a n n M a r g a r e t e Kriegsschauplatze der Weltrevolution (Stuttgart, 1967), p. 282-284.

252. Куйбышев, цит. в (92), 1967, № 10, с. 76; (147), с. 539; (195), с. 174.

253. По всей видимости, наиболее действенным было сталинское обвинение в том, что правые проповедают философию пессимизма. См. выше, прим. 194 и 250. Оно выдвигалось также и против бухаринских взглядов по поводу Коминтерна, особенно против его утверждений, что революция в Европе невозможна без всеобщей войны. См., напр., „Комсомольская правда”, 17 ноября 1929 г.

254. Для партийной олигархии главным вопросом в развернувшейся борьбе была проблема промышленного роста и планирования. Коллективизация, которую они, подобно Бухарину, все еще рассматривали как постепенное, добровольное предприятие, была делом второстепенным, а разногласия по поводу Коминтерна вообще, видимо, волновали их очень мало. То обстоятельство, что они не отвергали нэпа, подчеркивалось в передовице по поводу разгрома правых: „Нэп есть единственно правильная политика социалистического переустройства”. (210), 28 апреля 1929 г. И вообще, некоторых сталинских сторонников все еще тревожили иные его доводы, в том числе идея обострения классовой борьбы, равно как и его энтузиазм по поводу „чрезвычайных мер”. См., напр., сомнения редакции в (135), 23 апреля 1929 г. и высказывания Эйхе в (277), с. 91.

255. См., напр., (243), 11, с. 207, 246, 279-281.

256. См., напр., М и к о я н А. И. Мысли и воспоминания о Ленине. М., 1970. с. 145, 196, 233 и *Khrushchev Remembers*, p. 27, 50.

257. См. о заседаниях пленума (392), IX (1929), № 40-41, 44-49, 51, 53, 55, 57, 59. Новая линия была выдвинута Молотовым, Куусиненом и Мануильским. Сталин на пленуме не выступал, однако он объявил о новом курсе в двух речах, произнесенных в мае. См. С т а л и н И. О правых фракционерах в американской компартии. М., 1930.

258. Об этих событиях см. (410), с. 375, 453.

259. К о з л о в а Л. Московские коммунисты, с. 43. Советские статистические данные о волнениях в деревне, характеризовавшихся как „кулацкие террористические акты”, отрывочны и противоречивы. Особенно трудно достать сравнительные данные за 1928 и 1929 гг. Например, сообщают только, что в 1929 г. „кулацких террористических актов” на Украине было в четыре раза больше, чем в 1927 г. (92), 1966. № 2, с. 101.

260. Наиболее важным исследованием о политике по отношению к крестьянству и событиях в деревне в 1929 г. является (410). гл. XIV-XVII.

261. (392), IX (1929), с. 745.

262. „Советский энциклопедический словарь”, т. 1. М., 1931, с. 221. До того этот пост занимал Каменев. См. „Политический словарь”. Л., 1929, с. 660.

263. (210), 12 июня 1920 г.

264. (43), с. 2-3 и (747), с. 3, 5. Страницы приведены из публикаций в (210), 26 мая 1929 г. и 3 июня 1929 г.

265. Сообщают, что все трое жаловались на свое „неравноправное положение” и просили „легализовать” их статус. См. (158), II, с. 662.

266. (82), № 1-2, 1929, с. 14.

267. В июне и июле два лидера „молодых сталинских левых”, Шацкий и Стэн (см. выше, прим. 251) выступили с протестами против не критического партийного послушания, прибегая примерно к тем же доводам, что и Бухарин в начале июня. См. „Комсомольская правда”, 18 июня 1929 г. и 26 июля 1929 г. По всей видимости, их протесты отражали растущее беспокойство сторонников Сталина по поводу его социальной политики. Оба под давлением отказались от своих слов, — см. (210), 2 ноября 1929 г. и 12 ноября 1929 г., — но приняли участие в более серьезном митинге Сырцова и Люминидзе в 1930 г. Дополнительные данные о тревожных настроениях в органах госбезопасности, ЦК и Политбюро см. в (240), 14 июня 1929, с. 14 и 10 октября 1929, с. 14; а также (410). с. 460-461.

268. См. выше, прим. 248.

269. (304), гл. VI.

270. Нет смысла перечислять хотя бы несколько из сотен антибухаринских статей. Начиная с конца августа они регулярно появлялись в (210), (14), (153), „Комсомольской правде”, „Пропагандисте” и пр. Более обстоятельные нападки на его деятельность и теоретические произведения печатались регулярно в ВКА, ПЗМ и (213). В качестве примеров брошюр и книг см.: С о р и н В. О разногласиях Бухарина с Лениным. М., 1930; (165); (1) и (81).

271. Как жаловались его критики-сталинисты. См. (128), с. 91, 101, где один из них сообщает, что по сравнению с Бухариным Троцкий был в теоретических вопросах „quantité négligeable”. См. также высказывания Стецкого в (278), I, с. 488.

272. Ульянову из „Правды” убрали. А Крупская, хотя и оставалась номинально заместителем наркома народного просвещения, потеряла, тем не менее, всякую власть. См. (264), с. 259. См. также (210), 26 февраля 1964 г. О поддержке, оказываемой Бухарину Крупской, см. выше, прим. 172.

273. Это обстоятельство теперь подчеркивается советскими историками коллективизации. См. (12), с. 21; (110), с. 42 и (185), с. 194. Кампания оказалась такое же действие на сторонников сбалансированного про-

мышленного развития. См. Г. Сорокин в (210), 1 декабря 1963 г. См. признание, что „антиколхозные настроения” были широко распространены в партии, в (210), 28 августа 1929 г. и (163), с. 142.

274. См. выше, прим. 11 и (1), с. 249.

275. См. 397, часть IV; (373), с. 236-253 и (311).

276. Это обстоятельство теперь подчеркивается несколькими советскими историками в связи с массовой коллективизацией. См., напр., Ивницкий и Н. А. О критическом анализе источников по истории начального этапа сплошной коллективизации (осень 1929—весна 1930), (139), 1962, № 2, с. 193-198; (12), с. 78-79. Ивницкий называет сталинскую группу „узким кругом людей” (с. 196). См. также (410), гл. XV-XVII.

277. (243), 12, с. 130-132.

278. (410), с. 460-461.

279. (83), с. 246-249; (14), 1930, № 2, с. 7-26; (158), II, с. 662-663.

280. Резкие нападки на Бухарина на закрытых заседаниях, стенограммы которых не опубликованы, обычно широко цитируются советскими историками на основании архивных материалов. Кроме нападок, исходящих от Сталина и его окружения, я не обнаружил на этом пленуме выпадов с чьей-либо стороны.

281. (410), с. 458-465; (158), II, с. 620-632 и 642-656. Левин говорит, что резолюции пленума полностью отражали линию Сталина—Молотова, однако его блестящее новаторское исследование содержит убедительные доказательства противоположной точки зрения (которую принял я). Другие данные, в том числе рекомендации позднейших комиссий по коллективизации, дают основания полагать, что ведущие члены пленума после его окончания не считали 1930 г. официально установленной датой.

282. См. заявления Котова, Михайлова, Угланова и Куликова в (143), с. 187-192.

283. Там же, с. 193.

284. Там же, с. 196. Их последний сторонник в ЦК, ленинградец Ф. Угаров, капитулировал в тот же день.

285. (304), с. 155-156.

286. Бухарин высказал свою тревогу за них Б. Николаевскому. (422), с. 19. В октябре—ноябре в (210) регулярно появлялись злобные выпады против молодых бухаринцев. Айхенвальда, к примеру, связали с берлинскими эмигрантами и исключили из партии. См. (210), 18 ноября 1929 г. и 20 ноября 1929 г. Однако они продолжали доказывать, что Бухарин является „не правым уклонистом, а революционером-большевиком”. (210), 10 ноября 1929 г. После капитуляции Бухарина большинство из них подписало сходные покаянные заявления. См. (210), 25 ноября 1929 г.; 28 ноября 1929 г.; 3 декабря 1929 г. и 6 декабря 1929 г.

287. (242), 2-е изд. М., 1930, с. 10. См. также (210), 21 декабря и Попов К. Партия и роль вождя, „Партийное строительство”, январь 1930, с. 5-9.

288. См. об этих событиях (410), с. 465-519 и Вильцан М. А., Ивницкий Н. А., Поляков Ю. А. Некоторые вопросы истории коллективизации в СССР в (91), 1965, № 3, с. 3-25.

ГЛАВА 10

1. „Советская историческая энциклопедия”, т. 6, М., 1965, с. 25-34; (423), гл. VIII-IX.

2. (415), с. 196; Жуков Юрий. Люди 30-х годов. М., 1966.

3. См. (183), с. 136; (423), с. 209, 249-251, 260.

4. См. историю коллективизации в (410), с. 482-519; (423), гл. VII и (369), гл. XII.

5. (410), гл. XVII; (12), с. 31.

6. (423), с. 186; (185), с. 257-259; (197), с. 401.
7. Согласно официальному циркуляру, цит. в (369), с. 185-186.
8. См., напр., (340), с. 82-88, 367-369; (406), с. 128; (430), гл. XXV и (175), с. 211-213.
9. Подсчеты варьируются от чуть меньше 10 млн. до много больше. Позднее Сталин подтвердил У. Черчиллю цифру в 10 млн. См. *The Hinge of Fate* (New York, 1950), p. 498.
10. Как отмечал Преображенский. См. (234), с. 238.
11. (423), с. 180, 186. Сравнение всех сельхозпродуктов и государственных заготовок между 1926 и 1929 и 1930 и 1939 гг. показывает ту же закономерность. См. (175), с. 195-198.
12. Цит. в (457), с. 124.
13. Timasheff Nicholas S. *The Great Retreat* (New York, 1946); Daniels Robert. *Soviet Thought in the Nineteen-Thirties: An Interpretative Sketch*, *Indiana Slavic Studies*, ed. by Michael Ginsburg and Joseph Thomas Shaw, Vol. I (Bloomington, Ind., 1956), p. 97-135.
14. Полнейшим исследованием террора является книга Конквеста (343). Приводимые им статистические данные неизбежно приблизительны, однако, более точных у нас нет.
15. Там же. гл. VIII, XIII; *Conquest Robert, The Great Terror Revisited*, в (448), № 78, (1971), с. 92-93 и (175), гл. 6.
16. Как признавало Советское правительство после смерти Сталина. Об обвинениях против Бухарина см. (100), с. 298.
17. (343), с. 251.
18. Там же, с. 471; (141), т. V, кн. 1. М., 1970, с. 7.
19. См. анализ в (457), гл. 1. То обстоятельство, что между 1939 и 1953 гг. страной управляла не партия, косвенным образом признается некоторыми советскими историками. См. „Материалы к лекциям по курсу истории КПСС. Темы 11-13”. Под ред. П. П. Андреева. М., 1964, с. 43-44.
20. Первым основательным свидетельством закулисной борьбы явился документ, первоначально опубликованный под заголовком „Как подготовливался московский процесс. (Из письма старого большевика)” в (240), 22 декабря 1936, с. 20-23 и 17 января 1937, с. 17-24. Документ этот стал известен под названием „Из письма старого большевика”, ссылки даются на это название и сопровождаются указанием на соответствующий номер „Социалистического вестника” (СВ) – (240). О происхождении и авторстве письма см. ниже, прим. 143. Используя этот документ (в библиографии – (145)), Б. Николаевский дал исторический анализ борьбе в целом ряде статей, две из которых вошли в его (422). Опубликованные после 1953 г. советские источники в большой степени подтвердили и значительно дополнили версию событий, содержащуюся в письме. Многие из них цитируются в (343), гл. I-II. Конквест дает наиболее полную на сегодняшний день картину событий.
21. Хотя Калинин, очевидно, не был постоянным членом группы умеренных, он тоже выступал против чистки 1936-1939 гг. В ответ на его возражения против ареста партийных работников Сталин ответил: „Ты, Михаил Иванович, всегда был либералом...” Толмачев А. Калинин. М., 1963, с. 226-227.
22. „Очерки истории Коммунистической партии Грузии”, ч. 2. Тбилиси, 1963, с. 105. Возражал глава украинской парторганизации Косиор. „Краткая история СССР”, ч. 2. М.–Л., 1964, с. 251-252. Калинин и Орджоникидзе критиковали сталинский рупор – „Правду” за подстрекательство к перегибам. (100), с. 299-300. См. сталинскую статью, объявлявшую передышку и содержащую обвинения в адрес местных работников, в (243), 12, с. 191-200, а о ее происхождении см. с. 212-213. Сталин и его сторонники и в дальнейшем обвиняли во всем местных работников. См., напр., Ворошилов К. На историческом перевале. М.–Л., 1930, с. 85.

23. (105), с. 272-288; (14), 1931, № 21, с. 22-47; (175), с. 283-284.
24. Например, достаточно ясно, что Ломинидзе выражал мнение большинства кавказских секретарей, а Сырцов — многих администраторов в центральном правительстве и что их поддерживал ряд комсомольских руководителей. См. (210), 2 декабря 1930 г. и выше, прим. 23. К 1932 г. в партийных кругах господствовало мнение, что Сталин ведет страну в тупик. (145) в (240), 22 декабря 1936, с. 21. Также достаточно ясно, однако, что сталинское обвинение в существовании их совместного конспиративного „блока” было лживым.
25. (175), с. 311-312. О том, как он смотрел на угрозу самому существованию режима, см. ниже, прим. 66.
26. (175), с. 278; (268), с. 101, 112-115; „Новый мир”, 1967, № 1, с. 40, 66.
27. См., напр., дело А. Назаретяна, описанное в (210), 17 ноября 1964 г.
28. (145) в (240), 22 декабря 1936, с. 21.
29. Неопубликованная докторская диссертация: *Cocks Paul V. Politics of Party Control (Harvard University, 1968)*, p. 173-174, 493-494, 517-523.
30. (343), с. 28-29; (175), с. 248-250. Их, скорее всего, поддерживало большинство кандидатов в члены Политбюро, включая Г. Петровского, чей сын был замешан в деле Рютина. (210), 11 октября 1932 г.
31. 25 сентября 1936 г. в секретной директиве, по сути дела открывшей большой террор. Сталин упомянул о рютинском деле и заявил, что органы госбезопасности „отстали на четыре года” в деле разоблачения врагов народа. Цит. в (403), с. 23. (Это англ. издание доклада Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС.)
32. (145) в (240), 17 января 1937, с. 19; (175), с. 315-318 и *Shanlian L. "Cult of An Individual", Soviet Studies in Philosophy (Summer 1966)*, p. 32. По сообщению Медведева, из 1966 делегатов XVII съезда 270 проголосовали против Сталина и лишь трое — против Кирова. Имена голосовавших против генсека неизвестны, однако, одним из них был, кажется, украинский руководитель и кандидат в члены Политбюро Петровский. См. Бега Ф. и Александров В. Петровский. М., 1963, с. 303 и см. выше, прим. 30.
33. (145); (422), с. 69-97.
34. (369), с. 185-186; (422), с. 90-91, 95-96; (145) в (240), 17 января 1937, с. 23.
35. (145), в (240), 22 декабря 1936, с. 22; (234), с. 8-36, 251-259.
36. Согласно отредактированной стенограмме Бухарина наградили аплодисментами. (234), с. 129. Согласно (210), 31 января 1934 г., аплодисменты были „продолжительными”.
37. Возможно даже, что на этом пленуме Сталин утратил титул генсека. (422), с. 92.
38. Там же, с. 135.
39. (145) в (240), 22 декабря 1936, с. 22. См., напр., его высказывания о сохранявшейся опасности со стороны внутреннего врага в его речах в ЦК в январе 1933 и на XVII партсъезде. (375), с. 54-56, 76-78 и (243), 13, с. 349-351.
40. (343), с. 38-40, откуда я и цитирую, и (175), с. 316-317.
41. (145) в (240), 17 января 1937, с. 19.
42. (343), гл. 2; (175), гл. 5.
43. См. (108), с. 11.
44. (343), с. 82-84, 98-99, 185-191; (175), с. 379-385.
45. О чем свидетельствовали, например, символическая роль и затем роспуск Общества старых большевиков в мае 1935 г.
46. (304), с. 171. О том же см. *Tokaeв G. A. Comrade X (London, 1956)*, p. 62. Это, видимо, относилось и к иностранным коммунистам. См. *Wicks H. M. Eclipse of October (Chicago, 1957)*, p. 261.

47. Так, даже во время кампании очернения Бухарина в 1929-1933 гг., недругам приходилось признавать его прошлые "заслуги" и былую популярность. См., напр., „Партийное строительство”, 1929, № 2, с. 9-10; ВКА, кн. 34, 1929, с. 20 и (278), I, с. 420, 515.

48. (278), I, с. 488 и о том же с. 411; (93), с. 71. Также см. выше, гл. 9, прим. 271.

49. (210), 27 мая 1930 г.; (278), I, с. 244-245.

50. (105), с. 177, 247-249. О группе Смирнова см. (158), III, с. 199. Анализ содержания нападок „Правды” на оппозиционные проявления в мае-июне 1930 г., показывают, что 85% недостатков зачислялись так или иначе в разряд „правых”. (82), № 14, с. 5-6. Как отмечал Сталин, даже экономическая оппозиция левых стала теперь в большей степени „правой”. (243), 13, с. 363.

51. (278), I, с. 324 и о том же с. 207, 248. См. подобные же признания широкого распространения правых настроений в 1930-1933 гг. в (14), 1930, № 21, с. 46. Особенно сильны они были в Москве. См. (210), 26, 29, 31 мая 1930 г. См. также (240), 14 июня 1930, с. 15 и (82), № 34, 1933, с. 32.

52. (82), № 19, 1930, с. 18.

53. (145) в (240), 22 декабря, 1936, с. 21.

54. [S z a m u e l y T.], „The Elimination of Opposition Between the Sixteenth and Seventeenth Congresses of the CPSU”, *Soviet Studies* (January 1966), p. 321.

55. „Великая реконструкция”, (210), 19 февраля 1930 г. Его слова немедленно подверглись критике. (14), 1930, № 7-8, с. 153-157.

56. (80), с. 341-345. Статья „Финансовый капитал в мантии папы” первоначально появилась в (210), 7 марта 1930 г. Аналогия, проведенная Бухариным между Сталиным и иезуитами, была вполне прозрачна. Бертрам Вульф первым из исследователей обратил внимание на важность статьи. (464), с. 36-37.

57. Гайсинский (105), с. 253.

58. См. (422), с. 24 и (82), № 19, 1931, с. 18, где дата неясна.

59. (278), I, с. 246, 367. Ходили слухи, что Бухарин был болен во время съезда, однако, как указывали сталинисты, это не помешало ему выступить с письменным заявлением.

60. „Заявление Н. Бухарина в ЦК ВКП (б)”, (210), 20 ноября 1930 г. О характере переговоров можно судить по версии Молотова в (14), 1931, № 3, с. 17-22; Кагановича в (210), 30 декабря 1930 г. и из кн. (105), с. 302-306.

61. (14), 1931, № 3, с. 18.

62. Рютинская группа, например, критиковала Бухарина в этой связи. См. (82), № 31, 1932, с. 23 и (244), с. 151.

63. Будущие члены умеренной фракции Политбюро принимали активное участие в опорочивании Сырцова и Ломинидзе. См., напр., речь Кирова в (210), 2 декабря 1930 г.

64. Печать теперь угрожала Бухарину исключением. (210), 4 ноября 1930 г. Столь же зловещий оттенок имело то обстоятельство, что бухаринские взгляды связывались со взглядами подсудимых на проходившем в 1930 г. процессе спецов. См. (210), 9 и 10 октября 1930 г. и „Пропагандист”, 1930, № 3-4, с. 1-9.

65. См. его слова в (244), с. 341 и (422), с. 18.

66. (244), с. 340, 686; (234), с. 124-125; (306), с. 99. Один советский историк заключает, что сталинская политика в 1929-1933 гг. создавала „угрозу самому существованию диктатуры пролетариата”. См. „Очерки истории коллективизации”, с. 45.

67. (80), с. 151.

68. См. его ретроспективные замечания в „Речь тов. Бухарина на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б)”, (210), 14 января 1933 г.

69. Интересным примером публичного поведения Бухарина был его

отказ присоединиться к ритуалу восхваления Сталина и признать его вождем и вдохновителем всех достижений страны. В 1930-1932 гг. он вообще редко упоминал о Сталине, говоря вместо этого о „руководстве нашей партии... и ее Центральном Комитете“. Когда ему все же приходилось признать роль Сталина, он предпочитал скромную формулировку: „ЦК во главе с т. Сталиным“. См., напр., (80), с. 304 и (233), с. 76, 80. О его предостережениях специалистам см. (80), с. 242, 290; а иное толкование его речи см. в (379), с. 186-187.

70. Он был главой академического Института истории естественных наук и техники. ВОКС, т. V, 1933, с. 18. Его роль обсуждается в (379). О лондонском конгрессе и его посещении см. его доклад в *Science at the Cross Roads* (London, 1931), p. 1-23; „Science and Politics in the Soviet Union“, *New Statesman and Nation* (July 11, 1931), p. 37-38. См. также изложение событий в *Crowther J. G. Fifty Years with Science* (London, 1970), p. 76-80; *Science at the Cross Roads* (2nd ed.: 1971), p. xi-xxix; *VKA*, № 8-9 (1931), p. 93-100; *Holmes Colin. Bukharin in England, Soviet Studies* (July 1972), p. 89-90. О том, как он принимал в СССР западных ученых, см. в *Crowther*, p. 86; *Huxley Julia n. A Scientist Among the Soviets* (New York, 1932), p. 64. См. сборник его статей (80). Его журнал (239), известный также как „Сорена“, начал выпускаться в 1931 г. Позднее журнал подвергался критике; говорилось, что он находится в плену „буржуазной идеологии“. (210), 8 февраля 1937 г.

71. Две его картины выставлялись в 1931 г. (461), с. 185. Отрывок из его работы о Марксе был напечатан в 1933 г. в (77).

72. Составлено на основании нижеследующего: (425), с. 280; (414), с. 279-280, 388-389; (302), с. 30; „Мемуары Якира“ в „Русская мысль“, 28 октября 1971 и „Посев“, июнь 1969, с. 59.

73. См. (80) и его „Некоторые мысли о советской живописи“, (135), 11 июля 1933 г.

74. (77), с. 79 и критика Е. Б. Пашуканиса в ВКА, 1933, № 5, с. 40-56.

75. *Graham Bukharin and the Planning of Science, The Russian Review* (April 1964), p. 135-148; (379), с. 45, 56-67. Особенно см. бухаринские сообщения в (80), с. 236-305 и „Техническая реконструкция и текущие проблемы научно-исследовательской работы“, (239), 1933, № 1, с. 5-35.

76. (80), с. 276. Он регулярно доказывал необходимость „технической революции“. См. (210), 15 декабря 1929 г.; (210), 19 февраля 1930 г.; „Техника и экономика в плановом хозяйстве“, (125), 20 марта 1930, с. 2-4; (80), с. 9-34, 64-107, 211-305; (233), с. 76-80; „Мировой кризис, СССР и техника“, (239), 1933, № 1, с. 5-35 и „Перестройка управления и проблемы научно-технического обслуживания промышленности“, (210), 4 августа 1933 г.

77. (80), с. 291-298.

78. (239), 1932, № 9-10, с. 3. Он выступал на XVII партконференции в 1932 г. как представитель наркомата. (233), с. 75-80.

79. (209), вып. 2, с. 286; (233), с. 138.

80. (210), 14 января 1933 г.

81. Слепков, Марещкий и Петровский. (210), 11 октября 1932 г.

82. (422), с. 74-75. Опубликованная стенограмма пленума лишь намекала на возникшие там разногласия. Ср., напр., речи Сталина и Орджоникидзе в (375).

83. (210), 4 августа 1933 г. и его (22), 1933, № 7-8, с. 117-123. Немаловажным признаком его нового положения явилась его первая статья „Знамя науки в руках пролетарской диктатуры“, (135), 1 мая 1933 г.

84. О Кирове см. выше, гл. 9, прим. 257.

85. Однако они не остались незамеченными. Как отмечал Сталин на XVII партсъезде, взгляды „одной части членов партии“, призывавших к послаблениям во всех областях, „как две капли воды похожи на взгляды правых уклонистов“. (243), 13, с. 350-351.

86. (210), 11 октября 1932 г.; (178), с. 227; Бега и Александров. Петровский. М., 1963, с. 303.

87. См. выше, прим. 36.

88. (145) в (240), 17 января 1937, с. 19. Назначение его, датированное 21 февраля, было объявлено в (135), 22 февраля 1934 г.

89. „Михаил Кольцов, каким он был”. М., 1965, с. 97.

90. Наиболее хорошо документированным примером его помощи страдающим писателям является случай трагически погибшего впоследствии О. Мандельштама. См. (418), с. 22-23, 112-118, 136, 145. Он также помог Эренбургу и П. Романову. (364), с. 235; *Zavalishin Vyacheslav. Early Soviet Writers* (New York, 1958), p. 281.

91. (202), с. 479-503, 573-577, 671.

92. Г л и н к а Г л е б. На путях в небытие. (189), XXXV, 1953, с. 136; (306), с. 106-107 и Regler G. *The Owl of Minerva* (New York 1960), p. 208; Berger J. *Nothing But the Truth*, p. 106-107. Бухарин ответил на „ожесточенные нападки”, которым подверглась его речь, в своих заключительных замечаниях и в отдельном заявлении, сделанном позднее на съезде. (202), с. 573-577, 671. О съезде и его роли см. также Коряков М. Первый съезд, „Новое русское слово”, 10, 13 и 17 июня 1971 г.

93. (210), 17 мая 1937 г. Даже в то время отношение сталинистов к съезду явно отличалось от бухаринского. См. передовицу в (210), 1 августа 1934 г.

94. (135), 8 февраля 1935 г.; (422), с. 22.

95. (422), с. 22; Токаев G. A. *Betrayal of an Ideal* (London, 1954), p. 3. Бухарин сам подчеркивал значение этих положений. См. его „Конституция социалистического государства”, (135), 14 июня 1936 г. и 15 июня 1936 г. Кроме того, существуют отрывочные свидетельства о том, что Бухарин думал об эволюции к двухпартийной избирательной системе или хотя бы выборам с двумя списками кандидатов. См. (422), с. 15-16 и Токаев. *Comrade X*, p. 43.

96. (145) в (240), 22 декабря 1936, с. 20 и в (240), 17 января 1937, с. 23 и Бухарин, цит. в (422), с. 22.

97. См. воспоминания анонимного свидетеля редакторской деятельности Бухарина в рукописном журнале „Политический дневник”, № 5, апрель 1969, с. 40 и Crowther. *Fifty Years with Science*, p. 143. О репутации газеты см. (306), с. 105 и номер газеты „Таймс” (Лондон), 16 марта 1938, с. 16.

98. (100), с. 270.

99. См. разбор проблемы в (145), в (240) от 17 января 1937, с. 21-22. (Бухарин был либо автором, либо главным источником „Письма”.)

100. Там же, с. 23. На XVII партсъезде он назвал Сталина „славным фельдмаршалом пролетарских сил”, что было довольно странным эпитетом в большевистской среде, как намекнул и сам Бухарин два месяца спустя, когда он хвалил президента Михаила Калинина за то, что тот не был „фельдмаршалом Гинденбургом”. (234), с. 129; „Калиныч”, (135), 30 марта 1934 г. В иных торжественных случаях он вообще не упоминал о Сталине, что было тогда довольно необычным упущением. См., напр., его статью по поводу первомайского праздника „Почему мы победим?”, (135), 1 мая 1934 г. Еще он нарочно говорил о Ленине словами, которые теперь предназначались для одного Сталина. См. „Наш вождь, наш учитель, наш отец”, (135), 21 января 1936 г. Его вклад в создание культа Сталина был менее сдержан позднее, когда его положение стало совсем опасным. См. его статью „Пирамида великих дел”, (135), 15 мая 1936 г.

101. (103), с. 145-153; Бухарин Н. Нужна ли нам марксистская историческая наука?, (135), 27 января 1936 г.

102. И это, несмотря на его членство в официальной комиссии, назначенной в начале 1936 г. для надзора за переписыванием учебников по

русской и советской истории. (184), с. 5, 11; (210), 4 марта 1936 г. В январе того же года он даже снова высказал традиционную отрицательную большевистскую точку зрения на царскую Россию, назвав ее „нацией Обломовых“. Это высказывание подверглось резким нападкам в (210), и Бухарин был вынужден от него отказаться. См. (135), 21 января 1936 г. и его „Ответ на вопрос“, (135), 14 февраля 1936 г. Столь же верна старому большевистскому мировоззрению была и его неподписанная передовица, вспоминаящая добрым словом не царистские, а „освободительные традиции“ России XIX в. „Великие традиции“, (135), 5 февраля 1936 г. Бухарин указывал на свое авторство этой статьи в (135), 14 февраля 1936 г.

103. (343), с. 111.

104. Во время своих бесед с Николаевским в Париже в 1936 г. Бухарин сообщил, что в дополнение к своим статьям он был автором серии неподписанных передовиц в „Известиях“, напечатанных особым шрифтом и касавшихся шедшей тогда борьбы по поводу политической линии. См. (381), с. XXXVII. Разбирая его философию в 1934-1936 гг., я не ссылался на эти статьи, поскольку, во-первых, авторство их не указано, и, во-вторых, идеи его и так достаточно ясны из многочисленных подписанных статей.

105. См. другой пример в Abramsky Chimen. Kamenev's Last Essay, *New Left Review*, N. 15 (1962), p. 32-38.

106. Strauss Leo. *Persecution and the Art of Writing* (Glencoe, Ill., 1952), Ch. II: Brandon S. G. F. Jesus and the Zealots (New York, 1967).

107. (167), IV, с. 373. Эзоповский язык в России разбирается в Sidney I. Ploss, ed., *The Soviet Political Process* (Waltham, Mass., 1971), p. 73-77.

108. В дополнение к прим. 83 и к (210), 14 января 1933 г. см. его статью „Мир, как он будет“ в (135), 7 ноября 1934 г. Также (234), с. 124-129; „Экономика советской страны“, (135), 12 мая 1934 г. „Суровые слова“, (135), 22 декабря 1934 г. и „Новый этап в развитии советской экономики“, (135), 12 октября 1935 г.

109. Генри Эрнст. Открытое письмо писателю Эренбургу, „Грани“, 1967, № 63, с. 198; Brandt Heinz. *The Search for a Third Way* (Garden City, N. Y., 1970), p. 70-71, 80. См. примеры давления со стороны коммунистов в пользу новой политики в „Из истории Коминтерна“. М., 1970, с. 104-136.

110. См. (438), с. 217-230; (422), с. 79-90; Kennan George F., *Russia and the West Under Lenin and Stalin* (Boston, 1960), ch. xix-xxi.

111. *Soviet Documents on Foreign Policy*, ed. by Jane Degras, Vol. III (London, 1953), p. 184. На эту речь, подтверждающую наличие противоречий в верхах по поводу нацистской Германии, мое внимание обратил Роберт Слассер.

112. (234), с. 13.

113. См. выше, прим. 110; Предисловие Такера к (381), с. XXXIII. См. также Fischer Louis. *Russia's Road from Peace to War* (New York, 1969), ch. xxii.

114. (77), с. 99; см. также (135), 1 мая 1933 г.

115. (234), с. 127-129.

116. См. „Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР“, (135), 6 марта 1934 г. и 18 марта 1934 г., а также 30 марта 1934 г. См. также „Выстрел принципа“, (135), 28 июня 1934 г.; (135), 7 ноября 1934 г.; (103), с. 151-152; „Мысли в годовщину Февральской революции“, (135), 12 марта 1935 г.; „Проблемы мира“, (135), 30 марта 1935 г.; „Второе рождение человечества“, (135), 1 мая 1935 г.; „Фашизм и война“, (135), 1 августа 1935 г.; „Философия культурного филлистера“, (135), 8 декабря 1935 г. и 10 декабря 1935 г.; „О геополитическом вояже“, (135), 15 февраля 1936 г.; (321); „Расширение совет-

ской демократии", (135), 1 мая 1936 г. (где он подчеркивает контраст между „буржуазной демократией" и фашизмом); и „Маршруты истории. Мысли вслух.", (135), 6 июля 1936 г. См. также путаное изложение его высказываний в частных беседах в (244), с. 210, 323, 376-377.

117. (135), 30 марта 1935 г. См. также (135), 28 июня 1934 г.; (135), 15 февраля 1936 г.; и также его работу "Imperialism and Communism," *Foreign Affairs* (July 1936); *The Soviet Union, 1922-1962: A Foreign Affairs Reader*, ed. by Philip E. Mosley (New York, 1963), p. 138-152.

118. (244), с. 210.

119. (234), с. 127; „Вся страна", (135), 20 июня 1934 г.; (135), 22 декабря 1934 г. (где он недвусмысленно говорит о „реформах"); (103), с. 145-153; „Некоторые итоги революционного года и наши враги", (135), 7 ноября 1935 г.; „Опрокинутые нормы (внутреннее обозрение)", (135), 1 января 1936 г.; (135), 1 мая 1936 г. и (135), 6 июля 1936 г. В этой связи он сказал Николаевскому, что за рубежом союз коммунистов с социалистами имеет большое положительное влияние на развитие событий внутри СССР. Н и к о л а е в с к и й Б о р и с. Четверть века назад, „Новое русское слово", 6 декабря 1959, с. 2.

120. (135), 6 марта 1934 г.; (321), с. 8; (135), 14 июня 1936 г. и Бухарин, цит. в (422), с. 19.

121. (135), 8 декабря 1935 г. и 10 декабря 1935 г.; (321) с. 23. Важное значение его статьи по поводу книги Бердяева „Судьба человека в современном мире" (Нью-Йорк, 1935) отмечено Михаилом Коряковым в „Новом русском слове" от 29 июля 1917 г., с. 3.

122. Бухарин, цит. в (422), с. 16-17 и его статьи в (135), 1 мая 1936 г. Также, в дополнение к цитируемым выше источникам, прим. 120 и 121, см. (135), 7 ноября 1934 г., 1 мая 1935 г. и 1 января 1936 г.

123. (321), с. 22. О культе руководства см. также его тонкое сопоставление в „Производственный конвент великой пролетарской революции", (135), 15 ноября 1935 г.

124. *Bro wn E d w a r d J. Russian Literature Since the Revolution* (New York, 1969), p. 208. См. также „Против буржуазного либерализма в художественной литературе". М., 1931, особенно с. 25-27, 102-103.

125. Очевидно, эта мысль начала оформляться у него еще в 1929 г. См. его разбор проблемы отчуждения в ранних рукописях Маркса, (210), 15 декабря 1929 г.; и его облеченные в эзоповские выражения нападки на коллективизацию в (80), с. 335-353; и его ссылку на гуманизм Горького в статье „Новое человечество", (210), 17 октября 1932 г.

126. (135), 10 декабря 1935 г.; 1 января 1936 г. См. также (135), 30 марта 1934 г. и 12 мая 1934 г.; (202), с. 499-501; (135), 7 ноября 1935 г.; 8 декабря 1935 г. и (321), с. 12-25.

127. (135), 7 ноября 1935 г. и Бухарин, цит. в (422), с. 16-17. О проводимом им резком различии между социализмом и фашизмом см. также (135), 6 марта 1934 г.; 18 марта 1934 г. и 30 марта 1934 г.; 8 декабря 1935 г. и 10 декабря 1935 г. Также см. (321).

128. См., напр., (135), 6 марта 1934 г.; 18 марта 1934 г. и 30 марта 1934 г., а также (321). См. (135), 10 декабря 1935 г.

129. (234), с. 129; (135), 6 марта 1934 г.

130. (135), 8 декабря 1935 г.

131. Цит. в (422), с. 15, 18-19.

132. (135), от 1 января 1936 г.. Точно так же см. (135), 12 мая 1934 г.; 12 октября 1935 г.; 7 ноября 1935 г. и 15 ноября 1935 г.

133. (364), с. 289. Бухарин опубликовал три статьи по поводу убийства Кирова в (135), 2, 6 и 22 декабря 1934 г. Особый интерес представляла последняя статья. Хотя ему пришлось предположить связь между партийными оппозиционерами и этим преступлением, Бухарин закончил статью на совершенно иной ноте. Цель убийства, писал он, состояла в том, чтобы сорвать реформы, сорвать „внутренний курс". Вопрос заключается в том, указывал Бухарин, „кому на пользу" это убийство. Возможно,

что Бухарин узнал истинную подоплеку преступления от главы органов госбезопасности Ягоды, который был одним из немногих, знавших правду, и с которым Бухарин был, по всей видимости, еще дружен. См. (418), с. 22-23, 82.

134. (343), с. 57-58, 85-89.

135. (422), с. 14.

136. (302), с. 115, 140 и ее „Только один год” (с. 147, 166 по нью-йоркскому изд. 1969 г.)

137. (109), с. 181. Напр., по имеющимся сообщениям, он сказал, что бурные аплодисменты, которыми его наградили на писательском съезде в 1934 г., „подписали мой смертный приговор”. (306), с. 107.

138. Цит. в (175), с. 642.

139. *Humbert-Droz Jules. Mes relations avec le groupe des droiti-ers et des „Versohnler”* (неопубликованный документ 1935 г., хранящийся у А. Г. Леви); (210), 10 февраля 1936 г.

140. (109), с. 182.

141. (422), с. 9.

142. (109), с. 182; (430), с. 325. См. также: *Malraux Andre. Fallen Oaks: Conversations with De Gaulle* (London, 1972), p. 103.

143. Хотя надежность документа (145) как источника можно считать вполне подтвержденной, авторство его остается неясным. Первоначально он появился в меньшевистском (240) (см. выше, прим. 20) и был подписан инициалами “Y. Z.”. В 1959 г. Николаевский подтвердил слухи о том, что он написал (145) на основе своих бесед с Бухариным в марте-апреле 1936 г. и дополнил его сведениями, полученными от других корреспондентов. Он сообщил, что поначалу составил документ в форме диалога, но по настоянию редактора переработал его в повествование от первого лица. См. „Новое русское слово”, 6 декабря 1959, с. 2 и (240), декабрь 1959, с. 246. Николаевский впоследствии подробнее изложил эту версию в (422), с. 3-25. Как отметил Роберт Слассер, эта версия, однако, плохо соответствовала редакционному примечанию, сопровождавшему первоначальную публикацию, и данным, содержащимся в самом документе, который описывал закулисные события в советском руководстве уже в сентябре 1936 г. См. разбор документа, данный Слассером в (438), с. 221-222 и *Slavic Review* (September 1966), p. 530-531. Напр., можно предположить, что лишь Бухарин и Рыков знали о прекращении следствия по их делу в сентябре 1936 г. „даже без допроса... обвиняемых”. (145) в (240) от 17 января 1937, с. 24. Такие несоответствия могут быть объяснены разными гипотезами; Слассер, в частности, предполагает, что Бухарин (или, можно добавить, Рыков) переправили Николаевскому текст документа или дополнительные материалы в конце 1936 г. Этой версии придает вес любопытное упоминание (быть может, тайная подпись Бухарина) о мальчишках из детства автора, встречающихся и в бухаринской „Автобиографии”, (17), с. 53. Как бы то ни было, нет сомнения в том, что Бухарин в той или иной форме имел отношение к этому документу.

144. (109), с. 182; (422), с. 6. Было и другое соображение. Хотя беременная жена выехала с Бухариным, он оставил заложниками своего престарелого отца, первую жену Надежду Лукину, вторую жену Эсфирь Гурвич, 11-летнюю дочь Светлану, брата Владимира с семьей и других родственников. Почти все родственники Бухарина провели многие годы в лагерях и ссылке. Лукина была арестована в 1937 г. и погибла в 1940 г. Отец Бухарина умер в 1940, Владимир — в 1979 г.

145. (135), 1 мая 1936 г.

146. „Певец разума”, (135), 20 июня 1936 г.; «Горький — последнее „прости”», (135), 23 июня 1936 г.

147. (135), 6 июля 1936 г. Ее значение отмечалось другими авторами. См., напр., предисловие Такера к (381), с. 33-37 и (399), с. 94-96.

148. (244), с. 323, 376-377.

149. (135), 6 июля 1936 г.; (422), с. 25.
150. (339), с. 55-56, 68, 73, 115-116 и (210), 22 августа 1936 г.
151. (210), 23 августа 1936 г. и Serge Victor. *Twenty Years After* (New York, 1937), p. 226.
152. См. (210), 22, 23 и 26 августа 1936 г.
153. (343), с. 151-153.
154. Исследователи спорят о том, был ли это пленум ЦК в сентябре, или серия заседаний Политбюро, или еще что-нибудь. См. обсуждение там же, с. 153 и *Slavic Review* (December 1967) p. 665-677. О решении по поводу Испании см. Слассер, цит. выше, прим. 110.
155. Предисловие к нью-йоркскому изданию книги Андрея Платонова „В прекрасном и яростном мире“ (Нью-Йорк, 1970, с. 8). Также из (145) в (240), 17 января 1937, с. 24. Бухарин ездил в Ташкент в августе. (244), с. 208.
156. Его последняя подписанная статья появилась 6 июля. Тон газеты заметно изменился с процессом Зиновьева в середине августа, хотя, как отмечает Слассер (см. выше, прим. 110), Бухарин и его коллеги еще до конца сентября могли написать одну-другую передовицу с осторожной критикой сталинской внешней политики. По крайней мере еще 7 ноября у Бухарина оставался известинский пропуск. (175), с. 338.
157. См. об этих событиях (343), с. 154-156.
158. (425), с. 280.
159. Цит. в (175), с. 338.
160. (210), 2 декабря 1936 г.; 12 и 15 декабря 1936 г. Некоторые данные (сообщенные мне частным образом) дают основания полагать, что в декабре 1936 г. состоялся, возможно, секретный, однодневный пленум ЦК, на котором сталинские сторонники открыто обвинили Бухарина и Рыкова в совершении уголовных преступлений. О проблеме документирования заседаний ЦК в 1936 г. см. выше, прим. 154.
161. (338); см. также (343), с. 164-185.
162. (175), с. 334. См. явное указание на то, что Бухарин содержался практически под домашним арестом в (418), с. 276. Выражение „последний рубеж“ принадлежит Конквесту (343), гл. VI.
163. (343), с. 185-192.
164. (175), с. 344; (191), с. 55 и Сталин, *Сочинения*. Под ред. Роберта Х. Мак Нила, т. 1, с. 194 (Стэнфорд, Калиф., 1967).
165. См. интервью с вдовой Бухарина, Анной Михайловной Лариной, в „Огоньке“ № 17 за 1988 г., с. 30-31.
166. (460), с. 45-46. Версия Уралова подвергалась сомнению, поскольку он, очевидно, дает неверную дату пленума, сообщая, что он проходил осенью 1936 г. (см. выше, прим. 154). Однако его версия заявления Бухарина подтверждается в нескольких отношениях другими источниками. См. (175), с. 345; *Writings of Leon Trotsky (1937-1938)* (New York, 1970), p. 128-129 и (343), с. 195. Она также весьма близка по тону и по духу цитированному выше письму Бухарина. Наконец, о вызывающем поведении Бухарина на пленуме официально сообщалось в то время. См. доклад Хрущева в (210), 17 марта 1937 г.
167. Цит. в (175), с. 345.
168. (343), с. 193-195.
169. (175), с. 345. См. опубликованное в „Огоньке“ интервью с Лариной, прим. 165; (244), с. 170.
170. В 1947 г. он вдохновил Мориса Мерло-Понти на его знаменитый философский трактат: *Merleau-Ponty Maurice. Humanisme et Tergueig* и снова вышел на поверхность уже в 1967 г. в фильме Жана Люка Годара „La Chinoise“. Кестлер писал, что Рубашов „по складу ума – сколок с Бухарина, а по внешности и характеру – синтез Троцкого с Радеком“. „The Invisible Writing“, (Boston 1955), p. 394. (См. также „Литературная газета“, 3 августа 1988 г.) На самом деле „склад ума“ и „характер“ Рубашова неотделимы друг от друга.

171. С тех пор некоторые западные и советские ученые доказывали, что он не сознался. См., напр. (304), гл. XXVIII; предисловие Такера к (381), с. 50-58; (399), ч. 2 и (175), с. 351-353. Среди тех, кто все понимал в то время, были один очевидец-англичанин, см. (416), с. 67-75 и Manes Sperber. См. (448), (лето 1969), с. 1010.

172. (244). См. свидетельства очевидцев в (416), с. 61-83 и *Duringy Walter. The Kremlin and the People* (New York, 1941), p. 76-81.

173. (416), с. 82 и книга Дюранти (см. прим. 172), с. 78.

174. См., напр., (244), с. 594-595. О проблеме прочтения стенограммы на разных уровнях см. (407).

175. (244), с. 551-555.

176. (425), с. 277.

177. (416), с. 68; (244), с. 577-578.

178. (175), гл. 8. О том же см. (343). гл. V, IX.

179. *Wat Alexander. The Death of an Old Bolshevik, Kultura Essays*, ed. by Leopold Tyrmand (New York, 1970), p. 72.

180. (175), с. 367-368; (425), с. 280-282; (244), с. 570, 688. Микоян позднее говорил американскому журналисту, что Бухарина не пытали. (343), с. 391.

181. (343), с. 142, 300-302; „Мемуары П. Якира” в „Русской мысли”, 28 октября 1971. По сравнению с заключенными, чьи жены делили с ними их революционное прошлое и знали, что им придется разделить политическую участь своих мужей, женатые на молодых женщинах оказывались в особенно тяжелом положении. И, разумеется, их дети были маленькими.

182. Как ясно из последнего письма Бухарина и его показаний на суде. См. (244), с. 427, 679, 688.

183. Там же, с. 688.

184. Там же, с. 333, 679.

185. Предисловие Такера к (381), с. 54-58.

186. (244), с. 688.

187. Предисловие Такера к (381), с. 55.

188. (425), с. 282; (244), с. 121, 678, 688-689; (399), с. 125-126.

Советское издание фейхтвангеровской апологии процесса — „Москва. 1937”, вышло в ноябре 1937 г.

На суде Вышинский пытался запугать Бухарина намеками, что его жена присутствовала на одной из конспиративных встреч. Бухарин твердо отрицал это. (244), с. 314-316.

189. (244), с. 687. Согласно одному сообщению, в тюрьме Бухарин писал книгу „о природе человека”. (306), с. 110. Неизвестно, сохранилась ли рукопись.

190. (416), с. 68.

191. (244), с. 331, 688.

192. Там же, с. 313, 388, 354, 368, 378, 446, 682.

193. Там же, с. 117-119, 343, 440, 680, 682. О Карелине и других свидетелях см. (416), с. 66.

194. (244), с. 678, 686-689. Следует помнить, что многие антисталинисты и антикоммунисты за границей с этим согласились.

195. См., напр., там же, с. 119-127, 169, 340. Также предисловие Такера к (381), с. 31 и (399), с. 128-130.

196. (244), с. 689.

197. Там же, с. 156, 331, 341.

198. Там же, с. 339, 341.

199. Там же, с. 377, 587; также с. 355, 357, 387-388, 572. И (135), 9 марта 1938 г., цит. в (175), с. 353.

200. (244), с. 377, 587.

201. „Нью-Йорк таймс”, 8 марта 1938 г., с. 1, 8; (416), с. 62-63. В качестве исключения следует упомянуть американского посла Джозефа Дэвиса, который, „очистив зерна от плевел — истину от лжи”, сообщил, что обвинения и признания были „вне всякого сомнения” истинны. После

начала войны посол Дэвис любил говорить, что процессы „уничтожили гитлеровскую пятую колонну в России”. См. Davies Joseph E. *Mission to Moscow* (New York, 1941), p. 269, 272.

202. „Нью-Йорк таймс”, 8 марта 1938 г., с. 8 и 13 марта, с. 30; (244), с. 604; (416), с. 74.

203. „Нью-Йорк таймс”, 13 марта 1938 г., с. 30. Следует, однако, отметить (хотя объяснить этого нельзя), что тот же самый корреспондент, Харольд Денни, написал затем о процессах: „В широком смысле они не инсценировки”. „Нью-Йорк таймс”, 14 марта 1938 г., с. 4.

204. Анонимный рецензент на книгу Каткова (399) в *The Times Literary Supplement* (January 29, 1970).

205. (244), с. 614; (210), 10 марта 1938 г.

206. (244), с. 700, 707; „Нью-Йорк таймс”, 16 марта 1938 г., с. 4. Троицкий усматривал „трагический символизм” в совпадении процесса с гитлеровским „аншлюсом”. См. книгу, указанную выше в прим. 166, с. 146. См. также (399), с. 183.

207. Kravchenko Victor. *I Chose Freedom* (New York, 1946), p. 283; McCarthy Margaret. *Generation in Protest* (London, 1953), p. 112.

ЭПИЛОГ

1. (140), с. 331.

2. После начала немецкого вторжения НКВД расстрелял тысячи заключенных, осужденных в 30-е гг. по обвинению в троцкизме и бухаринизме. Scholmar Joseph. *Vorkuta* (London, 1954), p. 169. Бухаринский протез в 20-е гг. — В. Астров провел большую часть при жизни Сталина в лагерях. См. Cladius W. In a Soviet Isolator, *St. Anthony's Papers. Soviet Affairs*, 1 (London, 1956), p. 143-145. Астров вернулся в Москву в 50-х гг. и опубликовал два исторических романа — (5) и (4). Последний — беллетризованное повествование о партийной политической жизни в 20-е гг. — критиковался современными советскими диссидентами за то, что Астров в нем „клеветает на своих бывших товарищей” — бухаринцев. См. „Новое русское слово”, 2 февраля 1971, с. 3.

3. Следует отметить для потомства, что два советских поэта — Б. Пастернак и П. Васильев — мужественно отказались подписать заявление с требованием смертной казни для Бухарина в 1937 г. Вскоре после этого Васильев был арестован и расстрелян. См. Гроссман В. Все течет (Нью-Йорк, 1972, с. 33) и (465), с. 186, где отважный поступок Васильева датирован неверно. Когда в 1936 г. против Бухарина были впервые выдвинуты уголовные обвинения, Пастернак, посвятивший ему длинное стихотворение в 1931 г. (см. „Волны” в кн. Пастернак Борис. Второе рождение. М., 1934), послал ему телеграмму, в которой выражал уверенность в его невиновности.

4. (140), с. 331.

5. (403).

6. Цит. в (175), с. 363.

7. Эти события описываются (отчасти неточно) в (186), с. 22-38; Tatu Michael. *Power in the Kremlin from Khrushchev to Kosygin* (New York, 1969), p. 245.

В октябре 1962 г. широко распространились слухи о его скорой реабилитации. См. „Политика” (Белград), 16 октября 1962 г., с. 4. и „Нью-Йорк таймс” 19 октября 1962 г.

8. (100), с. 298. Этим выступающим был П. Поспелов, который, будучи в 1937 г. идущим в гору молодым сталинистом, с готовностью выступал против Бухарина, Рыкова и их „шпионской, вредительской террористической организации”. (210), 6 ноября 1937 г.

9. См., напр., (92), 1967, № 8, с. 63 и 1970, № 10, с. 105. См. также „Новый мир”, 1969, № 2, с. 192.

10. (83) отражает господствующее официальное отношение к Бухарину и бухаринизму. См. хвалебную рецензию в (152), 1970, № 18, с. 115-119.

11. Nagy Imre, *On Communism: In Defense of the New Course* (New York, 1957); Sik Ota, *Plan and Market Under Socialism*. (White Plains, N. Y., 1967) and Erich Fromm, ed., *Socialist Humanism* (Garden City, N. Y., 1966).

12. См. сравнение отношения к Бухарину в СССР и в Польше: Lerner Warren. *The Unperson in Communist Historiography*, *The South Atlantic Quarterly* (Autumn 1966), p. 444-466; and Vranicki Predrag. *Istorija Marksizma* (Zagreb, 1961).

13. Интересным примером служит книга Имре Надя (см. выше, прим. 11), в которой Надя приводит пример нэпа в защиту своего собственного „нового курса”.

14. „Материалы к лекциям по курсу истории КПСС. Темы 11-13”: М., 1964, с. 44; Tarschys Daniel. *Beyond the State: The Future Polity in Classical and Soviet Marxism* (Stockholm. 1971), p. 161, 191.

15. Lewin Moshe, *Political Undercurrents in Soviet Economic Debates: From Bukharin to the Modern Reformers* (Princeton, N. J., 1974).

16. См., напр., Румянцев А. *Партия и интеллигенция*, (210), 21 февраля 1965 г.

17. О диапазоне постсталинских работ по коллективизации можно судить по Богденко М. Л. и Зеленин И. Е., *История коллективизации сельского хозяйства в современной советской историко-экономической литературе*, „История СССР”, 1962, № 4, с. 133-151; (142) и „Очерки по истории советского общества”. М., 1965, гл. VIII. Левин (выше, прим. 15) разбирает критику сталинской индустриальной политики. Критический подход к сталинской линии в Коминтерне только начинает складываться. См., напр., Лейбзон В. М. и Шириня К. К. *Поворот в политике Коминтерна М.*, 1965, с. 125, 177 и „Очерки истории исторической науки в СССР”, т. IV, М., 1966, с. 692, 712-715.

18. Или, как писал довольно рано Бертрам Вулф, на протяжении всего процесса десталинизации Бухарин был „призраком на пиру”, „не желавшим сидеть в могиле, как бы ни загоняли в нее осиноый кол”. (463), с. 135, 139.

19. Значительная часть западных исследований последних лет (хотя ни в коем случае не все) признает с кое-какими оговорками достоинства экономических доводов и политики Бухарина. О диапазоне соответствующих ученых мнений можно судить по дискуссии в (445) на протяжении 1965-1971 гг. См. также (424); (336), ч. II, (410), а также у Ellison Herbert J. *The Decision to Collectivize Agriculture*, *American Slavic and East European Review* (April 1966), p. 189-202; Carr E. H., *The October Revolution* (New York, 1969), ch. vi and vii; Deutscher Isaac, *The Unfinished Revolution* (New York, 1967). Как случилось и со взглядами историков на Французскую революцию, советские историки, в конце концов, разделяются, скорее всего, на соперничающие школы, отождествляющиеся с тем или иным крупным революционным деятелем и его программой — бухаринской, троцкистской, неосталинистской и т. д. Такое разделение уже прослеживается в советских исторических работах и в жарких дискуссиях между советскими историками, стенограммы которых печатаются неофициально. См., напр., „Обсуждение макета третьего тома „Истории СССР”, „Грани” 1967, № 65, с. 129-156.

20. Видное место среди них занимает историк Л. Петровский, сын бухаринца П. Петровского. В 1967 г. оставшиеся в живых дети коммунистов, необоснованно репрессированных Сталиным, передали в ЦК КПСС письмо-протест против попыток официальной реабилитации Сталина. Среди подписавших письмо — сын Бухарина и сыновья трех расстрелянных бухаринцев — Петровского, Айхенвальда и Шмидта. („Огонек”, 1988, № 44.) Сведения о Бухарине, включая его последнее письмо, распространялись

в неподцензурных изданиях. Интересное суждение о том, какое место Бухарин занимает в умах диссидентов, высказано Солженицыным: „Больше всего в жизни Сталин остерегался бесребреников, вроде Бухарина. Не понимая мотивов их действий, он терялся, какие предположить”. Солженицын А. В круге первом. Париж, 1969, с. 128.

21. (175), с. 150. Сообщая, что этого мнения придерживается „кто-то” из историков, Медведев добавляет, что сам он лично не хотел бы „становиться на такие позиции”. Однако его критика сталинской экономической политики определенно является по духу бухаринской. См. гл. III его книги.

22. См. Петровский Л. Открытое письмо в ЦК КПСС („За права человека”. Франкфурт, 1969, с. 45-71).

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Источники на русском языке

1. Абрамов А. О правой оппозиции в партии. М., 1929.
2. Айхенвальд А. Советская экономика. М.-Л., 1927.
3. Александров /псевдоним/. Кто управляет Россией? Берлин, 1933.
4. Астров Валентин. Круча /роман/. М., 1969.
5. Астров В. Огни впереди. М., 1967.
6. Астров В. и Слепков А. Социал-демократия и революция. М.-Л., 1928.
7. Баевский Д. Большевики в борьбе за III Интернационал, „Историк-марксист”, 1929, № 11.
8. Баевский Д. Борьба Ленина против бухаринских „шатаний мысли”, „Пролетарская революция”, 1930, № 1 (96).
9. Баевский Д. Партия в годы империалистической войны, „Очерки по истории Октябрьской революции: работы исторического семинара Института красной профессуры”. Под редакцией М.Н. Покровского. Т. I. М.-Л., 1927.
10. Богданов Александр. Философия живого опыта. М., 1920.
11. Богданов А. Тектология: всеобщая организационная наука. Берлин и Петроград, 1922.
12. Богденко М.Л. Колхозное строительство весной и летом 1930 года, „Исторические записки”, 1965, № 76.
13. Богусhevский В. Канун пятилетки. „Год восемнадцатый: альманах восьмой”. Под редакцией М. Горького. М., 1935.
14. „Большевик”.
15. „Большевики: документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Московского охранного отделения”. М., 1918.
16. Бубнов А. ВКП (б). М.-Л., 1931.
17. Бухарин Н.И. Автобиография. „Деятели СССР и Октябрьской революции”. Энциклопедический словарь Гранат, т. 41, ч. I.
18. Бухарин Н.И. и Преображенский Е. Азбука коммунизма. Харьков, 1925.
19. Бухарин Н.И. Атака: сборник теоретических статей. М., 1924.
20. Бухарин Н.И. В защиту пролетарской диктатуры: сборник. М.-Л., 1928.

21. Бухарин Н.И. Второй Интернационал под флагом левого коммунизма, „Большевик”, 1924, №№ 5—6.
22. Бухарин Н.И. Годы побед, „Плановое хозяйство”, 1933, №№ 7—8.
23. Бухарин Н.И. Диктатура пролетариата в России и мировая революция, „Коммунистический Интернационал”, 1919, № 4.
24. Бухарин Н.И. Доклад на IX чрезвычайной партконференции Выборгского района, „Ленинградская организация и четырнадцатый съезд: сборник материалов и документов”. М.-Л., 1926.
25. Бухарин Н.И. Доклад на XXIII чрезвычайной ленинградской губернской конференции ВКП (б). М.-Л., 1926.
26. Бухарин Н.И. За упорядочение быта молодежи, „Быт и молодежь: сборник статей”. Под редакцией А. Слепкова. М., 1926.
27. Бухарин Н.И. Значение аграрно-крестьянской проблемы, „Большевик”, 1925, №№ 3—4.
28. Бухарин Н.И. Из речи тов. Бухарина на вечере воспоминаний в 1921 г., „Пролетарская революция”, 1922, № 10.
29. Бухарин Н.И. Империализм и накопление капитала (теоретический этюд), 4-е изд. М.-Л., 1929.
30. Бухарин Н.И. и Пятаков Юрий. Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия, „Красная новь”, 1921, № 1.
31. Бухарин Н.И. Как не нужно писать истории Октября: по поводу книги г. Троцкого „1917”, „За ленинизм: сборник статей”. М.-Л., 1925.
32. Бухарин Н.И. Какой должна быть молодежь?, „Молодая гвардия”, 1926, № 2.
33. Бухарин Н.И. К вопросу о троцкизме. М.-Л., 1925.
34. Бухарин Н.И. К итогам XIV съезда ВКП (б). М.-Л., 1926.
35. Бухарин Н.И. Кризис капитализма и коммунистическое движение. М., 1923.
36. Бухарин Н.И. К теории империалистического государства, „Революция права: сборник первый”, М., 1925.
37. Бухарин Н.И. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом, „Революция и культура”, 1927, № 2.
38. Бухарин Н.И. Лозунг Советов в венском восстании, „Коммунистический Интернационал”, 1927, № 43.
39. Бухарин Н.И. Мировое хозяйство и империализм. (Экономический очерк). М.-Пг., 1923.
40. Бухарин Н.И. На подступах к Октябрю: статьи и речи мая-декабря 1917 года. М.-Л., 1926.
41. Бухарин Н.И. Настоящая потеха и настоящее мучение, „Красная новь”, 1921, № 2.
42. Бухарин Н.И. Некоторые вопросы экономической политики: сборник статей. М., 1925.
43. Бухарин Н.И. Некоторые проблемы современного капитализма у теоретиков буржуазии в „Организованный капитализм: дискуссия в Комакадемии”. 2-е изд. М., 1930.
44. Бухарин Н.И. Новое откровение о советской экономике, или как можно погубить рабоче-крестьянский блок. (К вопросу об экономическом обосновании троцкизма.), „За ленинизм: сборник статей.” М.-Л., 1925.
45. Бухарин Н.И. Об итогах объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б). М.-Л., 1927.
46. Бухарин Н.И. О ликвидаторстве наших дней, „Большевик”, 1924, № 2.
47. Бухарин Н.И. О международном положении. Л., 1926.
48. Бухарин Н.И. О некоторых вопросах из первой части проекта программы К.И., „Коммунистический Интернационал”, 1928, №№ 31—32.
49. Бухарин Н.И. О некоторых задачах нашей работы в деревне, „Большевик”, 1924, №№ 7—8.

50. Бухарин Н.И. О новой экономической политике и наших задачах, „Большевик“, 1925, № 8 и №№ 9—10.
51. Бухарин Н.И. О политике партии в художественной литературе, „К вопросу о политике РКП (б) в художественной литературе“. М., 1924.
52. Бухарин Н.И. О рабкоре и селькоре: статьи и речи. 2-е изд. М., 1926.
53. Бухарин Н.И. О старинных традициях и современном культурном строительстве. (Мысли вслух), „Революция и культура“, 1927, № 1.
54. Бухарин Н.И. О теории перманентной революции, „За ленинизм: сборник статей“. М., 1925.
55. Бухарин Н.И. От крушения царизма до падения буржуазии. Харьков, 1923.
56. Бухарин Н.И. О формальном методе в искусстве, „Красная новь“, 1925, № 3.
57. Бухарин Н.И. и Рыков А.И. Партия и оппозиционный блок, 2-е изд. М.-Л., 1926.
58. Бухарин Н.И. По скучной дороге: ответ моим критикам, „Красная новь“, 1923, № 1.
59. Бухарин Н.И. Политическое завещание Ленина, 2-е изд. М., 1929.
60. Бухарин Н.И. Политическая экономия рантье. (Теория ценности и прибыль австрийской школы). М., 1919.
61. Бухарин Н.И. Проблемы китайской революции. М., 1927.
62. Бухарин Н.И. Программа коммунистов (большевиков). Пг., 1927.
63. Бухарин Н.И. Производственная пропаганда. М., 1920.
64. Бухарин Н.И. Пролетариат и вопросы художественной политики, „Красная новь“, 1925, № 4.
65. Бухарин Н.И. Пролетарская революция и культура. Пг., 1923.
66. Бухарин Н.И. Путь к социализму в России: избранные произведения. Под редакцией Сидни Хайтмана. Нью-Йорк, 1967.
67. Бухарин Н.И. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз. М.-Л., 1925.
68. Бухарин Н.И. Революция 1905 года, „Вестник труда“, 1925, № 12.
69. Бухарин Н.И. Речь на октябрьском Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б), „Партия и оппозиция накануне XIV съезда ВКП (б): сборник дискуссионных материалов“, том I. М.-Л., 1928.
70. Бухарин Н.И. Речь тов. Бухарина в германской комиссии, „Коммунистический Интернационал“, 1926, № 3.
71. Бухарин Н.И. Судьбы русской интеллигенции, „Печать и революция“, 1925, № 3.
72. Бухарин Н.И. Текущий момент и основы нашей политики. М., 1925.
73. Бухарин Н.И. Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии. М.-Пг., 1923.
74. Бухарин Н.И. Теория организованной бесхозяйственности, „Организованный капитализм: дискуссия в Комакадемии“, 1930.
75. Бухарин Н.И. Три речи (к вопросам о наших разногласиях). М.-Л., 1926.
76. Бухарин Н.И. Уроки хлебозаготовок, шахтинского дела и задачи партии. Л., 1928.
77. Бухарин Н.И. Учение Маркса и его историческое значение. „Памяти Карла Маркса: сборник статей к пятидесятилетию со дня смерти. 1883-1933“. М., 1933.
78. Бухарин Н.И. Чем мы побеждаем. „Двадцать пять лет РКП (большевиков): 1898-1923“. М., 1923.

79. Бухарин Н.И. Экономика переходного периода. Часть первая: общая теория трансформационного процесса. М., 1920.
80. Бухарин Н.И. Этюды. М.-Л., 1932.
81. Бухарцев Д. Теоретические оруженосцы оппортунизма: ошибки правых в международных вопросах. М.-Л., 1930.
82. „Бюллетень оппозиции.“
83. Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром (1928-1930). М., 1970, 1977.
84. Ваганов Ф.М. Разгром правого уклона в ВКП(б) (1928-1930 гг.), „Вопросы истории КПСС“, 1960, № 4.
85. Валентинов (Вольский) Н. Доктрина правого коммунизма. Мюнхен, 1960.
86. Валентинов (Вольский) Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Воспоминания. Стэнфорд, Калиф., 1971.
87. Верещагин Ив. Председатель Совета Народных Комиссаров Алексей Иванович Рыков. 3-е изд. М.-Л., 1925.
88. „Вестник Коммунистической академии“.
89. Владимирова Вера. Революция 1917 года (хроника событий). В 6-ти томах. М.-Л., 1924-1929.
90. Вольфон С. Николай Иванович Бухарин. „Литературная энциклопедия“, т. I. М., 1929.
91. „Вопросы истории“.
92. „Вопросы истории КПСС“.
93. „Вопросы преподавания ленинизма, истории ВКП(б) и Коминтерна: стенограммы совещания, созванного Обществом историков-марксистов 9 февраля 1930 года“. М., 1930.
94. „Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 года. Протоколы“. М., 1961.
95. „VIII Всесоюзный съезд ВЛКСМ. 5-16 мая 1928 года. Стенографический отчет“. М., 1928.
96. „Восьмой съезд профессиональных союзов СССР (10-12 декабря 1928 г.). Полный стенографический отчет“. М., 1929.
97. „Восьмой съезд РКП(б). Протоколы“. М., 1959.
98. „Всероссийская конференция РКП(б). Бюллетень. №№ 1-5“. М., 1921.
99. „Всероссийское учредительное собрание“. М.-Л., 1930.
100. „Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам (18-21 декабря 1962 г.)“. М., 1964.
101. „Вся Москва. 1927 год“. 3 тома. М., 1927.
102. „Второй конгресс Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет“. М., 1920.
103. „Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Стенографический отчет“. М., 1935.
104. Вяткин А.Я. Разгром коммунистической партией троцкизма и других антиленинских групп. Часть I. Л., 1966.
105. Гайсинский М. Борьба с уклонами от генеральной линии партии. Исторический очерк внутрипартийной борьбы послеоктябрьского периода. 2-е изд. М.-Л., 1931.
- 106 (107). Гильфинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. 3-е изд. Пг., 1918.
108. Гинзбург Е.С. Крутой маршрут.
109. Данил Бухарин о Сталине. „Новый журнал“, 1964, № 75.
110. Данилов В.П. К характеристике общественно-политической обстановки в советской деревне накануне коллективизации, „Исторические записки“, № 79, (1966).
111. Данилов В.П. Колхозное движение накануне сплошной коллективизации (1927 г. — первая половина 1929 г.), „Исторические записки“, № 80 (1967).

112. Д а н и л о в В.П. ред. Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. М., 1963.
113. „Двадцать пять лет РКП (б) : 1898-1923”. М., 1923.
114. „Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет”. М., 1923.
115. Д в и н о в В. Московский Совет рабочих депутатов 1917-1922. Воспоминания. Нью-Йорк, 1961.
116. „IX Всесоюзный съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет”. М., 1931.
117. Д е н и к е Ю.П. Интервью №№ 16-17. Неопубликованная рукопись, Колумбийский университет, 11 июня и 25 октября 1963 г.
118. „Девятый съезд РКП (б). Март-апрель 1920 года. Протоколы”. М., 1960.
119. „Десятый съезд РКП (б). Март 1921 года. Стенографический отчет”. М., 1963.
120. „Деятели СССР и Октябрьской революции”. Энциклопедический словарь Гранат, т. 41, ч. 1-3.
121. Д з е р ж и н с к и й Ф.Э. Избранные произведения. Т. 2. М., 1957.
122. „Дискуссия о профсоюзах. Материалы и документы 1920-1921 годов.” М., 1927.
123. Д р о б и ж е в В.З. Главный штаб социалистической промышленности – очерк истории ВСНХ 1917–1932 гг. М., 1966.
124. Д у н а е в В.А. В юношеские годы. „Пятый год. Сборник второй. Под редакцией М. Милютина”. М.-Л., 1926.
125. „За индустриализацию”.
126. „За ленинизм. Сборник статей”. М.-Л., 1932.
127. „За марксистско-ленинское учение о печати”. Сборник. М.-Л., 1928.
128. „За поворот на философском фронте. Сборник статей”. Т. I, М.-Л., 1931.
129. З а й ц е в А. Об Устрялове, „неонэпе” и жертвах устряловщины. М.-Л., 1928.
130. З а л е ж с к и й В. Николай Иванович Бухарин, „Малая советская энциклопедия”. 2-е изд. Т. 2, 1934. с. 173-176.
131. „Записки Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова”, т. 2. М., 1924.
132. И в а н о в В.М. Из истории борьбы партии против „левого оппортунизма”: ленинградская партийная организация в борьбе против троцкистско-зиновьевской оппозиции в 1925-26 гг. Л., 1965.
133. И в а н о в В.М. и Ш м е л е в А.Н. Ленинизм и идейно-политический разгром троцкизма. Л., 1970.
134. „Из истории борьбы ленинской партии против оппортунизма”. М., 1966.
135. „Известия”.
136. И р о ш н и к о в М.П. Создание советского центрального государственного аппарата. М.-Л., 1966.
137. „Историк-марксист”.
138. „Исторические записки”.
139. „Исторический архив”.
140. „История ВКП (б). Краткий курс.” М., 1944.
141. „История Коммунистической партии Советского Союза”. Т. 4. М., 1970.
142. „История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР”. М., 1963.
143. „Итоги ноябрьского Пленума ЦК ВКП (б)”. Л., 1929.
144. „К вопросу о политике РКП (б) в художественной литературе”. М., 1924.
145. „Как подготавливался московский процесс (из письма старого большевика)”. „Социалистический вестник”, №№ за 22 декабря 1936 г. и 17 января 1937 г.
146. „Календарь коммуниста на 1929 год.” М.-Л., 1929.

147. Киров С.М. Избранные статьи и речи, т. 2. М., 1957.
148. Киров С.М. Статьи и речи 1934. М., 1934.
149. Козелев Б. Михаил Павлович Томский: биографический очерк. М., 1927.
150. Козелев Б. Славный юбилей (к 20-летию революционной деятельности М.П. Томского), „Вестник труда”, 1925, № 1.
151. „Коммунист”. Женева, 1915.
152. „Коммунист”. Москва, 1918.
153. „Коммунистическая революция”.
154. „Коммунистический Интернационал: краткий исторический очерк”. М., 1969.
155. „Коммунистический Интернационал”.
156. Ко н ю х о в Г. КПСС в борьбе с хлебными затруднениями в стране (1928-1929). М., 1960.
157. Ко с а р е в А. Комсомол в реконструктивный период. М., 1931.
158. „КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК”. Части 2-я и 3-я. М., 1954.
159. „Красная новь”.
160. „Красная печать”.
161. Кри ц м а н Л. Героический период великой русской революции (опыт анализа т.н. „военного коммунизма”). 2-е изд. М.-Л., 1926.
162. К р у п с к а я Н.К. Воспоминания о Ленине. М., 1933.
163. Кры л о в С. и З ы к о в А. О правой опасности. 2-е изд. М.-Л., 1929.
164. К у й б ы ш е в а Г. В. Валериан Владимирович Куйбышев. Биография. М., 1966.
165. Л е м а н Н. и П о к р о в с к и й С. Идеиные истоки правого уклона: об ошибках и уклонах тов. Бухарина. 2-е изд. Л., 1930.
166. Л е н и н В.И. Поли. собр. соч. 5-е изд., 55 томов.
167. Л е н и н В.И. Соч., 3-е изд., 30 томов.
168. „Ленинградская организация и четырнадцатый съезд. Сборник материалов и документов”, М.-Л., 1926.
169. „Ленинский сборник”, в 33-х томах.
170. Л е н ц н е р Н. Оправой опасности в Коминтерне. 2-е изд. М.-Л., 1929.
171. Л е о н т ь е в А. Экономическая теория правого уклона. М.-Л., 1929.
172. М а р е ц к и й Д. Николай Иванович Бухарин, „Большая советская энциклопедия”, 1-е изд. Т. VIII. М., 1926, стр. 271-284.
173. М а р к с К а р л. Капитал, Т. 2.
174. „Марксизм и с.-хоз. кооперация. Сборник основных материалов по вопросам с.-хоз. кооперации от Маркса до наших дней”. М., 1928.
175. М е д в е д е в Р.А. К суду истории. Генезис и последствия сталинизма. Нью-Йорк, 1974.
176. М е л ь г у н о в С. Как большевики захватили власть: октябрьской переворот 1917 года. Париж, 1953.
177. М е щ е р я к о в Н. Николай Иванович Бухарин. „Малая советская энциклопедия”, т. 1. М., 1929, с. 912-915.
178. М и л ь ч а к о в А. Первое десятилетие. Записки ветерана комсомола. 2-е изд. М., 1965.
179. М и л ь т и н В. Аграрная политика СССР. М.-Л., 1926.
180. М и н ц И.И. История Великого Октября, т. 1. М., 1967.
181. „Молодая гвардия”.
182. „Московские большевики в борьбе с правым и „левым” оппортунизмом: 1921-1929”. М., 1969.
183. М о ш к о в Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929-32 гг.) М., 1966.
184. „На фронте исторической науки”. М., 1936.
185. Н е м а к о в Н.И. Коммунистическая партия – организатор массового колхозного движения (1929-1932 гг.). М., 1966.

186. Николаевский Б.И. Проблема десталинизации и дело Бухарина, „Социалистический вестник”. Сборник 4, дек. 1965.
187. Николаевский Б.И. Устные и письменные сообщения автору. 1963-1965 годы.
188. „Новая оппозиция. Сборник материалов о дискуссии 1925 года”. Л., 1926.
189. „Новый журнал”.
190. „Новый мир”. (Нью-Йорк).
191. „О перестройке партийно-политической работы: к итогам Пленума ЦК ВКП (б) 1937 года”. М., 1937.
192. „Об экономической платформе оппозиции. Сборник статей”. М.-Л., 1926.
193. „Одиннадцатый съезд РКП (б). Март-апрель 1922 г. Стенографический отчет”. М., 1961.
194. „Октябрьское восстание в Москве”. Под ред. Овсянникова Н. М., 1922.
195. Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи, т. 2. М., 1957.
196. Осинский Н. Строительство социализма. М., 1918.
197. „Очерки истории Коммунистической партии Украины”. 2-е изд. Киев, 1964.
198. „Очерки истории Ленинградской организации КПСС,” ч. 2. М., 1968.
199. „Очерки истории Московской организации КПСС: 1883-1965”. М., 1966.
200. „Памяти В.И. Ленина. Сборник статей к десятилетию со дня смерти 1924-1934 гг.”. М.-Л., 1934.
201. „Первый конгресс Коминтерна. Март 1919”. М., 1933.
202. „Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет”. М., 1934.
203. „Печать и революция”.
204. „Под знаменем марксизма”.
205. „Политбюро ЦК ВКП (б). Биографии”. М., 1928.
206. Полонский Вячеслав. Очерки литературного движения революционной эпохи, 2-е изд. М.-Л., 1929.
207. Попов К. Дискуссия 1923 года. Материалы и документы. М.-Л., 1927.
208. Попов Н. Очерки истории Всесоюзной Коммунистической партии. М.-Л., 1927.
209. Попов Н. Очерк истории Всесоюзной Коммунистической партии (б). Вып. 1 и 2, изд. XV. М., 1932-1933.
210. „Правда”.
211. Преображенский Е.А. Новая экономика. Опыт теоретического анализа советского хозяйства, т. 1, часть 1, 2-е изд., М., 1926.
212. „Прожектор”.
213. „Пролетарская революция”.
214. „Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного комитета четвертого созыва”, М., 1920.
215. „Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 - февраль 1918”. М., 1958.
216. „Процесс эсеров: речи защитников и обвинителей”. В двух томах. М., 1922.
217. „Пути мировой революции. Седьмой расширенный пленум Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет в двух томах”. М.-Л., 1927.
218. „Путь к Октябрю. Сборник статей, воспоминаний и документов”. В пяти томах. М., 1923-1926.
219. „XV конференция Всесоюзной Коммунистической партии (больше-виков) 26 октября - 3 ноября 1926 г. Стенографический отчет”. М.-Л., 1927.
220. „Пятнадцатый съезд ВКП (б). Декабрь 1927 года. Стенографический отчет в 2-х томах”. М., 1961.

221. „Пятый Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. 17 июня - 8 июля 1924 года. Стенографический отчет, ч. 1-2". М.-Л., 1925.
222. „Пятый Всероссийский съезд РКСМ. Стенографический отчет". М.-Л., 1927.
223. „Расширенный пленум Исполкома Коммунистического Интернационала (21 марта - 6 апреля 1925 г.) Стенографический отчет". М.-Л., 1925.
224. „Расширенный пленум Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала (12-23 июня 1923 года). Отчет". М., 1923.
225. Рыков А.И. Деревня, новая экономическая политика и кооперация. М.-Л., 1925.
226. Рыков А.И. Хозяйственное положение СССР. М.-Л., 1928.
227. Рыков А.И. На переломе. М., 1925.
228. Рыков А.И. Статьи и речи. 2 тома. М.-Л., 1927-1928.
229. „Седьмой экстренный съезд РКП (б). Март 1918 года. Стенографический отчет". М., 1962.
230. „Седьмой съезд профессиональных союзов СССР. Стенографический отчет". М., 1927.
231. „VII съезд Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. 11-12 марта 1926 года. Стенографический отчет". М.-Л., 1926.
232. Селектор М.Е. Диалектический материализм и теория равновесия. М., 1934.
233. „XVII конференция Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет". М., 1932.
234. „XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 января - 10 февраля 1934 года. Стенографический отчет". М., 1934.
235. Сидоров А. Экономическая программа Октября и дискуссия с „левыми коммунистами" о задачах социалистического строительства, „Пролетарская революция", 1929, № 6 (89) и № 11 (94).
236. Слепков А. Кронштадтский мятеж. (К седьмой годовщине). М.-Л., 1928.
237. Сорин В. Борьба Бухарина и Рыкова против партии Ленина-Сталина. М., 1937.
238. Сорин В. Партия и оппозиция: из истории оппозиционных течений (фракция левых коммунистов). М., 1925.
239. „Социалистическая реконструкция и наука".
240. „Социалистический вестник".
241. Сталин И.В. Вопросы ленинизма. 4 изд. М.-Л., 1928.
242. Сталин И.В. Сборник статей к пятидесятилетию со дня рождения. М.-Л., 1929.
243. Сталин И.В. Соч., в 13 томах.
244. „Судебный отчет по делу антисоветского „правотроцкистского блока". Полный текст стенографического отчета". М., 1938.
245. Тетюшев В.И. Борьба партии за генеральную линию против правого уклона в ВКП (б) в период между XV и XVI съездами, „Вестник Московского университета". Выпуск 9-й, 1961, № 3.
246. „III конгресс Красного Интернационала профсоюзов. 8-22 июля 1924 года. Отчет". М., 1924.
247. „Всероссийский съезд профессиональных союзов. 6-13 апреля 1920 года. Стенографический отчет". М., 1921.
248. „3-й Всероссийский съезд РКСМ 1920 г. Стенографический отчет". М.-Л., 1926.
249. „Тринадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет". М., 1924.
250. „Тринадцатый съезд РКП (б). Май 1924 года. Стенографический отчет". М., 1963.
251. Троцкий Л.Д. История русской революции. 2 т. Берлин, 1931-1933.

252. Троцкий Л.Д. К капитализму или социализму? М., 1925.
253. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. 2 т. Берлин, 1930.
254. Троцкий Л.Д. Новый курс. М., 1924.
255. Троцкий Л.Д. О Ленине. М., 1924.
256. Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификации. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. Берлин, 1932.
257. „Труды Института красной профессуры”. Под ред. М.Н. Покровского, т. 1. М.-Пг, 1923.
258. „Труды 1-го Всероссийского съезда советов народного хозяйства 26 мая-4 июня 1918 г. Стенографический отчет”. М., 1918.
259. Трукан Г.А. Октябрь в центральной России. М., 1967.
260. „1917 год в Москве. (Хроника событий)”, М., 1934.
261. Тюшевский Н. Внутривнутрипартийный режим и правый уклон: на троцкистских позициях в оргпросах. Л., 1929.
262. Тюшевский Н. О Ленине. М., 1924.
263. Ульянова М. О Ленине. М., 1964.
264. „М.И. Ульянова – секретарь „Правды”, М., 1965.
265. Устрялов Н. Под знаком революции. 2-е изд. Харбин, 1927.
266. Фотиева Л.А. Из воспоминаний о В.И. Ленине. М., 1964.
267. Фрадкин Борис. 12 биографий. М., 1924.
268. Хавин А.Ф. У руля индустрии. М., 1968.
269. Хармандарян С.В. Ленин и становление Закавказской федерации, 1921-1923. Ереван, 1930.
270. Черняк И. Политическое завещание Ленина в изображении тов. Бухарина. М., 1930.
271. „IV Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. 5 ноября - 3 декабря 1922 г. Избранные доклады, речи и резолюции”. М.-Пг., 1923.
272. „Четвертый Всероссийский съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет”. М., 1922.
273. „Четырнадцатая конференция Российской Коммунистической партии (б). Стенографический отчет”. М., 1925.
274. „XIV съезд Коммунистической партии (б). 18-31 декабря 1925 г. Стенографический отчет”. М.-Л., 1926.
275. Чигринов Г.А. Разгром партии правых капитулянтов. М., 1969.
276. Шацкий Л. ВЛКСМ. „Большая советская энциклопедия”. 1-е изд., т. XI, М., 1930, с. 618-648.
277. „Шестнадцатая конференция ВКП (б). Апрель 1929. Стенографический отчет”. М., 1962.
278. „XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии. Стенографический отчет в 2-х томах”. М., 1935.
279. „VI конгресс Коминтерна. Стенографический отчет”. М.-Л., 1929.
280. „Шестой расширенный Пленум Исполкома Коминтерна (17 февраля-15 марта 1926 г.). Стенографический отчет”. М.-Л., 1927.
281. „Шестой съезд российского Ленинского Коммунистического союза молодежи. Стенографический отчет”. М.-Л., 1924.
282. „Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 года. Протоколы”. М., 1958.
283. Ярославский Е. История ВКП (б), т. 4. М.-Л., 1929.

Источники на иностранных языках

301. Abramovitch Raphael. The Soviet Revolution 1917-1939. New York, 1962.
302. Alliluyeva Svetlana. Twenty Letters to a Friend. New York, 1967.
303. Avrich Paul. Kronstadt 1921. Princeton. N. J., 1970.

304. Avtorkhanov Abdurakhman. Stalin and the Soviet Communist Party: A Study in the Technology of Power. New York, 1959.
305. Bauer Raymond A. The New Man in Soviet Psychology. Cambridge, Mass, 1952.
306. Bauer Joseph. Nothing But the Truth. New York, 1971.
307. Bernstein Eduard. Evolutionary Socialism. New York, 1965.
308. Berkenau Franz. World Communism: A History of the Communist International. Ann Arbor, Mich., 1962.
309. Bottomore T. B. „Karl Marx, Sociologist or Marxist?“, *Science and Society* (Winter 1966), p. 11-24.
310. Bottomore T. B. and Maximilian Rubel. Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. New York, 1964.
311. Brown Edward J. The Proletarian Episode in Russian Literature. New York, 1953.
312. Bukharin N. I. „An Abrupt Turn in the Chinese Revolution“, *Inprecor*, Vol. VII (1927), p. 897-899, 927-930.
313. Bukharin N. I. „Aggressive Tactics“, *The Communist Review* (October 1921), p. 72-74.
314. Bukharin N. I. „The Austrian Social-Democrats' New Programme“, *The Communist International*, 1926, № 1, p. 2-6.
315. Bukharin N. I. „The Imperialist Pirate State“, Gankin Olga Hess and Fisher H. H. The Bolsheviks and the World War: The Origin of the Third International. Stanford, California, 1940, p. 236-239.
316. Bukharin N. I. „The International Bourgeoisie and Its Apostle, Karl Kautsky“, *Inprecor*, Vol. V (1925), Nos. 62, 64-65, 67-69.
317. Bukharin N. I. „The International Situation and the Internal Situation in the Soviet Union“, *Inprecor*, Vol. VII (1927), p. 189-200.
318. Bukharin N. I. The New Policies of Soviet Russia. With others. Chicago, 1921.
319. Bukharin N. I. „The Opposition in the C. P. S. U. and in the Comintern“, *Inprecor*, Vol. VIII (1928), p. 213-228.
320. Bukharin N. I. „The Position of the Chinese Revolution“, *Inprecor*, Vol. VII (1927), p. 874-876.
321. Bukharin N. I. Les Problemes fondamentaux de la Culture contemporaine. Paris, 1936.
322. Bukharin N. I. „Program of the Communist International: Draft Submitted as a Basis for Discussion at the Fifth Congress of the Communist International“. Copy of Bertram D. Wolfe, Delegate from Mexico, New York Public Library.
323. Bukharin N. I. „Questions of the International Revolutionary Struggle“, *Inprecor*, Vol. VI (1926), p. 830-834, 850-854.
324. Bukharin N. I. Report on the Program Question. With A. Thalheimer. Moscow, 1924.
325. Bukharin N. I. „The Results of the VI World Congress of the C.I.“, *Inprecor*, Vol. VIII (1928), p. 1267-1277.
326. Bukharin N. I. „The Russian Revolution and Its Significance“, *The Class Struggle*, 1917, № 1, p. 14-21.
327. Bukharin N. I. „The Russian Revolution and Social Democracy“, *Inprecor*, Vol. VII (1927), p. 1527-1530.
328. Bukharin N. I. „Theory and Practice from the Standpoint of Dialectical Materialism“, *Science at the Cross Roads*. London, 1931, p. 1-23.
329. Bukharin N. I. „The Tenth Anniversary of the February Revolution“, *Inprecor*, Vol. VII (1927), p. 421-423, 454-457.
330. Bukharin N. I. „Twelfth Congress of the Russian C. P.“, *The Communist International*, 1923, № 25, p. 10-17.
331. Bukharin N. I. „Ten Years of Victorious Proletarian Revolution“, *Inprecor*, Vol. VII (1927), p. 1347-1355, 1418-1423.
332. Bunyan John and Fisher H. H. The Bolshevik Revolution 1917-1918: Documents and Materials. Stanfird, Calif., 1934.

333. Carr E. H. The Bolshevik Revolution. 3 vols. New York, 1951-1953.
334. Carr E. H. and Davies R. W. Foundations of a Planned Economy. 2 vols. New York, 1969-1971.
335. Carr E. H. The Interregnum: 1923-1924, New York, 1954.
336. Carr E. H. Socialism in One Country. 3 vols. New York, 1958-1964.
337. „The Case of the Anti-Soviet „Bloc of Rights and Trotskyites”: Report of Court Proceedings”. Moscow, 1938.
338. „The Case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre: Report of Court Proceedings”. Moscow, 1937.
339. „The Case of the Trotskyite-Zinovievite Terrorist Centre: Report of Court Proceedings.” Moscow, 1936.
340. Chamberlin William Henry. The Russian Revolution: 1917-1921. 2 vols. New York, 1960.
341. „The Communist International”.
342. „The Communist Review.”
343. Conquest Robert. The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties. New York, 1968.
344. „The Crisis in the Communist Party, U. S. A.: Statement of Principles of the Communist Party (Majority Group)”. New York, 1930.
345. Dahrendorf Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, Calif., 1966.
346. Dahrendorf Ralf. „Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis”, *The American Journal of Sociology*, LXIV (September 1958), p. 115-127.
347. Daniels Robert V. The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia. Cambridge, 1960.
348. Daniels Robert V., ed. A Documentary History of Communism. 2 vols. New York, 1962.
349. Daniels Robert V. Red October: The Bolshevik Revolution of 1917. New York, 1967.
350. Daniels R. V. „The ‘Withering Away of the State’ in Theory and Practice”, „Soviet Society: A Book of Readings”. Ed. Alex Inkles and Kent Geiger. Boston, 1961, p. 22-43.
351. Deutscher Isaac. The Prophet Armed: Trotsky, 1879-1921. New York and London, 1954.
352. Deutscher Isaac. The Prophet Outcast: Trotsky, 1929-1940. London and New York, 1963.
353. Deutscher Isaac. The Prophet Unarmed: Trotsky, 1921-1929. London and New York, 1959.
354. Deutscher Isaac. Soviet Trade Unions. London, 1950.
355. Deutscher Isaac. Stalin: A political Biography. 2nd ed. New York, 1967.
356. Dobb Maurice. Russian Economic Development Since the Revolution. London, 1928.
357. Dobb Maurice. Soviet Economic Development Since 1917. New York, 1966.
358. Drachkovitch Milorad V. and Lazitch Branko. The Comintern: Historical Highlights. New York, 1966.
359. Draper Theodore. American Communism and Soviet Russia: The Formative Period. New York, 1960.
360. Draper Theodore. „The Ghost of Social-Fascism”, *Commentary* (February 1969), p. 29-42.
361. Draper Theodore. The Roots of American Communism. New York, 1957.
362. Draper Theodore. „The Strange Case of the Comintern”, *Survey* (Summer 1972), p. 91-137.
363. Eastman Max. Love and Revolution: My Journey Through an Epoch. New York, 1964.

364. Ehrenburg Ilya. *Memoirs: 1921-1941*. Cleveland and New York, 1964.
365. Ehrenburg Ilya. *People and Life: 1891-1923*. Moscow, 1962.
366. Erlich Alexander. *The Soviet Industrialization Debate, 1924-1928*. Cambridge, 1960.
367. Erlich Alexander. „Stalin's Views on Soviet Economic Development”, „Continuity and Change in Russia and Soviet Thought”. Ed. Ernest J. Simmons. Cambridge, 1955, p. 81-99.
368. Ermolaev Herman. *Soviet Literary Theories 1917-1934: The Genesis of Socialist Realism*. Berkeley, Calif., 1963.
369. Fainsod Merle. *Smolensk Under Soviet Rule*. Cambridge, 1958.
370. Fischer Louis. *The Life of Lenin*. New York, 1964.
371. Fischer Markoosha. *My Lives in Russia*. New York, 1944.
372. Fisher Ruth. *Stalin and German Communism*. Cambridge, 1948.
373. Fitzpatrick Sheila. *The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts Under Lunacharsky*. Cambridge, England, 1970.
374. Flaherty John E. „The Political Career of Nicolas Bukharin to 1929”, Неопубликованная докторская диссертация, New York University, 1954.
375. „From the First to the Second Five-Year Plan”. New York, 1933.
376. Futrell Michael. *Northern Underground*. New York, 1963. .
377. Gankin Olga Hess and Fisher H. H. *The Bolsheviks and the World War: The Origin of the Third International*. Stanford, Calif., 1940.
378. Gay Peter. *The Dilemma of Democratic Socialism: Eduard Bernstein's Challenge to Marx*. New York, 1962.
379. Graham Loren R. *The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party: 1927-1932*. Princeton, N. J., 1967.
380. Gramsci Antonio. *The Modern Prince and Other Writings*. New York, 1959.
381. „The Great Purge Trial”. Ed. Robert C. Tucker and Stephen F. Cohen. New York, 1965.
382. Heitman Sidney. „Between Lenin and Stalin: Nikolai Bukharin”, „Revisionism: Essays on the History of Marxist Ideas”. Ed. Leopold Labedz. New York, 1962, p. 77-90.
383. Heitman Sidney. „The Myth of Bukharin's Anarchism”, *The Rocky Mountain Social Science Journal* (April 1963), p. 39-53.
384. Heitman Sidney. „Bukharin's Conception of the Transition to Communism in Soviet Russia: An Analysis of His Basic Views, 1923-1928”. Неопубликованная докторская диссертация, Columbia University, 1963.
385. Hilferding Rudolf. *Bohm-Bawerk's Criticism of Marx*. Ed. Paul M. Sweezy. New York, 1949.
386. Hilferding Rudolf. „State Capitalism or Totalitarian State Economy?” „Verdict of Three Decades”. Ed Julian Steinberg. New York, 1950, p. 445-453.
387. Hobson J. A. *Imperialism: A Study*. Ann Arbor, Mich., 1965.
388. Hoglund Gunhild. *Moskva tur och retur: En dramatisk period i Zeth Hoglunds liv*. Stockholm, 1960.
389. Hughes H. Stuart. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought, 1890-1930*. New York, 1961.
390. Humbert-Droz Jules. *De Lenine a Staline: Dix ans service de l'Internationale communiste, 1921-1931*. Neuchatel, 1971.
391. Humbert-Droz Jules. „L'oeil de Moscou” a Paris. Paris, 1964.
392. „International Press Correspondence”.
393. Istituto Giangiacomo Feltrinelli. „Annali.” Anno Ottavo. Milano, 1966.

394. Jackson George D., Jr. Comintern and Peasant in East Europe 1919-1930. New York and London, 1966.
395. Jasny Naum. Soviet Economists of the Twenties. New York, 1972.
396. Jasny Naum. Soviet Industrialization: 1928-1952. Chicago, 1961.
397. Joravsky David. Soviet Marxism and Natural Science: 1917-1932. New York, 1961.
398. Jordan Z. A. The Evolution of Dialectical Materialism. New York, 1967.
399. Katkov George. The Trial of Bukharin. New York, 1969.
400. Katz Zev. „Party-Political Education in Soviet Russia”. Неопубликованная докторская диссертация, University of London.
401. Kaufman Adam. „The Origin of ‘The Political Economy of Socialism’: An Essay on Soviet Economic Thought”, *Soviet Studies*, 1953, № 3, p. 243-272.
402. Keep J. L. H. The Rise of Social Democracy in Russia. London, 1963.
403. Khrushchev Nikita S. The Crimes of the Stalin Era. New York, 1956.
404. Kitaeff Michael. Communist Party Officials: A Group of Portraits. New York, 1954.
405. Knirsch Peter. Die ökonomischen Anschauungen Nikolau I. Bucharins. Berlin, 1959.
406. Koestler Arthur. Darkness at Noon. New York, 1961.
407. Leites Nathan and Bernaut Elsa. Ritual of Liquidation. Glencoe, Ill., 1954.
408. Lerner Warren. Karl Radek: The Last Internationalist. Stanford, Calif., 1970.
409. Lewin Moshe. Lenin's Last Struggle. New York, 1968.
410. Lewin Moshe. Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization. Evanston, Ill., 1968.
411. Liberman Simon. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945.
412. Lichtheim George. Marxism: An Historical and Critical Study. New York, 1962.
413. London Jack. The Iron Heel. New York, 1957.
414. Lowy A. G. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Bucharin: Vision des Kommunismus. Vienna, 1969.
415. Lyons Eugene. Assignment in Utopia. New York, 1937.
416. MacLean Fitzroy. Escape to Adventure. Boston, 1950.
417. Maguire Robert. Red Virgin Soil: Soviet Literature in the 1920's. Princeton, N. J., 1968.
418. Mandelstam Nadezhda. Hope Against Hope: A Memoir. New York, 1970.
419. Marx Karl and Engels Frederick. Selected Works. 2 vols. Moscow, 1955.
420. McKenzie Kermit E. Comintern and World Revolution 1928-1943: The Shaping of Doctrine. New York, 1964.
421. Narkiewicz Olga A. The Making of the Soviet State Apparatus. Manchester, England, 1970.
422. Nicolaevsky Boris I. Power and the Soviet Elite: „The Letter of an Old Bolshevik” and Other Essays. New York, 1965.
423. Nove Alec. An Economic History of the U. S. S. R. London and Baltimore, 1969.
424. Nove Alec. „Was Stalin Really Necessary?”, *Encounter* (April 1962), p. 86-92.
425. Orlov Alexander. Secret History of Stalin's Crimes. New York, 1953.
426. Pipes Richard. The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923. Cambridge, 1954.
427. „Platform of the Left Opposition”. London, 1963.

428. Pollack Frederick. „State Capitalism: Its Possibilities and Limitations”, *Studies in Philosophy and Social Science*, 1941, №. 2, p. 200-225.
429. Reed John. *Ten Days That Shook the World*. New York, 1935.
430. Reswick William. *I Dreamt Revolution*. Chicago, 1952.
431. „Revisionism: Essays on the History of Marxist Ideas”. Ed. Leopold Labedz. New York, 1962.
432. Rosmer Alfred. *Moscou sous Lénine: les Origines du Communisme*. Paris, 1953.
433. Schapiro Leonard. *The Communist Party of the Soviet Union*. New York, 1960.
434. Schapiro Leonard. *The Origin of the Communist Autocracy*. Cambridge, 1956.
435. Schwartz Benjamin I. *Chinese Communism and the Rise of Mao*. New York, 1967.
436. Serge Victor. *Memoirs of a Revolutionary: 1901-1941*. London, 1963.
437. Shub David. *Lenin*. Garden City, N. J., 1949.
438. Slusser Robert M. „The Role of the Foreign Ministry”, „Russian Foreign Policy”. Ed. Ivo J. Lededer. New Haven, Conn., 1962, p. 197-239.
439. Sorenson Jay Bertram. „The Dilemma of Soviet Trade Unions During the First Period of Industrial Transformation: 1917-1928”. Неопубликованная докторская диссертация, Columbia University, 1962.
440. Sorenson Jay B. *The Life and Death of Soviet Trade Unionism: 1917-1928*. New York, 1969.
441. Sorokin Pitirim. „Russian Sociology in the Twentieth Century”, *American Sociological Society: Papers and Proceedings*, XXI (1926), p. 57-69.
442. Souvarine Boris. *Stalin: A Critical Survey of Bolshevism*. New York, 1939.
443. „Soviet Russia”.
444. „Soviet Sociology: Historical Antecedents and Current Appraisals”. Ed. Alex Simirenko. Chicago, 1966.
445. „Soviet Studies”.
446. Spulber Nicolas. *Soviet Strategy for Economic Growth*. Bloomington, Ind., 1964.
447. Sukhanov N. N. *The Russian Revolution 1917: Eyewitness Account*. 2 vols. New York, 1962.
448. „Survey”.
449. Sweezy Paul M. *The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy*. New York, 1942.
450. Thompson J. M. *Leaders of the French Revolution*. New York, 1967.
451. Trotsky Leon. *Problems of the Chinese Revolution*. Ann Arbor, Mich., 1967.
452. Trotsky Leon. *The Real Situation in Russia*. New York, 1928.
453. Trotsky Leon. *Stalin*. New York, 1941.
454. Trotsky Leon. *The Third International After Lenin*. New York, 1957.
455. *The Trotsky Archives*. Неопубликованные материалы, Houghton Library, Harvard University.
456. Tucker Robert C. *The Marxian Revolutionary Idea*. New York, 1969.
457. Tucker Robert C. *The Soviet Political Mind*. Revised edition. New York, 1971.
458. Tucker Robert C. *Stalin as Revolutionary: A Study in History and Personality*. New York, 1973.

459. U l a m A d a m. The Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia. New York, 1965.
460. U r a l o v A l e x a n d e r. The Reign of Stalin. London, 1953.
461. W e i s s b e r g A l e x a n d e r. The Accused. New York, 1951.
462. W e t t e r G u s t a v A. Dialectical Materialism. New York, 1958.
463. W o l f e B e r t r a m D. Khrushchev and Stalin's Ghost. New York, 1957.
464. W o l f e B e r t r a m D. Three Who Made a Revolution. Boston, 1955.
465. W o l i n S i m o n and S l u s s e r R o b e r t M. The Soviet Secret Police. New York, 1957.
466. Y p s i l o n. Pattern for World Revolution. Chicago, 1947.

**О КНИГЕ С. КОЗНА „БУХАРИН.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ.
1888-1938”**

Николай Иванович Бухарин, профессиональный революционер, крупный политический деятель и ученый, одна из ярких фигур в истории большевистской партии и Советского государства, вызывает все больший интерес у советских людей. Член партии с 1906 г., член ее Центрального Комитета с VI съезда, он с 1919 по 1929 г. входил в состав Политбюро, был главным редактором газет „Правда”, „Известия” и журнала „Большевик”, членом ВЦИК, действительным членом Академии наук. В 1926–1929 гг. Бухарин фактически возглавлял Исполком Коминтерна. Без всестороннего изучения его революционной и политической деятельности, его вклада в развитие марксистско-ленинской теории объективное освещение истории нашей партии невозможно. Именно его В. И. Ленин называл ценнейшим и крупнейшим теоретиком, законным любимцем партии, видным экономистом, литератором-коммунистом.

Освещению основных направлений политической деятельности Н. И. Бухарина и посвящена книга известного американского историка и советолога С.Козна. В результате длительного и напряженного труда автор подготовил серьезную историческую работу – первый крупный научный труд, освещающий многогранную деятельность видного большевика-ленинца. Хотя в последнее время в Советском Союзе появилось много публикаций о Бухарине, книга С. Козна продолжает оставаться наиболее полным, обстоятельным и содержательным исследованием его политической биографии.

Перед автором стояла трудная задача – проанализировать основные вехи деятельности Бухарина на фоне сложной и проти-

воречивой обстановки, существовавшей в нашей партии и стране в первые два десятилетия после Октябрьской революции. И в этом своем анализе С. Коэн стремится быть объективным. Он показывает Бухарина в разных ситуациях, подробно раскрывает основные моменты его политической биографии после победы Октября, рассматривает ошибки и заблуждения в течение первых двадцати лет Советской власти, когда не происходило ни одного значительного политического события, на которое он не оказал бы определенного воздействия.

Как известно, Бухарин родился в Москве в 1888 г. в семье прогрессивно настроенных учителей. В 1905 г., еще будучи гимназистом, он вошел в социал-демократическую организацию учащихся, принимал, по его словам, „живейшее участие” в митингах, собраниях, демонстрациях. В 18 лет Бухарин становится членом большевистской партии, активно участвует в создании студенческой организации Москвы, работает пропагандистом Замоскворецкого районного комитета РСДРП. Весной 1907 г. вместе со своим товарищем по гимназии И. Г. Эренбургом он организовал стачку рабочих на обувной фабрике Сладкова и под кличкой „Сладкий” попал в сферу наблюдения московской охраны.

Участие Бухарина в партийной работе постоянно расширяется. В 1908 г. он был кооптирован в состав Московского комитета РСДРП и возглавил партийную организацию Замоскворецкого района.

С начала 1910 г. Бухарин активно включается в работу легальных рабочих организаций. Вместе с В.А. Антоновым-Овсеенко он организовал в Москве „Клуб общедоступных развлечений”, который занимался пропагандой социал-демократических идей. Бухарин принимает участие в редактировании легального печатного органа московского профсоюза текстильщиков „Голос жизни”. В течение нескольких месяцев в 1910 г. это был единственный в Москве печатный орган большевиков. Большое внимание Бухарин уделял студенческому движению в Московском университете, студентом которого с 1907 по 1911 г. он был. В организованной им совместно с В.В. Оболенским 10 марта 1910 г. студенческой сходке участвовали 3500 человек. Это было выдающееся событие в условиях жесточайшей реакции. В конце того же года Бухарин и некоторые другие большевики были арестованы.

После трех арестов и десятимесячного пребывания в тюрьмах, сначала в Сущевской, а затем в Бутырской, Бухарин был отправлен в Архангельск, а затем в Онегу. Зная, что ему грозит каторга, он в августе 1911 г. бежит в Москву, где охранка меньше всего ожидала его появления. Через месяц, раздобыв паспорт на чужое имя, Бухарин уезжает за границу.

В эмиграции, в 1912 г., происходит его первая встреча с Ле-

ниным, влияние которого на Бухарина во многом способствовало его дальнейшему формированию как революционера-марксиста. Находясь в эмиграции, Бухарин изучил историю рабочего движения в Западной Европе и в США, написал ряд серьезных теоретических работ, постоянно сотрудничал в газете „Правде”, в журналах „Просвещение”, „Коммунист” и других ленинских изданиях. За свою революционную деятельность он подвергался преследованиям и за рубежом. Сидел в тюрьмах в Австро-Венгрии, Англии, Швеции, Норвегии, Японии.

Революционная деятельность Бухарина приобрела широкий размах после его возвращения на родину в начале мая 1917 г. Он принимал активное участие в работе московских большевистских центров, редактировал газету „Социал-демократ”, журнал „Спартак”, входил в Исполком Моссовета. На VI съезде партии он выступал с важнейшим докладом о войне и международном положении. В мае-декабре 1917 г. Бухарин опубликовал около 70 статей, посвященных различным аспектам нараставшего революционного движения. К моменту победы Октябрьской революции он стал видным большевистским лидером, одним из ближайших соратников В. И. Ленина. Высокий интеллект, беззаветная преданность идеалам социализма, уважительное отношение к товарищам по партии и личная скромность создали Бухарину огромный авторитет. Он последовательно и бескомпромиссно отстаивал ленинскую концепцию социалистического строительства от нападок различных оппозиций и сталинских извращений. И даже после устранения его с активной арены политической деятельности он продолжал пропагандировать великие идеалы социализма. Вся жизнь Бухарина — это яркий пример беззаветной преданности интересам большевистской партии, гуманистическим целям нового общественного строя, творческого горения.

И тем не менее его постигла трагическая участь миллионов верных сынов партии и народа, погибших в годы сталинского произвола.

Спустя пятьдесят лет после гибели Бухарина историческая справедливость восторжествовала.

4 февраля 1988 г. пленум Верховного суда СССР полностью реабилитировал Бухарина, а 21 июня 1988 г. он был посмертно восстановлен в партии. В связи со 100-летием со дня рождения Бухарина в Советском Союзе выпущен сборник его произведений, проведена всесоюзная научно-теоретическая конференция, открыта юбилейная выставка в Музее Революции в Москве, появилось большое число публикаций, посвященных его революционной и политической деятельности.

В условиях, когда процессы демократизации и гласности, обновления социализма все шире пробивают себе дорогу, понятен все усиливающийся интерес к Бухарину. Его работы внима-

тельно изучают. Особое внимание привлекают его книги и статьи о роли кооперации, о демократизме и гуманизме социализма, о сочетании личных и общественных интересов, кооперативной и индивидуальной деятельности, об использовании хозрасчета, товарно-денежных отношений, о необходимости борьбы с бюрократизмом, о формах и методах коммунистического воспитания трудящихся и т.д. Многие нереализованные идеи, выдвинутые Бухариным, сохраняют свою актуальность и в современных условиях взяты на вооружение КПСС.

Вопросы, рассматриваемые в книге С. Коэна, несомненно, привлекут внимание широкого советского читателя, ибо ко многим проблемам, поднятым автором, прежде всего к проблемам переходного периода от капитализма к социализму, приковано пристальное внимание советской общественности. Это проблемы идейной борьбы в партии, перспектив социалистического строительства, сущности новой экономической политики, форм и методов осуществления индустриализации и коллективизации, различных альтернатив строительства социализма, причин появления культа личности Сталина, деформации социализма. По всем этим проблемам С. Коэн излагает свою точку зрения.

Книга написана в проблемно-хронологическом плане. Исключение составляет только глава „Марксистская теория и большевистская политика: „Теория исторического материализма” Бухарина”, в которой автор дает свою интерпретацию взглядов Бухарина и других политических деятелей.

Он обстоятельно анализирует взаимоотношения Ленина и Бухарина, показывает критическое отношение Ленина к некоторым ошибочным положениям Бухарина и вместе с тем совершенно справедливо подчеркивает, что их споры не носили личного характера; они были теоретическими и ставили целью обсуждение важнейших проблем стратегии и тактики большевистской партии. Большой интерес представляет анализ автором важнейших работ Бухарина. Он рассматривает, в частности, его большой вклад в развитие экономической науки, философии и социологии.

Особое внимание С. Коэн уделяет борьбе Бухарина против нарушений партийной демократии и социалистической законности, против роста чиновничье-бюрократического партийного и государственного аппарата.

Принципиально важно отметить, что С. Коэн показывает отрицательное отношение Бухарина к сталинской теории обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму. Сам Бухарин отстаивал идею гражданского мира, укрепления союза рабочих и крестьян как главного условия построения социализма. В книге собрано большое количество документального и фактического материала, выдержек из многих произведений Бухарина, партийных документов, воспоминаний современников. Автор широко использовал не только советскую

историографию, но и эмигрантскую литературу, работы немарксистских авторов, многие из которых недоступны или малодоступны советскому читателю и в настоящее время. Кроме того, он приводит документальные материалы и некоторые фактические сведения, не публиковавшиеся в нашей печати.

В центре исследования С. Козна — политическая биография Н. И. Бухарина. В то же время автор уделяет внимание отдельным эпизодам из революционной и политической деятельности многих видных большевиков. В целом в книге упоминаются более 400 активных участников революционного движения, историков, публицистов и т.д. Мы узнаем из книги С. Козна новые сведения об В. В. Оболенском, В. М. Смирнове, Г. Я. Сокольникове, А. И. Рыкове, М. П. Томском, Н. Н. Яковлеве, В. Н. Яковлевой и других большевиках, работавших с Бухариным. Хорошо известно, что каждая названная или пропущенная фамилия — это освещенный или неосвещенный момент нашей истории. В обращении к трудящимся старейшего деятеля революционного движения в России М. С. Ольминского подчеркивалось: „Десятилетия нашей борьбы против самодержавия, а затем годы гражданской войны унесли в могилу многих товарищей. . . Ведь жизнь каждого из них — частица истории партии, камень в постройке великого коммунистического будущего. Нельзя жить без прошлого, без знания своей истории. И нельзя знать истории, не зная ее деятелей”¹. Репрессии конца 20-х и 30-х гг. привели к тому, что люди почти исчезли из нашей истории. Советский читатель узнает из книги С. Козна фамилии многих большевиков, о которых в нашей литературе длительное время или не упоминалось, или давалась искаженная картина их деятельности.

Книга Козна появилась в период, когда советские историки были лишены возможности объективно освещать исторический процесс, особенно период 20-30-х гг. Многие положения и выводы их публикаций были буквально втиснуты в прокрустово ложе заранее определенных схем. Они писали свои работы на ограниченной документальной базе, не имея возможности широко использовать материалы партийных и государственных архивов. В печати появлялись прежде всего те работы, которые отражали официальную точку зрения. Поэтому выход в свет книги С. Козна в Советском Союзе — не только убедительное свидетельство дальнейшего расширения процесса демократизации и гласности в нашей стране, но и возможность восполнить пробел в освещении ее истории в 20-е и 30-е гг.

При чтении книги С. Козна нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что некоторые выводы автора устарели, в

¹ „Печать и революция. Журнал критики и библиографии”. Книга вторая. М., 1921, с. 246.

частности его оценки советской действительности, данные им в 70-х гг. в предисловиях к американскому и оксфордскому изданиям. И это понятно. С тех пор в жизни нашей страны произошли большие изменения. О них написал и сам С. Коэн в предисловии к советскому изданию.

Отмечая в своей книге уникальный авторитет Ленина в партии, точность его политических оценок, умение спланировать партию путем убеждения, С. Коэн в то же время на основе только лишь отрывочных высказываний отдельных лиц в ряде случаев дает необъективную оценку Ленину как политическому деятелю и человеку. Он пишет, что Ленин был обидчив и подозрителен по отношению к своим молодым соратникам, что его окружали подбострастные люди и т.д. (с. 65, 68).

Однако воспоминания огромного числа людей, работавших с Лениным, убедительно опровергают это. Хорошо известно, что В. И. Ленин сам стремился вовлечь в революционное движение, в большевистскую партию наиболее передовых представителей общества. И поэтому непонятно, о какой обидчивости и подозрительности могла идти речь. Хорошо известно также, что Ленина окружали не подхалимы и угодники, а революционеры-интеллектуалы. Руководитель миссии Красного Креста США в России в 1917 г. Р. Робинс, который неоднократно встречался с В. И. Лениным, отмечал: „Первый Совет Народных Комиссаров, если основываться на количестве книг, написанных его членами, и языков, которыми они владеют, по своей культуре и образованности был выше любого кабинета в мире”¹.

Многим большевикам (Н. И. Бухарину, Н. В. Крыленко, Л. Б. Красину, А. М. Коллонтай, А. В. Луначарскому, М. Н. Лядову, М. Н. Покровскому, Г. Л. Пятакову, И. И. Скворцову-Степанову и др.), активно отстаивавшим свою точку зрения по отдельным вопросам революционной стратегии и тактики до революции, в годы Советской власти В. И. Ленин поручал важнейшие партийные и государственные посты. Если вспомнить и об ошибочном поведении в 1917 г. Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, А. И. Рыкова, В. П. Ногина и т.д., то станет ясно, что тезис о подбострастном окружении В. И. Ленина несостоятелен. В. И. Ленин решительно выступал против возвеличивания своей личности. Так, во время болезни, ознакомившись с содержанием газет, он возмущенно говорил В. Д. Бонч-Бруевичу: „Смотрите, что пишут в газетах! Читать стыдно. Пишут обо мне, что я такой, сякой, все преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком. . . И откуда это? Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг опять возвеличивание личности. . . Но надо это сейчас же прекратить,

¹ „Новый мир”, 1967, № 5, с. 260.

никого не обижая. Это не нужно, это вредно. . . Это против наших убеждений и взглядов на отдельную личность”¹. Хорошо известны и личная скромность Ленина и то, что он постоянно боролся за нравственную чистоту членов большевистской партии.

Проникновенно, с большим уважением и тактом писал о Ленине Бухарин. В очерке „Памяти Ильича”, опубликованном в „Правде” 21 января 1925 г., он нарисовал яркий портрет В. И. Ленина как человека и вождя. Приведем только его окончание: „Год живет партия без Ленина. И суждено ей жить без него, живого. Сумеет ли мы хоть немного приблизиться к Ильичевой мудрости? Сумеет, если будем непрестанно учиться у него. Сумеет ли мы приблизиться к Ильичевой беспристрастности, к отсечению всего личного в политике? Сумеет, если будем учиться у него. Сумеет ли мы вести в его духе партию, с ней вместе и через нее рабочий класс и крестьянство? Сумеет, если будем учиться у Ленина, Ильича, у нашего учителя и товарища, который не знал мелочности, который был смел, решителен и осторожен. Мы должны суметь, ибо этого хочет рабочий класс, которому отдал жизнь свою товарищ Ленин”.

Сотни аналогичных высказываний о В. И. Ленине различных политических деятелей, в том числе и зарубежных, мы можем найти, например, в воспоминаниях о Ленине, собранных в пяти томах, в огромном потоке мемуарной литературы, посвященной жизни и деятельности вождя большевистской партии.

Рассматривая взгляды Ленина, высказанные им в период „военного коммунизма” и в условиях новой экономической политики, автор пишет, что последние ленинские статьи и письма носили реформистский характер, что в конце жизни В. И. Ленин пересмотрел свои взгляды. Но было бы странным, если бы стратегия и тактика большевистской партии, ее идеологическое обоснование оставались неизменными на всех крупных поворотах истории. Военно-политическая и экономическая обстановка в стране после окончания гражданской войны и империалистической военной интервенции коренным образом изменилась. Естественно, что и взгляды Ленина, как и других большевистских теоретиков, претерпели определенную эволюцию в период перехода к нэпу.

Отдельные выводы автора чрезмерно категоричны, но далеко не бесспорны. „Ленин совершил полный поворот, — утверждает он, — и в своих собственных взглядах, и в толковании марксистского учения. Он говорил все время о торговых или бытовых организациях, а не (как позже утверждали сталинисты) о производственных кооперативах” (с. 171). Это не совсем точно, ибо, как известно, в послеоктябрьские годы В. И. Ле-

¹ Б о н ч - Б р у е в и ч В. Д. Избранные произведения. Т. III. М., 1963, с. 296-297.

нин неоднократно говорил не только о кооперации в целом, но и о производственной кооперации¹. Он подчеркивал, что при условии полного кооперирования „мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве”². Он писал не о создании отдельных кооперативов, а о широком вовлечении крестьянства с помощью кооперации в строительство социализма „путем возможно более *простым, легким и доступным для крестьянина*”³.

Нельзя согласиться с авторской интерпретацией, что „нэп постоянно определяется руководством как „отступление”, что „в последние годы жизни Ленин поддерживал своим огромным авторитетом реформистскую тенденцию”, что „Ленин реабилитировал идею реформизма” (с. 166), а также, что „его теоретическая концепция была противоречива и почти непонятна” (с. 169) и т.д. Эти и многие другие положения приводятся фактически без всякой аргументации. Ленинская концепция построения социализма в России предусматривала разные формы и методы преобразования общества, в том числе и широкое осуществление реформ.

Что касается оценки автором взглядов Ленина на нэп, то они, по нашему мнению, несколько односторонни.

Как известно, первоначально В. И. Ленин рассматривал новую экономическую политику как временное отступление. В то же время он говорил, что новое наступление будет неизбежно. „В нэпе, — писал он, — мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной торговли; именно из этого вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение кооперации. В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве нэпа есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов. В самом деле, власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т.д. — разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третируем, как торговщескую, и

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 204–208; т. 36, с. 74, 75, 185, 191; т. 37, с. 471; т. 38, с. 99–102; т. 40, с. 102–103, 277–278; т. 54, с. 500–501 и др.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 376.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 370.

которую с известной стороны имеем право третировать теперь при нэпе так же, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества?"¹.

После окончания гражданской войны в партии шла острая идейная борьба по вопросу о путях и перспективах построения социализма.

Как совершенно справедливо пишет С. Козн, Бухарин был активным пропагандистом и защитником новой экономической политики. Он подчеркивал, что нэп нужно понимать "как грандиозный стратегический обход противника". Вместе с тем Бухарин указывал и на ее негативные стороны, отмечая, что в условиях нэпа усилилась безработица, „прорвался резко выраженный индивидуализм, жажда накопления и личных утех"².

Нельзя согласиться с автором, что обнаружение новой политики не сопровождалось особыми разногласиями. Хорошо известно, что это далеко не так. В руководстве партии не было единства по вопросу о методах социалистического строительства. Троцкий и его сторонники и в изменившихся условиях считали необходимым строить социализм на основе военномунимистических принципов. В новой экономической политике они видели прямой путь к „вырождению большевизма", к торжеству социал-демократизма.

На протяжении всего исследования автор определяет систему взглядов Бухарина как бухаринизм. Однако взгляды Бухарина в целом — это пропаганда ленинских идей, их дальнейшее развитие и конкретизация. Поэтому вряд ли употребление этого термина можно считать оправданным.

Книгу С. Козна буквально пронизывает идея сталинского „термидора", уничтожения не только ленинской гвардии, но и в целом большевистской партии. Новой и оригинальной эту идею назвать нельзя. Еще в ходе острой внутрипартийной борьбы в 20-е гг. оппоненты Сталина говорили о „перерождении" Советской власти, о „термидоре". Аналогичный вывод в той или иной интерпретации присутствует в публикациях многих западных историков. Но в книге С. Козна эта мысль повторяется особенно настойчиво. Ее десятая глава называется: „Последний большевик". Это явное преувеличение. Конечно, Сталин и его окружение нанесли жестокие удары по социалистическим идеалам. Для них характерны были не отдельные заблуждения, не тактические ошибки, а принципиальный и стратегический отход от многих направлений ленинской концепции социализма. Но все же „термидора" в нашей стране не произошло. Хотя и в деформированном виде, социализм в стране строился. Марк-

¹ Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 370.

² Бухарин Н. Коммунистическое воспитание молодежи. М., 1925, с. 24, 32.

систско-ленинская теория оставалась господствующей в стране. В партии сохранились и здоровые силы.

В своей книге С. Козн пишет о том, что не все большевистские идеалы были полностью претворены в жизнь. Но ведь для этого требуется длительное время. Совершенно прав А. Грамши, который писал в марте 1918 г.: „История русской революции не закончилась и не закончится годовщиной ее начала... От русских требуют того, чего историки не требуют от предшествовавших революций: молниеносного создания нового строя”¹.

Уделяя особое внимание внутрипартийной борьбе, автор преувеличивает роль Троцкого, который после смерти В. И. Ленина стал претендовать на ведущее место в партии. Однако с точки зрения С. Козна вряд ли можно согласиться, хотя Троцкий имеет определенные заслуги в деле подготовки вооруженного восстания, организации защиты завоеваний революции, восстановлении железнодорожного транспорта и т.д.

Нельзя не сказать и о тезисе автора о диктатуре партии. В. И. Ленин отвергал утверждения Троцкого, что большевики стремятся установить диктатуру партии над рабочим классом. Он неоднократно указывал, что деятельность партии полностью подчинена интересам рабочего класса.

Вместе с тем нельзя забывать и о том, что строительство социализма происходило в стране мелкого крестьянского хозяйства, где гигантская масса мелкобуржуазной стихии постоянно оказывала давление на рабочий класс и его партию, пополняла их неустойчивыми и колеблющимися элементами. К тому же империалистические государства настойчиво стремились реставрировать в нашей стране капиталистические порядки. В такой напряженной обстановке произошла концентрация власти в руках ЦК ВКП (б) и его Политбюро.

В. И. Ленин подчеркивал, что в партии имеется значительное число непролетарских элементов и поэтому „пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него”². К сожалению, предвидение В. И. Ленина оправдалось. В конечном счете ленинская гвардия была в основном уничтожена. Одним из ее наиболее ярких представителей был Бухарин.

Восторженно проанализировав взгляды Бухарина и его сторонников, С. Козн убедительно показывает, что Сталин исполь-

¹ Грамши А. Избранные произведения. М., 1980, с. 39.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 20.

зовал фальсификаторский ярлык „правый уклон” для расправы с влиятельными и авторитетными политическими лидерами.

В заключение хотелось бы привести высказывание известного советского историка М. Н. Покровского: „У всякого специалиста есть одна черта, резко отличающая его от дилетанта: это черта — *любовь к факту*. Без этой любви к живому, конкретному историческому материалу, такой же, как любовь живописца к краскам, музыканта к звукам, нет историка”¹.

Книга С. Козна, написанная на основе тщательного и глубокого изучения огромного количества документального материала и содержащая много неизвестных для нас фактов, подтверждает эти слова.

Высказанные нами замечания не охватывают всех проблем, поднятых в книге С. Козна. Но мы и не ставим такой цели, не сомневаясь, что читатели сами сумеют правильно оценить ее основные положения и выводы.

И. Горелов

¹ „Пролетарская революция”, 1925, № 5, с. 220.

КОММЕНТАРИИ

К с. 29

* Как известно, В. И. Ленин подчеркивал, что „в решительный момент, момент завоевания власти и создания Советской республики, большевизм оказался единым, он привлек к себе все лучшее из близких ему течений социалистической мысли, он объединил вокруг себя *весь* авангард пролетариата и *гигантское большинство* трудящихся”. (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.39, с. 216.)

К с. 31

* Победа социалистической революции в России была закономерной. В годы первой мировой войны Ленин развил марксистскую теорию социалистической революции и сделал вывод о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране.

** Данная характеристика применительна к оппортунистическому крылу РСДРП, меньшевикам. Именно они добивались превращения РСДРП в конгломерат различных фракций и группировок. Сила и влияние большевистской партии заключались в идейно-организационном единстве ее рядов на принципах марксизма-ленинизма. В основном такое единство было достигнуто к VI конференции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 г. в Праге.

К с. 36

* К 1905 г. большевики преобладали не только в партийных организациях Москвы, но и в целом в России, прежде всего в промышленных районах. Меньшевики имели влияние в тех местах, где промышленность была развита слабо.

К с. 37

* Революционное движение не прекратилось в 1906 г. Оно продолжалось и в первой половине 1907 г. и завершилось разгоном II Государственной думы и арестом значительной части депутатов социал-демократической фракции.

К с. 38

* К весне 1907 г. РСДРП насчитывала 150–170 тыс. членов. Через два года численный состав партии уменьшился примерно до 35 тыс. человек. Партийные организации в период реакции имелись в разное время в 575 населенных пунктах. Московская организация в апреле 1909 г. насчитывала 1500 человек.

К с. 40

* В. И. Ленин постоянно интересовался развитием немарксистской общественно-политической мысли. Об этом свидетельствуют, в частности, его работы „Материализм и эмпириокритицизм” и „Империализм, как высшая стадия капитализма”. Примером широкого и всестороннего изучения Лениным всех источников, в том числе и немарксистской литературы, являются его „Тетради по империализму” и „Философские тетради”.

К с. 41

* В книге „Материализм и эмпириокритицизм” В. И. Ленин защитил и развил основные принципы марксистского мировоззрения и методологии, подверг обстоятельной критике идеалистические и метафизические концепции. Большое значение имеет дальнейшая разработка В. И. Лениным материалистической диалектики, его идеи союза естествознания и философии.

В. И. Ленин первым в XX в. увидел в достижениях естествознания начало научной революции, дал философское истолкование новых научных открытий. Ленинская мысль о неисчерпаемости материи стала важнейшим принципом научного познания мира. В то же время В. И. Ленин всесторонне исследовал диалектику общественного развития, взаимодействие экономики и политики, взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания. Он показал огромное значение субъективного фактора для ускорения революционного процесса, важность сознательности и организованности трудящихся, их марксистского авангарда. На 1 января 1985 г. эта работа издавалась в СССР 103 раза на 29 языках общим тиражом свыше 5 млн. экз, а за рубежом – более 170 раз на многих языках народов мира.

К с. 48

* Большеви́стское программное требование о праве наций на самоопределение было зафиксировано в первой программе РСДРП, принятой II съездом в 1903 г.

К с. 60

* Лицемерие не было характерно для Н. И. Бухарина. Он всегда подчеркивал, что политика и совесть – понятия неразрывные.

К с. 70

* Работа „Государство и революция” не была завершена. В. И. Ленин предполагал дополнить ее главой „Опыт русских революций 1905 и 1917 годов” или подготовить второй выпуск книги, посвященный данной проблеме. Дальнейшее развитие основных положений книги дано в работах „Пролетарская революция и ренегат Каутский”, „Великий почин”, „Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата” и др. В работе „Государство и революция” В. И. Ленин развивает марксистские взгляды, анализирует отдельные ошибочные положения Н. И. Бухарина.

К с. 74

* Вряд ли можно согласиться с такой оценкой автором вооруженного восстания 25 октября. Победа восстания была обеспечена тем, что на стороне большевистской партии выступало большинство трудящегося населения страны. Накануне Октябрьского вооруженного восстания

общая численность Красной гвардии в стране составляла около 75 тыс., причем 20 тыс. из них находились в Петрограде, 30 тыс. — в Москве и центральном промышленном районе. За большевиками шла половина действующей армии, особенно войска Северного и Западного фронтов, а также Балтийский флот. Силы контрреволюции в Петрограде насчитывали 15-20 тыс. человек. Здесь автор придерживается тезиса марксистской историографии о случайности победы Великого Октября, о том, что Октябрьская революция — это верхушечный переворот.

К с. 75

* Автор имеет в виду подписание Брестского мира, которое было вынужденной уступкой молодой Советской республики превосходящим силам германского империализма.

Бухарин последовательно выступал против мирного договора с Германией. Вскоре он открыто признал эту, по его словам, „крупнейшую политическую ошибку“.

К с. 78

* Документальные материалы не подтверждают вхождение Бухарина в узкий состав Московского областного бюро РСДРП (б).

Первая областная партийная конференция состоялась 19-21 апреля 1917 г., когда Бухарина в Москве еще не было. На второй областной конференции (21-23 июля) Бухарин не присутствовал и в Областное бюро не избирался. Третья областная конференция состоялась в декабре 1917 г.

Первый состав узкого бюро МОБ РСДРП (б) был избран 17 мая 1917 г. на пленарном заседании Областного бюро. В него вошли А. С. Бубнов, И. С. Кизильштейн, Г. И. Ломов, С. П. Нацаренус, В. В. Оболенский, В. Н. Яковлева. 19 августа 1917 г. в узком составе Бюро произошли частичные изменения: вместо Бубнова в него был введен Е. М. Альперович. В воспоминаниях Ломова и Стукова, на которые ссылается Коэн, ошибочно утверждается вхождение Бухарина в Областное бюро, причем о его узком составе не упоминается.

Но в целом Бухарин оказывал значительное влияние на работу Областного бюро и его узкого состава.

К с. 79

* И. С. Кизильштейн появился в Москве не в 1917 г., а намного раньше. Еще в 1909 г. он принимал активное участие в работе московской большевистской организации. Об этом, в частности, говорится в книге „Герои Октября“, о которой упоминает автор.

К с. 90

* Отдельные члены ЦК РСДРП (б) считали, что Советская власть не удержится, если представители мелкобуржуазных партий не будут привлечены в правительство. ЦК РСДРП (б) осудил подобные взгляды. Тогда Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков, В. П. Ногин и В. П. Милютин заявили о своем выходе из ЦК, а Рыков, Ногин и Милютин — и из состава Совнаркома (правительство состояло из 15 членов). Позднее В. И. Ленин писал, что эти товарищи проявили колебания „в сторону опасений, что большевики слишком изолируют себя, слишком рискованно идут на восстание, слишком неуступчивы к известной части меньшевиков и „социалистов-революционеров“... А через несколько недель — самое большее через несколько месяцев — все эти товарищи увидели свою ошибку и вернулись на самые ответственные партийные и советские посты“. (Ленин и В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 417.)

К с. 92

* На VII съезде партии за подписание мирного договора голосовали 12 делегатов.

К с. 98

* Нельзя называть Россию этого периода просто крестьянской страной. В 1913 г. она занимала пятое место в мире по общему объему промышленного производства, уступая только США, Германии, Англии и Франции.

К с. 108

* В действительности иностранная военная интервенция началась раньше. 9 марта 1918 г. английский десант высадился в Мурманске. 5 апреля 1918 г. во Владивостоке появились американские и японские войска.

К с. 109

* Красный террор был вынужденным ответом на кровавые злодеяния контрреволюции, которые приобрели широкий размах. Банды Семенова, Калмыкова, Дутова, Фунтикова, Петлюры, Савинкова, Краснова, правых эсеров, анархистов и т.д. с беспощадной жестокостью убивали коммунистов и представителей Советской власти. Массовый характер приобрели проявления индивидуального террора. Жертвой террористов едва не стал и Бухарин. Во время взрыва бомбы в здании МК РКП(б) в сентябре 1919 г. он был ранен.

После покушения на жизнь В. И. Ленина Совнарком 5 сентября 1918 г. принял постановление „О красном терроре“.

К с. 113

* В зарубежной исторической литературе преимущественно говорится о „красном терроре“ и замалчиваются его причины, изложенные выше. Вместе с тем известно, что в первые месяцы Советской власти многие видные белогвардейцы были освобождены из-под ареста. Так, под честное слово не вести борьбу против Советской власти, был выпущен на свободу генерал Краснов.

К с. 117

* С. Козн неоднократно говорит о том, что у большевиков не было обстоятельно разработанной экономической программы. Отвечая на аналогичные обвинения, В. И. Ленин писал: „Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности... Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь *опыт миллионов*, когда они возьмутся за дело“. (Л е н и н В. И. Полн.собр.соч., т. 34, с. 116.)

К с. 119

* Наиболее обстоятельный и аргументированный ответ К. Каутскому дан В. И. Лениным в его работе „Пролетарская революция и ренегат Каутский“. Разоблачению антибольшевистских взглядов К. Каутского посвящена работа Н. И. Бухарина „Международная буржуазия и Карл Каутский ее апостол“ (М., 1926).

К с. 130

* В своей записке, направленной в ЦК РКП(б), Троцкий предлагал применить налоговую систему в рамках политики „военного коммунизма“. Как он писал позднее, это были „крайне осторожные предложения“, направленные на „некоторое ослабление нажима на кулака“, на „необходимость более осторожно относиться к крестьянским верхам“. Троцкий предлагал „принудительную разверстку по запашке и вообще обработке земли“. И хотя в 1924 г. в брошюре „Новый курс“ он писал: „...весь текст в целом представляет довольно законченное предложение перехода к нэпу в деревне“, подлинным творцом новой экономической политики был В. И. Ленин.

К с. 162

* Резолюция о единстве партии, принятая X съездом, была направлена на недопущение образования внутри партии фракций и группировок, на укрепление и сплочение партии на принципах демократического централизма. Эта резолюция „вовсе не носила того одностороннего, абсолютного и репрессивного характера, который ей был придан впоследствии в трактовках Сталина”. („Коммунист”, 1988, № 2, с. 22.)

К с. 163

* 14 марта 1918 г. в соответствии с решением ВЦИК Троцкий был назначен наркомом по военным делам, а в апреле – и наркомом по морским делам. 2 сентября 1918 г. по предложению Я. М. Свердлова он был назначен председателем Реввоенсовета республики.

Несомненно, что Троцкий внес определенный вклад в дело укрепления Красной Армии, искоренения партизанщины, налаживания в армии воинской дисциплины. В то же время для Троцкого было характерно стремление решать вопросы путем насилия и непрерывных репрессий. В автобиографической книге „Моя жизнь” Троцкий писал, что не был подготовлен для военной работы. Вооруженные силы республики создавались под руководством В. И. Ленина. В их формировании принимали участие многие большевики.

К с. 168

* Полной аналогии в положении страны в 1918 и в 1921 гг. быть не могло. Но сходные черты ленинского подхода к социалистическому строительству в условиях мирной передышки 1918 г. и нэпа несомненны.

К с. 188

* Письмо Ленина Троцкому с просьбой взять на себя защиту грузинского дела на заседании ЦК РКП (б) было прочитано по телефону. Троцкий ответил, что из-за болезни он не может взять на себя такого обязательства. Но он надеялся, что скоро поправится, и попросил прислать ему необходимые документы и материалы, и, „если здоровье ему позволит, он их прочтет”. Он также сказал, что после разговора с Махарадзе и Мдивани и речи Орджоникидзе на Пленуме ЦК „он убедился, что были сделаны крупные ошибки”. Во время февральского Пленума ЦК (1923 г.) Троцкий писал: „Если у меня были сомнения насчет правильности политики Орджоникидзе и решения Политбюро, то теперь эти сомнения усилились в сто раз (после речи Орджоникидзе)”. Зная позицию Троцкого на январском и февральском Пленумах ЦК РКП (б), Ленин рассчитывал на поддержку Троцкого в этом вопросе. Следует также отметить, что разногласия Троцкого и Сталина по национальному вопросу способствовали обострению личных взаимоотношений между ними.

К с. 203

* Вряд ли можно согласиться с этим утверждением С. Козна. Программные и стратегические цели большевиков были направлены на создание общества без насилия, эксплуатации и угнетения, что являлось выражением высшей нравственности. Гуманистическую сущность социализма неоднократно подчеркивал и Н. И. Бухарин.

К с. 244

* На всем протяжении своей революционно-преобразующей деятельности большевистская партия придерживалась ленинских принципов партийности литературы и искусства, которые были сформулированы В. И. Лениным еще в 1905 г. в статье „Партийная организация и партийная литература”.

К с. 256

* Бухаринские взгляды по всем принципиальным вопросам являлись дальнейшим продолжением марксистско-ленинской теории. Бухарин активно пропагандировал ленинское учение о возможности построения социализма в России даже в условиях задержки революций на Западе.

К с. 257

* В 1926 г. должность председателя Исполкома Коминтерна была упразднена. Была создана политическая комиссия, в состав которой вошел и Бухарин. Он же фактически в 1926-1929 гг. возглавлял Коминтерн. Первым генеральным секретарем ИККИ стал в 1935 г. Г. М. Димитров.

К с. 264

* Теоретическое обоснование большевизма — марксизм-ленинизм. Это неоднократно подчеркивал сам Бухарин. Наиболее обстоятельно он изложил свои взгляды по этому вопросу в работах „Ленин как марксист“, „Политическое завещание Ленина“ и др.

К с. 424

* В 1977 г. в СССР была принята новая Конституция, в которой нашли соответствующее отражение происшедшие в стране с 1936 г. политические и социально-экономические изменения.

К с. 434

* В состав делегации входили также В. В. Адоратский и А. Я. Аросев. Приобрести архив делегации не удалось.

К с. 439

* В 1988 г. письмо Бухарина „Будущему поколению руководителей партии“ было полностью опубликовано в ряде советских журналов и газет.

К с. 441

* Роман Артура Кестлера опубликован в журнале „Нева“ (1988, № 7, 8). Несомненно, что образ Рубашова является собирательным, а не „спинным“ в большой степени с Бухарина“.

К с. 452

* Процесс реабилитации несправедливо осужденных в годы культа личности начался вскоре после смерти Сталина. За прошедшие годы огромное количество жертв сталинизма реабилитированы. Этот процесс продолжается.

К с. 453

* Автор имеет в виду книгу Ф. М. Ваганова „Правый уклон в ВКП (б) и его разгром“ (М., 1970). Второе издание вышло в 1977 г. Многие положения и выводы в книге написаны в духе сталинской интерпретации борьбы с так называемым „правым уклоном“ и не могут быть признаны объективными.

К с. 469

* Н. И. Бухарин выступил с докладом на девятом заседании съезда 30 июля 1917 г. Ранее были заслушаны доклад Я. М. Свердлова и Политический отчет ЦК, сделанный И. В. Сталиным.

К с. 470

* Полный комплект газеты „Социал-демократ“ и журнала „Спартак“ хранится в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина.

* Большое значение для выработки новой программы партии имели также работы Ленина „К пересмотру партийной программы”, „Государство и революция”, „Грозящая катастрофа и как с ней бороться”, „Удержат ли большевики государственную власть?” и др. Важный вклад в подготовку нового программногo документа внесли решения VII (Апрельской) конференции и VI съезда РСДРП (б). 28 сентября 1917 г. ЦК РСДРП (б) разослал в 113 партийных организаций письмо „О созыве экстренного партийного съезда и II съезда Советов”. В повестке дня предстоящего съезда был вопрос о пересмотре партийной программы. Партийным организациям было поручено провести „беседы, дискуссии по программным вопросам”. 5 октября 1917 г. ЦК отложил съезд партии и создал комиссию из шести человек для подготовки проекта программы. В целом, большевистская партия была готова к тому, чтобы на предстоящем съезде обсудить и принять новую партийную программу.

** На VI съезде РСДРП (б) изменения и дополнения в партийную программу не вносились. На нем была создана комиссия для разработки программногo документа, которая провела два заседания 1 августа. Учитывая неблагоприятные условия работы съезда, отсутствие на нем В. И. Ленина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Л. Д. Троцкого и других видных большевиков, было решено окончательно утвердить партийную программу на предстоящем съезде партии.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авсариус 41
Агранов Я. Д. 330
Адамс Джон 462
Адлер Макс 145
Адоратский В. В. 561
Айхенвальд А. 261–263, 401, 477,
491, 492, 497, 514, 516, 528
Айхенвальд Ю. 262
Александров В. 521
Аллилуева Н. 432
Алымов А. 491
Альперович Е. М. 558
Амлинский В. 458
Андреев А. А. 340, 504, 513
Андреев П. П. 517
Анин Д. 461, 462
Антонов-Овсеенко В. А. 546
Арманд И. 468
Аросев А. Я. 561
Астров В. 261–263, 347, 360, 451,
491, 492, 496, 502, 503, 511
512, 527
Афанасьев Ю. 458, 459
Ахматова А. А. 333
- Бабель И. 333
- Бабеф Г. 164
Бакунин 70
Бауман К. 361, 512
Бауэр Отто 47
Бега Ф. 521
Бедный Демьян 489
Белых В. 458
Бем-Баверк 45, 46, 464
Бердяев Н. 430, 523
Берия Л. П. 413
Берлингүэр Э. 461
Бернштейн Э. 166, 167, 203
Бжезинский З. 14
Богданов А. 41, 42, 128, 146, 151,
175, 178, 463, 476, 477, 479,
482
Богденко М. Л. 528
Боголепов Д. 42
Богушевский 264, 487, 492
Бонч-Бруевич В. Д. 550, 551
Борисов А. 462
Бош Е. Б. 51, 64, 465
Боярский П. 511
Брандлер Генрих 356, 363
Бруйков В. С. 479
Брюсов 420
Буа Присцилла 13

- Бубнов А. С. 79, 92, 470, 558
 Булгаков М. 333
 Булганин Н. 413
 Бурлацкий Ф. 459
 Бухарин Владимир (брат) 32, 524
 Бухарин И. Г. (отец) 32, 33
 Бухарина Л. И. (мать) 32
 Бухарин Петр (брат) 32
 Бухарина Светлана (дочь) (см. Гурвич С. Н.)
 Бухарин Юрий (сын) (см. Ларин Юрий)
 Ваганов Ф. М. 460, 502, 503, 506, 507, 561
 Валентинов Н. 480, 481, 493, 494
 Варейкис И. М. 501, 511, 512
 Васильев П. 527
 Вебер Макс 29, 47, 144, 464
 Веременичев 488
 Вертов Дзига 333, 501
 Веснины (братья) 333
 Визер 45, 46
 Виктор Эд 13
 Виноградская П. 463
 Вирт 187
 Владимирский М. Ф. 470
 Волкогионов Д. 458
 Вольский Н. Н. (см. Валентинов Н.)
 Вольфсон 491
 Ворошилов К. Е. 273, 327, 349, 352, 411, 494, 498, 501, 504, 507, 508, 513, 517
 Воскресенский Ю. В. 506
 Воскресенский Л. 458
 Вульф Бертрам 465, 497, 505, 519, 528
 Выльцан М. А. 516
 Вышинский А. Я. 413, 436, 437, 441—443, 445—449, 526
 Гайсинский 519
 Гегель 136, 147
 Гейл Питер 5
 Гейне 131, 420, 477
 Гессен 478
 Гете 105, 331, 403, 419, 420
 Гиз Лорна 14
 Гильфердинг Р. 46, 47, 52—55, 120, 315, 317, 464—467, 475
 Гинденбург 521
 Гинзбург М. Я. 333
 Гитлер 412, 422, 427—429, 450
 Гладков Ф. 501
 Глинка Глеб 521
 Гнедин Е. А. 7, 459, 461
 Гоббс Томас 57
 Годар Жан-Люк 525
 Гольденберг Е. 261—263, 491, 492, 505
 Горбачев М. С. 4, 458
 Горелов И. 459
 Городецкий Е. Н. 472
 Горький Максим 280, 413, 423, 435, 441, 442, 447, 523, 524
 Грамши Антонио 554
 Гранитсац Марго 14
 Грольман 491
 Гроссман В. 527
 Грэхем Лоурен 13
 Гуковский А. И. 491
 Гурвич Э. И. 420, 524
 Гурвич С. Н. 9, 420, 524
 Далин В. М. 491
 Дан Ф. 434
 Данилов В. 459
 Данкер Герман 464
 Дантон 24
 Дарвин 420
 Деборин А. 140, 479
 Дейчер И. 17—19, 22, 460, 480, 495
 Дейчер Тамара 460
 Деков Мэрвин 13
 Денни Харольд 527
 Джилс Милован 177
 Дзержинский Ф. Э. 92, 275, 284, 480
 Димитров Г. М. 561
 Довженко А. П. 333

- Догадов А. И. 271
 Дрaбкина Е. 478
 Дрейпер 505
 Дробижев В. 513
 Дубровин В. 492
 Думова Н. 513
 Дэвид Зденек 13
 Дэвис Джозеф 526, 527
 Дэниелс Р. 462, 490
 Дюранти 526
 Дюркгейм 144
- Евтушенко Е. 437, 458
 Ежов Н. 413, 437, 439, 444, 445
 Елизарова А. И. 476
 Енукидзе А. С. 413
 Есенин С. 281, 333
 Ефимов Б. 501
- Жданов А. А. 339, 413, 423
 Жуков Ю. 516
- Зайцев А. 261, 263, 360, 401, 492
 Залуцкий П. 480
 Замятин Е. И. 333
 Зеймаль В. 495, 502
 Зеленин И. Е. 528
 Зиновьев Г. Е. 29, 50, 51, 65, 66, 68, 76, 77, 112, 113, 134, 136, 137, 159, 183–185, 188, 190, 192, 193, 197, 254, 255, 257–260, 266–268, 272, 277, 279, 281, 282, 326, 329, 351, 353, 355, 357, 371, 413, 415, 426, 433, 435–437, 439, 467, 472, 474, 480, 483, 486, 490, 491–493, 499, 505, 508, 513, 514, 525, 550, 558, 562
 Зорин 498, 499
 Зошенко М. М. 333
- Иванов Вс. В. 333
 Иванов 447
- Ивницкий Н. А. 516
 Идельсон 491
 Измайлова Любовь (см. Бухарина Л. И.)
 Иконников С. Н. 511
 Икрамов А. 446
 Иллеш Е. 458
 Ингемасон Бриджит 14
 Интин Джордж 13
 Иоэльсон М. 467
- Каганович Л. М. 269, 339, 351, 352, 364, 371, 392, 400, 411, 501, 509, 511–513, 519
 Калинин М. И. 112, 266, 273, 327, 328, 349, 352, 371, 497, 504, 513, 517, 521
 Каменев Л. Б. 29, 75–77, 112, 159, 184, 188, 190, 192, 193, 197, 255–259, 266–269, 273, 281, 282, 329, 353, 354, 368, 390, 413, 426, 433, 435–437, 439, 474, 480, 483, 486, 487, 490, 491, 493, 494, 496, 499, 503–505, 508, 509, 512–515, 550, 558, 562
 Кант 204
 Капустин М. П. 459
 Карев Н. 481
 Карелин В. А. 447, 526
 Карпинский Д. 458
 Карр Э. Г. 17–19, 22, 459–461
 Катаев В. П. 333
 Катанян В. 461
 Катков 527
 Каутский Карл 54, 67, 119, 120, 559
 Керенский А. Ф. 74, 79
 Кестлер Артур 441, 525, 561
 Киевский П. (см. Пятаков Г. Л.)
 Кизильштейн И. С. 78, 79, 93, 558
 Киров А. 491
 Киров С. М. 393, 394, 410, 412, 413, 422, 423, 433, 435, 442, 447, 492, 507, 513, 514, 518–520, 523

- Ключева З. И. 509
 Козелев Борис 271, 493, 503, 506, 507
 Козлова Л. 506, 515
 Коларц В. 494
 Коллонтай А. М. 468, 550
 Кольцов М. Е. 521
 Конквест Роберт 13, 517, 525
 Копелев Л. 461
 Кордэ Шарлотта 119
 Коротков 507
 Коряков М. 521, 523
 Косарев А. В. 512
 Косиор С. В. 393, 437, 504, 512, 517
 Котов В. 276, 361, 494, 495, 508, 516
 Красин Л. Б. 550
 Красников С. В. 514
 Крестинский Н. Н. 92, 112, 187, 441, 483
 Кржижановский Г. М. 502
 Крицман 475, 479, 503, 504
 Кроче 144
 Крумин Г. 506
 Крупская Н. К. 70, 77, 259, 268, 399, 468, 504, 508, 515
 Крыленко Н. В. 49, 50, 550
 Кубяк Н. А. 502, 504
 Кузнецов П. 458
 Кузьмин В. И. 502
 Куйбышев В. В. 276, 327, 341, 344, 346, 349, 357, 358, 364, 393, 394, 410, 413, 421, 441, 442, 447, 492, 494, 502, 504, 514
 Куликов Е. Ф. 277, 494, 495, 508, 516
 Куусинен О. В. 505, 515
 Кэмерн Ангус 13

 Ларин М. 461, 480
 Ларин Юрий 6, 7, 22, 420
 Ларина А. М. 7, 420, 525
 Латышев А. 458
 Лацис О. 459

 Лашевич М. М. 490
 Леви А. Г. 13, 524
 Левин М. 480, 489, 490, 508, 528
 Лейбзон В. М. 528
 Ленин В. И. 4, 5, 10, 12, 13, 21, 23, 29, 33, 35, 37, 39–45, 48–52, 55, 62–70, 72, 75–78, 80–83, 86, 87, 90–107, 109–116, 118, 120, 128–131, 134–138, 146, 156, 159–161, 166–173, 180, 182–188, 190–194, 221, 224, 225, 228, 229, 231, 246, 254, 256, 259, 261, 265–270, 279, 315, 318, 319, 329, 341, 357, 366, 367, 373, 374, 379, 398, 399, 402, 407, 426, 442, 443, 445, 447, 449, 452, 464–469, 471–477, 479–483, 487, 492, 493, 499, 502, 508, 510, 514, 515, 521, 545–548, 550, 552–554, 556–560, 562
 Леонидов И. И. 333
 Леонов Л. М. 333
 Лернер Макс 466
 Либединский Ю. 501
 Либкнехт Карл 112, 474
 Либман Марсель 17, 18
 Липсет Сеймур Мартин 479
 Лисицкий Л. М. 333
 Лиходеев Л. 458
 Ловстон Джей 356
 Лозовский С. А. 273, 274, 328, 342
 Ломинидзе В. 328, 342, 409, 415, 418, 480, 502, 514, 515, 518, 519
 Ломов Г. И. 42, 78, 79, 81, 90–93, 470, 472, 558
 Лондон Джек 58, 132, 403, 430, 466, 498
 Лукин Н. М. 42, 464
 Лукина Н. М. 42, 420, 463, 524
 Луначарский А. В. 344, 499, 550
 Луппол 478
 Лысенко 509
 Люксембург Роза 51, 63, 64, 474, 485

- Лядов М. Н. 361, 550
- Мак-Нил Роберт 525
 Макиавелли 435
 Максмит Э. 461
 Малевич К. С. 333
 Маленков Г. М. 413
 Малиновский Р. 39, 44, 45, 48, 49, 51, 65, 465
 Мальро Андре 434
 Манделштам О. Э. 280, 333, 489, 500, 521
 Манделштам Н. Н. 277, 494, 506
 Мануильский Д. З. 515
 Марат 119
 Марецкий Д. 40, 261–263, 347, 360, 401, 410, 468, 469, 492, 503, 510, 520
 Маркс Карл 5, 31, 32, 41, 44–47, 52, 56–58, 60, 61, 69, 76, 80, 83, 113, 114, 119, 121, 122, 124, 142, 144–147, 151, 153, 162, 193–195, 199, 203, 204, 206, 207, 309, 317, 397, 419, 420, 468, 476, 479, 481, 484, 497, 520, 523
 Мартов Л. 480
 Марягин Г. 513
 Матьез Альбер 165, 480
 Мах 41
 Махарадзе 560
 Маяковский В. В. 333, 420
 Мдивани 560
 Медведев Р. А. 21, 461, 483, 496, 518, 529
 Мейер-Левин Роза 463
 Мейерхольд Вс. Э. 333, 488
 Мельников К. С. 333
 Мельничанский Г. Н. 271, 278
 Менгер 45
 Менжинский В. Р. 350, 447, 504
 Меркли Уильям 13
 Мерло-Понти Морис 525
 Мешеряков Н. Л. 470
 Микоян А. И. 339, 351, 492, 513, 514
- Миллюков П. 510
 Милютин В. П. 558
 Михайлов В. М. 271, 277, 278, 495, 516
 Михельс Роберт 47, 132, 144, 178, 478
 Можаяв Б. 459
 Молотов В. М. 273, 328, 349, 351, 352, 361, 363, 371, 376, 395, 400, 411, 417, 420, 439, 501, 504, 507, 508, 513, 515, 516, 519
 Молчанов Ю. Л. 482
 Мороз Г. С. 277, 494, 506
 Морозов Л. Ф. 458
 Москович Норман 14
 Муралов Н. И. 81
 Муссолини 355
- Надь Имре 528
 Назаретян А. 518
 Наполеон 83, 105
 Нацаренус С. П. 558
 Невский В. 477
 Недачин Л. 507
 Нейман Г. 502, 506, 514
 Некрасов К. В. 511
 Николаев А. 459
 Николаевский Б. И. 13, 14, 434, 436, 475, 483, 493, 494, 496, 498, 516, 517, 522–524
 Новомирский С. 469
 Ногин В. П. 76, 77, 79, 470, 550, 558
 Нуйкин А. 459
- Оболенский В. В. (см. Осинский Н.)
 Овсянников 470
 Овчаренко Н. Е. 459, 460
 Олеша Ю. К. 333
 Ольминский М. С. 127–129, 470, 471, 475, 476, 549
 Оппенгеймер Франц 464
 Орджоникидзе Г. К. 393, 394, 410, 411, 413, 414, 421, 422, 437,

- 438, 507, 508, 517, 520, 560
 Орлов В. И. 463
 Оруэлл Джордж 58, 466
 Осинский Н. 38, 42, 43, 78, 79, 90,
 91, 93, 94, 101, 102, 110, 130,
 135, 186, 351, 463, 464, 466,
 471–473, 504, 546, 549, 558
 Осипов А. 459
 Оуэн Роберт 171
- Павлов И. П. 33, 204, 280
 Паннекук Антон 67, 468
 Парето 47, 132, 144, 478
 Пастернак Б. Л. 333, 424, 489, 527
 Паткен Кеннет 97
 Пашуканис Е. Б. 520
 Пеньков Н. 279, 360, 494, 503, 504
 Петр Великий 358, 406
 Петровский Г. 262, 393, 518
 Петровский Д. 481
 Петровский Л. 528, 529
 Петровский П. 261–263, 349, 401,
 410, 422, 481, 482, 492, 503,
 513, 518, 520, 528
 Пешков М. 447
 Пильняк Б. А. 333
 Писарев В. А. 510
 Писарев Д. 34
 Платонов А. П. 3, 525
 Плеханов Г. В. 136, 510
 Подволоцкий И. 475, 478
 Покровский М. Н. 35, 93, 118,
 129, 280, 426, 470, 475, 491,
 550, 555
 Полонский В. И. 478
 Поляков Ю. А. 516
 Попов К. 489, 516
 Поскребышев А. 413
 Поспелов П. Н. 495, 502, 527
 Постышев П. П. 437, 440, 507,
 509, 513
 Преображенский Е. А. 114, 141,
 164, 186, 191, 196, 198–202,
 204, 208–211, 214, 215, 220,
 237, 244, 249, 250, 252, 258,
 270, 304, 309, 310, 329, 337,
 370, 385, 478, 484–486, 517
 Пудовкин В. И. 333
 Прудон 70
 Пятаков Г. Л. 51, 64, 65, 91, 118,
 125, 164, 185, 186, 191, 258,
 274, 337, 437, 438, 475, 476,
 483, 494, 550
- Рабинович Александр 14
 Рабинович Жанет 14
 Радек К. Б. 64, 93, 183, 186, 258,
 425, 437, 438, 472, 473, 490, 525
 Разумовский И. П. 493
 Раковский Х. Г. 441
 Рассел Бертран 22
 Резвик 493, 494
 Рейхенбах Бернард 491
 Реннер Карл 145
 Робертсон Томас 14
 Робинс Р. 550
 Робинский Л. 492
 Родченко А. М. 333
 Розит Д. П. 261, 263, 508
 Розмирович Е. Ф. 49, 50, 465
 Романов П. 521
 Рудзутак Я. Э. 327, 349, 504,
 507
 Румянцев А. 528
 Рыков А. И. 4, 76, 77, 79, 159,
 254, 258, 266, 269, 270, 272–
 277, 283, 303, 327, 328, 339,
 340, 342–345, 347–349, 351,
 353, 361–365, 367, 368, 370–
 372, 374–376, 382, 383, 387,
 389, 394, 397, 400, 401, 415,
 417, 426, 434, 436–438, 440,
 441, 446, 450, 452, 469, 478,
 483, 493, 494, 498, 499, 501,
 502, 504, 507–510, 512–514,
 524, 525, 527, 549, 550, 558
 Рютин М. Н. 277, 360, 410, 415,
 422, 434, 494, 495, 506, 518
 Рязанов Д. Б. 376, 392
- Савельев М. 471, 472

- Сарабьянов В. 478, 483,
 Саундерс Джордж 491
 Сафаров 491
 Свердлов Я. М. 111, 115, 447,
 474, 559, 560, 561
 Селектор М. З. 479
 Селюнин В. 459
 Сен-Жюст 109
 Серж Виктор 460, 462
 Сидоров А. Л. 473, 510
 Сидоровский Л. 459
 Скворцов-Степанов И. И. 93,
 467, 470, 550
 Слассер Роберт М. 13, 522, 524,
 525
 Слепков А. Н. 261–264, 349, 360,
 401, 410, 491, 492, 496, 502,
 520
 Слуцкий Б. З.
 Смидович П. Г. 470
 Смилга И. Т. 258, 489, 490, 491,
 512
 Смирнов А. П. 340, 341, 415, 504
 Смирнов В. М. 42, 78, 79, 81, 90,
 91, 93, 101, 110, 125, 135, 186,
 258, 329, 463, 471, 473, 502,
 549
 Сокольников Г. Я. 37, 42, 79,
 90, 265, 351, 438, 463, 470,
 493, 504, 505, 508, 549
 Солженицын А. И. 23, 461, 529
 Соловьев А. 458
 Соловьев М. 506
 Сольц А. А. 487
 Сорель 237
 Сорин В. 473
 Сорокин Питирим 147, 151, 478,
 479
 Сорокин Г. 516
 Сталин И. В. 4, 5, 8, 10–13, 15–21,
 23, 24, 48, 62, 75, 77, 110, 112,
 134, 140, 146, 159, 162, 165,
 182, 184–186, 188, 190, 197,
 200, 224, 254–256, 258, 259,
 261, 262, 264, 266–279, 281,
 283–285, 322, 325–330, 337,
 339–366, 368–387, 389–395,
 397, 398, 400–402, 405–418,
 421, 425, 427, 428, 430, 432–434,
 436–440, 442–444, 446–448,
 450, 451–453, 455, 459, 468,
 471, 474, 482, 483, 484, 486,
 489–491, 493–496, 501–509,
 511–521, 525, 527–529, 546,
 548, 553, 554, 560, 561
 Стенберги (бр. В. и Г.) 333
 Стецкий 261, 263, 264, 349, 351,
 492, 503, 504, 508, 513, 515
 Столыпин 489
 Струве П. 464
 Стуков И. 78, 79, 81, 88, 93, 94,
 470, 558
 Ступоченко Л. 472
 Стэн Ян 514, 515
 Сырцов С. 409, 415, 418, 509, 512,
 513, 515, 518, 519
 Таиров А. Я. 333
 Такер Роберт С. 6, 459, 492, 509,
 522, 524, 526
 Тальгеймер Август 356, 363
 Таска (Серра) Анжело 357, 363,
 507
 Татлин В. Е. 333
 Твердовский К. 470
 Тельман Эрнст 505
 Теодорович И. А. 470
 Тетюшев 506, 510
 Тихонов А. 459
 Толмачев А. 517
 Тольятти (Эрколи) П. 356
 Томпсон И. М. 27
 Томский М. П. 4, 159, 254, 269–
 278, 283, 326, 327, 339, 340,
 342, 343, 345, 347–350, 353,
 359, 361, 363–365, 367, 368,
 370–372, 374–376, 387–389,
 394, 397, 400, 401, 417, 436,
 483, 493, 494, 502, 503, 506,
 507–509, 511, 512, 514, 549
 Трапезников С. П. 511
 Тренга Э. 14
 Трилиссер М. А. 350, 504

- Троцкий Л. Д. 12–14, 17–20, 50, 71, 72, 75, 77, 80, 91, 92, 96, 111, 112, 115, 130, 134–137, 141, 159, 160, 163, 165, 177, 180, 184–186, 188, 192, 195, 196, 202, 205, 254, 255, 258, 260, 262, 266, 267, 270, 272, 275, 276, 281–283, 311, 325, 326, 330, 337, 351, 356, 362, 366, 367, 371, 378, 390, 398, 399, 407, 414, 442, 443, 459, 460, 465, 469, 474, 475–478, 480, 483, 484, 487, 491, 493, 495, 496, 499, 502–504, 506, 508, 515, 525, 527, 553, 554, 559, 560, 562
- Трояновский А. 49
- Туган-Барановский М. 40, 210, 464, 485
- Угаров Ф. Я. 271, 507, 508, 513
- Угланов Н. А. 276–279, 341, 342, 347–349, 360–363, 374, 415, 494, 495, 502–504, 507–509, 516
- Ульрих 441, 448
- Ульянова М. И. 268, 399, 474, 493, 515
- Уолтер Карл 14
- Уралов 525
- Урицкий М. С. 92, 472
- Усиевич Г. А. 42, 81
- Устрялов Н. 486, 512
- Уханов К. В. 495
- Федин К. А. 333
- Фейхтвангер Лион 445
- Филлипс Вендел 402
- Фишелев М. 329
- Флаксерман Ю. Н. 502
- Форд Форд Мэдокс 261
- Фра Дель Л. 461
- Франклин 110
- Фрейдлин Б. 493
- Фрумкин М. И. 348, 388, 511
- Хазард Джон Н. 13
- Хайтман Сидни 13, 456, 459, 474, 481
- Хатаевич М. 512
- Хеглунд Э. 67, 329
- Хейвард М. 500
- Хоффер Эрик 73, 89
- Хрушев Н. С. 16, 21, 23, 413 452–455, 518, 525,
- Хьюз Стюарт 144, 478
- Цеткин Клара 357
- Цетлин Е. 259, 261, 263, 360, 401, 491, 502, 505, 507
- Чан Кайши 322
- Чаянов А. 476
- Черчилль У. 517
- Четвергов Е. (см. Гнедин Е. А.)
- Четвергов Ю. (см. Ларин Юрий)
- Чубарь В. Я. 437, 504, 513
- Шактман М. 483
- Шарангович 347
- Шарова П. Н. 511
- Шатров М. 458
- Шацкий Л. 328, 512, 514, 515
- Шверник Н. М. 340, 511, 512,
- Шеболдаев Б. 512
- Шенбаум Д. 500
- Шескулов С. 501
- Шириня К. К. 528
- Шкаренков Л. К. 458, 459
- Шкирятов М. Ф. 413
- Шлезингер Р. 459, 495
- Шляпников А. Г. 68, 467, 468
- Шмелев Г. И. 459
- Шмидт В. В. 271, 363, 507, 508, 528
- Шолохов М. А. 333
- Шрагин Б. 462
- Штурман Дора 462
- Шуб Д. 463, 469

Шульман Маршалл Д. 14

Эверт Артур 356

Эйзенштейн С. М. 333

Эйхе 514

Эмбер-Дро Жюль 357, 363, 373,
491, 505, 513

Энгельс Ф. 32, 56, 67, 69, 76,
143, 147, 151, 162, 167, 194,
419, 479, 481, 484, 497

Эренбург И. Г. 36, 37, 425, 463,
489, 499, 500, 521, 522, 546

Эрлих Александр 13, 484, 497

Эрнст Генри 522

Яглом Я. 271, 507

Ягода Г. 350, 437, 441, 504, 524

Якир П. 520, 526

Яковлев Н. Н. 42, 79, 494, 549

Яковлев В. А. 277

Яковлева В. Н. 42, 78, 79, 92, 93,
470, 549, 558

Яковлева Т. 459

Ярославский Е. М. 490, 492, 506, 507

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к советскому изданию	3
Предисловие к первому американскому изданию 1973 г.	10
Предисловие к оксфордскому изданию	15
<i>Глава 1.</i> Формирование большевика ленинской гвардии	29
<i>Глава 2.</i> Триумф радикализма в 1917 г.	73
<i>Глава 3.</i> Партия и политика в период гражданской войны	89
<i>Глава 4.</i> Марксистская теория и большевистская политика: „Теория исторического материализма” Бухарина	139
<i>Глава 5.</i> Переосмысление большевизма	156
<i>Глава 6.</i> Бухарин и путь к социализму	195
<i>Глава 7.</i> Дуумвират: Бухарин и Сталин	254
<i>Глава 8.</i> Кризис умеренной политики	303
<i>Глава 9.</i> Падение Бухарина и начало сталинской революции	331
<i>Глава 10.</i> Последний большевик	403
Эпилог. Бухарин и бухаринизм в истории	451
Пояснения к избранной библиографии и к примечаниям.	456
Примечания	458
Избранная библиография	530
О книге С. Коэна „Бухарин. Политическая биография. 1888-1938”	545
Комментарии	556
Указатель имен	563

Коэн С.

К76 Бухарин. Политическая биография. 1888–1938: Пер. с англ./ Общ. ред., послесл. и коммент. И. Е. Горелова. — М.: Прогресс, 1988. — 574 с., ил.
ISBN 5–01–001900–0

Книга посвящена политической деятельности Н. И. Бухарина — видного деятеля Великой Октябрьской социалистической революции и Советского государства, одного из близких соратников В. И. Ленина.

К 0503020000 – 087
006 (01) – 88

КБ–40–5–88

ББК 66.61 (2) 8

БУХАРИН
политическая биография
1888—1938

Редакторы *В. Д. Гапанович* и *Е. Л. Левина*
Художник *А. М. Ефремов*
Художественный редактор *И. М. Чернышева*
Технический редактор *Л. В. Житникова*

ИБ № 17480

Сдано в набор 22.09.88.

Подписано в печать с РОМ 20.12.88.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1.

Печать офсетная. Условн. печ. л. 30,66.

Усл. кр.-отт. 32,75. Уч.-изд. л. 41,24. Тираж 150000 экз.

Заказ № 1355. Цена 4 р., цена в суперобложке 4 р. 20 к.

Изд. № 45388.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
"Прогресс" Государственного комитета СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной
торговли.

119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubovskiy bulvar, 17.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.

Можайск, 143200, ул. Мира, 93.

В книге использованы архивные фотодокументы.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Рабинович А. Большевики приходят к власти: революция 1917 г. в Петрограде. Пер. с англ.

Книга известного американского историка и политолога, профессора Индианского университета Александра Рабиновича принадлежит к немногим зарубежным исследованиям, которые дают в основном объективную характеристику Октябрьской революции в России. Октябрь для автора — глубоко демократическое движение народных масс, стремившихся достичь мира, получить землю, решить другие коренные проблемы.

Книга насыщена большим фактическим материалом. В ней много точных, живых описаний хода революции, политических деятелей различных лагерей, участвовавших в острейшей борьбе в 1917 году. Не всегда можно согласиться с автором в трактовке отдельных событий, но он стремится избежать тенденциозных, предвзятых оценок, свойственных многим работам советологов.

Издание предназначено как специалистам-историкам, так и самым широким читательским кругам.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Шлассер Р. Сталин в 1917 году. Пер. с англ.

В центре внимания американского историка Роберта Шлассера, профессора Мичиганского университета, — деятельность И. В. Сталина с марта по октябрь 1917 года. Используя документы, обширную советскую и западную литературу, автор анализирует работу Сталина в редколлегии газеты "Правда", выступления на различных совещаниях, рассматривает характер взаимоотношений с В. И. Лениным и другими руководителями большевистской партии. Р. Шлассер пытается ответить на вопрос, почему в дни Октября Сталин не был среди тех, кто определял ход событий?

Книгу Р. Шлассера, оценки которого не всегда бесспорны, с интересом прочтут все те, кого интересует изучение сложных проблем советской истории на Западе.